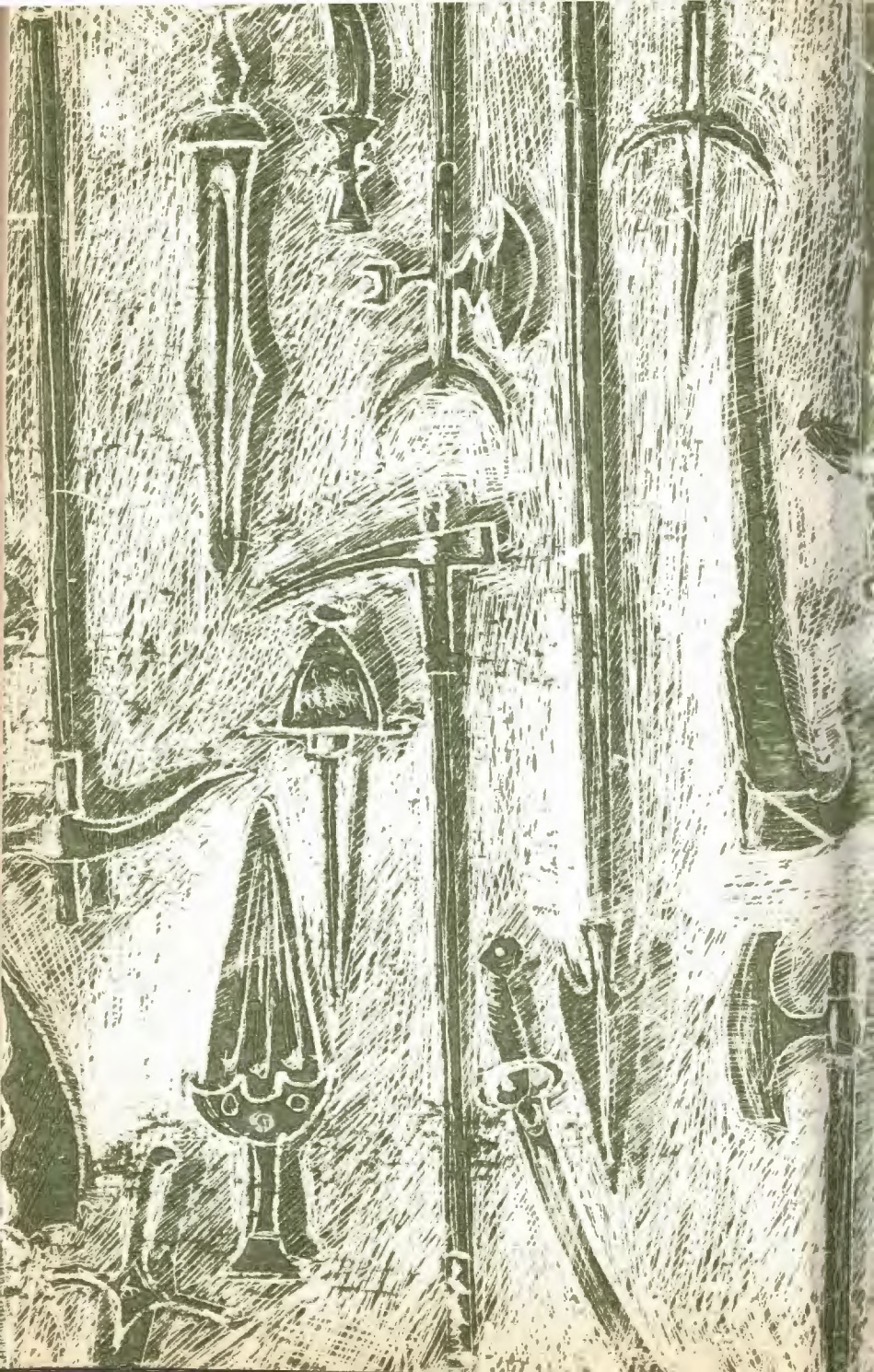
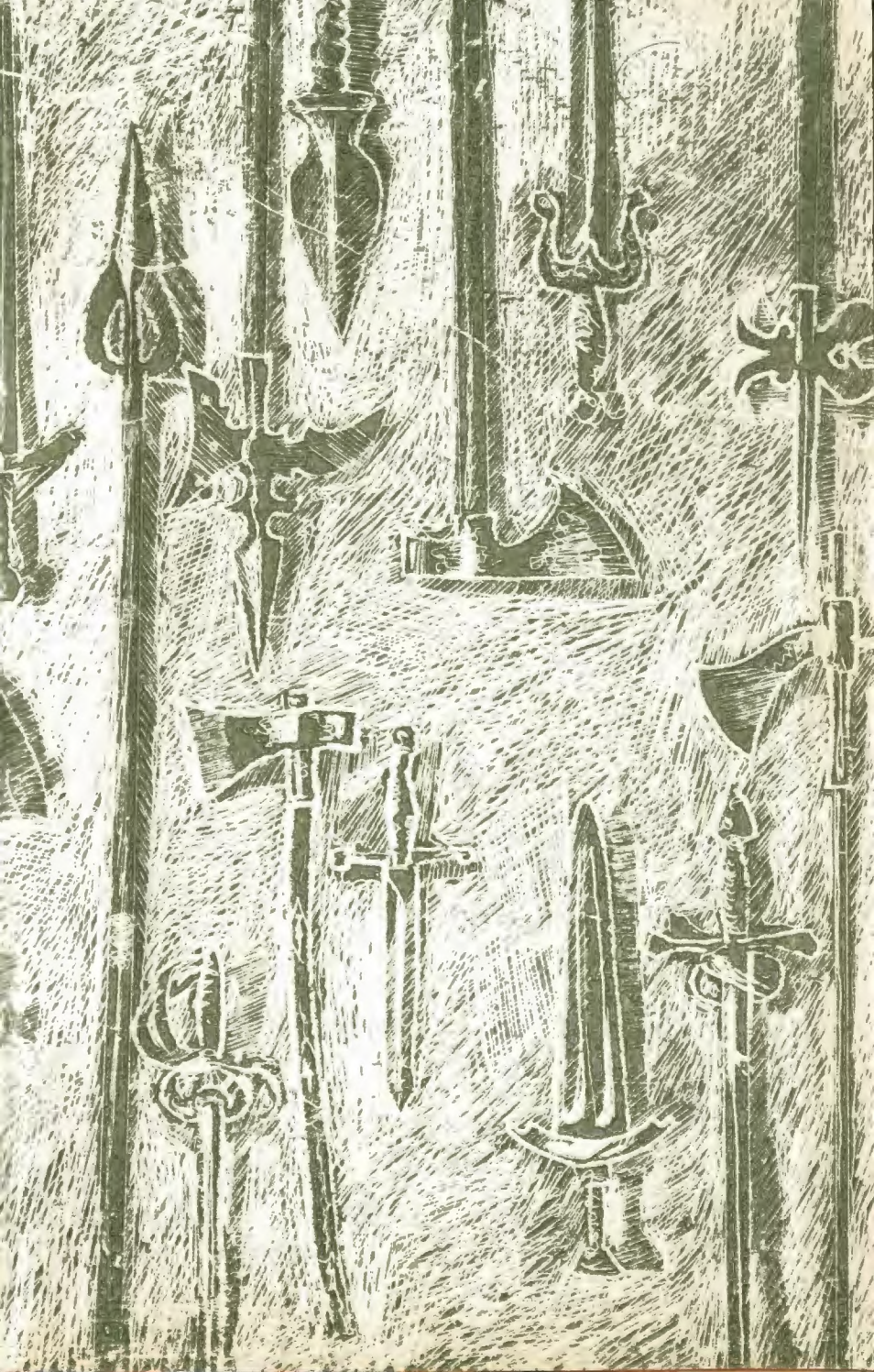


Э. ЭКШТЕЙН

НЕРОН











ДЕРИОН 8

Э. ЭКШТЕЙН

Нерон

А. РАМБО

Печать Цезаря



**Вниманию издателей и издающих
организаций!**



и название сериала **«ЛЕГИОН»** являются интеллектуальной собственностью издательства «Octo Print» и охраняются законом об авторском праве.

Любое несанкционированное издательством использование логотипа и названия сериала считается противоправным и будет преследоваться по закону.

Художник

Ю.А. Станишевский

Ответственный редактор

В.М. Мартов

Составитель и редактор

С. А. Смирнов

**Издание осуществлено по заказу
компании «Octo Group Inc.»**

ISBN 5-85686-014-4 (Т. 8)

ISBN 5-85686-005-5

© Ю.А. Станишевский
Рисунки. 1993

© «Octo Print.»

Редакция, составление,
оформление,
название серии. 1993

Нерон



Текст печатается по изданию:
Э. Экштейн, «Нерон», пер. с немецкого
Спб., 1887

Новая редакция «Octo Print» 1993

Редактор Смирнов С.А.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА I

Три солдата римской городской префектуры вели по Кипрской улице пленника. Молодому человеку двадцати трех лет был вынесен смертный приговор: рука палача должна была обезглавить его, а затем закопать на выгоне, где погребали преступников.

Прохожие, встречавшие конвоиров и их жертву, останавливались и смотрели им вслед. Бледное, но, однако, решительное лицо несчастного возбуждало участие к нему даже в легкомысленных римлянах. Казалось, внезапное сострадание овладело этим народом, на глазах которых каждый год тысячи гладиаторов истекали кровью и умирали на арене цирка и который считал лучшей на свете музыкой предсмертные хрипы жертв. Женщины особенно сокрушались о красивом Артемидоре. Правильные, словно высеченные из мрамора черты лица, темные, мечтательные глаза с черными ресницами, благородный лоб и роскошные волосы — все в нем напоминало величавого Нехо, жреца бога Пта, очаровывавшего знатных римлян как своим прорицательским искусством, так и своей привлекательной наружностью.

Артемидор был также уроженец Востока. Он родился в далеком Дамаске, был куплен в Иерусалиме сенатором Флавием Сцевином и вместе с ним прибыл в семихолмный город. Скоро получив свободу, он служил своему бывшему господину казначеем, чтецом и библиотекарем и сделался уже почти его доверенным во всем, когда внезапно неожиданный переворот разрушил мирное течение его жизни и бросил его во власть ищеек.

Чем ближе становилась плаха, к которой солдаты вели юношу, тем медленнее и тяжелее двигался он, и

начальник конвоя должен был не раз обращаться к нему со строгими упреками.

Был чудный октябрьский день. Рим казался плавающим в жидком золоте. Красная листва винограда, с видневшимися из-под нее темными гроздьями, одевала стены садов или вилась вокруг развесистых вязы. Улицы дышали весельем и свежестью. Мужчины, приобдрясь, расправляли плечи, а женские лица сияли особенной красотой и привлекательностью.

Так, по крайней мере, казалось бедному осужденному, который скоро должен был расстаться с этим прекрасным миром.

Куда девалось его равнодушие к смерти, еще так недавно наполнявшее его сердце, подобно предвкушению лучшего, недоступного человеку бытия?

Взглянув на колеблющиеся от ветерка пурпурные лозы, он вспомнил красивую девушку, стыдливо зардевшуюся, когда однажды он украшал ее таким венком в блаженном уединении тенистого парка, принадлежавшего его господину.

— Хлорис! Хлорис! — со страстной мукой вздохнул он.

Какое несчастье, что образ возлюбленной предстал перед ним как раз в то мгновение, когда он нуждался в непреодолимой силе духа и презрении к жизни, чтобы показать, с какой радостью и светлой надеждой последователь Сына назарянского плотника идет по стопам своего Спасителя.

Как ни старался он забыть о прошлом, оно вставало перед ним во всем блеске минувшего счастья.

Он увидал Хлорис лишь несколько недель тому назад в доме Кая Кальпурния Пизо, где она играла на девятиструнной гитаре и пела радостную любовную песнь Алкея. Это было ее первое появление в полной опасных соблазнов столице и, в то же время, ее первый триумф. Все рукоплескали ее мастерской игре и чудному голосу.

Находившийся в свите своего господина, Флавия Сцевина, Артемидор был очарован и с этого мига мысль о ее любви не покидала его.

Но рядом с этой мыслью, у него возникла другая, более возвышенная: спасение ее души! После незабвенного мгновения, когда он впервые поцеловал ее уста, в нем возгорелось страстное желание спасти погибавшую. В глазах верующего юноши она должна была погибнуть, если ему не удастся просветить ее небесной истиной, открытой Иисусом Христом.

И Артемидор с таким же рвением старался овладеть ее душой, с каким он раньше добивался ее сердца.

К сожалению, его усилия были напрасны.

Хлорис знала жизнь только с ее лучшей стороны. Мир представлялся ей душистым увеселительным садом, предназначенным исключительно для счастья и наслаждений. Верная своей природе, гречанка пугалась всего сурового и мрачного; учение Христа, требовавшее воздержания, отречения от земных благ, было недоступно ей, проникнутой лучезарным культом древнегреческих богов. Прекрасная певица пожимала плечами, улыбалась, наконец объявила Артемидору, что он ей надоел и, после долгого неприятного спора, на все его доводы решительно произнесла с насмешкой: «Никогда!»

После этого «никогда», он в гневе оставил возлюбленную. Гнев его был направлен не на нее, — ведь она неповинна в том, что злой дух так опутал ее безрассудное сердце, — но на коварство старых богов, сохранивших еще такую власть даже над самыми чистыми и благороднейшими из смертных, несмотря на пришествие Спасителя.

Вот что было причиной его осуждения на позорную смерть: обвинение в хуле на государственную религию...

Но быть может, постигшее его несчастье было наказанием, ниспосланным на него единым истинным Богом? Быть может Он хотел уничтожить его за упорство в любви к насмешливой Хлорис?

Все эти мысли беспорядочно толпились в его мозгу и, задыхаясь, он боролся с охватившими его чувствами. Он попытался молиться.

— Блаженны гибнущие за учение Христа, — дрожащими губами прошептал он и замолк.

Солнечные лучи золотым потоком заливали дорогу, в лицо ему пахнул благоуханный ветерок и, громче всяких спасительных истин, в замиравшем от страха сердце его раздался вопль:

— Горе твоей цветущей юности!

Сияющая вокруг него теплом и жизнью природа еще сильнее обостряла сознание грядущей участью.

«Умереть так, вдали от нее!.. — беспрерывно проносилось в его пылающей голове. — Вдали от нее, вдали от нее!..»

Да, неумолимое Божество осудило его на величайшую из земных мук — глубокое отчаяние. Если бы он мог взглянуть в последнюю минуту в глаза возлюблен-

ной, какое это было бы утешение! Но умереть так,— значило умереть еще заживо!

«Вдали от нее! — звучало кругом него. — Вдали от нее!» Колени его подкосились и в глазах потемнело.

— Не шатайся! — сказал начальник конвоя. — Если уж ты должен умереть, то умри как мужчина!

Артемидор взял себя в руки. Слабость его прошла. Он перевел дух и спокойно и твердо пошел дальше.

Конвой свернул влево, по юго-восточному направлению от Кипрской улицы, и здесь их окружила такая густая толпа мужчин и женщин, по большей части бедно одетых, что стражники вынуждены были остановиться на несколько минут.

— Артемидор! — со всех сторон раздались голоса. — Будь тверд, Артемидор! Прощай, Артемидор! Не забывай твоих друзей! Молись за нас перед престолом Всевышнего!

Иные хватали связанные руки юноши и целовали их, другие торжественно затягивали жалобные гимны, в которых имя Иисус произносилось с особенным чувством.

Сквозь толпу протеснился высокий и худой пятидесятилетний человек, широкое, блестящее золотое кольцо которого выдавало его принадлежность к благородному сословию.

— Позволишь ли ты мне, — обратился он к старшему конвойному, — прежде чем свершится судьба, еще раз обнять осужденного?

Солдат нахмурился. Такое множество сочувствующих Артемидору, очевидно, внушило ему некоторое сомнение, и он не осмеливался грубо отказать этому мрачному человеку с величаво и грозно закинутой за плечо тогой.

— Поторопись! — нерешительно отвечал он. — Хотя я сотворен не из камня и железа, но если префект узнает об этом, мне будет худо.

— Никодим! — прошептал Артемидор, в то время как друг целовал его в лоб. — Какая страшная участь!

— Мужайся, сын мой! Будь тверд до конца! Твой поступок, может быть, безрассуден и опрометчив, но он, тем не менее, благороден. Счастливая юность не знает, что спокойная рассудительность ведет к цели гораздо вернее, нежели гнев и увлечение!

— Ты прав, — отвечал Артемидор. — Вы все смотрели в будущее с такими радостными надеждами, что, быть может, мне, как одному из младших, не подобало это... Но Хлорис, заслуживающая ненависти, возлюб-

ленная Хлорис всему виной с ее ужасным неверием. Я почти лишился рассудка. Все мои убеждения были тщетны! И когда, возвращаясь от нее, я увидел в атриуме отвратительных идолов с их насмешливыми улыбками...

— Молчи! Ты бездумно раздражал римское общество. Здесь никого не оскорбляют за веру. Мы можем и будем тихо и осторожно следовать по пути, ясному для последователей Евангелия. Только без бурь, без насилия! И ты, дорогой Артемидор, был бы участником с таким трудом составленного мной союза. Я не могу утешиться, теряя тебя.

Юноша выпрямился.

— Как? Ты сожалешь обо мне? Но разве это не высшая божественная милость — победоносно умереть за учение Назарянина?

— Твой пример не пройдет бесследно, Артемидор,— успокоительно прошептал Никодим.— Но ты мог бы жить, жить...

Слова Никодима были прерваны внезапным смятением среди народа.

— Император! — раздались тысячи голосов и все взоры обратились по направлению Porta Querquetulana, откуда медленно приближались роскошные носилки с пурпуровым балдахином. Их несли на шестах из позолоченного кедрового дерева шестеро рослых, белокурых сигамбров в ярко-красных одеждах.

Широкие занавеси были отдернуты. На подушках восседала гордая, величественная женщина — Агриппина, мать императора, а возле нее юноша поразительной красоты, с большими, мечтательными глазами и полным, выразительным ртом.

Начальник конвоя вздрогнул, увидев его. Он знал, как неприятны были императору напоминания о всем том, что шло вразрез с его спокойным, ясным характером и в особенности, как его волновали суды и их жестокие последствия.

«Фаракс, ты попался! — сказал себе солдат.— Если префект узнает об этом, твоей спине придется испытать лозы центуриона! Конечно, это только случайность, но слуга префекта расплачивается и за капризы судьбы...»

— Император! — вскричал Никодим.— Он пройдет в двух шагах от тебя! Проси помилования, Артемидор!

Толпа раздвинулась. Никодим схватил за руку молодую блондинку, с глубоким состраданием смотрящую на осужденного. Девушка вопросительно взгля-

нула на него. В уме Никодима, должно быть, пронеслась блестящая мысль, потому что лицо его озарилось неожиданной радостью, а почти торжествующее выражение губ, казалось, говорило: «Это удастся!»

Наклонившись к девушке, он быстро прошептал:

— Актэ, ты видишь! Само небо указывает нам путь! Если ты еще сомневалась в том, что план мой приятен Господу Иисусу Христу, то эта чудесная встреча должна убедить тебя. Слушай, чего я требую от тебя! По моему знаку ты выйдешь вперед, бросишься императору в ноги и спасешь отважного Артемидора!

— Я сделаю это! — отвечала Актэ. — Молись, чтобы цезарь внял мне!

— Надеюсь на это, — прошептал Никодим. — Только говори так же горячо и искренно, как ты чувствуешь! Ведь тебе жаль цветущей юности, которую безжалостно погубит топор палача?

Актэ молча вздохнула, пристально и робко смотрела она в пеструю толпу.

«Как она прекрасна и молода! — подумал взволнованный Никодим. — Другой такой нет в целом Риме... Это должно удался, непременно должно!»

— Да здравствует император! — раздавалось все ближе и ближе. К этим крикам теперь присоединились звучные голоса конвойных, римлян и большей части назарян. — Честь и слава императору! Да здравствует Клавдий Нерон, отрада человечества!

Император сделал знак своим сигамбрам, и носилки остановились. После бури приветственных криков, на которые Нерон отвечал приветливым движением руки, наступило полное безмолвие.

— Вот несчастный! — обратился он к Агриппине. — Позволишь ли, дорогая мать, спросить у солдат, какое его преступление?

— Делай, как желаешь, — отвечала императрица. — Властителю мира несомненно подобает вникать даже в мелочи, встречающиеся на его пути.

— Мелочи? — усмехнулся Нерон, смотря в глаза матери. — Человек в цепях; на его лице отразились страдание и отчаяние... Нет, дорогая мать, ты говоришь так не от сердца! Неужели достоинство императора требует такого же невнимания к несчастью его подданных, какое можно оказать участи вот этой розы, падающей из твоих прекрасных волос?

И изящным жестом он поправил цветок, выскользнувший из-под блестящей диадемы, которая удерживала огненно-красное покрывало Агриппины.

— Кого ведете вы и в чем провинился он? — благосклонно продолжал Нерон, обращаясь к начальнику конвоя.

— Повелитель, — ответил солдат, — это отпущенник Флавия Сцевина.

— Как? Нашего друга, вечно юного сенатора?

— Его самого.

Нерон пристально посмотрел на юношу, стоявшего с опущенными глазами.

— В самом деле, я узнаю его... Это Артемидор, который однажды в парке развешивал перед нами рукописи Энния... Флавий Сцевин так расхваливал тебя, твои качества и ум. А теперь я не понимаю!

— Повелитель, — снова заговорил солдат, — он осужден законом. Один из рабов застал его поносящим домашних богов и затем свергнувшим их с цоколей.

— Артемидор, — обратился Нерон к юноше, — правда это?

Осужденный поднял свое прекрасное, бледное лицо с лучезарным взглядом.

— Да, повелитель, — твердо отвечал он.

— Знал ли ты, — со спокойной строгостью продолжал император, — что оскорбление домашней святыни наказуется смертью?

— Смертью, в смысле закона — да!

— Что же побудило тебя презреть этот закон?

— Любовь к истине.

— Каким образом?

— Ваши лары и пенаты ложные божества, я же верую в истинного Бога, о котором учил Иисус Христос.

— Ты назарянин?

— Да, повелитель!

— Это было известно твоему высокому покровителю Флавию Сцевину?

— Да, повелитель!

— Он преследовал тебя за это?

— Нет, повелитель.

— Так веруй во что ты хочешь и предоставь другим веровать, во что они хотят. Согласен ты со справедливостью этого требования?

— Иисус Христос завещал нам распространять спасительное Учение и бороться против ложных богов.

— Пусть так! Борись — но только духом! Можно ли убеждать поднятыми кулаками? И разве брань — философский аргумент? Поистине, ты заслужил твое наказание, Артемидор...

Лицо старшего конвойного выразило огорчение. Он был почти уверен, что Клавдий Нерон своей императорской властью отменит исполнение приговора. В этом случае, лоза центуриона, естественно, должна была спокойно оставаться в шкафу. Вместо этого, против всякого ожидания, цезарь одобрял и находил заслуженной казнь, казавшуюся варварской и устарелой даже самому Фараксу и его товарищам! Дело принимало неприятный оборот.

Между тем, повинувшись знаку Никодима, из толпы стремительно выбежала Актэ и упала на колени перед носилками императора. С невыразимой грацией подняв цветущее личико к властителю мира, она воскликнула, вложив в свою мольбу все чары женского обаяния:

— Помилования, повелитель! Помилования моему брату!

Молодой император с изумлением и удовольствием смотрел на стройную фигуру девушки, устремившей на него страстно молящий взгляд. Сама императрица-мать не могла подавить мимолежного сочувствия к ней, и на суровом, гордом лице ее мелькнула мягкая улыбка.

— Я так и думал,— сказал тронутый император.— Тот, у кого есть такая прелестная сестра, может поступать дурно вследствие необдуманности или заблуждения, но не может быть дурным человеком.

Он забылся на несколько мгновений, наслаждаясь ее красотой, а потом, схватив руку Агриппины, заговорил с пафосом театрального актера:

— Третьего дня был день твоего рождения! Я обыскал всех ювелиров среди двух миллионов населения этого города, чтобы создать нечто, достойное тебя! Но нашел одну лишь эту жалкую диадему. Драгоценная сама по себе, она все-таки давит твою божественную голову подобно обручу из коринфского металла. Теперь судьба посылает мне высший дар! Во славу твоего дорогого имени, возлюбленная мать, я пользуюсь своим правом освобождения и прощения.

Он приказал конвойным подвести осужденного к носилкам, между тем как Актэ удалилась, бросив на императора горящий, полный признательности взгляд.

— Ты слышал,— произнес Нерон,— я дарую тебе помилование! Отведите его обратно в дом Флавия Сцевина и передайте о происшедшем моему превосходному другу! Скажите, что я прошу его посадить преступника в заключение на восемь дней. Тебе же, юноша, совету ю быть благоразумнее и осторожнее!

Повторяю: если римские боги кажутся тебе призраками, то поклоняйся Изиде или Гору, или кому знаешь, но обуздай твой невоздержный язык и не оскорбляй чувств квиритов!

Губы юноши дрогнули, будто, несмотря на милость императора, он все-таки хотел возражать ему, но сдержавшись, он скрестил на груди руки и едва слышно произнес:

— Благодарю, повелитель.

Солдаты префекта с обрадованным Фараксом во главе, тотчас сняли с него цепи. С этой минуты с ним начали обращаться вежливо и почтительно, и Фаракс поздравил его крепким рукопожатием.

В доме Флавия Сцевина освобожденный встретил восторженный прием: весть о милости к нему императора еще раньше долетела сюда. Сцевин лично принял его в остиуме. Раб же, с такой поспешностью донесший о неосторожном поступке Артемидора, уже за несколько дней перед тем был подарен кому-то впадшим в глубокое огорчение сенатором.

ГЛАВА II

Императорские носилки двинулись дальше среди восторженных криков толпы.

Нерон и Агриппина возвращались из дома Афрания Бурра, начальника преторианской гвардии, некоторое время страдавшего лихорадкой. По отзыву врача, болезнь была не опасна, но влиятельному префекту гвардии следовало оказывать особенное внимание.

Когда носилки и их военная свита покинули Кипрскую улицу, мысли императрицы снова обратились к больному Бурру.

Ее мучило тайное недовольство: чем более она убеждалась в народной любви к некогда обожаемому ею сыну, тем сильнее пробуждалась в ней ревность к столь опасному сопернику. Она старалась освободиться от гнета опасений, думая лишь о том, что могло бы вернуть ей обычную самоуверенность. Начальник гвардии Бурр и бывший воспитатель Нерона Сенека до сих пор с непоколебимой верностью поддерживали ее, когда дело шло о руководстве молодым императором, о ведении государственных дел в ее духе и о внушении ее сыну, что она, Агриппина, есть первое лицо империи, он же, — только второстепенное, на основании естественного закона сыновнего долга.

И если, таким образом, Бурр был ее мечом, а Люций Анней Сенека — щитом, то к чему ей тревожиться из-за ропота или одобрения народа? Что ей за дело до темных, тайных слухов, которые, — она чувствовала это так же, как чувствуют взор враждебного наблюдателя, — повсюду переходили из уст в уста? Лучшего префекта, чем Бурр, она не могла желать: он восторгался ее красотой, был признателен за каждую милостивую улыбку, ибо более всего был поглощен сознанием своего долга и заботами о общем благе. При этом, он понимал, что опытная, способная женщина принесет государству больше пользы, чем едва созревший, мечтательный юноша...

— О чем ты задумалась, мать? — спросил император по-гречески. — Ты не замечаешь поклонов сенаторов...

— В самом деле? Я не видала никого...

— Нам встретился Тразея Пэт со многими клиентами. Я кивнул ему; ты же не только не ответила на его привет, но даже как бы намеренно скрылась за занавеской.

— Тебе так показалось, — возразила Агриппина. — Хотя та рассеянность прощительна матерям, непрерывно занятым благом своих сыновей. Я думала о твоей будущности и, сказать правду, она сильно заботит меня.

— Заботит? Почему? Разве у ног моих не лежит цветущий мир? Разве я не цезарь? Да, клянусь этим ясным небом, я могу разлить счастье до самых отдаленных стран, до тех пределов, где в море еще белеет римский парус! Народ мой любит меня! И сейчас, слышала ты, как из тысячи уст, подобно горному потоку, вырвался оглушительный благодарственный клик? «Да здравствует император!.. Да здравствует Клавдий Нерон, отрада человечества!» О, мать, для меня эти клики звучат подобно праздничной песни бессмертных богов!

Агриппина, вспыхнув, медленно покачала величественной головой.

— Тем не менее, я озабочена, мой мальчик. Ты кажешься мне слишком мягким, слишком уступчивым для ужасной обязанности цезаря. Твой невинный взор не замечает страшного коварства, таящегося кругом в закоулках отвратительной зависти. Ты должен с ранних лет править с подобающей суровостью. Хороша народная любовь, но страх народный еще лучше и вернее. В этом, как и в других важных вопросах, доверься моей искушенности! Допусти меня действо-

вать, когда я нахожу это благоразумным! Думаешь ли ты, что так почтительно преклоняющиеся перед твоим величием сенаторы действительно проникнуты им? О, как мало знаешь ты римских аристократов! Они думают: Нерон — цезарь только по нашей милости! И если они замыслил мятеж и тому представится случай, они свергнут тебя так же, как перед тобой свергли Клавдия!

— Клавдия? — с изумлением повторил император.

— Да, твоего отчима, моего высокого супруга. Его отравили члены верховного совета.

— Сенека рассказывал мне другое, — возразил Нерон.

Агриппина побледнела, но внешне сохраняя спокойствие, спросила:

— Это любопытно. Тогда, как тебе известно, сенат воспретил всякое расследование, и одно это...

— Расследование было бы бесполезно, так как отравителя нельзя было обличить. Неужели ты в самом деле не догадываешься?..

Императрица затрепетала.

— Нисколько не догадываюсь, — отвечала она, закрывая глаза.

— Так тебя щадили, — продолжал Нерон. — Преступление совершено личным врагом Клавдия, отпущенником Евтропием.

— Это мне известно, — прошептала Агриппина, — но я полагала, что он был лишь орудием гораздо более высоких лиц.

— Нет! Император Клавдий пригрозил привлечь его к ответственности за многочисленные кражи и преступник поспешил предупредить своего судью. Он исчез бесследно раньше, чем его могли схватить. Но оставим этот грустный предмет. Припоминая предостережения Сенеки, я вижу, что вовсе не должен был касаться его.

Он задернул занавеску, как бы желая защитить чувствительную страдальицу от слишком яркого света. Потом, нежно положив голову на плечо матери, глубоко вздохнул и внезапно спросил ее:

— Как понравилась тебе белокурая девушка, прошившая помилования отпущеннику Флавия Сцевина?

— Я не обратила на нее внимания.

— По-моему, она очаровательна! Это детски невинное лицо, эти чудные глаза! Она немного напомнила мне статую Психеи в Акеронии, но в тысячу раз красивее и живее!

— Твои слова звучат вдохновенно. К сожалению, этот тон удается тебе только там, где он не совсем уместен. Если бы ты хоть на половину восхищался так Октавией!

— Мать, я всегда был тебе покорным сыном, и теперь я послушаюсь тебя, тем более, что и покойный супруг твой желал этого союза...

— Послушаюсь! Точно это наказание — жениться на знатнейшей и прелестнейшей девушке столицы!

— Для других, быть может, это было бы неизмеримое счастье,— сдержанно произнес император.— Я не оспариваю ее достоинств, но не умею оценить их. Октавия слишком совершенна для меня.

— Неужели ты уже дошел до этого своим умом? Тебе, конечно, нравилась бы больше цветочница из Аргилета или порхающий мотылек вроде арфистки Хлорис, которой недавно вы расточали такие преувеличенные похвалы? Вас всегда тянет туда, где не обойтись без грязи, как утверждает Энный.

— Не будем ссориться, дорогая мать! Я женюсь на Октавии, буду уважать ее и обращаться с ней соответственно ее положению. Но любить ее меня не могут принудить сами бессмертные боги. Эрос не является по приказанию: он приходит без зова и часто как раз туда, откуда рассудок должен был бы изгнать его. Для него добродетель и высокие качества не имеют значения. Рабыням случалось возбуждать большую страсть, чем принцессам и, как уверяет Сенека, высшее право при этом всегда принадлежит рабыне.

— Пустяки!

— Не пустяки, позволь тебе сказать! В этом случае рабыня представляет собой выражение воли природы; природа же правдивее и искреннее человеческих условий.

— Так Сенека и этому учит тебя? — с досадливым смехом спросила Агриппина.— Прекрасно! Кажется, своей блестящей теорией он совершенно разбивает мой практический опыт.

— Ты несправедлива к нему. Подобные размышления лишь при случае он присоединяет к разъяснению трагедий. Но нет ни малейшего повода сердиться. Мое сердце свободно. Благодаря моему превосходному воспитателю, я научился воздержанию. Разгул друзей всегда служил мне лишь предметом наблюдений. Я никогда не любил и даже сомневаюсь, способен ли к любви. Тем не менее, повторяю тебе, что я отнесусь к нашей Октавии со всей нежностью,

на которую имеет право супруга императора. Довольна ли ты, мать?

— Не совсем. Меня огорчает это равнодушие. Октавия создана для тебя. Ее ясное, неподкупное суждение будет большой подмогой мечтателю, ежедневно рискующему забиться в философских размышлениях или в водовороте художественной фантазии. Тебе известен мой образ мыслей. Стоя — прекрасная школа, но она не должна истощать наши силы. Искусство имеет пленительную прелесть, но цезарь не должен превращаться в художника. Мечтай, но не забывай жизни! Строй театры, покровительствуй модным поэтам, бросай деньги, как овес, под ноги певцов и музыкантов, но сам не сочиняй и не декламируй! Не пой, подобно изнеженной девчонке! Предоставь струны певцам! Рука, держащая скипетр, не создана для перебирания струн. Вот мой взгляд на предмет, и Октавия будет влиять на тебя именно в этом направлении.

Нерон улыбнулся.

— Ты мне совершенно напомнила те дни, когда еще драла меня за уши после моих шалостей в Субуре с сыновьями пекарей и харчевников!

— Уж не хочешь ли ты запретить мне порицать выращенного мной сына? — с раздражением спросила Агриппина. — Кто сделал тебя тем, что ты есть? Моя всемогущая рука возвела тебя на престол. Пока ты признаешь это, твой добрый гений будет охранять тебя. Но попробуй возмутиться, и я сомневаюсь, чтобы у тебя хватило силы удержаться на такой головокружительной высоте.

— Ты волнуешься совершенно напрасно. Возмутиться? Ты первая произнесла это отвратительное слово. Я прекрасно знаю, что никого, даже цезаря не бесчестит повиновение советам матери. Одного только мне хотелось бы, так как мы уже заговорили об этом, чтобы ты несколько смягчила и умерила форму этих советов. Вряд ли ты могла бы желать, чтобы кто-нибудь имел право посмеяться над чересчур детской покорностью Нерона.

— Я не знаю, какой повод имеешь ты... — начала императрица с гневом.

— Так, так, мать! Но я вижу, тебе тяжел наш разговор. Прекратим его. Напрасно я упомянул об этом. С течением времени все сгладится само собой.

— Но ведь ты видишь, — живо возразила она, — как я далека от личного честолюбия! Иначе, разве я

так хлопотала бы о твоей женитьбе? Брак этот, естественно, уменьшит мое влияние. Октавии, как императрице, принадлежит значительная роль, которая...

— Могу себе представить,— усмехнулся Нерон.— Она взором Аргуса будет наблюдать за тем, чтобы никогда и нигде не была пропущена ни одна церемония, несмотря на всю ее нелепость в моем понимании. Она будет требовать, чтобы я каждое утро молился обожаемому Ромулу, чтобы повесил себе на шею амулет с изображением волчицы и голодных близнецов, и чтобы я помогал ей верить, когда в каждом событии она будет видеть непосредственное участие Юпитера и его нежной Юноны.

— А если бы она и делала все это, что тут худого?

— Худого? — повторил император.— Ну, я не знаю, что ты думаешь о божественной истории наших предков. Ты никогда не рассказывала мне о них, даже когда я был еще мальчиком. Полагаю поэтому, что наши взгляды одинаковы.

— А именно?

— Я не верю народным сказкам.

— Да? А чему же ты веришь?

— Разве это можно сказать сразу? Вместе с Сенекой я верю в существование могучей первобытной силы, скрытого, всеобъемлющего и всепроницающего духа. Дух этот живет и в нас; его воля и его чувства — суть наша воля и наши чувства! Но богов таких, каким поклоняется народ, я считаю вымыслом, необходимым для того, чтобы служить основой разрушающейся нравственности нашего общества.

Агриппина долго молчала.

— Знаешь, сын мой,— сказала она наконец,— ты находишься на самом верном пути к государственному преступлению, в точно таком же роде, как преступление только что помилованного тобой Артемидора.

Нерон улыбнулся.

— Ты имеешь слишком низкое мнение о моей сметливости. Я умею отделять императора от частного лица. Перед сенатом, конечно, я остерегусь легкомысленно выражать мои философские убеждения. Там я буду говорить о многолюбимой Минерве не хуже глупейшего из глупцов. Но это нисколько не помешает мне находить скучным, если и дома, как муж, я вынужден буду продолжать ту же комедию, и если даже в спальне со мной будет жрица, верящая в вола Европы! Чудесный бог был этот эллинско-римский Зевс, переплывший море с дочерью царя Агенора для

того, чтобы произвести на критских лугах Миноса и Радаманта!

Агриппина пожала плечами.

— Верить в Юпитера, как в царя вселенной, и принимать за чистую монету фантазии греческого народного поэта — две разные вещи.

— Истинно верующий верует и в фантазии,— возразил Нерон.— Если бы было иначе, то художественные изображения таких глупых эпизодов считались бы оскорблением божества.

— Боюсь, ты сам стараешься во многом убедить себя,— заметила императрица.— Но впрочем, я благодарю тебя за откровенность. Увы! К чему отрицать? Я вижу, ты сын своей матери. Ты угадал, что боги и мне вполне чужды. Я верю только в один Рок, предначертавший наш жизненный путь с начала до конца. Кроме того, я верю еще и в то, что некоторым избранныкам дается сила украшать этот путь цветами там, где простые смертные находят одно лишь терние. Я верю в силу духа, иногда принуждающего Рок к уступкам. Для этого необходимы ясность и спокойствие ума, умение пользоваться всеми преимуществами и постоянство в преследовании цели. Все эти качества у тебя только в зачатке. Октавия же скоро разовьет их.

— Октавия? Тихая Октавия?

— Она тиха только в твоем присутствии. Самая заурядная девушка и та догадалась бы, что ты не разделяешь ее чувств. Она любит тебя всем сердцем, ты же, несмотря на дружелюбие к ней, еще ни разу не говорил с ней голосом любви. От этого, сын мой, она чувствует себя стесненной, почти уничтоженной. Если бы не боязнь возбудить общее внимание и не надежда победить наконец твое равнодушие, она давно порвала бы все.

— Это было бы самое лучшее! — задумчиво прошептал Нерон.

— Это было бы твоей гибелью! — вскричала возмущенная Агриппина.— Признаюсь, что мне давно уже до муки смертной наскучила твоя ледяная холодность к Октавии. Я требую, чтобы ты переменялся. И так как тебе не удается роль жениха, то я позабочусь поскорее соединить вас. Быть может, она больше понравится тебе, когда ты будешь обладать ею и вполне узнаешь ее.

— Мать! Ведь мне дан был еще год сроку.

— Это слишком долго!

— Но ты дала слово.

— Я беру его назад. Пожалуй, эту зиму еще ты можешь философствовать и сочинять греческие трагедии. Но как только запахнет весной...

— Тогда придет конец моей весне! — вздохнул император. — Ну, мы еще поговорим об этом!

Носилки остановились перед дворцом.

Сильно расстроенная, императрица-мать отправилась в свои покои. Нерон же тотчас забыл неприятный разговор. В колоннаде приветствовал его Сенека и пригласил прогуляться с ним до обеда. Под высокими деревьями палатинских садов мудрый учитель рассказывал своему любознательному ученику чудесные истории о новом духовном, пока еще тайном и неприметном движении, под именем назарянства распространившемся с востока на запад, и представлявшем в основах своего учения многие неожиданные точки соприкосновения с римской философией; вследствие чего оно несомненно заслуживало изучения такими свободными от предрассудков людьми, какими были Нерон и Сенека.

ГЛАВА III

Прошла неделя.

В Палатинском дворце только что окончился завтрак.

Агриппина сидела на цветастом диване под деревьями и беседовала с небольшой кучкой избранников, среди которых, по обыкновению, первенствовал государственный министр и философ Люций Анней Сенека, блиставший умом и остроумием. Возле него стоял начальник гвардии Бурр, впервые после выздоровления явившийся во дворец и наслаждавшийся лицемерием императрицы, подобно тому, как служитель Митры наслаждается сиянием солнца. Тут же находился и племянник Сенеки, юный поэт Лукан, язвительные эпиграммы которого на римских аристократов послужили ему у императрицы лучшей рекомендацией, чем самые усердные похвалы дяди.

Пока Агриппина, окруженная своим двором, очаровывала тех, кто не находил эту вполне расцветшую, гордую женщину чересчур повелительной и мужественной, Нерон, позабыв серьезные увещевания своего ученого воспитателя, потихоньку исчез.

В молодом императоре, противореча утонченно воспитанному и проникнутому ученостью Нерону, про-

буждался иногда и другой, менее выпященный человек, который, под влиянием веселого поверенного, Софония Тигеллина, по временам брал верх над первым и делал робкие попытки практического ознакомления с жизнью и ее разнообразными наслаждениями. Софоний Тигеллин из Агригента сделался известен императору в Circus Maximus, как обладатель лучших, всегда побеждавших рысистых лошадей. Нерон пригласил его в императорский пульвинарий, поздравил, и был так восхищен пленительной любезностью блестящего наездника, что между ними скоро завязалась искренняя дружба. Так как Тигеллин прежде уже занимал место сверхштатного военного трибуна, то Нерон сделал его офицером преторианской гвардии и назначил состоять при своей особе. Сенека хотел было воспротивиться этому, потому что тридцатилетний Тигеллин слыл самым отчаянным покорителем сердец во всей столице, да и вообще внушал к себе очень мало доверия. Но Нерон так напирал на его светские и артистические таланты, что Сенека уступил и только решил с удвоенной бдительностью присматривать за императором.

Софоний Тигеллин впервые пробудил в Нероне склонность к приключениям и, благодаря своей неистощимой изобретательности, сумел заставить его перейти от желания к действиям. Императора разбирало иногда страстное желание затеряться в толпе, не будучи узанным, делать занятные наблюдения, подмечать различные сцены и случаи и отыскивать настоящее, неспорченное человечество. Сначала выходы императора были крайне невинного свойства, и Софоний Тигеллин опасался слишком откровенно играть роль соблазнителя. Он дорого заплатил бы за это, если бы какие-нибудь слухи дошли до Сенеки. Но он твердо надеялся, что со временем все устроится само собой. То, что теперь казалось почти мальчишеством и ребячеством, должно было, несмотря на предостережения Сенеки, постепенно переродиться в безумную жажду удовольствий и наслаждений, а тогда Софоний Тигеллин становился господином положения. Стоя, вытесненная учением жизнерадостного Эпикура; философская мудрость Сенеки, превратившаяся в тяжкое бремя; он, Тигеллин, приветствуемый как желанный избавитель из этого моря принуждения и скуки: вот план, после осуществления которого до высшей власти оставался только один шаг!

Само собой разумеется, что лукавый агригентец держал про себя все свои соображения. Он притворялся слугой юношеских желаний императора, он, Тигеллин, вкусивший всего и еще мальчиком предававшийся необузданному разгулу! Нерон не понимал разницы между ходом своего развития и развитием агригентца, и верил ему. Он считал избалованного, чувственного кутилу таким же свежим, каким был сам. Он позабыл ту безотрадную жизнь, что он вел после смерти своего отца Домиция Аэнобарба до тех пор, пока второй брак Агриппины, на этот раз — с самим императором Клавдием, не сделал его известным всему Вечному Городу. Кроме того, артистической натуре Нерона казалось вполне естественным влечение взора к картине, ума к мысли, а пламенному воображению к приключениям.

Солнце стояло еще высоко над пологой горой Яникула, когда Нерон и Тигеллин, окутанные легкими плащами, вступили на многолюдное Марсово поле.

Десять германцев из гвардии, для избежания всякого подозрения взятые из Палатинума, уже сидели в одной из больших таверн близ Капитолия и пили за здоровье императора и его веселого поверенного красное сигнинское вино.

День был чудный. Складчатое покрывало, накинутое на головы Нерона и Тигеллина, как бы для защиты от солнечных лучей, скрывало их от прохожих, хотя в Риме, где каждый знатный гражданин выходил на улицу не иначе как с более или менее многочисленной свитой, ни одна душа не заподозрила бы в двух одиноких пешеходах таких высоких особ.

Император полной грудью вдыхал теплый, но при этом освежающий воздух. Над гигантскими деревьями, уже покрытыми осенними красками, сияло темно-голубое небо. Ухоженные дерновые лужайки блестящие зеленью. Мраморные статуи, бесчисленные роскошные лавки, колоннады и памятники казались залитыми необычайно ясным светом. По главной аллее двигался нескончаемый ряд носилок и пешеходов. Справа и слева, по проезжим путям неслись горячие кони из Каппадокии, узкокопытные скакуны из равнины Гиспалиса и храпящие пони. Кругом на хитро переплетенных дорожках, между лавровыми и миртовыми изгородями, теснилась пестрая толпа всевозможных сословий: тут были сенаторы в тогах с пурпуровой оторочкой, окруженные многочисленными клиентами и друзьями; знатные малоазийцы в выши-

тых золотом химатионах; черноволосые персы в высоких тиарах и искусно расшитых шальварах; цветущие гречанки в желтых диплоидионах; эфиопы и галлы, свободные и рабы, сборщики податей и щеголи, педагоги с их питомцами, торговцы горохом и украшениями, одинаково крикливо предлагавшие свои товары, предсказатели, матросы, солдаты городской когорты и инвалиды.

— Сознаешь ли ты, дорогой цезарь,— начал Тигеллин,— все благоразумие моего совета — жить, следуя влечениям твоего духа, предоставив тяжелые государственные дела этой превосходной чете Диоскуров, Сенеке и Афранию Бурру? Ты молод, цезарь! Ты должен сначала изучить многоголовое человечество, которым будешь управлять во всех его бесчисленных формах!

— Ты прав, Тигеллин,— отвечал император.— В самом деле, что стал бы я делать без Бурра и Сенеки? А главное: что стал бы я делать без тебя? Клянусь Геркулесом, тебе удастся хоть на несколько часов освободить меня из-под ярма моих императорских обязанностей. Я — цезарь, но прежде всего я — человек и повторяю с поэтом: для всего человеческого во мне бьется пламенное сердце!

Они достигли сверкающего мрамором пространства, где помещалась постоянная ярмарка. Всевозможные лавки и панорамы манили народ во все стороны. Площадки для метания дисков и игры в мяч сменялись харчевнями, кабачками с душистыми горами плодов. Дальше, на берегу Тибра, возвышались деревянные помосты, с которых пловцы, побившись об заклад, бросались в подернутую рябью реку. Повсюду разбросаны были тенистые деревья, высокие кустарники, яркие цветочные клумбы и статуи богов.

Цезарь и его спутник остановились перед полотняной, переплетенной серебряными шнурами палаткой египетского кудесника.

Кир — так, судя по надписи на верху палатки, звали кудесника,— только что прибыл из Александрии и уже сделался центром народного интереса.

Небрежно прислонившись ко входу, сидел длиннобородый человек, с равнодушной усмешкой смотря на массу толпившегося вокруг него народа.

Вдруг, точно озаренный внезапной мыслью, он поставил шести или семилетнего ребенка на так называемый магический треножник, покрыл его большой, в рост человека, остроконечной персидской шапкой из

бумаги, дотронулся до разукрашенной разными изображениями поверхности шапки своим жезлом из слоновой кости, и затем приподнял ее.

К неопisanному изумлению зрителей, ребенок бесследно исчез.

Затем египтянин вошел в палатку, куда двое курчавых эфиопских рабов, со смешными кривляньями внесли вслед за ним треножник с бумажной шапкой.

Народ громко выражал свое одобрение. Нерон также с большим воодушевлением хлопал в ладоши.

— Славный фокус,— тихо сказал он Тигеллину.— Благовоспитанному светскому человеку удивление неприлично; но спрашиваю тебя: имеешь ли ты хоть малейшее понятие, каким образом он делает это чудо?

Тигеллин пожал плечами.

— Если земля не состоит в союзе с этим египтянином,— отвечал он,— и если она втихомолку не раскрывает свои недра, чтобы поглотить ребенка, как некогда отважного Курция,— то я не могу найти объяснения.

На сколоченный помост вышел глашатай в желтой и красной одежде и три раза громко протрубил в свою звучную трубу.

Затем он пригласил благородных квиритов и квиритянок не медлить.

— Три сестерция! — оглушительно кричал он.— С вас берут по три сестерция для того, чтобы на целые полтора часа превратить вас в богов. Кир, мой увенчанный славой повелитель, звезда Востока, знаменитость Вавилона, Сузы и Александрии, друг азиатских царей, любимец всех народов от востока до запада приветствует вас и желает знать, предлагал ли вам кто-нибудь что-нибудь подобное за три сестерция? «Нет! — ответите вы.— Это возможно только для несравненного Кира!» Поэтому, опустите руку в складки вашей туники и добудьте жетон из слоновой кости, дающий вам право в течении полутора часов дышать воздухом Олимпа! Когда вторично зазвучит моя труба, бессмертный Кир начнет представление.

Пестрыми группами устремились зрители направо к столам, где трое рослых фризов, также в фантастических костюмах, продавали жетоны из слоновой кости. Нерон и Тигеллин последовали примеру толпы.

Давка была такая, что император скоро был оттеснен от Тигеллина.

— Друг,— по-гречески закричал Нерон через головы спешивших к столу молодых девушек,— если мы

разойдемся во время представления, то по окончании встретимся около клена Агриппы.

— Хорошо! — кивнул Тигеллин.

Палатка египтянина была необыкновенно вместительна. Сквозь продольное отверстие сверху в ширину триклиниума сильный свет падал на великолепно убранное помещение. Пол устлан был драгоценными ковры, которые издавна можно было принять за сирийские. Посредине возвышения, отделенного от публики бронзовыми цепями, стоял большой алтарь. Висевший позади него тяжелый занавес из тарентинской голубой шерсти медленно приподнялся, и из-за широких складок торжественно показался маг, между тем как снаружи снова затрубил глашатай.

Нерон — теперь уже намеренно — все дальше отходил от Тигеллина. Он встал впереди, довольно близко к бронзовым цепям и с ожиданием смотрел в блестящие глаза гордого египтянина.

Первое, что маг показал своей публике, был фокус, уже прославившийся в Александрии и называемый «Черная Эвридика». Он дал это имя из известного греческого предания черной голубице, которую он убивал и снова возвращал к жизни.

Пока он, на глазах толпы, разрывал на части испуганно бившуюся птицу, около императора раздавалось тихое восклицание.

Он обернулся.

Позади него стояла та самая белокурая красавица, которая просила его за Артемидора. Странно взволнованному юноше показалось, что он только сейчас увидел всю прелесть этого розового личика. Чудные, полуоткрытые губы, за которыми соблазнительно блестели белые зубки, дышали невинностью, страстью и вместе с тем радостью; выражение изумления и жалость смешивались в ее прелестных детских чертах.

А ее голос!..

В ушах Нерона еще звучало ее восклицание, и им овладело страстное желание заставить ее говорить, не смотря на все чудеса Египта и Вавилона. Тихонько и незаметно подался он назад. Место его было тотчас же занято другим. Он стоял теперь рядом с девушкой и с трепетом прошептал:

— Ты меня знаешь?

— Да, повелитель! — так же тихо отвечала она.

— Не выдавай же меня!

— Как повелишь.

— Ты одна?

Мгновение она колебалась.

— Одна, повелитель,— робко шепнула она.

— Как тебя зовут? — спросил цезарь.

— Мое имя Актэ.

— Родители твои живы? К какому сословию принадлежишь ты?

— Мои родители умерли. Отец был уроженец Медиолана, мать была гречанка. Оба были несвободные по рождению.

— Невозможно! Ты — рабыня?

— Отпущеница Никодима...

— Того, что иногда занимается философией с Сенекой?

— Того самого.

Среди зрителей раздался оглушительный шум.

— Отлично! Превосходно! — ликовала воодушевленная толпа.— Да здравствует Кир, любимец богов!

Удивительный фокус «Эвридика» окончился, но Нерон не видел его. Он стоял неподвижно, как очарованный, в немом созерцании поразительной красоты девушки. Какая из всех знатных римлянок могла сравниться с ней? Ни одна, ни даже сама Поппея Сабина, молодая жена Ото, по которой весь Рим сходил с ума! А Октавия, будущая императрица! Да, с точки зрения греческого скульптора, Октавия была, быть может, совершеннее, она обладала царственной размеренностью движений, но как холодно, напыщенно и безжизненно было все это в сравнении с распускающейся, благоухающей красотой этой рабыни по рождению!

— Невозможно! — повторил цезарь.— Как называешь ты себя, Актэ?

— Отпущеницей.

— Богиня,— прошептал Нерон, страстно сжимая ее руку.— Дитя, ты не знаешь, как ты бессмертно хороша!

— Повелитель, ты смущаешь меня... Я знаю, что сильные мира любят издеваться над бедными и беззащитными. Но я не могу и не смею думать, чтобы ты, благородный освободитель Артемидора, хотел насмеяться надо мной...

— Насмеяться над тобой? Я хотел бы на руках понести тебя, как сестру. Я завидую Артемидору, как мертвый живущему! Если тебе угодно, милое создание, отойдем отсюда в сторону. Там, у входа, на нас не будут смотреть, а мне нужно так много сказать тебе!

Она молча последовала за ним.

— Право, эта мысль не покидает меня,— душевно продолжал он.— Артемидор! Если бы можно было поменяться с ним!

— Я все-таки думаю, что ты смеешься надо мной! Ты, всемогущий повелитель, и Артемидор! Какая непреодолимая бездна!

— Конечно, но только счастье на его стороне! Артемидор имеет чудное право целовать твой лоб, заключать тебя в объятия... Как доволен и счастлив должен он быть, когда твои розовые уста прикасаются к его губам!

— Я не целуюсь с Артемидором,— твердо сказала девушка.

— Как? Не целуешь брата?

— Он не брат мне, с твоего позволения. Клавдий Нерон упустил из вида, что Артемидор уроженец далекого Дамаска, а отец Актэ — италиец.

— Но ты просила помилования брату...

— Да, повелитель — в смысле назарянского учения. По этому учению, все люди — мои братья.

— Так ты схитрила со мной!

— Право, нет! Спроси одного из наших, обманываю ли я тебя! Мы, назаряне, и в ежедневных сношениях называем друг друга братьями и сестрами, так как мы не признаем никаких различий, в глазах народа разделяющих нас. Мы даем это имя одинаково рабу и благородному, ибо мы все люди по рождению, рабами же, благородными и сенаторами делает нас или случай, или же насиле и несправедливость прежних поколений...

Цезарь блестящими глазами смотрел в ее прелестное лицо.

— Девушка,— произнес он, одурманенный ее обворожительной женственностью,— ты весенний цветок, а говоришь с мудростью пифагорейца. То, что ты сказала, не больше и не меньше, как самая суть философии, внушенной мне Сенекой. Ты глубоко пристыжаешь меня. Я считаю себя со своими воззрениями стоящим выше избраннейших, и вдруг нахожу едва расцветающую девушку, чувствующую то же самое, что и я, но выражающую эти чувства яснее и совершеннее, чем мой уважаемый учитель! Или это все сон? Или Платон с Сократом и Зеноном слились воедино, чтобы снова воплотиться в этом юном существе?

При последних вдохновенных словах императора лицо его озарилось внутренним огнем, облагородив-

шим его черты и движения. Большие глаза его впились в темно-голубые глаза Актэ. Полные, едва покрытые молодым пушком губы задрожали так красноречиво, что сама неопытность поняла бы волновавшее его чувство. Это было бурное, пламенное признание первой безумной любви. Но глаза, следившие за императором из толпы, конечно, нельзя было назвать неопытными; лукавый Софоний Тигеллин следил за сценой между императором и краснеющей девушкой с удовольствием учителя, видящего, как всходят посеянные им семена. Клавдий Нерон был теперь близок к тому, чтобы признать ослом заносчивого философа Сенеку и принять за правила жизни то, что доселе составляло лишь исключение.

Малютка с волнистыми белокурыми волосами и созданным для поцелуев ротиком была прелестна. Если бы Нерон так неожиданно не попался на удочку, быть может, сам Софоний Тигеллин не отказался бы... Теперь, конечно, об этом нечего и думать, но в сущности это все равно, так как Софоний Тигеллин мог выбирать среди красивейших и знатнейших, ему стоило лишь протянуть руку, и даже сама Пoppея Сабина готова была поднести некое украшение своему супругу... Да, да, в этом блестящий Тигеллин не сомневался, и намерен был вскоре заняться этим. Теперь же он был доволен, весьма доволен походом на Марсово поле; против всякого ожидания, Нерон отлично играл ему на руку.

Другая пара глаз, незаметно следивших за императором и его молодой собеседницей, принадлежала Никодиму. Его шпионы и лазутчики донесли ему, каким образом Тигеллин и Нерон намеревались провести время между завтраком и обедом. Он тотчас же поспешил с Актэ на Марсово поле и, увидев императора, быстро отошел в сторону, предоставляя все остальное сметливости молодой девушки. Актэ, прибывшая в Рим лишь несколько недель тому назад (до этих пор, она ходила за большой родственницей Никодима в Остии) в кругу назарян стала уже почти знаменита чудесной силой убеждения и успешностью своих попыток в обращении язычников; обращенные ею последователи Христа считались десятками. И неутомимый, пламенный Никодим решил достигнуть намеченной им великой цели уже не только через посредство Сенеки, но гораздо более прямым путем, сведя императора с увлекательно красноречивой проповедницей нового учения. Никодим, бывший глава крупного тор-

гового дома, познакомился с религией назарян во время одного из своих путешествий на восток. Смерть любимого сына укрепила в его жаждавшем утешения сердце убеждение в божественной истине христианства и когда эта вера победоносно извлекла его из бездны отчаяния после тяжелой потери, он начал всем сердцем стремиться к тому, чтобы спасительное учение восторжествовало над заблуждениями государственной религии Рима. Хорошо знакомый с философией Сенеки, которому в былые времена он оказывал значительные денежные услуги, Никодим с радостью видел внутреннюю связь между учением Иисуса и полным презрением к миру стоицизмом; на этом-то и основывалась его безумно смелая надежда обратить питомца Сенеки в последователя Сына назаретского плотника.

Актэ казалась ему созданной для того, чтобы быть его орудием, не только по ее горячему, сердечному красноречию, но и потому, что она — хотя он сам себе не хотел сознаться в этом, — была воплощением безукоризненной красоты и женственности. Она повлияет на ум Нерона, быть может, даже на его сердце, но что за беда, если на этот раз, в виде исключения всеспасительная вера проникнет на крыльях земной, скоропреходящей любви? Актэ ведь знает свой долг... В последнюю минуту она найдет в себе силу спасти свою добродетель от бурного потока страсти.

Так рассуждал Никодим...

В глубине же сердца и почти безотчетно для него самого шевелилась мысль: «А если бы и погибла одна эта овца, то погибель ее послужит во спасение всему стаду».

Безумец забывал, что из худа и позора никогда не выходит добра; он был не в состоянии беспристрастно оценивать ситуацию.

С почти демонической радостью смотрел он теперь на быстро возраставшую приязнь между его отпущенницей и Клавдием Нероном. Все это выходило удачнее, чем он смел когда-либо надеяться. На лице императора не было и следа легкомысленной шутливости, обыкновенно отражающей завязку известных отношений с красавицами низшего сословия; напротив, черты его скорее выражали почтительное сочувствие и почти робкое обожание. Если Актэ сумеет умно повести дело, то сердце этого богато одаренного природой юноши в ее руках уподобится мягкому воску.

Беседа между императором и отпущенницей продолжалась. Вдруг Нерон, не в силах преодолеть своих чувств, схватил за руки девушку и страстно прижал их к груди.

— Актэ,— сказал он,— ты уничтожила меня сладкой музыкой твоих речей, божественной прелестью и умом твоих синих глаз... То, что ты очертила лишь несколькими словами, пробуждает во мне могучие, необъятные образы! Будем друзьями, Актэ, настоящими, сердечными друзьями! Теперь только понял я стих юного Лукана, где он говорит, что всякое откровение исходит от женщины. Ты, Актэ, обладаешь чистотой и силой воли, у меня же есть власть. Мне стоит лишь поднять руку и все в мире изменится, подобно тому, как изменяются эти игрушки под волшебным жезлом Кира. Если мы мужественно будем поддерживать друг друга... О, как ты прекрасна, как божественна и очаровательна!

И он со страстной нежностью поцеловал кончики пальцев краснеющей Актэ.

Она старалась высвободить свои руки, и он выпустил их, уступая ее молящему взору скорее, чем ее усилиям.

— Приди ко мне в Палатинум,— продолжал Нерон.— Вот этот перстень откроет перед тобой все двери ко мне во всякое время. Сенека должен узнать тебя. Мне кажется, что ты глубже постигаешь великие цели назарянства, нежели Никодим. Согласна ты, Актэ?

Осторожно сняв перстень с печатью, он подал его девушке, как жених подает розу невесте.

— Благодарю, повелитель,— смущенно произнесла Актэ,— но внутренний голос говорит мне, что я не должна принимать твой перстень, и также, что мне неприлично переступать порог дворца.

— Пустяки! Если этого требует сам цезарь! А, ты боишься за твое доброе имя? Конечно, коварная злоба тем скорее бросается на свою жертву, чем она милее и прекраснее. Так приходи в сопровождении Никодима...

— Может быть, повелитель!

— Отчего ты не скажешь просто: да? Разве это не похоже на предопределение, что мы снова встретились здесь после того, как я впервые увидел тебя несколько дней тому назад, когда ты уже возбудила симпатию в моей душе?

Актэ сильно покраснела и как бы со стыдом, молча опустила глаза.

— Так ты придешь? — повторил император.

— Я посмотрю, могу ли я это сделать.

— Как ты пылаешь, Актэ! Или ты думаешь, что я хочу обидеть тебя? Ты будешь моей сестрой, моей любимой сестрой, иначе я умру от тоски. Понимаешь ли ты? Нерон протягивает тебе братскую руку, Нерон, чьей благосклонности униженно заискивают цари!

— О, я знаю цену этой благосклонности! — звучным, сильным и убежденно-радостным голосом отвечала девушка.

Нерон был в опьянении.

— Так решено, дорогая, прелестная! Как удачно придумал Тигеллин привести меня на Марсово поле как раз теперь! Это стоит всех сокровищ империи! Ведь он, глупец, человек минуты, враг мысли, но тем не менее он дал мне больше, чем Сенека со всей его мировой мудростью!

Оглушительные возгласы одобрения и вслед за тем громкий звук труб возвестили конец представления.

— Повелитель, — шепнула Актэ, заметив что Нерон собирается следовать за ней к выходу, — если ты желаешь мне добра, то оставь меня. Меня могут заметить, и ты не подозреваешь, какое жестокое и бессердечное осуждение может пасть на меня.

— Хорошо, Актэ! Видишь, я уже покорен тебе почти как раб. Но ты возьмешь перстень? Я прошу тебя от всего сердца!

— Хорошо... — с волнением отвечала она.

Тяжелый золотой перстень скользнул на ее средний палец и пришелся впору, точно был сделан нарочно для нее. Странное чувство овладело ею: это было наполовину радость, наполовину грусть и предчувствие грядущей беды. Ей казалось, что на нее надета цепь, которую уже не разорвет никакая земная сила.

ГЛАВА IV

Поспешно протиснувшись сквозь толпу, Актэ вышла из палатки, незамеченная Никодимом. Ее влекло непреодолимое стремление остаться в одиночестве под впечатлением удивительной встречи.

При мысли о том, как ее господин будет расспрашивать ее, как начнет со всех сторон истолковывать каждое слово, сказанное императором, ею овладевал несказанный страх. Ей казалось, что чужая, бесчув-

ственная рука будет рыться в ее драгоценнейших сокровищах. Прежде чем это случится, она хотела хоть короткое время быть их единственной обладательницей, хотела без помехи насладиться только что пережитым и собраться с мыслями.

Почти полчаса ходила она по отдаленным окраинам Марсова поля, с сомнением поглядывая на перстень, надетый на ее палец. Все это казалось ей сном.

На ее руке перстень с императорской печатью, данный ей самим всемогущим цезарем! Не походило ли это на сказку древних пелазгов? В те далекие времена, облеченные эфирным светом Уранионы спускались к дочерям человеческим и приносили небесные громовые стрелы к ногам пастушек Эты. Но здесь, в этой действительности шумного Рима, где повсюду раздавалось вовсе не сказочное бряцанье преторианского оружия, здесь, на берегу Тибра, где все дышало такой новой, полнокровной жизнью — это было непостижимо!

Взор ее устремился в сторону Вечного Города...

Несмотря на прозрачность октябрьского дня, южный горизонт подернут был красноватой дымкой. Вдали виднелись залитые солнцем храмы Капитолия; справа от него высились башни Палатинума, резиденция цветущего юноши, властителя всего этого необозримого моря построек, всей Италии, всего мира, — властителя, так горячо, любовно, безгранично доверчиво говорившего с ней, рожденной рабыней!..

Она вздохнула.

— Если бы он был одним из этих жалких рабов, таскающих камни для строительства! — печально думала она. — Я отдала бы все, что имею, за его выкуп; я работала бы целые годы, если бы имущества моего было мало для этого, а потом...

Она закрыла глаза.

Тихий голос внезапно произнес ее имя.

Перед ней стоял человек лет около сорока, в одежде вельможи, с видимым усилием старавшийся придать ласковое и приветливое выражение своим сверкающим серым глазам.

— Актэ, — сказал он, — ты бродишь одна, подобно тоскующей Деметре. Смеет ли новый друг предложить тебе свое сопровождение?

— Господин, я не знаю тебя.

— Этому легко помочь. Мое имя, полагаю, окажется тебе менее чуждым, чем мое лицо. Я Паллас, доверенный императрицы.

— Паллас! — вскричала она с испугом, точно совесть ее была не совсем чиста.— Имя это всем известно и... страшно.

— Оно должно быть страшно только тем, кто не оказывает моей повелительнице должного почтения, не признает мудрости ее действий, противится ее славным целям, или каким-нибудь иным способом грешит против божественной императрицы. Я возвысился милостью Агриппины; благодаря ей я достиг своего настоящего положения, но признательность и верность я все-таки считаю высшими добродетелями!

В глубокой задумчивости смотревшая на перстень императора, Актэ внезапно откинула со лба свои чудные волосы и почти смело спросила:

— Откуда знаешь ты меня, и что нужно тебе?

— Я видел тебя недавно, когда цезарь помиловал отпущенника Флавия Сцевина. Я был во главе императорской свиты.

— Да? Я не заметила тебя.

— Это не очень лестно. Но ты была так поглощена своими мыслями, что я прощаю твою невнимательность. Быть может, мне понравилось именно твое увлечение. Ты показала мне олицетворением сладкого спокойствия посреди вечно мятущейся столицы. Коротче: ты очаровала меня...

— К чему говоришь ты мне это?

— Станный вопрос! К чему амфоре говорят о жажде? Я люблю тебя, Актэ, и молю богов, чтобы они расположили ко мне твое сердце.

— Мольбы твои напрасны,— отвечала девушка.— Я не могу любить. На такой вздор у меня нет ни склонности, ни умения.

— Ты называешь вздором блаженнейшую и единственную отраду жизни? Актэ, Актэ, что говоришь ты? Ты не можешь любить с твоими мечтательно-страстными глазами и прелестными устами, созданными для сладких поцелуев? Обманывай кого-нибудь поглупее меня!

— Я не могу любить,— печально повторила она.— А если бы и могла, то неужели ты думаешь, что я согласилась бы опозорить себя?

— Опозорить? Разве любовь Палласа позорна?

— Для тысячи других, наверное, нет. Поверь, несмотря на мою молодость, я знаю свет и его порочность. Я знаю, как думают римляне о девушках-отпущенницах, знаю, что имя это почти равнозначно разврату и легкомыслию... Многие, очень многие почли

бы себя счастливыми разделить свой грех с тобой; ты могуществен и богат, и на возлюбленной Палласа должен отразиться блеск правящего миром добра. Я же презираю подобное возвышение, которое в действительности есть только позор, презираю потому, что прежде всего отвращение к таким поступкам лежит у меня в крови, а к тому же Иисус Христос Назарянин, которому я предана всем сердцем, завещал нам добродетель и чистоту мыслей в жизни.

Паллас помолчал.

— Ты не сказала мне ничего нового, Актэ,— медленно произнес он наконец.— Можно было сразу догадаться, что девушка, просящая помилования назарянина, сама назарянка. Никодим подтвердил мне это. Мне известно также твоё отношение к нему; его я знал, встречаясь с ним иногда у Сенеки... Итак, твоё гордое возражение меня нисколько не удивляет, но в то же время и не убеждает.

— Почему?

— Потому что ты отвергаешь то, чего не испытала, Актэ! Я вижу тебя в третий раз. Третьего дня, в доме Никодима, я имел полную возможность наблюдать за тобой... Невидимый тобой, я стоял в таблинуме с седоволосым чудаком. Подобно молодой лани двигалась ты по каменным плитам; ты говорила с рабами и для каждого находила приветливое слово; ты поливала осенние розы, кормила голубей зерном и хлебными крошками; один луч присущего твоей душе света ты уделила даже на долю старой больной собаки, лежавшей у бассейна и при виде тебя завивавшей хвостом. Тогда я решился при первом же случае сказать тебе, как я завидую животному, находящемуся в блаженной близости от тебя; сказать тебе... Но что с тобой?

— Ничего, ничего! — с трудом произнесла Актэ.— Пустая мысль... воспоминание...— Она закрыла глаза рукой. Теперь, когда она поняла, что Паллас говорил ей об истинной, настоящей любви, вдруг с поразительной ясностью и живостью перед ней возник образ цезаря в ту минуту, когда он в первый раз восхищался её красотой; и вместе с этим образом в душе её поднялась такая сладко-мучительная боль, что она едва удержалась на ногах. Она скоро оправилась и Паллас с возрастающим жаром продолжал:

— Надеюсь, не мои слова испугали тебя? Или я слишком увлекся? Но в моем возрасте уже не тратят на ухаживанье недели и месяцы. Говорю прямо: Пал-

лас, доверенный императрицы, страшный Паллас, как ты сама назвала его,— хочет иметь тебя своей женой. Слышишь, Актэ? Законной женой, а не любовницей! Что ты ответишь ему?

— Что я благодарю его,— опутив глаза, прошептала она,— и прошу простить меня, если я все-таки отвечу — нет.

— Ты говоришь в лихорадочном жару!

— Нисколько, господин! Именно ясность моих мыслей и придает мне мужество отказаться от этой чести. Такая девушка, как я, не подходит знатному вельможе...

Он покачал головой и положил правую руку на плечо Актэ, устремив сверкающий взор на ее дрожавшую от волнения стройную фигуру.

— Должен ли я сказать тебе, что ты несомненно подходишь мне? Должен ли я унизиться перед тобой? Разве тебе не известно, что я сам рожден несвободным? Антония, мать императора Клавдия, много лет тому назад подарила мне свободу и собственными усилиями я занял положение, которому теперь завидует весь Рим: поверенного божественной Агриппины.

— Да, я знаю,— возразила девушка.— Тем не менее нас разделяет бездна. Какую жалкую роль стала бы я играть в блестящем обществе Палатинума? При одной этой мысли у меня кружится голова.

— Ты не можешь бояться сравнения ни с кем.

— Нет, нет, мне страшно подумать об этом. И к тому же, господин, ведь я уже сказала тебе, что у меня есть душа и нет сердца. Я тебя не люблю, а сделаться твоей женой без любви — значило бы обмануть тебя.

Паллас нахмурился. Он не ожидал такого прямого отказа и гордость его была уязвлена.

— Девушка,— сказал он, помолчав,— ты поступаешь, как безумная. Я держал в моих объятиях дочерей сенаторов, не особенно церемонясь, а ты отказываешься разделить мою жизнь и положение как моя законная жена? Твое ребяческое упорство так же безумно, как моя неслыханная решимость жениться на тебе. Но я не могу изменить этого: ты очаровала меня с первого взгляда и теперь, когда вместо того, чтобы отдаться мне со слезами благодарности, ты отвергаешь меня, я еще яснее чувствую, что не в силах отказаться от тебя. Подумай, Актэ! Поверенный императрицы ведь не первый встречный, и тот, кто не умеет схватить свое счастье, когда оно само дается в руки и, быть может, всю жизнь будет оплакивать это легкомыслен-

но пропущенное мгновение. Итак, пока прощай! На большой дороге меня ждет моя свита.

И многозначительно склонив голову, он исчез за миртовой изгородью. Между тем уже вечерело. Час ужина давно миновал. Массы оживленно двигавшихся по широким аллеям носилок и пешеходов исчезли и наступившая тишина, заменившая этот шум, ощущалась еще явственнее при горячем, красно-золотистом вечернем освещении.

Актэ незаметно дошла до Элийского моста; пройдя по выложенному мрамором боковому настилу, она достигла середины моста и остановилась, опершись о перила. Отсюда, с вершины главной арки, ежегодно бросались в воду сотни людей, которым наскучила жизнь, потерявшая для них всякий смысл или изнемогших в непрерывной борьбе с судьбой... Внизу со страшно-заманчивым рокотом шумели и пенились желтоватые волны, вздымались и падали, подобно мерному дыханию живого существа. Одна за другой вырывались они из-под квадратных опор моста и, постепенно успокаиваясь, катились дальше, сливаясь наконец в однообразной глади широкой реки.

— Как это утешает! — прошептала Актэ, подпирая лоб ладонью.— Волны приходят и уходят, и даже самые бурные из них все-таки сглаживаются и мирно текут в море!

Долго в раздумье смотрела она на одно место, где около устоев выше всего взлетали пенистые, крутящиеся струи, пока наконец ей почудилось, что она и мост бесшумно и гладко поплыли назад. Это было невыразимо сладкое, дремотное ощущение, так же благодатно освежившее ее потрясенную недавними событиями душу, как глубокий сон освежает утомленное тело. Солнце уже зашло, когда Актэ вспомнила о своих обязанностях и направилась домой.

Повернув в юго-восточном направлении, минут через сорок она достигла *Vicus Longus*, «Длинной улицы», отделявшей виминальский холм от квиринальского.

На едва приметном косогоре первого из этих холмов возвышались красивые постройки дома Люция Никодима, который нисходя в четвертом поколении от лакедемонян, по своим нравам и обычаям был чистокровным римлянином.

Актэ боялась, что пылкий патрон встретит ее укорами за продолжительное отсутствие, так как еще недавно, верный священной суровости назарян, Нико-

дим выговаривал ей за то, что она в сумерки стояла со служанкой в остиуме. К тому же нетерпеливое ожидание могло также раздражить его.

Но вместо этого при виде ее Никодим просиял. Он дожидался ее в атриуме и, встретив на пороге, провел мимо таблинума в перистиль. В столовой горели масляные лампы. Уже часа два тому назад окончился обед семьи, состоявшей из хозяина дома, его жены, дочери и семи бывших рабов и рабынь, освобожденных своим господином: учение Спасителя так резко противоречило идее рабства, что даже человек такого устойчивого характера, как Никодим, не осмеливался защищать учрежденного государством невольничества. К тому же все домочадцы были обращены и крещены им самим и уже поэтому он не мог оставить на них цепи, духовно разбитые таинством.

— Ты должна быть голодна, — с почти нежной заботливостью сказал он. — Вот идет Лесбия с блюдами. Она оставила для тебя горячее кушанье, Актэ. Ешь, пей, а потом рассказывай.

Актэ опустилась на край застольной софы, на которой Никодим всегда возлежал за обедом.

— Ешь, ешь! — ласково повторял он. — Ты, наверное, совсем измождена. И руки твои холодны, как лед. Вот чудесное везувианское вино... Я нарочно для тебя достал его из погреба... Оно оживит тебя, Актэ. У тебя такой утомленный вид.

— Действительно, я утомлена, — сказала она, поспешно поднося кубок к губам. — Прости, что я не тотчас вернулась с тобой из палатки египтянина...

— Напротив, — усмехнулся Никодим, — я благодарен тебе за то, что ты усердно и решительно принялась за предстоящее тебе святое дело. Я видел, как цезарь относился к тебе. Если ты будешь благоразумна, то Никодим и вместе с ним Божественный Галилеянин победят раньше, чем наступит второе полнолуние.

Все еще с трудом владевшая собой, Актэ печально покачала головой.

— Нет, господин! — глухо произнесла она. — Не сердись на меня, ради Господа Иисуса, но это невозможно...

— Что невозможно?

— Чтобы я... Чтобы я обратила императора Нерона.

— Ты уже обратила его, если только умело воспользуешься тем, что судьба дает тебе в руки. Он был олицетворением доброты и милости...

— Именно поэтому. Он даже пожал мне руки и предложил быть его дорогой сестрой...

— Что такое?

— Да, это были его собственные слова. Он также приглашал меня в Палатинский дворец и то, что я ему говорила, кажется ему точным отголоском его задушевных мыслей...

— Но ведь это поразительное торжество, Актэ! Это значит покорение Рима, водружение креста Господня на стенах Капитолия...

— Это конец наших радостных надежд,— прошептала Актэ.— Господин, я должна рассеять твоё последнее сомнение: я не увижу больше императора!

— Ты помешалась, девушка?

— Слава Богу, нет! Давно уже я не находила в душе моей такой ясности, как теперь. Я буду откровенна и прямодушна, так как я многим обязана тебе. Ты не должен думать, что Актэ из одного лишь упрямства разрушает то, что ты задумал так умно и так благородно. Я... я...

Она запнулась. Лицо её вспыхнуло жгучим румянцем стыда, между тем как Никодим смотрел на неё бледный и с раскрытым ртом.

— Я чувствую,— сказала она наконец,— что не могу выполнить назначенной мне тобой роли, не потеряв себя. Вы все утверждаете, что я умею убеждать лучше, чем наши красноречивейшие пресвитеры... Не знаю, ошибаетесь вы или нет, но мне ясно одно, что цезарь смотрел на меня иными глазами, чем кто-либо из всех обращенных мной в христианство...

— Ну, что же следует из этого?

— Просто то, что он... Что он полюбил бы меня...

— Тем лучше!

— Нет, не лучше, потому что и я полюбила бы его. Да я его уже люблю, господин!

— Скоро же это сладилось! — злобно засмеялся тощий Никодим.— Но к чему мне твои глупые признания? Люби его сколько угодно, но исполняй свой долг распространения нашей божественной веры!

— На это у меня не хватает силы.

— Презренная! — вскричал Никодим.— Не завещал ли нам Христос отречься от всего мирского ради вечного спасения? Не повелевает ли Он умерщвлять нашу плоть и обуздывать греховные побуждения, отвращающие нас от стези праведности и добродетели?

— К этому-то я и стремлюсь,— возразила Актэ.— Если бы я хотела повиноваться моим желаниям, то

теперь же пошла бы к нему... Быть с ним, в его объятиях, на его груди, полной таких возвышенных, прекрасных и благородных чувств,— вот к чему влечет меня моя греховная, попирающая всякие обязанности, воля. Но, так как последовав этому влечению, я погрузилась бы в бездну позора и унижения, то решение мое непоколебимо. Никакая земная сила не заставит меня вновь увидеться с человеком, близость которого грозит мне погибелью.

— Но если он сам прикажет тебе прийти?

— Скорее я умру, чем послушаюсь его. Цезарь властен над многим, но он не может помешать умереть тому, у кого на это хватит мужества.

Никодим сидел ошеломленный. Потом, внезапно протянув дрожавшие руки, он с рыданием воскликнул:

— Актэ! Во имя Спасителя, пролившего за нас Свою кровь, не упорствуй! Не разрушай идеи, величайшей со времени смерти Христа! Не разбивай будущности назарянства и его дивной, божественной, спасительной деятельности!

— Мир не может спастись грехом!

— Актэ! Могилкой твоей матери, умершей в блаженном веровании в милость Господню...

— Могилкой моей матери! — воскликнула тронутая девушка.— Твое упоминание об этой святой превращает мою твердость в непоколебимость!

— Так ты не хочешь? Несмотря на мои просьбы и на мои слезы?

— Нет, тысячу раз нет!

Лицо Никодима исказилось. С губ его готово было сорваться ужасное проклятье... Тонкие пальцы его сжимались, как когти хищной птицы, в груди колокотало, покрасневшие глаза метали полные демонической ненависти взгляды.

Но он мгновенно овладел собой и, еще дрожа, налил в чашу вино и выпил его сразу, как человек, умирающий от жажды.

— Ты не хочешь,— беззвучно сказал он,— но цезарь хочет... и Никодим также... пусть же мелкий камешек попробует задержать низвергающийся в долину великий обвал. Ты знаешь меня. Ступай спать, бедная дуручка! Завтра, быть может, к тебе вернется рассудок!

Он вышел из триклиниума; шаги его звучно отдались в колоннаде; дверь тихо скрипнула, и все замолкло.

Удрученная Актэ осталась одна в наполненной ароматом вина столовой. Угрозы ее господина с убийственной ясностью звучали в ее мозгу. Да, она его знала. Несмотря на всю его доброту и справедливость, он был способен на всякое насилие, если встречал противодействие тому, что он считал целесообразным и необходимым. Она сидела и думала. Все тяжелее и тяжелее давило ее предчувствие близкой беды.

Вдруг ей почудилось, что из глубины тускло освещенной столовой какой-то голос говорил ей: «Беги, беги, или ты погибла!»

Безумный страх овладел ею. Цезарь хочет... Никодим хочет... Но она не хочет и потому должна бежать... Одно только бегство могло спасти ее от греха, от борьбы с собственной слабостью и от злобы Никодима.

Тихо, как преступница, прокралась она в свою спальню. Дрожа всем телом и торопясь, точно спасение ее зависело от каждой тающей минуты, начала она собирать самые необходимые вещи. Золотую цепь, наследие матери, она надела на шею как талисман, накинула на себя плотную верхнюю одежду, затушила лампу и выскользнула из дома.

На утро испуганные домашние тщетно повсюду искали и звали Актэ. Постель ее оказалась несмятой. На двери была приколотая полоска пергамента с короткой надписью: «Прощайте все!» Ни по малейшему следу невозможно было угадать, куда скрылась девушка. Никодим, терзаемый сомнением и угрызениями совести, молчал о происшествиях последних дней, и ничего не подозревавшая семья его терялась в догадках, отыскивая причины этого неожиданного бегства. Потеря общей любимицы была для всех большим горем. Ее невинная веселость радовала и веселила домочадцев Никодима; блестящие белокурые волосы ее как бы озаряли весь дом небесным сиянием; ее цветущая наружность, голос, звонкое пение — все это оставило за собой пустоту и сокрушение, подобное сокрушению внезапно ослепшего человека, для которого навеки угасло солнце... Никодим утешал горько плакавшую жену, говоря что-то сквозь зубы о «девичьих капризах», «экзальтации» и о том, что «она скоро возьмется за ум», а затем отправился в префектуру заявить о происшествии. Оказалось, что в отделении префектуры, куда он обратился с этой целью, по случаю оказался и Фаракс, начальник конвоя, ко-

торый неделю тому назад вел на казнь осужденного Артемидора.

Они узнали друг друга. Услыхав в чем дело, Фаракс воспламенился. Он провел Никодима прямо к префекту и, говоря о милости, лично оказанной молодой девушке Клавдием Нероном, многозначительно заметил, что цезарь наверное огорчится, если беглянку постигнет какая-нибудь неприятность.

Префект протянул руку Никодиму.

— Мои военные и гражданские когорты обучены недурно, — сказал он. — Мы разыщем девочку, будь в этом уверен! Впрочем, я готов поставить на заклад моего лучшего скакуна, что раньше чем мы начнем серьезно выслеживать ее, она вернется сама!

Однако она сама не вернулась и когортам префекта также не удалось выследить ее.

Две недели разыскивали Актэ, прибегнув даже к помощи настоящих охотников за рабами, но все напрасно.

Нерон, снедаемый тайной тоской, как бы из участия к безутешному Никодиму назначил значительную награду за розыск девушки и приказал своим преторианцам оказывать всевозможную помощь городским когортам. Но наконец и он должен был примириться с мыслью, что прелестная, очаровательная Актэ, наполнившая его сердце такой божественной музыкой, исчезла навеки и бесследно.

ГЛАВА V

Зима прошла, и снова наступила весна.

Яркое апрельское солнце обливало землю живительными лучами божественных небес, лучами, превратившими аристократические кварталы Рима в один цветущий сад. Источники Aqua Claudia и Marcia пенились изобилием вод. Форум и Священная дорога казались покрытыми снегом, столько по ним двигалось гуляющих в белых одеждах. Народные поэты вдохновлялись новыми фантазиями; юноши убирали своих избранниц пурпуровыми розами; девушки мечтали о будущем счастье.

В противоположность своим счастливым подданным, суровый и мрачный цезарь Клавдий Нерон прогуливался в колоннаде в сопровождении своего советника и бывшего наставника Сенеки.

Разговор их часто прерывался продолжительными паузами, и тогда министр украдкой старался загля-

нуть под опущенные ресницы императора, чтобы разгадать поглощавшие его мысли...

Как изменился молодой цезарь после посещения им палатки египетского кудесника! Бледность его лица говорила о тайной, никому не ведомой внутренней борьбе, о вечной работе пытливого мысли, хотя стремившейся к творчеству, но до сих пор еще не проявившейся ни в какой определенной форме. Действия рождаются лишь из божественной надежды, из веры в их необходимость и мужественного убеждения. Быть может, и сердечная тоска также подсекала крылья молодого императора.

Искусство, доселе бывшее для него радостью жизни, внезапно сделалось ему ненавистно. Творения его любимых авторов лежали в библиотеке неразвернутыми; ни эпос, ни лирика не привлекали его; позабытая арфа печально пряталась под лавровыми венками, поднесенными ему истинными и притворными почитателями его таланта, и давно уже замолкли его веселые песни.

Со времени исчезновения Актэ, он всецело посвятил себя философии и добросовестному обсуждению того, что Никодим вместе с Сенекой представляли ему как высшую задачу истинно великого духом правителя.

В этом направлении уже были приняты некоторые меры...

Воспоминание об Актэ, подобно ободряющему гению, повсюду сопровождало мятущуюся душу цезаря. Ведь и она исповедывала религию назарян: смел ли Нерон сомневаться в ней?

Однако он сомневался; сомневался менее, быть может, в спасительности великого переворота, которого от него ожидали, чем в возможности его выполнения.

Да, если бы его сердцу говорила Актэ, живая Актэ, с ее сладким, вкрадчивым голосом, все его колебания растаяли бы, как вешний снег. Но этого не могло сделать одно только воспоминание о ней и хотя оно наполняло его ум священным уважением, которое мы чувствуем к дорогим мертвецам, но вместе с тем, порождало в нем глухую, подавляющую и угнетавшую его тоску. Роковая загадка!

Какой злобный демон похитил у него звезду его жизни? Как и зачем? На эти вопросы он не находил ответа, а Никодим, знавший о причине бегства Актэ, считал за благоразумнейшее молчать.

Шаги императора и его ближайшего советника зловещими звуками отдавались в пустынной колоннаде. Сюда не показывался ни один раб, ни один преторианец: все чувствовали, что перед наступлением бури благоразумнее держаться в стороне.

— Ты кажешься очень расстроенным, повелитель,— заметил Сенека, приметив, что Нерон с каждой минутой становился все мрачнее.

— Может быть,— отвечал он.

— Так последуй совету опытного друга, который тебя любит и безмерно гордится тобой!

Нерон вздохнул. Написанное на его юношеском лице утомление составляло разительную противоположность ясному спокойствию и довольству, разлитым в старческих чертах его спутника, верившего в свою силу и цель.

— Если ты хочешь победить твое мрачное настроение,— продолжал Сенека,— то принудь себя обратить мысли на то, что далеко от предмета твоей заботы!

— Это легко сказать,— возразил цезарь.— Вздернутый на колесо Иксион, вопреки всей философии, не будет в состоянии думать ни о чем, кроме своих страданий!

— Так ты страдаешь, цезарь? Я думал, что тебе не так трудно будет сдержать данное мне обещание. Неужели ты так скучаешь по беседам с Тигеллином, по уличным приключениям и ночным попойкам?..

— Может быть. Тигеллин был моим верным товарищем, преданным другом. Несправедливо, что я начал так пренебрегать им.

— И теперь, как прежде, ты можешь доказать ему твою благосклонность; но конечно, он не годится в товарищи цезарю, задумавшему столь великое и славное дело... Дорогой сын! Я понимаю, что у юности есть свои права... Но все-таки: величие императора, как бы молод и цветущ он ни был, основано на умеренности. Несомненно, что строго придерживаясь начертанных мной и одобренных тобой основ правления, ты приносишь жертву; но жертва эта необходима, если ты желаешь достигнуть намеченной тобой цели: освобождения человечества. Никто не поверит твоему сочувствию народным страданиям, если ты сам будешь жить в пучине безумных наслаждений.

— Жил ли я так когда-нибудь? — с горечью спросил цезарь.

— Поистине, нет! Ты предоставил это сенаторам и выскочкам, утопающим в золоте, в то время как бедняки и несчастные не имеют одежды, чтобы прикрыть свою наготу.

— Ну так в чем же обвиняешь ты меня?

— Я только хотел сказать: решившись на великое дело, ты не должен отступать перед связанными с ним неприятностями и огорчениями: ни простота твоей частной жизни, ни изумление прежних друзей, ни упреки твоей супруги Октавии, ни даже постоянное неудовольствие Агриппины...

— Разве я выказал слабость в этом отношении?

— Ты исполняешь свой долг настолько это тебе возможно. Но все-таки раздаются голоса, утверждающие, что было бы лучше для общего блага и приличнее для достоинства римского императора, если бы он немного отстранил императрицу-мать от занятий государственными делами.

— Так говорит Сенека, совместно с Агриппиной воспитавший Клавдия Нерона?

— Прости за смелость; но я должен сказать это. Благороднейшие люди Рима разделяют мое мнение. До сих пор все еще шло сносно, но я опасаясь, что наступит время, когда Агриппина станет на нашей дороге. Она есть совершеннейшее воплощение именно того нефилософского мировоззрения, против которого мы восстаем. Мы стремимся к равенству и справедливости, она же вырывает непроходимую бездну между богатым и бедным, знатным и простым, свободным и рабом. Хотя незнакомая с назарянским учением, она его пламенная противница...

Император остановился.

— Сенека,— странно сдержанным голосом спросил он,— ты действительно веришь, что век наш созрел для гигантских планов Никодима?

— Созрел ли? Разве заурядная толпа когда-нибудь созревает для великих исторических переворотов? Только мыслящее меньшинство трудится над осуществлением новых идей, большинство же, естественно, оказывает им сопротивление. Но разве спрашивают больного ребенка, кажется ли ему целебное лекарство сладким медом? Так и ты, не смотри на эгоизм сенаторов, не желающих ничего знать о своем человеческом родстве с рабами и мещанами! Насильно влей им в рот жгучее лекарство, и пусть они ревут, как Филоктет!

— Да, да, это одно уже было бы торжеством,— задумчиво сказал император.— Я ненавижу сенаторов...

— С некоторыми исключениями, конечно; например, Флавий Сцевин...

— И Тразея Пэт,— докончил цезарь.— Это истинные люди и мыслители, которых я почитаю столько же, сколько тебя, мой дорогой Анней.

— Не почитай меня, а лоби! — отвечал старик.

Нерон молча пожал ему руку.

— Эти немногие,— продолжал Сенека,— поддержат нас в борьбе, а их влияние имеет больше значения, чем общее противодействие их неспособных товарищей. Философия на престоле — это величайшая из когда-либо существовавших идей. Я не верю в благочестивые, мечтательно-трогательные вымыслы Востока, которые нам рассказывает Никодим, но смысл их верен и, при настоящем положении вещей, они составляют единственно возможный путь к тому, чтобы сделать доступными и понятными народу самые возвышенные истины стоиков, вместе с основами и нашего нового учения.

Нерон опять остановился.

— В этом-то я и сомневаюсь,— сказал он.

— Как? После того, что вчера только сообщил нам Никодим о палестинских христианах, о их презрении к пыткам, спокойствию и готовности к смерти, которые они проявляют в борьбе с их иудейскими преследователями?

— Да, дорогой Анней! Я не остался бесчувственен к этому красноречивому описанию, но в то же время духом моим овладело тяжкое угнетение. Как мне выразить это? Меня пугает до глубины души мировоззрение, совершенно пренебрегающее земной жизнью, отрицающее все прекрасное и приятное, из одной лишь боязни, чтобы искушения эти не отвратили душу от вечности и от заботы о загробной жизни. Что нам — тебе и мне — в этом бесцветном назарянстве, если мы не верим в их небо?

Сенека закусил было губы, но вдруг величаво выпрямился и медленно произнес:

— Я верю в него, повелитель! Конечно, иначе, чем робкие женщины, скрывающиеся в глубине катакомб от ненависти наших жрецов и презрения высокомерной черни, но все-таки я верю в него. Бытие наше вечно; мы составляем частицу бессмертного божества; осужденные здесь на единичное воплощение, после смерти мы теряем индивидуальность нашу и вновь соединяемся с изначальным источником света.

— После смерти! Но ведь мы живем пока! Неужели мимолетная жизнь эта должна пройти в печали для того, чтобы сделалось возможным воссоединение наше с вечностью? Неужели необходимо мне здесь утратить все, чтобы по ту сторону моего погребального костра найти лишь продолжение безличного бытия?

— Что? Что утратил ты? Говори, сын мой! Давно уже я примечаю, что тебя пожирает печаль, посторонняя нашему делу...

Нерон принужденно улыбнулся.

— Ты ошибаешься,— с достаточной правдивостью отвечал он.— Со мной не случилось ничего нового. То, чего мы достигли, даже радует меня. В особенности же наш эдикт о чужестранных религиях... это твоё создание, дорогой Анней...

— Твое,— возразил министр.— Я лишь поднял вопрос, ты же осуществил его. И как осуществил! Вопреки твоей матери, которая, подстрекаемая своим пажом Палласом, объявила все это плебейским вздором; вопреки верховному жрецу и жрецу Юпитера, горячо восставшим против возрастающей смелости восточной и египетской ересей; вопреки твоей супруге, ежечасно ожидавшей, что над нами разразятся страшные юпитеровы громы; наконец вопреки глупости, вооружившейся на тебя со всех сторон. Ни один обитатель, ни один раб семихолмного города не будет больше преследуем за свою религию! Никакие римские предрассудки не принудят его приносить жертвы государственным богам! Это ли не славное торжество философии?.. А ты все-таки печален?..

Лицо императора прояснилось.

— Да, ты прав,— сказал он, протягивая руку советнику.— Я мог бы быть доволен. Мы уже кое-что совершили; конечно, это только одни приготовления, но тем не менее, они славны и возвышенны. Владычество долга — самое слово это звучит подобно божественной трубе, оно вливает в меня силу воздержания и самоотречения. Но я ведь смертный, часто и легко поддающийся своей слабости... Наяву и во сне меня томит страстная, неутолимая жажда счастья...

— Счастье заключается в исполнении нравственных законов,— сказал министр.

— Я исполняю их, но счастье все-таки не рассеивает мрака моей жизни.

— Но чего же тебе недостает? Ты — цезарь, философ, супруг прекрасной, любящей Октавии, готовый

умереть за тебя... Хотя она по-своему и противодействует тебе...

— Если бы дело было только в этом! Противодействует! Не думаешь ли ты, что я так нетерпим? Как императрица и супруга, она имеет право выражать свое мнение. Конечно, признаюсь, меня дрожь пробивает, когда по вечерам мне толкуют о гневе всемогущего Юпитера... Но если бы и было иначе, если бы и она была сторонницей свободы, все-таки я не нашел бы успокоения. Не постигаю, что отталкивает меня от нее. Часто мной овладевает почти жалость, и я сам себе кажусь преступником, бесчувственным к ее бесконечной доброте; но все-таки... Вот в чем мое несчастье!

— Ты не любишь ее, — с огорчением сказал министр.

Нерон вздохнул.

— Любовь... любовь! Мне кажется, она увлекает человека как ураган... Она ошеломляет, наполняет сердце смертельно-томительным желанием и в то же время разливает в жилах огонь... В разрывающейся груди нет места для иных мыслей, кроме мыслей о ней! Все, все можно отдать за обладание ею... Даже престол и благодетельную, мировую мудрость Стои...

Страстное воодушевление цезаря росло с каждым словом, и он крепко прижал руку к сердцу, как бы для того, чтобы обуздать бушевавшую в нем бурю.

— Ты так любил! — прошептал Сенека, пораженный внезапным откровением.

— Да! Я должен высказаться хоть раз! Я любил! Любил белокурую, прелестную, божественную девушку, Актэ, отпущенницу Никодима! Горе мне! Счастье мое разбилось прежде, чем я успел вкусить его! Эта очаровательная, обожаемая Актэ, клянусь могилой моего незабвенного отца Домиция — сделалась бы императрицей, если бы нас не разлучила глупая, непостижимая судьба!

— Как? Отпущенница на престоле Палатинского дворца?

— Твое изумление противоречит главному основанию твоей философии, — отвечал цезарь. — Повторяю: я отказался бы от выполнения завещания императора Клавдия; Октавия скоро утешилась бы, а единственная и несравненная Актэ стала бы моей женой. Рукоплещи же, Сенека! Назарянка на престоле — это был бы самый отважный шаг к осуществлению твоего общественного переворота!

— Правда,— пробормотал Сенека,— но я опасюсь...

— К несчастью, тебе решительно нечего опасаться,— прервал его цезарь.— Императрицу Рима зовут Октавией... Актэ исчезла, как потухший метеор, и Нерон научился обуздывать свои мечты. Но прекратим этот роковой разговор! На сегодня я хочу забыть все заботы и превратиться в эпикурейца. Приглашая императора к себе в гости, Флавий Сцевин естественно ожидает найти в нем приятного собеседника.

— Как повелишь. Я спешу переодеться.

ГЛАВА VI

Полтора часа спустя густая толпа теснилась перед входом в императорский дворец. Часовые, стоявшие здесь с копьями в руках, едва могли сдерживать напор любопытной массы. Ступени и цоколь соседнего храма были сплошь усеяны народом; на позолоченные статуи карабкались подростки и даже между высокими колоннами палатинского подъезда мелькали любопытные зрители.

— Идут! — раздался вдруг восторженный детский голос.

В возбужденной толпе пробежал ропот как перед началом нетерпеливо ожидаемого представления.

После своего союза с молодой Октавией, император показывался теперь впервые на городских улицах в торжественной процессии, направляясь в дом сенатора Флавия Сцевина, дававшего блестящий пир в честь высокой четы. Впереди медленно ехали два военных трибуна в серебряном вооружении. За ними следовал небольшой отряд преторианцев с огненно-красными перьями на блестящих шлемах; позади них тридцать рабов в вышитых золотом одеждах несли каждый по два незажженных факела. Копья преторианцев, также как факелы рабов, увиты были розами.

— Императрица-мать! — раздались в народе изумленные голоса.

— Как? И в этом даже Агриппина хочет принимать участие?

— Невероятно!

— Это было простительно, пока цезарь не был еще женат.

— Это оскорбление для светлейшей Октавии!

— Берегись, Кай! А в особенности ты, дерзкий Семпроний! Кругом кишат шпионы.

— Шпионы? Что нам до них? Мы защищаем права императора.

— И римские обычаи.

— Покойный Август никогда не потерпел бы этого.

— Нерон *любит* свою мать.

— Клянусь Геркулесом, если бы он знал...

— Молчи! Или тебе не дорога голова?

Такие и подобные разговоры слышались при появлении роскошных носилок, с достоинством и ловкостью несомых всем известными сигамбрами.

На мягких подушках вместе с императрицей восседала ее фрейлина, испанка Ацеррония.

Двадцатилетняя странная девушка эта, казалось, соединяла в себе опытность матроны с невинной беспечностью ребенка. Иногда в ее сине-зеленых глазах сверкало самое тонкое лукавство; иногда же ее большой, чувственный рот принимал такое детски-наивное выражение, что даже скептик поверил бы в ее простосердечие. В обращении с Агриппиной она совершенно внезапно переходила из тона подруги в тон покорной рабыни, причем в обоих случаях была одинаково неискренна. Ее главную красоту составляли густые, ярко-рыжие волосы, белоснежная кожа и блестящие зубы, при смехе придававшие ее лицу выражение красивой пантеры. Императрица-мать очень дорожила ее обществом, и Ацеррония была единственным лицом, не слышавшим от своей госпожи ни одного немилостивого слова.

Откинувшись на подушки и подперши руку свою украшенную жемчугами голову, Агриппина смотрела высокомернее, повелительнее и самоувереннее, чем обычно. Порывы независимости Нерона, несколько месяцев тому назад так неприятно проявившиеся в обнародовании эдикта о веротерпимости, теперь постепенно слабели. Давно уже он не предпринимал ничего важного без ее совета, принимая ее мнение почти за приказ. Очевидно, эдикт был лишь мимолетной прихотью; она не намерена была затрагивать этот вопрос, так как подобная попытка с ее стороны могла бы снова пробудить почти уже исчезнувший в сыне дух противоречия. Собственно говоря, она имела все поводы быть довольной настоящим положением вещей. Уважение Нерона перед ее высоким умом было едва ли поколеблено... Даже сам Сенека, по-видимому, снова пришел к убеждению, что благоразумная политика

невозможна без неограниченного верховенства императрицы-матери, а главное, на ее стороне был начальник преторианцев, честный Бурр, который в случае надобности оказал бы ей энергичное содействие. В последнее время Бурр еще больше запутался в сети своей повелительницы и она была уверена, что он окончательно, до безумия влюблен в нее, несмотря на то, что она была очень скупа на явные проявления благосклонности.

Непосредственно позади носилок Агриппины шел ее управляющий и частный секретарь Паллас, окруженный толпой рабов.

На шее у него надета была драгоценная цепь, недавний подарок императрицы.

Каких бы упреков ни заслуживала высокомерная женщина, ее нельзя было упрекнуть в неблагодарности, отсутствовавшей среди ее пороков и недостатков.

Овдовевший император Клавдий женился на Агриппине по совету Палласа.

Император, напуганный и опозоренный неслыханным развратом своей, казненной наконец, супруги Мессалины, сначала противился изо всех сил, но Паллас не унимался. Агриппина, в то время надевшая на себя личину строгой нравственности, действительно казалась ему самой подходящей супругой слабому императору и, кроме того, она посулила ему такую чудесную награду, что он не только устроил брак, но убедил императора усыновить тогда еще маленького Нерона, сына Агриппины от первого брака.

Она никогда не забывала его услуг. Тайно презираемый аристократами за низкое происхождение, несимпатичный Нерону, Паллас, тем не менее играл весьма значительную роль благодаря милостям императрицы-матери. Негодующие сенаторы не раз бывали вынуждены оказывать любимцу Агриппины блестящие почести и официально выражать благодарность за его услуги государству; а однажды, когда он заболел, они даже воссылали публичные молитвы о его выздоровлении.

Агриппина вполне осчастливила его высшим доказательством своего благоволения. Она дарила ему поместья, виллы, дворцы, рабов, драгоценности, и сверкавшая теперь на его мускулистой шее цепь, быть может, была самым лестным и нежным из всех ее подарков, ибо на каждом звене цепи находились изображения могущественной правительницы.

При дворе Паллас считался одним из немногих, кто вел довольно безукоризненную жизнь.

Отношения его к императрице не носили ни малейшего отпечатка той любезности, которую всегда проявлял в обращении с ней Аффраний Бурр.

Много лет назад Паллас был женат, но скоро потерял свою жену, кроткую, покорную гречанку, умершую ужасной смертью. С той поры он исключительно посвятил себя служению разносторонним интересам императрицы-матери.

Попытка ее соединить верного Палласа с фрейлиной Ацерронией потерпела неудачу, скорее благодаря спокойному отказу рассудительного секретаря, чем горячему отвращению рыжей пантеры, которая как дочь кордубанского аристократа, с презрением смотрела на отпущенника и с большой смелостью в присутствии Агриппины говорила ему самые бесцеремонные истины.

Вообще, поверенный императрицы не прельщался никем, хотя далеко не все благородные девушки разделяли взгляд на него Ацерронии. Но Паллас вовсе не жаждал нового союза. Его кроткая Андромеда слишком резко отличалась от расчетливых римлянок.

Так думал он до встречи с белокурой, цветущей Актэ.

Тогда внезапно он понял, что она может заменить его потерю. В сердце сорокатрехлетнего человека вспыхнул тот же огонь, который загорелся в нем, когда впервые он увидал на берегу Стабии прелестную фигуру молодой гречанки.

— Теперь или никогда! — подумал он, вспомнив этрусскую песню о коллочем кустарнике, давно уже отчаявшемся в себе, а между тем производившем розы... И он улыбнулся не поэтическому образу, но тому, что только теперь вполне постиг смысл этой песни.

Незамеченный Актэ, он второй раз в жизни увидал ее в доме Никодима, а затем между лавровыми изгородями Марсова поля, где он открыл ей свои чувства. Потом она вдруг исчезла, подобно Прозерпине, внезапно похищенной подземным божеством...

Отказ ее был достаточно ясен. Паллас мог только предположить, что причиной ее бегства был он. Поступок этот действительно доказывал ее безрассудный ужас к нему, которого она с самого начала назвала «страшным».

Невыразимая горечь овладела его сердцем. Покоренный ее жертвенным благородством, он, могущес-

твенный Паллас, предложил этой безумной свою руку и сердце для прочного союза, вместо того чтобы, как она сама предположила, только добиться ее взаимности; но этот честный поступок возбудил в ней одно лишь отвращение, побудившее ее бежать от него, как от зачумленного!

И она бежала, бросив все, из боязни чтобы он не прибегнул к насилью!

Жалкое разочарование! Мучительное, невыразимое унижение!

Мысль об этом уже несколько недель грызла его. Потерять светозарную Актэ и потерять ее так — это превосходило всякую меру терпеливости!

О действительных побуждениях Актэ он не имел ни малейшего понятия. Усердные розыски цезаря он приписывал его участию к Никодиму, почти другу Сенеки. Знай Паллас истину, он безумствовал бы подобно Аяксу, чей рассудок был помрачен богами.

Теперь, идя за носилками своей повелительницы, окруженный блестящей толпой палатинских рабов, предмет тайной и явной зависти стольких тысяч людей, Паллас примирился со своим разочарованием и, высоко подняв выразительную, энергичную голову, вполне наслаждался своей ролью создателя агриппино-нероновой династии. Тем не менее, он казался очень постаревшим.

На сильном человеке, в течении многих лет испытывавшем одно лишь удовлетворение успешностью своей деятельности, а затем внезапно охваченном непреодолимой любовью и тотчас же пораженном горестью разрушенных надежд, события эти оставляют более глубокие следы, чем самые страстные бури в юности.

Свита императрицы-матери шла за золотой лектикой императора и его супруги Октавии.

За этими носилками также следовали тридцать факелоносцев и небольшой отряд гвардии под начальством агригента Софония Тигеллина.

Блестящий всадник на своем великолепном каппадокийском скакуне ехал рядом с носилками молодой императрицы. По временам конь его пугался шума толпы, что давало агригенту желанную возможность не только выказать свою наездническую ловкость, но также бросать из-под черных ресниц взгляды на Октавию, с легкой краской на щеках отвечавшую наклоном головы на восторженные приветствия народа.

«Она прекрасна,— думал агригентский сердцеед,— прекрасна, как Диана, но боюсь, что она так же сурова... И он не любит ее, мой всемогущий Нерон! Непостижимо! Просто нелепо! Мне кажется, что если бы в начале моего жизненного пути мне встретилась девушка, подобная Октавии, я никогда не сделался бы неисправимым грешником, так ловко управляющим своим конем. Образ жизни достойного Тигеллина — очень глупая и в сущности, однообразная история! В каждой цветущей женщине искать небесную Афродиту и всегда находить лишь жалкий обломок, слабое эхо божественной мелодии — это в конце концов становится утомительным. Клянусь Эпоной, иногда мне думается, что в этой комедии мы играем очень смешную роль! Теперь же, впервые... Дерзкий безумец, или ты позабыл Гомера? Конечно, царь Иксион немножко неловко принялся за дело... и... право, она настоящая вавилонская роза, несравнимая с сорванными мной доселе цветами и цветочками... А для героя заманчиво ведь одно лишь героическое!»

Действительно, наружность юной императрицы могла обворожить пламенного агригента. Прежде живая и веселая, теперь она отличалась необычайной серьезностью и сдержанностью, составлявшими странный контраст с ее кроткими, мягкими чертами. На почти всегда опущенных, длинных, темных ресницах лежало облако печали. Молча сидела она возле своего молодого супруга, бледно-мраморное лицо которого казалось точным отражением ее собственных тайных дум.

Холодное спокойствие этой четы и их видимая отчужденность невольно производили тягостное впечатление на внимательного наблюдателя. Очевидно, что судьба соединила здесь два благородных, но в своих стремлениях и чувствах не соответствовавших одно другому сердца. Как мог Нерон, с его увлекающейся страстной натурой, порывы которой обуздывались лишь искусственными средствами, Нерон отступник, вечно терзаемый внутренними бурями и борьбой, подойти к ясно-непоколебимой, благочестивой Октавии, блаженно веровавшей в унаследованную ею религию предков и отвечавшей на все сомнения своего супруга вздохом сострадания или улыбкой уверенности и надежды?

Если же Клавдию Нерону случалось принять тяжелое решение, выказать великодушие или одержать какую-нибудь иную победу над самим собой — Октавия находила все это только естественным.

Зачем сомнения там, где все так ясно и понятно? Благородный человек и впотьмах видел здесь свой путь...

При таких речах супруги Нероном овладевала странная смесь самых противоположных ощущений: в нем закипали гнев, изумление, стыд, а сильнее всего — упрямое недовольство, по временам походившее на ненависть.

— Да здравствует император! — кричала восторженная толпа. — Да здравствует императрица, кроткая Октавия!

Нерон с глубоким вздохом посмотрел на свою юную подругу и принужденно улыбнулся...

Она на секунду подняла глаза и также со вздохом снова опустила задумчиво-усталый взор.

Действительно, она казалась ужасающе холодной.

«И такой она была всегда», — подумал император.

Даже в день свадьбы она не выказала сладкого волнения, на брачном пороге озаряющего красотой даже некрасивых девушек. Она оставалась немой и холодной, подобно пигмалионовой статуе до одушевления ее Афродитой.

Какая разница — Нерон! Зевс свидетель, что он никогда не любил ее; но все-таки, когда за ними тихо затворилась дверь спальни и он увидел перед собой свою цветущую жену, облитую волшебным, пурпуровым светом лампы, тогда прежнее его равнодушие показалось ему безумием и в нем вспыхнула такая страсть, какую едва ли чувствовал к Елене нежный Александр. Опустившись на золотую скамью, он бурно привлек ее к себе и с искренним увлечением прошептал:

— Будем счастливы, прекрасная Октавия, счастливы целую долгую жизнь!

Пламенными поцелуями осыпал он ее прелестное лицо, душистые волосы и белоснежные плечи.

Она же — та, о страстной к нему любви которой так часто толковала ему отпущенница Рабония, ее поверенная, — она, «нежная невеста с светлым взором лани», слушала его восторженные речи, как безжизненная мраморная статуя.

Если бы она еще сопротивлялась ему! Но и этого не было; она не разыгрывала стыдливую, но принимала его ласки без сочувствия и без малейшего волнения любви.

С этой минуты Нерон перестал верить в ее любовь. Ему казалось, что она питает к нему только располо-

жение сестры. Сам же он не умел достаточно лицемерить, чтобы долго скрывать свой недостаток чувства к ней. Разрыв был непоправим и они старались лишь соблюдать наружные приличия.

Позади свиты императорской четы следовал главный доверенный раб императора, тридцатишестилетний Фаон. Правильный, симпатичный, смелый рот придавал некто юношеское красивому лицу этого стройного человека. По-видимому, Фаон не слишком мрачно относился к великим жизненным вопросам. Философия его подходила под мировоззрение Горация: «Наслаждайся настоящим и не рассчитывай на будущее!»

Возле главного раба шло еще пять или шесть слугителей, несших украшенные жемчугом шкатулки из лимонного дерева, полные всевозможных драгоценностей, предназначенных супруге и дочерям Флавия Сцецина в подарок от императора.

Процессию завершали носилки Сенеки, окруженные многочисленными придворными и преторианцами. В носилках рядом с министром сидел начальник гвардии Афраний Бурр.

Громко приветствовал народ своих любимцев.

— Да здравствуют Диоскуры государства! — гремели тысячи голосов.

— Сенека улыбается! — заметил один старый клиент, — он доволен, как триумфатор! Наверное, с границы получены благоприятные вести! Его государственный талант покори́л самих хаттов, которых не мог покорить меч.

— Не верь этому! — возразил ему богатырь со светлыми, как лен волосами, — хатты так же умны, как отважны. Но они хотели поддерживать дружбу и мир с Римом, и поэтому скоро мы пришлем наших знатнейших вельмож для приветствий цезарю и заключения с ним договора от имени всего народа.

— И это триумф, — отвечал римлянин. — Я знал это: Сенека улыбается. О, цветущий век философии! Право, тога все-таки еще могущественнее меча!

— Ты думаешь? — возразил германец. — Судя по взгляду Бурра я скорее убеждаюсь в противоположном.

Действительно, эти две характерные головы — глубокого мыслителя и сурового, решительного воина, для серьезного наблюдателя представляли настоящую загадку. Лицо Сенеки было бледно, спокойно, изборозжено морщинами; лицо Бурра, красное, как после

двадцатого кубка, было мускулисто и почти грубо; который из этих двух людей держал в своих руках судьбу империи? Сенека ли, задумавший ниспровержение тысячелетнего прошлого, или Бурр, в качестве союзника Агриппины, долженствовавший выступить его защитником?

Быть может также, в книге судеб написано было, что ни один из них не повлияет на ход грядущих событий? В таком случае самонадеянная уверенность, написанная в чертах этой столь противоположной пары, могла быть только бесконечно смешной.

Так, медленно и торжественно двигался императорский поезд по Via Sacra, направляясь к кверкетуланским воротам. Напоенный благоуханием и светом воздух уподоблялся дыханию самой весны и, казалось, что сам Юпитер ласково приветствует земное воплощение своего бесконечного могущества.

ГЛАВА VII

Флавий Сцевин встретил императорскую фамилию со свитой при входе в дом.

Пока императрица-мать, опираясь на руку Ацерронии, величаво выходила из носилок, рослые преторианцы медленно проходили под украшенной живописью аркой ворот. Не будь розовых гирлянд, обвивавших их шлемы и копья, шествие их походило бы на занятие неприятельской крепости.

Старый сенатор Флавий Сцевин невольно выразил удивление при таком неожиданном зрелище и заметившая это Агриппина, смеясь, сказала ему:

— Наши войны будут служить, кстати, и украшением твоего пира. Я люблю бряцание оружия под весенними цветами. Прошу тебя распорядиться людьми по твоему усмотрению. Смешай их с рабами; собери вместе при играх; приставь их в виде почетного караула к наиболее достойным из твоих гостей; ты волен распоряжаться ими. Они будут повиноваться беспрекословно.

Наполовину обманутый искусным притворством Агриппины, Флавий Сцевин старался убедить себя, что это была действительно лишь милостивая учтивость.

Скоро однако ему пришлось разочароваться. На роскошно округленном подбородке императрицы мелькнуло едва приметное насмешливое подергиванье и

выражение злобы убедило Флавия в том, о чем он должен был бы догадаться с самого начала.

Через своих многочисленных шпионов Агриппина знала, что Флавий Сцевин был отъявленным врагом ее властительных стремлений и что вместе с другими значительнейшими сенаторами, как Бареа Соран, Пизо и Траzea Пэт, он даже неоднократно измышлял средства и способы к низвержению ее первенствующего влияния.

Не отступившая бы ни перед каким преступлением в защиту своего положения, — за что ручалось ее прошлое, остававшееся тайной лишь для Нерона и его супруги — Агриппина от своих противников ожидала такой же решительности и, вступая в логовище льва Флавия, она желала обеспечить себе благополучное из него возвращение.

Пока она, со свойственной ей величественной благосклонностью обратившись к супруге Флавия Метелле, осведомлялась о ее здоровье, хозяин дома приветствовал императора и юную Октавию. Обычай требовал, чтобы в подобных случаях римский цезарь целовал сенаторов. В эту пустую церемонию Нерон вложил такое теплое чувство, которое ясно доказало присутствующим его сыновнее уважение к Флавию. У кроткой Октавии Флавий Сцевин поцеловал руку и глаза его засияли при ласковом привете краснеющей императрицы. Октавия всегда была его любимицей. Он не подозревал ее страданий и считал ее союз с Нероном воплощением тихого счастья.

С горьким ожесточением Агриппина видела, что Флавий Сцевин и не думал отходить от молодой четы, когда Метелла обратилась к ней с приглашением войти в дом.

— Повелительница Агриппина, — сказала она, — если тебе угодно, войдем!

Несмотря на известное ей нерасположение Флавия, Агриппина, тем не менее, ожидала, что ее введет хозяин дома, а не Метелла, эта ширококостная, преждевременно состарившаяся дочь лавочника (в действительности же Метелла происходила из семьи одного из значительнейших судостроителей и судовладельцев Остии), плебейка, ребенком чинившая старые паруса, а теперь задиравшая нос, точно ей еще в колыбели была обещана обшитая пурпуром тога ее будущего супруга.

Поддавив свой гнев, Агриппина заставила себя улыбнуться и величаво прошла в двери.

Обширный коринфский атриум Флавия Сцевина был уже полон блестящей толпой именитых гостей. Сенаторы с женами и дочерьми; всадники, отличившиеся на государственной службе; верховный жрец; жрец трех высших божеств, городской префект; несколько южно-италийских крупных землевладельцев; клиенты, занимавшие видное положение — все они пестрыми группами двигались по наполовину покрытому навесом помещению.

В нескольких шагах от остиума стоял человек среднего роста, необычайно энергичной и резкой наружности. Сверкавшие умом глаза напоминали Сенеку, но в лице и в осанке выражалось гораздо более непреклонной воли, чем у государственного советника. Эта выдающаяся личность был Тразеа Пэт, суровый судья Агриппины, пламенный патриот, возлагавший все свои надежды и упования на Нерона и вынужденный видеть, как честолюбивая императрица-мать, вопреки явному и тайному противодействию, все-таки распорядилась существеннейшими государственными делами, поощряла продажность и разврат, раздавала влиятельные должности своим жалким креатурам и даже государственного советника терпела только потому, что односторонность его философии делала молодого императора неспособным к проявлению каких бы то ни было практических способностей. При входе императрицы-матери Тразеа Пэт едва приметно наклонил голову, но на встречу молодой четы он поспешил с еще большей живостью, чем это сделал Флавий. Заключив в объятия стройную фигуру Нерона, он с благоговением трижды поцеловал его в лоб.

При виде этого благороднейшего из римлян Октавией овладело сильное волнение, грудь ее бурно вздымалась и, казалось, самообладание покинуло ее. Ее задумчиво-печальный взор скользнул по лицу супруга. Никогда еще он не был так несравненно прекрасен и она готова была воскликнуть: «Я отдала бы все радости земные за то, чтобы в пятьдесят лет ты мог обернуться назад на такую же жизнь, какова жизнь этого Тразеа!»

После того, как высокие посетители обменялись несколькими словами с избраннейшими из гостей, веселые звуки труб возвестили начало пира. Приглашенные потянулись парами в каведиум, где под темно-синим весенним небом были расставлены два длинных стола.

Вокруг дорической колоннады, на чугунных подставках горели факелы в рост человека и облака благовонного дыма мягкими волнами поднимались к уже темневшему небосклону. Наверху, на карнизе крыши, сверкали огни меньших размеров. При этом ярком освещении незачем было зажигать бронзовые лампы на роскошно убранных цветами столах. Серебряные чаши, драгоценные сосуды и изящные блюда были увиты душистыми гирляндами из роз и фиалок. Триста роскошных венков предназначались для увенчания пирующих. Лепестки роз и нарциссов усеивали пол, а колонны исчезали под зеленью плюща и аканта. Гости были размещены по местам весьма быстро, благодаря проворству и ловкости главных рабов и их помощников. Из сада раздалась нежная южноиспанская мелодия и в тоже время рабы и рабыни начали разливать из этрусских кружек в матовые кубки золотое везувийское вино.

На почетном месте, во главе левого от атриума стола восседала императрица-мать.

Справа от нее находился Афраний Бурр, слева — хозяин дома Флавий Сцевин.

Во главе второго стола сидел император между Октавией и супругой хозяина дома. Обычного, поперечного соединительного стола, на этот раз не было.

Так как одни лишь внешние стороны столов уставлены были скамьями, внутренние же, по римскому обычаю, оставались незанятыми, то Флавий и жена его Метелла не имели соседей. Ряд гостей с одной стороны заканчивался Бурром, с другой — супругой императора.

Соседом Октавии был стоик Тразея Пэт; возле него сидела богатая египтянка по имени Эпихарис; потом Анней Сенека, а слева от него сорокалетняя жена одного из сенаторов.

С самого начала обеда, когда подали лукринские устрицы и азиатские морские тюльпаны, Пэт вступил в беседу с молодой императрицей.

Октавия обратилась к нему с пустым, вежливым вопросом о недавних играх в цирке, приведших весь Рим в лихорадочное волнение, так как до сих пор еще не выяснилось, кто победил: Фульгур ли Тигеллина или Флава Аницета. Для решения этого мирового вопроса назначен был комитет, где выслушивались свидетели, точно дело шло об уголовном процессе. Пока все шансы были на стороне Аницета, и это тем более сердило сторонников Тигеллина, что Аницет

был морским офицером. Незадолго перед этим он командовал флотом при Мизенском мысе и по особому случаю проживал теперь в Риме, где немедленно начал оспаривать всеми признанное первенство агригента...

Тразеа Пэт улыбнулся на вопрос Октавии, точно не веря в искренность ее любопытства и отвечал таким же тоном, каким сказал бы: «Да, повелительница, погода превосходная».

Октавия рассеянно кивнула и задала второй вопрос; после нескольких уклонений разговор коснулся неистощимого предмета: императора Августа и его изумительных деяний для развития мировой империи.

В разговоре этом приняли участие Нерон и соседка Тразеа — египтянка Эпихарис. Даже сам государственный советник Анней Сенека скоро прервал пустую болтовню своей соседки слева, чтобы при случае вставлять меткие эпиграммы и замечания.

Серьезное направление беседы заставило Нерона почти забыть себя и вообразить себя в рабочем кабинете дворца, где в течение последних недель философ непрерывно толковал ему о том, что жизнь состоит в отречении, обуздании страстей и исполнении долга.

При этом воспоминании, среди празднично-веселого общества, на молодого императора внезапно напало тоскливое ощущение безграничной пустоты.

В самом деле, поразительные противоречия, открывшиеся его глазам, должны были взволновать художественно-отзывчивую душу Нерона.

Здесь, на верхнем конце стола, произносили чуть ли не целые поучения из области сумрачной Стои, а там дальше раздавались шутки и смех, подобно журчанью болтливой ключа в тибурских садах.

Красивые юноши предупредительно склонялись к своим цветущим соседкам и между этими молодыми, веселыми парочками невидимо точил свои стрелы крылатый божок.

Пожилые гости оживленно толковали о прошлом, рассказывали забавные эпизоды из их службы в Сицилии или Малой Азии, осушали кубок за кубком и, как бы в извинение себе, цитировали слова греческой застольной песни: «*Nun chre methyskein...*»

А вот сидит влюбленный, вечно ревнующий Ото, буквально беспрестанно поглядывающий на свою очаровательную жену Поппею Сабину!

Она была довольно далеко от него, за столом императрицы-матери, и рядом с ней сидел опасный Тигеллин! Поппея Сабина была действительно очаровательна с ее томными глазами и милой манерой склонять набок увенчанную цветами головку. В обладании ею Ото должен был найти полное счастье, и ревность его объяснялась именно этим счастьем: чем дороже сокровище, тем больше забота о его сохранности.

Софоний Тигеллин только что сделал какое-то, должно быть, очень приятное замечание, потому что Поппея, бросив из-под ресниц взгляд лукавого сатира, после мгновенного колебания обнажила свои жемчужные зубки и разразилась таким задушевым смехом, что у ее обуреваемого опасениями супруга Сальвия Ото вся кровь бросилась в голову.

До сих пор Нерон полурассеянно смотрел на смеющуюся красавицу; теперь же взор его остановился на ней с большим вниманием.

Через двадцать лет цветущий ротик этой самой Поппеи Сабины будет обрамлен отвратительными морщинами, лучезарные глаза покраснеют, розовые щечки иссохнут... Лицо ее станет похожим на лицо облысевшего философа — советника Сенеки...

Но тогда она по праву скажет себе: «Я насладились всем, что мне дала эта преходящая жизнь! Я выпила чашу до дна, прежде чем безжалостная судьба вырвала ее из моих рук! Я не знала страданий из-за того, что называется идеей!»

Мысли императора, казалось, нашли себе таинственный отголосок в душе Поппеи. Доселе всецело предававшаяся обаянию Тигеллина, она вдруг взглянула на Клавдия Нерона и встретила его печально-задумчивый взор.

Яркая краска вспыхнула на ее лице; голова, шея, даже плечи покрылись румянцем, а при мысли, что Нерон должен это заметить, она пришла в неопишное смущение, изумившее Тигеллина, который шепнул:

— Госпожа, что случилось? Или прекрасная Поппея нездорова?

Она быстро овладела собой.

— Вечный смех бросился мне в голову,— шутливо отвечала она.

— О, я понимаю упрек,— возразил Тигеллин.— Но видишь ли, благородная Поппея, моя должность становится такой серьезной, торжественной и возвышенной, что по временам я должен давать волю моим

порывам. Смех сделался нынче редкостью в обиходе у цезаря. Если это еще продлится, то я буду поглощен бездной меланхолии или же примкну к стоикам.

— Это звучит крайне смешно.

— Ты думаешь? Но я говорю правду. Я замечаю свое духовное окостенение. Поэтому я и пользуюсь всякой возможностью и случаем, как например сегодня, чтобы помочь такой прелестной эпикуреанке, как Поппея, в применении на практике ее житейской мудрости.

— Я эпикуреанка? Впрочем, пожалуй... Почему бы мне не быть ею? Разве жизнь наша не достаточно мимолетна? Стоит ли печалиться? Стоит ли еще сгущать ее мрак? Как жаль цезаря, которого Сенека втянул в эту пустыню! Нерон так молод и создан для счастья! Посмотри на его глубокие черные глаза! Они божественны!

— Какое воодушевление! Если бы ты думала обо мне хоть наполовину так благосклонно, клянусь Зевсом, я совсем обезумел бы от счастья и блаженства!

— Не притворяйся! — отвечала Поппея. — Ты, общий любимец, в одном этом каведиуме насчитывающий целые дюжины приятных воспоминаний! Ты, чьи заманчивые приключения известны даже в далекой Испании и Лузитании... Но оставим этот опасный предмет! Лучше последуй дружескому совету, — потому что я тебе друг, несмотря ни на что...

— Весьма обязан! И ты советуешь мне?..

— Основательно противодействовать влиянию Сенеки и его философской бессмыслицы.

— Но как же сделать это?

— Смешно! Убеди императора, что можно быть великим правителем, замечательным мыслителем и благодетелем своего народа, оставаясь в тоже время рассудительным человеком! Смотри, вот опять черты его подергиваются дымкой печали, которую я замечаю уже не впервые. Право, если бы меня не удерживали обычаи и глупые общественные приличия, я встала бы без всяких околичностей, положила бы ему руки на плечи, и... и... утешила бы его.

— Да? А что сказала бы ты ему?

— Цезарь, сказала бы я, отчего болит твое сердце? Отчего ты не смеешься? Отчего нахмуриваешь лоб? Оглянись вокруг себя! Ты окружен молодостью, веселостью и красотой! Наслаждайся вместе с нами тем, что нам приносит крылатый час! Будь человеком среди людей! Вот что я сказала бы ему, вкрадливо и

искренно, и, внимая мне, быть может, он сообразил бы, что ведущую к вечному мраку дорогу разумнее усыпать розами, чем слушать глубокомысленные размышления своего министра и при этой чудной музыке сидеть с видом осужденного.

Тигеллин усмехнулся.

— Это была бы действительно гениальная выходка, достойная нашей прелестной Поппеи! Так презри же общество и его глупые толки! Ступай и попытайся!

— Но легче сказать, чем сделать. Ты не принимаешь в расчет гнева моего мужа. Ото распял бы меня за это... Вообще, прошу тебя, золотой Софоний, не склоняй ко мне так усердно твою умащенную благовониями голову! Я вижу, Сальвий Ото уже бросил на меня свой взгляд балеарского бойца... Ты ведь понимаешь? Взгляд, равносильный балеарскому свинцовому шару! Уже на днях, в доме Пизо, он нашел, что ты слишком глубоко заглядываешь мне в глаза. А ведь ты знаешь, я позволила тебе быть только моим братом и другом...

Тигеллин нахмурился.

— Я позабыл,— насмешливо отвечал он.— Прости за минутную забывчивость. Ты была так... оживлена, говоря о Клавдии Нероне. Императору-философу, которого тебе хочется обратить на путь истины, ты, конечно, позволила бы больше, чем ничтожному агригентцу. Это я прекрасно понимаю! Каждому по чину и достоинству!

— Что такое? Что дает тебе право на эти злые замечания? Обуздай свой язык, бесстыдный человек! Хотя все привыкли многое прощать тебе, но нельзя же прощать все!

И снова устремив на Нерона полустыдливый взор, она вздохнула и мечтательно, как бы говоря сама с собой, продолжала:

— Вот разница между чистотой и испорченностью. Цезарь говорил со мной всего лишь три или четыре раза в жизни: но будь он в десять раз ближе ко мне, чем этот ужасный Тигеллин, все-таки я уверена, никогда он не принял бы такого нахального тона. Он уважает, он чувствует, он понимает. Он бог там, где вы все только бранные, рожденные из праха люди!

Между тем, Нерон с каждой минутой становился все молчаливее и мрачнее. Он уже не слушал возвышенную беседу Октавии с Тразеа Пэтом. В ушах его шумели лишь волны звуков без смысла и значения, глухих и далеких, словно доносившихся из бесконеч-

ного пространства. Мысли его опять перенеслись к тому дню, когда он помиловал отпущенника Артемидора. Он снова видел очаровательную девушку с чудными белокурыми волосами и сияющими голубыми глазами. Он слышал ее сердечный голос, моливший о сострадании. Да, это была она, единственная, несравненная.

Она упала на колени перед императорскими носилками, простирая свои белоснежные руки,— он видел все это, как на картине! Вдруг прекрасный образ исчез и его заменил еще прекраснейший... О! Этот час истинного счастья! Он стоял в палатке египетского кудесника рядом с Актэ и тот же голос звучал еще глубже и обворожительнее в его трепетавшем страстью сердце.

Актэ! Невыразимо любимая Актэ! Зачем ты исчезла так же, как появилась, подобно однодневному весеннему цветку или мимолетному дыханию эфира, умчавшемуся едва коснувшись пылающего лба?

Странно! В это мгновение ему показалось, что наконец он нашел разгадку: она бежала от него, от любви к нему, а не к кому-нибудь другому. Она поняла его обожание и хотела избежать предстоявшей неминуемой страшной борьбы.

Он взглянул на горделивую Агриппину.

Да, неумолимая мать осудила бы его любовь!

Отпущеница, бывшая рабыня!

Она едва позволила бы ему сделать ее только своей возлюбленной, а женой — никогда. Конечно, Актэ не могла знать, на что он дерзнул бы ради нее; она не подозревала, что он не остановился бы ни перед какой жертвой, ни перед каким разрывом, только чтобы завоевать ее для себя. Безумная! Зачем скрылась она с этим загадочным «Прощайте все!» Одна строка, одно откровенное слово и все могло бы еще устроиться.

Он думал и думал, пока им вновь не овладели сомнения. Назарянин-мыслитель Никодим утверждал, что бегство Актэ для него совершенно необъяснимо. Даже он не мог понять эту девушку, которую он однако знал уже давно.

Загадка так и оставалась загадкой для печального императора. Он сознавал только одно: что равнодушен ко всему миру, в котором только для него существовало только одно счастливое и вместе с тем горестное воспоминание. Какая грустная, безутешная участь! Будь Актэ его женой вместо женщины, совершенно его не понимавшей и при всей своей сердечной доброте оскор-

блявшей его заветнейшие чувства, как благодатно расцвело бы божественное создание его царствования! Счастье и любовь были бы его вдохновенными руководителями в том, что он совершал теперь с таким трудом и усилиями, движимый лишь холодным учением своего советника и фантастическими намеками Никодима.

Да, он победил бы! Он сделался бы бессмертным творцом славной эры свободы и братства людей! Назарянское небо с его кротко-ясным примирением ведь было действительностью в глазах белокурой Актэ!

Нерон сжал рукой лоб.

Он, первый между римлянами, повелитель обширного, могучего государства, простирающегося от столпов Геркулеса до отдаленной Месопотамии, обожаемый своим народом, богатствами превосходящий царя Лидии, молодой, полный бурных жизненных сил в стремлении к всему доброму, благородному и прекрасному — каким бедным и одиноким был он на своем лучезарном престоле!

Внезапно наступившая тишина заставила его очнуться.

Веселый шум, наполнявший украшенный цветами каведиум, мгновенно замолк.

Флавий Сцевин, высоко подняв правой рукой увитый розами кубок, провозгласил тост за всеобожяемого, августейшего, счастливого Нерона.

Ловким оборотом влетая в этот тост Октавию и императрицу-мать, он снова обратился исключительно к высокой особе императора, призывая всевозможные благоговения богов на его дорожную, лучезарную, юношескую главу. Буря восторженных кликов последовала за мастерской речью, в которой особенно ярко вырезалось то место, где оратор произнес: «Нерон, Октавия, а за ними благородная мать, воспитавшая образец таких превосходных качеств».

Приверженцам Сцевина, враждебным императрице-матери, это за «за ними» показалось верхом ораторского искусства. В этих словах чувствовалось весьма прозрачное напоминание гостям и вообще всему Риму о необходимости деятельной поддержки противников Агриппины для освобождения Нерона от чрезмерного влияния честолюбивой и тиранической женщины.

В тоже время, это был первый после долгого промежутка ясный намек по адресу Агриппины, приглашавший ее к добровольному отречению от того, что

римляне находили невыносимым игом. Теперь же этот намек имел еще другую цель.

В начале следующей недели в сенате назначено было важное политическое совещание.

Дело шло о раздоре с соседним германским племенем хаттов и легко могло привести к объявлению войны, несмотря на старания римского коменданта крепости Могунтии по возможности удовлетворить справедливым требованиям германцев.

Все надеялись, что из прямодушной речи Флавия императрица поймет общее желание видеть в сенате императора одного и освобожденного от ее опеки.

Оглушительные клики смолкли. Призвав на помощь все свое самообладание Агриппина принудила себя улыбнуться, в то время как глаза ее метали пламя страшной ненависти. Каждый из гостей вылил в жертву богам по несколько капель ароматного вина, после чего с новой силой раздались возгласы:

— Да здравствует Цезарь! Да здравствует всеобъемлемый, счастливый!

Медленно встав, Нерон молча благодарил гостей движением руки; искренность этих проявлений тронула его до слез и он не мог овладеть своим волнением. Но слезы его были вызваны чем-то иным, неизмеримо далеким от шумного праздника: то было воспоминание о светлом образе цветущей девушки, горячо любимой и потерянной навеки.

ГЛАВА VIII

Пир кончился. Гости во главе с Метеллой, сопровождавшей императорскую чету, направились в парк через широко раскрытые внутренние покои.

На просторной площадке, как раз позади дома горели бесчисленные канделябры под красноватыми стеклами. Дальше, вверх по холму, в волшебном полусвете мерцали аллеи громадных деревьев, обсаженные лаврами, анемонами и акантом.

Гости разделились на оживленные группы, приветствуя еще не примеченных друзей и подставляя разгоревшиеся лица приятному ветерку, приносящему с цветочных клумб волны благоуханий. Всем было приятно освобождение от обеденного церемониала и всякий спешил отдохнуть и собраться с новыми силами для наслаждения тем, что еще было впереди.

Прекрасная супруга Ото, Поппея Сабина, опершись роскошной рукой на плечо своей компаньонки, финикианки Хаздры, медленными шагами направилась к парку.

— Уж пора было нашему амфитриону отпустить нас,— глубоко вдыхая прохладный воздух, сказала она.— Какая чудная ночь!

— Чудная, как сновидение! — прошептала страстная Хаздра.

— Что с тобой, дитя? Ты дрожишь?

— Я видела его...

— Кого? Твоего преторианца?

— Моего божественного Фаракса! Пока мы сидели за столом он два раза прошел по каведиуму.

Поппея засмеялась.

— Неужели же это правда? — с изумлением спросила она.— Моя хорошенькая куколка, маленькая, гибкая финикианка действительно влюбилась в солдата? И еще в такого колосса? Клянусь Эросом, я предполагала в тебе лучший вкус, Хаздра!

— А я, госпожа, клянусь тебе Мелькартом, богом моих отцов, что никакой смертный не может сравниться в благородстве с очаровательным Фараксом.

— Ты влюблена и потому безумно было бы осуждать твоего Фаракса. И я также вполне уверена, что ты вышла бы за него замуж, будь он хоть раб или палач. Если уж ты себе забереешь что-нибудь в голову...

— Да, госпожа, это так. Я безрассудное создание и меня изумляет то, что ты еще терпишь меня, несмотря на мои ошибки и глупости.

— Я достаточно зорко смотрю, чтобы маленькая варварка исподтишка не перецеголяла меня, вообще же мне нравится твоя бурная натура, при случае прикрывающаяся оболочкой кротости и добродушия. Я ведь знаю, что ты любишь меня, и что в нужде я могла бы смело положиться на тебя.

— Моя жизнь принадлежит тебе! — воскликнула Хаздра.

— Благодарю. Но скажи, имеешь ли ты доказательства взаимности божественного Фаракса?

— Да, госпожа. Недавно, когда я случайно встретилась с ним...

— Он посмотрел на тебя, как британец на Капитолий. Это я уже знаю. Но по-моему этого мало.

— По-моему, также. Сегодня, однако, он бросал на меня такие взоры...

— Как по крайней мере три британца! — засмеялась Поппея.

— Даже больше того. Он велел одному из слуг передать мне полоску папируса...

— Дерзкий!

— Истинная любовь всегда смела, — возразила финикиянка. — Вот, благороднейшая Поппея, прочти и скажи мне твоё откровенное мнение!

Поппея взяла записку и при мерцающем сиянии светильника разобрала следующее:

«Фаракс, преторианец, с глубочайшим уважением приветствует финикиянку Хаздру.

Надеюсь, что финикиянка Хаздра будет благосклонна к преторианцу императрицы-матери, так как он все-таки оказывает ей большую честь. Мы, преторианцы, не то что простые солдаты, стоящие в нарбонензийской Галлии или в Азии. Мы особые избранные, как это утверждает и начальник наш, Афраний Бурр. Поэтому, если я решаюсь, о, очаровательная Хаздра, говорить тебе о моей любви, то это не то, что искательство простого солдата, а совсем наоборот. Я тебя очень люблю. Пять раз видел я тебя. Ты мила, как роза, и мне этого довольно. Объявляю еще, что, говоря без бахвальства, я в большой милости у императрицы Агриппины. Позавчера светлейшая намекнула мне, что если я буду так продолжать, то мне не долго придется ждать до повышения в центурионы. А центурион ведь уже почти что военный трибун. Я хотел сегодня выразить тебе мои любовь и уважение, чтобы спросить тебя, нравлюсь ли я тебе. Сердце девушек часто бывает так прихотливо. Ответь мне поскорее. Я люблю тебя горячо и посылаю привет в радостной надежде».

— Ну, что ты скажешь? — прошептала Хаздра.

— Он делает тебе предложение, — равнодушно отвечала Поппея.

— Ты думаешь, его намерения честны?

— Несомненно. Если ты этого желаешь, тебе стоит только сказать да. Но все-таки я полагаю, что хорошенькая Хаздра, подруга Поппеи, размыслит, прежде чем выйдет замуж за такого плебея.

— Ничуть! — вскричала финикиянка, пряча записку. — Лучше сегодня, чем завтра! Плебей! Что мне до его происхождения, когда он сам волнует мое сердце?

Первобытная пылкость девушки тронула холодную натуру Поппеи.

— Мечтательная дурочка! — насмешливо сказала она.

— Какая я есть, такая я и есть, — возразила Хаздра. — И я не понимаю, как может говорить так Поппея, сама знакомая с любовью. Конечно...

— Ну, кончай же!

— Я боюсь, ты сердисься на меня...

— Могла ли ты когда-нибудь упрекнуть меня в мелочности? Говори!

— Хорошо. Я хотела сказать, что я, Хаздра, понимаю любовь иначе, чем Поппея Сабина. Ты любишь твоего супруга Ото, но ты также слушаешь любезности Тигеллина, Кая и Люция, Тита и Тация... Вот это, светлейшая Поппея, для меня было бы невозможно; я могу любить только одного, а другие для меня не существуют.

— Ты можешь любить только одного, — глухо прошептала Поппея. — Хаздра, дитя, клянусь богами, я не знаю, жалеть ли мне тебя или завидовать тебе. Я не люблю никого, никого, даже цезаря, которого хочу покорить...

— Как понимать твои слова?

— Ты должна узнать все, так как ты можешь мне понадобиться раньше, чем ты ожидаешь. Видишь, Хаздра, во мне живет только одно желание: первенствовать. Сначала над женщинами. Я хочу быть прекраснейшей между ними и возбуждать общую зависть. Этого я уже достигла. Весь Рим у моих ног. Я не пренебрегаю никакими стараниями для того, чтобы сохранить и еще возвысить дарованную мне природой красоту...

— Это я знаю. Ты употребляешь драгоценные притирания, маски из теста, молочные ванны... И я знаю также, что ты прекраснейшая из прекрасных. Одна только императрица Октавия, *быть может*, могла бы поспорить с тобой, если бы не ее вечная бледность, сдержанность и молчаливость.

— Октавия! Не произноси этого имени! Знаешь ли ты, почему я вышла за Сальвия Ото? Из любви? О, младенческая простота! Я рассчитывала приблизиться через него к его другу-императору и овладеть его сердцем, отодвинув на задний план бледный призрак Октавии... Тише! Вот идет Софоний Тигеллин с Ацерронией. Завтра ты узнаешь больше. Мне незачем предписывать строжайшее молчание моей умной Хаздре.

Они повернули к дому, между тем как агригентец с Ацерронией прошли в парк в стороне от них.

— Скажешь ли ты, наконец, в чем дело? — нетерпеливо спрашивала фрейлина императрицы-матери. — Что? Идти с тобой в вязовую аллею? Ни за какие сокровища Лидии! Агриппина и то будет удивляться...

— Агриппина занята горячей беседой с Сенекой, а уж кого он захватил в свои философские когти..

— Философские когти лучше когтей хищника. Ты коршун, Софоний. Я тебе ни на волос не доверяю. Признайся, что удивительная тайна, которую ты хотел сообщить мне, была пустым предложением!

— Выслушай и суди сама! Паллас, твой прежний Паллас...

— Мой Паллас? Советую тебе припрятать такие выражения для тех, кому они могут нравиться; например для Поппеи Сабины...

— Ага! Ты ревнуешь...

— Я? Да разразит Юпитер свои громовые стрелы над твоей пустой головой! Я ревную? Уж не к тебе ли, всесветному глупцу, бегающему за каждой юбкой? Для меня ты такой же чурбан, как Макк в ателланских играх! Ну, так что же этот Паллас, до которого мне так же мало дела, как тебе...

— Да? Краснокудрой Ацерронии нет дела до Палласа? О, ты невинность! Как будто вся Италия, со всеми ее островами, не знает о вашей тайной помолвке!

— Это бессовестная ложь! Кто это говорит? Назови мне сплетника, чтобы я могла привлечь его к суду!

— Но ведь ты не будешь опровергать...

— Назови мне негодяя! — яростно повторяла она.

— Это он сам...

— Как он сам? — прервала она его в волнении, не замечая, что без всяких лидийских сокровищ уже вошла за хитрым агригентцем в темную аллею.

— Он сам,— продолжал Тигеллин, неожиданно с непреодолимой силой привлекая ее к себе,— он сам хотя еще не испытал, как целуют губы рыжей пантеры, но твой превосходный друг Тигеллин желал бы наконец лично сделать этот опыт... Не сопротивляйся, прекрасное дитя! Ведь я знаю, что Ацеррония смертельно влюблена в меня.

— Войдем, по крайней мере, в кусты,— покорно сказала она.— Так вот смысл твоих речей! А история про Палласа...

— Была только предлогом,— прошептал Тигеллин.— Пойдем и не шуми! Еще один поцелуй, моя голубка. Вот так, прелестно! Скажи теперь, что ты хочешь быть счастливой со мной хотя бы один блаженный, мимолетный день. Говори же, очаровательная пантера! Я люблю тебя безгранично!

— Да,— прошептала Ацеррония.

— Какое счастье даешь ты мне! — восторженно воскликнул агригентец.

Приподняв обеими руками ее пылавшую голову, он сразу после банальных нежностей опытного соблазнителя вдруг получил полновеснейшую из пощечин, когда-либо достававшихся на долю этого нахального волокиты.

В тоже мгновение вырвавшись от него, Ацеррония с проворством хорька бросилась бежать в освещенную часть парка.

— Маленькая bestия! — усмехнулся агригентец.— Такой же понятный мимический язык, быть может, избавил бы бедную Лукрецию от самоубийства. Отвратительно! Я не получал такой затрешины с тех самых пор как вышел из школы. Но все равно. Я ей дам себя знать! Как раз теперь она меня и манит, а ее поцелуи, даже если и принужденные, все-таки удивительно походили на искренние...

Напевая греческую застольную песню, он медленно последовал за своей удивительной собеседницей.

Между тем, Ацеррония присоединилась к первой попавшейся ей группе, центром которой был начальник мизейского флота Аницет. Разговор, естественно, шел о спорной скачке между Фульгуром Тигеллина и превосходной чистокровной кобылой моряка.

«Аницет,— хотела было вскричать разъяренная Ацеррония,— я дала богам великий обет, если они решат спор в пользу твоей прекрасной Флавы!» Но слова замерли на ее губах, она произнесла только имя Аницета и, когда он вопросительно взглянул на нее, прибавила тихо:

— Разве судьи уже вынесли приговор?

Все улыбнулись, даже отпущенник Артемидор, скромно стоявший тут же рядом с рабом Милихом. Внезапное вмешательство рыжеволосой испанки действительно вышло очень неловко; всем было понятно, что произносятся эти слова, она хотела сказать что-то совершенно другое.

Спорное состязание между Фульгуром Тигеллина и Флавой Аницета было известно во всех подробнос-

тях последнему рабу семихолмного города и все с таким лихорадочным нетерпением ожидали решения знатоков, что быстроглазая Ацеррония тотчас смекнула свой промах. Вопрос ее должен был быть принят или за недостаток такта, или же присутствующие вывели коварные заключения из ее видимого замешательства.

Но никто не знал, что же так внезапно напугало ее...

Странное, загадочное видение пробудило ужас в сердце обыкновенно столь смелой пантеры.

Аницет стоял, прислонившись к статуе Помоны. Когда Ацеррония произнесла его имя, ей почудилось, что глаза его закрыты, как у мертвого, из густых волос струится зеленоватая вода, а широкий нос и полуоткрытый рот как бы застыли в предсмертной судороге. Помона же, величественно возвышавшаяся позади него, приняла черты лица Агриппины.

Ацеррония поспешно отступила; через мгновение страшное видение исчезло, оставив дикий ужас в сердце девушки, тотчас же решившейся обратиться за истолкованием и советом к египтянке Эпихарис, известной своим искусством во всевозможных предсказаниях.

— Я не вижу в этом ничего дурного, — улыбнулась Эпихарис. — В течении года, ты с твоей царственной повелительницей Агриппиной совершишь особенно блестящее морское путешествие, в котором начальник флота Аницет будет играть роль Посейдона, охраняющего и благополучно приводящего вас в гавань. Быть может, вас застигнет буря, но ты ведь видела сама, что ярость ее была все-таки не в силах свергнуть гордую Помону, императрицу-мать, освежающую всех нас своими плодами.

— Благодарю тебя! — вежливо сказала Ацеррония. — Но все-таки тайное смущение не совсем покинуло меня. Этот страшный Аницет...

— Человек в высшей степени образованный, — прервала ее Эпихарис. — Кто знает, Ацеррония, чем было вызвано твое видение? Любовь порождает иногда странные призраки.

— Любовь?

— Ну да! Сейчас шла речь о его горячей, страстной любви к тебе, а нынче ведь мужчины начинают любить, только когда они достаточно уверены во взаимности.

— Помогите мне, боги Лациума! Я, я... Нет, это неслыханно! Вот попалась между Сциллой и Хариб-

дой! Здесь Тигеллин, там Аничет! Один — легкомысленный вдовец, другой — женатый человек! Один дерзок, как нищий возле цирка, другой — пронырлив и хитер, с широким как у эфиопа носом! Так это-то ваша знать, ваше несравненное римское общество? Ну право, я предпочитаю солдата из преторианской гвардии! Например, вот этого, что разговаривает теперь с противной Хаздрой...

— Неужели?... — улыбнувшись, спросила египтянка.

— А почему бы нет? Во всяком случае, он наполовину меньше изолгался, чем любой знатный римлянин и, конечно, в тысячу раз интереснее этого последнего!

— Разве ты знаешь его?

— Да, узнала случайно. Его зовут Фаракс и он явный любимец императрицы.

— Октавии?

— Что за вздор! Говоря об императрице, я всегда подразумеваю одну Агриппину.

Тонкая ироническая улыбка пробежала по губам Эпихарис.

Громкие звуки рогов, к которым присоединился веселый сицилианский плясовой мотив, прервал их беседу.

— Пойдем на наши места! — сказала египтянка.

В сопровождении приблизившегося к ней государственного советника, она направилась к овальной, усыпанной песком арене.

Пиршество в перистиле было не особенно продолжительно. Так называемый конвивиум, коммиссацио, — веселое продолжение его, сопровождаемое оживленной беседой, должно было происходить здесь, в более непринужденной, но зато изысканнейшей форме. Сцеви́н приказал воздвигнуть под своим знаменитым столетним кленом особую трибуну, с перил которой свешивались голубые индийские ковры с золотыми шнурами и кистями.

Направо и налево от этой роскошной ложи, подобной императорской ложе в цирке, правильными полукругами шли обитые мягкими подушками седалища для остальных зрителей. Вне этой, почти замкнутой, круглой площадки, недалеко от средней аллеи сада, для тех из гостей, которые предпочитали бродить по благоухавшим весной дорожкам парка и заглядывать на арену лишь во время исполнения особенно великолепных номеров, были расставлены красивые бронзовые стулья с ярко-красными кожаными подушками, полукруглые диваны и мягкие софы.

Перед каждым местом, на драгоценном моноподиуме с подставкой из слоновой кости, стояли чаши с золотыми ободками, свежие венки, по корзиночке с пицентинским печеньем, и по дроковой плетенке, полной ионийских фиг и кампанского миндаля.

Рабы в цветных одеждах беззвучно скользили между гостей, наполняя их кубки и с услужливой поспешностью предупреждая их малейшие желания.

По обе стороны императорской трибуны почетным караулом выстроился отряд преторианцев и в числе их Фаракс, умное лицо которого выгодно выделялось среди заурядных физиономий его товарищей. Остальные гвардейцы скромно и, по-видимому, без всякой задней мысли разместились где попало, или еще оставались в обширном триклиниуме, где Милих, главный раб Флавия Сцевина, угощал их номентинским вином.

Спустя пять-шесть минут из палатки вблизи постикума на арену вышла прекрасная арфистка Хлорис и, звучно ударив по струнам, запела греческий гимн.

Гости слушали ее не слишком внимательно; только небольшая часть их успела занять свои места и между ними, конечно, были императрица-мать и серьезная Октавия.

Но и они казались рассеянными.

Молодая императрица вопросительно смотрела на своего супруга; он стоял с агригентцем далеко в стороне, прислонившись к стволу пинии и не выказывая ни малейшего желания занять приличествовавшее ему место между матерью и супругой.

Бедная Октавия теперь заметила, что в последние дни Нерон казался более обыкновенного расстроенным, печальным и как бы обуреваемым внутренней борьбой...

Если бы он только захотел открыть свое сердце ей, так много его любившей! Но он не допускал в ней проявления участия к его печали и когда, не подозревая о ее причине, она благочестиво советовала ему прибегнуть к богам, чело императора омрачалось еще больше, а на лице мелькало выражение уничтожающего презрения или мрачной ненависти.

Неужели он действительно враг богов? Или ей суждено было вызывать его неудовольствие каждым своим словом, хотя бы произнесенным с самыми благими намерениями? Неужели она была тяжелым бременем, препятствовавшим юному мощному орлу взлететь в ясную высь довольства и счастья? Слезы навер-

нулись на ее глаза. Занятая своими мыслями, она не видела, что все еще смертельно бледная Агриппина сидела, подперши голову рукой и тихо шевеля губами. Тост Флавия Сцевина, подобно разъяренному скорпиону, язвил ее честолюбивое сердце и, смертельно оскорбленная, она уже измышляла отмщение. Ее по временам улыбающийся рот и трепетно раздувавшиеся ноздри уже выражали отвратительное торжество. Но когда к ней подошел Бурр, лицо этой бесподобной актрисы просияло. Начальник преторианцев не должен догадываться о поглощавших ее мыслях.

— Ты прав, Бурр,— милостиво сказала она.— Эта девушка — большой талант. Я была совершенно увлечена потоком ее мелодии... Но вот она уже кончила!

Кругом раздались рукоплескания; арфистка вежливо поклонилась, но не ушла в палатку.

Теперь площадка была полна зрителей; только человек сорок еще гуляли в одиночку и парами по аллеям, или, беседуя, сидели в отдалении от общего круга.

К этим последним принадлежал и Ото, нежно, но ревниво сжимавший руки своей жены Пoppей и упрекавший ее в чрезмерной благосклонности к человеку с такой дурной славой, как Софоний Тигеллин.

— Ты знаешь, я доверяю тебе, хотя, быть может, это и безумно, ибо сердце женщины подобно облачку, гонимому южным ветром. Оно меняется каждую минуту. Но ты, сладчайшая Пoppей, умеешь смотреть так кротко, так обворожительно, что я совершенно теряю рассудок и, вопреки благоразумию, считаю тебя непоколебимо верной мне.

— Вопреки благоразумию, говорит мой обожаемый Ото! — лукаво произнесла она, бросив на него такой волшебный, лучезарный взгляд, что он едва мог удержаться от страстного желания заключить ее в свои объятия.

— Дивная, роскошная роза,— с горячей любовью прошептал он,— не безрассудно ли проводить этот божественный вечер в шумной толпе, вместо того чтобы наслаждаться счастьем в сладкой тиши нашего дома? О, Пoppей, глядя на твой улыбающийся ротик, на твою стройную фигуру, я всегда вспоминаю Елену, повсюду возбуждавшую бури страстей...

— Неудачное сравнение! Елена была потерянное создание...

— Ты права. Сравнение неудачно. Я должен был бы сказать: ты прекрасна, как Елена, и верна, как

Пенелопа. Но именно поэтому, дорогая, я избегаю даже малейшего повода сомневаться в тебе. Я не могу переносить, когда ты так многозначительно смотришь на такого известного негодяя как агригентец. Я знаю, он любезен, умеет льстить и в то же время казаться почтительным, а это так нравится женщинам. Неправда ли, из любви ко мне, ты обещаешь избежать его впредь? Уж лучше старайся произвести впечатление на императора Нерона.

— Ты говоришь серьезно? — спросила пораженная Поппея.

— Совершенно серьезно. Постарайся развеселить его! Заставь его полюбить жизнь! Оттесни от него ужасного Сенеку! Вот это можно было бы назвать заслугой!

Вся вспыхнув, молодая женщина покачала головой и задумчиво опустила свои светло-серые глаза.

— Поппея не навязывается, — проговорила она. — Если бы мое общество нравилось цезарю хоть на половину столько, сколько твое, я высоко оценила бы это преимущество. Но увиваться около него, как мотылек около огня — нет, дорогой Ото, для этого я слишком горда и... равнодушна...

— Ты забываешь, что я всегда считался его другом и знаю его с детства...

Серебристо-звучные струны арфистки Хлорис зазвучали снова и на этот раз к ним присоединился ее мягкий голос. Все разговоры смолкли.

Чудно пела эта гречанка в светлой-желтой одежде, прозванная золотой молодежкой Рима «родосским соловьем». И с какой благородной осанкой стояла она, держа в правой руке плектрум, а в левой подвязанную бледно-желтыми лентами девятиструнную арфу, с желтыми розами в черных, как ночь, волнистых волосах! Это была фигура гомеровских времен!

В противоположность торжественному, громкому гимну, она пела теперь меланхолическую, жалобную песню, в звуках которой слышались рыдания об утраченном счастье.

Мелодия эта произвела потрясающее впечатление; испорченное, разращенное до мозга костей, за минуту перед этим весело смеявшееся, шутившее и с увлечением предававшееся любовным интрижкам, общество мгновенно смолкло.

Пьяный сенатор с уродливым лицом фавна, в собраниях на капитолийском холме при каждом удобном случае напоминавший об уважении и страхе к бес-

смертным богам, а теперь только что шептавший фривольные намеки своей, сидевшей подле него, четырнадцатилетней племяннице, внезапно оборвал грязный разговор и со стоном откинулся на подушки, как будто услышав страшное предостережение с высот Олимпа.

Нарумяненная кокетка, назначавшая сегодня уже четвертое свидание, тщетно старалась оставаться глухой и равнодушной к мягкому и в тоже время звучному голосу, певшему о самом заветном и священном чувстве человеческого сердца. Бесстыдные, пресыщенные юноши, среди плебейских гетер чувствовавшие себя гораздо более уместно, чем в своем семейном кругу, никогда не заглядывавшие в зал суда, но не пропускавшие ни одной пантомимы, ни одной оргии у модных львиц полусвета,— невольно смягчили свой нахальный взгляд и прекратили язвительное перешептывание, которым дерзко встретили появление молодой артистки.

Короче, ее торжество было полным. С тех пор, как она ступила на почву Италии, она никогда еще не пела так вдохновенно; и когда по окончании ее чарующей песни отпущенник Артемидор по приказанию своего господина Флавия Сцевина встав на колени, подал ей золотой венок, присутствующие разразились восторженными рукоплесканиями и громкими возгласами одобрения.

— Сладчайшая Хлорис,— шепнул Артемидор так тихо, что его слышала лишь одна прелестно зарумянившаяся девушка,— возьми и скажи, что тебе дороже — этот драгоценный венок или мое страстно бьющееся сердце?

— Твое сердце, ты ведь это знаешь! — прошептала певица.

И принимая роскошный дар, она тихонько пожала руку затрепетавшего от восторга Артемидора.

— Какое неизмеримое счастье быть так любимым! — тихо произнес он, изящным движением поднимаясь с колен.— Прежде чем кончится год, она будет моей! А я думал, что мне суждено умереть вдали от нее! Вдали от нее! Эта мысль была ужаснее самой смерти.

— Какой красавец этот Артемидор! — шепнула восемнадцатилетняя жена сенатора своей ровеснице-соседке.— Жаль, что он не свободный по рождению!

— Почему же?

— Кажется, понятно почему...

— Что касается меня, то если бы мне пришлось выбирать между ним и прославленным Софонием Тигеллином, конечно, я предпочла бы Артемидора...

— В самом деле?

— Без всякого сомнения. Ты ведь понимаешь меня? В качестве мужа или даже постоянного... друга, Тигеллин был бы мне приятнее. Но при случае, как мимолетная прихоть... И к тому же, сознайся сама, ведь всякие предрассудки бессильны перед увлечением. А если супруг и поймал бы нас, то в сущности ведь ему все равно, благородный наш возлюбленный, или нет.

Бесстыдные женщины засмеялись циничным смехом, исказившим их красивые, молодые лица.

Хлорис же, счастливая сознанием своего артистического триумфа и еще более — любви Артемидора, трижды поклонилась на все стороны и, обратившись к оживленно рукоплескавшей ей императрице-матери, воскликнула по-гречески:

— Да сохранит Зевс мать отечества! — после чего скрылась в палатку, уступив свое место двум гордым бойцам-атлетам.

Прежде еще чем раздались оглушительные звуки духовых инструментов, которые должны были сопровождать борьбу, Нерон отошел от Тигеллина. Песня гречанки жестоко растравила рану его изболевшейся души.

Нетерпеливым движением руки остановил он двух своих молодых друзей, намеревавшихся следовать за ним.

— Невероятно! — сказал один другому. — Даже здесь, в празднично разукрашенном саду Флавия Сцевина он не может стряхнуть свою мрачность. Клянись Эпоной, право пора уже подставить ногу отвратительному Сенеке. В двадцать лет обладать рассудительностью и холодностью Зенона — это ни на что не похоже! Какую метафизическую задачу решает теперь этот мечтатель, если даже мы, самые воздержанные из его друзей, в тягость ему?

Да, цезарь решал метафизическую задачу и решал ее не в теории, а на практике: задачу настоящей, искренней любви, не способной дать ответа рассудку на вопрос: почему ты прилепился всеми силами души к девушке, едва мелькнувшей пред тобой и навеки исчезнувшей, между тем как вокруг тебя, подобно ожидающим садовника розам, цветут женщины такие же прекрасные, а быть может и прекраснее ее? Поче-

му всеми желаниями твоими владеет бывшая рабыня, в то время как у тебя есть подруга — Октавия, благородные черты которой все скульпторы Рима признают божественными?

Сама арфистка Хлорис, так глубоко потрясшая сердце Нерона, несомненно была красивее Актэ.

И все-таки цезарь оставался нечувствителен к ее красоте. Волшебные чары ее искусства вызвали в нем с удесятенной силой одно лишь мучительно-сладкое воспоминание со всеми его подробностями. Нерон не владел собой. Он должен был бежать от этого блестящего и оглушительно-шумного собрания, он должен был усмирить бурю, весь день непрерывно бушевавшую в его груди.

Гости наверное заметили бы его волнение, его слезы, теперь свободно катившиеся по его щекам, — а этого не должно быть. Он — цезарь, он должен уметь обуздывать не только парфян или хаттов, но и свое собственное я, со всеми его страстными, безумными порывами.

Ветер тихо и успокоительно шелестел верхушками деревьев, словно напевая колыбельную песню. Здесь скоро уляжется бурная страсть, ураганом кипевшая в его груди. Приди, священная, мирная ночь! Накинь твой темный плащ на страдания твоего любимца! Дай ему спокойствие, если уж счастье недоступно ему!

ГЛАВА IX

Незаметно для самого себя Клавдий Нерон углубился в темные аллеи.

Луна в своей первой четверти матово-серебристым светом обливала посыпанные песком дорожки, обсаженные здесь более молодыми и низкими деревьями.

Вдруг император вздрогнул. Позади лавров, мимо которых он шел, погруженный в свои думы, что-то зашевелилось и когда, прислушиваясь, он остановился, в кустарниках раздались человеческие шаги.

Клавдий Нерон был безоружен, а у монарха, даже самого лучшего, всегда есть тайные враги, ненавидящие его до глубины души и не пренебрегающие никакими средствами для его уничтожения. Но царственный юноша, в сознании всеобщего к себе доброжелательства, а еще более, быть может, благодаря

врожденному мужеству, не ощутил ни **малейшего** смущения.

— Стой! — крикнул он тоном сдержанной угрозы, — кто бы ты ни был, я, твой император, повелеваю тебе выйти сюда!

В кустах затихло.

— Ты слышал? — повторил цезарь. — Не упорствуй! Одно мое повеление — и ты будешь окружен, как зверь на облове!

— Всемогущий цезарь, — прошептал трепещущий женский голос, — не гневайся на мою медлительность!..

— Актэ! Ты! Ты! — в безумном восторге воскликнул император. — Ты здесь? Во плоти? Живая?

Стройная фигурка осторожно высвободилась из кустарников. В следующий момент она уже была в объятиях цезаря, осыпавшего страстными поцелуями ее блаженно улыбавшиеся губы, словно одной этой минутой он хотел вознаградить ее за все прошлые муки.

— Актэ! — повторял он. — Божественная Актэ, неужели это действительно ты?

Он говорил словно в забытьи и недоверчиво, как будто считая все это одним лишь мимолетным сновидением.

Сначала она в сладком молчаливом оцепенении отдавалась его ласкам, не находя в себе силы к сопротивлению.

Наконец, стыдливо зардевшись, она оторвалась от его уст, но совсем освободиться из его объятий не хотела и не могла. Пылающая голова ее склонилась на плечо бесконечно любимого человека, чей образ она все эти месяцы носила в своем сердце с такой мучительной тоской.

Его жаркие губы прильнули к ее волнистым белокурым волосам, отливавшими золотом и серебром при свете луны.

Ему казалось, что после долгого отчаянного скитания по пустыне, наконец он нашел цветок, благоухание которого должно было вернуть ему здоровье и жизнь.

Вдруг она отстранила его.

— Повелитель, ты бесчестишь себя! — почти безумно шепнула она. — Знаешь ли, что ты сделал? Ты, владыка мира, поцеловал рабыню!

— Да, да, я поцеловал Актэ! Я хотел бы крикнуть это всему свету с вершины Капитолия. Я был счастлив впервые с тех пор, как дышу!

— Счастлив,— правда ли это? — с лучезарным взором спросила она.— О, как чудно звучат эти слова! Но все равно! Если это и счастье, то оно позорно и греховно. Позорно — ибо я отпущенница и недостойна тебя. Греховно — ибо у Клавдия Нерона есть благородная, великодушная супруга, чье сердце разбилось бы, если бы она узнала о его вероломной измене!

— Октавия! — с невыразимой горечью воскликнул Нерон.— Я не выбирал ее: я принес безрассудную жертву государственному благу и желаниям моих советников. Но клянусь тебе, никогда не уступил бы я им, даже если бы сама Агриппина, моя светлейшая мать, на коленях молила меня, если бы только я мог угадать, где я встречу единственную обожаемую мной девушку! Актэ, как упорно разыскивал я тебя! Мои люди обшарили весь Рим! Сколько раз я лично расспрашивал о тебе твоего друга Артемидора! Все напрасно! Скажи, где же была ты? Зачем допустила ты любящего тебя человека потерять всякую надежду и тупо отдаться участи, которую едва ли теперь возможно изменить?

— Цезарь, я повиновалась голосу моей совести. При первом взгляде на тебя я почувствовала, что ты овладел всем моим сердцем и душой! Но в то же время я знала, что это безумие: простому полювому цветку стремиться к солнцу, сияющему в недостигаемой эфирной вышоте. Я полюбила тебя страшно, сильнее всяких слов...

Она снова на мгновение приникла к его плечу.

— Ты знаешь, повелитель, я христианка,— с достоинством выпрямляясь, продолжала она.— Наша религия и возлагаемые ею на нас обязанности тебе знакомы уже через Никодима и твоего советника Сенеку. Как христианка, я должна была бежать, ибо мы ежедневно просим Господа: «Не введи нас во искушение». В деле обращения, задуманном моими единоверцами, Никодим предназначил мне слишком опасную роль. Он говорил, что братья и сестры любили меня больше, чем других, за мое красноречие и умение убеждать людей. И я должна была найти доступ к сердцу сомневавшемуся цезаря. Он, быть может, остался бы глух к серьезным увещаниям мужчин, и надо было приготовить его к принятию спасительной веры. О, повелитель! С самого начала я сознавала всю ложность этого пути, и все противоречие поступков Никодима с учением кроткого Искупителя, воспрещавшего смещи-

вать мирские дела с делом религии. Окончательно убедившись в твоём опьяняющем, неотразимом очаровании, я твердо решила бежать, хотя бы это стоило мне жизни. Один блаженный час в палатке египтянина ясно доказал мне, что я стою на краю гибели, и я бежала далеко от твоего пленительного образа, на север, в Фалерию, где сделалась служанкой у честных арендаторов.

Клавдий Нерон задумчиво смотрел на ее освещенное луной лицо.

— Но как явилась ты сюда? — после короткого молчания спросил он.

Актэ опустила глаза.

— Повелитель, ты заставляешь меня стыдиться; но я могу признаться и в этом. Уже целую неделю живу я в Риме. Одна знатная дама, случайно увидавшая меня проездом через Фалерию, возымела ко мне симпатию, и так как мне давно уже наскучило однообразие моей жизни, то я с благодарностью приняла предложение богатой сицилианки сделатья ее спутницей и чтицей. С ней приехала я сюда, а завтра ранним утром мы отправляемся в Капую по Аппианской дороге.

— Все это не объясняет мне нашей встречи в парке Флавия Сцевина.

— Ты не догадываешься? — застенчиво прошептала Актэ. — Я знаю через Артемидора, что ты, повелитель, будешь сегодня в гостях у Флавия Сцевина. Артемидор отворил мне калитку, ведущую сюда с вершины холма, и уже целый час я брожу по парку. Я хотела еще раз увидеть черты моего повелителя, прежде чем навеки обречь себя на безутешное одиночество.

— Так Артемидор знал, где ты? — с изумлением спросил император.

— Да, повелитель! Я давно дружу с ним; его господин, Флавий Сцевин, провел два лета на берегу Остии, где и у Никодима был дом. Я знала, что Артемидор встревожится об исчезнувшей Актэ гораздо больше, чем все другие. Поэтому я написала ему, что устроилась хорошо, и однажды, когда господин послал его по делу в Куру, он сделал крюк и навел меня в Фалерию.

— Так вот его благодарность мне за спасение от смерти! — с горечью воскликнул Нерон. — Десять раз спрашивал я его: «Где Актэ?» и десять раз он уверял меня, что это ему совершенно неизвестно!

— Он поклялся мне молчать, и знал о моих причинах!

— Он плут. Он обязан быть честным перед своим императором, спасшим ему жизнь. Когда я подумаю, что я потерял благодаря ему и его лжи, я готов собственноручно задушить его!

Молодой цезарь выпрямился, его уста грозно трепетали. Все муки последних недель, печаль о разбитой любви, грызущее душу недовольство выпавшей ему участью — играть роль властителя под вечным давлением людей и нравственных правил, и втайне покровительствовать религии, которая теперь, воплощенная в образе Никодима, казалась ему почти ненавистной — все эти чувства волновались, бушевали и боролись в его тяжело вздымавшейся груди.

Что это за благочестивая община, бремя за бременем нагромождавшая на его плечи и делавшая из Актэ орудие коварной интриги?

Ему неизвестны были кроткие, смиренные христиане, набожно собиравшиеся вокруг своих старшин, чтобы слушать предания о словах и деяниях Спасителя, исцелявшего слепых, утешавшего печальных, поучавшего народ с горы, или мальчиком опровергавшего в храме ученых законников... Цезарь знал только хитрого фанатика, проповедывавшего, казалось, лишь одно — то, что всякие, даже самые низкие, средства годятся для достижения возвышенной цели.

Глубоко возмущенный император с равным ожесточением упрекал теперь и Артемидора за его братское покровительство Актэ, и Никодима за то, что он так бессовестно рисковал молодой девушкой. Резким движением откинув свои густые волосы, он сбросил с головы розовый венок, упавший к его ногам на росистую траву, и с внезапной нежностью взял Актэ за красивую, белую руку.

— Позабудем пережитые страдания! — сказал он с глубоким вздохом. — Ты пришла сюда для того, чтобы еще раз увидеть меня; ты меня любишь, сегодня, как и прежде и, клянусь всем священным, судьба накажет меня, если я когда-нибудь снова отпущу тебя! Разве ты не видишь, Актэ, что нас свел Рок или, по-твоему, Провидение, именно теперь, перед самым часом разлуки, которую ты считала неизбежной? Дай обнять тебя, единственная, способная внести мир в мою душу! Актэ, вечно любимая Актэ, хочешь ли ты быть вполне моей, принадлежать мне телом и душой? Если ты согласна, то я клянусь тебе в верности до гроба. С

тобой я буду жить и с тобой же умру. Возле тебя я воздену мои руки к твоему Богу. Я поверю, насколько могу, что Христос умер для искупления человечества. Я воздвигну символ этой религии повсюду, где рука цезаря властна ниспровергнуть алтари Юпитера и всех других богов. После меня мир будет принадлежать Галилеянину, ты же, избранница императора, будешь царить над твоей многочисленной общиной, прекрасная и вознесенная, как ни одна женщина на земле, ни до, ни после тебя!

Актэ печально покачала головой.

— Нет, повелитель, — трепеща отвечала она, — из зла еще никогда не выходило добра. Церковь всемогущего Бога зиждется не на преступлениях, но на незабываемой верности ее приверженцев. Она победит и без меня и без поддержки императора, одной лишь силой своей истины.

— Это ли язык любви? Дорогая, божественная Актэ...

— Подумай об Октавии!

— Я думаю о ней без малейшего укора совести. Октавия не может потерять то, чем она никогда не обладала. Я был твой задолго перед тем, как меня склонили к союзу с ней коварство окружающих, власть по-детски почитаемой матери и безграничная пустота моего собственного сердца. Актэ, если ты опять покинешь меня, я умру. Если ты повелишь, мой кумир, я сегодня же переговорю с Октавией и потребую развода...

— Никогда!

— Ты не хочешь быть моей перед лицом всего мира? Ты опасаясь бури, которую неминуемо возбудит развод императора с его супругой? Хорошо. Твоя воля для меня закон. Пусть долг приковывает цезаря к его жалкой жизни во дворце! Но как человеку, дай мне счастье твоей любви! Да, ты права, отвергая все мои обеты тебе, как христианке! Я должен был бы воззвать только к твоей любви. Я не хочу купить божественную Актэ ценой императорских милостей, но хочу получить ее сердце, как добровольный дар, из ее собственных нежных рук!

Голос его звучал такой безмерной страстью, что обьятая блаженным трепетом Актэ затрепетала всем телом.

Неподалеку, под развесистыми ветвями старых платанов, стояла скамья, покрытая тарентинскими коврами.

Клавдий Нерон посадил рядом с собой слабо сопротивлявшуюся девушку и осыпал ее страстными поцелуями. Крепко прижавшись к нему, она плакала неслезанно счастливыми слезами...

Когда настала минута разлуки, Актэ со сладостным смущением взглянула на обожаемого ею императора. Но во взоре ее не было раскаяния: в нем выражалась одна лишь безграничная любовь, бесконечная преданность.

— Так ты остаешься? Да? Обещаешь? — прошептал Нерон, снова нежно и горячо обнимая ее. — Актэ! Актэ! Как мне благодарить тебя за твою любовь и доброту? Прощай, моя возлюбленная, моя единственная настоящая, любимая супруга! Я должен спешить к гостям! Боюсь, мое продолжительное отсутствие уже замечено всеми. Я вижу, ты еще носишь мой перстень. Покажи его привратнику Тигеллина. Тебе будет оказано такое же уважение, как императрице, и укажут тебе ложе, где ты можешь спокойно заснуть в сознании нашего, достигнутого наконец счастья. Артемидор же уведомит твою госпожу, чтобы она отыскала себе другую спутницу. Актэ рождена не для того, чтобы прислуживать стареющим провинциалкам. Пожалуйста, напиши что следует вот на этой дощечке: я позабочусь, чтобы записка была доставлена по адресу завтра рано утром. Где остановилась твоя сицилианка?

— В доме ее подруги, египтянки Эпихарис.

— Приглашенной сегодня сюда?

— Той самой. Артемидор сказал мне об этом. Если бы не назначенный на завтра отъезд моей госпожи, и она была бы здесь между гостями.

— Так Эпихарис может передать ей сегодня же твой отказ, — сказал император.

Актэ написала.

— Хорошо, — сказал Нерон, пряча восковую дощечку под тунику. — Теперь иди, моя дорогая, моя обожаемая! О, каким неопишуемым блаженством даришь ты меня! В груди моей радость бьет ключом, я хотел бы обнять весь мир. Ступай и прими еще один огненный поцелуй, который скажет тебе, как всецело ты владеешь моим сердцем!

Он приник к ее губам в последний раз. Поднявшись, она направилась к маленькой калитке парка, между тем как Нерон, закинув за плечо тогу, поспешил к средоточию праздника, откуда все громче и яснее долетал до него шум и веселый говор.

ГЛАВА X

Когда Клавдий Нерон подходил к арене, там только что окончилась борьба гладиаторов, за которой возбужденные вином зрители следили с горячим воодушевлением.

Один из борцов, раненый, истекая кровью, упал на колени, а его сломанный меч валялся в стороне на песке арены.

Победитель, вопросительно осмотревшись кругом, остановил свой взор на императорской ложе, ожидая услышать из уст императрицы-матери решение судьбы обезоруженного противника. Несмотря на нашептывания рыжей испанки Ацерронии, Агриппина, будучи здесь только гостьей наравне с другими, отклонила от себя это право и величаво равнодушным жестом указала борцу на ряды остальных зрителей. Изнеженные юноши и бессердечные кокетки пожелали насладиться кровавым зрелищем до конца,— и все опустили большой палец, что означало: «Избавь Флавия Сцевина от расхода на лечение! Не медли! Наноси смертельный удар!»

После мгновенного колебания, гладиатор глубоко вонзил клинок в грудь своей жертвы. Темная струя крови со свистом и паром брызнула вверх.

Тогда-то среди оглушительных рукоплесканий появился цезарь. Прекрасно-величавый, как Аполлон, вошел он на ступени трибуны и сел между Октавией и Агриппиной.

— Ты не должна была бы допускать этого,— обратился к матери Нерон,— или по крайней мере ты, благородная Октавия, прозванная Кроткой. Конечно, будучи римлянкой с ног до головы, ты привычна к ужасам смерти. Я это понимаю и уступаю. Но только сегодня... сегодня... праздник был так прекрасен, так полон гармонии... не следовало осквернять убийством этот счастливый день.

— Убийством? — изумленно повторила Агриппина.

— Да, убийством,— подтвердил цезарь,— хотя и законным, но тем не менее отвратительным убийством. Разве ты не знаешь, что говорит об этом Сенека? Да и сам благородный Флавий Сцевин, потворствуя жестокому требованию современного вкуса, повинуется единственно лишь обязанности амфитриона, а не собственному чувству. В душе он совершенно согласен с моим бессмертным учителем.

— Битвы гладиаторов — наследие предков, — возразила Октавия. — Сам Цицерон, философ не хуже Сенеки, считал их лучшей школой мужской отваги. Как мне могло прийти в голову противиться воле и обычаям римского народа?

— Так думаю и я! — многозначительно присовокупила императрица-мать. Она была рассержена. Смелый гост Флавия Сцевина, которого ее сын теперь открыто хвалил как образец этического направления, с удвоенной дерзостью зазвучал в ее ушах.

— Мать, — обратился к ней Нерон, между тем как двое рабов выносили умиравшего фракийца, — скажи, что с тобой? Ты раздосадована моими словами к Октавии? Но я говорил по глубокому убеждению. У тебя такой суровый, недовольный вид... Я же так радостен, так счастлив, так полон праздничного веселья и жажды жизни, что хотел бы одержать победу и над самой смертью! Мать, я знаю, ты оскорблена тостом Флавия. Хотя искусно скрытая, но все-таки острая отравка его слов уязвила тебя. Видишь ли, мать, многие сенаторы и большинство римлян желают, чтобы я единолично держал скипетр римского императора, но Нерон отлично знает, кому он обязан престолом. Ты останешься правительницей империи, если правление твое будет кротко и не оскорбительно для законов государства. Ты будешь уступать мне в мелочах, только в шутку; во всем же важном тебе предоставляется неограниченная власть. Я не честолюбив, мать. Меня не соблазняют дерзостные речи твоих врагов.

Прежде чем Агриппина успела ответить, из аллеи, усаженной громадными пиниями и находившейся как раз позади арены, раздался отчаянный крик о помощи. Все вскочили со своих мест.

С преторианцами впереди, гости бросились в аллею, по которой медленно, шатаясь, шел Флавий Сцевин, поддерживаемый прекрасной Поппеей Сабинной.

— Убийство! — закричала она своим звучным голосом. — Какой век! Амфитрион не безопасен даже в собственном доме!

В одно мгновение Нерон очутился возле сенатора и бережно обхватил его рукой, коснувшись при этом руки Поппеи, которая вздрогнула, несмотря на все смятение этой минуты, как бы желая дать понять императору, какое сильное впечатление он производит на нее.

— Скажи, что случилось? — заботливо спросил Нерон. — Но прежде всего: как ты себя чувствуешь?

— На этот раз я отделался довольно счастливо,— усмехнулся Флавий Сцевин.— Я гулял с супругой Ото и, очарованный ее остроумной беседой, забыл о моих обязанностях хозяина дома. Вдруг в кустарниках что-то зашумело. Я полагал, что это ночная птица, но едва успел подумать, как меня ударило по правому плечу. «Ото!» — крикнул я и обернулся. Но враг уже исчез и я почувствовал лишь теплую кровь, струившуюся по моей спине!

— Преторианцы! Оцепите парк и дом! — повелительно воскликнула Агриппина.

— Стена высока, все входы заперты. Жалкий преступник не может ускользнуть от нас!

— Факелы сюда! — приказал Тигеллин, между тем как прекрасная Поппея и Нерон вели в дом окровавленного Сцевина.

— Тщетный труд! — сказал он, бросив странный взгляд на императрицу-мать.— Такие убийцы чрезвычайно хитры и обыкновенно случается, что их преследуют по ложному следу.

Войдя в спальню Флавия, Нерон обратился к стоявшему там испуганному Артемидору.

— Помоги мне уложить твоего господина! — сказал он.

— Пресветлейший император,— возразил отпущенник,— смотри, тут довольно людей и между ними есть врачи. Благородный Сцевин никогда не простил бы мне, если бы я допустил...

— Молчи! — резко прервал его Сцевин.— Слушайся императора Нерона! Он единственный властитель, которому вы обязаны повиноваться, даже если бы он приказал вам... арестовать свою собственную мать!

Клавдий Нерон обменялся удивленным взглядом с прекрасной Поппеей, которая, впрочем, тотчас же приняла обычно томный вид.

Император легко приподнял стан широкоплечего сенатора, которого Артемидор в то же время обхватил за ноги, и они положили его на железную кровать: так повелитель мира и раб вместе исполнили обязанность боличных слугителей.

Отойдя, Нерон заметил, что его белоснежная тога местами сплошь пропиталась кровью.

Им овладело странное чувство: кровь в день встречи с горячо любимой Актэ предвещала беду!

Он постарался отогнать эту мысль. «Пустяки! — говорил он себе.— Нерон так же мало верит в басни предсказателей, как в любовные похождения Юпите-

ра. Я сам буду Юпитером, видящим счастье этой мимолетной жизни в объятиях моей обворожительной возлюбленной!»

Рана Флавия Сцевина оказалась неопасной: направленный наудачу кинжал прошел вскользь, не повредив внутренности. Домашний врач Полихимний наложил искусную перевязку и напоил раненого холодной водой с фруктовым соком, что видимо освежило его.

В трогательных выражениях благодарил Флавий заботливого императора.

— Истинно царственная натура,— с воодушевлением прибавил он,— входит в каждое несчастье, стараясь смягчить его, стремится покарать каждое преступление и вознаградить каждый великодушный поступок. Нерон, братски помогающий своим друзьям, может рассчитывать на них в час серьезной опасности! Дай мне руку и ты, достойнейшая из римлянок! — обратился он к Поппее.— Будь я на двадцать лет моложе, я позавидовал бы твоему Ото. Ты прекрасна, как Афродита и дружелюбна, как Кос. Обещай мне навестить меня на днях! Я должен до конца дослушать интересную историю, которую ты начала рассказывать мне!

— Если дозволено слуге,— вмешался врач Полихимний,— заботиться о благе своего господина, то я посоветовал бы божественному цезарю и благородной Поппее оставить теперь нашего больного. В противном случае, неизбежная в его положении лихорадка может принять угрожающие размеры.

— Ты говоришь мудро,— сказал император.— Пойдем, Поппея, твой нежный Ото и без того должен быть вне себя от ревности!

— Пусть его, повелитель! — лукаво отвечала Поппея.— Ревность — это масло, питающее пламя любви. К тому же... — тихо прибавила она, — ревность к Флавию Сцевину?.. Ты преувеличиваешь его качества.

И она бросила на него пожирающий взор. Между тем, они достигли площадки, где господствовало невероятное смятение. Императорские гвардейцы, находившиеся в расставленной вокруг дома цепи, небольшими группами рассыпались по парку, обыскивая бесконечные аллеи и густые кустарники. Каждую группу сопровождал факелonosец.

Храбрейшие из сенаторов и благородных, взяв оружие у Милиха, главного раба Флавия, присоедини-

лись к солдатам. Большинство же гостей и среди них вся молодежь, так усердно потягивали крепкое вино Сцевина, что теперь шатались, подобно свите Диониса, и, после бесплодных усилий удержаться на ногах, со вздохами снова опускались на мягкие скамьи. Даже сам Тигеллин, несмотря на свою опытность и привычку к попойкам, с величайшим трудом передвигал ногами. Те женщины и девушки, которые не заснули еще на своих местах, бежали в каведиум. Одна только Агриппина и серьезная Октавия, гордо выпрямившись, сидели в своей ложе и, облитые ясным, ровным светом канделябр, уподобились двум величественным статуям.

Нерон обнажил меч; он хотел лично отомстить за покушение на Флавия Сцевина предательски скрывшемуся убийце.

Поппея Сабина, вынув из чугунной подставки первый попавшийся факел, последовала за ним, так как ее ревнивого Ото нигде не было видно, или же она сумела искусно избежать его...

Осветив массу густых, спутавшихся кустов, Поппея сильно вздрогнула: в небольшой канавке близ дорожки сверкнул стальной клинок: она наклонилась и молча подняла кинжал. Увлеченный преследованием Нерон не заметил ее движения.

На синевато-яркой, трехгранной стали еще виднелись следы свежей крови, ясно свидетельствовавшей о значении неожиданной находки.

Нерон все спешил вперед.

Воспользовавшись благоприятным моментом, Поппея Сабина оберла кинжал о росистую траву и осторожно спрятала его себе под пояс.

Теперь она поняла все.

По странной случайности, она видела на днях в покоях Агриппины точно такой же кинжал — простой стилет, не способный обличить свою царственную обладательницу.

Происшествие объяснялось очень просто, в то же время напоминая собой искусный замысел сочинителя трагедий.

Поппея мысленно увидела роскошную спальню Агриппины, когда она пришла навестить императрицу-мать по случаю ее легкого недомогания, и принесла чудную гирлянду цветов в виде «привета высокой страдальице»; в действительности же, ее любезность имела одну цель — ради Нерона получить расположение императрицы-матери.

Агриппина была очень приветлива: желтые розы на время завоевали ее сердце.

Она пригласила Поппею к себе и поблагодарила ее.

Кроме больной, в комнате находилась только пантера, рыжая испанка Ацеррония.

Вдруг Агриппина упала в обморок. Быть может, запах роз слишком сильно подействовал на ее возбужденные нервы. Ацеррония заботливо подхватила свою госпожу, начала тереть ей лоб и виски и крикнула испуганной Поппее:

— Эссенцию, заклинаю тебя, дай эссенцию! Направо в стенном ящике позади кедровой шкатулки! Флакон с надписью, ты увидишь.

В волнении, Поппея не могла сразу найти кнопку ящика и пока она искала пружину, случайно отворилась одна из других, серебряных, утопленных в стену дощечек. Поппея мгновенно сообразила, что сделала опасное открытие: перед ней открылись всем известные хрустальные флаконы отравительницы Локусты и десять или двенадцать кинжалов с трехгранными клинками и круглыми медными рукоятками.

Все это только мелькнуло перед ее глазами, но неизгладимо врезалось в ее память.

Бесшумно захлопнув серебряную дощечку, она тут же нашла ящик с эссенцией и поспешила подать ее ничего не заметившей Ацерронии.

Теперь также никто не должен узнать про странную связь ее находки с прошлым открытием.

Агриппина не должна подозревать, что Поппея Сабина держит у себя на груди доказательство ее виновности в покушении на жизнь Флавия Сцевина и что одним своим словом она может сорвать с императрицы-матери личину перед ее доверчивым сыном. Таким образом, молодая женщина оказывалась госпожой положения. Пока она решила хранить строгое молчание и выступить на сцену не раньше, чем когда это будет необходимо и уместно. Тогда Нерон узнает, что этот кинжал один из хранящихся рядом с флаконами Локусты!

Все это пронеслось в ее голове с быстротой молнии, и она весело поспешила за цезарем, усердно обыскивавшим кусты.

— Вот и солдаты уже возвращаются,— вздохнув, сказала она.— Кажется, их поиски были так же тщетны, как и наши!

— Ничего и никого, дорогой цезарь! — еще изда- лека протянул Тигеллин.— Встретившиеся мне три-

буны преторианцев также идут с пустыми руками. Клянусь Геркулесом, гвардейцы пронизали своими копьями все лавровые и миртовые кусты и если бы там прятался какой-нибудь негодяй, он наверное был бы проткнут, как вертелом.

— Значит преступник перелез через стену,— сказал цезарь.

— Едва ли, если только у него не было лестницы, а если она и была, то ее, наверное, нашли бы где-нибудь в парке или за стеной. Кроме того, там сторожат преторианцы и прибежавшие сюда на шум солдаты городской когорты.

— Хорошо. Значит, убийца среди нас.

Тигеллин пожал плечами.

— Кто же из гостей мог быть таким отъявленным, низким негодяем? И еще: кто питал вражду к честному Сцевину? Он общий любимец, общий приятель... Его рабы обожают его. Быть может, Артемидор?..

— Артемидор был в доме, когда это случилось.

— Однако он ведь уже бежал от него, тогда, несколько месяцев тому назад.

— То было из страха, а не из ненависти.

— Ну так кто же это сделал? — покачнувшись, спросил агригентец.— Ведь не думаешь же ты, что кто-нибудь из пламенных обожателей нашей Поппее отомстил шестидесятилетнему старику за его прогулку вдвоем с ней по парку?

— Я вовсе ничего не думаю пока,— отвечал Нерон.— Но ведь ты согласен, что кинжал прилетел не сам собой, подобно голубке Мелинна. Поэтому я сделаю то, что мне предписывает долг. Отыщи Бурра! Прикажи ему созвать своих преторианцев. Городские солдаты могут сторожить снаружи, на случай, если преступник станет скрываться на вершине густого дерева. При настоящих обстоятельствах я не доверяю никому. Все будут обысканы, от сенатора до последнего раба. Пусть знают, как в империи Нерона карают такие выходки бандитов!

Пять минут спустя, на звуки труб со всех сторон сошлись преторианцы и гости.

— Войди в нашу ложу,— сказал цезарь Поппее Сабине.— Ты, сопровождавшая Флавия Сцевина в момент позорного покушения, также олицетворяешь собой общественную совесть. Твоя печаль и красота внушат преступнику раскаяние и стыд, и облегчат нам раскрытие виновного. К тому же, как находившаяся с

ним, ты одна стоишь выше всякого подозрения, ты и мы, императорская семья!

Агриппина бросила холодный взгляд на прекрасную Поппею, которая остановилась слева от императора и со спокойным дружелюбием встретила ее взор. Да и к чему стоило бы раздражать Агриппину теперь? Нет, Поппея была слишком лукава, чтобы в самом начале выдать свои дальновидные планы.

«Но кто же был орудием царственной преступницы? — думала Поппея. — Бурр слывет ее фаворитом. Но я не могу допустить, чтобы он решился на такой поступок: это было бы слишком низко. Или, быть может, центурион Убий, так баснословно быстро делающий карьеру? Да что мне за дело? Довольно того, что мне известен источник покушения.

В душе она искренно смеялась над быстротой и легкостью, с которыми, благодаря обмороку Агриппины, она проникла в ее игру и таким образом овладела тайной, долженствовавшей рано или поздно доставить ей многие выгоды.

Ничем не обнаруживая свое тайное торжество, она с гордым достоинством внимала, когда негодующий Нерон с горящим взором обратился к толпе гостей.

— Совершилось беспримерно-позорное святотатство, — говорил он. — Помогите мне открыть преступника! Невинные да не сочтут излишним доказать свою невинность! Никто из присутствующих не сойдет с места, раньше чем объяснит, где он находился до этой минуты и не докажет, что на нем нет ни скрытого оружия, ни следов предательски пролитой крови. В особенности же вы, славные преторианцы, опора права и законов, вы больше всего должны стараться об разоблачении виновного! Представьте себе, какой беспримерный позор, если он окажется среди вас самих, среди достославного отряда избранных! Смерть от руки палача была бы слишком большой честью для презренного негодяя!

Кругом раздался одобрительный ропот.

— Так начинай с меня, — произнесла императрица-мать, протягивая руки с видом покорности своей позорной участи.

При этом движении серебряный гвоздь, конец которого торчал из под обивки перил ложи, глубоко оцарапал ей руку, и кровь, брызнув на вооружение стоявшего справа от нее центуриона Убия, капнула и на ее собственную белолилейную одежду. Агриппина издрогнула и испустила легкий крик.

— Мать, что ты делаешь? — в ужасе воскликнул Нерон. — Опять кровь в этот чудный день, который так лучезарно начался и так божественно завершился?

— Сын мой, это случайность, но в случайностях часто выражается воля бессмертных богов. Быть может, этим они дают понять тебе, своему любимцу, что ты оскорбляешь гостей Флавия Сцевина, превращая его дом в судилище, как будто праздничная площадка в парке сенатора тоже самое, что портик на народной площади, где практикующие законники предлагают желающим свои юридические хитросплетения...

Пораженный Нерон схватился за лоб. Неужели он все еще десятилетний мальчик, которого мать бесцеремонно трепала за волосы, когда он являлся домой с разорванной туникой?

Он уже собирался возразить в сдержанных, но энергичных словах, что безопасность его граждан важнее для него всех придворных и светских приличий, когда его опередил начальник преторианцев, Бурр.

— Всемогущая Агриппина, — твердо произнес он. — Мой долг предписывает мне немедленно исполнить повеления императора. Как знатная женщина, ты можешь оскорбляться этим, но как мать императора, ты должна будешь признать, что старый, грубый солдат исполнил свою обязанность.

Агриппина пожала плечами. Если начальник преторианцев брал сторону Нерона, что могла она сделать? Но она тут же втайне поклялась опутать этого медведя розовыми цепями, чтобы на будущее время отнять у него всякую возможность к проявлениям неуместного усердия.

Бурр подозвал восьмерых из своих людей, на верность которых он мог вполне положиться и приказал им основательно обыскать сначала всех преторианцев, затем присутствовавших мужчин, не способных сказать, где они находились в момент покушения, и всех рабов.

Женщинам и девушкам, не желавшим подвергнуться публичному обыску, предложено было, под конвоем преторианцев удалиться в атриум. Но ни одна из них не воспользовалась этим дозволением. Против ожидания, обыск кончился весьма скоро.

У каждого гостя оказалось по два и три свидетеля, клятвенно подтверждавших его пребывание в том или ином месте. Также ни у кого не нашлось кинжала, а между тем вид раны не оставлял ни малейшего

сомнения в том, что она нанесена именно этим оружием.

Обыск оказался безрезультатным.

— Я говорила, что так и будет! — вскричала Агриппина. — Просим простить нас, благородные гости Флавия Сцевина, если похвальное усердие нашего возлюбленного сына зашло чересчур далеко!

Нерон промолчал.

В душе его уже возникли другие образы. Он молча встал и незаметно передал Артемидору записку Актэ к сицилианке.

В том же порядке, в каком императорская процессия достигла дома Флавия Сцевина, двинулась она теперь в обратный путь. Метелла, супруга злополучного сенатора, проводила до ворот своих высоких гостей.

— Желаю ему скорого выздоровления! — прошептала Агриппина, дружески целуя ее в лоб.

— Того же желаю и я, — воскликнул Нерон, трижды прикоснувшись губами к руке Метеллы.

— И да постигнет наказание коварного преступника, нарушителя твоего спокойствия, — сказала Октавия, нежно обнимая плачущую матрону. — Утешься, любезная Метелла! Полихимний превосходный врач и рана не опасна!

Процессия двинулась. Ни Октавия, ни Нерон не произнесли ни слова. Безмолвие нарушалось лишь звуками мерных шагов носильщиков, факелоносцев и солдат.

Нерон смотрел навстречу солнцу, обещавшему ему, наконец, счастливую жизнь.

Октавией же интуитивно овладело мрачное ощущение, что для нее никогда больше не наступит светлый день.

Спокойно-ясная безмолвность супруга казалась ей странно красноречивой. Глаза его сияли, губы улыбались, как у ребенка, которому снится только что подаренная ему кукла.

То, что принесло в его душу мир и спокойствие и разлило по его лицу цветущее юношеское выражение довольства, могло быть только счастье, — та вавилонская роза, которую тщетно ищут миллионы людей...

Бедная Октавия с невыразимой горечью сознавала, что ей нет места в его чувствах, что вавилонская роза в его руках значила для нее вечное горе и отречение от всякой радости.

«В твои руки предаю я мою жизнь, всеблагий Юпитер!» — неслышно прошептала она, ломая руки

и вздыхая, словно разбивалось ее сердце, но так же тихо, как молодой спартаец, которому лисица под одеждой разрывала внутренности. Блаженно улыбающийся звездной апрельской ночи, Клавдий Нерон не должен был догадываться о ее безмерном несчастье.

ГЛАВА XI

Прошло шесть недель.

В густой зелени беседки одной из прелестнейших вилл по ту сторону Друзовой арки, на устланной коврами мраморной скамье сидела Актэ и с нетерпеливым ожиданием посматривала на тень солнечных часов. Час ужина уже миновал.

Сегодня Нерон ужинал у начальника флота Аницета и в качестве гостя, а не амфитриона, мог удалиться, когда вздумается. Его влекло поскорее увидеться с той, которую он любил больше блеска своего престола и всей мудрости государственного советника. Молодой император вполне предоставил теперь управление империей Агриппине с ее приближенными; он допускал свою мать и даже Октавию вмешиваться в такие дела, которые до сих пор всегда решались только по личному усмотрению императора. Тост Флавия Сцевина, по-видимому, остался без всяких последствий.

Нерон утверждал все, что представлял на его рассмотрение достойный Сенека, часто действовавший под влиянием Тигеллина. По совету их обоих он увоил жалованье преторианцам за декабрь, в который он родился, причем во всех четырнадцати когортах прошел слух, что эта политически-знаменательная идея родилась в голове агригентца.

Император присутствовал также повсюду, где этого требовал придворный церемониал или собрания сената.

Но все это он делал как человек, с радостной покорностью исполняющий свою ежедневную обязанность, думая лишь о счастье, ожидающем его в часы свободы.

Мысль об Актэ не покидала его с раннего утра до поздней ночи.

Весь мир составлял лишь рамку для одного драгоценного образа, в тайне хранимого им в нескольких сотнях шагов от шумной Аппианской дороги.

Никто не знал об этом, кроме Тигеллина, которому преисполненный счастья Нерон признался во всем. Он просто задыхался от избытка блаженства, а Тигеллин поклялся духом своей покойной матери не выдавать его тайну.

Актэ, постукивая одна о другую ножками в красных сандалиях поджидала своего кумира. Он мог явиться каждую минуту. Уютная мраморная скамья среди розовых кустов была его любимым местом, и поэтому она ждала его именно здесь.

Тень на солнечных часах становилась все длиннее. Уверенная, что он придет, Актэ начала думать о своей судьбе, которую она находила завиднейшей из когда-либо выпадавших на долю смертной.

Шесть прошедших недель были одним очаровательно-сладким сном.

О минувшем она не вспоминала; иногда только мелькала у нее мысль о горьких днях разлуки, но сердце ее при этом еще сильнее переполнялось сознанием счастья.

Совесть ее также молчала.

Она знала, что верующей назарянке грешно любить человека, имеющего жену; она сознавала это умом, но не сердцем и не чувством, и уж, конечно, не в те мгновения, когда думала о том, кого так беспредельно любила.

Одного взгляда его чарующих глаз было достаточно, чтобы заглушить в ней последнюю искру самообвинения.

Разве она не сделала все, чтобы избежать императора?

Разве она не решилась удалиться в Сицилию, где никогда больше не достиг бы ее луч непреодолимого очарования императора?

Она хотела в последний раз взглянуть на его прекрасное лицо, с первой минуты запечатлевшееся в ее душе, и только случай или предопределение судьбы превратили этот час разлуки в неразрывный, вечный союз.

Да, вечный!

Такая любовь не проходит, одна лишь смерть может насильно разъединить то, что не властны разорвать никакие земные силы.

И разве она *отняла* его у холодной жены? Разве он не с самого начала всей душой принадлежал ей, низкороденной? Разве Октавия когда-нибудь понимала его так, как она?

В последние же две недели молодая императрица начала выказывать необычайную резкость и относиться враждебно к своему супругу. Под предлогом бессонницы и частых припадков головной боли она даже переселилась в покои, совершенно удаленные от покоев императора.

Да, бледная, бессердечная Октавия разделяла с Нероном трон и наружные почести императорского сана; она показывалась рядом со своим супругом всюду, где того требовали обычай или необходимость, но кроме этого, между ней и божественным цезарем не было ничего общего, ровно ничего...

Актэ не знала того, что пережила за это время Октавия, иначе она не дерзнула бы называть молодую императрицу бессердечной и холодной.

Как раз две недели тому назад Тигеллин тайно испросил у Октавии аудиенцию, под предлогом весьма важных государственных дел, и, попросив императрицу удалить из комнаты отпущенницу Рабонию и двух рабынь, обратился к ней с сдержанной почтительностью.

— Повелительница,— сказал он,— долг мой вынуждает меня сообщить тебе нечто ужасное, и в тоже время, к сожалению, я не могу сделать полного признания, будучи связан клятвенным обещанием не выдавать имени виновной.

— В чем дело? — спросила Октавия.

— Дело весьма обыкновенное, но оно большое горе для повелительницы Рима и невыразимое несчастье для нее.

— Ты взволнован. Или я несправедливо судила о тебе?

— Несправедливо, глубоко несправедливо, повелительница, как это делают и многие другие, знающие не настоящего, искреннего, честного Тигеллина, а только ту светскую маску, которая носит мое имя. Поклянись, повелительница, что ты сохранишь все в тайне!

— Клянусь.

— Так знай, что твой супруг любит другую, молодое, прекрасное, обворожительное создание, но не стоящее одной пряди твоих чудных волос. Любовь его на веки потеряна для тебя: она очаровала его, как Цирцея спутников страдальца Одиссея. Ты поражена? Ты шатаешься? Ободришь и доверься мне. Смотри, вот сердце, с радостью готовое принять смерть ради тебя, моего божества.

Почти без чувств она упала в его объятия. Опьяненный Тигеллин с безумной страстью прижал ее к груди.

Она оттолкнула его.

— Презренный! — произнесла она дрожащими устами. — Если бы он был в тысячу раз порочнее и вероломнее, чем ты представляешь его, то все-таки я останусь верна ему до гроба. На кого протер ты свою дерзость? Одной твоей кровью можно смыть такой позор, но я не хочу крови. Сам справедливый Юпитер покарает тебя.

— Повелительница... — пробормотал Тигеллин.

— Оставь меня!

— Так мне не на что надеяться, даже если я докажу, как бесстыдно обманывает тебя Нерон?

— Если ты не уйдешь добровольно, я позову на помощь, — произнесла Октавия, выпрямляясь во всем величии своей молодой красоты. — Что за женщины жили здесь прежде, если такой человек, как ты, осмеливается...

— Я иду, Октавия, — прошипел агригентец, побледнев как полотно. — Я иду! До свиданья!

Об этом печальном случае Актэ не могла знать.

Для нее Октавия была несчастная, не избранная Богом для понимания и счастья императора, жаждавшего любви.

Что выпало на долю ей, низкорожденной, она считала незаслуженной милостью Неба. При мысли о ее безграничном счастье у нее кружилась голова и на глазах выступали слезы.

— Милосердный Боже! — шептала она. — Прости мне мое счастье! А если Ты не можешь, то осуди меня в будущей жизни искупать каждый день теперешнего блаженства целым веком страшнейших мук, пока наконец я снова, снова соединюсь с ним! И я буду неустанно шептать ему, что Ты сходил на землю в образе смиренного смертного, чтобы избавить нас от бремени наших грехов! Я спасу его душу... увы, из себялюбия: какую цену имеет для меня рай со всем его блаженством без того, кого я люблю больше всего в мире!

На ее лице мелькнула светлая улыбка. Ей почудилось, что христианский Бог услышал ее: такое небесное спокойствие и мир наполнили ее сердце.

Она вскочила. В перистиле раздалися шаги Фаона, черного, преданного раба, которому Клавдий Нерон поручил заведывать маленькой виллой.

Актэ знала, что означали эти шаги.

С верхней галереи Фаон увидал знакомые носилки, где за шелковыми занавесами скрывался прекрасный царственный юноша. Четверо носильщиков-лузитанцев в серых, простых одеждах, отличались своей молчаливостью, и никто не обращал внимания, когда они проходили через остиум в наполовину крытый двор.

Актэ прошла через перистиль до коридора, и с сильно бьющимся сердцем смотрела, как ее возлюбленный в цветастой тунике, перекинув на руку белую тогу, вышел из носилок и направился прямо к роскошному покою, где пятисвечный канделябр уже озарял мягким светом великолепные обои и драгоценную мебель.

Краска залила лицо Актэ.

Да, восхитительно беседовать там, под дубами, среди душистых роз и повторять уверения в неизмеримой, бесконечной, взаимной любви.

Но здесь, в этом тихом, уединенном покое было еще лучше, здесь не нужно было опасаться любопытных глаз или ушей какой-нибудь нескромной служанки; в этом уголке они были вполне отделены от остального мира.

Маленькая кованая дверь затворилась за ними. На столе из блестящего лимонного дерева, под задернутым легкой занавесью окном стояли серебряный кувшин с греческим вином и две чаши со змеобразными ножками. Перед обитой розовой материей софой стоял столик с душистыми плодами и плоским блюдом, наполненным сухим лимонным печеньем. Нерон усадил Актэ рядом с собой и страстно обнял ее.

— Наконец, наконец я опять с тобой! — прошептал он, целуя ее стыдливо опущенное лицо и роскошные волосы, волной сбегавшие по ее плечам.

Обняв его за шею, она нежно гладила его густые кудри, и вдруг в порыве бурной страсти приникла к его груди.

Эти порывы чувства больше всего нравились Нерону; от скромной, почти боязливой застенчивости и сдержанности, Актэ внезапно переходила к проявлению самой горячей, преданной, безмерной страсти.

— Ты любишь меня? — повторял император свой вечный вопрос. — Ты вспоминала обо мне?

— Я думала о тебе каждую секунду, — замирая от счастья, отвечала Актэ. — А ты? Ты меня вспоминал там, среди всей этой знати, где столько прекрасных женщин и девушек, где ты окружен всеми почестями,

и где повсюду для тебя расставлены всевозможные сети?

— Божественная Актэ, ты преувеличиваешь. Поверь мне, если бы красота всех женщин от Танаиса до берегов океана воплотилась в одном обольстительном существе, я и то не взглянул бы на него, и сказал бы божественной Афродите: все твои совершенства — ничтожество в сравнении с Актэ, моей белокурой красавицей, большие глаза которой так глубоко заглядывают мне в душу и говорят: здесь твоя родина, цезарь!

— Да, так я думаю! Я люблю тебя всей душой, чудный, дорогой человек! Я твоя, и останусь твоей, хотя бы мне пришлось заплатить за это вечной гибелью!

И она закрыла глаза, как бы ослепленная неземным блеском ее боготворимого Клавдия Нерона.

Как она любила его! Такой любви ему не найти во всей империи, думал Нерон, восторженно глядя на нее.

Вдруг лицо его стало печально. Разве не несчастье, что ему приходится прятать это сокровище, как будто любовь Актэ что-нибудь дурное или позорное? Если в людях еще жила совесть, одобряющая добрые дела и порицающая дурные, то он мог быть совершенно спокоен: его совесть была вполне чиста; боги не могли бы пожелать ничего лучшего и более справедливого, чем союз этих двух любящих сердец.

Он начал думать об Октавии, испытывая себя, не отзовется ли в нем внутренний голос в защиту его несчастной жены.

Но сердце его молчало.

Актэ была его идеалом и его жизнью, и, любя ее, он видел перед собой только одну обязанность: быть счастливым с ней и делать ее счастливой.

— Актэ,— сказал он, играя ее золотистыми волосами,— Актэ, моя звезда, моя возлюбленная, счастлива ли ты?

— Бесконечно счастлива!

— Нет ли у тебя какого-нибудь тайного, не высказанного желания?

— Нет...

— Актэ, я вижу, ты краснеешь. Скажи мне правду!

— Ну, я подумала, как было бы чудесно, если бы я могла иногда сопровождать тебя, например, на Марсово поле... Помнишь блаженный час в палатке мага? Но ведь это невозможно...

Нерон подпер рукой свою прекрасную голову.

— Невозможно? — повторил он. — Но кто же может помешать мне в этом, дорогая Актэ?

— Твоя мать... Октавия... сенат... почему я знаю?

— Я докажу тебе, что ты сильно заблуждаешься. Я император и мне повинуются преторианцы и весь народ. Завтра я не могу... завтра я обедаю у Тразеа Пэта. Но послезавтра, в четвертом часу, мы отправимся вместе на Марсово поле.

— О, как славно! — И она захлопала в ладоши.

Одинокость уединенной жизни на вилле временами порядочно тяготило ее, несмотря на ее усердные и успешные занятия с превосходным Фаоном, ее главным рабом, преподававшим ей государственную историю и естественные науки.

— Теперь я вижу, что ты на многое готов ради меня, — с восторгом продолжала она. — Но я не хочу злоупотреблять твоей добротой. Осторожность есть мать мудрости. Насколько от меня зависит, меня не узнает никто из несносных зевак, вечно бегущих к тебе со всех сторон. Я закроюсь вуалью.

— Делай как хочешь! А теперь, забудем еще на несколько минут в сладкой беседе! Увы, часы моего блаженства летят с быстротой восьмикрылого Гермеса!

— Нерон, мой господин и мой бог!

— Актэ! Актэ!..

ГЛАВА XII

В самом радужном настроении направлялся император два дня спустя к девушке, нетерпеливо ожидавшей его.

Солнце стояло еще высоко, но прохладный ветерок, с раннего утра дувший от Тирренского моря, освежал, шелестя зеленью высоких кипарисов и разносил по всему саду аромат пурпуровых роз.

Роскошные носилки с восемью носильщиками-лукитанцами в полушелковых фиолетовых одеждах, вместе с блестяще разодетыми рабами, были подарком императора его безгранично любимой Актэ.

Он сказал ей об этом, когда они вместе уселись на мягких подушках, и задернули фиолетовые занавеси так плотно, что без особого усилия никто не мог заглянуть в носилки.

Она поблагодарила его горячим поцелуем, но так, что он понял, насколько ничтожен его драгоценный

дар в сравнении со счастьем быть с ним и обладать его любовью.

Вдруг вся покраснев, она припала к его груди, погладила его по щеке и вполголоса сказала:

— Мы теперь точно настоящие муж и жена, правые перед Богом и законом! О, Нерон, это было бы божественно... Я, рядом с тобой, на римских улицах! У меня кружится голова при одной этой мысли. Позволь мне еще немножко отдернуть занавес! Мое покрывало так плотно, что меня нельзя узнать!

— Как желаешь, — отвечал император. — Твой голос для меня — голос судьбы.

— Так лучше виден цветущий Рим, и чудные дворцы, и граждане в ярких тогах... Вот почти перед нами, вьется Авентинский холм с храмом Дианы, а дальше, левее, длинный Яникулус. Как красиво граничат со светом темно-синие тени! Скажи, мы пройдем по форуму? Мне хотелось бы посмотреть на твое царственное жилище и вообразить себе, что и я имею право переступить за порог Палатинума!

— Ты имеешь это право, Актэ!

Она закрыла ему рот рукой.

— Не говори! Довольно того, что я вытеснила несчастную Октавию из твоего сердца! Этого более, чем довольно! Но я лучше умру, чем соглашусь на... Нет, Палатинум — храм невинных, и я скорее готова принять жесточайшую смерть у ног Октавии, чем оказаться угрозой для нее в ее собственном доме.

— Не говори так безрассудно! А если бы она сама возымела намерение отказаться от этого святилища и удалиться, оставив меня одного среди этой кесарской пышности?

— Она не сделает этого! Но мы сворачиваем... Это Via Sacra... А там, осеняемый храмом Диоскуров, поднимается к небу величавый дворец императоров, дворец моего страстно любимого Нерона!

Вдруг она откинулась назад.

— О, какая досада!

— Что с тобой? — спросил император.

— Это был Паллас, доверенный императрицы-матери. Он прошел мимо самых носилок и узнал меня.

— Но ты закутана, как египетская волшебница.

— Не совсем так, а у Палласа зоркие глаза. Я тебе рассказала уже...

— Да, ты рассказала мне, что и он поднял взор на небесную Актэ. Как несчастлив должен быть он! Я сожалею о нем от всего сердца.

— Все равно, он узнал меня, и я боюсь...

— Чего же, моя робкая лань?

— Что он повредит нам...

— Разве я не император?

— Конечно... Но именно как император ты имеешь уже довольно врагов, и я считаю излишним создавать новых недоброжелателей среди частных лиц,— в особенности же из таких, как этот угрюмый, мрачный Паллас.

— Ты несправедлива к нему. К тому же, если он и узнал тебя, то почему он знает, кто твой спутник? Будь уверена, что его подозрения о моей любви к отпущеннице Никодима были лишь мимолетным предположением. Он ищет своего соперника в другом месте. Клавдий Нерон конечно сумеет помешать ему коснуться даже волоска на твоей золотистой головке.

— Ты прав,— прошептала Актэ.— Великий Боже, как здесь чудесно! Все Марсовое поле превратилась в один цветущий сад! Там платаны и дубы, здесь огненные цветы среди лужаек.

— Видишь ты громадные К. Н. Ц. перед колоннами мраморной галереи?

— Это значит «Клавдий Нерон Цезарь»,— с восторгом вскричала Актэ.— Вся роскошь и весь блеск мира кажутся мне существующими только для того, чтобы чествовать тебя, мой единственно любимый!

— А посреди этой роскоши, ты все-таки единственная жемчужина, дающая мне истинное счастье.

— Правда ли это? — лукаво взглянув на него, тихо спросила она.

— Такая же правда, как то, что майское солнце сияет теперь над нашими головами, а вечная весна цветет в наших сердцах! Актэ, Актэ, я не могу выразить словами, как я неузнаваемо изменился с тех пор, как ты любишь меня! Теперь я понимаю природу и самого себя; вечное желание, наполняющее мир, для меня не загадка больше. И я убежден, что это желание — жажда и стремление к счастью — есть единственное плодоносное зерно нашей жизни. Жизнь — любовь; жизнь — желание. И разве чему иному учите вы, назаряне, переносящие это желание даже за порог смерти, где вы надеетесь найти вечную жизнь и вечное счастье?

Актэ слушала с невыразимой любовью, припав к его плечу закутанной в покрывало головкой.

— Вот палатка египтянина,— уже другим тоном заговорил Нерон.— Сколь тяжело воспоминание о том,

как дерзко распорядился твоим счастьем лукавый Никодим! Возмутительно! Мудрый и справедливый человек упустил из виду лишь то, что чистое сердце девушки не продажный товар, а сокровище, отдаваемое ею самой по свободному влечению...

— Нет, не по свободному влечению, а под ярмом непреклонной любви. О, я любила тебя до безумия... Если бы тогда ты взял меня за руку, я слепо пошла бы за тобой на край света...

— Да, я упустил случай...— огорченно заметил Нерон, но тут же весело прибавил.— Безумец я! Обладая *всем*, я еще пускаюсь в сетования! Будем наслаждаться настоящим, Актэ! Печальные мысли безумны при взаимной любви. Да, вот палатка египтянина, но теперь я смеюсь над ней! Разве я не в тысячу раз счастливее, чем был прошлой осенью? Разве теперь я не знаю того, что ты любишь меня, о чем тогда не подозревал?

— Мне нравится, когда ты такой! Смотри, какой блеск и сияние среди аллей! Повсюду я вижу моего возлюбленного, в мраморе, бронзе, серебре, золоте — и повсюду он один и тот же, достойный обожания Геро. У тебя прелестнейший рот, какой я когда-либо видела. Чудные губы, созданные для поцелуев, для песен и красноречия. Нерон, я с ума сойду от самомнения и гордости. Во всем обитаемом мире звучит твое божественно-сладкое имя... — Нерон! — шепчет лужитанец и почтительно преклоняет колени перед твоим изображением.— Нерон,— раздается в Азии и в Африке. Нерон,— слышится в Галлии и по ту сторону границы, у германцев...

— Которые, однако, ни в каком случае не преклоняются перед статуями императора!

— Нет? Почему нет?

— Потому что они свободный народ и не посылают свои войска следом за римскими орлами.

— Но ты еще недавно показывал мне из верхней комнаты нашей виллы хаттского вельможу в римском вооружении?

— Это был Гизо, сын хаттского вождя Лоллария. Гизо служит у нас, чтобы научиться римскому языку и военному искусству, впоследствии применив свои познания у себя на родине.

— Ты позволил ему это?

— Почему нет? Если бы я запретил, то не было бы это похоже на то, что римская империя боится своих соседей германцев?

— Ты прав, я не подумала об этом.

— К тому же, этот молодой хатт уже щедро вознаградил нас за то, чем мы ему были полезны, оказав нам большие услуги в борьбе с восставшими парфянами на востоке, и еще двумя северными сарматскими племенами, не проявлявшими ни малейшего уважения к римскому величию.

— Как счастлива была бы я, если бы могла разделить с тобой все твои дела! — вздохнула Актэ.

— Разве ты не примечаешь, что я сам перестал серьезно относиться к ним? Ты и красота природы — вот мой мир, мое настоящее и будущее. Взгляни как внезапно засияла вершина старого храма Минервы! Солнце склоняется к западу, и сама богиня мудрости как бы выражает мне одобрение этим снопом лучей своего рассеивающего мрак светила!

— Да, настоящее и будущее! Сегодня же вечером мы выпьем за процветание... Но скажи, кто эта роскошная женщина в носилках рядом с красивой уроженкой востока? Носилки бледно-красные, а носильщицы в темно-желтых одеждах?.. Она прекрасна, но пламенный взгляд ее глаз пугает меня...

— Ты никогда не слыхала о Поппее Сабине, супруге Ото, друга моего детства?

— Как же, как же... Но смотри, как она глядит на тебя! Она тебя узнала! Ее гордое лицо на мгновение исказилось гневом.

— Что ты делаешь?

— Придерживаю занавеску, пока мы пройдем...

— Чтобы вдвойне привлечь ее внимание?

— Чтобы укрыть тебя от ее дурного глаза. Скажи, Нерон, часто ты встречаешься с ней?

— Очень редко, и к тому же я так же неуязвим, даже для самых дурных глаз, как если бы носил амулет на шее.

— Мы, назаряне, не верим в чудодейственную силу этих вещей, — возразила Актэ. — Но если бы ты отрезал прядь моих волос и всегда носил бы ее с собой, я думаю это принесло бы тебе счастье.

— Сегодня же я похищу золотую прядку! Она защитит меня, даже если все вокруг падет в развалинах.

— Скажи, кто эта черноволосая, что сидела рядом с ней? У нее также какой-то взгляд... словом, они подходят друг к другу!

— Ты думаешь? Это Хаздра, подруга Поппеи Сабиньи. Про нее говорят, будто она по уши влюблена в Фаракса...

— В Фаракса?

— Ну да, Фаракса, новоиспеченного центуриона гвардии.

— Это тот, который... но нет, тогда он был еще солдатом городской когорты.

— Тот самый, тот самый, который вел тогда Артемидора. Любимцы императрицы Агриппины быстро идут в гору...

— Ну, я предоставляю Хаздру Фараксу и Фаракса Хаздре. Знаешь ли, Нерон, мне хотелось бы, чтобы все кругом были веселы и счастливы. О, если бы я могла повелевать, не было бы больше ни горя, ни страданий, но одна только светлая радость и возгласы веселья...

— Так останови же смерть, вырывающую у матери цветущее дитя, у отца — прекрасного сына! Уничтожь безумные людские надежды, болезни и медленно наступающую старость!

Это были последние серьезные слова их разговора. Как роскошно простирала над дорогой свои развесистые ветви высокие кривые вязы, пинии и клены! При каждом повороте носилок открывались все новые восхитительные виды, то на пятивершинную гору Соракте, то на возвышенности Альбы или на длинный, живописно разорванный ряд сабинских холмов. Башня Мецены величаво выделялась на голубом небосклоне, а кругом, насколько мог видеть глаз, цвели бесчисленные цветы, вились ползучие растения и зеленели свежие, густые кустарники.

Солнце еще не успело скрыться за Яникульской вершиной, как счастливая чета уже вернулась на виллу. Нерон ужинал сегодня у Актэ. Девушка безумно радовалась этой восхитительной прихоти и заказала своему повару самые изысканные блюда. Собственными руками налив в чашу возлюбленному искристое фалернское, она подняла свой кубок.

— Что за чудный день! — воскликнула она. — Выпьем же за настоящее и за будущее, помнишь, как мы условились в носилках!

Он залпом выпил вино и энергичным движением поставил чашу на стол.

— Приди ко мне! — шепнул он, обнимая стройный стан Актэ, обвинившей руками его шею...

Вдруг в дверь послышался стук, легкий, сдержанный, но в то же время уверенный, точно стучавший считал себя в праве нарушить уединение любящей четы.

Цезарь вскочил, нахмурившись.

— Что это значит? — дрожа от гнева, спросил он.

— Не понимаю. Из слуг никто не посмел бы... Может быть, Фаон?

— Фаону известно, что я строжайше запретил ему... — сказал император.

— Наверное, случилось что-нибудь необычайное, если он решился послушаться тебя, — прервала Актэ.

— Хочешь, чтобы я отворил дверь?

— Не отворяй, а спроси отсюда, что нужно.

Она побледнела при внезапном стуке, нарушившем блаженную тишину и прозвучавшем в ее ушах подобно призыву военной трубы.

— Как у меня забилося сердце, — боязливо произнесла она.

— Дорогая дурочка! — сказал он, ласково глядя ее по роскошным волосам. — Чего ты испугалась? Что может угрожать тебе, такой доброй и кроткой, и защищенной рукой императора?

Подходя к двери, он отодвинул задвижку и спросил сквозь щель:

— Это ты, Фаон?

— Да, повелитель! — послышался сдержанный голос. — Прости, если в моем безмерном смятении я пренебрег твоим запретом. Но случилось нечто необычайное.

— Подожди минуту!

Он обратился к Актэ.

— Это Фаон. Может он войти?

— Пожалуй! — уже с любопытством отвечала она, хотя все еще дрожала от внезапного испуга.

Раб вошел с почтительным поклоном.

— Говори! — приказал Нерон.

— Вот в чем дело. Я стоял у входа и любовался прекрасным вечером, как вдруг ко мне подошел какой-то человек, с лицом наполовину закрытым капюшоном его пенулы, и грубо спросил: «Здесь живет Актэ, отпущенница Никодима?»

— Что же ты ответил? — спросил цезарь.

— Ответил коротко и ясно, что он нахал.

— Нужно отдать тебе справедливость, Фаон, ты стоишь выше светского обращения! Как же поправила-сь нахалу твоя откровенность?

— Бросившись на меня, он схватил меня за грудь, и получил несколько ударов кулаком, злобно заревел. «Уж не хочешь ли ты разыгрывать оскорбленного, презренный сводник? Я пришел от имени высших

властей, могущих уничтожить тебя!» — Скажи еще одно слово, и я вобью тебя всего в землю! — рассердившись, крикнул я в свою очередь. Увидав, что меня не легко испугать, он сделался вежливее, и после нескольких намеков отдал мне вдвое перевязанную восковую дощечку. «Дело очень спешное,— серьезно прибавил он,— судьба цезаря зависит от немедленной передачи этой дощечки! Спешу же, не теряя ни мгновения!» — И я прибежал сюда, вопреки твоему повелению; прости меня, но я полагал, что, быть может, действительно тут что-нибудь важное, и что этого желает судьба.

Фаон ушел.

Взяв со стола серебряный нож для фруктов император разрезал шнурки дощечки и вполголоса с иронией прочел следующее:

«Бывшей рабыне Актэ, на погибель себе освобожденной римским дворянином Люцием Никодимом, посланием сим предписывается немедленно разорвать свою связь с высоким повелителем империи и без сопротивления возратить божественного императора его благородной супруге, с отчаянием по нем тоскующей.

Сама Октавия ничего не знает об этом послании, тому свидетель всемогущий Юпитер. Чувства справедливости и благоразумия диктуют эти строки верным сынам отечества.

Если отпущенница Актэ внемлет увещанию и согласится через три дня навсегда покинуть Рим, то приверженцы юной императрицы окажут милость и не станут ни преследовать отпущенницу Актэ, ни предадут ее за проступок на суд эдилам, а напротив, в день отъезда ей выдана будет сумма, которая ее обеспечит на всю жизнь.

Сопротивление же Актэ навлечет на нее самые ужасные последствия. Лицо, направляющее это послание, имеет власть и намерение привести в исполнение все, чем ей угрожают.

Актэ должна сегодня же объявить о своем согласии, взойдя на верхнюю галерею своего жилища в начале второй ночной стражи и явственно произнеся: «Да, я уезжаю»,— когда увидит проходящего мимо человека в сопровождении факелоносца. Отличительный признак этого человека будет огненно-красный платок на пенуле и громко произнесенные слова: «Она раскаивается!»

Нерон закончил читать. Актэ, как пораженная громом, сидела на бронзовой скамье и из-под полуопущенных ресниц ее катились жгучие слезы.

Спокойно, хотя с тайным смущением, положил Нерон дощечку на стол.

— Возлюбленная! — нежно сказал он, подходя к девушке. — Я узнаю почерк, несмотря на то, что его очень старались изменить!

Плачущая Актэ быстро подняла голову; Нерон обтер ей мокрые щеки полой ее одежды.

— Это почерк моей матери, императрицы Агриппины, — торжественно сказал он. — Она водила стилем с несказанным тщанием, местами проводя линии, долженствовавшие ввести меня в заблуждение. Но я знаю ее письмо, даже если бы она вздумала писать левой рукой. Взгляни на ее А и почти греческое С! К тому же, кто в целом Риме дерзнул бы обращаться к возлюбленной императора с такими чудовищными угрозами?

Актэ вздохнула.

— Твоя мать для меня, конечно, еще страшнее твоей жены.

— Октавия серьезна и сдержанна, — возразил Нерон. — Ее любовь ко мне исчезла уже давно. В этом ты права. Прежде чем заподозрить бедную Октавию в этой интриге, я заподозрил бы некоторых государственных людей, недовольных сенаторов и благородных. Многие, ненавидящие чрезмерную власть Агриппины, охотно послали бы подобное письмо с намерением вооружить нас против моей матери. Некоторые знатные дамы также с неудовольствием примечают, что со времени известного празднества у Флавия Сцевина, я избегаю всяких торжеств. Но все это лишь пустые предположения. Я убежден, что угадал. Обороты речи здесь также обличают высокомерную повелительницу, никогда не выражавшую ни одного желания без того, чтобы оно не было мгновенно исполнено.

— Какое несчастье! — простонала Актэ.

— Несчастье? Как? Кто господин и император Рима, я или Агриппина?

— Она твоя мать!

— Ты хочешь сказать, что она повелевает мной, потому что доселе я терпел ее вмешательство в государственные дела? Ты ошибаешься, Актэ! Если я допускал это до сих пор, то единственно лишь потому, что мне так хотелось. Я не азиатский царь, которому доставляет удовольствие дать почувствовать свое не-

ограниченное могущество даже в отдаленнейших провинциях. Меня не привлекают ни сложный механизм делопроизводства, ни процессы граждан, ни мелочное честолюбие военных. Все, совершаемое мной в этой области, я совершаю по обязанности. Поддерживаемый с одной стороны Сенекой, с другой таинственным Люцием Никодимом, я шел по раз избранному пути; но чем больше спутники мои освобождали меня от обременительной путевой поклажи, тем легче становилось у меня на душе. Я человек, Актэ, друг всего прекрасного и благородного, я художник и поэт. Но прежде всего, я нежно любящий безумец, которому один час в твоих сладких объятиях дороже тысячи триумфов. С тех пор, как ты моя, я предоставил все другим. Агриппина с Сенекой правят государством, я же только изредка вижусь с Бурром, да с усердным Тигеллином, при случае поддерживающим расположение ко мне солдат значительными денежными подарками. Теперь же, когда они хотят отнять у меня мое единственное, оставленное мной для себя сокровище, теперь они почувствуют, что одна милость моя сделала их тем, что они есть; я покажу им, кто господин здесь, и до последней капли крови буду отстаивать мое счастье!

— Ты погубишь себя! — воскликнула Актэ.— Не борись против течения! Не восставай безумно против грозной силы! Нерон, любовь моя, ты в заблуждении! Поверь мне, нельзя в одно мгновение схватить выпущенную из рук узду, и, прежде, чем ты схватишь ее, твоя Актэ уже будет смята и раздавлена могучими копытами!

Он бурно схватил ее за талию левой рукой и подняв правую, произнес страшную клятву защищать ее до последнего издыхания.

Крепко прижавшись к нему, она целовала его сладко и нежно, как умела она одна, с застенчивостью девушки и страстью женщины.

— Нерон, что же мне делать? — тихо спросила она.— Скажи! Я буду слепо повиноваться тебе, хотя бы мне пришлось умереть!

— Ты спокойно останешься дома,— улыбнулся Нерон, отвечая на ее поцелуи.— Прикажи верному Фаону запереть на двойные запоры остиум и постикум! Я сейчас же пришлю тебе двенадцать моих телохранителей. Если незнакомец, не слыша твоего ответа делается навязчив, прикажи ему убираться. Если и тогда он будет упорствовать, ты велишь его

схватить. Еще один поцелуй, Актэ! Как чудно пахнут твои волосы! Нарциссами и розами! О, эти губки! Так ободришь же, обожаемое дитя, мое сладкое сокровище!

— Прощай! — прошептала Актэ. — Прощай, милый!

— Дощечку эту я возьму с собой, — деловым тоном сказал Нерон. — Сегодня же я поговорю с Агриппиной. Она не станет отпираться. Во всяком случае, Палатинум узнает, как поступает Нерон при чем бы то ни было малейшем поползновении коснуться Актэ.

Закинув за плечо тогу, он бросил на возлюбленную последний, бесконечно нежный взгляд и вышел.

— Поспешите! — приказал он своим мускулистым лузитанцам, сидевшим на мраморных плитах между стройными коринфскими колоннами. Мгновенно вскочив, они надели на плечи ремни. Нерон откинулся на подушки.

Фаон стоял возле носилок; сюда же услужливо подбежало несколько рабов и рабынь.

Император бросил им пригоршню золота, кивнул обычным гордым жестом римских вельмож и твердо произнес:

— В Палатинум!

ГЛАВА XIV

Носильщики зажгли в остиуме свои роговые фонари; позади шло несколько рабов с узкими, высокими факелами.

Бесконечная Аппианская дорога, которую они достигли пройдя несколько сот шагов, была окутана молчаливыми сумерками. По небу клубились белые, матовые облака, лишь местами пронизанные лучами месяца. Справа и слева, перед фасадами вилл возвышались памятники — мрачные напоминания о непрочности красоты, мимолетности счастья и тщете земных страстей. Вдалеке, по ту сторону Тибра, виднелись резкие, гордые очертания Яникульской горы, которая одна казалась чем-то реальным и осязаемым в призрачном, поэтическом мерцанье этой лунной ночи.

Вступив на Via Sacra, в самом ее начале, носильщики повстречали телохранителей, по приказанию цезаря явившихся сюда в начале первой стражи.

Преторианцы бесшумно последовали за носилками, которые десять минут спустя остановились перед

входом в императорский дворец, освещенный факелами.

Сенека, имевший сообщить царю нечто очень важное, поспешил к нему навстречу.

Нерон нетерпеливо отстранил его.

— Все серьезное завтра! Мне еще нужно устроить кое-какие частные забавные дела. Где Октавия? И где императрица-мать?

Сенека величественно завернулся в тогу.

— Супруга императора,— холодно и церемонно отвечал он,— находится, как я осмеливаюсь предполагать, в покоях императрицы-матери. Мой повелитель желает говорить с этими высокими особами? Уже поздно и боюсь, что Агриппина очень утомлена. Только по желанию Октавии, казавшейся сегодня в необычайном волнении, согласилась она бодрствовать дольше, чем обыкновенно.

— Достопочтенный учитель,— произнес разгневанный Нерон,— будь так добр и раз навсегда запомни, что если императору случается иногда заставлять себя ждать, то в этом нет ничего необыкновенного. Доселе это бывало два-три раза, но впредь будет гораздо чаще, причем я не желаю слышать, даже от тебя, которого я так уважаю, никаких неодобрительных намеков. Клянусь Геркулесом, я изумлен, до чего это дошло! Неужели Клавдий Нерон менее свободен, чем сын какого-нибудь выскочки, попавшего в сенат благодаря гнусному золоту?

Из уважения к заслуженному учителю и государственному советнику, Нерон произнес свое горячее возражение по-гречески.

— Господин и цезарь,— пробормотал Сенека на том же языке,— прости...

— Оставь теперь твое красноречие, достойный Сенека! Если хочешь обязать меня, то позаботься чтобы обо мне тотчас же доложили! Я хочу говорить с обеими женщинами вместе. Поэтому пусть Октавия не пытается исчезнуть в боковую дверь, как это стало ее обыкновением в последнее время, когда супруг входит в покой.

Сенека склонил голову и поспешно прошел через полуосвещенный атриум, крепко сжимая правой рукой несколько сложенных рукописей.

— Жду тебя позже в моем кабинете,— сказал ему император, когда он, совсем растерянный от непривычной для него роли, вернулся, исполнив поручение.— Я взволнован, дорогой учитель, несказанно взволно-

ван. Прости, если я обошелся с тобой резче, чем того требует уважение к твоей увенчанной лаврами голове. Ты знаешь, что случилось?

Сенека пожал плечами.

— Я подозреваю, но смею тебя уверить, что я тут ни при чем. Я знаю, со страстью спорить нельзя, от нее можно требовать только некоторых уступок. То, что сегодня, в день вашего обручения, ты так поздно являешься домой, по моему мнению, переходит границы, которые должны быть уважаемы даже цезарем.

— День нашего обручения! — с искренним изумлением воскликнул Нерон. — Я этого не знал. И она также не сказала ни слова. Все равно! После я спокойно выслушаю твои упреки, а теперь — до свидания!

И он вошел в женскую половину дворца. Октавия сидела в серебряном кресле, бледная, как восковая статуя, с опущенными глазами, которые она не подняла, даже когда Нерон с испытующим взором остановился посередине комнаты.

Агриппина же, с истинно царственной осанкой поднялась с мягкой софы навстречу сыну и только что собиралась заговорить, как Нерон поднес к ее мрачным глазам восковую дощечку и сказал вполголоса:

— Императрица Агриппина, отвечай: что значит это изумительное послание?

Агриппина взглянула на бледное, гордое, благородное лицо своего красавца-сына и невольно отступила.

— Мать, — продолжал Нерон, — можешь ли ты отпираться? Я вижу, Октавии все известно, иначе она приветствовала бы меня, вместо того чтобы сидеть, как пригвожденная к своему креслу. Поэтому мы можем спокойно разъяснить все в ее присутствии. Повторяю: кто написал эти строки?

— Я, — отвечала Агриппина, хладнокровно скрестив на груди руки.

— Так позволь тебе заметить, что ты здесь приняла тон, к которому я не привык и которого не желаю слышать.

— Разве это относится к тебе? — насмешливо спросила Агриппина. — Разве я могла предвидеть, что дощечка эта попадет в руки императора?

— Ты не могла, но я благодарю судьбу за то, что так случилось. Бедная девушка, пожалуй, была бы одурачена. Знай же, мать, что твой тайный посол никогда не услышит желанные слова: «Я уеду». Я, император, повелел, чтобы с этим человеком, если бы

он вздумал быть нахалом, поступили бы по законам, предоставляющим право самозащиты каждому римскому гражданину и каждому чужестранцу.

— Ты дерзнул...

— Дерзнул, мать, и так как мы уже заговорили об этом, то я обращаюсь и к тебе, Октавия! Уже давно ты моя жена только по названию. Как же может быть оскорбительно тебе, если я отдаю кроткому, очаровательному существу то, чем пренебрегла гордая Октавия, — весь пыл моего жаждущего любви сердца? Все уважение, подобающее твоему сану императрицы оказывается тебе. Мои доверенные ни одним словом не выдают тайны. Без роскоши и блеска вхожу я в скромное жилище, где я могу быть безгранично счастлив, между тем как здесь меня встречают лишь неподвижные статуи, холодная бесчувственность и безутешная пустота. Я не упрекаю тебя, добрая Октавия! Ты такая, какой создана. Но молю тебя, позволь же и мне быть таким, каким я создан! Позволь мне любить, в то время как ты сама умеешь только размышлять, исполнять обязанности и повиноваться твоим богам!

— Несчастный! — вскричала императрица-мать между тем, как Октавия отвернулась, не сморгнув. — Это ли награда мне за то, что я сделала для тебя и для твоей будущей?

Схватив его за правую руку, она с бешенством менады увлекла его в отдаленный угол комнаты.

— Думаешь ли ты, — продолжила она шепотом, шая свою союзницу Октавию, — думаешь ли ты, что я на радость себе вышла за отца Октавии? Клавдий был чудовище, слышишь, чудовище — заумный, полный всевозможных бредней глупец, изобретавший новые буквы, в то время как римляне насмеялись над ним, как над игрушкой Мессалины. За этого Клавдия я вышла после ее смерти; я сделалась императрицей с отвращением в сердце и поддерживаемая лишь одной мыслью, что через это мой сын со временем достигнет власти...

— Мать...

— Молчи! Это правда! А потом, что делала я? Целые годы внушала я императору Клавдию мысль об устранении от престола Британника и успокоилась только, когда упрямый цезарь уступил и, обойдя родного сына, объявил своим наследником тебя, своего пасынка!

— Прошу тебя, мать, к чему все это?

— При этом он поставил одно условие: твой брак с его дочерью Октавией. Мы согласились, ибо никогда еще не было дочери столь непохожей на своих родителей. Если она что-нибудь унаследовала от нечестивой Мессалины, то только ее красоту. Во всем же остальном, клянусь Юпитером, в целом Риме нет женщины, равной Октавии по добродетели, благородству и скромности. При этом Клавдий не передал ей ни капли своей глупости. После смерти Клавдия ты мог бы разорвать торжественно совершенное обручение, если бы находил его решительно невыносимым. Теперь же Октавия — твоя жена. Она любит тебя, она отпрыск одного из знатнейших, аристократических родов; короче, ты бесчестишь себя, столь дерзко ее оскорбляя и заводя связь с беглой бесстыдной девкой.

— Твои речи жестоки! — вскричал Нерон, с силой вырывая свою руку. — Благодарю богов за то, что ты мать человека, чье драгоценнейшее сокровище ты так безмерно порочишь!

— Я имею на это право. Или ты можешь оправдаться?

— Да, мать. Одним словом: я не могу жить без Актэ.

— Ты глупец и бездельник. Повторяю, или ты все позабыл — все мои жертвы и усилия, мои неусыпные заботы?..

— Я узнал, однако, что твое рвение прежде всего послужило на твою же пользу. Называться матерью императора, управлять его именем и опекать его самого, как неразумное дитя, вот о чем ты мечтала!

— Кто это говорит? — с негодованием воскликнула она.

— Люди, не умеющие лгать. Я сам примечаю последствия твоих стремлений. Но все равно, ты моя мать и ради этого я все переносил, хотя часто вопреки собственному убеждению. Я подавлял в себе малейшее поползновение к самостоятельности, как только видел, что это неприятно тебе. Теперь же ты вторгнешься с насилием в область, где господствует один Нерон и где его не остановят никакие упреки, никакие соображения.

— Ты говоришь, как безумец.

— Это так кажется, но я прекрасно знаю, чего хочу. Я хочу раз навсегда порвать петлю, которую ты мне накинула гнетом твоей железной воли. Этот гнет довел нас до брака, но он не может заставить нас полюбить друг друга или даже притворяться любящими...

— Мальчик, что все это значит?

— Выбери, мать! Или ты поклянешься мне Юпитером, карателем клятвопреступников, что ты оставишь в покое мое дорогое сокровище — бывшую рабыню, как ты называешь ее, или сегодня же наступит конец твоему противозаконному вмешательству в государственные дела. Тогда я не потерплю, чтобы ты рассуждала с Сенекой о будущности рейнских провинций, а с Бурром — о происшествиях в преторианских казармах. У меня есть люди, которые послужат мне в сенате — словом, а на улице — мечом, если дело дойдет до открытой борьбы.

— Вздор! — с притворным равнодушием усмехнулась Агриппина.

Непривычный тон сына заставил ее побледнеть и ей понадобилось все ее самообладание, чтобы скрыть сильное волнение.

— Прошу еще раз, выбери! — нетерпеливо повторил Нерон.

Овладев собой, Агриппина нежно погладила его пылающую щеку и с кротким взглядом огорченной матери сказала:

— Как ты волнуешься и произносишь совершенно пустые слова! Что такое Нерон без матери, которая возвела его на престол? Ведь Бурр со своими преторианцами беззаветно, слепо предан мне...

— Что? — вскричал Нерон.

— Беззаветно предан мне! — со спокойной уверенностью повторила она.

Нерон пожал плечами.

— Как ты ошибаешься в римлянах и в гвардии! Пока Нерон считался твоим покорным сыном, все шло прекрасно! Всею Риме ведь известна была моя преданность тебе, и повиноваться тебе, значило повиноваться мне. Но если,— от чего да избавит нас рок,— между нами разверзнется пропасть... слышишь, императрица Агриппина!.. тогда солдаты вспомнят, кому они присягали, тебе или мне!

— Не будем ссориться! — заговорила наконец Октавия.— Я ожидаю здесь не угроз и не цветистых речей, но прямого решения без всяких уверток. Неужели ты не сознаешь ужасного позора, которым ты нас покрываешь? Нерон, император, супруг Октавии, любит простую рабыню...

— Могу тебе признаться,— с горечью и гневом прервал ее император,— что эта простая рабыня умеет то, что недоступно многим весьма высокопос-

тавленным женщинам: она умеет любить, давать счастье...

Октавия была не в силах слушать дальше. Молча встала она и ушла в свою спальню, где бессильно упала на ложе, измученная невыразимыми страданиями последних недель.

— Хорошо, что она ушла, — снова начала Агриппина. — Ее присутствие мешало мне высказаться вполне.

— Ты затрагиваешь мое любопытство.

— Я буду говорить откровенно, без обиняков. Знай, сын мой, что я нахожу твою неверность менее постыдной, чем безграничную бестактность твоего образа действий. Допускаю, что наши предположения относительно доброй Октавии были ошибочны и что несмотря ни на какие усилия, вас нельзя настроить на один лад. Пожалуй, ищи себе на стороне вознаграждение за эту ошибку, но не превращай мимолетную прихоть в открытую связь. Согласись, что это была настоящая дерзость — твоя публичная прогулка на Марсовом поле с этой... Актэ.

— Мать! — вскричал возмущенный Нерон.

— Дай мне договорить! Скажу больше. Будь это связь с Септимией или другой знатной женщиной, я закрыла бы глаза. Цезарь все-таки — цезарь, и тысячи других людей делают тоже самое, без преимуществ императорского сана. Но когда ты играешь эту приторную идиллию с отпущенницей Никодима, поешь ей нежные песни и лежишь у ее ног, представляя из себя посмешище для всех образованных людей, право это недостойно тебя и, клянусь богами, еще более недостойно меня!

— Мать, если бы ты ее видела, если бы посмотрела на ее глаза, в которых отражается чистая, возвышенная душа, если бы ты слышала ее умные, рассудительные речи...

— Это чистое безумие! — прервала его императрица-мать. — Повторяю: как бы очаровательна она ни была, все-таки ты поступаешь как глупый школьник! «Прекрасный цветок!» Хорошо, так сорви его, как путник срывает шиповник. «Это забава», сказали бы тогда люди, «приключение в духе Зевса, также спуск кавшегося иногда с божественного престола, чтобы победить смертную». Ты же, вместо того, устраиваешь своей возлюбленной целый дом, даешь ей рабынь, как будто она привыкла повелевать служанками, мечтаешь только о ее любви, ежедневно осыпашь ее фиалками и розами, словом, ведешь себя как

фанатик-жрец Изиды перед статуей своей всемогущей богини. Ей, этой тщеславной кукле, конечно нравится видеть себя внезапно осыпанной богатствами и роскошью...

— Подожди! — остановил ее сын. — Не подвергай сомнению, по крайней мере, бескорыстие ее любви. Она с радостью поселилась бы под самой убогой кровлей в квартале матросов; это я навязал ей все это, потому что, по-моему, нет ничего в мире достойного ее, и потому, что возлюбленная императора должна жить, как императрица...

Речь эта была подсказана Нерону гневом и злым желанием похвастать тем, чего в действительности не было, так как вилла Актэ была хотя прелестна, но не отличалась ни особенной роскошью, ни изящной архитектурой.

— Возлюбленная! — усмехнулась Агриппина.

— Жена, если тебе это больше нравится. Я так смотрю на нее, хотя к несчастью, обстоятельства препятствуют мне открыто назвать ее моей супругой.

— Мальчик! В уме ли ты!

— Совершенно. И клянусь тебе, что, не будь я связан с Октавией торжественным брачным обрядом, божественная Актэ сделалась бы моей повелительницей и императрицей, вопреки всей знати могущественного Рима.

Агриппина с отчаянием засмеялась и, задышавшись, начала ходить по комнате, скрестив руки.

— Девка на престоле Августа! — воскликнула она. — Одна эта мысль есть уже государственное преступление, пощечина для твоей матери!

— Успокойся же! Ведь к этому не представляется ни малейшей возможности. Но если бы это случилось, то не спрашивай у меня ответа на вопрос: какая императрица до божественной Актэ заслужила корону больше, чем она, единственная, несравненная!

— Рабыня! — простонала Агриппина.

— Что ты хочешь сказать этим? Или твой ум так помрачен, что не ощущаешь могучего веяния, которое, подобно духовной весенней буре, проникло в мир от Сирии до Лузитании? Или только я стою так высоко, что до меня одного долетело это таинственное, божественное веяние? Не даром учил меня Сенека, что все люди равны по рождению, что различие между знатными и простыми искусственно и что мнимые преимущества знати основаны только на произволе и власти

Агриппина вскипела.

— С каких пор проповедует Сенека такое безумие?

— Каждый день с тех пор, как я его знаю.

— Так он должен быть устранен. Презренное чудовище! Я считала его учение полезным, пока оно делало из тебя послушного, любящего сына. Теперь же — долой двуличного софиста!

— Мать, — после долгого молчания заговорил Нерон, — если Сенека возбуждает твое неудовольствие, я отрешу его от должности. Он в достаточной мере философ, чтобы уметь обойтись без Палатинума. Если у тебя есть еще желание: приказывай! Только не жди одного, чтобы я покинул Актэ! Если я замечу хоть малейшее посягательство на нее, я окружу ее собственной германской гвардией.

Агриппина внезапно вздрогнула. Казалось, у нее блеснула мысль, сулившая ей победу.

Несколько времени она стояла с опущенным взором, а потом кротко сказала:

— Скажи мне, дорогой мальчик, говорит ли в тебе упрямство, унаследованное тобой от твоего отца Демиция Аэнобарба, или ты действительно любишь девушку?

— Я люблю ее больше всего в мире.

— Ну, так люби ее! Но прошу, держи свою любовь в тайне! Я попытаюсь утешить несчастную Октавию.

— Мать, ты делаешь меня счастливым! — пылко вскричал Нерон и, бросившись к ней на шею, покрыл поцелуями ее лихорадочно пылавшие щеки.

— Неразумное дитя, — нежно произнесла она. — Но не воображай, что я одобряю то, на что соглашаюсь только по излишней слабости. Я рассчитываю — и это мое единственное утешение, — что время образумит тебя!

— Рассчитывай на что хочешь, и желаю тебе приятных сновидений! Я страшно измучен. Спокойной ночи!

Нерон ушел, сияющий счастьем. В атриуме уже ожидали рабы, обязанные проводить его в спальню.

— Глупый мальчик! — прошептала Агриппина, когда занавес спустился за императором. — Ты хочешь повелевать мной? Какой гнев сверкал в его глазах, когда он угрожал мне! Но благодарение богам! приняты все меры для того, чтобы поток не затопил горы!

ГЛАВА XV

Агриппина поспешила в слабоосвещенную спальню Октавии.

Молодая женщина, рыдая, лежала на постели.

— Не плачь! — строго и в то же время с состраданием сказала императрица-мать. — Если бы ты была умнее сначала, легкокрылая птичка не вырвалась бы от тебя. Я даже не считаю женщиной молодую красавицу, не сумевшую привязать к себе человека, уже раз принадлежавшего ей.

Медленно приподняв заплаканное лицо, Октавия нашевелила губами, как бы пытаясь возразить.

— Оставь! — прервала ее Агриппина. — Я пришла не затем, чтобы упрекать или осуждать тебя. Да это и ни к чему и не повело бы. Напротив того, я говорю тебе, что скоро ты восторжествуешь над соперницей.

— Восторжествую? — с боязливым сомнением повторила Октавия.

— Да. Я решилась. Он высокомерно объявил мне, что одна смерть может порвать его связь с Актэ. Вот об этой-то смерти я и похлопочу.

Октавия, дрожа, закрыла лицо.

— Не тревожься! — успокоила ее Агриппина. — Этого требуют нравственность, добродетель, блеск цезарского достоинства. Мы находимся в положении личной обороны; тут позволительны всякие средства. Разве прославленный историей патриот Муций Сцевола не прокрался тайно, как наемный убийца, в шатер Порсены? Разве Брут не умертвил своих сыновей ради величия своей родины и консульства? Престол же императора выше и блестящее всего остального в мире. Словом, даю ему три недели срока. Если до тех пор он не прогонит свою любовницу, то участь ее решена. Я прикажу умертвить ее.

— Ради всемогущего Юпитера, — с ужасом вскричав, вскричала Октавия. — Ты не сделаешь этого, ты, мать императора!

— Почему нет?

— Потому что... потому что...

— Есть предел, — сказала Агриппина, — за которым доброты становится нелепостью. Когда я попаду на суд истории, многие из моих деяний будут осуждены, потому что большинство жалких заурядных людей будущего не сумеют понять меня и возвышенные причины моих поступков. Все это для меня вздор и безделица; одно только может привести меня в

бешенство: показаться смешной. Теперь я представительница закона и чести императорского дома и мне, как главе семейства, подобает беречь древнюю славу его и уничтожить виновную, запятнавшую этот блеск.

Октавия подошла к ней.

— Дорогая мать,— трогательно сказала она,— мне меньше всех пристало защищать эту виновную. Но советше шепчет мне: одна лишь горечь о моей навеки потерянной любви делает меня такой непреклонной в осуждении ее; поступок же твой все-таки будет убийством!

— Называй, как хочешь! Но если ко мне в дом забирается вор, чтобы украсть мои сокровища, я имею право убить его.

— Мать,— зарыдала Октавия,— Актэ ведь не похитила у меня его любви, потому что сокровище это никогда не принадлежало мне. Я ежедневно на коленях благодарила бы богов, принося им жертвы и дары до последнего динария, если бы после многолетних стараний мне удалось овладеть его сердцем, хотя бы на одну лишь мимолетную неделю! Но я не хочу грубого, сухого насилия, мать. Это ожесточит его еще больше; он сочтет меня виновницей его утраты и возненавидит меня, тогда как теперь он только равнодушен ко мне.

— Не опасайся этого! — возразила Агриппина.— Увенчанному императорским венком легко пережить всякое преходящее горе. Если он действительно ее любит, то, оплакав ее, он тем сильнее почувствует потребность восполнить свою потерю. Тогда ты должна быть прекрасной, нежной, и обратить в свою пользу некоторые не совсем загасшие воспоминания. Пусть сначала он воображает, что обнимает в твоём лице свою «божественную», как он зовет ее. Ты с ней почти одинакового роста и его пылкая фантазия легко поддастся обману, пока наконец он научится любить действительность. Тебя же он положительно не может заподозрить в покушении на Актэ. Он знает, как ты считаешь богов, как ты робка и скромна. В худшем случае я прямо скажу ему: «Я, твоя мать, освободил тебя от Актэ. Мизинец Октавии прекраснее нежелая вся твоя погибая возлюбленная. Сойдитесь и поспешите поскорее подарить свету наследника престола! Я не стану сердиться за неприятный титул бабушки, который для Агриппины почти равносильен брани». Теперь спи, Октавия! Ты, наверное, устала не меньше меня.

— Нет, нет, я не отпущу тебя! — вскричала (Октавия, останавливая уходившую Агриппину.— О, ты не знаешь его! Не думай, что с ним так легко справиться! Если он ее действительно любит — как я того опасаюсь,— то ради нее он вступит в борьбу со всеми земными силами. А если ты тайно уничтожишь ту, которую он боготворит, то... да смилуется над всеми нами милосердый Юпитер! Он сотрет в прах меня, тебя и весь Рим в безмерности своей муки. В короткое время, пока он был моим супругом, я успела подметить всю страшную глубину его страстей. Душа его полна самых разнообразных чувств: в ней живут рядом гении добра и зла, счастье и несчастье, божество и всеразрушающее чудовище. Я была бы блаженнейшей из жен, если бы судьба позволила мне развить и укрепить в нем все возвышенное и благородное и навсегда задушить демонов тьмы. Воги, по неисповедимому приговору, отказали мне в этом; Актэ же, как видно, это удалось. Оставь же мне мою жестокую горечь, если только он счастлив и если семена бессмертных деяний процветают в его душе.

Агриппина смотрела на нее тупым, непонимающим взглядом, как будто Октавия говорила на сарматском или готском языке.

— Я не понимаю тебя,— с отчаянием пожав плечами, сказала она наконец.

— Если бы ты любила его столько, сколько я, ты поняла бы меня. Ты тотчас бы заставила его замолчать, увела бы его под каким-нибудь предлогом и избавила бы меня от этой муки. О, что я выстрадала! Какое мученье было слышать, как он сухо и повелительно допрашивал тебя, пренебрегая мной, его женой, до такой степени, что в моем присутствии защищал свою возлюбленную!

— Ну вот видишь сама, как она вредит тебе, эта отвратительная змея! Вот это-то я и хочу устранить! Право, ты так расстроена...

— Нет. Мои мысли ясны... То, что я сейчас сказала, был только вопль, невольно вырвавшийся из моего измученного сердца. Актэ терзает меня до безумия, но все-таки ты не должна убивать ее! Поклянись мне в этом тем, что для тебя священнее всего! Иначе я не буду знать покоя! Иначе я сию же минуту пойду к нему и выдам ему твое намерение!

В чертах императрицы-матери выразилось безграничное негодование.

— У тебя натура рабыни,— с гневом воскликнула она.— Кто, подобно нищему, бросается на пыльную дорогу, не должен удивляться, если его затопчут.

— Я иду к нему,— прошептала Октавия, протягивая руку к накидке.

— Хорошо,— мрачно произнесла Агриппина, увидав, что она решилась,— я поклянусь тебе...

— Священнейшим и высшим на небе и на земле! — подсказала Октавия.

— Моей властью над миром! — поправила ее Агриппина с величавым движением.— Той, о которой ты просишь, не будет сделано никакого вреда. Но я надеюсь, ты согласишься на то, чтобы я употребила все силы для расторжения этой связи каким-нибудь способом. Если ты так равнодушна к самой себе, прекрасно! Для меня же, для матери императора, это — поношение, и я буду действовать, как мне подсказет мое достоинство.

И она ушла не простившись.

Сирийский ковер медленно заковылялся над дверью.

Смертельно измученная Октавия бросилась на колени и начала молиться.

— Милосердная мать вселенной,— шептали ее дрожащие губы,— покровительница женщин Юнона, сжался надо мной! Я любила его всеми силами души с самого начала и с мучительным самообладанием оставалась нема и холодна, желая убить надежду в моем боязливо бившемся сердце. А потом наступил короткий блаженный сон, когда мне каждое мгновение хотелось крикнуть: «Не верь моей холодности! Ведь я почти умираю от горячей невыразимой любви! Ведь только оттого, что мне стыдно моих долгих сомнений, только оттого блаженно мое замирающее сердце, оно точно придавлено свинцовым бременем!» Быть может, если бы я высказала тогда все, что кипело в моей груди... Ужасная мысль!

Она опустила голову и ее роскошные светло-каштановые волосы волной рассыпались по прекрасным плечам.

— Милосердая Юнона,— молилась она,— прости меня, если в своей глупой неловкости я сделала ошибку! Сжался надо мной! Исцели мое смертельно раненое сердце от всепожирающей любви, потуши ее, как ветерок тушит свечу, или дай мне силу вернуть ко мне моего Клавдия Нерона! Я не могу выносить этого дольше. Каждую ночь орошаю я слезами мое одинокое ложе, а чуть забрезжится день, я спрашиваю себя: что

мне в этом новом сияющем дне, если он ничего не изменит? Умилосердись надо мной, избавь меня от моей грызущей тоски, и я буду до конца жизни прославлять тебя!

Она встала, немного утешенная.

— Сила природы! — как бы во сне, прошептала она. — Что рассказывал он мне о силе природы и ее таинственных целях? Юпитер не раздражается громами и Амур не пускает стрел, но все-таки, во всех вещах скрывается божество, а любовь самое могущественное и действительное из божеств. Когда мужчина и женщина воспаляются взаимной страстью, это происходит во имя скрытого всемогущего духа и для выполнения его непостижимых целей...

Она потеряла себе лоб.

— Да, да, он говорил так, или похоже на это... Мужчина любит в обожаемой женщине будущее дитя и оттого — хотя он только смутно это чувствует — он с таким горячим упорством привязывается к той, которая обещает ему красивейшего и совершеннейшего ребенка...

Она закрыла руками зардевшееся лицо.

— Горе, горе мне! — продолжала она. — Если бы я могла теперь подать ему надежду, что он сделается отцом, что у него будет ребенок, похожий на него, да, тогда... Нет, — после короткой паузы вскричала она, — мой ребенок никогда не удовлетворил бы его. Это не было бы дитя его мечтаний. Но если бы Актэ... О, я несчастнейшая из женщин!

Совершенно изнеможенная, она опустилась в кресло.

Через некоторое время в дверь спальни двукратно постучались и на отзыв Октавии вошли Филлис и отпущенница Рабония.

Пожилая Рабония бросила на Октавию вопросительный взгляд, на который императрица ответила легким наклоном головы. Отпущенница ловко и тихо сняла с Октавии одежду, между тем как Филлис развязывала ей сандалии, снимала браслеты и вынимала из густых волос золотые шпильки. Рабония свила не волосы узлом и не могла удержаться, чтобы не выразить восхищения перед несравненной красотой душистых прядей.

— Ты хочешь порадовать меня твоей невинной лестью? — сказала молодая императрица. — Благодарю тебя за доброе намерение.

После того как Октавия приняла обычную ванну в соседней комнате, Филлис удалилась с церемонным

поклоном. Рабония же, уложив свою прекрасную повелительницу в постель, сама легла перед ее ложем на разостланный ковер.

Голубоватая лампа разливала печальный свет на бледные черты страдальцы, от закрытых глаз которой еще долго бежал сон, между тем как Рабония давно уже заснула.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА I

Две недели спустя, в рабочем кабинете Флавия Сцевина сидели шесть человек, погруженные в тихую беседу. Это были: хозяин дома, его супруга Метелла, Вареа Сораний, Тразеа Пэт, богатая египтянка Эпикарис и государственный советник Анней Сенека.

Из-за своего упорного противодействия каким бы то ни было насильственным мерам против юной возлюбленной императора, Сенека окончательно потерял расположение императрицы-матери, которая употребила все старания, чтобы лишить его влиятельного положения при дворе.

Вопреки своей теории о всемогуществе стремлений природы, выразавшемся в любви тем решительнее, чем упорнее казалась привязанность, Сенека считал страсть цезаря преходящим увлечением, которое в конце концов минует без вреда для духовного развития Нерона, если его оставят в покое; в противном же случае, можно было ожидать самых неприятных последствий.

Агриппина пока еще опасалась прибегнуть к крайности и, обойдясь без Сенеки, привести в исполнение свои планы по собственному усмотрению, ибо сдержанное, безупречно благоразумное поведение Нерона после тяжелого объяснения, также как весьма скромное поведение Актэ внушали ей известную долю уважения.

Слова нечастной Октавии, быть может, также не были забыты ею.

Тем не менее, государственный советник считал, что близится время, когда возможно будет наконец сломить высокомерие Агриппины.

— Друзья,— говорил своим задушевым голосом Тразеа Пэт,— по моему мнению, если нельзя немед-

ленно уговорить Нерона на решительный поступок, то мы должны действовать самостоятельно, хотя и с величайшей снисходительностью. Безбожное нападение на Флавия Сцевина в его саду доказало нам, что убийца императора Клавдия и Британника не избыла своего позорного коварства. Если Анней Сенека, с самого начала знавший об этих преступлениях, до сих пор еще не устранил злодейку, то единственно лишь из уважения к почтительному сыну, не подозревавшему о святотатственных деяниях своей матери. Но Нерон, по-видимому, все больше и больше отдаляется от государственных занятий. Агриппина фактически остается единоличной правительницей и, вместе с немногими разумными мерами, она прибегает к отвратительнейшему произволу всюду, где это ей представляется выгодным.

— Это правда! — вскричали вместе Метелла и египтянка Эпихарис.

— В особенности же, — продолжал Тразеа Пэт, — возмутило меня позорное покушение на Флавия Сцевина. Я промолчал, как я молчу повсюду, где слова преждевременны. Но мне тотчас же стало ясно, что таинственный удар кинжалом был ответом Агриппины на патриотический тост нашего превосходного друга. Много недель пролежал Флавий Сцевин на одре болезни. Теперь он здоров благодаря искусству его честного Полихимния. С согласия Флавия, я пригласил вас сюда, ибо мне кажется, что долг дружбы, равно как и любовь к родине, предписывают нам взглянуть прямо в лицо тягостному положению.

— Ты не сомневаешься относительно виновного лица? — обратился к нему Бареа Сораний.

— Весь свет шепчет, что преступница — Агриппина.

— А где доказательства? Я ненавижу презренную женщину, но я друг справедливости. И речь твоя недостаточно меня убеждает.

— Почему? — спросил Пэт.

— Я понимаю причины, побудившие Агриппину избавиться от императора Клавдия. Он лично был ей противен, вечно надоедал ей своей ученостью и если действительно он умер, поев отравленных грибов, то я готов поверить, будто она сказала при этом: «Грибы — кушанье, превращающее людей в богов». Все это мне понятно, хотя я считаю это низким и гадким. Потом она влила отравленную воду в вино благородного Британника. И здесь я должен допустить целесообразность ее побуждений, основанных на честном

бии бессовестной женщины. Но я не могу постигнуть причин, заставивших ее немедленно посягнуть на жизнь Флавия Сцевина из-за нескольких слов, в сущности бывших лишь намеком цезарю на то, что он больше не дитя. Нельзя же стрелять в птиц из метательных рядов.

Наступила пауза.

— Пэт,— снова заговорил Флавий Сцевин,— ты еще раньше делал мне разные намеки, но врачи не позволяли нам беседовать прежде, чем я поправлюсь совсем. Я полагаю, что тебе известно больше, чем подозревает Бареа Сораний. Так говори же теперь откровенно, для того, чтобы друзья наши, а в особенности государственный советник, узнали все, без утайки.

— Охотно,— возразил Пэт.— Я уже хотел это сделать, когда меня остановил красноречиво подчеркнутый скептицизм друга Бареа. Сенека не удивится, так как он знает нравы императрицы и ее необузданно кичливый характер

— Действительно,— подтвердил Сенека,— ее дерзость с каждым днем становится все более угрожающей. Я простил ей прошлое ради Нерона и потому, что считаю приличным для истинного философа быть строгим к самому себе и снисходительным к другим. Однако пришла пора преградить бурный поток, иначе он выльет всю страну своими дымящимися красными волнами.

— Вот до чего мы дошли с нашими надеждами! — вздохнул Флавий Сцевин.— Мы дошли до этого под кипетром кроткого, человеческого Нерона, страстного поклонника искусств, восторженного друга природы, обладающего лишь одним недостатком — слишком горячо привязываться ко всему, что его вдохновляет.

— Мы заходим в постороннюю область,— заметил мрачный Бареа.— Пэт хотел сообщить нам свои наблюдения.

— Итак, мой дорогой Флавий Сцевин,— начал Траzea,— преступление, совершенное над тобой императрицей-матерью, было лишь наполовину политическое и, как таковое, оно оказалось крайне безрассудным и преждевременным, ибо оно заставило каждого из нас спокойно и уверенно смотреть в глаза висящей над нашими головами опасности, и с двойной энергией приступить к осуществлению наших планов. Из твоего тоста она поняла, что и ты, которого она считала наполовину обращенным, будешь камнем в стене, воздвигаемой против нее древним, непобедимым римским

духом. В припадке внезапного раздражения она могла решиться устранить тебя, и как можно скорее. Но раздражение это не было бы столь безмерно, если бы Ото, которому несколько дней тому назад она тайно предлагала свою благосклонность, но не добилась ничего, кроме вежливых уверток (это мне рассказала Поппея), не улыбнулся с таким удовольствием при этом тосте. Это произвело взрыв.

— Но кто же знает, чему он улыбнулся? — прервал его Бареа.— Быть может, красивым формам своей жены, или бесстыдной рожице Ацерронии.

— Не горячись, достойный Сораний,— продолжал Пэт.— Все равно, чему бы ни улыбнулся Ото. Факт тот, что он улыбнулся, что императрица заметила его улыбку и отнесла ее к своему затруднительному положению. Я прекрасно видел, как она побледнела при этой, столь многократно упоминаемой улыбке, между тем как Флавий уже давно произнес свои самые резкие слова. В ней вскипел гнев отвергнутой, жаждущей любви женщины. Она хотела показать Ото, от которого она все-таки не отказалась, что выпадает на долю дерзкому наглецу, осмеливающемуся оскорблять прекраснейшую женщину Рима, какой она себя считает.

— Гм! — проворчал Сенека.

После короткого молчания Тразеа Пэт продолжал:

— Я тотчас заметил, что она что-то замышляет. Быть может, этим быстрым наказанием ей вздумалось поразить влюбленного в свою жену Ото. Словом, воспользовавшись первым удобным мгновением, она поручила своему любимому гвардейцу исполнить то, что произошло с такой ужасающей ловкостью, но, благодарение богам, без предполагавшихся последствий.

— Я также видела минутную беседу императрицы с одним из центурионов,— заметила Метелла.— Мне это показалось неприличным, но я подумала, что дело идет лишь о любовной нежности. Мы знаем через Поппею, что Агриппина не имеет предрассудков в выборе любовников. Вчера это знатный юноша, сегодня — рослый солдат: вот ее добродетельные обычаи.

— Но она умеет скрывать все это,— сказала египтянка Эпихарис.— По крайней мере до меня, как я ни прислушивалась повсюду, ни разу еще не доходили рассказы о ее приключениях.

— О подобных вещах болтать было бы неосторожно,— усмехнулся Пэт.— Но тогда публичной тайной было ее полное благоволение к центуриону Галлиену, который и доселе, в известные часы после полуночи,

одержим безумной мечтой, будто он, ничтожный солдат, повелевает повелительницей Рима.

— Все это ничего не доказывает,— вскричал Бареа Сораний.— Уверю вас, что до того мгновения, когда мы услышали крик Сцевина, центурион не покидал своего места позади ложи его повелительницы.

— Превосходно,— возразил Пэт.— Но мой вечный порицатель Бареа Сораний не хочет допустить, чтобы в продолжение кратких мгновений, протекших между разговором императрицы с Галлиеном и построением стражи вокруг ложи, подобное поручение весьма легко могло быть передано дальше, и личному его исполнителю вручен кинжал, что действительно и случилось на моих собственных глазах.

— Конечно, это весьма важное свидетельство,— отвечал Сораний.— Но все-таки я принуждаю себя сомневаться до тех пор, пока есть хоть малейшая возможность иного истолкования. Неужели все, следующее одно за другим, должно иметь между собой основную связь? Не теряй терпенье, Тразеа Пэт! Я только развиваю мою идею. Во всем остальном я доверяю твоей испытанной проницательности гораздо больше, чем моей.

— Даже не веря в мою так называемую проницательность, ты должен был бы поверить моим словам правдивого человека. Я не только подозреваю, я знаю, что убийца — Агриппина. Я это узнал от женщины, присутствовавшей на празднике и достаточно близкой к Агриппине, чтобы изучить ее свойства. Женщина эта нашла даже орудие покушения — кинжал, признанный ею за собственность императрицы-матери.

— Клянусь Геркулесом, теперь я молчу! — воскликнул Сораний.

— Кто эта женщина? — единогласно спросили все.

— Я не могу назвать ее.

— Жаль,— заметил Флавий Сцевин.

— Но я догадываюсь,— сказала Метелла.

— Где же нашла она кинжал? — спросил Бареа Сораний.

— Очевидно, на месте преступления, когда убийца бросил его,— отвечал Сенека.— Но если я могу дать вам совет, то вот он: будем думать о том, что предстоит, а не о том, что прошло. Агриппина поставила себя вне закона: это несомненно. Но будь она так же чиста, как богобоязливая Ифигения, все-таки благо империи потребовало бы ее свержения с престола. Я говорю «свержения», ибо никто лучше меня не знает, на-

сколько она в действительности императрица, между тем как Нерон, мой чудный, божественно-одаренный ученик, держит в своих руках один лишь призрак власти. Сначала это было полезно; теперь же все благородные римляне возмущены тем, что славной империей Августа правит женщина, да к тому же еще тайная любовница преторианцев. С каждой неделей опасность для государства возрастает. Хотите ли вы дожить до того, чтобы Агриппина, в своем все сильнее разгорающемся честолюбии, поступила с родным сыном так же, как с своим пасынком Британником? До того, что она заключит цезаря в цепи или умертвит его ради свободного разгула с гвардейцами и безжалостного высасывания крови из римского народа, подобно ядовитому пауку? Я вижу ее перед собой, и, право, она походит на чудовищного паука. В центре ее паутины стоит Палатинум. Все же остальные нити, до крайних пределов, усеяны солдатами, купленными ею на богатства наших провинций. Она стремится править миром из своей спальни; она льстит всему сенату, на случай если балеарские стрелки откажут ей в своих свинцовых снарядах. Горько раскаиваюсь я в том, что был так уступчив сначала и что, уверенный в способностях Нерона, я сам помогал увеличивать влияние ненавистной женщины.

Он остановился.

Знаменитый оратор никогда еще не говорил с такой убедительной силой выражений и жестов.

Нужно, однако, сознаться, что его весьма вдохновляла забота о собственном благе.

Шпион донес ему, как жестко высказалась Агриппина о нем и его поведении относительно Нерона.

Теперь следовало предупредить императрицу-мать, если он не хотел потерять игру. Тот же шпион — греческий раб, которого он однажды спас от гнева Агриппины своим кротким вмешательством, — кроме того сообщил ему о том, что говорилось между юным императором и его матерью об отпущеннице Актэ, и Сенека, со своей стороны, сделал попытку отсоветовать цезарю поддерживать эту связь.

В этом случае, то есть, если бы Нерон согласился обуздать себя, друзья Тразея Пэта нашли бы в цезаре сильную поддержку. Но, к несчастью, оказалось, что на содействие влюбленного юноши нельзя было рассчитывать. Вследствие этого заговорщики были лишены могущественнейшего рычага, который неприметно сдвинул бы с их пути тысячу затруднений. С помощью

молодого императора удаление Агриппины могло бы произойти без всякого шума, даже под видом добровольного отречения. Теперь же, при существующих обстоятельствах, весьма вероятно было, что придется прибегнуть к насилию.

В продолжение своей речи Сенека взялся указать наиболее доступные пути для такого насилия. Прежде всего, он указал на необходимость привлечь на сторону заговорщиков начальника преторианцев Бурра, а затем и гвардию.

До сих пор Нерон аккуратно выплачивал жалованье преторианцам, при случае удваивая и даже утраивая эту плату.

Стараясь укрепить свое господство, императрица-мать из собственных средств платила гвардейцам больше, чем Нерон, присоединяя к этому особые почетные подарки военным трибунам и центурионам.

Бурр, не проявляя видимого чванства, был, однако, под чарами благосклонности императрицы, отлично умевшей опутать его, и разрушить эти чары казалось делом не легким.

Несмотря на это, Сенека брался выполнить обе трудные задачи.

Влияние на солдат должно было исходить от некоторых центурионов, снабженных огромными денежными средствами.

Что же касается Бурра, то этот медведь, которому так не пристало ухаживанье, прежде всего был солдатом. Служба независимому императору, наверное, покажется ему славнее, нежели его теперешнее положение, совершенно вопреки его характеру напоминавшее Геркулеса за прялкой Агриппины. Как скоро Бурр будет вовлечен в заговор, останется только выполнить последнюю задачу.

Сенека попросит Бурра держать наготове всех преторианцев в большой казарме. Затем государственный советник с высокой свитой из сенаторов и жрецов приведет туда императора и попросит его в короткой речи объявить солдатам, что ради блага империи царствование Агриппины должно прекратиться. При этом людям должна быть подарена сумма, в двенадцать раз превосходящая все дары Агриппины вместе взятые. Между тем, военный трибун Юлий Виндекс, которому уже давно все доверено, будет ожидать с отрядом знатных юношей, чтобы в случае непредвиденного сопротивления возбудить народ к борьбе против женского владычества. Под

громадными сводами погребов египтянки Эпихарис лежат груды оружия.

Римляне, в своей приверженности к Нерону, несмотря на нынешнюю изнеженность, наверное, вновь схватятся за меч, чтобы доказать, что в них еще не угас дух увенчанных лаврами Фабиев. Тразея Пэт в собрании сената, немедленно созванном Сенекой в Капитолии, должен силой своего красноречия и своей внушительной личностью уничтожить приверженцев Агриппины, заставить сенат признать совершившееся законным и торжественно выразить заговорщикам признательность спасенного отечества.

Все глубоко перевели дух, когда Сенека окончил свою пламенную речь.

Никто не возражал. Роли казались распределены так удачно, отдельные колеса механизма так точно подходили одно к другому, что нельзя было найти ни одного опровержения.

— Да будет так! — воскликнул наконец Барес Сораний. — А когда все окончится, тогда открыто обвините императрицу-мать перед государственным уголовным судом как преступницу и сошлите ее под строгим конвоем в Пандатарю, где она может в изгнании размышлять о том, что жажда власти прилична лишь мужчинам, а не женщинам!

ГЛАВА II

На следующей неделе, не смотря на разгар весны, небо покрылось густыми тучами. Вечером 2-го мая дождь сплошным потоком низвергался на Вечный Город, как будто бог погоды задавал свои мрачные декабрьские оргии.

Императрица-мать находилась на своей прелестной даче в Албанских горах, где среди весенних красот роскошной природы она, по-видимому, забывала все, что обыкновенно занимало ее изменчивую душу.

Об этом, под печатью строжайшей тайны, из уст в уста ходили удивительные вести. Фаракс, замечательно сложенный центурион, внезапно возвысился до звания военного трибуна.

Он воспользовался несколькими днями отпуска для того, чтобы достаточно заручиться расположением маленькой ловкой Хаздры — компаньонки Поппеи Сабины. Теперь для осуществления намерений влюбленных требовалось только разрешение императрицы.

Агриппина выказала при этом странную медлительность...

В то же время замечали, что Фаракс часто прогуливался вдвоем со все еще очаровательной императрицей в уединенных аллеях албанского парка, а раз ее даже видели нежно сжимавшей обеими руками его могучую руку...

Между тем, разрешение на брак с Хаздрой все откладывалось...

Октавия также покинула город и переехала на свою аппианскую виллу.

Один Нерон еще жил в Палатинуме, где он уединенно проводил утренние часы в тишине библиотеки, и то время как Бурр и Сенека занимались текущими, не представлявшими особой важности, государственными делами, посылали ежедневных курьеров императрице-матери и старались как можно скорее открыть летние каникулы, для того чтобы и для них, этих главных работников империи, пробил наконец час отдыха.

Нерон теперь почти всегда обедал у Актэ.

Он редко возвращался домой раньше полуночи и, оставшись один в своей роскошной спальне, он часто бодрствовал до четвертой стражи, серьезно занятый размышлениями о ближайшем будущем.

При его переселении в одну из очаровательных вилл Кампаньи, его возлюбленная Актэ, конечно, не останется в Риме.

Больше всего ему хотелось тайно снять виллу на берегу озера Бенакуса в северной Италии, выдав себя за дворянина из Мутины или Вероны, Актэ же — за свою жену.

Но скоро он осознал всю неисполнимость этой идеи.

Если император исчезнет на целое лето, так что даже Октавия и Агриппина не будут знать ни о его местопребывании, ни о цели его отсутствия, это непременно поведет к объяснениям, которых он желал избежать. Насколько тверда была его решимость противостоять Агриппине в одном важном пункте, настолько же был велик его тайный страх перед проявлением ее гнева. Он знал теперь, что в груди этой женщины живет демон, который, раз вырвавшись на волю, может разрушить все.

Поэтому он счел за лучшее остаться еще на некоторое время в Риме, между тем как его поверенный Софоний Тигеллин искал для Актэ уютное гнездышко в многолюдной Байе, где у Нерона была великолепная

вилла. Таким образом, в глазах света, он будет жить один, не нарушая наружного уважения к своей супруге, и в тоже время будет видеться с Актэ так часто и долго, как ему вздумается. Казалось, что, по крайней мере на несколько месяцев, главнейший вопрос разрешался очень счастливо.

Как раз в ту минуту, когда Нерон принимал это решение в своей спальне и, успокоенный, улется на ложе, по аппианской дороге промчался отряд всадников с албанских гор.

Широкие кожаные плащи, из под которых виднелись рукоятки мечей, защищали людей от непогоды.

Несмотря на непрерывный дождь, ночь была довольно светлая: луна сияла среди медленно плывших туч.

Во главе отряда ехал окутанный с головы до ног Паллас, доверенный императрицы.

Это он выследил Актэ, открыл ее жилище и вооружил против нее императрицу Агриппину. Теперь он выполнял план, который был ему самому еще более по сердцу, нежели Агриппине.

Его снедала безумная ревность и ярая злоба к счастливой чете, наслаждавшейся в тихой вилле весенним сном первой любви.

Как несправедливо разделяет судьба блаженство и горечь, благословение и проклятие!

Как она должна была обожать этого юношу, если предпочла, подобно римской куртизанке, сделаться его любовницей, между тем как он, Паллас, предлагал ей брачный союз! И разве, не смотря на свое знатное происхождение, Нерон был выше Палласа, отпущенника, сделавшегося из ничего — всем, возвысившегося благодаря самому себе, своим влиянием на императрицу-мать, часто делавший больше, чем воспитанник Сенеки вместе с его учителем?

Уже на третий день после тяжелой сцены между императором и Агриппиной, Паллас осмелился сделать некоторые скромные намеки, был одобрен и, наконец, получил поручение дерзко, по-македонски, разрубить неразрешимое.

Звучно раздавался на аппианской дороге топот скачущих коней; перед отправлением солдат заставили произнести священную клятву навеки сохранить в тайне все, что случится во время ночной экспедиции, в особенности же им было под угрозой смерти запрещено когда-нибудь проговориться, что ими предводительствовал страшный Паллас.

Все дальше неслись всадники по окаймленной памятниками дороге...

Кругом царила мертвая тишина. В окнах роскошных дворцов не горели огни. Владетели их уже переехали на свои загородные виллы, а оставшиеся управляющие давно уже спали.

Через полчаса всадники завернули налево.

Еще триста шагов, и Паллас скомандовал людям спешиться.

Двух солдат оставил он стеречь лошадей. С остальными он отправился к вилле, где Актэ сладко спала, и трижды громко стукнув молотком в виде пантеровой головы в дубовую, окованную дверь, крикнул измененным голосом подошедшему привратнику:

— Отвори!

— Кто ты? — отвечал раб.

— Ты не узнаешь мой голос?

Привратник помолчал с секунду.

— Нет, — спокойно сказал он. — Но кто бы ты ни был, что тебе здесь нужно в такой поздний час?

— Ты это узнаешь, когда отворишь.

— Я не могу открыть прежде, чем не узнаю.

— Безумец! — вскричал Паллас. — Или тебе не дорога твоя голова?

— Я не знаю, что может угрожать моей голове.

— Именем императрицы Агриппины повелеваю тебе: отвори!

— Агриппина только мать цезаря. Я отказываюсь отворить — именем императора.

— Так я прибегну к насилию

— Насилие против императора?

— Я сказал. Даю тебе несколько минут на размышление.

— Я употреблю их на то, чтобы поднять весь дом. Нас здесь двадцать человек, и между ними двенадцать германских наемников.

— Что значит двадцать против шестидесяти, окружающих вас со всех сторон? К тому же, ты знаешь, все наемники преданы Агриппине. На моем пальце сверкает перстень с печатью повелительницы, который убедит вас, что я действую от ее имени. Со мной есть и послание...

— Хорошо. Подожди.

Конский топот и громкий разговор Палласа с привратником разбудили уже большую часть обитателей виллы.

— Сама Актэ, накинув на плечи белоснежный плащ, вышла в атриум. Всюду зажигали факелы и сосуды со смолой. Справа и слева из зал бежали рабы и отпущенники Актэ, вооруженные мечами и копьями, между тем как данный ей императором отряд телохранителей в военном порядке показался из перистилия. Начальник маленького отряда отправился с привратником к входу и тоном, ошеломившем-таки Палласа на мгновение, спросил:

— Что значит этот ночной беспорядок? Я императорский центурион и вполне заменяю здесь повелителя вселенной.

После короткого размышления, Паллас дал ему такое же объяснение, как прежде привратнику

— У тебя перстень Агриппины,— возразил солдат.— Знай, что у нашей повелительницы перстень божественного императора. Выводи из этого заключение сам!

— Я не вывожу заключений, а действую. Императрица-мать повелевает мне немедленно привезти в албанскую виллу Актэ, отпущенницу Никодима.

— В этот час? — засмеялся солдат.— Ты с ума сошел, господин? Уходи по добру с твоими спутниками и не нарушай больше нашего спокойствия! Нерон, император, повелел нам не впускать сюда никого, кто нам покажется подозрительным, даже днем, не говоря уже о ночи, когда одни только разбойники и грабители выходят на работу

— Очень жаль,— с иронией сказал Паллас,— но мы не смеем вернуться, не исполнив поручения. Я ручаюсь тебе моим имуществом и положением, что Агриппина не скажет ни одного оскорбительного слова прекрасной возлюбленной императора.

— Имущества твоего мне не надо, кто ты — я не знаю. Едва ли кто-нибудь порядочный, иначе ты не пускался бы на подобные гнусные услуги. К тому же, один из наших, видевший вас сверху, говорит, что на вас капюшоны и лица ваши наполовину закрыты. Послушайтесь моего совета и убирайтесь поскорее, пока вас не схватила городская когорта. Пожалуй, строгий префект присудит вас к распятию.

— Так ты противишься?

— Противлюсь.

— Так пеняй на себя. Вперед, солдаты! Ломайте дверь!

— Первого, кто войдет в нее, я положу на месте,— вскричал центурион.— Этот вход мы сумеем защитить.

Трое из солдат Палласа подошли к двери и, выхватив свои топоры, начали осыпать ее могучими ударами.

Широкая железная оковка сначала не поддавалась, но при шестом ударе начала ломаться и обваливаться; дерево затрещало по всем швам, одна петля оборвалась, и в следующее мгновение дверь рухнула с оглушительным шумом. Запыхавшиеся разрушители последно отступили, и в отверстие бросилась толпа солдат с грозно сверкавшими мечами.

Телохранители Актэ и даже ее рабы и рабыни готовы были, однако, отразить нападение, и первые четверо ворвавшихся в дверь упали, пронзенные мечами защитников.

Одного из них убил Фаон, верный раб императора.

Но остальные всадники непреодолимым потоком бросились вперед, через тела своих убитых и раненых.

Закрываясь щитами, достигли они остиума, где между обеими сторонами завязалась отчаянная борьба.

Внезапно раздался резкий свисток.

Нападавшие мгновенно отступили.

Так как они почти уже могли назваться победителями, то изумленные защитники Актэ спокойно смотрели на их отступление и не попытались отнять у них и раненых. Даже самому воинственному центуриону казалось благоразумнейшим по возможности облегчить их уход.

Едва успел последний солдат покинуть остиум, и честный привратник уже начал изобретать способ снова сложить раздробленные доски, как из перистилля на главный двор с криком прибежала рабыня Кротиона.

— Горе нам всем! — со слезами восклицала она. — Цезарь отдаст нас на съедение своим муренам! Ее украли, ее похитили, нашу кроткую, божественную госпожу Актэ!

— Невозможно! — вскричал Фаон.

— Да, да!

— Так ты предала ее?

— Я? — воскликнула девушка, вне себя от искреннего горя. — Она была сама любовь и приветливость, и добра ко всем нам, как сестра. Я — предать мою Актэ! Стыдись, Фаон, ты этого не думаешь сам! Но послушайте, как все случилось! Она тотчас догадалась, и чем дело. Желая избежать кровопролития, она решилась скрыться через постикум. Мы отперли ти-

хонько, тихонько, и только она хотела свернуть на боковую дорогу, как на нее бросились два разбойника, один поднял ее к себе на лошадь, и прежде чем я успела воскликнуть: «Умилосердись над нами, Юпитер!» негодяй уже исчез в темноте.

— Да умилосердится же над нами Юпитер! — вскричал центурион.— Когда император узнает, как плохо мы стерегли его сокровище...

— Нам уж не так плохо придется,— перебила одна из рабынь,— весь гнев его падет на его мать, Агриппину.

— Кто знает, может быть, это наказание богов,— сказала Кротииона.— Он любил горячо и беспредельно свою очаровательную Актэ, но ведь Октавия его законная жена....

— Глупости,— пробормотала остийская младшая рабыня, обязанная подметать двор.— Ото, супруг Поппеи, также не спрашивал, замужем я или нет, когда покупал меня у Флавия Сцевина. Бессмертным богам много дела и без того, чтобы еще заботиться о всякой жалкой любви.

— Дура! — крикнул на нее Фаон.— Ты все еще продолжаешь свою ребяческую выдумку, будто Ото ухаживал за тобой? Посмотришь лучше в зеркало! Но стыдно нам терять попусту время.

— Товарищи,— заговорил вдруг центурион, словно разбуженный словами Фаона,— мной овладевает сильная тревога. Неужели мы останемся здесь, чтобы встретить первый порыв отчаяния разгневанного императора? Не поспешить ли в албанскую виллу, чтобы заслужить милость императрицы?

— Хорошая мысль,— сказал один из солдат.

— Я служу императору,— заметил другой,— и господство женщин мне ненавистно.

— Мне также!

— Конечно, оно нас бесчестит!

— Хорошо, так останемся! — сказал центурион.

— Император поймет, что нас не в чем упрекнуть.

— И ему, наверное, понадобятся верные слуги в этом разборе с матерью.

— Проклятый народ! — ворчала младшая рабыня, принося метлу и травяные полотенца,— весь атриум — разбойничий вертеп и больше ничего.

Остальные девушки и женщины в это время занимались ранеными, которых перенесли на лишь недавно покинутые ими постели, перевязали их и напоили прохладительным напитком.

Фаон был невредим. В первую минуту он подумал было о преследовании, но тотчас же отбросил эту мысль. Она была смешна уже потому, что во всей вилле не было ни одной лошади.

Задумчиво ходил он взад и вперед по перистиллю. Дождь унялся, но ветер жалобно завывал в пустынной колоннаде, как бы оплакивая ужасную неотвратимую судьбу.

ГЛАВА III

Отъехав шагов за тысячу от арены ночного нападения, всадники разделились на два отряда.

Более многочисленный из них, с убитыми и ранеными, поскакал по Латинской дороге к освещенным луной горам, так как густые тучи начали рассеиваться.

Остальные, с Палласом во главе, последовали по аппианской дороге и, после быстрой скачки, достигли городка Бовиллэ, где и остановились.

Жирный хозяин закопченной таверны у ворот города был немедленно разбужен: после усилий последних часов необходимо было подкрепиться.

Оставив восемь или десять всадников в первой комнате, Паллас со смертельно бледной Актэ, которую он тотчас за последним домом аппианской дороги взял на своего коня, вошли в боковое помещение, предназначенное для почетных посетителей.

Прислужница-самнитянка, с растрепанными густыми черными волосами, взобравшись обнаженными ногами на деревянный стол, засветила висячую лампу в виде крокодиловой головы, тускло замерцавшую своим едва тлевшим фитилем.

Попросив Актэ сесть, Паллас открыл свое лицо, скрестил на груди руки и, подойдя к ней, дрожащим голосом спросил:

— Ты узнаешь меня?

— Да, и лучше прежнего.

— Что это значит?

— Прежде я считала поверенного императрицы справедливым и честным человеком, теперь же я знаю, что он негодяй.

Он схватился было за меч, но овладел собой.

— Актэ,— сказал он,— объяснимся вполне. Я с намерением молчал всю дорогу, это ты поняла. То, о чем нам нужно говорить, не должно быть услышано моими людьми.

— Так говори же! — холодно отвечала она.

— Актэ, презренная, проклятая, я любил тебя неизмеримо. Я предложил тебе то, что с гордостью приняла бы даже свободнорожденная: мою руку, мое сердце и мой дом. Актэ, ты могла бы сделаться честной женой честного человека. Ты предпочла быть любовницей сластолюбивого императора, губительницей императорской семьи, преступницей перед Октавией. Весь мир возмущен, весь народ указывает на тебя пальцами... И когда, по поручению императрицы-матери, я являюсь чтобы разорвать эту позорную связь, бесчестная развратница дерзает называть меня негодяем! Жалкий ребенок, спроси саму себя, не заслуживает ли смерти твоя дерзость?

Актэ подперла голову рукой, и на ее задумчивом лице на одно мгновение отразилось глубокое унижение. Но тотчас же щеки ее вспыхнули, она подняла чудные ресницы и гордым взглядом смерила поверенного Агриппины.

Чем жестче и беспощаднее были его слова, чем более она сознавала их справедливость с точки зрения Октавии и императрицы-матери, тем сильнее шевелилось в ней неясное, но могучее сознание ее прав на возлюбленного, дарованных ей высшей властью.

Доброжелательный назарянин, попытавшийся бы проникнуть в ее душу кротким, ясным увещанием об обязанности всякой христианки отречься от личного счастья там, где оно противоречит заповедям божественного Спасителя, быть может, направил бы ее на должный путь.

Но Паллас, говоривший от имени Агриппины и оскорбленного римского общества, в действительности же следовавший лишь влечению собственной страсти, не годился для внушения ей уважения к правам и желаниям императрицы-матери.

Она посмотрела на него и спокойно возразила:

— Нет, я не заслуживаю таких оскорблений. Я говорю тебе в лицо, и не стыжусь этого, потому что это есть зерно моего бытия: я живу только с тех пор, как люблю Нерона! Да, Паллас, я люблю его, люблю как ничто в мире. Я была его женой, и не вижу в этом ничего дурного, ибо меня привлекла к нему одна лишь непреодолимая привязанность. Он же не любовник мой, как вы это понимаете, повторяя болтовню Публия Овидия, но мой настоящий супруг. Он делил со мной все, что волновало его сердце, и если бы не существо-

мала Октавия, без сомнения добрая и благородная, но не удовлетворяющая его глубокого ума, то он открыто и свободно возвел бы меня на престол.

— Ты лжешь! — закричал Паллас.

— Я не лгу. Он клялся мне в этом сотни раз, когда лежал у моих ног. Я отвечала ему: «Оставь это, мой дорогой! Мне не нужен блеск дворца, не нужна даже честь называться твоей супругой перед лицом света; мне нужен только ты, Нерон, один ты, даже если бы ты был последний из твоих рабов!

— Фразы, жалкие, пустые фразы!

— Это правда. И он любит меня так же страстно, как я люблю его. Императрица-мать отлично знает это, и потому кипит такой безумной яростью. Но она не может ничего изменить, ибо любовь его неизмерима, подобно бушующему морю, которое вам не исчерпать, хотя бы вы трудились целые века. Что касается тебя, то я тебя презираю. Ты обманываешь госпожу, которой будто бы служишь. Не справедливость, а ненависть и жалкая ревность твои путеводные звезды.

— Называй как хочешь! Одно лишь верно, и ты должна принять это в соображение: что ты в моей власти.

— В твоей власти? — засмеялась девушка.— Сначала меня ошеломило ваше нападение. Мной овладело почти отчаяние: все мне показалось так странно, так невероятно... Теперь же я говорю тебе: я смеюсь над нашим презренным коварством. В эту минуту, быть может, Нерон уже принял меры к спасению своей Актэ. Рука императора простирается дальше, чем ты воображаешь. И когда ты будешь томиться в цепях,— тогда я замолвлю за тебя словечко в благодарность за то, что ты не был груб со мной, когда вез меня на твоем седле. Да, вы все будете помилованы, ради моего заступничества. Как счастлива и горда я буду, когда он объявит вам: вы свободны, потому что так хочет Актэ, моя белокурая любимица!

Остолбнев от изумления, Паллас смотрел на красавицу, казалось, еще более возвысившуюся в своих чувствах.

— Девушка,— сказал он,— хочешь ты выслушать меня?

— Охотно,— с улыбкой отвечала она.— Если ты раскаиваешься в твоём поступке, я прощаю тебе все, все. Отвези меня назад в мое счастливое жилище, и я еще богато вознагражу тебя. Быть может, стыд

сделает тебя верным слугой человека, которому ты хотел изменить.

С горькой улыбкой взял он ее за руку.

— Ты забываешь, что я тебя люблю. Никогда в жизни ты не вернешься к нему. Рука императора простирается далеко, но повелительницу Рима зовут Агриппиной. Через несколько часов мы достигнем Антиума. В стороне от гавани нас ожидает лодка, которая перевезет нас на быстроходный корабль. Твоя судьба определена очень ясно. Я отвезу тебя в Сардинию и продам, как рабыню, главному начальнику государственных рудников, уже давно беззаветно преданному императрице-матери. Там, голубка, за тобой будут тщательно присматривать. Вздумаешь ты бунтовать, тебя на несколько дней спустят под землю, в шахты, где работают каторжники. Никто не узнает, куда делась прелестная Актэ. Люди, напавшие на твой дом, все принадлежат к любимым телохранителям императрицы. Все были закутаны до неузнаваемости. Ни один убитый, чье лицо могло бы выдать нас, не остался в вашем атриуме. Поэтому оставь всякую надежду! Замысел Агриппины удался вполне! Актэ вычеркнута из книги живущих.

Она в смущении смотрела ему в лицо.

— Неужели это правда? — тихо спросила она. — Или ты только мучаешь меня из мести за мой тогдашний отказ? Не делай этого, Паллас! Разве это моя вина? Разве смертные вольны в своих чувствах? Прощу тебя, не вымещай на мне то, чему причиной одна судьба! Неправда ли, ты хочешь только испугать меня? Сардиния! Какое ужасное слово! Я знала молодого лигурийца, сосланного на два года в глубину рудников: он вышел оттуда стариком. Говори же, Паллас! Твое молчание страшнее твоего гнева! Агриппина, мать моего возлюбленного Нерона, не может быть так жестока... но если бы и была, то ты не оказал бы ей содействия в подобном преступлении!

— Как ты прекрасна в твоей боязливой мольбе! — прошептал Паллас. — Но я сказал тебе истину, призываю в свидетели всех богов. Императрица повелела так, и я должен повиноваться, если не хочу потерять ее высокой благосклонности. Есть только одно, единственное средство...

— Назови его! Я не побоюсь никакой жертвы, если она вернет меня к Нерону!

— Не об этом речь, а о твоём жалком заключении. Слушай же! Я спасу тебя с опасностью для собствен-

мой жизни, я отошлю близ Антиума моих людей, и сяду с тобой, бедным, измученным ребенком, на александрийский купеческий корабль, который на рассвете снимается с якоря. Одного лишь требую я, чтобы ты позабыла Клавдия Нерона. В несметной толпе египетского портового города отдельные личности теряются, подобно песчинкам на морском берегу. Не смотри на меня так гневно! Я не переменялся. Ты будешь моей законной женой, не возлюбленной. Я перенесу все, что произошло, хотя мозг мой пылает при одном воспоминании... Я возьму тебя, как невинную девушку, несмотря на то, что ты покоилась в объятиях другого; я буду уважать и почитать тебя, не взирая на твое бесчестье. Подумай, Актэ! Не спеши с ответом! У нас еще есть полчаса времени. А пока, выпей глоток вина и съешь немного хлеба! Я люблю тебя, Актэ! Люблю глубоко и страстно. То, что кажется тебе жестокостью, есть только непреодолимое побуждение моего сердца.

Налив в металлический кубок вино из поставленной хозяином на стол глиняной кружки, он благородным движением подал ее Актэ, в то время как служанка принесла несколько ломтиков ячменного хлеба.

Медленно выпила Актэ весь кубок до дна. Паллас пил, отойдя в сторону, объятый несказанным волнением; лицо его пылало, а рука, державшая стакан, дрожала, как в лихорадке.

Спустя четверть часа он вновь подошел к Актэ.

— На что же ты решилась? — беззвучно спросил он.

— Можешь ли ты еще сомневаться? Сознаюсь, постоянно твоей любви трогает меня, но если ты хоть на одно мгновение вообразил, что я могу изменить ради тебя цезарю, которому я принадлежу душой и телом...

— Не ради меня,— прервал ее Паллас,— но ради тебя самой...

— Все равно! Если ты вообразил, что я могу быть неверна звезде моей жизни, ради спасения своего существования, то ты безумен. Мне следовать за тобой! Мне быть твоей женой! Разве каждая минута моей будущей жизни не была бы полна безутешной тоски и презрения к самой себе? Нет, я предпочитаю худшее! Право, я говорю это не с целью оскорбить тебя. Всякий другой, будь это прекраснейший из знатных юношей, показался бы мне одинаково ненавистен. Разве же я продажный товар? Или Никодим дал мне свободу для того, чтобы я воспользовалась моим пра-

вом? Лошади и собаки, копыта и картины, кольца и ожерелья могут переходить из рук в руки, не теряя своей ценности, но женское сердце?.. Паллас, признайся: ты чувствуешь сам, как несказанно низка была моя уступчивость тебе!

— Да, если бы это зависело от твоей воли. Но ты повинешься необходимости...

— Я не повинуюсь ей. Говорю тебе коротко и ясно: лучше убить меня, чем заставлять слушать дальше твои предложения. Отвези меня в Рим! Не святотатствуй перед господином, могущим вознаградить тебя или уничтожить!

— Это твое последнее слово?

— Последнее.

— Хорошо же, твоя судьба решена. Через несколько часов ты будешь в открытом море, и Сардиния на веки погребет тебя

— Бедный, смертный человек! — вскричала Актэ, величаво выпрямляясь. — Можешь ли ты предсказать, что случится завтра? Можешь ли предвидеть, сколько ты проживешь, или когда Агриппина вместе с тобой низвергнется в пучину? Не хвались победой, не узнав всей силы твоего противника! Клавдий Нерон обещет всю землю и найдет меня, ибо теперь я позволю найти себя! Но тогда горе тебе и всем, соединившимся для моего несчастья!

— Ты говоришь так уверенно, — заметил Паллас.

— Да, и я мужественно принимаю эту кару на свою грешную голову, ибо я знаю, что согрешила. Наказание всемогущего Бога очистит меня! Его же, возлюбленного, я увижу снова! Безошибочное предчувствие говорит мне, что мои уста еще прикоснутся нежно к его челу, когда бедной Октавии давно уже не будет, также как Агриппины и тебя, ее презренного орудия!

— Молчи, или я прикажу связать тебя! — вскричал Паллас, задрожав всем телом. — Я — твой тюремщик, а если понадобится, то и палач. Поэтому не раздражай того, кто может уничтожить тебя. Впрочем, ты знаешь, что и у Палласа непреодолимая воля. Ты будешь моей, раньше чем ступишь на берег Сардинии... хотя бы это стоило мне жизни!

Актэ сложила руки и губы ее прошептали молитву.

Паллас же подошел к двери и, приказав людям собираться, снова обратился к Актэ.

— При первом же твоём крике, — сказал он, — тебя пронзит этот кинжал!

И он поднес оружие к ее лицу.
Пять минут спустя отряд скакал дальше.

ГЛАВА IV

Паллас снова взял на лошадь трепетавшую Актэ. Мозг его пылал от противоречивых стремлений. Им поочередно овладевала то безумная жажда мщения, то нежное милосердие назарян, платящее добром за зло.

— Не бойся ничего! — прошептал он ей под влиянием мимолетного раскаяния. — Мои угрозы были безумны. Прислонись к моей руке, ты не так утомишься. Попробуй заснуть, если возможно. У моего коня очень спокойный шаг. Утешься, Актэ! Будущность ведь в руках богов, и кто знает, может быть, все устроится хорошо.

И Актэ, побежденная усталостью, последовала его совету, как послушное дитя. Доверчиво прислонилась она к плечу врага, в глубине сердца чувствуя, что ее не коснется ничто дурное, пока она останется верна Нерону.

Перед самым Антиумом отряд свернул налево, чтобы избежать приморского города с его рано просыпающимися жителями.

Уже начинало светать. Показалось море и на нем стройный корабль, стоявший на якоре в стороне, за несколько тысяч локтей от берега. Паллас с невыразимой скорбью посмотрел на прекрасное лицо спящей девушки.

Воздух становился все свежее; сняв с плеч свой плащ, Паллас закутал им свою пленницу, и две крупные слезы скатились из-под его ресниц на руку Актэ, которая слабо вздрогнула.

С гневом, как будто стыдясь своей слабости, Паллас провел ладонью по глазам. Но в душе его все жарче и сильнее разгоралось всепобеждающее великодушие. Он чувствовал, что существует самоотверженность, умеющая побеждать заветнейшие желания и жертвовать всем ради достижения одной цели: счастья любимого существа.

Он уже почти было решил было вернуться обратно, вопреки Агриппине, отвезти похищенную в Рим и броситься к ногам императора. Помилует ли его Нерон или пронзит его мечом, все равно: Актэ будет счастлива.

Но тут же, словно тигровыми когтями сжала ему горло ужасная картина опьяняющего счастья, которым они снова будут наслаждаться в благоухающей, заросшей цветами и зеленью вилле.

Он дал шпоры коню и поскакал, далеко опередив своих спутников, точно боясь возврата столь мучительно подавленного искушения. Актэ в объятиях торжествующего императора! Лучше вечный упрек в ее гибели! Пусть она умрет жалкой смертью, в томительной муке: поцелуй цезаря никогда больше не будут гореть на ее дивных устах, если Паллас не лишится рассудка!

Всадники ехали уже по широкой прибрежной дороге, ведущей из Антиума в Астуру и Клостру, когда Актэ проснулась и со страхом оглянулась кругом.

Значит, ночное нападение было не сон, а ужасная действительность, и она в руках жестокого, неумолимого Палласа, увозящего ее от единственного сокровища ее сердца!

Восток светлел все больше и больше. Прохладный ветер дул с Тирренского моря на зеленеющий берег. Сочные луга, поросшие медвежьими лапками, поля высокой пшеницы, кое-где уже начинавшей желтеть, сверкали утренней росой. Из разбросанных тут и там хижин и домов вился голубоватый дымок, поднимавшийся с очагов, на которых варилась полбенная похлебка, с незапамятных времен употреблявшаяся римлянами на утренний завтрак.

Вот и ужасный корабль, залитый розовым рассветом! Двойной ряд длинных весел неподвижно опускался в синюю воду. Высокая мачта, реи с зарифленными парусами, скрещенные снасти, все это издали производило живое, художественное, сильное впечатление, но все-таки Актэ задрожала всем телом.

Позади качавшихся прибрежных камышей она увидела и лодку, в которой ее перевезут на корабль... Милосердный Иисус, неужели же нет спасения от этого несчастья?

Паллас хорошо заметил потрясающее впечатление, произведенное на Актэ видом открытого моря и корабля, и воспользовался ее волнением для последней попытки.

— Подумай еще раз! — сказал он. — Этот корабль может одинаково отвезти тебя или в рабство, или на свободу... Я позабуду все, все. Пусть обрушится на меня гнев бессмертных богов, если я хоть одним словом напомню тебе прошлое! Я буду любить и беречь

гобя, как мое драгоценнейшее, святое сокровище. Рана, теперь гложущая твое сердце, постепенно заживет. Ты будешь счастлива и в конце концов поблагодаришь меня за мою неотступность. Слышишь? Отчего ты не отвечаешь? Вот мы приехали...

Он соскочил и помог девушке сойти.

Один из всадников присоединился к ним, остальные уехали обратно со всеми конями, предварительно поспешив стащить в лодку различную поклажу, принесенную ими на седлах.

Загорелый, мускулистый матрос в фригийском колпаке взмахнул веслами...

Лодка быстро понеслась, прыгая по белогривым волнам, прямо к кораблю. Вдалеке лежал Антиум, залитый красными лучами восходящего солнца. На юго-западе, почти на одном расстоянии с Антиумом, виднелся городок Астра. Из обеих гаваней в море уже выходили рыбацьи лодки, казавшиеся белыми или ярко-желтыми точками на подернутой мерцающей рябью, темно-синей поверхности...

Паллас сел возле безмолвной Актэ.

Корабль становился все ближе. Уже можно было ясно различать расписанную пурпуровой краской орлиную голову на киле, название корабля «Цигнус» и фигуры гребцов, сидевших рядами на двойных скамьях и с любопытством смотревшим сквозь круглые люки.

Каждая из этих фигур казалась палачом для втайне трепетавшей Актэ, и она все с большим ужасом вглядывалась в роковое судно.

— Что же? — прошептал Паллас, под складками своего плаща касаясь ее левой руки.

Она быстро отодвинулась, не отвечая.

— Актэ, — спустя несколько минут, заговорил он по-гречески, — говори со мной на языке твоей покойной матери, если ты стесняешься моих солдат и гребцов. Дело становится серьезно, Актэ, очень серьезно. Через пять минут мы будем на корабле и, клянусь могилой моего отца, что, раз я отдам приказание главному кормчему, уже будет поздно!

Она по-прежнему молчала, но вдруг, ясно и твердо изглянув на него, произнесла на мягком ионийском наречии:

— Отодвинься от меня!

— Зачем?

— Чтобы я могла ответить тебе окончательно. Твоя близость смущает меня.

— Как ты желаешь.

— Так,— тихо продолжала она,— если бы я хотела, мне было бы легко доказать тебе, как мне отвратительно твое ненавистное предложение. Прежде чем ты успел бы помешать мне, я скользнула бы за борт в морскую пучину, и таким образом освободилась бы от ваших замыслов и коварства, от твоей ненависти и мнимой любви...

Паллас хотел вскочить, но она удержала его движением руки.

— Я могла бы это сделать, но не хочу. Сиди спокойно! Моя вера в волю всемогущего Бога запрещает мне это. А еще более удерживает меня сладкая, неотразимая надежда! Да, я еще увижу его, прекрасного, единственного, которого я люблю сильнее, нежели все на небе и на земле! Я увижу его, я уверена в том, мне это говорит тайный голос, не способный обмануть. Клянусь кровью Спасителя, пролитой ради искупления наших грехов, я увижу его! Увози же меня! Исполни, как покорный раб, нечестивые приказания твоей повелительницы. Мне не нужно никаких сокровищ мира, купленных ценой измены и позорного бесчестья, не говоря уже о жалкой свободе с тобой!

— Развратница! — проскрежетал взбешенный Паллас.

— Молчи и не поноси меня, или я расскажу на корабле, как ты, добровольный раб Агриппины, хотел изменить твоей госпоже ради благосклонности этой «развратницы».

— Посмей только! Я сумел бы наказать тебя за ложь, как ты того стоишь, я убил бы в тебе надежду, которой ты сейчас хвалилась, я ослепил бы тебя. Видишь, вот этим кинжалом я выколол бы тебе глаза, эти проклятые, голубые, лучезарные звезды, вовлекшие цезаря в погибель.

— Ты этого не сделаешь,— смело сказала она.— То, что принадлежит цезарю, раб его обязан беречь, а не уничтожать.

— Нет, я этого не сделаю, потому что не хочу. Ты слишком ничтожна для моего гнева. Ты будешь жить и видеть, чтобы глубже чувствовать свое несчастье. Пусть тебя пожирает безутешное страдание, пусть ты будешь корчиться, как раздавленная змея, стонать и отчаиваться — и во всем этом ты будешь виной сама, и твое ребяческое безумие, подстрекнувшее тебя мечтать о скипетре римской империи!

Она сострадательно пожала плечами.

Скоро Паллас и его пленница уже стояли на палубе корабля. Матросы распускали паруса, и треск снастей напоминал карканье зловещих ворон.

Солдат Палласа оставался в лодке.

Паллас, придав своему лицу ужасное выражение, отвел главного кормчего в сторону, в то время как двое из матросов схватили девушку за руки.

— Я привез осужденную, — прошептал Паллас и тихо прочитал пергамент с подписью и печатью императрицы-матери.

Он так странно подчеркивал некоторые места послания, что кормчий со страхом искоса взглядывал на него. Окончив чтение, Паллас вручил ему пергамент с советом хорошенько спрятать его и буквально следовать его содержанию.

— Агриппина умеет награждать по-царски и наказывать безжалостно, — прибавил Паллас. — Доставь куда следует эту куколку и не забудь надеть на нее цепи, когда ее поведут в дом управляющего. Она быстра, как каппадокийский жеребец и способна на всякую выходку. Во время плавания держите ее в грюме и охраняйте как государственное сокровище!

— Хорошо, господин! Все будет исполнено в точности.

— Тем лучше для тебя. Вот пока кошелек с золотом на твои личные расходы. Как только мы получим уведомление от управляющего рудниками о ее благополучном прибытии, тебе отсчитают втрое больше этого в Савоне, куда вы потом поплывете, и столько же для раздачи твоим людям. Но вы должны быть немые, как могила, или вы погибнете все до последнего человека!

— Не беспокойся, господин!

— Прощай! Да пошлет вам Афродита счастливое плаванье!

При этих словах, слева над килем с пронзительным криком промчалась чайка.

— Да не будет это предзнаменованием! — произнес кормчий, согласно римскому предрассудку.

— Да не будет предзнаменованием! — повторил Паллас, сходя в лодку.

Пристав с своим спутником к берегу, он отправился прямо в Антиум. После короткой ходьбы, никем не узнанные путники вошли в жилище одного из фаворитов Агриппины, где они подкрепили свои истощенные ночными похождениями силы обильным завтраком и продолжительным, спокойным сном.

ГЛАВА V

Четверть часа после похищения Актэ, Фаон с несколькими факелоносцами поспешил в Палатинум, куда он имел свободный доступ во всякий час дня и ночи.

Часовые у входа с удивлением спросили, что нужно в такое необычное время доверенному императора.

— Я сам скажу это повелителю, — отвечал Фаон. — Пусть его разбудят, и без промедления проведут меня в спальню!

Торопливость и смятение Фаона были красноречивее его слов.

Один из преторианцев провел его в покои цезаря и передал бдевшим здесь рабам желание Фаона.

— Ступай и разбуди его сам! — отвечал главный раб.

Между тем Клавдий Нерон, обуреваемый тяжкими сновидениями, проснулся сам. Услышав сдержанные, взволнованные голоса, он провел рукой по глазам, точно сомневаясь, не во сне ли это, и со вздохом позвал раба.

— Кассий, что случилось?

— Господин, — отвечал вместо него Фаон, — я принес тебе роковую весть. Могу я войти?

— Фаон, ты? Я предчувствую нечто ужасное. Скорее, говори!

Нерон приподнялся на своем ложе.

— Насилие, поступок не имеющий себе равного! — сказал Фаон, входя в спальню. — Актэ, твоя избранная супруга, только что похищена!

И в коротких словах он рассказал о происшедшем.

Мгновенно вскочивший на роскошную львиную шкуру, что покрывала мозаичный пол перед бронзовой кроватью, при мерцанье светло-голубой висячей лампы, Нерон казался освещенной луной восковой статуей.

— Кассий, одень меня! — металлическим голосом приказал он. — Ты, Эльпинор, прикажи седлать лошадей, десять, двадцать, тридцать! Отборные люди из когорты пусть соберутся на Via Sacra! Фаон, пожалуйста, дай глоток воды!

Напившись и продолжая одеваться, император заговорил по-гречески.

— Так вы защищались, Фаон? Мужественно защищались?

— Да, господин! Между нами нет презренных, жалеющих что-нибудь для своего императора. Я поклялся головой моей матери скорее умереть, чем допустить низких разбойников до спальни Актэ... Быть может, мы и одержали бы верх, несмотря на многочисленность врагов...

— Друг мой,— сказал тронутый Нерон,— с этой минуты ты свободен. И чтобы ты мог вполне наслаждаться твоей свободой, я дарю тебе двойное состояние садника и мою виллу Кирене. Ты безупречно честен и справедлив. Кассий,— продолжал он,— непременно позаботься, чтобы сегодня же секретарь приготовил все нужные документы.

Фаон склонился перед императором и поцеловал его руку.

— Я защищал твое дорогое сокровище не ради вознаграждения, а из любви к тебе. К несчастью, мое усердие было напрасно.

— Напавшие на вас были преторианцы?

— Я так думаю, господин, несмотря на их необычайные плащи и капюшоны. Привратник узнал их предводителя: то есть, он не знает его имени, но голос показался ему знаком: это тот же человек, что доставил сюда восковую дощечку императрицы-матери...

— Меня удивляет, что никто из соседей не поспешил вам на помощь. Ведь все знают, что на этой вилле жила возлюбленная императора.

— Доблестный цезарь, ты знаешь осторожность римлян. Ночной шум загоняет их в жилища... А ведь подобные схватки не редкость.

— Ты не знаешь, куда умчались похитители? — спросил император.

— Они поскакали вниз по Аппианской дороге...

— Так еще есть надежда. Агриппина не дерзнет коснуться волоска моей Актэ. Она отлично знает, что погубив девушку, она погубит меня. Кассий, подай меч! Ты будешь сопровождать меня, Фаон!

Он стоял, опоясанный мечом, подобный молодому богу войны.

— Клянусь Геркулесом! Кто позволил тебе входить сюда без доклада? — внезапно нахмурившись, воскликнул он, увидев входившего государственного советника, который помещался недалеко от комнаты цезаря. Ошеломленный столь резким приемом, Сенека спокойно отвечал:

— Долг, повелитель!

— Каким образом?

— Услышав во дворце шум в необычайный час, я вывел логическое заключение, что произошло нечто необычайное.

Выхватив меч, Нерон, как бешеный, схватил советника за тунику.

— Да, хорошо, что ты пришел,— свирепо вращая глазами, проскрежетал он,— я вижу, ты все знаешь. Сию секунду ты признаешься, куда вы девали ее, или, клянусь моим цезарским саном, я проткну тебя, как повар протыкает вертелом дрозда!

— Нерон,— возразил Сенека,— ты обезумел! Не поднимай руку на человека, доселе бывшего твоим вернейшим другом! Или нет: лучше убей меня, чем так непростительно меня поносить.

Несколько пристыженный Нерон отступил, но не выпуская обнаженного меча.

— Прости меня,— сказал он, с трудом овладев собой,— но обстоятельства свидетельствуют против тебя.

— Почему?

— Последние недели ты один с Агриппиной занимался всеми государственными делами, и то, что со мной сыграла моя нежная мать, настолько согласуется с ее прежними планами и понятиями о праве и законе, что я могу подозревать твое содействие...

— Содействие? О чем говоришь ты?

— Счастье мое разбито. Актэ во власти Агриппины. Понимаешь теперь? И нисколько не изумлен? Клянусь Зевсом, ты сам сначала порицал мою любовь! Значит, все-таки ты сообщник императрицы.

И он снова занес меч. Сенека хладнокровно утверждал, что он невинен.

— Молчи! — крикнул Нерон.— Я верю тебе. Я был бы негодяй, если бы не поверил. Не может же человек быть до того низок, чтобы на словах желать мне добра, а в сердце измышлять средства для моего несчастья. Но теперь вперед! Агриппина должна отдать ее, должна, или земля разверзнется между ней и ее отчаявшимся сыном. Чего ты хочешь еще?

— Сопровождать тебя,— сказал министр.

— Зачем?

— Мое место возле императора, теперь как и всегда, даже в борьбе с властолюбивой Агриппиной. Мы исправим случившееся во что бы то ни стало.

— Ты говоришь серьезно? Ты, утрюмый старик, тысячи раз повторявший мне, что цезарь должен иметь только одну возлюбленную — империю?

— Я говорю серьезно, убедившись, что Нерон, обладающий этой девушкой, будет лучшим правителем, чем лишенной ее немилосердной судьбой.

На плитах Via Sacra уже слышался стук копыт.

Сенека накинул плащ.

Скоро император и его свита уже сидели в сверкавших золотом седлах.

Десять огромных факелов разливали на молчаливый форум колеблющийся свет, вспыхивавший даже на зубцах Капитолия. Колонны храма Сатурна и мрачные стены Мамертинской тюрьмы поднимались к облачному небу, озаренные багровым отблеском.

Нерон, в сверкающем панцире, с наброшенным на плечи длинным плащом, казался при этом освещении демоном. В нем нельзя было узнать кроткого, приветливого юношу, императора с милостивым взглядом, всегда так благоговейно поднимавшегося по лестнице на заседание сената, или благодарившего народ за восторженные клики «Ave Caesar!»

Впереди отряда поскакали двенадцать преторианцев.

Между целийским и палатинским холмами всадники свернули вправо и, промчавшись под мрачным сводом Друзовой Арки, выехали на бесконечную аппианскую дорогу.

Здесь, к востоку, позади роскошных зданий находилась вилла, где был счастлив Нерон, где в объятиях Актэ он забывал свет с его блеском и страданиями, где из чудных голубых глаз ему сияла разгадка жизни, перед которой он до тех пор тайно трепетал.

Он дико заскрежетал зубами.

Что, если он опоздал? Если Агриппина, в своей страстной ненависти, все-таки переступила границу возможного? Еще вчера он нашел среди рукописных свитков и письменных принадлежностей своего рабочего стола записку, на которую он, однако, не обратил внимания, весь поглощенный лучезарным образом своей возлюбленной. Теперь, при воспоминании об этой записке, у него точно пелена упала с глаз.

«Та, которая некогда оберегала тебя,— было начертано на зеленовато-серой полоске папируса,— теперь задумала твою гибель! Разве тебе неизвестна старинная сказка о львице? Молодой лев, вскормленный ею, наконец, перерос ее, и она задушила его, пока он спал. Берегись, лев! Так говорят тебе твои покровители, духи императора Клавдия и несчастного Британника».

Сенека, еще сильный и бодрый, несмотря на свой возраст, в молчаливом раздумье скакал возле цезаря. Только накануне был он у Флавия Сцевина. Заговор, по-видимому, разрастался, однако, представились большие затруднения, нежели предполагали сначала. Происшествие с Актэ случилось совершенно неожиданно, и придавало заговору необычайно удачный оборот. Даже в случае наружного примирения между Нероном и Агриппиной все-таки раскрылась теперь непроходимая бездна. Сенека был убежден, что Нерон никогда не позабудет всей муки этой страшной ночи. До сих пор советник делал все, чтобы скрыть от сына преступления императрицы-матери. Теперь же, при столь значительной перемене в положении вещей, можно было сделать хоть какие-нибудь намеки ..

Так сошлись мысли императора и Сенеки почти в одно мгновение и на одной и той же точке.

Нерон сообщил советнику содержание оригинальной записки.

— Ты попадешь на пытку с моими рабами,— с негодованием воскликнул он,— если не дознаешься, кто дерзнул на такую выходку с императором!

— Повелитель,— с тихим довольством отвечал Сенека,— как тебе известно, египтянин Кир щедр на подобные — прощенные и непрощенные — предсказания.

— Кир, фокусник с Марсова поля?

— Он самый.

— Но как мог он попасть в Палатинум? Его все знают. Часовые задержали бы его.

— Вспомни о его непостижимом искусстве! Разве ты сам... не видел, как он вызывает жизнь из смерти? Человек, ежедневно проделывающий чудо «эвридики», до сих пор никем еще не разгаданное, легко сумеет проникнуть в Палатинум. Во всяком случае, предостережение это кажется мне присланным откуда-нибудь со стороны.

— Львица... молодой лев! — прошептал Нерон.— О, понимаю! Несчастье — превосходный учитель!

Он помолчал.

— Сенека! — вдруг позвал он.

— Повелитель?

— Молодой лев будет защищаться!

— В добрый час!

— В самом деле? Он не совершит преступления, восстав против матери?

— Нет, если она сама нападает на него. Но поверь, все обойдется лучше, чем ты думаешь. Как только львица увидит, что ее могучий сын потрясает гривой, она уступит.

— Еще вопрос! — после короткой паузы продолжал Нерон. — Что значит: покровители — духи императора Клавдия и несчастного Британника? Почему Клавдий и Британник мои покровители?

Сенека пожал плечами.

— С твоего позволения, повелитель, я отложу объяснение на несколько дней.

— Почему?

— Я могу заблуждаться...

— Заблуждаться? Как ты смотришь на меня, Сенека? Так робко, загадочно и вместе вызывающе! Говори! Клянусь Геркулесом, мне надоело вечно бродить во тьме! Знай я больше, я сумел бы воспользоваться временем, чтобы основательнее обсудить положение. Так что же насчет духов Клавдия и Британника?

— Повелитель, ты можешь приказать твоим солдатам заколоть меня, ты властен в этом, но никогда ты не заставишь меня говорить, когда благоразумие предписывает мне молчание. Я должен молчать, цезарь... ради тебя самого. Сначала посмотри, чего ты добьешься от Агриппины. От этого будет зависеть, могу я отвечать тебе или нет. Я считаю себя другом и советником Нерона, но не рабом его произвола.

Император нахмурился. С уст его готово было сорваться жесткое слово, но он овладел собой и сказал спокойно:

— Хорошо, я доверяю тебе. Даже больше: прошу простить меня. В припадке отчаяния я грубо обошелся с тобой. Я стыжусь этого. Мне известно, дорогой Сенека, сколь многим я тебе обязан. Я знаю, что ты значишь для римской империи и для человечества. Отныне тебе вручена будет еще более неограниченная власть, чем та, которой ты пользовался доселе; ты будешь создавать и делать все, что ты захочешь, пусть ты даже воздвигнешь храмы учению Никодима, и откроешь его последователям доступ ко всем должностям: только бы мне возвратили Актэ, мою божественную Актэ! Я не жажду ни славы, ни могущества: оставьте мне мое счастье и тихое созерцание! Видишь ли, когда вы отнимаете у меня одну ее, все остальное для меня ничто. Всего мира не достаточно для восполнения этой ужасающей пустоты.

Сенека кивнул, как бы начиная постигать весь первобытный жар этой страсти.

— Не истолкуй ложно мои слова,— продолжал Нерон,— я и не думаю изменить моим обязанностям правителя. Я исполню свой долг, но свободный от честолюбия и властолюбия. Я буду знатнейшим и усерднейшим слугой империи... Только отдайте мне Актэ! Иначе, я разрушу все! Скажи это моей матери! Твоему красноречию лучше, чем мне удастся раскрыть глаза ослепленной женщине.

— Я сделаю все, что могу,— решительно сказал министр.— Ты знаешь, и сейчас только что упрекнул меня за это, что я с самого начала не одобрял твоей связи с Актэ. Первая обязанность властителя — это уважение к закону. Но теперь мне ясно, что все мы впали в ошибку, соединив с тобой несчастную Октавию. Эрос упрям, он не уступает рассудку. Поэтому я буду изыскивать средства расторгнуть твой союз с Октавией...

— Расторгнуть? — в восхищении вскричал Нерон.— Какое счастье... и для нее также! Свобода! А Актэ? Будет ли тогда возможно?

— Мой юный друг,— сказал взволнованный советник,— необыкновенные люди требуют необыкновенных мероприятий. Благоденствие государства стоит на первом месте, а несчастный властелин — плохой правитель.

— Дорогой, мудрейший, благодарю тебя... Да, государство будет благоденствовать, и мир процветать, как один роскошный сад, если ты достигнешь того, к чему я так страстно стремлюсь.

Наступило долгое молчание. Все выше и выше громоздились перед всадниками Албанские горы, подобно призрачной, изрытой дикими ущельями стене. Казалось, дороге не будет конца.

— Еще полчаса,— сказал верный Фаон, в ответ на громко выраженное Нероном нетерпение.

Дальше, дальше!

Наконец, взмыленные кони остановились перед подъездом виллы. Фаон постучал. Привратник вопрошительно взглянул из-за решетки.

— Император! — повелительно вскричал Нерон.

Дверь повернулась на петлях. Старый остиарий почтительно преклонил колени.

— Моя мать...— с возрастающим волнением продолжал Нерон.— Доложить обо мне императрице-матери! Сию же минуту!

Помощник привратника позволил себе робкое возражение.

— На виселицу негодяя! — воскликнул возмущенный Нерон. — Ты доложишь или умрешь!

Теперь приблизилось несколько гвардейцев, которые, узнав императора, почтительно приветствовали его. Нерон повторил им свое желание немедленно переговорить с Агриппиной, назвал их своими верными и бросил им золота.

— Повелитель, — отвечал начальник, — если ты поклянешься нам богами, что не имеешь враждебного умысла против императрицы... С тобой большая свита, быть может, даже вся когорта Бурра.

Нерон побледнел.

— Враждебное? Я — сын, замышляю против матери? В своем ли ты уме?

Преторианец пожал плечами.

— Прости, повелитель... но так говорили...

— Кто?

— Не могу сказать, даже если бы ты приказал пытать меня. Быть может, какой-нибудь солдат или раб... Я слышал только мельком, мимоходом...

Император тяжело перевел дух.

Вот до чего уже дошло! Агриппина опасалась родного сына! Какое ужасающее извращение всех естественных чувств! Право, можно было бы сказать: боящаяся зла, сама способна на зло; говорящая о враждебности, сама носит в сердце враждебные намерения! И разве Нерон не имел яснейших доказательств этого? Даже теперь, в злочючении с Актэ?

— Я позабочусь, чтобы ты был наказан за твои бесстыдные слова, — сказал он солдату и обратился к остальным:

— Я один, в сопровождении только государственного советника, буду ожидать здесь императрицу. А вы, — приказал он своей свите, — ждите моего возвращения у ворот!

— Что за шум! — раздался спокойный голос императрицы-матери, вместе с Ацерронией вошедшей в атриум прежде, чем Нерон успел перешагнуть за порог.

— Это ты, мой милый сын? Дай обнять тебя! Что привело тебя сюда в столь ранний час? Не случилось ли какого несчастья? Заклинаю тебя, говори!

— Не в присутствии твоих телохранителей, — возразил Нерон.

— Так следуй за мной. Ацеррония ведь может остаться?

Нерон сделал движение, не слишком-то лестное для рыжей пантеры.

— Пожалуй,— небрежно отвечал он.

Он подозревал ее в том, что она раздувала гнев Агриппины на Актэ.

При других условиях красивая кошачья рожица с веснушками и зелено-синими глазами, демонически сверкавшими при свете факелов, ответила бы гримасой даже самому цезарю на его жест. На этот раз, однако, краснокудрая гарпия осталась замечательно равнодушна. На ее цветущих губах играла странная усмешка; казалось, она более расположена целоваться, чем кусаться.

Дело в том, что Агриппина, которой уже окончательно наскучил красивый военный трибун Фаракс, вчера впервые намекнула рыжей кордубанке, что она может питать надежды относительно этого привлекательного человека. Фаракс, один из более утонченных и представительных офицеров, свободный по рождению и даже, как «достоверно» открылось недавно, сын всадника, всепочтительнейше изложил императрице свои заветные желания относительно Ацерронии и горячо просил высокую повелительницу поддержать его искательство, что она ему, конечно, обещала, зная о тайной склонности к нему своей фрейлины. В действительности же, императрица посулила своему бывшему фавориту солидное состояние, если он согласится на брак с Ацерронией, после чего, буде он пожелает, ему дана будет отставка, чтобы на свободе проводить приятную жизнь с очаровательной подругой. Пантера, обыкновенно столь сметливая, решительно не подозревала всей этой комбинации; она твердо верила в бескорыстную любовь военного трибуна и была счастлива, как ребенок, получивший желанную игрушку...

Агриппина вошла в маленький покой, убранный с восточной роскошью, где, по ее знаку, один из преторианцев зажег лампу. Нерон следовал за ней под руку с советником. Позади всех шла улыбавшаяся Ацеррония.

— Где Актэ? — спросил император, подступая к Агриппине.

— Что мне за дело до Актэ? — с полным хладнокровием возразила она.

— Ты велела ее похитить. Твои бандиты ночью украли ее.

— Сын мой, я не понимаю тебя.

Кровь бурной волной залила лицо молодого цезаря. Жилы на лбу его надулись, как предвещающие беду змеи.

— Тебе придется научиться понимать меня! — хрипло воскликнул он. — Но я сдержу себя, иначе может произойти несчастье. Сенека, говори вместо меня!

Советник в коротких словах объяснил то, что уже было известно Агриппине и прибавил, что неразумно натягивать лук слишком туго. Он прибег ко всей своей философии и красноречию, чтобы тронуть Агриппину. Тщетно.

— Мать! — воскликнул Нерон, судорожно сжимая кулаки. — Не лги! Я буду презирать тебя, как последнюю девку, если ты трусишь открыть нам правду.

— Хорошо! — отвечала она, бледная как мраморная статуя. — Хорошо же! Ты угадал: Актэ увезена по моему повелению и для блага государства. Я осудила ее на изгнание и ты никогда не узнаешь, где она...
Никогда!

— Ты умертвила ее! — простонал император, пошатнувшись.

— Нет, — твердо возразила Агриппина. — Клянусь моими священнейшими чувствами, моей любовью к тебе, которого я некогда убаюкивала на коленях, я позаботилась о том, чтобы она была ограждена от каких бы то ни было страданий и горя! Верить ты мне?

— Да. Но все равно: к чему мне это жалкое уверение? Мы разлучены, и в этом уже довольно страдания и горя. Я хочу вернуть ее во что бы то ни стало! Где она? Ты должна и будешь мне отвечать.

— Никогда!

— Никогда? Даже если я от этого умру?

— По крайней мере, Нерон умрет незапятнанным, на высоте своего несравненного величия, а не оскверненный вечной любовью к ничтожной, презренной рабыне.

— Мать!

Он занес руку. Дрожь пробежала по его лихорадочно пылавшему телу.

— Знай, что никто, кроме меня, не сумел бы пережить этого мгновения, — сказал он, опуская руку. — Прощай! Я буду искать ее. Клянусь Юпитером, теперь я узнаю львицу, удушающую спящего сына! Берегись, мать, и обдумай все! Не приноси меня в жертву твоему высокомерию, твоей безумной гордости! Иначе...

— Ну? Что же? Иначе?..

— Прощай!

Нерон, вне себя, выбежал из дворца.

ГЛАВА VI

Стремительно помчались кони по долине. Скоро пришлось остановиться и дать отдохнуть выбившимся из сил животным. Им дали воды и хлеба и вытерли их вязовыми листьями. Через полчаса двинулись дальше, но уже с умеренной скоростью. Перед императором, подобно пробуждающемуся великану, расстилался озаренный рассветом громадный город. Желтоватый туман, еще окутывавший высокие храмы, театры, дворцы и термы, клубился и волновался словно занавеси...

Наконец появилась Друзова арка. Неподвижно глядя в пространство, бледный император промчался по многотолпному форуму, не обращая внимания на приветствия, громче обыкновенного раздававшиеся вокруг него.

Повсюду стояли возбужденные группы, с лихорадочным оживлением толковавшие о необычайном происшествии — ночной поездке цезаря — причина которой уже сделалась известна, благодаря рабыням Актэ, а в особенности Кротионе: едва оправившись от испуга, они поспешно бросились в Субуру для того, чтобы с плачем и сетованиями рассказать торговцам горохом и пекарям о приключениях этой ужасной ночи.

Ничего дурного нельзя было сказать о молодой Октавии, но все-таки общественное мнение склонялось в пользу императора, ибо Октавия, в ее величавом спокойствии казалась равнодушной к своему супругу, между тем как имя Актэ было окружено каким-то чудесным ореолом женственной нежности и любви.

— Я сам видел ее, прекрасную отпущенницу Никодима, — сказал один тощий клиент, только что вышедший из дома своего патрона. — Она обворожительное создание и я могу представить себе, как цезарь сердится и негодует за свою потерю.

— Это верно, Люций, — отвечал его спутник. — Благосклонность Октавии рядом с пламенной страстью этой Актэ, по-моему, все равно, что душистое массивское вино в сравнении с самым сладким кипрским. Ему ведь навязали супругу...

— Все шло бы еще сносно, — продолжал клиент, — если бы императрице-матери не удалось наконец получить согласие Октавии на похищение... Как она подстрекала Октавию! Теперь-то будет скандал! Сказать по секрету: Агриппина оказалась более ревнивой и негодующей, чем сама Октавия!

— Да, да! Она боялась, что Актэ со временем приобретет влияние на управление государством.

— Наверное. И она поступила, как крестьянский мальчик, разоряющий гнездо. Но я опасаясь, что ее безумный поступок дурно отзовется на всех нас.

— Каким образом?

— Разве ты его не видал сейчас? Я говорю про цезаря. Он был подобен распаленному гневом Ахиллессу, явившемуся для отмщения за Патрокла. Никогда еще взор его не горел таким страшным огнем. Я задрожал при взгляде на него.

Так шли они по улицам, мимо людей, боязливо-притихшими голосами обсуждавших тот же самый предмет.

А тот, о котором в это раннее утро говорил весь Рим, в смертельном утомлении бросился на ложе и мгновенно заснул. Никакое сновидение не тревожило его освежающий сон. Казалось, благодетельный рок предоставлял ему запастись всеми силами, которые должны были понадобиться ему в предстоявшей борьбе.

Он проснулся только около полудня и потребовал прохладительное питье, коротко и раздражительно отказавшись от всякой пищи.

Целые часы провел он в своем рабочем кабинете в глубоких размышлениях. Рабы и отпущенники, как тени, скользили мимо запертой двери: никто не осмеливался нарушить уединение Нерона. Даже сам Сенека, осторожно постучавшийся в час ужина, получил в ответ полуповелительное, полуотчаянное приказание:

— Оставь меня!

Давно уже стемнело, когда Нерон наконец отворил дверь и велел рабу Кассию принести огня, хлеба и вина. Придворные и гости могут садиться за стол, когда и как заблагорассудится главному распорядителю. Государственный советник заменит особу императора.

Потом он послал за отпущенником Фаоном.

Когда поверенный вошел, император подал ему расписку в казначейство.

— Трать, расточай! — прошептал он, хватая его за руку. — Разошли повсюду десять тысяч гонцов и сы-

щиков, двадцать тысяч, сколько хочешь, и каждого на жалованье военного трибуна! Пусть они ищут так, как если бы от этого зависела их жизнь. Кто найдет ее, пусть требует какую хочет награду — хоть самый престол! Только найдите ее!.. Ступай! Я медлил уже слишком долго. Нет, нет, я ничего не хочу слышать... твоё присутствие противно мне... ведь ты носишь облик человека!

Глубоко потрясенный Фаон удалился. Нерон снова погрузился в безутешное раздумье

— Все это тщетно,— простонал он.— Однажды я уже пережил то же самое... Все розыски бесплодны... Я это чувствую... Я это знаю!

Следующий день он провел в таком же состоянии.

Встав с солнцем, украдкой, подобно беглецу, пробрался он в кабинет, где Кассий уже позаботился приготовить завтрак.

Хотя Нерон должен был чувствовать голод, он не прикоснулся к пище. В угрюмом размышлении сидел он за рабочим столом, играя тростниковым пером или переключаясь с места на место желтоватые полосы папируса, сложенные перед ним аккуратными пачками.

Иногда он вскакивал, ходил как тигр в клетке, сжимал кулаки, или ложился, крепко стиснув пальцами горло. Вдруг он испустил крик, подобный крику хищного зверя, со стоном повалился на свое ложе и закрыл лицо руками. Так лежал он с четверть часа, то неподвижно, то содрагаясь всеми членами, как в припадке падучей болезни.

Наконец он встал и, подойдя к столу, за которым так часто писал стихотворения в минувшее блаженное время, взял один из желтоватых листков и написал следующее:

«Клавдий Цезарь Нерон своей высокой матери, властительной Агриппине.

Я нахожусь между жизнью и смертью. Мать, если ты когда-нибудь любила меня, то разреши мне эту ужасную загадку! Я разослал тысячи гонцов, но предчувствую, что они вернутся, не открыв ни малейшего следа моей возлюбленной. Ты слишком могущественна и сильна. Никто не может победить в борьбе с тобой.

Мать, всю мою жизнь я буду носить тебя на руках, если только ты хоть успокоишь меня на счет ее судьбы. Я уже сомневаюсь даже, что она жива. А я любил ее безгранично, безумно!

Мать, отдай ее мне!

Заклинаю тебя прахом моего дорогого отца Домиция!

Неужели ты не в состоянии хоть немного сочувствовать мне, когда я говорю тебе, что я люблю ее?

Мать, ответ твой привезет мне мой раб Кассий. Не медли, заклинаю тебя! Вели дать ему свежего коня! Скажи мне, что я еще могу надеяться! Да сохранил тебя Юпитер!»

Завязав и запечатав послание, он несколько успокоился.

Он позвал раба, отдал ему приказания и затем отведал немного пищи, состоявшей только из молока, пшеничного хлеба и рыбного блюда. Но все казалось ему противно, и горло было сдавлено как в тисках.

Бросившись в роскошное кресло, он начал считать букеты на сирийском ковре, покрывавшем пол, потом бессмысленно уставился на художественно украшенный потолок, как бы не сознавая ни собственного существования, ни окружавшей его обстановки.

Отсутствие Кассия показалось ему вечностью.

Все время сердце его мучительно сжималось страхом за участь Актэ. Вот уже третьи сутки, как он не целовал прелестных губок, при каждом свидании говоривших ему так много милых, ласковых слов. Ее последнее божественно сладкое объятие! Если бы какой-нибудь бог шепнул ему, что случится несколько часов спустя! Быть может, это было последним объятием в этой жизни! Страшное предчувствие подсказывало ему: да, это было последним! Никогда, никогда больше он не будет так радостен, так богат и так счастлив...

Ужасно! Что для него весь обширный мир, если Актэ не наполняет его лучами своей любви? Даже самой пробуждающейся весне он радовался только из-за нее; розы благоухали так прекрасно только потому, что Актэ наслаждалась их благоуханием; багряная вечерняя заря, уносившая его в область поэтических грез, была так божественна только потому, что он мог переносить свой взор с рдеющего небосклона на глубокие лучезарные очи Актэ, в которых так чудно отражался горячий румянец заката. И когда она начала петь одну из своих нежных песен, и он вторил ей на сладкострунной кифаре, голоса их сливались в стройной гармонии, мир казался неизъяснимо прекрасен, а Палатинум с его императорским могуществом

так далеко отступал на задний план, что Нерону чудилось, что он должен умереть в этом дивном очаровании, подобно сливающейся с морем волне. Да, это была любовь, это было счастье! А теперь?!

Он встал и открыл один из ящиков черного дерева, стоявших в ряд на длинных бронзовых полках и заклопавших свитки рукописей.

Осторожно достал он изящно написанный, с блестящим красивым обрезом, список его любимого греческого поэта.

Как часто, сидя возле Актэ, он вместе с ней перелистывал бессмертную эпопею о возвращении на родину страдальца Одиссея, беззаветно увлекаясь потоком этой несравненной мелодии! Какая грустная перемена!

Печальны и пусты казались ему теперь стихи, некогда восхищавшие его душу и наполнявшие ее художественным восторгом.

А Кассий все не возвращается!

Он продолжал читать, стараясь обмануть свое нетерпение... Вдруг ему пришло в голову, что есть одно только средство для того, чтобы заглушить муку о потере Актэ: меч.

Да, если бы он мог, подобно кудрявым ахейским героям броситься на страшного врага, или разрушить Илион, тогда, быть может, он сумел бы позабыть радужный сон юности и привыкнуть к вечной ночи.

Солнце уже стояло высоко, когда Кассий вернулся из альбанской виллы.

Он привез александрийский, втрое перевязанный пергамент.

Император дрожащими пальцами развязал затканный серебром шнурок.

Послание гласило следующее:

«Агриппина желает своему возлюбленному сыну Клавдию Нерону счастья и благоденствия.

Охотно отвечаю правду на твои строки.

Твое недавнее обращение со мной было слишком резко для того, чтобы его могла перенести мать императора, уважающая высокое достоинство цезаря, и поэтому я отнеслась к тебе суровее, нежели сделала бы это при других условиях.

Узнай же ныне, что бессмертные боги сами навеки разлучили с тобой несчастную девушку.

По моему приказанию Актэ была привезена в Антиум и там посажена на корабль. Я не замышляла

ничего дурного; то, что я сделала, было сделано из чистой, искренней любви к тебе. Я намеревалась, без всякого вреда для нее, изгнать ее на несколько месяцев в Сардинию для того, чтобы дать Нерону возможность позабыть свою безумную забаву. Но корабль, на котором плыла Актэ, еще недалеко от берега, был разбит и потоплен большим испанским купеческим судном, направлявшимся в Остию и налетевшим на него совершенно непостижимым образом. Разбитое судно мгновенно пошло ко дну, чему способствовало также довольно сильное волнение на море; спаслось только несколько матросов, остальные, и между ними Актэ, потонули.

Покорись воле рока, сын мой. Все твои вздохи не воскресят бедную утопленницу. Я с удвоенной любовью буду беречь и лелеять тебя и содействовать тебе в выполнении истинно божественной обязанности, к которой ты призван: в управлении римским народом.

Будь здоров!»

Когда Нерон, судорожно обхватив дрожавшими пальцами ручку своего бронзового кресла, уронил письмо на колени, в комнату осторожно вошел Фаон. С полминуты он стоял у двери, из которой тихо выскользнул испуганный Кассий, подобно собаке, трепещущей от близости льва.

Наконец император вскочил.

— Она лжет,— раздирающим голосом крикнул он.— Она лжет! Актэ утонула! Жалкая сказка, это столкновение с испанским кораблем! Вот, прочти, дорогой Фаон, и подтверди, что это письмо лжет!

Тяжело дыша от глубокого волнения, Фаон быстро пробежал пергамент, и с трудом произнес:

— Повелитель, я отдал бы жизнь за то, чтобы признать ложью послание императрицы. Но я сам только что из Антиума...

— Несчастный! — прошептал Нерон.

— Великий цезарь, преклонись перед волей бессмертных богов! Агриппина говорит правду. Квириды уже знают об этом. Корабль потонул, и все, за исключением главного кормчего и двух матросов, нашли смерть в волнах.

— Но доказательства! Где доказательства? — воскликнул Нерон.— И ты обманываешь меня! Агриппина тебя подкупила! Доказательства, слышишь ты? Или голова слетит с твоих плеч!

— Клавдий Нерон безутешен, но он не сомневается в честности своего верного Фаона. Доказательства иметь не трудно. Испанское судно еще стоит в гавани; при столкновении оно получило значительные повреждения и без страшных усилий со стороны своих гребцов также пошло бы ко дну... Начальники гавани, добросовестность которых тебе известна, приняли экипаж испанца, также как двух свободнорожденных матросов с потонувшего судна...

— Вернись в Антиум! — задыхаясь, произнес цезарь. — Пусть управляющий гаванью закует в цепи испанцев! Приведи их всех сюда, до последнего человека! Я брошу их на съедение зверям, они медленно изойдут кровью в когтях голодных тигров, эти бездушные негодяи, осмелившиеся ниспровергнуть в пучину сокровище императора!

— Будь справедлив в твоем горе, — сказал Фаон. — Испанцы совершенно не виноваты. Ответственность за ужасное несчастье падает на одного лишь кормчего другого судна, который вовремя не свернул с дороги.

— Так приведи сюда кормчего! Никакая пытка, никакая мука не будут достаточно жестоки для этого презренного. Я сам его задушу, разорву, уничтожу... вот так... так...

Скрежеща зубами, он поднял руки и судорожно согнул пальцы, как бы в жажде убийства и крови, подобно гетулийскому льву. Потом он пошатнулся. Уничтоженный горем и страданием, упал он на руки верного Фаона, который бережно уложил его на подушки софы. Целительный обморок оковал больного, измученного цезаря.

Сложив руки, Фаон стоял возле него, не зная что делать и не сводя глаз с мертвенно бледного лица Нерона. Быть может, ему жаль было лишить несчастного этой минуты самозабвения; быть может также, он думал, что и цезарю и римскому народу будет лучше, если измученный страшными бурями император никогда больше не проснется к жизни.

Очнувшись, Нерон потребовал кубок самого крепкого вина, залпом выпил его и приказал Фаону выйти. С принужденным спокойствием перечитал он еще раз пергамент своей матери и погрузился в мрачную неподвижность.

— Умерла... умерла! — шептал он иногда, и снова упорно и молча глядел в пол, ничего не видя и не слыша.

Наступил вечер. Мозг Нерона все еще был окутан тяжелым покровом, скрывавшим от него всю глубину его несчастья. Вдруг покров этот разорвался.

Ужаснувшись самого себя, Клавдий Нерон вскочил с кресла и упал на колени. Со лба его катились крупные капли пота. Он заломил руки, как молящийся грешник, которому боги отказывают в милосердии.

— Все кончено! — простонал он. — Никогда, никогда больше в жизни не скажу я: Актэ, ты моя душа! Никогда, никогда! Кончено! Все разрушено! Если бы я мог еще один раз только взглянуть в ее милые, божественные глаза, окруженные теперь вечным мраком, о, я отдал бы всю мою бессмысленную, жалкую жизнь и с радостью дал бы ей истечь в потоке моей дымящейся крови! О, если бы, умирая, я мог еще раз услышать ее чудный, кроткий голос! Что это за свет, в котором возможно такое преступление против красоты и добра! Актэ, моя возлюбленная, умерла! И эти бесчувственные стены стоят сегодня, как стояли вчера, и равнодушно будут стоять еще тысячелетия! Многолюдный Рим продолжает по-прежнему радоваться своему ребяческому, жадному до наслаждений существованию! Сенаторы идут в Капитолий, точно ничто не изменилось! Весталки приносят свои жертвы, преторианцы стоят на часах, сластолюбцы едят и пьют и бегают за женщинами, воры воруют, назаряне поют и молятся, точно сегодня тоже самое, что вчера! Проклятие жалкой толпе, не остающейся горевать у себя дома, когда у повелевающего ею императора разбивается сердце! Славная верность! Но нет! Я прощаю им. Они не виноваты. Чего могу я требовать от народа, когда собственная мать моя посягнула на единственное счастье сына!. Актэ! Актэ!

Он вскочил.

— Я пожинаю то, что посеял,— с невыразимой горечью произнес он.— Я был глупец, презренный раб. Зачем я допустил всему этому зайти так далеко? Добрая мать! Она хочет лелеять меня! Она хочет преданно разделять со мной заботы правления! Не заблуждайся, губительница моей жизни! Для того, чтобы заживить такие раны, не довольно половины власти! Мир постигнет теперь, кому принадлежит престол Августа: тебе или мне! Фаон! — громовым голосом позвал он.

Казалось, он гигантским усилием подавил свою неизмеримую скорбь и голос его зазвучал как возглас торжества.

Отпущенник робко вошел.

— Поди и позови ко мне государственного советника! — приказал император.

— Как повелишь.

— Еще одно, Фаон! Неизвестно, кто были разбойники, похитившие мою Актэ?

— Нет, повелитель! Все розыски оказались бесплодными. Одни говорят, что это были рабы Агриппины, другие, что преторианцы...

— Молчи! Мой вопрос был неразумен. Даже если бы я знал... ведь они были лишь орудием в руках Агриппины. Позови же советника!

Сенека вошел к императору с достоинством и почти скорбящий.

— Мой друг, — с железным самообладанием сказал Нерон, — не бойся, я не стану сетовать и жаловаться на вечную утрату! То, о чем я хочу беседовать с тобой, касается далекого будущего.

Он коротко и ясно изложил ему свои планы.

— Воистину, ты цезарь по моему сердцу, — сказал Сенека, торжественно заключая его в объятия. — Все, что во власти моей и моих друзей...

— Да, я знаю, вы постоите за меня и, в случае надобности, обнажите за меня ваши мечи. Действуй, Сенека! Соображай, рассчитывай! Мой измученный мозг еще весь в жару...

— Не поддавайся только что побежденной слабости! Клянусь Зевсом, я не допущу этого! Сегодня я переговорю с Тигеллином. Первое же сопротивление незаконному властолюбию Агриппины докажет римлянам, что Нерон сознал свой долг, предначертанный ему историей.

— Ты хотел многое рассказать мне об Агриппине, Клавдии и бедном Британике...

— Подожди еще, даю тебе дружеский совет. Ты будешь величественнее и благороднее в глазах всех, если начнешь действовать только сознав необходимость полной самостоятельности для правителя, нежели на основании слухов, которые, быть может, и в действительности только... слухи.

Нерон наклонил голову.

— Я доверяю тебе, — со вздохом сказал он. — Спаси меня от меня самого! Дай мне могущественный волшебный жезл для того, чтобы отогнать призраки прошлого, полные такой прелести и вместе такой муки...

— Этот жезл — скипетр. Держи его, как Геро!..

— Как Демон, если хочешь!

ГЛАВА VII

На шестой день после этих происшествий, атриум императорского дворца еще с рассветом был украшен праздничным убранством.

Мраморный подиум у входа в архив был покрыт драгоценными коврами; здесь стояли два трона на львиных ножках, с возвышавшимся над ними золотым балдахином.

Бесчисленные гирлянды из прекраснейших цветов и роскошной зелени обвивали колонны, свешиваясь со стен и покрывая полы.

Повсюду яркие ковры сливались с великолепной мозаикой стен, даже с крыш спускались тяжелые кисти и бахрома, сверкавшие все ярче в лучах поднимавшегося над горизонтом солнца.

Сегодня, во втором часу дня, должен был начаться торжественный прием послов хаттского народа. Для этой цели, вместо сенатского зала заседаний, было избрано обширное жилое помещение Палатинума, что придавало событию менее официальный, но зато более радушный и величественный вид.

Если бы не предстояло это давно ожидаемое дипломатическое представление, Сенека, вероятно, взял бы отпуск еще на прошлой неделе. Жара последних майских дней становилась невыносимой в городе, и в узком Субурском предместье вчера уже было несколько случаев заболевания лихорадкой. Но приходилось перетерпеть неприятность, так как дело шло о первой возможности нанести чувствительный удар честолюбию Агриппины не только перед собранием сенаторов, но и в присутствии иностранного посольства. Она должна была понять наконец, что в управлении римскими государственными делами начинается новая эра.

Хатты, самое способное и развитое из германских племен и непосредственные соседи римлян, ожесточенные неоднократно насилием римских солдат, в течение последнего года возмущались все сильнее и, вместе с сиграмбрами участвовали во всевозможных враждебных замыслах против римлян. Судя по сведениям, доставленным лазутчиками пропретору, наместнику императора в северных провинциях, все свободные германцы готовились к нападению на римскую империю.

Но из многочисленных германских племен, только среди одних хаттов и сиграмбров уже тогда укоренилось понятие о необходимости объединения. Осталь-

ные, включая гуттонов и ругов, забывая об эпохе великого Вара, истощали свои силы в междоусобицах, и оставались вполне равнодушными к новой, быть может еще действительно преждевременной идее. Даже между знатными хаттами существовали необузданные семейные распри. В этих условиях и при искусной дипломатической тактике императорского наместника легко удалось, с помощью некоторых уступок, в особенности же посредством уплаты вознаграждения за обиды, склонить хаттов к примирению и представить им значение дружбы с могущественными римлянами в таких блестящих красках, что после некоторого колебания, они решили послать в Рим двенадцать знатнейших вельмож под начальством главного полководца Лоллария, для передачи императору подарков и предложения мирного соседства.

С этой, отчасти театральной, задачей хаттских вельмож связаны были еще несколько более деловых пунктов, которые пропретор не осмеливался решать единолично.

Уже за несколько дней перед этим Агриппина выразила неуместное и, по понятиям римского народа, неприличное и оскорбительное намерение приехать из своей албанской резиденции, чтобы рядом с юным императором принимать посольство и буквально председательствовать при всей церемонии.

В эту-то ахиллесову пяту и собирался поразить Агриппину государственный советник, мягко, но явно для всего народа, отодвинув ее на задний план.

Вообще, Анней Сенека не оставался праздным с того дня, когда его призвал Нерон, объявивший, что блеском единоличного владычества он намерен вознаградить себя за счастье, похищенное у него Агриппиной и жестоким роком.

Сенека приветствовал внезапное воодушевление императора таким восторгом, что Нерон начал считать заслугой то, что было для него только потребностью.

В тот же вечер Сенека сообщил Флавию Сцевину, что если продолжится энергичное настроение цезаря, то самого Нерона можно считать в числе заговорщиков против императрицы-матери. Поэтому следовало пока отложить все враждебные Агриппине планы, так как на сенат и вообще на римский народ бесспорно сильнее подействует, если Нерон сам лично возьмет на себя инициативу противодействовать матери. Объяснившись с Флавием Сцевином, советник, однако, все-таки принял необходимые меры предосторожности,

дабы оградиться от возможного насилия Агриппины. Ничего не подозревавшего о заговоре Бурра легко было заставить передать начальство над половиной дворцовой когорты агригентцу Софонию Тигеллину, так как с некоторых пор вождь преторианцев уже менее слепо обожал императрицу-мать. До него дошли слухи о необычайной благосклонности Агриппины к военному трибуну Фараксу, и некоторые подробности этого обстоятельства, хотя, конечно, глухие и неопределенные, казались оскорбительными для его гордости солдата. Не то, чтобы он почувствовал поползновение возмутиться против повелительницы, но она должна была увидеть, что он уж не такое послушное орудие в ее руках, каким она его считала.

Получив от Бурра начальство над дворцовой стражей, Тигеллин тотчас же начал сорить золотом среди солдат, между тем как Нерон, по совету Сенеки, пока воздерживался от каких бы то ни было действий.

В то утро, когда императрица-мать уже сидела в карруце, запряженной четырьмя горячими каппадокийскими конями, и мчалась из своей виллы в столицу, Сенека счел уместным подогреть ожесточение Нерона против Агриппины, рассказав ему то, что он доселе отказывался открыть ему.

Пока рабы одевали цезаря для предстоявшего торжественного приема, дальновидный советник сидел в рабочем кабинете императора, скрестив на груди руки и тщательно обдумывая свою трудную задачу.

Главный раб Кассий уже доложил своему повелителю, что министр имеет обсудить с ним чрезвычайно важные дела раньше появления сенаторов. Нерон нетерпеливо торопил прислужников.

Когда наконец он показался на пороге кабинета в своей отороченной пурпуром тоге, Сенека с необыкновенной важностью подошел к нему навстречу.

— Иди, дорогой! — приветливо обратился он к цезарю. — У нас еще есть свободные полчаса. Садись и выслушай меня!

В коротких словах повторив императору некоторые правила государственной мудрости Августа, и в особенности подчеркнув то, что иногда бывает полезно смотреть на прошлые преступления как на вовсе не содеянные, он старался оправдаться после упрека, будто он когда-либо одобрял деяния Агриппины.

— Поверь мне, — с волнением говорил он, — сто раз голос внутреннего божества настойчиво повелевал мне объявить всему народу, что нельзя ждать ничего до-

брого от Агриппины. Одно лишь всегда удерживало меня: боязливое уважение к тебе, безупречному сыну преступницы. Я знал, как ты искренно почитал свою мать, как один среди всех римлян был ослеплен ею, не подозревая того, что заставляло нас краснеть от гнева и позора.

Нерон слушал, затаив дыхание, и судорожно стиснув ручку кресла. Сенека продолжал еще многозначительнее:

— Нет, дорогой цезарь, я не брежу и слова мои далеко не порождения большого мозга. Спроси Тигеллина, спроси, пожалуй, и Бурра, потому только извиняющего все ее преступления, что несмотря на свою внешнюю суровость, он чувствительнее любого юного поэта...

— Что это значит?

— Ну, он любит Агриппину... и обладает ею! — отвечал Сенека, веско и монотонно произнося каждое слово.

— Ты говоришь это мне? — громко вскричал потрясенный до глубины души Нерон. — Бурр обладает ею? Мать императора — возлюбленная начальника казарм?

— Успокойся! — с большим хладнокровием произнес советник. — Это не первый случай в истории, когда благородное дерево, приносящее благородные плоды, внезапно поражается внутренним гниением... Потом ты говоришь: начальник казарм! К чему такое пренебрежение? Начальник лучше плебея рядового. Теперь вот толкуют... Прости, но я, право, не в силах выговорить этого!

— Или ты находишь нужным щадить меня? — засмеялся император.

После минутного молчания, Сенека продолжал:

— Все равно. Ты должен узнать все, ибо теперь предстоит вопрос: ты или она? Во всех слоях народа чувствуется грозное брожение. Сенат тайно ропщет. Всадники, мелкие купцы, ремесленники, даже самые рабы пылают яростью на недостойную женщину, по произволу попирающую ногами все государство. Прежде всего: она — пучина разврата! На Бурра я готов закрыть глаза. Но недавно я узнал, что она не довольствуется одним возлюбленным...

— Ты лжешь! — вскочив, вскричал Нерон. — Она может забываться, может осквернять себя, но она никогда не может потерять свою необъятную гордость...

— Быть может, я преувеличиваю! — отвечал Сенека. — Но сделай снова то, что ты проделывал прежде: замешайся, переодетый, в народную толпу в предместье! Зайди в таверны, в харчевни, в лавочки цирюльников! Там ты услышишь много всякого о нем на трибуне Фараксе...

Нерон громко застонал.

— И все это — правда? — после продолжительной паузы спросил он.

— Такая правда, император, что ты можешь приказать живым закопать меня в землю, если я лгу! Зачем дрожишь ты, Клавдий Нерон? То, что я рассказал тебе, все человеческие слабости, постыдные, пожалуй даже презренные, но простительные. Не опускай морю! Какая же печаль поразит тебя, когда я скажу тебе, что это еще не худшие из ее деяний!

— Говори! — воскликнул уничтоженный Нерон. — Теперь я приготовился ко всему. Не связывается ли она также и с погонщиками мулов, привозящими ей благовония и плоды? Мне доставляет мучительное наслаждение зарываться все глубже в эту отвратительную грязь.

— Повторяю, все это свойственно человеческой природе, — отвечал министр. — Пылкая женщина, всегда привыкшая только повелевать, не обузданная ни одним мужчиной, стареющая, но еще юношески-прекрасная, подобная сочной виноградной кисти, такая женщина естественно становится жертвой своей ненасытной жажды жизни. Но из-за этого, все-таки, ей нет надобности становиться убийцей!

При последних словах голос Сенеки зазвучал подобно отдаленному раскату грома.

Бледная, бессмысленная улыбка скользнула по губам несчастного императора.

— Знаешь ли ты, — продолжал Сенека, — каким образом умер твой жалкий отчим Клавдий? Я буду справедлив и не умолчу о недостатках жертвы. Клавдий не годился в мужа Агриппине. Домиций Аэнобарб с его железными кулаками мог сдерживать ее; Клавдий же, вдовец Мессалины, был погибшим еще до начала борьбы. Но все-таки, разве он не любил ее deeply? Был ли он когда-либо виновен в каком-нибудь проступке, не говоря уже о преступлении? Он господствовал, или, лучше сказать, позволял господствовать. Преступление же его в глазах нежной Агриппины состояло в том, что он доверил верховную власть не ей, и что он не изгнал или не умертвил

бедного Британника, своего собственного сына, которого он уже лишил престолонаследия в твою пользу. Ее всевозможные интриги для захвата кормила правления открыли Клавдию ее намерения. Он решил расторгнуть свой брак с ней и снова возвратить Британнику отнятые у него права. Что сделала Агриппина? Ей предстояло два исхода: кротостью, покорностью и уступчивостью вернуть расположение супруга или же силой устранить его, прежде чем он успеет привести в исполнение свое решение. В те времена любимым оружием ее были капли отравительницы Локусты. Эта закоренелая, позорная злодейка доставляла ей жидкость без запаха и вкуса, обладавшую драгоценным преимуществом отравлять медленно, но зато верно. Любимым кушаньем Клавдия были грибы; выбрав превосходный, крупный гриб, Агриппина приказала одному из поваров пропитать его таким количеством отравы, которая должна была наверное причинить смерть. Блюдо подали на стол. Как заботливая хозяйка, она положила мужу отравленный гриб, имевший такой свежий, соблазнительный вид. Сама же она взяла себе другие грибы с блюда. Когда скоро после обеда Клавдия начало клонить ко сну, все думали, что он выпил лишнее. В течение ночи, однако, он постепенно потерял зрение, слух и способность движения. Он умер в страшных муках.

Сенека замолчал. Молодой император тупо взглянул на него.

— Что за чудовище! — прошептал он наконец. — Но кто же может поручиться, что все эти истории не вздорные сказки, выдуманные ее врагами и разглашаемые народным легковерием?

— Обещай полное прощение отравительнице Локусте и она подтвердит тебе истину этого преступления, ибо повсюду, где яд играет роль, она была орудием в руках царственной убийцы.

— Сенека, мой учитель и друг, я верю тебе, хотя душа моя содрогается от стыда и отчаяния! Горе мне! Что должен я делать?

И в смертельном изнеможении он опрокинулся в кресло.

Не обращая внимания на отчаяние цезаря, советник продолжал:

— Знаешь ли ты, как умер твой сводный брат, Британник? Я меньше всех сожалел о том, что его лишили престолонаследия. Несмотря на свои превос-

ходные качества, он все-таки далеко уступал сыну Агриппины. Поэтому государство только выиграло от его устранения. Но зачем Агриппине понадобилось затоптать эту цветущую жизнь? Британник был вовсе не себялюбив. Он сделался бы твоим другом и советчиком. Своей рассудительностью и хладнокровием он дополнял бы твою пламенную натуру. Потомство назвало бы вас Дамоном и Финтием, Пиладом и Орестом...

— Не говори мне об Оресте,— задрожав, прошептал Нерон.

— Почему?

— Мне страшно! Орест... умертвил свою мать.

— И хорошо сделал: в сообщничестве со своим любовником, мать умертвила его дорогого отца.

Нерон жестом остановил его.

— Итак,— продолжал Сенека,— Агриппина умертвила Британника с такой неслыханной хитростью, с таким низким коварством, подобных которым не найдется во всей истории мира. Британник был предупрежден. Он не принимал никакой пищи, не дав предварительно отведать ее рабу. Но мать твоя умудрилась погубить его самым чистым даром природы. Она приказала подать ему пряное вино таким горячим, что для охлаждения его потребовалось прибавить свежей воды. Раб уже отведал дымящийся напиток, зачерпнув немного из чаши. Вино было безвредно. Но когда Британник подлил в него отравленную воду и выпил первый глоток, он тут же упал и уже через минуту превратился в труп.

— Как? — вскричал Нерон.— Но ведь я был свидетелем этого ужасного события. Тогда сказали, что это обморок, и что он умер только несколько дней спустя, от удара.

— Так нам сказали тогда, чтобы не прерывать беда. Поверь мне, мой дорогой, у меня есть доказательства и этого злодейства.

Нерон, бросившись ничком на стол, судорожно схватился за волосы. Сенека тихо подошел к нему и, положив ему руку на плечо, как бы с состраданием прошептал:

— Позволь мне умолчать об остальном! Одно только ты должен еще узнать: что покушение на Флавия Цевина было также делом разгневанной Агриппины. Его тост смертельно оскорбил ее...

— Молчи, молчи! — простонал император.— Я знаю довольно!

В это мгновение в атриуме раздался голос раба, глашатая часов.

— Пора! — сказал советник. — Успокойся, дорогой друг! Нерон-сын исчез; пусть же Нерон-император тем славнее засияет на высоте своего единовластия! Нет, не так, мой мальчик! Осуши слезы! Смотри на мир смело и свободно, подобно орлу, направляющему свой полет вверх, к солнцу! Покажи северным варварам, что величие и блеск римского имени вполне и совершенно олицетворены тобой, народным любимцем! Будь мужчиной! Будь Августом!

Клавдий Нерон медленно поднялся.

Действительно казалось, что пережитый им страшный час всецело закалил и ожесточил его. Благородно и величаво стоял он перед своим старым наставником, также мгновенно позабывшим то, что доселе потрясло и волновало его, и вопросительно смотревшим в лицо молодому властителю всемирной империи. Теперь он уподоблялся мраморной статуе бога Аполлона, посылающего не одни лишь благодетельные лучи, но и гибельные стрелы. Все решительнее и спокойнее становилось выражение прекрасного рта, в течение многих блаженных недель знавшего одни лишь поцелуи и смех. Да, при виде этого сиявшего юноши-героя, упрямые хатты должны сказать себе: «Горе народу, имеющему врагом римского цезаря!»

Так вышел он с Сенекой из кабинета и нашел свою свиту, уже с четверть часа ожидавшую его.

ГЛАВА VIII

Между тем, в атриуме собралось необыкновенное число сенаторов, необыкновенное потому, что большинство их уже переселилось в летние виллы и они прибыли в Рим, лишь повинувшись приглашению императрицы-матери присутствовать при торжественном приеме хаттских посланцев.

Императорский секретарь Эпафродит приветствовал прибывающих и почтительно провожал их к мягким сидениям, расставленным полукругом справа и слева перед разукрашенными арками. Утреннее солнце уже заглядывало в верхние окна залы. Рассыпанные повсюду цветы, орошаемые рабами мелкой водяной пылью, сверкали подобно цветнику, осыпанному росой, а драгоценные ковры с каждым мгновением казались все ярче и роскошнее.

Советник всегда придавал особое значение тому, чтобы такие торжества, как предстоявший прием посольства, происходили бы со скрупулезной точностью. Почти в то же мгновение, когда Нерон среди своей блестящей свиты направлялся к трону, громко приветствуя сенаторов, Сенека перед входом залы обменивался дружеским рукопожатием с высоким, седобородым вождем германских посланцев. Послы уже сошкочили со своих густогривых коней.

Нерон, милостивым движением руки ответив на крик сенаторов: «Да здравствует император!» опустился на одно из двух роскошных кресел под балдахином.

Справа от него стоял Бурр с несколькими военными трибунами. Слева — агригентец Софоний Тигеллин, Ото, супруг прекрасной Поппеи Сабины, молодой поэт Лукан, в последние месяцы пользовавшийся весьма заметным покровительством Сенеки, секретарь Пифагродит и некоторые другие придворные и государственные вельможи с их знатнейшими подчиненными.

Дальше, направо и налево помещались небольшие отряды преторианцев в позолоченных панцирях, с ярко-красными конскими хвостами на блестящих шлемах, мечами на боку и с длинными копьями в руках.

Справа и слева, во главе сенаторов, сидели правящие консулы, должность которых, со времени недавнего государственного преобразования, имела одно лишь внешнее значение, что однако не препятствовало страстно добиваться этих мест.

Советник назначил почетный караул из преторианцев и для германского посольства; отряд этот, пройдя через остиум, остановился в надлежащем порядке слева от входа, прямо против трона. Затем появился государственный советник с предводителем хаттов, Лолларием. Остальные послы, стройные, высокие воины лет тридцати-сорока, все голубоглазые и белокурые, за исключением двоих, темные волосы которых указывали на их южное происхождение, вошли вслед за Лолларием и остановились посередине атриума, между тем как вождь их с вежливым Сенекой приблизились к устланному коврами подиуму.

— Всемогущий цезарь, — начал Сенека, — достойный и отважный воин, вместе со своими благородными товарищами вступивший в Палатинум как друг римского имени, есть князь Лолларий, первый между

хаттских вельмож, знаменитый полководец и отличный знаток нашего языка, наших обычаев и законов.

Сказав это, Сенека отступил к Софонию Тигеллину, с изумлением и любопытством рассматривавшему хаттского князя.

Нерон встал и, сойдя до последней ступени подиума, с приветливой улыбкой подал руку послу.

— Привет тебе и твоим собратьям в нашем священном семихолмном городе, — сказал он. — В глазах твоих я вижу прямоту и мужество. Мне нравится это. Именем собравшихся здесь отцов отечества и свободного римского народа я предлагаю тебе честную дружбу. Ибо, как нам известно от нашего пропретора, соседа вашего на Рейне, вы прибыли в Рим искать нашей дружбы.

— Ты сказал, могущественный император, — на безукоризненном латинском языке отвечал Лолларий. И он также, как ныне его старший сын, в прежние годы посещал всемирную столицу на Тибре, для изучения римских государственных наук и военного искусства. — После того, как наместник твой удовлетворил нашим законным требованиям, я не вижу повода к вражде между хаттами и вами, хотя в то же время я глубоко сожалею о том, что императорские легионы постепенно уже превратили многие древнегерманские области в римские провинции.

— Почему сожалеешь ты об этом? — спросил цезарь.

— Потому что мы, северяне, которых римляне считают отдельными племенами, гораздо теснее связаны между собой, нежели италийцы с испанцами; потому что мы могли бы образовать одно великое, могучее государство, единого происхождения и народности, если бы частью Рим не отчуждал нас друг от друга, а частью нас не разделяли бы нестерпимые междоусобия. Одни только мы, хатты, да честные сигамбры сознают общность всех германских племен и постигают всю силу сплочения в одно государство, то есть именно то, что подняло Рим до его настоящего величия.

Император снова поднялся по ступеням и медленно опустился на свое место под балдахином, между тем как двое рабов, повинаясь взглядам советника, принесли к подиуму золотое седалище.

— Я понимаю это, — благосклонно произнес Нерон. — Прошу тебя, однако, сесть, неприлично заставлять послов, равно священным как по правам наро-

дким, так и по законам гостеприимства, стоять дольше, чем длится обмен приветствиями.

После мгновенного колебания, Лолларий спокойно и самоуверенно взошел на подиум и сел.

— Лолларий,— продолжал Нерон,— ты видишь: одной нашей встречи было достаточно для того, чтобы разъяснить вопрос, который мы намеревались обсуждать. Пока между нами нет открытой и честной войны, ни один римлянин не ступит на вашу почву с недозволенными намерениями. То же самое обещаю и мы. Во всем остальном мы также будем поддерживать дружелюбное соседство. Вы будете продавать нам добычу от вашей охоты и рыбной ловли, превосходные звериные шкуры, вкусную дичь и логанские форели. От нас вы будете получать изящные ремесленные орудия, тарентинские ткани, белоснежные одежды для наших жен и дочерей, пояса и пряжки, а главное, всего — дары бессмертного Бахуса. Ибо, как я слышал, у вас на севере не произрастает веселящая душу виноградная лоза: вы пьете странное варево из пшеницы и ячменя, которое изумительным образом превращает в нечто подобное нашему итальянскому вину.

— Цезарь,— отвечал Лолларий, с улыбкой поглаживая свою большую седеющую бороду,— у нас есть два напитка: сладкий и горький. Первый называем мы медом, второй — пивом, и право, когда пойдут по кругу застольные кубки с медом или огромные рога с пивом, зазвучит воинственная песнь и задымятся сочные ломти оленины или медвежьих окороков,— то и сам ты, цезарь, забыв о римской роскоши, сознался бы, что германцы умеют жить!

— В этом я не сомневаюсь,— возразил Нерон.— У всякого народа свои нравы и обычаи. Итак, мы достигли цели. Вот моя рука! Мир и дружба! Только ради простой формальности секретарь мой Эпафродит напишет государственный договор, не в виду какого-либо сомнения, но лишь ради включения в архив. Наверное, и у вас есть здания или святилища богов, где вы храните ваши важнейшие акты.

— Жрецы и вельможи наши искусны в письме,— сказал Лолларий.— И хаттам также будет приятно иметь дружелюбные слова императора, начертанными на прочном пергаменте. У нас есть люди, которым при случае следует повторять подобные вещи.

— Завтра же тебе будет доставлен договор для подписания,— сказал император.— Теперь, когда все окончено, прошу тебя, Расскажи мне что-нибудь о себе

и о твоих товарищах. Кто твои спутники? Ты мог бы привести их сюда.

Лолларий поднялся было, но Нерон удержал его.

— Прежде всего о тебе,— милостиво сказал он.— Тебя зовут Лолларий. Это почти латинское имя!

— Оно изменено на латинский лад для вас, не способных совладать с более грубым северным произношением. На германском языке меня зовут Лаутарто, что значит: великое сердце. Мой замок стоит на берегу Лана, по вашему Логана, недалеко от впадения в реку быстрой Визахи. Дальше тянется лесистая Птичья гора, названная так за бесчисленное множество тетеревов, наполняющих леса своим криком и токованьем. О, земля хаттов — чудная страна!

— Странно,— возразил Нерон.— Мы, римляне, не любим ни горных лесов, ни ущелий. Нас манит к цветущим лугам, лавровым рощам, в особенности же к берегу моря. У тебя поблизости нет ни моря, ни озера?

— Нет, император. У нас только одни безвредные реки: Лан и Визаха. Мы не знаем ваших могучих волн. Но впрочем, я должен заметить, что всего в ста шагах от моего двора Визаха падает с крутого уступа вниз с таким шумом, который напоминает о прибое Тирренского моря. Народ называет это водопадом, и мой замок поэтому зовется замком на водопаде.

Цезарь продолжал беседовать с бородатым хаттским вождем, как будто собирался сделать ему в течение лета визит в его леса на Логане. При этом, однако, он иногда поглядывал на Сенеку, каждый раз отвечавшего ему едва заметным движением губ: «Еще есть время, повелитель!»

Наконец, Лолларий сошел с подиума и привел троих, знатнейших из своих спутников.

Один из них, золотоволосый, румяный Хейло, должен был возвестить императору о почетном подарке: двух живых зубрах, привезенных в нарочно приспособленных для этого повозках по большой левой рейнской военной дороге через Везонцио в Массилию, откуда морем их переправили в Остию.

Корабль с предназначавшимися для императорской арены чудовищами стоял теперь на якоре у авентинского холма, и Хейло просил императора принять, когда ему будет угодно, дружественный дар хаттского народа.

Нерон поблагодарил и, так как Сенека все еще продолжал стоять спокойно, то он принял и остальных

участников посольства, обращаясь к каждому с приветливыми речами. Потом он поднял правую руку. Поэтому знаку из-за колоннады вышли двенадцать придворных слуг в пурпуровых одеждах и подали всем двенадцати послам от имени императора по драгоценному мечу с золотой рукоятью, в блестящих ножнах.

Сенаторы, поначалу возроптавшие было за чересчур ласковое обращение цезаря, сочли, однако, личным присоединиться к приветственным кликам, раздавшимся с той стороны, где сидели Флавий Сцевин, Бареа Сораний, Тразея Пэт и другие члены высокого собрания. Несколько ярых приверженцев императрицы-матери с трудом могли сдерживать свою тревогу. С каждой минутой на их смущенных лицах все ярче выступал вопрос: где же Агриппина? Почему она не занимает своего места рядом с сыном, которого она возвела в сан императора! Но Агриппина еще мчалась по звонкой дороге, в своей карруце с широким верхом.

По обычаю советник направил ей запрос, когда назначить прием хаттского посольства и получил от нее ответ. Агриппина рассчитала с излишком, сколько времени займет ее переезд.

Но разве это вина Сенеки, что император внезапно повелел начать церемонию ровно получасом раньше того, как желала Агриппина?

Она беспечно сидела рядом со своей поверенной, ослепленной пантерой Ацерронией и смеялась над необычайной легкостью, с которой можно было подтянуть постромки у разбуянившегося мальчика.

Она считала себя полной госпожой положения, и тайне превозносила свою необычайную ловкость, которой так прекрасно помог и случай...

Да, да, эта Актэ оказалась бы опасной для влюбленного императрицы-матери; в постоянном общении с Нероном, она могла бы наконец сообразить, как мало знания требуется для того, чтобы руководить империей. Страстная, фантастическая любовь была только прелюдией. Через несколько месяцев в ее душе созрели бы другие чувства, другие желания и надежды...

Например, если бы эта Актэ подарила цезарю ребенка, сына? Какое могучее побуждение для матери стремиться к влиянию и власти!.. Нет, судьба распорядилась гениально: Агриппина могла быть спокойна. Довольная улыбка мелькнула на ее губах.

— Ну, Ацеррония? — произнесла она, покончив приятными мыслями. — Что ты так холодна и равнодушна сегодня? Ты ни разу не выглянула из окна, несмотря на то, что сам красавец Фаракс предводительствует нашим отрядом. Еще так недавно ты вся кипела восторгом, а теперь вдруг так сдержанна? Уж не поссорилась ли вы?

— Нет! — с изумительной резкостью отрезала красивая пантера.

Всякий другой смертный, наверное, навсегда лишился бы милости Агриппины за подобную грубость. Одна лишь Ацеррония в этом отношении пользовалась невероятными привилегиями.

Агриппина схватила ее за руку.

— Что с тобой, голубка? — с материнской нежностью спросила она. — Уже при отъезде я заметила, что ты грустна.

— Ну, уж этот Фаракс! — презрительно воскликнула Ацеррония.

— Он твой жених и, если богам будет угодно, он сделается твоим супругом еще до осени. Я должна была обещать ему это...

— Должна? — переспросила Ацеррония. — Но кто же может заставить тебя?

— Ну, он просил меня, умолял...

— Сколько есть просящих бесплодно!

— Я не понимаю тебя, — сказала императрица. — Или ты раздумала? Ведь Фаракс нравился тебе. С самой первой встречи...

— Да, он понравился мне, и нравится теперь; одно только мне неприятно, что он так сильно нравится тебе!

— Дурочка! — усмехнулась Агриппина. — Ты бредишь или хмельна? Как может быть тебе неприятно, что мне нравится избранный мной для тебя человек? Ты больше хотела бы, чтобы я находила его противным?

— Может быть... иногда мне сдается...

— Что?

— Могу я говорить откровенно?

— Конечно.

— Ну, мне сдается, что ты сама по уши влюблена в него.

Агриппина сделалась чрезвычайно серьезна.

— Благодарю богов, что цезарь не слышал твоих слов! Он приказал бы распять тебя!

— Мне все равно! — пробормотала Ацеррония, кусая губы и все больше нахмуриваясь.

— Брось глупости! — внушительно сказала Агриппина.

— Так запрети своим рабам болтать о тебе такие вещи, которые...

— И ты не горишь от стыда? Ацеррония, дочь Кордубанского всадника, слушает сплетни рабов! Только теперь я понимаю! Знай же, Ацеррония, собственными ушами я слышала, что болтали между собой две рабытницы в албанском парке. Они дерзали позорить мою императрицу, ибо низкие души никогда не умеют отличить политическую благосклонность правительницы от любви женщины. Я говорю теперь не стесняюсь, потому что мне противно, что именно ты вступаешь в это грязное болото. Одно мое движение и эти рабыни умерли бы. Но Агриппина слишком высоко ставит свое славное имя для того, чтобы мелочность и живость могли оскорбить ее. Артемизия пускала стрелы в дочерей Ниобеи, но она презирает лягушек в грязине.

Слова императрицы были полны такого достоинства и искренности, что сомнения Ацерронии исчезли.

— Прости меня! — прорыдала девушка, пряча лицо на плече своей покровительницы и как бы ища защиты от самой себя.

Потом она вдруг приподнялась и вытянула руки, словно хищница.

— Но я, я не высокорожденная императрица, я могу снизойти до того, чтобы покарать клеветников, или еще когда-нибудь услышу такие позорные толки. И ялянусь Юпитером...

— Успокойся, дитя! — прервала ее Агриппина. — Смотри, мы уже в городе. Оботри слезки! Тебе предстоит играть роль. Ты впервые появишься перед сенатом.

— Почему Паллас не с нами?

— Он лежит в лихорадке. Вчера вечером он приказал сказать, что болен.

— Признаюсь, повелительница, лично я вовсе не желаю, чтобы на меня глядели эти надутые, бессмысленные сенаторы...

— Ты не стесняешься в выражениях... Но это все твоя фантазия. Сегодня, при таком важном государственном событии...

— Мои рыжие волосы еще важнее. Что они прекрасны, ты сама говорила это; они почти не хуже твоих волос, черных, как ночь, а мужчины чем старше, тем безумнее.

Копыта коней стучали уже по мостовой Via Sacra. Между тем Тигеллин получил известие о приближении экипажа Агриппины.

Пока император еще разговаривал с хаттами, агригентец вышел, чтобы приветствовать императрицу мать с ее свитой

— Повелительница,— сказал он.— Прощу тебя, поспеши! Если тебе угодно, пройди здесь в боковую дверь! Перед входом в остиум сидят в креслах полы.

— Как? Уже? — вся вспыхнув, спросила императрица.

— Да, уже. К сожалению императора и сенаторов ты немного опоздала.

— Я? Как опоздала? Мы аккуратны, как смеи часовых. Говори! Что это значит?

Тигеллин с притворной покорностью пожал плечами.

— Так пожелал наш цезарь и повелитель. Я вооружал ему, но он сказал, что нельзя заставлять дожидаться хаттов, явившихся с такими превосходными намерениями. Но ведь время еще не ушло, высокая повелительница! Исторический акт еще может быть окончательно скреплен твоим появлением.

Агриппина задрожала. Не дожидаясь Ацерронии и остальной свиты, она величаво вошла в ближайшую боковую дверь.

Сенаторы встали. Агриппина направилась к подиуму.

Сдерживая закипевшую в его груди горечь, Нерон спокойно сошел с трона, поспешил навстречу матери и приветствовал ее обычным церемониальным объятием.

— Какая приятная неожиданность! — воскликнул он, предварительно наученный Сенекой.— Государственные дела уже окончены. Теперь побеседуем все вместе в приятном семейном кругу!

Шепот одобрения, вырвавшийся у большинства сенаторов, показал Агриппине всю полноту ее поражения. Она сознавала, что сделается смешна, если не сумеет проглотить пилюлю. Ее самообладание спасло ее.

— Благодарю тебя,— отвечала она, целуя сына в лоб,— за то, что ты так быстро и счастливо окончил в высшей степени трудное и запутанное дело. Мне кажется, что собравшиеся здесь благородные римляне и хатты ожидают, чтобы цезарь отпустил их

Исполни же их желание! Передай им, что я приняла сердечное участие в осуществлении дружественного союза, и затем следуй за нами к завтраку в маленький триклиний!

Она удалилась с величественным поклоном. Но в душе ее кипели дикая злоба и ненасытная ненависть.

— Это шутки Сенеки! — заскрежетала она, проходя мимо Ацерронии. — Я замечала в последнее время, что этот негодяй стал отдаляться от меня и вилать. Нависть о случившемся полетит по городу, по всей латинской земле, по всем провинциям. Мое влияние поколеблено вконец! Повсюду будут говорить: Агриппина отказалась от власти... Отказалась? Нет и никогда! Время покажет! Терпение и сдержанность! Берегись, Ацеррония. Ни один человек под небом Юпитера, а в особенности он, неблагодарный, не должен подозревать, как глубоко проник мне в грудь этот жестокий удар. Иначе народ восторжествует. Терпение, терпение! Я могу незаметно завоевать обратно то, что он отнял у меня. О, я понимаю его. Это мщение Акте! Так я вдвойне радуюсь, что ее проклятое тело досталось на корм рыбам!

ГЛАВА IX

Главный кормчий и два матроса, спасшиеся при ужасном крушении корабля, не могли ничего сообщить об отпущеннице Никодима. Все полагали, что Акте утонула, подобно остальному экипажу злополучного судна. Там, где в борьбе с неумолимыми волнами погибли сильные галлы и мускулистые иберийцы, могла ли уцелеть нежная юная девушка?

Тем не менее, все заблуждались. Раньше, чем корабль погрузился в пучину, Акте, схватившись за одну из оторвавшихся досок борта, бросилась в воду. Не имея мужества и сознания, она вынырнула из клокодавшей бездны, крепко прижимая к груди доску, и благополучно выплыла из толпы тонувших в мучительной борьбе матросов; моряки по ремеслу, они, в нужности, были плохие пловцы.

Акте, привыкшей по получасу купаться и носиться по морским волнам, понадобилось лишь легкое усилие для того, чтобы с помощью доски держаться на поверхности. Плыть вперед она и не пыталась; безумно было бы надеяться достигнуть отдаленного берега. Ее должна заметить рыбацья лодка или корабль: в этом

была единственная возможность спасения. Поэтому она решилась беречь свои силы и не терять мужества и хладнокровия.

С невероятной энергией отражала она приступы страха, грозившего объять ее трепещущее сердце.

Она убеждала себя, что немислимо, чтобы ее блаженный сон любви окончился так ужасно. Она старалась вернуть себе небесную самоуверенность, высказанную ею перед Палласом и уговорить себя, что любовь Нерона охраняет ее и среди бесконечной водной пустыни.

Все напрасно. Несмотря на священный огонь ее чувств, она вполне сознавала свое отчаянное положение.

Между тем утренний ветер усеял море пенистыми гребешками. Несчастную Актэ могли бы заметить только с близко проплывающего корабля; ее бледное лицо, светлая одежда и блестящие волосы сливались с белоснежными гребнями волн. С равномерностью мощного дыхания вздымались и падали высокие водяные горы; Актэ то взлетала на пенившийся гребень, то, без силы и без воли, она скользила в темно-синюю пучину, для того чтобы снова быть подброшенной сверху.

Шум взволнованного моря теперь совершенно заглушал ее крики о помощи. Звонкий голос ее раздавался слабо и глухо. Все возрастающий страх смерти отнял у него его сладкую серебристость.

На восточном горизонте, подобно бледным, туманным призракам, проходили громадные купеческие суда, направлявшиеся в Панормию; но ни одно из них не приблизилось к месту катастрофы. Рыбачьи лодки из Антиума не рисковали пускаться в открытое море при таком ветре. Корабли же, плывшие в Остию из Испании или из Галлии, держались севернее.

Ветер все крепчал и все выше и выше вздымались белогривые Нептуновы кони. Волна за волной обрушивалась на слабеющую Актэ; с волос ее на бледное лицо струилась вода, смывавшая слезы с ее глаз.

В страшной опасности обратилась она к всемогущему Богу с немой, но пламенной мольбой о спасении. В жертву Спасителю она приносила свое сердце.

— Возьми все, — в нестерпимой муке взывала она. — Вся моя жизнь отныне посвящена будет Тебе; я буду странствовать по городам и селам, подобно святым апостолам, распространяя Твое учение до вечных льдов, до страны готов и скандинавов...

И ей показалось, что она видит перед собой кротко улыбающегося Спасителя мира. В ее измученную душу пролилась новая сила, — сила надежды.

Вдруг между ней и Кротким, Милосердным Галилианином, подобно ночному метеору, встал очаровательный юноша, вчера еще державший ее в своих страстных объятиях.

Черты Спасителя сделались серьезны и строги, и Он отвернулся от нее.

Нет, она не могла молиться. Поступок ее был смертельным грехом перед христианским Богом. Она была отступница, изменница.

Конечно, пресвитер часто говорил о милосердии прощающего Бога, радостно приветствующего возвращение грешника, если только сердце его преисполнено искреннего раскаяния и сожаления о своей вине.

Но увы! Она не раскаивалась!

Для того, чтобы чувствовать раскаяние, ей пришлось бы возненавидеть все, что было ей дорого, пришлось бы отказаться от жизни, от самой себя.

Нет, она не раскаивалась!

А для нераскаянной грешницы нет спасения от этой ужасной смерти. Актэ затрепетала. Вдруг, таинственно и загадочно, у нее мелькнуло странное воспоминание.

Разве прежде она не знала иных богов, еще кротче и человечнее по чувствам и мыслям, чем Бог евреев и варягов?

Разве в раннем детстве глаза ее не устремлялись с верой на престол золотой Афродиты?

Афродита вышла из недр морских. Бурная стихия была ее родиной. Она укротит разыгравшуюся бурю, если к ней с верой обратится Актэ; ведь в глазах богини, любовь к Нерону и его сладкие поцелуи не только не преступление, но доброе дело, угодное богу.

Этот внезапно нахлынувший на нее могучий отголосок детства, поверг Актэ в еще больший ужас. Перед ее умственным взором засверкали блестящие башни Коринфа; она слышала красноречивые речи великого престола, видела его серьезное, выразительное лицо и благоговейное собрание верующих... Это было в то время, когда она три месяца прожила с Никодимом на Перешейке и только что приняла крещение. Громовой молоток предостерегающего Павла проник в ее сердце подобно звукам судной трубы. Вечная погибель, адские муки и проклятие были участью отступников,

однажды просвещенных милостью Господа и снова
впавших в сети отвергнутого ими язычества.

— Единый истинный Бог, прости мой смертный
грех! — простонала несчастная. — Спаси, о, спаси меня
ради Твоего возлюбленного Сына! Аминь!

Все тщетно!

Среди бушующей пучины не было ни луча надеж-
ды на спасение; ничья бессмертная длань не протяг-
ивалась к утопающей.. Старые боги потеряли свою
мощь; они были лишь тени, бессмысленные создания
фантазии. Истинный же Бог, пославший на землю
Спасителя, безжалостно отвернулся от преступницы

— Нерон, я умираю за любовь к тебе, — срываю-
щимся голосом прошептала Актэ и почувствовала, что
тонет.

Глаза ее застлал сине-зеленый туман, в ушах
засвистела вода; кругом, среди бледных молний, но-
сились невиданные чудовища. Потом наступила ти-
шина... Волны по-прежнему вздымались в однооб-
разном движении, а высоко в небе, облитая яркими
солнечными лучами, с жалобными криками носилась
чайка...

Актэ очнулась в богато убранной спальне

Пылающая голова ее покоилась на мягкой подушке,
покрытой кордубанским полотном. Одеяла были из
тончайшей тарентинской пурпуровой шерсти, заткан-
ной золотом.

Слева возле больной стояла на коленях девочка-
подросток, омывавшая ароматическими эссенциями
безжизненно висевшую руку.

Пожилая женщина со строгим, но привлекатель-
ным лицом, наклонившись над Актэ справа, накладывала
ей на лоб холодный компресс. В ее ногах стояла,
подобно мраморной статуе, бледная, прекрасная моло-
дая женщина с кроткими, как у лани, карими глазами,
слегка потупившимися, когда на них остановился во-
просительный взгляд Актэ.

— Где я? — спросила она.

— У доброжелателей, — отвечала старуха, разгла-
живая компресс морщинистой рукой.

— О, это бесконечное счастье!

— Разумеется, бедняжка!

— Как я попала сюда?

— Помощью богов и человеколюбивого моряка, —
отвечала старуха.

— Но ведь я тонула... все глубже и глубже и мне
казалось, что пришел всему конец...

— Так могло тебе показаться. И отважный Абисс, спасший тебя, сначала также думал, что все усилия его тщетны.

— Абисс? Я никогда не слыхала этого имени.

— Он египтянин и старший кормчий на корабле нашей повелительницы.

— И он спас меня?

— Да, мое дитя.

— Но как это было возможно? Кругом не было видно ни одного паруса, ни одного! А я молилась с такой верой! О, я опять тону!.. Тону!.. Помогите! Помогите во имя Христа!

Она закрыла глаза и на несколько минут лишилась сознания. Потом очнулась и пришла в себя.

— Нет, это ничего,— с признательной улыбкой ответила она старухе, заботливо спрашивавшей, как-то ей.

— Скажите мне, как все это случилось?

Старуха вопросительно взглянула на высокую женщину, все еще неподвижно стоявшую у постели и, казалась, собирающуюся с мыслями.

Не услышав запрета от своей госпожи, честная служанка коротко и ясно исполнила желание Актэ.

— Мы отплыли на рассвете далеко в море. Госпожа наша не могла заснуть; свежий воздух должен был успокоить ее. С восходом солнца поднялся сильный ветер. Мы быстро повернули обратно, прямо в гавань. Посреди открытого моря мы нашли красивую куколку, которая теперь лежит здесь. Ты судорожно цеплялась руками за расщепленную доску. Наш Абисс увидал тебя и, недолго думая, как стрела полетел через борт и, как раз в то мгновение, когда разжались твои руки, схватил тебя за мокрые волосы. Корабль наш метался как бесноватый, гребцы не знали что делать; я в отчаянии взывала к отцу Нептуну, с руля слышались крики: «Спасайся сам, Абисс, и брось утопленницу!» Но госпожа приказала спасти тебя, и Абисс упорствовал, несмотря ни на какие вопли... Наконец он поймал брошенную ему веревку, обвязал тебя ею, и тебя вытащили на палубу. Вслед за тобой влез и отважный пловец, обессиленный, но сияющий гордостью за свою победу. Госпожа безмолвно пожала ему руку; она не сказала ни слова, но мы все видели, как ошарашен был мужественный Абисс. Мне показалось, что он смахнул слезы с глаз и с той поры он заботится о тебе, словно ты его собственное дитя.

— О, благодарю вас! — прошептала Актэ.— Скажи, как зовут тебя?

— Меня зовут Рабония.

— Добрая Рабония! Чем заслужила я такую заботу о моей ничтожной жизни? Мне кажется, я видела долгий, долгий, тяжелый, ужасный сон. И теперь, при пробуждении, мне так приятно смотреть на твое честное лицо...

— Восемь дней пролежала ты в горячке,— сказала Рабония.— Только вчера тебе стало лучше. Теперь Абисс может уверить нас в твоём выздоровлении.

— Абисс? Который спас меня?

— Тот самый. Он не только искусный моряк, но и врач. Я думаю даже, что в этом отношении с ним не сравнится сам главный лекарь императора.

Актэ вздрогнула. Слово «император» наполнило ее сердце трепетом надежды и любви.

Вдруг она приподнялась на подушках. Взор ее неподвижно устремился на прекрасное, благородное лицо молодой женщины, все еще безмолвно смотревшей на нее.

— Это сатанинское наваждение? — простонала Актэ, дрожащей рукой указывая на неподвижную фигуру.— Октавия, супруга императора!

— Это я,— холодно отвечала Октавия.— Не бойся ничего! Под этой кровлей ты найдешь защиту от всех невзгод.

— Но знаешь ли ты меня? — в безутешном страхе воскликнула Актэ.— Нет, ты не подозреваешь... Горе, горе мне! Вы спасли меня из морской пучины только для того, чтобы подвергнуть мучительной, медленной смерти!

— Успокойся! — отвечала императрица.— Тобой опять овладевает горячечный бред.

— Нет, о, нет! — с волнением вскричала Актэ.— Мысли мои совершенно ясны.— Она сорвала со лба освежающую повязку.— отошли женщин! Ради всего святого, заклинаю тебя, повелительница, отошли их! Наверное, ты не знаешь меня! Иначе ты не смотрела бы на меня так кротко и сострадательно!

Рабония и ее помощницы удалились.

— Императрица,— простонала Актэ, когда они остались одни,— поклянись мне, что ты предоставишь мне избрать себе род смерти!

— Что это значит? Не хочешь ли ты, едва избегнув ее, наложить на себя руки?

— Я не хочу! — с отчаянием вскричала Актэ.— Но ты, императрица, захочешь умертвить меня, когда уз-

наешь, кто я. Как? Уже прошло восемь дней? Значит, весь Рим знает об этом! Право, меня безмерно удивляет то, что ты ничего не подозреваешь! О, я задыхаюсь! Слушай же: я Актэ, отпущенница Никодима...

— Возлюбленная императора, — с печальной усмешкой закончила Октавия. — Я знала это, хотя ни разу не видала тебя раньше.

— Ты знала? И не убила меня? Не отравила? Не выколола мне глаза раскаленным железом?

— Нет, бедное, заблудшее создание! Успокойся же! Ты побледнела, как умирающая!

— Всемогущий Боже! — ломая руки, рыдала девушка. — Какое святотатство совершила я! Возможно ли для меня прощение? Повелительница, если бы я могла высказать тебе... ты, ты меня берегла и холила? О, если бы земля разверзлась подо мной, чтобы поглотить мой унижающий позор!

— Не считай меня лучше, чем я заслуживаю, — возразила Октавия. — Когда в первый раз я подошла к твоему ложу, на котором ты металась в горячке, призывая того, чье имя я не смею произнести, и узнала перстень на твоём пальце, одно мгновение мне казалось, что я брошусь на тебя, как дикий зверь. Но когда ты начала жаловаться и плакать по нему, как ребенок плачет по матери, во мне произошел странный переворот. Мне следовало лишь предоставить тебя твоей судьбе: болезнь сделала бы свое дело и без моего участия. Но в сердце моем заговорил голос, повелевавший мне нечто лучшее. Я пожалела тебя и последовала внушению божества. Мой египетский врач, Абисс, просиживал возле тебя целые ночи и его искусству удалось оправдать наши надежды.

— Надежды? Как могла ты надеяться на выздоровление твоей соперницы, от которой с ужасом отвернутся все добрые люди?

— Да, ты — Актэ, и весьма возможно, что вместе с тобой я спасла свое собственное несчастье. О, я ведь знаю, вы любили друг друга глубоко, истинно, всеми силами души. Все равно: я не могла поступить иначе. И охотно перенесу упрек в глупости и соглашусь показаться смешной, если только совесть моя не будет упрекать меня в себялюбии и бессердечной жестокости.

— Ты бредишь, Октавия! — сказала Актэ, бледная как смерть. — Так поступать не может смертная женщина. Нет, никогда, если она действительно любит.

Октавия сильно покраснела.

— Люблю ли я его? — горестно произнесла она, подняв глаза к небу. — Я отдала бы всю жизнь за то, чтобы на один только час овладеть его сердцем так же всецело, как ты!

Женская гордость, до этой минуты поддерживавшая ее, надломилась, слезы потекли по ее лицу, и она отвернулась.

— Ты низкого происхождения, — спустя немного, продолжала она, — но я нисколько не стыжусь завидовать тебе. В любви нет ни звания, ни знатности, пожалуй даже нет закона; ибо все это было против тебя. Императорские почести, прежде почитаемые мной небесным даром, теперь кажутся мне презренным прахом! Я желала бы быть последней рабыней, если бы через это могла добиться от него единственного взгляда, такого, каким он смотрел в твои глаза. Страшно и мучительно было мне слышать отголоски твоего несказанного блаженства, звучавшие в твоих горячечных речах... Я чуть не умерла от горя. И все-таки я перенесла это. Моя любовь к нему так глубока и священна, что и на тебя падает ее примиряющий отблеск.

Актэ сидела как окаменевшая.

— Ты все еще сомневаешься? — спросила Октавия, улыбаясь сквозь слезы. — Дай руку! Я прощаю тебе. Когда ты выздоровеешь, ты уйдешь отсюда свободно куда хочешь. Что мне в твоём насильственном изгнании, на котором так настаивала Агриппина? Конечно, ты исчезла бы для него, но душа его по-прежнему осталась бы верна тому, что наполняло ее. Для настоящей, истинной любви, так как я ее понимаю, на земле не существует Леты!

Глубоко потрясенная Актэ упала на подушки. Схватив дрожащими пальцами протянутую к ней узкую, маленькую руку, она бурно припала к ней горячими губами. Но лихорадочное пожатие ее ослабело, она побледнела, как полотно, и глубокий спасительный обморок оковал ее измученный мозг, между тем как Октавия, побежденная страстной борьбой своего сердца, со стоном опустилась возле ложа молодой девушки.

ГЛАВА X

Труд — всеисцеляющее лекарство. Случись все это зимой, цезарь мог бы броситься в кипучий водоворот внутренней и внешней политики, и кто знает, как сложились бы последующие обстоятельства. Но

теперь солнце уже почти достигло созвездия Льва, государственные дела приостановились; по мнению аристократического света, Рим сделался невыносим и, таким образом, оставалось лишь перебраться на виллу в Кампанье с ее безумными, сказочными удовольствиями...

Над прекрасной Байей уже опустилась душная ночь. Шумные улицы постепенно затихали. Кое-где из матросских таверн раздавалась еще застольная песня. В роскошных виллах царило спокойствие пресыщения. Утомленные обитатели их при раскрытых дверях лежали на подушках в своих спальнях, ища по крайней мере хоть отдохновения, раз уж удушливая атмосфера прогоняла сон.

Но дальше, в нескольких сотнях шагов от берега Фалива, еще горели бесчисленные смоляные площадки, красноватый дым которых почти отвесно поднимался к небу.

Здесь, в розовых садах Сальвия Ото, пировали поздние гости, в беззаветном веселье осушавшие кубок за кубком.

По предложению своего высокого друга, императора, хозяин дома, Сальвий Ото, провозглашен был королем пиршества и с безукоризненным изяществом исполнял свою шутливую обязанность. Богато разодетые рабы беспрестанно наполняли серебряные кубки; прелестные испанки с длинными распущенными волосами, подобно крылатым гениям, мелькали в своих обтягивающих тело прозрачных одеждах, предлагая пирующим так называемые «белларии», пряные лакомства, употреблявшиеся римскими кутилами для возбуждения сил. Король пира, Ото, гордо возлежал на верхнем конце стола рядом с гречанкой из Эпидамна, недавно прибывшей в столицу. Справа от гречанки сидел сердцеед Софоний Тигеллин с супругой одного из сенаторов, молодой Септимией, которая вела себя, как безумная. Взгляд ее буквально впивался в темные глаза ее кавалера. Несмотря на длину его «очаровательно-звучного» имени, она поклялась в течение часа выпить установленное число тостов, то есть осушить за здоровье обожаемого человека столько кубков, сколько было букв в слове «Tigellinus». Она уже дошла до буквы «и».

Слева от короля праздника помещался достойный Сенека, придерживавшийся горациева правила, что нет ничего приятнее, как при случае кутнуть на славу. Быть может также, совесть извиняла его вы-

сшей властью высокополитических, государственных причин: по мнению философа, Нерон именно теперь находился на лучшем пути к окончательному уничтожению влияния императрицы-матери. Для успешного поддержания этой оппозиции, юный цезарь нуждался в известном опьянении. Несмотря на все открытия относительно прошлого Агриппины, в нем все еще жила его знаменитая сыновняя привязанность; в часы уединения император искал оправданий для преступлений матери, «грешившей всегда лишь ради него»! Поэтому советник считал полезным, когда цезарь вместо того, чтобы предаваться размышлениям, открыто и искренно бросался в шумный праздник жизни. Соседка Сенеки была немногим серьезнее и умнее Тигеллиновой Септимии, но она всегда придерживалась моды, а теперь была мода на философию. По этой причине она нисколько не завидовала своей подруге Септимии. Тщеславие в ней превосходило жажду поклонения.

Нерон сидел на последнем месте в конце стола, для того, как льстиво заметил Ото, чтобы превратить нижний конец в верхний.

Собеседницей императора была Поппея, супруга Ото.

Танцовщицы и флейтисты, жонглеры и декламаторы, по исконному обычаю, наполняли все перерывы пиршества. Было уже за полночь. В сопровождении нескольких факелоносцев показалась всеми любимая певица Хлорис. Следуя за течением столичной жизни, она также покинула Рим в майские иды, и переселилась в Байю, где зарабатывала огромные деньги своим пением в домах богатых аристократов. Против ее собственного желания, вместе с деньгами, она приобретала также симпатии многочисленных кутил, повсюду преследовавших ее и призывавших Юпитера в свидетели их вероломных клятв.

С неподражаемой грацией подняв стальной плектрум, она запела любовную песнь, при свете спокойно горевших факелов поразительно напоминая собой Мельпомену...

— Очаровательная невинность! — прошептала Септимия, нежно прижимаясь к плечу агригентца.

Голос ее звучал насмешливо. Хотя Тигеллин и не принадлежал к числу людей, уважающих непорочность женщины, он все-таки почувствовал себя втайне оскорбленным. Кроме того, его раздосадовало то, что влюбленная Септимия вовсе не оставляла ему времени

для одержания над ней победы, но сама прямо так и давалась ему в руки.

— Действительно, девушка эта безупречна,— заметил он.— Вид ее освежает мою душу, подобно благоуханной росе.

— О, я не знала, что ты такой поклонник невинности,— несколько нервно возразила прекрасная Септимия.

— Почему же мне не быть им?

— Ты славишься, как ее самый опасный противник.

— Недурная эпитафия! Но это клевета.

— В самом деле? Значит, длинный список твоих жертв — миф? Разве ты сам не признался мне час тому назад, что твои походы под орлами Афродиты были не совсем бесславны?

— Смею ли я напомнить прекрасной Септимии, что ее пурпуровые губки с привычной непоследовательностью отклонились от предмета разговора? Ведь речь шла не обо мне и не о моих «подвигах».

— Разумеется, мы говорили о Хлорис. Ты защищаешь ее, ты ручаешься за ее добродетель. Быть может, мой друг Тигеллин потому так уверен в ее неприступности, что недавно сам был отвергнут ею?

— Не я,— со спокойной вежливостью отвечал Тигеллин,— но были другие, и даже очень искусные претенденты, например... но не следует называть имен.

— Мне ты можешь довериться.

— Невозможно!

— Быть может, Ото? — с лукавой улыбкой шепнула она.

— Что с тобой, Септимия? Ото, вечный новобрачный, влюбленный в свою Поппею Сабину!

— Правда, что он влюблен. Но она плохо отвечает ему. Или уж не была ли и Поппея занесена в список Тигеллина?

— Щекотливый вопрос. Нет, Септимия. Наша Поппея, несмотря на свою красоту, всегда оставляла меня равнодушным. К тому же, ведь еще неизвестно, не постигло ли бы и меня у Поппеи то же, что постигло твоего высокородного супруга у очаровательной Хлорис.

— Что? Моего супруга? Энея Камилла, этого вернейшего и трусливейшего из всех мулов, когда-либо впряженных в супружеское ярмо?

— Ты сказала.

— Я смеюсь над твоими выдумками.

— Это не выдумка, а факт, и я говорю это тебе в наказание за твою насмешку над Хлорис.

— Смотри-ка, как ты защищаешь свою Виргинию! Впрочем, какое же это наказание? Я думаю, тебе известно, что и к величайшей глупости Энея Камилла я так же равнодушна, как к шалости школьника. Ты не поверишь, Софоний, как меня тяготит его любовь. Я благодарю богов за то, что удалось, наконец, послать его в горы. Врач, мой поверенный, уговаривал его просто до хрипоты, и только с большим трудом добрый Камилл поверил, наконец, что морской воздух вреден ему.

Тигеллин отвернулся. Эта молодая, красивая женщина внушала ему отвращение.

Септимия осушила еще полный кубок.

— Это за «s». Твое имя окончено.

Она поднялась и громко сообщила о своем подвиге Сальвию Ото.

— Рукоплечите! — воскликнул он. — Тебе, прекрасная Септимия, награда принадлежит по праву. Наша маленькая финикианка Хаздра не замедлит увенчать твое чело венком победительницы.

Поверенная Поппеи, задумчивая Хаздра вышла из-за деревьев, где она все время печально сидела на каменной скамье. Шумный пир с удвоенной силой пробудил страстное горе, хранимое ею глубоко в сердце. Фаракс, пламенно обожаемый ею кумир, несмотря на нескладность его эпистолярного слога, Фаракс, с которым она уже имела тайные свидания, письмом уведомил ее, что его женитьба на ней несовместима с его новым званием военного трибуна. Письмо заканчивалось уверением, что он, тем не менее, будет вспоминать о ней с искренней дружбой. Но что это было для бедной, хорошенькой Хаздры, которую дружба великолепного Фаракса удовлетворяла так же мало, как голодного — список кушаний? Она была уничтожена. Под ее густыми ресницами сверкала страшная ненависть. Значит, доходившие до нее слухи — правда. Агриппина, мать императора... просто невероятно, невообразимо! Конечно, тот, кого заключала в объятия повелительница Рима, должен был быть поражен до безумства мечтой о своем величии. Финикианка, и без того считавшаяся варваркой, уже не годилась ему; с его стороны было даже милостью снизить до Ацерронии, дочери кордубанского всадника. О, эта красно-волосая пантера с ядовитыми глазами и вечно кривящимся ртом! Но нет! Ведь Ацеррония только орудие

Агриппины! Ацеррония невинна в сравнении с императрицей! Агриппина! Имя это для финикиянки было равнозначно мучениям пытки. Возле лицемерной тигрицы на престоле, Ацеррония была только безвредной дикой кошкой.

Такие чувства кипели во время пира в смуглой груди пламенной Хаздры. Держа в правой руке венки из роз, а левую прижав к сердцу, она с поклоном приблизилась к Септимии, начинавшей теперь ощущать серьезные последствия своего многобуквенного поста, и грациозным движением возложила ей на голову искусно сплетенное украшение.

— Тигеллин! — прошептала Септимия, томно склоняясь на грудь агригентца. — Я вмешаюсь твоим мольбам. Я хочу быть твоей, Софоний, твоей... твоей...

Тигеллин вежливо высвободился от нее.

Между тем прелестная Хлорис окончила пение, не смущаясь тем, что ее мало слушали во время «коронации» Септимии. Она колебалась, начинать ли новую песню. Но Сальвий Ото пресек ее нерешительность, высоко подняв увитый виноградом кубок и слегка заплетавшимся языком воскликнув:

— Большой перерыв.

Те, кто еще мог встать, поднялись из-за стола и в одиночку или парами отправились бродить по роскошной роще, разведенной еще отцом Ото.

— Ты извинишь меня за минутку отсутствия, — сказал агригентец своей даме, — мне нужно сказать Хлорис пару слов.

— Арфистке? — удивилась Септимия. — Ты? Значит все-таки...

— Только по делу. Она нужна мне послезавтра... для морской прогулки, которую я задумал. Я надеюсь, что император и прекрасная Септимия останутся довольны.

Лицо Септимии сияло самодовольством, пока агригентец тихонько отводил в сторону родосскую певицу.

— Так ты придешь? — спросил он, медленно обхватывая своей рукой ее левую руку.

Хлорис затрепетала и молча опустила взор.

— Ты не отвечаешь? — продолжал Тигеллин.

— Я не знаю, позволит ли мне Артемидор, — боязливо отвечала она.

— Артемидор? Отпущенник Флавия Сцевина? Во имя Кастора, скажи, разве он твой опекун?

— Не опекун, но жених.

— Смешно! Какое ребячество! Неужели ты серьезно веришь, что он женится на тебе? Ему это и не снится! Сегодня Хлорис, завтра Дорис! Его возраст — олицетворение ветренности!

— Он дал мне слово.

— Ну даже если и так: разве это составит твою счастье? Ты, свободнорожденная, божественная артистка — и Артемидор, бывший раб, попавший уже однажды в руки палача...

— Господин,— пролепетала вспыхнувшая Хлорис,— он так благороден, так добр...

— Но ты не любишь его! Иначе ты не стала бы выставлять передо мной его преимущества, а просто заявила бы: он мой бог! И я также добр, обворожительная Хлорис, но все-таки никто не станет утверждать, что ты отдала мне свое сердце.

— Конечно, нет!

— Вот видишь! Что значит твоё затруднение? Ты обещала мне украсить твоим соучастием мой праздник на заливе: я же лучше тебя знаю вкус моих гостей и хочу сам выбрать подходящие песни из твоей артистической сокровищницы. Неужели это кажется тебе так странно?

— Нет. Но я думала...

— Не думай ты ничего, моя сладкая голубка, а только чувствуй и пой! И так, завтра, в третьем часу после восхода солнца! Слева четвертая дверь в перистиле. Но входи не через атриум, а через сад! Тебя не должны заметить, иначе весь сюрприз будет испорчен.

Она все еще колебалась. Тигеллин отечески похлопал ее по плечу.

— Ты олицетворение робости, прекрасная родоска! Положим, что Артемидор имеет на тебя право: так разве я требую от тебя что-нибудь худое? И неужели он сердится, если ты твоими рифмами украшаешь буйные пиршества?

— Это мое ремесло...

— И то, чего я от тебя требую, также твоё ремесло. Без подготовки нельзя выступать перед слушателями. Ну, обещай же мне именем Аполлона, вождя муз, что ты не заставишь дожидаться самого ревностного из твоих почитателей!

Он протянул ей правую руку.

— Хорошо, я приду,— робко согласилась она.— Но ты, с твоей стороны, также честно исполнишь твоё обещание?

— Все, все! — отвечал просиявший радостью агригентец.

— Твой искусный в художествах раб Пирр будет присутствовать при выборе песен?

— Конечно. Его суждение так драгоценно для меня!

— Наверное!

— Наверное! А теперь, взгляни мне в глаза хоть один раз! Неужели же я уж так страшен? Или я дикий зверь? Улыбнись же, очаровательная гречанка! Или ты все еще думаешь об Артемидоре?

— К сожалению, я думаю о нем слишком мало! — вырвалось у нее со вздохом.

В следующее мгновение она раскаялась в своих словах; но было уже поздно. Тигеллин понял, что робкая лань не ускользнет от него. Улыбка горделивого самодовольства мелькнула на его губах. Одна эта победа в его глазах стоила двадцати побед в кругу сенаторов и всадников.

Хлорис удалилась. Пока она поспешно выходила через боковую дверь, Тигеллин вернулся к своей пламенной обожательнице Септимии и любезно подал ей руку

Она встала и всей тяжестью навалилась на него.

— Я хмельна! Божественный Тигеллин, я хмельна! — непрерывно хохоча, повторяла она. — Нет, вот так потеха! Все кружится около меня... и ты также, Софоний... ты также! Да держи же меня хорошенько! Так! Так! А теперь отведи меня туда, за пинии и поцелуй меня крепко... знаешь как... ах глупый, добрый Камилл! Ведь этот осел и целовать-то не умеет!

Тигеллин не был жестокосерд. Он храбро потащил в сад всю охмелевшую, спотыкавшуюся на каждом шагу собеседницу и, кроме потребованного ею поцелуя, дал ей еще несколько впридачу.

Большинство гостей парами гуляли по душистому саду или сидели на скамьях на вершине холма, где воздух казался свежее и чище, нежели за столом под вязами.

Один Сенека, как бы погруженный в размышление, стоял еще перед громадной кружкой и, отклонив ус-лугу рабов, сам наполнял свой кубок.

— Безумный свет! — говорил он себе. — Он ничтожен, а все-таки может во всякую минуту заставить нас позабыть о своем ничтожестве! Пожалуй, Бахус все-таки самая лучшая из философий. Освободитель от забот, я приношу жертву тебе, ибо вот, я держу твое воплощение в моих руках, и мне не нужно

предварительно воссоздавать тебя по законам логики.

Он вылил половину содержимого в кубке на землю. Остальную половину он выпил с подозрительной неуверенностью в движениях.

— Эвое! — воскликнул он, размахивая пустым кубком. — Эвое!

Затем, с большой величавостью направившись в дом, он бросился на бронзовую скамью, стоявшую в слабо освещенной колоннаде и, прежде чем замолкло эхо от его грузного падения, он уже заснул глубоким сном опьяневшего человека.

ГЛАВА XI

Не смотря на то, что во время пира Септимия всецело владела вниманием Тигеллина, он тем не менее успел приметить странное волнение Поппеи и постоянно изменявшееся выражение лица ее царственного собеседника.

Император казался все более и более очарован обворожительной супругой Ото. Несколько раз он заглядывал на нее взором, полным как бы сердечной признательности. Облако, обыкновенно появлявшееся на его челе посреди самого разгульного веселья, сегодня мелькнуло только на одно мгновение — когда Хлорис ударила по струнам своей арфы.

Тигеллин радовался этой перемене. Глупая история с Актэ, конечно, прелестной девочкой, пожалуй даже не хуже очаровательной родоски, должна была быть наконец изглажена из памяти императора. Для этой цели Поппея годилась как нельзя лучше. И как благотворны будут ее сети для Палатинума! Там, где господствует Поппея, царят веселье, роскошь и наслаждение жизнью. Если она одержит эту великую победу, то дворец превратится в обитель богов. Тогда уже **незачем** будет боязливо скрывать свои похождения и сердечные тайны; тогда можно будет расточать миллиарды там, где теперь тратились только сотни тысяч или миллионы; короче, представится полная возможность проявлять свою личность такой, какой ее создали благосклонные боги, и топтать ногами все, что вздумало бы сопротивляться этому проявлению.

Блестящий кутила охотно подслушал бы беседу императора с Поппеей, остановившихся у мраморной ограды парка и смотревших на расстилавшийся перед

ними залив. Но «хмельная» Септимия так крепко цеплялась за его руку, что он не мог стряхнуть ее, не выказав грубости.

Поппея и Нерон стояли, близко прислонившись друг к другу.

Они молчали. Император широко раскрытыми глазами смотрел на голубовато-серые воды залива... Поппея с милым кокетством положила ему руку на плечо, как бы желая сказать: «Помни, что возле тебя стоит друг, готовый сочувствовать всему, что волнует твое сердце!»

Долго не нарушалось молчание. Думы цезаря, казалось, унеслись в печальное прошлое.

Наконец Поппея заговорила.

— О чем думаешь ты, цезарь? — спросила она. — Все еще о твоей вечной утрате?

Он не отвечал.

— Я знаю, — продолжала она, — что возвышенным натурам забвение дается лишь медленно и с трудом. Так я возьму на себя задачу постепенно залечить твою сердечную рану. Ободришь, мой друг! Или мне действительно следует сожалеть, что черты мои напомнили тебе умершую? А я надеялась, благодаря этому незначительному сходству, сделаться еще дороже тебе...

— Это так и есть! — возразил император. — Я чувствую, как с каждым днем ты становишься все необходимее мне...

— Я счастлива этим! О, потерпи еще немного! Твоя горьость о ней будет постепенно смягчаться, и наконец ты совсем перестанешь чувствовать печаль, теперь еще терзающую тебя. Клавдий Нерон! Посмотри на меня! Тебя воспитал великий мудрец Сенека. Можешь ли ты, воспитанник этого героя, вообще впасть в болезненную меланхолию? Покорность неотвратимому — вот в чем состоит мужество мужчины и человека. Ты весь погружен в прошедшее и удивляешься, что для тебя умерла весна!

— Прошедшее! — глухо повторил Нерон. — Ужасное слово! Сияющие подобно бессмертным богам, в течение бесчисленных тысячелетий странствуют над нами звезды; но все-таки наступит наконец час, в который навеки погаснут и они, страшный смертный час великого Пана...

— И час рождения всемирной, всепоглощающей ночи, — вздохнула Поппея. — Как жалка и презренна участь человека! Мы не существовали целую вечность

и, когда минет наше мимолетное бытие, мы снова исчезнем на веки. Что же значат печали, заботы, горь в этот короткий, дарованный нам промежуток? Актис умерла, потому что так хотела судьба. Но все равно, она умерла бы прежде, чем протекло бы это столетие, даже если бы боги продлили ее жизнь до крайних пределов. То же самое относится и к нам, увы! Песок в часах Сатурна может высыпаться и для нас еще сегодня. А умирая, не пожалеешь ли ты о каждой минуте, проведенной тобой без радости, в тоске? Сегодня мы еще живем! Будем же наслаждаться!

Нерон глубоко вздохнул.

— Клянись Стиксом, ты права! — внезапно выпрямляясь, сказал он. — Все одна тщета, а больше всего — жалобы о прошедшем.

Она взглянула на него полными слез глазами.

— Ты плачешь, Поппея?

— От радости, от счастья...

Нерон нежно обнял ее.

— Сегодня мы еще живем! — прошептал он, полупьяненный ее непреодолимой прелестью. — Как ты прекрасна!

С ловко сыгранной робостью Поппея старалась освободиться от него.

— Сегодня еще у тебя розы в волосах и розы, розы на цветущих устах!

— Оставь меня, цезарь! — вкрадчиво просила она. — Вспомни Ото!

— Зачем один Ото будет Зевсом? Несравненная Ио слишком обворожительна для этого! Сегодня мы еще живем.

И он осыпал ее страстными поцелуями.

— Что нам до этих ледяных звезд с их унижающей человечество вечностью, когда мы жадно пьем наслаждение минуты? Поппея, в тебе олицетворены Фалес, Гераклит и Платон! Ты затмеваешь Сенеку, как солнце луну. Сладостная утешительница, за тобой я буду следовать всю жизнь!

Как бы в избытке счастья, Поппея бросилась к нему на грудь.

— Нерон, я обожаю тебя! — задыхаясь, прошептала она.

Он снова обнял ее, и ее губы припали к его губам в одном долгом, горячем поцелуе.

— А Ото? — спросил он вдруг, когда она оторвалась от него. — Ото, о котором мне так строго напоминала Поппея?

— Что мне до Ото, когда я знаю, что Клавдий Нерон *любит* меня? Я смело вооружилась бы долгом в защиту от прихоти властелина: но любовь твоя сильнее всего. Теперь я чувствую то, о чем лишь смутно подозревала прежде: что Ото для меня не более, как посторонний...

— Да, но увы! Ты все-таки останешься с этим посторонним, будешь делить его жизнь и его ложе...

— Что же мне делать? Разве я не жена его!

Наступило молчание.

— Когда и где мы увидимся? — внезапно спросил император.— Я подразумеваю: с глазу на глаз?

— Когда и где повелишь. Но берегись! Ото ревнив, как старик.

Нерон пожал плечами.

— Кому говоришь ты это, прекрасная Поппея!

— Не понимай меня превратно! Я говорю это не ради тебя, но ради себя!

— Что может он сделать тебе? К тому же, ему вовсе ничего не следует знать пока. Я поговорю с Тигеллином. Он уж займет его чем-нибудь на стороне. Право, Поппея, ты оскорбляешь мое неожиданное счастье такими мелочными опасениями.

— Да, ты прав,— радостно сказала она.— Будь, что будет: я твоя рабыня...

— Моя путеводительница,— поправил ее Нерон,— моя очаровательная наставница в наслаждениях жизни!

— Да будет так! И я уверена, что мой юный ученик уже завтра позабудет о своей печали. Утром, после завтрака, ты найдешь меня в беседке...

— Я приду, божественная Афродита! О, я умираю от любви! Дай еще раз прижать тебя к сердцу!

— Слушай! Шаги! — сказала Поппея.

— Они далеко. Еще один поцелуй, возлюбленная! Так! А теперь уйдем! Вторая часть праздника сейчас начнется!

Громкие трубные звуки резко пронеслись в голубоватом, ночном воздухе.

Поппея и Нерон, рука в руку, отошли от обвитой плющом стены и безмолвно направились к пиршественному столу.

В сердце молодой женщины звучала победная песнь.

Вялый, пустой, пошлый Ото узнает, на что способна любимая Клавдием Нероном Поппея!

Сам Нерон, по ее непоколебимому убеждению, со временем потребует от нее разрушения ненавистного

супружества. Окончательно опьянив его счастьем ее любви, она распишет ему безумную страсть к ней ее мужа... Она разбудит ревность и царственную гордость Нерона и истерзает его сердце до того, что он по собственному побуждению потребует ее развода. Освободившись, она решит, как обеспечить свое положение, и попытается — мысль эта явилась у нее только сегодня — заставить императора, из противодействия страшной Агриппине, отделаться от страстно ненавидимой ею Октавии.

Поппея не могла говорить: так сильно бушевала радость победы в ее честолюбивой душе, не ощущавшей ни любви, ни увлечения. Поппея любила одну себя и, не колеблясь, принесла бы в жертву своему эгоизму решительно все, даже самые священные чувства.

Нерон, между тем, едва примечал ее молчание. Мысли его мчались, подобно облакам, в ту бурную ночь, когда незабвенную Актэ похитили из ее виллы. Он казался себе изменником.

Обладавший Актэ, мог ли он надеяться на счастье с Поппеей? И не был ли Ото, после агригентца, его лучшим другом? И этого друга он обманывал в его заветнейшем чувстве. Он рыл яму под его ногами и платил ему пунической верностью за нежную привязанность...

Но скоро им снова овладела прежняя горечь и непримиримый гнев на судьбу. Отнимая у друга жену, он делал совершенно то же, что сделали с ним самим бессмертные боги. «Всеблагий» Юпитер отнял у него Актэ, не думая, что разбивает его сердце. Теперь Нерон играл роль Юпитера. Такая перемена казалась ему вполне справедливой. К тому же, если рассуждать по чести, оказывалось, что Поппея сама навязалась ему. Он только пользовался неоспоримым правом позинать то, что было для него посеяно.

А главное: сегодня мы еще живем! Слова эти шепнул ее обворожительный голос. Бери пенящийся кубок! Осуши его до опьянения! Не спрашивай, умирает ли кто-нибудь от жажды, пока ты можешь упиваться! Разве есть стыд у судьбы? Зачем у нее так мало избранных? Ото, потерявший Поппею, не заслужил ничего лучшего. На его долю достаются насмешки и презрение. О, несчастный! Менелай, царь ахейцев, мог идти войной на похитителя своей супруги. Но ничтожный Ото, что сделает он своему могущественному императору? Преторианцы были лучшим оплотом,

Желези стены Илиона. Бедный обманутый муж должен покориться, если не хочет, подобно взбесившемуся волу, слепо броситься на острия копий.

Нерон вздохнул.

Преторианцы! Впервые поправ закон справедливости, он ощутил потребность в этом железном оплоте. До этой минуты он никогда не думал о нем.

Ядовитый цветок тирании начинал прозябать.

ГЛАВА XII

Лето в Байе окончилось точно так же, как началось.

Праздник сменялся праздником, благодаря соединенным усилиям Тигеллина и Поппеи, решивших не давать императору опомниться. При этом они умели устраивать так, что не чувствовалось ни малейшего пресыщения.

Длинный ряд великолепных зрелищ, игр и бегов часто прерывался освежающими катаниями по ночному заливу, когда не слышалось никаких звуков, кроме мерного всплеска весел.

Окончательно опутав императора своими сетями, Поппея заботилась теперь также о том, чтобы ему было достаточно времени для сна. Поэтому, не менее прежнего разнузданные и буйные пиршества никогда не затягивались дольше полуночи.

Два вечера в неделю, по настойчивым убеждениям друзей, Нерон посвящал декламаторству, пению и игре на лире, или, по примеру известных модных артистов, представлял мимические сцены из древнегреческих легенд, как жертву Ифигении, страдания Филоктета, возвращение Лаэртидов и пр.

Прежде он делал это очень редко и только в самом тесном кругу близких ему лиц.

Теперь же приглашали половину Байи и, несмотря на то, что чувство приличия римлян сильно оскорблялось этими артистическими излишествами, тем не менее властителю мира рукоплескали, и даже с удвоенным усердием после того, как один старый сенатор, мирно заснувший при самых отчаянных жалобах Филоктета, был разбужен услужливым преторианцем ударом рукояткой копья в спину.

Начало осени также провели в Байе, «к сожалению, без всеоживляющего присутствия Ото», как лицемерно выразился Тигеллин. Милость цезаря возвысила Ото в сан пропретора Лузитании.

То-то были объятия и рукопожатия и взмахи ярко-красными вуалями, когда обманутый муж коварной Поппеи, «памятуя о своих патриотических обязанностях», отплывал от Мизенского мыса! Начальник флота Аничет лично командовал разукрашенным яркими вымпелами кораблем, с почестями увозившим лишнего супруга на берега Иберийского полуострова.

Замечательно! Прежде безумно ревнивый и пылкий Ото с некоторых пор сделался так тих и спокоен, что Нерон чувствовал себя неловко с ним. Уже по одной этой причине император избрал для «почетного изгнания» неудобного мужа отдаленную Лузитанию.

Из предосторожности он назначил адъютантом при новом пропреторе молодого германского офицера, обязанного следить за должностной и частной жизнью Ото.

Офицер этот был военный трибун Гизо, сын хатского князя Лоллария.

Нерон считал ее настолько же преданным себе, насколько умным, не подозревая, что Гизо, которому до глубины души претила развратная жизнь в Байе, давно уже втайне держал сторону Ото.

Поппею также смущала непостижимая перемена в ее муже.

Она ожидала открытой ссоры, когда объявила, что, к своему величайшему сожалению, вынуждена остаться в Италии, так как врач считает климат Лузитании для нее смертельным.

Но Ото так покорно принял ее отказ, что она была поражена. Неужели его прежняя ревность была лишь притворством? Или он разлюбил ее?

Или в своем возрастающем самомнении он считал серьезную измену невозможной? Ей почти казалось так, и прощальные слова мужа, по-видимому, подтвердили ее догадку. Садясь в лодку для переезда на корабль, Сальвий Ото взволнованным голосом обратился к императору:

— Дорогой,— сказал он,— побереги мою верную Поппею и позаботься, чтобы она не слишком соскучилась до моего возвращения!

Нерон постарался справиться со своим замешательством.

— Отправляйся! — вежливо сказал он, сделав ему знак рукой.— Я не забуду твоего поручения.

— Мне известна беспредельная милость цезаря,— заметил агригентец.— Ручаюсь головой, что, если ты

желаешь, он даст приют в Палатинуме твоей осиротевшей супруге.

— Это превзошло бы мои самые смелые ожидания, — улыбнулся Ото.

Ни малейшая тень горечи или иронии не омрачила его благородное, бледное лицо. Он еще раз кивнул с приветливой улыбкой и сел в лодку, между тем как окружающие многозначительно переглянулись.

Любовь Поппеи и Нерона была для всех, имевших глаза, несомненным фактом, хотя никто не осмеливался открыто намекать на это. Поппея весьма ловко умела соблюдать внешние приличия, чтобы тем вернее упрочить свое положение. Но чтобы Ото так-таки ровно ничего не замечал — этого она не могла допустить. Вспоминая улыбающееся, спокойное лицо уезжавшего мужа, она смутно чувствовала беду...

Ото отплыл. Во второй половине сентября наступили уже прохладные ночи. Несмотря на вечные прелести Кампаньи, избалованные римляне уже стремились в центр обитаемого мира — в свою столицу.

В половине октября туда потянулись сотни экипажей; у Поппеи была чудовищная свита.

Пурпуровые коляски, запряженные четырьмя, шестью или восемью кровными конями в блестящей золотом сбруе, вместительные повозки; плоские платформы с художественным мозаичным полом и свернутыми палаточными крышами, из которых во всякую минуту можно было составить сколько угодно мест для трапезы; широкие базарные возы; высококолесные телеги с посудой — все это богатством и пышностью напоминало роскошь древних персидских царей.

Во главе поезда, на белоснежных каппадокийских конях, скакали два отряда преторианцев в сверкающих панцирях. Позади странную и фантастическую картину представляли двадцать верблюдов, покрытых длинными, багряными покрывалами с желтыми кистями, на которых восседали увешанные кольцами, черные как уголь, африканцы. Это была фантазия Тигеллина, однажды для разнообразия устроившего на берегу Байи торжественный бег верблюдов и желавшего повторить это зрелище в большом цирке.

За верблюдами шли знаменитые пятьсот ослиц, великолепные мавританские особи, из молока которых прекрасная Поппея Сабина ежедневно принимала ванну в течение четверти часа для поддержания несравненной свежести и юности своего божественного тела.

Бедные поселяне, ошав от изумления, провожали глазами этот фантастический хаос экипажей, людей и животных, тянувшийся по Аппианской дороге, пока последний отблеск солнечных лучей не исчезал на золотых подковах ослиц.

Об этих блестящих подковах уже говорили в Испании и Галлии.

Это был первый подарок императора своей возлюбленной в день ее рождения и стоил одиннадцать миллионов динариев.

Между тем вернулась в Палатинум и Октавия, ничего не подозревавшая об отношениях Нерона и Поппеи, так как никто из ее домашних не был достаточно смел или жесток для того, чтобы сообщить ей об этом. Ее сопровождали врач Абисс, Рабония и три из ее отпущенниц.

Актэ, в глазах Октавии искренне раскаявшаяся грешница, осталась на вилле в Антиуме под именем Исмены. Никто там не знал о ее прошлом, одни лишь Абисс и суровая Рабония узнали это у одра больной девушки, а им незачем было говорить о необходимости молчания.

Актэ-Исмена должна была вести хозяйство у старого, недавно овдовевшего управляющего, воспитывать его рано осиротевших внучат и вообще быть полезной по мере возможности.

Она сама желала именно такого положения в новом доме.

В действительности же ее ничто не занимало.

У нее была одна только мысль: скрыться от света, ни за что не встречать более цезаря, после того как Октавия сделалась ее благодетельницей, и раз навсегда позабыть о своем греховном счастье.

Часто думая о великодушии и благородстве молодой императрицы и о священном страдании, вызвавшем горькие слезы на ее сияющем юностью лице, она считала себя победившей и уничтожившей все свои личные чувства и стремления.

Но затем наступали минуты тоски, разрушавшей все, что в ней созидали самоотверженность, благородное усилие воли и горячие молитвы. Сердце ее было разбито, все существо ее надломлено. Тогда она не могла понять, как может быть грехом то, что казалось ей так сладко, так божественно и чисто, что осмыслило ее прежде бессознательное существование. Да, она любила его, теперь как и прежде, горячо и неизмеримо, хотя и осуждала себя за эту любовь

безжалостнее и строже, чем это сделал бы Сам Иисус Назарянин...

Ко всему этому случилось еще, что до нее дошли слухи о триумфе Пoppеи, не достигавшие до юной императрицы. Бесконечная горестъ овладела ею при этом известии; она ощущала не страстную ревность, доступную лишь менее возвышенному сердцу, но неказанную жалостъ.

Она оплакивала Октавию, в которой снова разгорелась искра потухшей надежды, и которая вернулась во дворец с робкой мыслью о возможности перемены в лучшему.

Она оплакивала императора, который все-таки должен был чувствовать себя невыразимо несчастным, если он искал у Пoppеи Сабины утешения в вечной утрате. Она уже раньше слышала от Артемидора о «первой красавице семихолмного города», о ее пустом тщеславии и коварном эгоизме. Она знала, что этой Пoppее никогда не наполнить жаждавшего счастья сердца императора. Она могла опьянить его чувства, временно заглушить его горестъ о прошедшем; но полное исцеление — если вообще возможно исцеление от мук любви — ему могла бы дать одна только Октавия. Это прелестное, девственно чистое и в то же время полное страсти существо, эта императрица в терновом венце одна была способна пролить бальзам на его кровавые раны и внести свет в его омраченную душу. Ей нужно было только раз доказать ему, что она действительно любит его, что любовь ее сильнее ее гордости и жестоко оскорбленного достоинства.

Но возможно ли это? Или злокозненный рок одарил ее непоколебимой сдержанностью? В таком случае, горе ей и горе императору!

Вскоре по возвращении из Антиума глаза супруги царя открылись, благодаря Агриппине, сообщившей ей об этом обстоятельстве не в виде торжественного и важного открытия, но лишь вскользь упомянувшей об этом в разговоре. Императрица-мать полагала, что Октавии уже известны эпизоды из жизни в Байе.

Выражение дикого отчаяния на бескровном лице Октавии было ужасно.

Даже закаленная от всяких нежных волнений Агриппина совершенно растерялась.

Подхватив на руки падающую молодую женщину, она отнесла ее в спальню, задняя стена которой скрывала в себе смертоносный арсенал, и осторожно уложила ее на диван.

Достав из ящика, соседнего с тайным хранилищем ядов Локусты, живительную воду, пахнувшую розами и лимоном, она, как мать над больным ребенком, хлопотала над бесчувственной Октавией, не призывая на помощь никого и даже не думая о том, что кто-нибудь может сделать нечто лучшее и более действенное, нежели она.

Наконец Октавия открыла глаза, но тотчас же начала бредить и выражать свою безмерную горесть раздирающими душу жалобными воплями.

— Бедная Октавия! — несколько раз повторила Агриппина. Она поцеловала ее в лоб и, на несколько мгновений, глубокое, тайное сочувствие, повсюду привлекающее женщину к ее страдающей сестре, превозмогло холодный эгоизм ее натуры. Из глаз гордой властительницы, презиравшей весь род людской и в течение многих лет знавшей лишь слезы оскорбленного тщеславия или гнева, теперь, на изголодь жестоко униженной страдалницы, упала слеза сострадания.

— Актэ! Поппея! Хлорис! — стонала Октавия, ломая руки. — Или вы все сговорились? Вы хотите отнять его у меня! А я так безгранично любила его! Вы делаете его несчастным! Да, я вижу, я вижу это! Чего нужно этим страшным всадникам, которые его преследуют? Его кровь! Вечные боги, его кровь! Помогите! Помогите! Спасите его! Актэ! Дорогая Актэ! Если ты истинно любила его, бросься же на их ужасные копыта! Ведь они пронзят его! Они раздавят его! Стойте! Во имя всемогущего Юпитера, стойте! Вот моя грудь! Убейте меня! О, ведь я не могу жить, если вы отнимете у меня его! — Судорожно схватившись за тунику при этой страшной картине бреда, она обнажила свою белоснежную грудь. — Сюда! Бейте здесь! Сюда! — кричала она, хватаясь левой рукой за сердце, точно желая сбросить давившую его мучительную тяжесть.

Агриппина поспешно вышла в переднюю комнату

— Скорей! — приказала она первой встречной рабыне. — Беги к Абиссу, врачу светлейшей Октавии, и попроси его тотчас же сюда.

Абисс немедленно явился и с глубокой горестью на умном, мужественно-прекрасном лице приблизился к ложу.

Он пощупал у больной пульс, осторожно приподнял полузакрытые веки и внимательно осмотрел зрачки.

Слегка кивнув головой, он приложил ухо к груди пациентки, чтобы прослушать сердце.

Все время Октавия не переставала стонать и бредить. Теперь новые видения окружили ее.

— Да, ты несчастен! — говорила она, пряча лицо в подушки.— Этот жалкий Фаон! Разве за это подарил ты ему прекрасную виллу? Фаон должен был бы защищать ее, а он допустил это похищение! Презренный! Разбить так твоё сердце! Не плачь, Нерон! Я не могу видеть твоих слез! Я помогу тебе отыскать ее. Непременно! И я ее найду! Нет, нет! Прочь кинжал! Ты не смеешь убивать себя! Ты должен жить, жить с ней, с незабвенной Актэ! Поверь мне, она безгранично любит тебя! И я знаю, где она... Ее белокурые волосы, так сладко опутавшие тебя, блещут среди мирт! Это вилла Фаона? О, ужасный клинок! Фаон! Актэ! Удержите же его! Помогите! Нерон! Вон... Он занес руку... Нерон! Нерон! Уже поздно!..

Голос ее звучал дико, как у безумной. Потом она тихо плакала несколько минут и вдруг вскочила.

— Пустите меня! — отчаянно воскликнула она.— Я хочу к нему! Клянусь вам: он убьет себя! Он ведь обещал это перед сенатом! Его собственная мать велела ему сделать это! Агриппина! Позовите ко мне Агриппину! Или вы не слышите? Или все покинули меня?

— Я здесь,— склоняясь к ней, произнесла Агриппина.

Обхватив ее за шею правой рукой, Октавия повторяла с горячей мольбой:

— Сделай мне милость! Позови ко мне Агриппину! Ведь она, как известно всему свету, имеет большое влияние на Нерона! Гораздо большее, нежели я! Но это так и подобает! Видишь ли, я слишком ничтожна для Нерона! Он не может любить такое незначительное создание, даже если бы хотел. Скажи это Агриппине! Если он сошелся с Актэ, я одна виновна в том! И Поппея в тысячу раз лучше меня! Не преследуйте ее за это, умоляю вас! Пусть Агриппина простит ее! Мать Юнона, я самая отверженная из женщин! О, Нерон не может простить меня! Никогда, никогда! Никакое божество не простит бедную Октавию, даже Иисус Галилеянин, снизошедший к Актэ и сделавший ее блаженной! Блаженной, блаженной! Она была блуждающей! Меня же распните на кресте, виселице позора! Прочь! Вы сверлите мне руки! Погодите, погодите! Я еще живу! О, повремените один только день! Я уже вижу приближение смерти, неумолимой смерти! Нет... скатилась последняя песчинка в ее часах! Я умерла! Умерла! И Нерон не видел своей бедной Октавии!

Рука ее бессильно упала с шеи императрицы-матери и она опрокинулась на подушки.

Абисс, по щекам которого катились слезы, поспешно вышел.

Десять минут спустя он вернулся с молочно-белой жидкостью в металлической чаше.

— Повелительница,— прошептал он, с мольбой глядя в безумные глаза Октавии,— выпей это, тогда ты успокоишься.

Она прислушалась к его мягкому голосу.

— Кто говорил со мной? — улыбаясь, спросила она.— Говорил так кротко, так невыразимо ласково? Это Нерон, мой дорогой супруг. Подойди же!.. Ближе!.. Но я не вижу тебя. Неужели я слепа? Мои глаза задержаны дымкой.

Приподняв ее правой рукой, левой Абисс поднес напиток к губам Октавии.

Проглотив несколько капель, она быстро откинулась назад и пронзительно закричала.

— Яд! Яд! Вы хотите отравить меня.

— Успокойся, повелительница. Это я, Абисс, твой преданнейший слуга, готовый оберегать тебя, как зеницу ока.

Прищуриваясь, она посмотрела на него.

— Да, я узнаю тебя! Благодарение бессмертным, что ты здесь! Приди, возлюбленный, поцелуй меня! Зачем ты отворачиваешься? Или ты все еще думаешь об Актэ? Нет, ты опять прижмешь меня к сердцу, как тогда! Помнишь, тогда? О, на моем лбу надет расплавленный золотой обруч! Как он стучит и горит! Дайте же мне снегу... Я умираю!

— Выпей! — повторил потрясенный Абисс.

Она повиновалась без сопротивления.

Между тем в комнату проскользнула поверенная Агриппины, зеленоокая Ацеррония, в сопровождении своей рабыни Олбии.

Пользуясь своим правом врача, Абисс сделал ей вежливый, по энергичный знак удалиться.

— Полнейшее спокойствие,— шепотом прибавил он,— есть единственное средство для постепенного прекращения этого страшного припадка.

Рыжая кордубанка повиновалась лишь очень неохотно и из-под желтоватых ресниц ее сверкнул луч ненависти и ожесточения.

Абисс уже во второй раз ставил свои врачебные обязанности выше вежливости и придворного этикета. Прошлую зиму, когда императрица-мать внезапно

Нахворала сильной головной болью, а ее собственный лекарь был нездоров, этот дерзкий Абисс осмелился также указать ей на дверь! Просто невероятно! Раб дерзал приказывать ей, дочери римского полноправного гражданина и всадника! Нахал! Самонадеянный, бесстыдный безумец! Конечно, быть может, ему удобнее без свидетелей прижимать чернокудрую голову к белоснежной груди своей пациентки и поддерживать ее, словно нежный жених!

Таковыми речами выражала она свою досаду, между тем как Олбия, по обыкновению, поддакивала ей.

Ацеррония вообще находилась в крайнем раздражении. Брак ее с Фараксом оказался очень неудачным. Почти тотчас же после свадьбы они стали жить отдельно: она в Палатинуме, он — в главной казарме преторианцев. Агриппина предоставила ему выйти из легиона и оставаться во дворце в качестве исполнителя ее поручений. Но короткая попытка сожительства с Ацерронией окончилась плачевно, так как Фаракс, некогда смело противившийся лозе центурионов, окончательно пасовал перед когтями своей длинногривой пантеры. Он также убедился, что прошедшее Ацерронии было не так безупречно, как можно было бы заключить из пощечины, данной ею Тигеллину.

Не обращая ни малейшего внимания на яростный взгляд Ацерронии, Абисс обратился к Агриппине и, показывая ей остаток уже наполовину свернувшейся жидкости в чаше, тихо прошептал:

— Это усыпляющий напиток, состоящий преимущественно из мака. Если он подействует, то улучшение наступит завтра же. Прикажи только, чтобы никто не тревожил нашу больную.

— Благодарю тебя,— сказала императрица-мать, протягивая ему руку для поцелуя.— Никто не войдет сюда, кроме меня и отпущенницы Рабонии.

Абисс удалился.

Почти еще час Октавия продолжала метаться, вскакивать, бредить и кричать. Понемногу, однако, она стала спокойнее. Наконец ее объял тяжелый сон, продолжавшийся от первого часа ночи до следующего полудня. Когда она открыла глаза, сознание вернулось к ней. Она совершенно позабыла только то, что происходило после ее разговора с императрицей-матерью. Она также чувствовала невероятную слабость.

— Мы победили,— сказал Агриппине Абисс.— Теперь нужны заботливый уход, надлежащее питание

и полнейшее умолчание об известных предметах. Ты понимаешь меня, повелительница!

В продолжение восьми дней Октавия не вставала с постели.

Прошло еще восемь дней, пока она окрепла настолько, что могла полчаса погулять в дворцовом саду.

Как раз в это время состоялось возвращение императора и переселение во дворец Поппеи Сабины.

Нерон представил Поппею, как приятельницу, отданную под его покровительство превосходным Ото. Его не извещали о болезни Октавии. Явившийся с подобной вестью мог в тот же миг подвергнуться всей мощи смертельного гнева Поппеи, и сообщение во всяком случае осталось бы бесплодным, так как Поппея до того всецело овладела пламенным императором, что ее могло вытеснить только одно событие: появление Акта.

Агриппина пыталась направить цезаря на путь благоразумия. Она заклинала его отослать жену Ото в Лузитанию или на ее собственную родину, только не наносить молодой императрице оскорбления, невыносимого даже для последней римлянки: не поселять любовницу под одной кровлей с супругой.

Нерон оспаривал свою связь с Поппеей Сабинной и тем крепче держался за свою безумную фантазию, что не доверял матери и подозревал новые властолюбивые замыслы в том, что в действительности было лишь благоразумным предостережением мудрой женщины.

Октавия притворилась, что вполне верит ложным объяснениям цезаря. Она поступала как Ото, хотя и по иным побуждениям. Она была слишком бессильна, слишком надломлена, чтобы решиться на борьбу с презренной соперницей. Вообще, борьба в этой области была бесполезной глупостью, это она сознавала яснее, чем когда-либо. Не глубина или искренность любви и не благородные поступки могли восторгествовать здесь: победа зависела исключительно от милости богов. Сначала она колебалась, не уступить ли просто свое место сопернице и навсегда удалиться в антиумскую виллу, но потом она откинула эту мысль.

«Долг предписывает мне терпеть,— думала она.— Если всемогущий Юпитер захочет, завтра же он наполнит сердце моего супруга любовью к отверженной, которая кажется ему теперь лишь тяжелым бременем. Тогда он найдет меня готовой принять его».

Обращение Октавии с императором было полно кротости и доброты. Она даже заставляла себя быть вежливой с Поппеей Сабинной, хотя сохраняя при этом

большую церемонность и делая вид, что не замечает горжествующей усмешки, мелькавшей иногда на губах дерзкой женщины.

Эта тихая покорность судьбе имела на нее благотворное влияние. Она поправилась, несмотря на непосредственную близость той, которая оскверняла ее семейный очаг.

К ней вернулись сознание силы и нравственная свежесть, покинувшие ее со времени замужества. С трепетом тайной радости замечала она, что становится полнее, цветущее, оживленнее, чем когда-либо прежде. В ней зашевелилась надежда, настоящая, истинная надежда, а не пустая мечтательность, ожидающая чуда от богов...

Открытие это испугало Октавию. Всеми силами своей воли старалась она подавить то, что с такой коварной заманчивостью расцветало в ней. Разве ей мало прежних горьких разочарований? Она не хотела надеяться, она хотела только ждать, как посторонняя свидетельница. Так провела она зиму.

Нерон кутил и веселился с Поппеей Сабиной, видясь с Октавией только когда этого требовала крайняя необходимость.

Молодая императрица лишь в редких случаях показывалась публично. Дворцовые сады, беседы с многопытной Рабонией и тихие часы в обществе Абисса, посвященные чтению свитков о странствованиях и приключениях Лаэртида Одиссея, были единственными развлечениями в ее одинокой жизни. Она прервала даже сношения с антиумской виллой, так как письма частного управляющего нарушали ее покой.

Старик слишком горячо превозносил качества Актэ и ее кроткий, приветливый характер, согревавший его сердце и заставлявший его внучат забывать об утрате материнской любви.

Как ни мало была способна Октавия к низкой зависти, все-таки в ней каждый раз шевелилась мысль: «Эта Актэ, однако, была предназначена богами для того, чтобы составить истинное счастье моего единственного и несравненного супруга». А таких мыслей деловало пока избегать.

В начале апреля, по совету Абисса, Октавия снова переселилась в Антиум. Свидание с Актэ, благодаря деликатности молодой девушки, прошло без особенного волнения. Спустя короткое время общество Актэ-Семены сделалось для Октавии так же необходимо, как воздух и солнце.

ГЛАВА XIII

На северном склоне горы Целии, недалеко от *Vin Sacra*, находился дом Менения-младшего, искусного правоведа, недавно привлечшего на себя всеобщее внимание своим участием в тяжбе одной из провинций против вымогательств и притеснений ее наместника. Было начало мая, до полуночи оставался еще час.

Люций Менений, окруженный несколькими рабами, вполголоса отдавал приказания.

Он ожидал для серьезного обсуждения весьма важного спорного дела нескольких лиц, которые могли прибыть только очень поздно. Разговор будет весьма деликатный и всякое нарушение его строго воспрещалось.

— Оберегайте нас хорошенько! — дружески продолжал он. — В особенности же не допускайте подслушивать таких любопытных, как Лэда и Хлоя, или велемудрый Филемон. Они способны вскочить с постели вначале второй стражи, только чтобы уловить слово, которое их не касается. Как стряпчий, я должен держать в тайне то, что мне доверяют друзья, не заботясь о том, что Хлоя с досады вырвет себе волосы. Вы понимаете меня?

Рабы, все испытанной преданности, утвердительно кивнули.

— Двое из вас, — после некоторой паузы продолжал Менений, — могут оставаться в атриуме, близ входа. Наш честный остиарий кажется мне немножко рассеянным в последние недели. Недавно, когда подошел к его оконцу, он вздрогнул, словно купающаяся Диана.

— Он влюблен, господин, — сказал один из рабов.

— Ромей влюблен? Вот превосходно! Вы расскажете мне об этом при случае. — Теперь же, до свиданья!

Рабы удалились. Люций Менений вышел в облитую лунным светом колоннаду и тихо уселся на скамье. Четверть часа спустя в постикуме раздался шум.

Медленно приближалась высокая фигура в закинутой на плечо пелуле, с капюшоном на голове и с лицом, до самых глаз покрытым полотном.

— Эос и Титон! — произнес посетитель.

— Иди! Ты первый! — отвечал Люций Менений, без этого пароля узнавший по голосу своего старшего брата Дидия.

Он быстро ввел его в ярко освещенную приемную и предложил ему сесть.

Затем он поспешно вернулся в постикум, куда почти в то же мгновение вошли еще два, точно так же накутаных человека.

Под плащами у них были надеты панцири преторианских военных трибунов. В комнате они сбросили свои верхние одежды. Один из них был очень строен, с умным, аристократическим лицом, блестящими глазами и симпатичным ртом.

Этот еще молодой, но уже совершенно созревший человек был Юлий Виндекс, отпрыск одного из знаменитейших аристократических родов Аквитании.

Спутник его, такой же рослый, но гораздо мускулистее и плотнее, оказался достойным сожаления Фараксом, морально и физически обездоленным супругом Ацерронии.

Прошло еще пять минут и общество Люция Менения собралось в полном составе.

Люди, пришедшие сюда для тайного совещания, по происхождению, положению и характеру представляли резкую разницу между собой. Дидий Менений, девять десятых года проводивший в своих этрурских поместьях, был совершенной противоположностью бурно красноречивому Люцию, не способному жить вне атмосферы римского форума. Мрачный Никодим, сидевший рядом со старым и все-таки юношески свежим сенатором Флавием Сцевином, казался от этого соседства еще тощее и угрюмее, между тем как поэт Лукан, олицетворение совершеннейшей утонченности, походил на благородного оленя в сравнении с буйволообразным, приземистым, ширококостным Марком Велином.

Одно лишь было общее у всех: грызущее, непобедимое ожесточение на постыдно-развратную жизнь некогда так многообещавшего императора.

Быть может, один только Фаракс питал личную ненависть к Нерону. Дело в том, что император с презрением оттолкнул его, когда отчаявшийся военный трибун на коленях умолял о расторжении его брака с Ацерронией. Грубая насмешка, брошенная ему цезарем в присутствии многочисленных придворных, неизгладимо уязвила душу первобытного сына природы. Агриппина также теперь едва примечала своего прежнего фаворита, а в последнее время даже вполне приняла сторону Ацерронии и обещала когтистой пантере свою деятельную помощь в случае его непо-

корности. Вследствие всего этого, несчастный выскочка кипел яростным негодованием и с дикой радостью присоединился к Юлию Виндексу, осторожно посвятившему его в планы смелого заговора...

В строгом смысле, заговор этот был лишь продолжением заговора, возникшего вначале против невыносимого честолюбия Агриппины. Но с течением времени обстоятельства приняли такой оборот, что император, в чью пользу должна была быть свержена Агриппина, сделался сам главным предметом тайных враждебных замыслов. Только Бареа Сораний и Тразеа Пэт держались в стороне, не считая этот момент удобным для успешного возмущения.

Сенека же, так ревностно участвовавший в планах против императрицы-матери, на этот раз, по весьма понятным причинам, не был посвящен в тайну заговорщиков.

Положение его и без того было странное. Спокойно, почти мрачно, занимался он государственными делами. Нерон предоставил ему управление, но запретил философу вмешиваться в свою частную жизнь. Агриппина, по-видимому, отказалась от всякого влияния. В действительности же, она ожидала первую возможность ошеломить сына и снова овладеть кормилом правления. Фактически царствовала Пoppея Сабина, ибо Сенека, которому она оказывала величайшее уважение, убедил самого себя, что ей следует угождать для того, чтобы впоследствии снова привлечь к себе, позабывшего по ее вине всякую философию императора. Льстивость хитрой, расчетливой женщины ослепила его разум. Он считал ее возвышенной натурой и так как пропасть между Нероном и Октавией все-таки казалась непроходимой, то его стоически строгая совесть успокоилась.

Люций Менений открыл совещание кратким, почтительным приветствием союзников, а затем сдержанным тоном продолжал:

— Ясно как день, что все мы обманулись в цезаре Клавдии Нероне. С квиритами случилось то же самое, что с курицей баснописца, высидевшей хищную птицу. Сначала она принимает ее за цыпленка, а потом с ужасом примечает, как у молодого коршуна вырастают когти.

— У молодого стервятника! — фыркнул Фаракс. Люций Менений с улыбкой покачал головой.

— К сожалению, это не так! — с горечью сказал он. — Он терзает не мертвых, но живых. Мы сами —

его жертвы. Он пьет кровь Рима, чтобы обновить свои силы, нужные ему для его фантастических полетов. Повторяю: мы жестоко обмануты. Сенека, знающий его с детства, должен был бы давно уже понять его. Тут нужна была страшная, железная энергия. Остроумными философствованиями нельзя искоренить врожденную распущенность. Я почти готов признать его соучастником, виновным во всем несчастье, в особенности теперь, когда он молча смотрит на всевозрастающую власть бесстыдной Поппеи. Конечно, эта злодейка и есть причина всяких низостей. Агриппина побеждала преступлениями, Поппея царствует посредством ухищрений разврата. Мне даже кажется, что из них двух я предпочитаю императрицують...

— О, о! — воскликнул Флавий Сцевин.

— Прости... но жертве Агриппины трудно быть беспристрастным,— сказал стряпчий.— Прежде, с Агриппиной у кормила правления, Нерон хотя соблюдал приличия. С тех пор, как его опутала Поппея, он безжалостно топчет ногами все священное. Расточительность его граничит с безумием. Он открыто насилует справедливость для пополнения своей вечно пустой казны. Он позорит себя, выступая то как актер, то как борец, то как возница в цирке...

— Не ставь ему в укор эти мелочи; к несчастью, за ним есть довольно крупных проступков! — прервал его Флавий Сцевин.— Если он играет комедии или борется, то это еще можно извинить. Нерон скорее грек, нежели римлянин. Он вырос на Софокле и песнях Гомера. Он живет мечтой, что все, совершившееся «хейцами» перед Илионом, позволительно и в Риме. Если некогда Одиссей и Аякс боролись за серебряный греножник, то сын Агриппины полагает, что это прилично и ему. Все это еще сносно. Нужно принять во внимание его пламенное воображение и страсть ко всему блестящему и сказочному. Но другое, большее!.. Право, Менений, в этом отношении, при всем твоём красноречии, ты не найдешь удовлетворяющих меня выражений! Ты упомянул о вопиющих нарушениях нрав, о позорных государственных процессах, превращающих каждого гражданина в игрушку коварных доносчиков. Я дрожу от негодования при одном напоминании об этом. Но что еще сильнее возмущает меня — это низкое поведение цезаря относительно Октавии. Эта мысль заставляет меня мучительно краснеть,

пальцы мои судорожно сжимаются, словно стремясь схватить кинжал мести. И все-таки... какое невыразимое мученье! Друзья, вы не подозреваете, как я люблю этого мальчика. Я отдал бы жизнь за него. Он был для меня все равно, что родной сын. И он платил мне глубокой, сильной, трогательной привязанностью... Тем пламеннее ненавижу я его теперь. Нет, я обманываю себя. Флавий Сцевин не может так скоро вырвать укоренившееся в его сердце чувство. Я еще не научился ненавидеть его, несмотря на все мои усилия. Тем справедливее, тем беспристрастнее буду я. И осуждаю его, как некогда Брут осудил собственных сыновей, и мой приговор гласит: повинен смерти!

— Не смерти! — возразил Никодим. — Я также непоколебимо убежден, что государство не узнает благоденствия, пока мы не свергнем с престола лицемерного тирана. Но убить его, значит присвоить себе право, принадлежащее только одному вечному Божеству.

— Меня удивляет твоя платоническая умеренность, — сказал поэт Лукан. — Ты, в особенности, имеешь причины ненавидеть его, так как из всех римских граждан он не одурачил никого хуже, чем тебя. Я знаю все от Сенеки. Вы задумали нечто удивительное. Не стану обсуждать достоинства или недостатки вашей идеи. Одно лишь, что я заметил, должно покаяться и тебе оскорблением: это именно то обстоятельство, что в то время, когда никто не заботился о религии назарян, Нерон издал совершенно излишние эдикты о веротерпимости, между тем как теперь, вопреки этим эдиктам, он дозволяет преследование ничтожных рабов, слишком открыто прославляющих своего распятого Бога...

Никодим побледнел.

— Я говорю здесь не как заступник назарянства, — холодно возразил он. — И также я не знаю, насколько дядя твой Сенека счел нужным просветить тебя, так как здесь дело идет о...

— Клянусь Геркулесом, ты можешь быть совершенно спокоен! Мы ведь среди друзей! И так: ты хочешь пощады цезарю?

— Мне противно кровопролитие, — отвечал Никодим. — Умерщвляя преступника, мы становимся сами так же преступны, как он.

— Ты слишком труслив, — проворчал Фаракс. — Разве Нерон думал о чем-нибудь, когда молодой Бригантик начал стеснять его?

Флавий Сцевин нахмурился.

— Не говори вздора! — остановил он его. — Британник пал жертвой Агриппины.

— Но кому же это принесло выгоду? — спросил влемянник Сенеки. — Останься Британник в живых, то для Нерона не было бы места в Палатинуме. Сын Агриппины жил бы тогда в Афинах и играл бы главную роль в своей трагедии «Иокаста».

Все засмеялись.

— Я говорю совершенно серьезно, — сказал Лукан. — Наш превосходный Флавий уже заметил, как сильно привлекает цезаря все необычайное и фантастическое. Недавно он еще затеял забавляться ночными драками.

— Это я могу подтвердить по собственному опыту, — вскричал Велин. — В сопровождении нескольких товарищей он напал на меня третьего дня, когда я возвращался от Дидия в начале второй стражи. Я узнал его, несмотря на капюшон, также как этого паршивого пса, Тигеллина. Их было пятеро, нас — трое, но мы таки задали им! Тогда светлейший свистнул и внезапно мы услышали бряцанье оружия. Из Курианской улицы вышли преторианцы. Я дал Тигеллину еще здорового пинка, и мы бросились бегом на угол.

— Радуйся, что тебя никто не знает, — сказал Менений-младший. — Если бы агригентец узнал, кто его так угостил, он тотчас же обвинил бы тебя в оскорблении величества. Но время идет: мы должны приступить к делу. Юлий Виндекс, сообщи нам, что слышал ты нового?

Юлий Виндекс встал и, положив левую руку на позолоченную рукоятку меча, сказал:

— Несколько дней тому назад я был в Лупе, на речке Макра. Там, как давно уж условился, я встретился с Гизо, сыном Лоллария. Он прибыл под видом подрядчика построек, так как неподалеку от городка разрабатываются огромные залежи мрамора. Мы быстро поняли друг друга. Сальвий Ото не мог послать нам лучшего посредника, чем, этот белокурый хатт. Сообщения Ото приятнее вестей из лагеря преторианцев. Он уже завербовал множество военных трибунов и центурионов. По мнению Гизо, в Лузитании восстание готово вспыхнуть хоть сегодня.

— Одна Лузитания есть только пьедестал без статуи, — заметил Сцевин.

— Я также думаю,— подтвердил Виндекс.— И так, чтобы не отклоняться от главного, продолжаю: Ото решительно противится намерению войск провозгласить его императором. Он опасается, что восстание, порожденное лишь чувством строгой справедливости, тогда покажется проистекающим из презренного честолюбия. Я с ним совершенно согласен. Если мы не хотим, чтобы чистота наших побуждений была позорно перетолкована, то никто из нас не должен стремиться к власти.

— Никто! — раздался единогласный ответ. Один Фаракс молчал. Он был занят собственными мыслями. Ведь никакой прорицатель не предсказывал ему, что могущественная Агриппина будет называть его «милым мальчиком» и «дорогим любимцем». Кто осмелится указать предел полету счастливого орла? Фаракс Цезарь — это звучало вовсе не невероятно, а когда он достигнет этой цели, когда будет ежедневно раздавать тысячи преторианцам, и будет в состоянии позолотить все ослиные копыта в Италии, тогда он накажет краснокудрую пантеру и поставит ее в такое же жалкое положение, в какое ставит Нерон свою супругу Октавию. Очаровательная Хаздра, отвергнутая им с такой излишней поспешностью, тогда наверное не откажется играть у властителя мира Фаракса роль прекрасной Поппеи Сабины...

Глаза его засверкали при этих мечтах и по лицу его почти можно было угадать волновавшие его радужные надежды.

— Товарищи,— продолжал Виндекс,— так я передам Гизо, что вы разделяете мнение Ото. Этого будет достаточно для того, чтобы сломить упорство офицеров. В Риме есть уже личность, пригодная служить украшением престола Августа: это Эней Кальпурний Пизо...

— Или Гальба,— сказал Лукан.

— Как вы решите! Оба они люди чести и смертельные враги этого невероятно позорного правления. Также, я ни на мгновение не сомневаюсь в согласии Пизо, в случае если мы скажем ему: путь открыт. Для этого нам необходима по крайней мере одна когорта дворцовой стражи...

Слова внезапно замерли на его губах. Заговорщики вскочили, точно от удара землетрясения и, с побледневшими как полотно лицами, начали прислушиваться по направлению атриума.

ГЛАВА XIV

Гости Люция Менения были неожиданно испуганы продолжительным, странным шумом, начавшимся сильной перебранкой, со зловещей отчетливостью раздавшейся среди ночной тишины.

Привратник Ромей, незадолго до этого завязавший нежные сношения с хорошенькой рабыней соседнего дома, вопреки господской воле отворил дверь на робкий стук своей возлюбленной, несмотря на строгое приказание соблюдать крайнюю осторожность именно в эту ночь.

Проскользнувшая в его каморку девушка, думавшая, по-видимому, только о любви, была подкуплена шпионами императрицы-матери.

Прежде чем остиарий постиг измену очаровательной змеи, Паллас с пятнадцатью солдатами уже ворвался в атриум.

Тщетно сопротивлялся им Ромей, поддерживаемый несколькими рабами.

Громовым голосом провозгласил он недавно еще возобновленный закон, строго воспрещавший тревожить ночью римского гражданина в его жилище, даже если он был под подозрением тяжкого преступления.

Напрасно.

— Стойди, — сказал Паллас, — или я проткну тебя копьем.

— Вперед! — закричали преторианцы.

В это время послышался хриплый лай, за которым последовал яростный визг, а потом страшный вой.

Огромная собака, лежавшая у третьей колонны слева, сорвалась с цепи и вцепилась зубами в горло одного из преторианцев. Удар мечом распростер рассвирепевшее животное на каменном полу. К стонам издыхающей собаки присоединились звон щитов, крики рабов, растерянные уверения, что Менения нет дома, грубые приказания предводителя.

Между тем, заговорщики уже успели опомниться.

— Измена! — закричал Люций Менений после первой минуты оцепенения. — Таково решение судьбы! Спасайся, кто может! Я брошусь навстречу недобрякам, чтобы задержать их!

Заговорщики колебались, но он снова повелительно крикнул:

— Бегите, ради нашего дела! Вы — Рим; если вы падете теперь, с вами умрет навеки свобода отечества.

Для меня же нет спасения. Тиран накрыл нас в моем жилище; я обречен на смерть; он отыщет меня, даже если я найду убежище у сарматов.

— Я буду биться рядом с тобой, — сказал Менений-старший, — и на меня также падет подозрение, так как я твой брат.

— Бегите, бегите! — побуждал товарищей Юлий Виндекс. — Если вы хотите освободить народ, то должны научиться обуздывать вашу гордость и сердечные побуждения. Участь этих двух великих братьев завидна. Дорогой Люций и ты, благородный Дидий, мы будем помнить вас до последнего издыхания. Будь мне свидетелем всемогущий Юпитер: на их месте я сделал бы тоже самое!

С обнаженными мечами поспешили заговорщики в постикум, между тем как Паллас с своими солдатами входил из атриума в перистиль.

— Проклятие! — прошептал Флавий Сцевин. — Бежать, вместо того, чтобы броситься на эту свору, подобно гетулийскому льву! О, вот это кстати!

Последнее изумленное восклицание относилось к неожиданному столкновению с несколькими преторианцами, поставленными Палласом у задней стены дома, рядом с постикумом.

— Назад! — заревел ближайший солдат, направляя меч навстречу заговорщикам.

Страшный удар, нанесенный престарелым Флавием Сцевином был ответом на это «назад!». Шлем солдата разлетелся надвое, подобно гнилому ореху. Клинок вонзился на два дюйма в его череп, и он упал, не издав ни одного звука.

Второй преторианец также пал жертвой чудовищной силы ожесточенного Флавия. Остальные были убиты Фараксом, Юлием Виндексом и Луканом, между тем как приземистый, довольно медлительный Велин, несмотря на свое мужество, не подоспел к развязке.

Схватка продолжалась не более двух минут. Заговорщики скрылись. Ни один из них не был ранен, кроме полного блестящих надежд Фаракса, голова которого была почти отсечена от шеи вражеским мечом. Когда Юлий Виндекс нагнулся над ним, жизнь уже отлетела. Жалкий конец для господствовавшего в мыслях над миром Фаракса-цезаря! Невзирая на священные правила товарищества, труп его пришлось оставить среди трупов преторианцев, чтобы не подвергать риску судьбу всего заговора.

Между тем, Люций и Дидий Менений стали у выхода в коридор, ведущий из атриума в перистиль.

— Если есть будущая жизнь, то сохрани для меня и там твою любовь! — прошептал Люций, протягивая брату руку.

— А ты сохрани для меня твою! Вот они! Меня не страшит безмолвная урна смерти. В империи Нерона жизнь не стоит ни одной слезы.

Отважные братья не отступили и не поколебались. До самых глаз закрылись они крепкими щитами, только что висевшими на стенах, как простое украшение. Не напрасно бились они оба в походе против парфян: их могучие и ловкие удары сеяли смерть.

Наконец нападающие начали одолевать. Раздраженные своими потерями преторианцы кинулись на братьев с непреодолимой силой.

Оттеснив их на площадку в колоннаде, они окружили их и через секунду Дидий уже упал, пронзенный разом двумя клинками.

— Да процветает родина! Долой тирана! — были последние слова умирающего.

— Стойте! — вскричал Паллас, понявший, что смерть Люция уничтожит результаты его разоблачения. — Пощадите его! Люций Менений, сдайся!

— Никогда!

— Тысячу динариев тому, кто его обезоружит! — еще громче воскликнул испуганный Паллас.

Наступила пауза. Тяжело дыша, стоял Люций Менений в трех шагах от нападающих, крепко оперши щит о мраморные плиты пола, с окровавленным мечом в правой руке, следя за каждым движением преторианцев и готовый убить первого, кто приблизится к нему. Вдруг, познав всю безвыходность своего положения, он отбросил щит и приставил к груди меч, намереваясь пронзить себя, как некогда Квинтилий Вар.

Но в то же мгновение один из преторианцев безумно смелым прыжком кинулся на него.

Люций Менений упал навзничь. Клинок, тяжело ранивший солдата, переломился надвое.

Спустя минуту, заговорщик был уже связан.

— Паллас! — вскричал он. — Будь благоразумен и умертви меня!

— Как бы не так! Сначала попробуй пытки, а потом подожди немного. Быть может, Агриппина окажет тебе милость и позволит самому избрать себе род смерти.

— То, что вы можете знать, я и сейчас могу сказать вам. Но больше этого из меня не вырвет даже самая ужасная пытка.

— Хорошо, так говори же! — усмехнулся Паллас, обрадованный надеждой передать точные сведения своей повелительнице.

— Я буду говорить, если ты обещаешь оказать мне одолжение. Оно очень просто и маловажно. Обещаешь?

— Послушаем, что это такое?

— Прикажи развязать мне руки! Цепи причиняют мне невыносимую боль. Ты видишь, ведь я обезоружен. С этой веревкой, опутывающей мои колени, я не могу убежать от вас.

Паллас согласился после того, как преторианцы тщательно обыскали, не спрятан ли у него под одеждой кинжал.

— Слушай же, — сказал Люций Менений, — и передай это слово в слово твоей всемогущей повелительнице! Я признаю себя виновным в том, что принадлежу к числу вождей заговора, проникшего уже до крайних пределов Италии и преследующего славную цель уничтожения развратного императора, его преступной матери и бесстыдно-честолюбивой Поппеи Сабины.

— Доказательства этого в наших руках!

— У вас их нет, высокомерный Паллас. Вы не знаете ни одного из заговорщиков, иначе вы уже преспокойно схватили бы их. Мое признание должно наполнить сердца царственных преступников леденящим страхом: ибо они любят эту переходящую жизнь, презираемую мной и моими товарищами. Также мне известно, что в государстве, принадлежащем кровопийце, одного подозрения уже достаточно для моего смертного приговора. Поэтому я ни от чего не отпираюсь. Несколько союзников были у меня, хорошо замаскированные, не признанные ни одним из моих рабов. Ты хочешь знать их имена? Вот это было бы дело! Быть может, я удовлетворю твоему желанию, быть может, нет. Куда думаешь ты отвести меня?

— В государственную тюрьму, — отвечал Паллас, ошеломленный неожиданным тоном своего пленника.

— Хорошо. Так прикажи тюремщику, чтобы он приготовил мне приличное ложе и оставил бы мне мою тогу. Если ты придешь завтра и с подобающей вежливостью обратишься ко мне, я посмотрю, что тебе ответить.

Паллас с трудом сдерживал торжество. Ему хотелось громко выразить свой восторг. Этот Люций Менений был неоценимым сокровищем! Если безумно-отважный государственный преступник, по увещанию его, Палласа, откроет все тайные нити этого заговора, какая это будет великая заслуга со стороны поверенного императрицы! И как ловко устроили все это боги! Какая невероятная удача! Доселе никто не подозревает ровно ничего! Креатуры императрицы вызнали только то, что Люций Менений враг Палатинума и что сегодня ночью у него будет ночное собрание, вот и все. «Уранионы покровительствуют мне», — подумал Паллас, и обернувшись к Люцию, важно произнес:

— Да будет так! Я тебе это обещаю. Тебе приготовят такое ложе, к которому ты привык, и не отнимут твоей тоги.

Восемь преторианцев, которым Паллас предписал вполне почтительное обращение с пленником, окружили его со всех сторон. Надсмотрщику мамертинской тюрьмы Паллас написал несколько слов на восковой дощечке.

Затем в сопровождении только троих солдат он на крыльях торжества поспешил в Палатинум. Агриппина выразила желание как можно скорее узнать о результате нападения. Нерон же вообще еще не знал о тайных попытках императрицы-матери к восстановлению своего влияния.

Оставив солдат на переднем дворе, Паллас с величайшей осторожностью направился в покои своей, уже нетерпеливо дожидавшейся, повелительницы.

Ему отворила рабыня в греческой одежде, тотчас же удалившаяся со странно-лукавой улыбкой.

Неожиданно и впервые в такой необычайный час Паллас очутился наедине с Агриппиной.

С потолка волшеббно-роскошной комнаты спускалась знаменитая пурпуровая лампа в виде летящего феникса, превосходное произведение александрийского художника Антракса, разливавшая розоватый, очаровательный полусвет.

Агриппина сидела в кресле. Роскошная красота ее казалась еще соблазнительнее при этом сказочном освещении. Под ее прозрачной кожей, казалось, видно было, как переливалась кровь.

Паллас, опытный во всех тонкостях палатинских обычаев, почтительно преклонил колена, прижал руку к сердцу, как человек, с радостью готовый принести в

жертву всю свою жизнь и сильно взволнованным голосом произнес:

— Повелительница, мы достигли цели!

Она приветливо улыбнулась.

— Я знала, что бесстрашный Паллас вернется только со щитом или на щите, — театрально произнесла она. — Но сообщи подробности!

Не поднимаясь с колен, Паллас рассказал о происшедшем.

— Завтра рано утром, — тоном повелителя вселенной произнес он, — пленник назовет мне всех руководителей. Затем — один отважный удар и многоголовая гидра уничтожена.

Агриппина протянула ему руку.

— Истинно велика твоя заслуга перед твоей признательной доброжелательницей! Поверь: в этот час вновь расцвело мое могущество! В лицо высокомерному Тигеллину, пустой Пoppей и, словом, всех опутавших императора, я брошу вопрос: что сделали вы для подавления этого заговора? И в ответ на их молчание, подобно громким трубным звукам, разнесется по всей империи весть о моих деяниях. Клавдий Нерон должен будет признаться перед целым светом: Агриппина спасла мне жизнь. Одна она способна охранять престол цезарей! А теперь, славный, счастливый победитель, приблизься. Я хочу обнять тебя.

Склонившись над белой рукой Агриппины, Паллас с легким трепетом припал к ней губами.

— Нет, не так, — нежно прошептала она, глядя на него блестящими глазами.

Паллас казался ей подобным Геро, возвращающимся в объятья своей возлюбленной после двадцати выигранных битв.

— Поцелуй меня! — говорила она. — Или ты боишься, неразумное, большое дитя!

... Почти в тот же момент Люций Менений ложился на приготовленное ему ложе в камерке государственной тюрьмы.

Шаги тюремщика затихли. Кругом царили мрак и мертвая тишина. Молодой человек закрыл глаза.

Перед ним возник приветливый образ женщины, уже не молодой и некрасивой, но несказанно кроткой и доброй — образ его матери, жившей в Региуме. Сердце его в последний раз сжалось мучительной болью.

Потом по красноречивым губам его скользнула улыбка. Глубоко переведя дух, он поднес к зубам левую руку и сразу прокусил вену.

Спустя три часа тюремщик явился будить его. Паллас уже стоял в приемной, горя нетерпением начать допрос.

На этот раз древний Рим Катона восторжествовал над современным распущенным Римом: поверенный Агриппины нашел залитый кровью труп.

ГЛАВА XV

На следующее утро, два часа спустя после восхода солнца, император находился в своей прохладной, освежаемой фонтаном спальне, где только что окончил завтрак в обществе агригентца, ставшего ему совершенно необходимым.

Тигеллин, имевший нескольких подкупленных им шпионов между рабами и рабынями Агриппины, с величайшей поспешностью доносивших ему обо всем и обо всех, давно уже знал о происшествии в доме Люция Менения. Его также уведомили с большими подробностями о нежном эпизоде между императрицей и предводителем экспедиции.

— Дорогой цезарь,— начал он, запив последнюю лукринскую устрицу сладким фалернским вином,— рассказывал я тебе, что Агриппина снова покушается на скипетр?

— Каким образом?

— Уже в течение нескольких дней она замышляет ловкую комедию... Она хочет убедить тебя, что одна она лишь обладает прозорливостью рожденной правительницы. Ты испугаешься, снова признаешь ее превосходство, словом, по-прежнему сделаешься ее игрушкой.

— Я не понимаю тебя.

— Дорогой цезарь, тебе известно прошедшее Агриппины, но не ее настоящее. Поверь мне: супруга умерщвленного Клавдия не позабыла ничего... Я твой друг, цезарь... Я боюсь, ты взволнуешься, узнав нечто... Окажи мне милость! Если Агриппина войдет теперь — а она уже два раза справлялась, проснулся ли ты — позволю мне вместо тебя отвечать на ее лицемерные речи! В то же время ты узнаешь, что все, что касается личности императора, известно Тигеллину по крайней мере так же хорошо, как императрице-матери, не перестающей восставать против тебя.

— Как хочешь. Я вполне доверяю тебе. Но во имя богов, прощу тебя, скажи мне...

Агригентец мигнул ему. Вошедший раб Кассий доложил о приходе Агриппины.

— Сын мой,— после короткого приветствия начала она,— тебе известно, что я никогда не желала хвалиться моими заслугами перед тобой или перед римлянами. Но все-таки можно сказать, что только благодаря заботливому надзору своей матери, император избежал теперь смерти от руки бессовестных убийц...

Нерон бросил на нее недоверчивый взгляд.

— Могущественная повелительница,— усмехнулся Тигеллин,— боюсь, что ты попусту тревожишь императора. Или, быть может, я сам заблуждаюсь, и дело идет не о пошлом заговоре Люция Менения?

Агриппина отступила.

— Откуда ты знаешь?..

— Нужно знать все, повелительница, что входит в круг долга. Мои солдаты, которые получили приказ арестовать сегодня на рассвете обоих Менениев, вернулись обратно с пустыми руками. Оказалось, что ночью там пролита была кровь по повелению императрицы Агриппины. Дидия убили, Люция схватили и он наложил на себя руки в темнице. Вот какие приключения, повелительница! Очевидно Паллас чрезмерно поспешил. Он слишком пламенно старается заслужить твою благосклонность. Во всяком случае, теперь по всему Риму прогремит скандал, между тем как можно было бы сделать то же самое законным порядком и без шума.

Императрица-мать побледнела. Уничтожающим взором посмотрела она на агригентца, уловку которого поняла, не будучи, однако, в состоянии опровергнуть его.

Овладев собой, она обратилась к Нерону:

— Дорогой сын мой, почему мне отвечает посторонний вместо тебя?

— Быть может потому, что и ты действовала там, где должен был бы действовать я сам. Тигеллин заменяет меня.

— Весьма милостиво, хотя не совсем по моему вкусу. Когда мне нужен господин, я не обращаюсь к слугам.

В полном сознании своей безопасности, Тигеллин, улыбаясь, прислонился к мраморной колонне. Он не снял тогу, и в этой самодовольной позе походил на эллинского ратора, потешающего признательных слушателей блестящим изяществом своих антитез.

— Знай,— сказал Нерон Агриппине,— что Тигеллин — мой друг и советник, но никак не слуга.

— Клянусь Стиксом, он кажется мне чуть ли не твоим господином! Он присвоил себе полное влияние над тобой, и жалкие результаты твоих действий вполне соответствуют этому влиянию. Спроси Рим, чувствует ли он себя в последнее время более счастливым и более гордым? Я не стеснялась в выборе средств, открыто сознаюсь в этом. Я стремилась к железному царствованию, к торжеству абсолютной власти. Только такими средствами подавляются возмущения, оберегается порядок и поддерживается народное благоденствие. Теперь же, что за отвратительное торжество распущенности! Ваша тирания превратилась в такую же забаву, как скачки. Низкие выскочки-фавориты играют народным достоянием, как нищие заржавленными фишками. Люди, способные лишь на устройство роскошных празднеств, нахально выдают себя за государственных деятелей, почти выживают таких испытанных друзей императорского дома, как например Бурр, и льстят солдатам, как будто им уже завтра достанется звание главнокомандующего. Даже Сенека вынужден переносить это иго. При этом паразиты совсем не оберегают твою безопасность. Я должна бодрствовать над тобой. И когда я являюсь возвестить тебе, что ты спасен, меня встречает такой же... достойный Тигеллин и лепечет: «Успокойся! То, что ты сделала, было лишнее! Мы уже приняли меры...» Но я скажу тебе коротко и ясно: он лжет. И повторяю еще раз: он лжет.

В темных глазах Тигеллина сверкнула молния непримиримой вражды. Но это была лишь молния. Мгновение спустя истасканное, но все еще прекрасное лицо его снова приняло невозмутимое выражение царедворца.

— Повелительница,— с поразительным хладнокровием сказал он,— я сожалею о твоих словах. Тигеллин не смеет отвечать матери императора. Что я не заслуживаю упрека во лжи, Нерон это хорошо знает. Остальное меня не трогает. Он цезарь. Одна его воля может меня возвысить или низвергнуть. Теперь еще одно! Так как тебе были подробно известны планы мятежа, то, наверное, ты узнала, кто стоял во главе списка осужденных на гибель? Должен ли я прийти на помощь твоей памяти? Ты сама, императрица Агриппина, удостоилась этой чести, благодаря твоему бывшему фавориту, Фараксу. Вот видишь, теперь весь

этот так называемый заговор приобретает совершенно иной вид. Тебе самой, божественная Агриппина, приходилось плохо, и только по этой причине мужественный Паллас разыграл роль судьбы. Будь возмущение направлено единственно против одного императора... с условием, что ты займешь его место на престоле... Паллас далеко не так усердно принялся бы за дело.

— Жалкий негодяй! — в бешеном негодовании вскричала Агриппина. — Нерон, сын мой, неужели ты веришь этому плуту? — обратилась она к Нерону. — Я... я... о, это ужасно! Разве я не взлелеяла в тебе, моем кумире, все самое дорогое для меня и возвышенное в жизни?

— Ты лелеяла и Британника, — простонал император, — и все-таки сделалась его убийцей.

— Кто говорил это? Укажи мне презренного, дерзающего на такую позорную ложь, и я прикажу умертвить его!

— Я желал бы избавить цезаря от неприятной обязанности называть источник его сведений, — тихо заметил Тигеллин. — Но если бы ему понадобилось лицо, готовое клятвенно подтвердить его слова, то он может указать на меня.

Агриппина остолбенела и, заломив руки, оглянулась кругом.

— Неужели в Палатинуме нет никого, кто заковал бы в цепи этого негодяя? — прерывающимся голосом вскричала она наконец.

— Никого, пока я под защитой Нерона.

Отчаянно скрестив на груди руки, Агриппина бросила на сына взгляд, полный глубокого презрения и невыразимой горечи.

— Так вот награда за мою безумную, беспредельную материнскую любовь! — дрожа, сказала она. — Безрассудный мальчик, предостерегаю тебя: будь осмотрителен! В конце концов, пожалуй, тебе еще придется испытать, на что способна Агриппина, прибегнувшая к силе!

Нерон подпер рукой омраченное печалью чело и, бледный, смотрел в пространство неподвижным взором духовидца.

— Если бы ты оставила мне одну ее! — беззвучно произнес он. — О, как было бы хорошо! Актэ, несравненная, умершая, неужели я обречен роком вечно, вечно оплакивать тебя?

— Как так! — усмехнулась Агриппина. — Кути до поздней ночи с развратниками и развратницами, а

утром хнычь и жалуйся! Это по-кесарски! Это божественно!

Нерон не слышал ее замечания, но зато агригентец не проронил ни слова и с большой живостью возразил:

— Кого подразумеваешь ты под развратницами? Сияющую ли красотой юность, в опьянении жизненными наслаждениями сбивающуюся с пути добродетели, или перезрелых матрон твоего возраста, в запоздалой жажде любви бросающихся из одних объятий в другие?

Руки императрицы задрожали в бессильной, всепожирающей злобе. Из ее бурно вздымавшейся груди вырвалось хрипенье, подобное тому, какое предшествует реву дикого зверя.

Прошло довольно много времени прежде, чем она стала в состоянии сдвинуться с места.

— Будь здоров! — сказала она императору. — Обдумай то, что я сказала! Спасайся, пока еще не поздно!

Не обращая внимания на Тигеллина, она величественно вышла.

— Какое несчастье! — прошептал Нерон, когда занавес задернулась за ней. — Прежде я искренно любил ее. Лучшая из матерей, — был лозунг, данный мной преторианцам в день моего восшествия на престол. А теперь?

— Что делать! — вздохнул агригентец. — Но разве ты виноват в том, что она мало-помалу уничтожила твою сыновнюю любовь? Она не заслужила ничего другого, клянусь всем священным!

Нерон глубоко вздохнул.

— Пришли ко мне Кассия, — печально сказал он. — Пусть он оденет меня.

— Как повелишь. Я пойду к Сенеке и сообщу ему о случившемся. Нужно сегодня же произвести расследование и арестовать рабов и отпущенников Люция Менения.

— Пожалуй. Только прошу тебя, из-за этой жалкой истории не откладывайте моего переселения в Байю! О, эта освежающая, успокоительная Байя! Ее прелести вечно манят страдающее сердце. Там, на морском берегу живетя легче, нежели среди стен семихолмного города. В Байе иногда можно забыть бедствие, которым наказали нас боги: мученье быть человеком.

Агригентец солгал, сославшись на беседу с Сенекой. В действительности же он направился в покои Пуппеи Сабины, поселившейся, вопреки всяким при-

личиям, на половине императора. Быстро перешагнул он порог голубой комнаты, полной очаровательного аромата афинских фиалок.

Возлюбленная императора приняла его с дружеской короткостью. Они шепотом обменялись несколькими многозначительными словами. Потом Поппея кивнула своей отпущеннице Хаздре, в стороне преклонившей колена на мягкой подушке и молившейся со сверкающим взором. Поппея сказала что-то на ухо девушке. Хаздра опустила ресницы, кивнула, как будто дело шло о чем-то уже заранее условленном, и исчезла в соседней комнате.

Между тем император ожидал своего главного раба, сначала терпеливо, все еще думая о только что происшедшей сцене. Но внезапно он изумился дерзости, с какой осмеливались заставлять дожидаться его, повелителя вселенной, словно пирожника в лавочке брадобрея.

Ведь стоит ему сказать слово, и неосторожные рабы еще до заката солнца будут распяты на кресте! Ныне цветущие юноши превратятся в бесформенную массу; а куча растерзанных костей и мускулов останется от того, что пока еще полно жизненной силы!

Он продолжал развивать эту мысль... Не только одни рабы были его игрушками: также все отпущенники, все граждане, все всадники и сенаторы, до самих консулов...

Какое странное чувство! Он провел рукой по глазам, как бы прогоняя внезапное головокружение.

В самом деле: собственно говоря, во всем неизмеримом Риме ни одна голова не сидела прочно на принадлежащих ей плечах. Она могла быть отделена от туловища, как только цезарю вздумается отрубить ее. Нужен был лишь пустяшный предлог, и императорский каприз становился законным деянием. Придворная же челядь, ползавшая у его ног, была так презренна, что присягнула бы за десять динариев, что Рим — деревня, а верховный судья — переодетая женщина... Ему одному принадлежит власть над всеми! Да, над всеми! Взгляд его мог превратить богатейшего сенатора в нищего, а добродетельную супругу — в порочную женщину.

Даже больше того! Если бы ему вздумалось, самый последний, самый грязный носильщик трупов завтра же мог стать пропретором, а разгульнейшая гадитанка получить равные права с благородными римлянами!

Цезарь! Имя это звучало так же величественно, как имя Юпитера!

Не величественнее ли?

Ведь Нерон в самом деле держал в руке громовые стрелы, между тем как Юпитер был только призрак. Нерон — цезарь во плоти — правил всемирной империей, Юпитер же существовал лишь в воображении черни.

— Да, это так! — мечтательно прошептал император. — Молитесь о дожде, жалкие, глупые поселяне, когда солнце превращает почву в пыль! Юпитер не услышит вас. Но цезарь, если захочет, может провести клавдиев водопровод до Соранты и оросит ваши нивы олимпийским нектаром. Плачьте о хлебе, когда запаздывают александрийские корабли с зерном, вы, простодушные плебеи! Юпитер допустит вас умереть с голода, если цезарь не отворит вам свои неизмеримые житницы! Если бы вы, в вашем слабоумии, не уподоблялись животным, вы должны были бы понять, что мне одному приличны алтари, фимиам и плакающие жертвоприношения!

Он с утомленным видом бросился на ложе.

В это мгновение, с быстротой стрелы, в спальню ворвался маленький, проворный человек, с головой, обвязанной куском кожи вроде маски. Быстро махая кругообразно рукой, он направил в горло императора блестящий кинжал, несомненно оказавшийся бы смертоносным, если бы была достигнута его цель. Но чрезмерная поспешность повредила верности удара юного убийцы. Он промахнулся, и клинок вонзился глубоко в подушку ложа.

Нерон вскочил с гневным восклицанием:

— Так вот она — неприкосновенность его божественности?

Бешено бросившись на врага, он хотел схватить его за руку. Но убийца с проворством хорька выронил оружие и выскользнул в дверь.

Нерон побежал за ним и столкнулся с Тигеллином.

Вслед за ним явились прислуживавшие цезарю рабы.

— Негодяи! — обрушился на них Нерон. — Должен ли я приказать распилить вас живьем? Пока вы сидите, забившись по углам и пьянствуете или играете в кости, в покои вашего повелителя пробираются тайные убийцы!

Рабы затрепетали.

— Да сохранил тебя от этого Юпитер!

— Юпитер! Что может сделать Юпитер против предательского кинжала? Будь вы на своих местах, как вам повелевает ваш долг, то преступник совсем не смог бы покуситься на такое дело!

— Повелитель,— отвечал Кассий,— будь уверен в нашей готовности умереть за тебя! Но нас задержала императрица-мать. Она хотела дать нам какие-то поручения и, должно быть, позабыла потом, что мы ожидаем в колоннаде...

— Поручения...— прошептал Тигеллин, наклоняясь и поднимая с ковра трехгранный кинжал, брошенный убийцей. На лице его выразился сильный, почти театральный ужас.— Цезарь, мой обожаемый друг!..— с неописанным смущением произнес он и вдруг обратился к рабам:

— Идите! — сказал он.— Возвестите римлянам, чтобы они принесли жертвы за спасение нашего славного императора! Идите, спешите! Я сам буду обслуживать цезарю.

Рабы удалились.

Тигеллин лицемерно упал на колени перед ложем Нерона и в притворном отчаянии спрятал свое лицо в складках пурпурового одеяла.

— Клавдий Нерон,— трагически произнес он наконец, торжественно поднимаясь,— этот смертельный удар нанесен тебе Агриппиной.

Юный цезарь дико зарычал.

— Софоний! — крикнул он, занося правую руку.

— Агриппиной,— повторил сицилианец.

— Докажи! — простонал император.

— Я могу это сделать, и твоя Поппея подтвердит мои слова. Позвать ее?

— Делай, что знаешь! Но горе тебе, если ты обманываешь меня!

— Разве можно обманывать друзей? Я ручаюсь тебе головой, что Поппея скажет тебе то же самое, что я. Я же говорю: этот сверкающий стилет взят из тайного смертоносного арсенала, скрываемого достойной Агриппиной в стене своей спальни. Там ты найдешь еще несколько подобных кинжалов, и если они не походят вот на это оружие, как две капли воды, то прикажи тащить меня к гэмонским ступеням!

Подойдя к двери, он послал одного из рабов, уже занявших свои обычные места, за коварной супругой Ото.

Маленькая финикианка Хаздра, по приказанию Поппеи так искусно разыгравшая сцену покушения,

незамеченная никем, уже успела вернуться к своей госпоже.

Выбежав от императора в первый коридор, она сорвала с себя кожаную маску и распустила свою высоко подвязанную одежду. Поппея ожидала ее в лихорадочном нетерпении. Узнав, что все произошло именно так, как было условлено, она обняла девушку и осыпала поцелуями. Но Хаздра, по-видимому, не нуждалась ни в какой признательности. Глаза ее сверкали адской радостью. Потом она скользнула на свою обычную подушку и заплакала. Слезы ее лились о мертвом Фараксе.

Пришел посланный от Тигеллина. Поппея не медлила. Что было ей за дело до остальных дворцовых обитателей, способных приметить, как она вошла в спальню Нерона? Именно теперь ей казалось даже нужным подчеркнуть настоящее положение вещей свободнее и смелее, чем в присутствии Октавии.

— Привет тебе, цезарь! — сказала она улыбаясь и как будто ни о чем не зная.

Она нежно обняла его.

— Повелительница, — сказал Тигеллин, — подари мне несколько минут внимания.

— Что такое? — с любопытством спросила она.

Агригентец рассказал сначала о происшествии в доме Люция Менения, потом о посещении Агриппины и, в заключение, об ужасном «святотатстве», совершенном против особы цезаря «неизвестным преступником».

Поппея пришла в иступление.

— Нерон, мой возлюбленный Нерон! — восклицала она. — Ты живешь еще, или это только сон, что я держу в моих объятиях твою дорогую голову? Да, ты жив... О, я умираю при одной этой мысли... Тигеллин, я падаю... О, мой бедный, бедный, измученный мозг!

По ее щекам скатилось даже несколько слезинок, настоящих, крупных слезинок.

В это мгновение агригентец подал ей трехгранный кинжал и спокойно спросил:

— Смотри, повелительница, вот оружие, оставленное убийцей.

Поппея пронзительно вскрикнула и, вовремя подхваченная Тигеллином, упала, прекрасно разыграв обморок, между тем как у императора в самом деле вся кровь прилила к сердцу. Он пошатнулся и обеими руками судорожно схватился за массивный бронзовый

стол, так что зазвенели стоявшие на нем серебряные кубки и блюда.

Наконец он овладел собой.

— Поппея,— беззвучно сказал он.— Не заставляй меня поверить такому ужасу... Это будет моей смертью, Поппея!

— Не твоей, потому что ты невинен! Нерон! Если Тигеллин уже сказал тебе... он сказал правду. Кинжал этот...

— Кинжал этот... кинжал этот?..— прошептал Нерон.— Подумай прежде! Ты ошибаешься, Поппея! Ты должна ошибаться, или весь необъятный мир заслуживает одного лишь разрушения!

Поппея Сабина покачала головой.

— Я не ошибаюсь. Виновницу этого страшного преступления зовут Агриппиной.

Она рассказала ему о странной случайности, открывшей ей тайну стенового ящика. Задвигавшая его дощечка тогда вероятно не полностью была закрыта, ибо впоследствии Поппея снова пыталась открыть ящик, но безуспешно. Но ведь Нерон мог во всякое время приказать взломать стену.

Неподвижный, безмолвный, не сводя стеклянных глаз с ее разгоревшегося лица, слушал император ее рассказ.

— Что за коварство! — шептал он.— Значит она сама раздает смертоносное оружие своим преступным слугам. Потеряется ли такой кинжал или сломается в груди своей жертвы, все равно по нему не узнаешь убийцу, которого можно было бы поймать, если бы он убивал своим собственным оружием. Искусно придумано!

Наступила пауза.

— Нерон, цезарь,— начал наконец агригентец,— сегодня решительный день: во-первых, по закону Агриппина заслужила смерть, во-вторых, ради твоей безопасности она должна быть удалена. Арестовать убийцу и в цепях повлечь ее пред сенат — вот, строго говоря, долг императора, чья высокая особа прежде всего принадлежит отечеству и народу. Но я знаю: на это ты никогда не согласишься, и твое сопротивление, говоря по совести, кажется мне понятным. Даже как преступница, она все-таки мать императора. Гласный суд подорвал бы достоинство династии, да и всего римского государства. Твое божественное имя не должно быть опозорено. Поэтому предоставь мне удаление презренной, угрожающей драгоценной жизни

родного сына из жалкого властолюбия! Я тебе это советую, я требую этого — или я сам убью себя!

— Послушайся его! — молила Пoppея, бросаясь на колени. — Я не могу дышать свободно, пока опасность не будет навсегда отвращена от твоей дорогой головы!

Она рвала на себе одежду, судорожно терзала свои волосы и снова сумела выжать поток слез, еще обильнее прежнего.

Нерон противился сначала, но потом, стряхнув давившее его оцепенение, разразился припадком титанического гнева и поднимал кулаки к небу, словно обвиняя во всем богов.

— Презренная! — восклицал он. — Она уже пощипала твою кожу в крови и все еще не насытилась ею! Ей нужно еще умертвить родного сына, для того чтобы спокойно спать! Прочь, жалкая слабость, замолчи! Малодушное, истерзанное сердце! Карай ее, Тигеллин! Действуй, убивай, как хочешь!

— Благодарю тебя, цезарь! Об одном только прошу тебя еще, если хочешь, чтобы все удалось как следует.

— Об чем?

— Отныне обращайся с Агриппиной так, как я нахожу это нужным! Ты должен помогать нам только словами, только жестами: действовать же буду я один, и скорее, чем ты ожидаешь...

Нерон снова поколебался. Но перед ним сверкал клинок кинжала...

— Она сама этого хотела... — сквозь зубы прошептал он, и, подавая руку агригентцу, подавленным голосом произнес:

— Да будет так!

ГЛАВА XVI

Неделю спустя Нерон со своим блестящим двором уже находился в Байе.

Сенека же, которому предстояло окончить несколько важных государственных дел, и Бурр оставались еще в Риме.

Бурра удерживало «происшествие в доме Менения».

Так как в заговоре участвовал военный трибун — Фаракс, то Тигеллин весьма выразительно заявил о необходимости неусыпной бдительности, а в этом отношении «никто не мог заменить превосходного Бурра».

В действительности же, лукавый агригентец хотел лишь отдалить от театра задуманной им интриги единственного человека, казавшегося ему помехой его дерзкому замыслу против императрицы-матери.

Со времени тягостной сцены в спальне сына, Агриппина больше не появлялась. Она провела два длинных, тоскливых дня одна в своих покоях, подавляла бушевавшие в ней гнев и жажду мщения. На третий день она поспешно выехала с небольшой свитой. Даже Паллас не должен был сопровождать ее: она хотела разыграть роль обиженной, осиротелой, отвергнутой. С этой целью она избрала своей резиденцией местечко, хотя также лежавшее на байском заливе, но удаленное от Байи; поселение ее там имело вид отчуждения и даже просто изгнания. «Как? — должен был воскликнуть изумленный свет.— Клавдий Нерон роскошничает под дивными колоннадами своих олимпийских вилл, его жизнь — непрерывный ряд наслаждений; Агриппина же, возведшая его на престол, живет в скромном Баули, на уединенной ферме? Что за мать!»

В Баули находилась прелестная маленькая вилла, недавно подаренная императрицей к свадьбе ее любимице Ацерронии. Теперь рыжая кордубанка была уже вдовой. Жизнь не застаивалась в императорском Риме.

Нерон и Тигеллин, казалось, теперь еще с большим увлечением и страстью предавались знаменитым байским кутежам. Поппея Сабина была всеми признанной верховной жрицей культа, состоявшего из смеси всевозможных наслаждений.

Это были то оргии, посвященные болезненно-восторженному обожанию природы, то преувеличенные, причудливые излишества в области искусства, то безумство в море чувственности. Между тем, Тигеллин окончательно покорила прекрасную арфистку Хлорис. Позабыв о своем прошлом, она с торжеством бросалась ему на шею во время этих бешеных пиров.

Нерон презрительно усмехался, глядя на нее.

Он вспомнил вечер у Флавия Сцевина, когда еще беспорочная Хлорис пела перед гостями свою трогательную, незабвенную песнь.

Так-то меняется все на свете! Целомудренная невеста Артемидора — чем стала она теперь? Конечно, бывший раб переживет это, он скажет себе, что такова сила природы и воля рока. И к чему сияет девичья красота, если не для того, чтобы быть принесенной в жертву императорскому всемогуществу? Тигеллин и

объятиях Хлорис уподоблялся увитой розами колонне императорского дворца.

Но та песнь, та песнь! При этом воспоминании перед ним вставала прелестная, белокурая головка с большими, глубокими глазами. Отуманенные слезами глаза эти, казалось, говорили ему: «Я тебя любила больше всего на небе и на земле. Но теперь я уже давно мертва».

С лихорадочной поспешностью обвив левой рукой роскошный стан Поппеи, он громко воскликнул:

— Эвоэ! — и осушил кубок до дна.

В этом водовороте наслаждений, Тигеллин и Поппея, по-видимому, совершенно забыли об Агриппине. Иногда только агригентец немного опаздывал на представление сирийских танцовщиц или удалялся потихоньку раньше окончания шумного коммиссацио. Также могло показаться странным то, что начальник флота Аницет, корабли которого стояли на якоре недалеко у Мизенского мыса, теперь обращался с Тигеллином гораздо дружелюбнее прежнего и часто беседовал с ним. Но в Байе ни у кого не было времени серьезно присмотреть к поступкам окружающих, а Нерон — единственный человек, которого это близко касалось, — старался намеренно опьянить себя.

Поэтому ни одна душа не подозревала, что коварный Аницет за три миллиона сестерций обещал взять на себя исполнение «приговора» над Агриппиной.

В начале третьей недели Тигеллин просил императора уделить ему «несколько минут его драгоценного времени».

— В чем дело? — спросил Нерон, которого весь день мучило мрачное предчувствие.

— Если тебе угодно, то следуй за мной! — сказал агригентец. — Таким образом мы избежим подробного объяснения.

Он повел императора в прелестную коричневую комнату, прилегавшую непосредственно к парку. В маленькое окно без стекла виднелось целое море цветущих розовых кустов. Справа от окна стоял драгоценный письменный стол на чугунных ножках, со столешницей из цельного куска великолепного кедрового ствола.

Здесь Тигеллин, в последнее время сделавшийся почти соправителем императора, писал от его имени депеши Бурру и Сенеке.

Отсюда же он недавно известил Ото в Лузитании, что хотя до сих пор еще не удалось напасть на след

соучастников заговора Менениев, но что, тем не менее, есть основания подозревать в сочувствии к заговору некоторых подчиненных Ото центурионов, о чем ему следовало немедленно произвести дознание, конечно с соблюдением всевозможной осторожности. На этом же столе сочинялись банально-красноречивые любовные послания, которые победоносный Тигеллин, несмотря на решительное предпочтение, отдаваемое им родоске Хлорис, все-таки писал по полудюжине за одним присест. Во всей Байе едва ли была хоть одна знатная горожанка, с которой Тигеллин не переписывался бы на богатом греческом языке, причем, конечно, его корреспондентка непременно обладала молодостью, любовью и красотой. Только при таких условиях его быстрое перо могло изливать потоки страстных выражений и блестящей лести.

В настоящем случае, само собой разумеется, на обыкновенно заваленном изящными рукописями столе господствовал примерный порядок. Перед позолоченной урной с чернилами одиноко лежали две длинные полосы папируса, одна чистая, другая исписанная.

— Повелитель, — торжественно начал Тигеллин, — я поклялся тебе и себе, а главное — заботливой Поппее, окончить по возможности, без твоего ведома, печальное дело, смутившее нас в последние дни нашего пребывания в Риме: я подразумеваю святотатственную попытку императрицы-матери. Но совершенно обойтись без твоего участия оказывается невозможным. Поэтому я прошу тебя списать это письмо и сегодня же отослать его императрице Агриппине. Письмо содержит все, что по зрелом размышлении, я нашел необходимым написать. Затем в течение дня тебе придется играть роль, которую, благодаря великому артистическому таланту, дарованному тебе Аполлоном, ты проведешь успешно, хотя она и будет тягостна для тебя. Ты должен будешь изобразить по-прежнему приветливого, любящего сына, не подозревавшего о замыслах своей чудовищной матери.

Слегка дрожавшей рукой цезарь взял со стола полосу папируса.

Послание гласило:

«Клавдий Нерон Цезарь желает своей возлюбленной матери Агриппине здоровья и благоденствия.

К величайшей горести примечаю я, дорогая мать, что недавняя сцена с Софонием Тигеллином грозит окончательно разъединить меня с тобой.

Я не хочу входить в обсуждение того, насколько справедливы или ложны обвинения человека, находившегося, по собственному признанию, в состоянии крайнего возбуждения. Я знаю лишь одно, что все мертвые без исключения имеют свои недостатки; поэтому было бы величайшим безумием упрекать именно тебя в том, что присуще вообще всем. Мне, моему сыну, менее всех подобает осуждать тебя, ибо все твои поступки, за которые ты подвергаешься порицанию, совершены тобой ради меня. А материнская любовь достойна уважения даже тогда, когда ради любимого ребенка она вступает на путь заблуждений.

Скажу прямо! Я чувствую, что и теперь еще люблю тебя как прежде, и все радости жизни омрачены для меня нашим раздором. Поэтому прошу тебя: забудь прошлое и протяни мне снова дорогую руку, которая так часто и так благотворно доселе направляла и поддерживала меня.

Если ты желаешь, то пусть весь мир узнает о нашем полном примирении. Приглашаю тебя провести завтрашний день с твоим вновь обретенным сыном. Тигеллин, которого я намерен наказать за его дерзость, вчера покинул Байю. Впредь до дальнейших распоряжений я отослал в Рим этого, во всех отношениях превосходного человека, провинившегося только лишь из преданности ко мне; в Риме он облегчит немного труд достойного Сенеки.

Ответь мне через раба, который передаст тебе это послание! Надеюсь, ты не откажешь мне в моей просьбе. До свиданья, дорогая мать! Будь здорова!»

Нерон вопросительно взглянул на Тигеллина. Но Агриппентец убедительно просил его не требовать разъяснений.

С тяжелым вздохом принялся цезарь за письмо.

Окончив переписку, он поспешно направился в ванную, чтобы холодной водой освежить свой пылающий лоб.

Между тем торжествующий Софоний послал верхового в Баули с письмом. Ответ пришел в час ужина. Императрица писала:

«Агриппина своему возлюбленному сыну Клавдию Нерону.

Письмо твое получила и с радостью узнала из него о давно ожидаемой мной перемене твоего образа мыслей.

Удаление тобой Тигеллина кажется мне настолько благоразумным, насколько и деликатным. Я желала бы рассеять твоё заблуждение относительно этого человека: поверь, он не питает к тебе ни тени дружбы. Он льстит тебе из простого эгоизма. Он хочет господствовать над тобой для того, чтобы потом извлекать из тебя личные выгоды. Я же, твоя мать, желавшая руководить тобой и направлять тебя, с самого начала стремилась к одной единственной цели: упрочению твоего счастья, величия и могущества, твоего господства. Подчинение матери не может быть постыдно даже для героев и полубогов: сколько раз я повторяла тебе это! Непобедимый Кориолан удалился со своим войском от ворот Рима, потому что мать просила его об этом.

Довольно. Я приеду к тебе и, — к чему скрывать это? — приеду с большой радостью.

Позаботься о том, чтобы мы сначала свиделись одни! Нам нужно объясниться.

Если погода позволит, я прибуду морем. Надеюсь быть на месте спустя час после восхода солнца. Меня будет сопровождать только Ацеррония и несколько рабынь.

Будь здоров!»

Тигеллин, открывший послание Агриппины, молча закивал головой, и тотчас же отправился к Поппее, где его уже ожидал начальник флота Аницет.

Когда он переступил через порог, держа в левой руке голубоватый листок папируса, оба они со стремительной алчностью вскочили с кресел и уставились на него, как на привидение. Финикианка Хаздра, также участвовавшая в страшной тайне, вздрогнула и впиалась в лицо агригентца своими черными лучистыми глазами.

— Нет, — улыбаясь, прошептал Тигеллин.

Волнение товарищей забавляло его.

Когда Поппея и Аницет познакомились с содержанием послания, решено было скрыть его от императора, так как рассудительный и доверчивый тон, принятый Агриппиной, казался опасным.

— Когда она приедет, — сказала Поппея, — я уж позабочусь о том, чтобы ее самые нежные ласки не оставляли продолжительного впечатления. Если же он прочтет ее лукавые внушения, пожалуй, он начнет раздумывать и действовать сообразно своим размышлениям.

— Умно сказано,— кивнул агригентец.— Но к сожалению, время не терпит! Малейшая отсрочка может быть гибельна для нас. Агриппина не сидит сложа руки ни одной минуты. Дайте ей срок и старая змея опять проползет на прежнее место.

— Сохрани меня от этого моя счастливая звезда! — вздохнула Поппея.— При одной этой мысли мной овладевает смертельный ужас.

— Что касается меня,— сказал агригентец,— я боюсь ее меньше, чем ненавижу. И мое тщеславие также поставлено на карту. Я не хочу и не могу проиграть игру.

— Нет, ты не должен проиграть, высокородный господин! — потирая руки, прошипела Хаздра.— Она считает себя богиней. Докажи ей, что она смертная! Убей ее, а с наслаждением буду целовать прах у твоих ног!

— Что я слышу? — произнес Аницет.— Ты не только лишь послушное орудие твоей госпожи, но и сама питаешь враждебные чувства?

— Да, господин.

— Но по какой причине?

— Ты не знал Фаракса, военного трибуна? Когда он был простым преторианцем, он любил меня. Не насмейся, Тигеллин! Некрасивая Хаздра, которая так не нравится всем вам, была действительно любима. Но высокая развратница отняла его от меня. О, если бы я могла хоть один раз схватить ее за ее бесстыдную,ivolгавшуюся глотку!

Она стиснула кулак и погрозила по направлению к Паули. Лицо ее исказилось, за полуоткрытыми губами сверкнули крепко стиснутые зубы, белые и острые, как зубы шакала.

Искренность этой бешеной ненависти изумила Поппею.

— Успокойся! — благосклонно сказала она.— Агриппина умрет и без твоей помощи. Стыдись! Ты плачешь?

— О, нет! Я не плачу. Я давно уже разучилась плакать. Глаза мои увлажняются лишь от ярости, раздирающей мое сердце!

Между тем Нерон, приняв ванну, один лежал на подушках в прохладной галерее, то смотря на мраморные статуи, возвышавшиеся в коричнево-красных орнах, то перелистывая рукописи, недавно доставленные ему с нарочным из Палатинума.

Дневные донесения Сенеки и Бурра он только пробежал глазами, хотя в послании Бурра и были

важные сообщения. Он доносил об аресте двух трибунов, сговорившихся умертвить императора и Поппею Сабину. Спрошенные о причинах такого намерения, они угрюмо отвечали:

— Наши мечи отмстят за благородную Октавию!

С минуту император думал об этом эпизоде и чувства его выразились словами:

— Из-за Октавии возникают убийственные замыслы; следовательно, Октавия угрожает моей безопасности.

Но он тут же откинул эту мысль и вытекавшие из нее ожесточение и горечь. Гораздо более, нежели донесения Бурра, интересовала его записка Фаона, остававшегося в Риме в качестве главного управляющего дворца.

Фаон посылал ему план и смету стоимости новой роскошной виллы, что должна была быть построена на вершине цепи холмов между Байей и Кумэ,— блестящее доказательство расточительности императора и его чисто персидской жажды роскоши.

В течение нескольких месяцев это была уже пятая громадная постройка, затеянная императором для своей особы. Два дворца были уже окончены,— так как рабы и рабочие, под руководством архитекторов, живописцев и скульпторов трудившиеся день и ночь, составляли целую многочисленную армию.

— Восхитительно! — шептал Нерон, снова углубляясь в детали плана.— Клянусь Зевсом, вот это я называю правильным взглядом на жизнь повелителя мира! Конечно, издержки соответствуют отделке! Девятьсот миллионов! Сомневаюсь, чтобы сама Семирамида жила в таком великолепии. Девятьсот миллионов! Этого довольно, чтобы навеки освободить всю Александрию от всех податей и налогов!

Он подпер голову рукой.

— Для кого же ты сеешь, усталый поселянин Нильской дельты? Для кого охотишься ты за львом с опасностью твоей жалкой жизни, костлявый мавр? Для кого пасете вы ваши чудесные стада рогатого скота вы, грязные поселенцы голубого Дуная? И для кого выращиваете вы огненных коней, жители южной Испании и Каппадокии? Для меня, для цезаря, которому вы еще должны быть благодарны, если он не дает вам умереть с голода, для того чтобы вы могли продолжать сеять, охотиться и пасти! Дивное, олимпийское ощущение! Когда оно охватывает меня, земля бесследно исчезает предо мной, и я чувствую, что

Цезарь выше Рока. Похитьте у меня то, что я люблю: это мимолетная капля росы! Но то, над чем я господствую, что я могу превратить в прах — это неисчерпаемое море, целый океан визжащих, жалких созданий!

Он устремил восторженный взор в резной потолок, словно прозревая за изящным навесом бесконечность иштенного богов неба, для которого предназначался только один высокий житель — он сам!

В таком состоянии его нашел Тигеллин.

— Повелитель, — деловым тоном произнес он, — Агриппина приедет завтра рано утром.

— Я знаю это, — рассеянно отвечал император. — Приказаниям Клавдия Нерона повинуются даже упрямейшие из упрямых.

— Можешь ли ты назвать приказанием предложение, облеченное в столь льстивую форму?

Нерон провел рукой по лбу.

— Да, я позабыл, — сказал он, как бы внезапно очнувшись от заоблачных мечтаний: — Да, я просил... а, могущий одним взглядом разрушить вечный Рим! Но ты сам этому виной. Я только списал то, что ты положил передо мной.

— Я сделал это после зрелого размышления, повелитель! Посол мой сообщил, что Агриппина обрадовалась и взволновалась до того, что не успела приехать письменный ответ. Она шлет тебе тысячи нежных приветствий, считая тебя снова вполне покорным себе.

— Покорным, — насмешливо вскричал Нерон. — Она узнает это!.. Покорным! Могут ли быть покорным я, я, цезарь!

Он вскочил и в глубоком размышлении несколько раз прошелся по комнате.

— Прости! — сказал он наконец. — Твою руку, Тигеллин! Ты один из немногих, кому я искренно признателен. Я был рассеян. Сообщения Фаона... то есть Бурра, хотел я сказать... Вот, прочти! И так, она приедет? Что же мне нужно теперь делать? Ведь я поклялся тебе...

— Мы еще поговорим об этом, — прервал его Тигеллин. — Ты кажешься сильно взволнован. О том, что сообщает тебе Бурр, я уже слышал от Пoppей. Она знает все, эта жемчужина среди женщин. Двое возмущившихся трибунов, обезоруженных Бурром, были выкуплены Агриппиной.

— Кто говорит это?

— Поппея. И она скоро представит тебе доказательства. Не говори ей пока ничего! Она может взволноваться, а мы должны быть бодры и спокойны.

— Ты прав, Тигеллин! Ее следует беречь, особенно теперь, когда она готовится... подарить меня ребенку...

— Цезарь, друг мой! — взволнованно вскричал Тигеллин, как будто впервые узнав об этой тайне. Твоя сладчайшая Поппея... О, ты трижды счастливым цезарь! Теперь я убежден, что все удастся нам. Дитя императора находится под защитой богов. Еще один день — и Нерон, наконец, освободится от ядовитой змеи, непрерывно угрожающей его дорогой главе. Иди, мой Клавдий! Обедай с твоей Поппеей! Остайся сегодня с ней наедине! Это успокоит тебя. Ты закалишь свое и ее сердце для последней решительной борьбы. Будь счастлив, цезарь! Тигеллин будет работать на тебя!

ГЛАВА XVII

На следующее утро Агриппина рано выехала из Баули.

Окруженный блестящей свитой, Нерон торжественно встретил ее на пристани, приветливо помог ей выйти из ее биремы и поцеловал ей обе руки. Ацерония также удостоилась милостивого приема.

Агриппина с цезарем поднялись впереди всех на ступеням к широкой, усаженной миртами дорожке, где уже ожидали их носилки. Императрица должна была быть избавлена от труда пройти даже несколько шагов до вестибулума: так строго придерживался этикета начальник флота, Аничет. Один из отпущенников императора в то же время получил приказание привязать бирему в стороне, в одной из выложенных камнем бухт, и позаботиться о покрытых потом гребцах Агриппины, равно как о ее рабынях.

Поппея Сабина, смиренно склонив голову и по восточному обычаю сложив руки на груди, ожидала у входа в атриум. Давно уже Агриппина вынуждена была признать в решительной Поппее равную себе силу. Император чувствовал к этой прекрасной, утонченно-льстивой женщине действительно страстную любовь, помрачавшуюся на минуту лишь тогда, когда пред ним вставал полупоблекший образ Акте, или когда им овладевала та ненасытная жажда жизни,

которую он всегда ощущал после глубоких философствований. В припадке такого экстаза, он желал влечения всех женщин мира в одном прекрасном существе, в объятиях которого он мог бы изведать все, что Афродита в своем божественном безумии так жалко раздробила на части. Если экстаз был продолжителен, то Нерон по несколько дней старался сам собрать это раздробление воедино. Он переходил от одного воплощения идеала красоты к другому. С одинаковым жаром он целовал дочерей сенаторов и сиграмбрских рабынь, модницу Септимию и певицу Хлорис, изменявшую своему любовнику Тигеллину без малейшего грызения после того, как она выбросила за борт свое истинное счастье — жизнь с Артемидором. Но после этого цезарь всегда с обновленной страстью возвращался к Пoppее, которая была достаточно умна для того, чтобы не замечать похощдений властителя мира. Таким образом, он все больше и больше подчинялся ее непреодолимому очарованию.

Наконец теперь, когда повсюду шептали о том, что Пoppея Сабина готовится стать матерью, а уведомленный об этом обстоятельстве Ото спокойно и без гнева выразил намерение развестись с ней, Агриппина должна была сознаться, что если она хочет победить, то ей не следует высказывать своей ненависти к этой развратнице.

И она сумела великолепно сыграть свою роль. Смирение молодой женщины было вознаграждено самым блестящим образом, Агриппина обняла ее, назвала своим дорогим другом, поцеловала ее в полуоткрытые губы и покланялась, что прекрасная Пoppея никогда еще не была так очаровательна и прелестна, как теперь.

Тотчас после этого, под навесом маленького трикуниума подали роскошный завтрак.

За завтраком присутствовали только пятеро: Нерон, Агриппина, Ацеррония, Пoppея и Аницет.

Агригентец прятался весь день. Все думали, что он уехал. Впрочем, во время завтрака его имя не было упомянуто ни разу.

Разговор подерживали преимущественно Аницет и Пoppея. В особенности был говорлив обыкновенно молчаливый Аницет. Следовало во что бы то ни стало помешать императрице-матери объясниться с Нероном. Поощряемый громким одобрением Пoppеи и Ацерронии, он рассказывал одну за другой истории о необыкновенных морских приключениях и даже сама

Агриппина по временам увлекалась его живым, интересным рассказом.

Посторонний зритель наверное подумал бы, что за этим роскошным, сверкающим золотом и серебром столом царят искреннее веселье, душевное спокойствие и сердечное дружелюбие.

Но Агриппина боролась с странным беспокойством

Подозрительность ее была скоро подмечена Поппеей, увидавшей, что императрица-мать постоянно принималась за поданное блюдо тогда, когда его уже отведывали император или Поппея.

Раз, когда Агриппина отвернулась, она легким движением руки, понятным одному только Нерону, обратила на это его внимание. Нерон нахмурился. Опасения Агриппины казались ему ясным доказательством ее виновности.

Как бы случайно, он начертил на столе указательным пальцем букву Б.

Во взоре Поппеи засветилось тихое довольство. Она догадалась, что это Б означало: Британник.

Завтрак был превосходным. Тут были чудовищные устрицы и нежные, бескостные мурены; два паштета — один из мозга жаворонков, другой из копченой оленины с двадцатью пряностями; фрукты из знаменитейших кампанских садов; словом, всевозможные изысканнейшие кушанья подавались великолепно разодетыми слугами, между тем как холодное, искрящееся этнинское вино распространяло опьяняющий аромат. Но всем этим наслаждалась одна только испанка Ацеррония.

Она наслаждалась искренно и, выпивая один освежающий кубок за другим, внутренне горячо желала, чтобы уединенной жизни на вилле в Баули действительно пришел конец.

Как непохожа жизнь здесь, под прохладным навесом, на жизнь в подаренном ей доме! Благодарение бессмертным богам, она избавилась от ужасного мужа; теперь не доставало только прежнего веселого, пестрого общества и кого-нибудь для замены покойника! Она не выйдет больше замуж, ни за что на свете; но... ей хотелось бы завести себе друга. Всеблагая Киприда, тебе известна песнь молодых, веселых вдов!

Например, Аничет... Его нос немного широк, но ведь целуются не носом!

Он весело болтал и искренно смеялся, когда Ацеррония раздражалась хохотом; она не понимала, почему прежде так пренебрегала им! А ее смешное видение и

Марке Сцевина! Его оживленные глаза тогда были закрыты... по лицу струилась зеленоватая вода... рот был искажен, бледен, ужасен... А позади него Помона, внезапно принявшая черты императрицы-матери!

Как глупо!

Мудрая египтянка Эпихарис тогда же дала ей благоприятное истолкование. Она предсказала, что начальник флота в течение года благополучно доставит их в гавань... Конечно, гавань могла быть и аллегорией, обозначавшей счастливую любовь...

Так она мечтала о радужном будущем.

В полуденную жару, обитатели виллы предались отдыху.

Только за два часа до ужина все собрались в галерею, прохладнейшем месте дома, где Хлорис пропела несколько песен.

— Милая родоска, — сказал император, когда она исторично опустила арфу, — спой еще одну песнь, которую мы уже давно не слышали, спой твою нежную, мелодичную «Glykeia mater»!

Glykeia mater... О, сладкая мать... — так начиналась любимая народная дорическая песня.

Все присутствующие, а прежде всех Поппея и Аничет, начали рукоплескать цезарю. Агриппина легко поддавалась очарованию этого деликатного внимания. Она была вполне убеждена, что юный император снова в ее руках. Заметно трепетный голос Нерона, которым он высказал свое желание, она окончательно перетолковала в хорошую сторону. Сколько бы ни страдала ее гордость, сколько бы ни возмущалось ее властолюбие против необузданного мальчика, так дерзко и неожиданно осмелившегося тягаться с ней, все-таки он был и оставался ее горячо любимым сыном. В первые слова песни Хлорис вложила столько огня и продолжала петь так нежно и трогательно, что несравненное самообладание Агриппины на несколько мгновений изменило ей и она позабыла о том, что всегда считала первой обязанностью своего достоинства. Глаза ее увлажнились, и две блестящие слезы готовы были катиться по ее щекам, быть может, в искупление многих кровавых деяний, которые не могли быть больше смыты никакой молитвой.

А между тем, гибель все приближалась к чувственной жертве.

В четвертом часу пополудни все домашние и многочисленные гости сели за стол. По неотступной просьбе финикиянки Хаздры ей дозволено было принять

на себя раздачу обычных венков. Одета в широкое красное платье, серьезно, медленно, торжественно, как бы совершая священный обряд, приблизилась она к празднично разубраннным столам. Сверху в ее плоской корзине лежала гирлянда белых роз, отличавшаяся от остальных своими пышностью и красотой. С сверкающими глазами подошла она к почетному месту, где на роскошных подушках, между императором и Аницетом, покоилась гордо улыбающаяся Агриппина.

Поверженная Поппеей торжественно подняла душистую диадему.

— Розы из Кумв! — дрожа, сказала она. — Прекраснейшие в целой Италии! Клавдий Нерон, наш господин и повелитель, отдает их тебе. Тебе одной оказано это преимущество! Эти белые, царственные розы подобны свадебному убору богини мертвых Прозерпины!

Возмущенный этим неуместным намеком, Аницет метнул на нее яростный взор. Но Хаздра только усмехнулась с презрением к алчному «деловому человеку», из-за золота решившемуся на измену и убийство между тем как она с радостью пожертвовала бы миллионы ради одной возможности отомстить. Почти высокомерно прошла она дальше.

Агриппина едва слышала слова своей тайной невестницы. Равнодушно надев на голову венок смерти она позволила Аницету поправить сапфировую шпильку, что он исполнил с почтительной ловкостью царедворца.

Давно уже ее взор задумчиво устремлялся на вечно веселую Поппею Сабину.

Как легко удалось этой сияющей красотой женщины подчинить себе цезаря! Агриппина верила, что сама она везде и всегда может помериться прелестями и очарованием с кем угодно, даже с Поппеей! Но в этом случае, к несчастью, она была мать...

Улыбаясь, она высказала эту мысль Аницету.

— Согласись, что борьба была неравная, — после некоторого молчания продолжала она. — Я была лишена самого надежного оружия. Полагаю, что я могу утешиться этим.

Аницет, тайне занятый своими планами, придавал ее словам ложное значение и вздрогнул. Чуждость намерения, в котором он ее заподозрил, заставила его затрепетать... Но тотчас же, с внутренним смехом, он поднес к губам кубок и мысленно выпил «счастливое путешествие», которое он должен был

приготовить увенчанной свадебным венком императрице-матери.

Уже наступила ночь, когда Агриппина поднялась из-за стола, чтобы возвратиться в Баули.

Над вершинами левгарских гор сияла луна, разливая мягкий свет на далекий зеркальный залив и на окружавшие его многочисленные храмы, театры и виллы.

Нерон проводил императрицу до берега. Большинство гостей следовали за ними. К удивлению, бирема Агриппины не была подана. Перед бухтой, где она была привязана, раздавались смущенные голоса.

— Что это значит? — спросил начальник флота.

— В биреме течь, — отвечал один из гребцов.

Агриппина нахмурилась.

— Непостижимо! Кто виноват в этом? Ты, Андрокул?

— Повелительница, клянусь моей жизнью...

— Молчи! — прервал его Нерон. — Завтра я узнаю, кто виновен. Кассий, арестуй этих двух людей! Ты же, дорогая мать, не порти своего хорошего расположения духа из-за такой безделицы! За сто шагов отсюда стоит увеселительный корабль, недавно подаренный мне любящим роскошь Аницетом. Живо, Эврисфен! Гребцов сюда! Мать, подожди немного на этой каменной скамье! Через пять минут ты уже будешь в море.

Он едва выговорил эти слова. Язык его прилипал к гортани. Но отступить он не мог: так должно было быть во имя справедливости, его собственного блага и безопасности Рима, ибо Рим — это он сам!

Равномерные всплески и журчанье воды возвестили о приближении роскошного корабля. Экипаж его состоял из храбрейших матросов Аницета, в простых морских одеждах сидевших теперь на скамьях и, по ману кормчего, поднявших кверху весла.

Из судна на берег перекинули обитую ковром доску. Агриппина обняла цезаря и бледную, как мрамор, Пoppею, подала руку Аницету, милостиво кивнула остальным и в сопровождении Ацерронии и служанок спокойно ступила на палубу.

Посредине судна возвышался персидский балдахин.

Под ним стояли мягкие скамьи и диваны. Агриппина села, кругом нее разместились ее спутницы, цветущие девушки в розовых туниках, с блестящими плащами из легкой шерстяной ткани, небрежно накину-

тыми вокруг бедер. Невольно вспоминалась Галатея в кругу nereид.

Последнее «Будьте здоровы!» послышалось с берега. Кормчий протянул правую руку. Два флейтиста заиграли нежную мелодию: «О, золотая Байя!», а гребцы в такт поднимали и опускали весла. Судно сделало оборот налево, и поплыло вперед по молчаливому заливу.

Ночь была очаровательна. Лунный свет все ярче и ярче сверкал на подернутой легкой рябью воде. Исчезающий вдали Мизенский мыс, усеянные виллами холмы, высокие леса пиний, все, казалось, утопало в серебре и снеге. Серебро и снег пенистыми клочками взлетали над веслами, падали дождем на колонны балдахина и жемчугом скатывались на широкую палубу. Агриппина подперла голову рукой.

Мягкая лазурь неба, ароматный воздух, мелодичные звуки флейт, все это производило невыразимо успокоительное впечатление! Довольная улыбка мелькала на ее губах. Давно уже она не была так счастлива.

Незабвенный день!

Все, все, опять изменилось к лучшему. Сын ее снова нашел ту границу, где начинается ее материнский авторитет. Он поклялся уважать эту границу, вполне доверять матери и следовать ее советам до конца ее жизни!

Это было возвращение к былому, к цезарскому могуществу, к господству над империей.

А господство это так заманчиво, так божественно!

Чего только не может теперь совершить снова возвеличенная императрица-мать! Чего только она не создаст, не разрушит, не уничтожит! Прочь празднующиеся гуляки, превращающие Рим в таверну! Прочь агригентский шарлатан, с его бессильными, бесцветными клеветами! В империи Августа должен быть водворен порядок во что бы то ни стало! Парфяне должны присмиреть, как собаки при яростном рыкании льва! Логанских германцев она раздавит раз навсегда и этим положит славный конец вечным спорам о владениях. Мощная, белокурая великанша Германия, разбившая Вара и заставившая великого Августа плакать от горя, должна затрепетать и пасть в прах перед римской императрицей Агриппиной!

Сон одолел ее и она откинула голову на подушку. Пред ней, подобно густому фантастическому облаку, носились необъятные толпы розовых гениев, махав-

ших победными венками триумфаторов. Она закрыла глаза. Ее улыбавшегося рта коснулось благоуханное дыхание, словно поцелуй бессмертного бога...

Вдруг раздался ужасающий треск, грохот и дикий, пронзительный, раздирающий душу крик ужаса.

Корабль Аницета сам собой разделился на три части, из которых средняя, где был балдахин, как винец пошла ко дну.

Агриппина еще не успела вполне очнуться, как уже со всех сторон услышала журчанье темной воды. Соленая влага залила ей рот и нос, и она почти лишилась чувств.

Наконец она вынырнула. Она слышала крики о помощи молодых рабынь, мучительно боровшихся за свою жизнь, она слышала вопли Ацерронии.

Сердце императрицы сжалось невыразимой болью. Не страх смерти безжалостно давил ей горло, но ужасное сознание истины.

Безмолвно ухватилась она за одну из коринфских колонок, оторвавшуюся от балдахина и носившуюся кругом в водовороте.

— Горе мне! Вот и закрытые глаза Аницета! — вопила Ацеррония, вспоминая недавнее радужное истолкование своего видения.

С силой отчаяния поплыла она к большей из двух державшихся на поверхности воды частей судна.

Луна спряталась за тучи. Мрачная пепельная дымка окутала сцену катастрофы.

— Спасите меня! — раздался страшно пронзительный крик кордубанки. Она вцепилась в один из свешившихся шестов.— Спасите меня! — снова крикнула она и видя, что никто не обращает на нее внимания, крикнула прибавила: — Я мать императора!

Едва лишь произнесла она роковые слова, как на ее мокрую голову справа и слева посыпался град несельных ударов.

Еще недавно кипевшая жизнью Ацеррония погрузилась в пучину с раздробленным черепом. Почти в то же мгновение затонули и другие рабыни.

Одна лишь Агриппина, скрытая колонной от взоров убийц, медленно уплывала в открытое море.

— Актэ,— шептали ее искаженные губы,— не твое ли это мщение?

Предсмертные муки цветущей молодой девушки, которую она считала утонувшей, представились ей с уничтожающей ясностью. Да, вечно справедливая судьба воздавала ей буквально око за око. Ей чудилось,

будто призрачная рука тянет ее за одежду в глубь пучины. Полное противоречий раскаяние проснулось в ней. Эта отпущенница, несмотря ни на что, была ей симпатична с первой минуты. Агриппина поступала против собственных чувств, раздувая в себе ненависть и злобу... Увы, а он, проклятый, второй Орест! Разве его первая вспышка гнева на некогда столь нежно любимую мать не была порождена борьбой за ту, которую он называл своим счастьем?

Мысли эти, подобно молниям пронизывали ее мозг. Потом глубокий мрак застлал ее сердце. Она колебалась, покончить ли разом эту страшную муку и, выпустив колонку, с последним проклятием своему убийце погрузиться в багряную пучину? Одно лишь удерживало ее: страстное желание покарать злодеев. Как некогда Актэ черпала новые силы в мысли о своей беззаветной любви, так смертельно раненое сердце Агриппины закалилось в пламенной жажде мщения.

После того, как соучастники преступления Аницета сочили свое дело оконченным, они сели в скрываему до сих пор шлюпку, потопили обе еще неповрежденные части яхты и, довольные своей удачей, направились обратно в Байю.

Уже рассветало, когда они достигли берега.

Несмотря на хорошую погоду, Аницет имел дерзость распространять сказку о том, будто Агриппина потерпела крушение при возвращении в Баули.

Никто не верил этому, но все притворялись убежденными в правдивости выдумки. Тигеллин выразительно повторял, что в заливе есть подводные камни. Корабль Аницета, вероятно, сидел глубже, чем обыкновенные увеселительные корабли. Купеческие же суда, приплывавшие в Путеоли, держали более северный курс. Тигеллин знал в этом толк, и так как вместе с тем он обладал и властью, то его разглагольствования не встречали опровержений.

Нерон, которому агригентец сообщил о случившемся тотчас по возвращении матросов, не изумился, но был страшно потрясен.

— Ты дал мне дурной совет, — беззвучно произнес он. — Да, да, я знаю, что ты хочешь сказать. Я верю тебе. Она святотатственно покушалась на мою жизнь. Но все-таки, все-таки... Я предпочел бы для нее изгнание...

— Изгнание? — воскликнул Тигеллин. — Повелитель, как мало знаешь ты натуру таких преступниц! Никакие преграды недостаточны для того, чтобы пол-

ностью обезвредить их злобу. Они разрушат плиты мамертинской тюрьмы и вечные скалы Сардинии. Я принесу благодарственную жертву, если эта страшная женщина не вернется из царства мертвых для того, чтобы посеять новое зло!

— Она вернется! — с трепетом сказал император. — Я уже вижу ее, каждую ночь бледным призраком подходящую к моему ложу, со стенами показывающую мне свою, питавшую меня грудь и, наконец, душающую меня!

— Успокойся! — сказал Тигеллин. — Неужели я должен повторять в сотый раз, что она понесла лишь заслуженную кару? Она хотела убить не одного лишь сына, но цезаря. Сын мог бы простить; цезарь не имеет на это права.

Нерон встряхнулся.

— У меня мороз пробегает по коже, — дрожа, произнес он, — я не могу выразить моих чувств словами, но я невыразимо страдаю!

— Подумай о Бруте! Дорогой, и это имя я часто произносил перед тобой! Сыновья Брута провинились только перед государством, жизнь их родителя была для них священна. Однако Брут не колебался ни мгновения. Он с геройским достоинством произнес смертный приговор. Он подавил в себе то, что в десять тысяч раз сильнее всякой сыновней любви: отцовскую любовь! Нет, Клавдий Нерон, то, что ты допустил совершиться, похвально и справедливо, и потомство не подумает даже лишить тебя лаврового венца за этот поступок.

— Оно назовет меня матереубийцей! — в отчаянии простонал Нерон.

— Успокойся, если любишь меня! Твои нервы расстроены. Иди спать, цезарь! Еще не совсем рассвело. Тебе нужен отдых.

— Я не могу спать. Тысячи мыслей толпятся в моей голове, тысячи старых, давно забытых воспоминаний... О, дни моего раннего детства! Как я был счастлив, играя у ее ног! Как свободно и чисто было это сердце! Она задумчиво смотрела на меня, ее черты дышали кротостью; я чувствовал, что любим...

— Повелитель, заклинаю тебя...

— Однажды, я помню это было в декабре, перед праздником сатурналий, — продолжал Нерон. — Вечерело. Мы сидели в одной комнате, а отец с друзьями возлежал за столом в другой. Она посадила меня на колени. «Ты должен, когда вырастешь, оправдать мои

надежды», — задумчиво сказала она. На столе возле стенной ниши лежал сорванный мной пучок лавровых ветвей. Она сплела из них венок для меня. Потом улыбнулась и назвала меня своим любимцем, своим царем и богом. И поцеловала меня...

Обуреваемый страстным раскаянием, Нерон бросился на ложе и спрятал в подушки свое залитое слезами лицо.

С каждой минутой Тигеллин чувствовал все большую неловкость и досаду. После долгого, безмолвного размышления он, наконец, патетически произнес:

— Выплачь свое горе, великий цезарь! Слезы эти льются о детстве, которое и счастливейшему среди нас представляется навеки утраченным, блаженным сном. Победенный волшебной силой воспоминаний, ты теперь не сознаешь, что все это уже давно погребено, что любящая мать, ласкавшая на своих коленях сына, потонула в тине порождающего ненависть честолюбия и в бездонной пучине себялюбия, а вовсе не в волнах залива, как ты это представляешь себе. Плачь, цезарь, и слезами этими, если хочешь, принеси искупительную жертву ее духу! Очисти ее память от всей приставшей к ней грязи! Позабудь многочисленные, умерщвленные ею жертвы! Даруй ей твое прощение и затем бодро подними голову, чтобы снова сиять, царствовать и наслаждаться!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА I

В продолжение нескольких часов Агриппина цеплялась за колонку, разделявшую ее от вечной ночи в Мубине пучины.

Она вспомнила о своей жертве, несчастной Актэ, и вот боги, казалось, сжалились над ней за эту, полную раскаянья, мысль. С ней, в ее ужасном положении случилось подобное тому, что произошло с утопавшей отпущенницей Никодима.

Тело Агриппины уже почти окоченело от холода морской воды; жизнь, казалось, сохранялась еще только в сильно бившихся висках да в ослабевавших руках, судорожно охватывавших резную колонку. Вдруг, от мизенского мыса показалась лодка, плывшая из Каэты в Путеоли с грузом цветов. Агриппина начала отчаянно кричать; она звала до тех пор, пока в ответ ей показался развевающийся платок и раздался возглас: «Продержись еще немного!» Через пять минут она была спасена.

Не веря собственным глазам, онемев от изумления, честные моряки смотрели на неожиданное явление: Агриппина, императрица! Каждому из них было знакомо ее величественное, характерное лицо, виденное ими если не в натуре, то в бесчисленных бюстах и статуях, украшавших площади всех римских городов. Никто не осмеливался заговорить.

Смертельно измученную императрицу свели в каюту, подали ей полотенца, ковры и сухую одежду, так как случайно на шлюпке оказалась дочь садовника, высокая девятнадцатилетняя девушка.

Едва оправившись, Агриппина предалась безграничной ярости, временно подавленной борьбой с морскими волнами. Жалкий убийца! Его нежные речи,

теплые рукопожатия, сердечные объятия, трогательная песнь «Glykeia mater», словом, все, происходившее на богопротивной Байской вилле было лишь низкой, постыдной, предательской комедией! А она, Агриппина, обыкновенно столь прозорливая, она поддавалась обману! Стыд от сознания этого давил ее еще сильнее, чем страшное разочарование материнского сердца.

Но она овладела своим бешеным гневом. Полное, всеокрушающее мщение могло быть достигнуто лишь спокойствием и хладнокровием. Благоразумие должно преодолеть бурю ее чувств.

Скоро она уже составила план действий.

— Отважные моряки, — сказала она, призвав матросов, — благодарю вас! Да, это я, императрица Агриппина. Мы плыли по заливу в лодке, прельщенные тихой, мирной лунной ночью. Неожиданно налетевший шквал опрокинул нашу лодку. Так изменчива судьба людей. Однако я прошу вас: сохраните такое молчание о происшествии, как будто вы сами были его виновниками. Обещаете?

— Повелительница, как ты прикажешь!

— Вам не придется раскаиваться в этом. Теперь же скорее доставьте меня в Баули! Убыток садовника будет в сто крат возмещен ему.

Матросы повиновались.

Был уже день, когда они вошли в гавань. С царственной невозмутимостью Агриппина сошла на берег.

— Подождите! — сказала она, прощаясь.

Вскоре явился ее главный раб и вручил каждому матросу по тысяче динариев, рулевому же и дочери садовника по пяти тысяч.

Домашним своим Агриппина также не обмолвилась ни словом о случившемся. Главному рабу, спросившему, почему она возвращается одна, она ответила так, что сразу отбила у него охоту к дальнейшим расспросам.

Приняв немного пищи и выпив чашку фруктового сока с водой, она пошла в свою спальню, где скоро погрузилась в мертвый сон.

Проснувшись около полудня, она провела рукой по лбу, как бы с трудом припоминая пережитое ею.

Вдруг она громко и злобно засмеялась.

— Точно в театре, — подумала она, судорожно сжимая пальцы. — Сейчас начнется последнее, заключительное действие... Я должна бы уже погибнуть, но вдруг все изменяется. Именно то, что должно было

погубить меня, ставит меня в выгодное положение. Подождите, вы, псы, теперь вы узнаете, на что способна Агрипина, когда дело идет о жизни или смерти! Мой превосходный Бурр, наконец, очнется от своей блаженной доверчивости.

Она стиснула кулак.

— Мальчик! — с мучительной болью прошептала она. — Убивая Клавдия ради тебя, клянусь Стиксом, я трепетала, я ощущала нечто вроде раскаяния... А Клавдий был жалкий глупец, которого я ненавидела! Ты же... возможно ли представить это себе? Если есть боги, они должны бы осудить тебя на вечную муку!

Горячие слезы полились по ее щекам, но она овладела собой.

— Проклятие слабому материнскому сердцу! — окрежеща зубами, думала она. — Полуубитая жертва плачет о презренном развратнике вместо того, чтобы улыбкой покарать его! Но я отучу себя от слез. Я встречаюсь с ним — это неизбежно — когда наступит время.

Накинув на плечи паллу, она поспешила в соседнюю комнату и твердым, решительным почерком написала следующее:

«Императрица Агрипина приветствует своего могущественного сына Клавдия Нерона.

Боги завистливы, милый сын! Увидев где-либо полное счастье, они посылают туда детей Латоны со смертоносными стрелами.

Нерон, цезарь, мать твоя умоляет тебя об отмщении за неслыханное святотатство. Ты окружен предателями, бесчестными убийцами, замышляющими против моей, а быть может, и против твоей жизни. Судно, подаренное тебе низким Аничетом, было западней. Посреди залива оно распалось надвое, как китро построенная игрушка, которой пугают детей во время праздника сатурналий. Я, вместе с моими верными спутницами, упала в море, и только чудом избежала смерти. Защити меня, Нерон! Открой глаза и постарайся отличать истинных, испытанных друзей от себялюбивых, алчущих денег и власти негодяев, злоупотребляющих священным именем дружбы для того, чтобы тем вернее столкнуть в бездну погибели тебя и римское могущество!

Стыд не позволил мне сообщить моим домашним о том, что я перенесла. Но спасшие меня матросы, по видимому, догадались, что тут скрывается преступле-

ние. Весть об этом скоро разлетится по всей Италии. Позаботься о том, чтобы вслед за этой вестью немедленно разнеслась и весть о наказании преступников!

Несмотря на ужасное волнение этой страшной ночи, я здорова.

Ты, надеюсь, также здоров».

Письмо это она вручила одному старому, преданному рабу с приказанием передать его лично императору, не отступая ни перед какими затруднениями, которые наверно представятся ему.

Хотя в наглухо занавешенной спальне Нерона господствовала полнейшая темнота, сон ни на минуту не смежил его глаз после ухода Тигеллина.

«Матереубийца!» — беспрерывно звучало в его ушах. То это был голос несчастной жертвы, то его собственный. Он слышал также рокот высоко вздымавшихся волн, из мрачной пучины которых медленно вставали страшные призраки, костлявые демоны с искаженными лицами, в окровавленных одеждах. Он старался прогнать эти видения, он отчаянно боролся с ними. Все тщетно. Из каждого пенистого гребня выплывали новые смертельно-бледные фигуры, их были тысячи, миллионы. Весь мир наполнился ими, превратившись в необозримо страшный хаос.

Минутами, когда это ужасное состояние достигало той высшей степени, за которой уже начинается безумие, над безобразной толпой поднимался цветущий образ Актэ, печально смотревшей на него и грустно шептавшей: «Нерон, мой кумир, мое счастье, ты смотрел на меня иным взором, когда твои руки еще не были запятнаны кровью! Руки эти ласкали мои волосы, гладили мое лицо, охватывали меня в упоительных объятиях... Тогда я отдала тебе все мое сердце, как Ио Зевсу. Но теперь — горе мне! Ни за какие сокровища в свете не хотела бы я коснуться твоих пальцев».

Он зарылся в подушки пылающим лицом.

Что это? Отчаянный крик о помощи? Вот сверкнула белая, палла императрицы... Вот, вот... о, как быстро утопает она! Она вскидывает руки... «Нерон, мой сын!» С глухим журчаньем вода сомкнулась над головой утопающей...

Солнце поднималось все выше и выше, разливая свои живительные лучи над многолюдным приморским городом. По берегу, вдоль великолепной набережной, шумела обычная, пестрая суета. Тысячи птиц заливались в парке. С моря дул освежающий ветерок,

надувавший целую флотилию блестящих парусов. Словом, день казался созданным для земного блаженства. Один император, вышедший в перистиль, не замечал живительной силы света. Глаза его болели, и в висках стучало словно молотом.

Пройдя два раза по перистиллю, он поспешил в галерею и бросился на бронзовую скамью. Наконец его объял тяжелый, болезненный сон.

Когда посол Агриппины прибыл на виллу, цезарь еще спал. Кассий и другие рабы-прислужники отказались будить его. Мускулистый гонец уже намеревался силой проложить себе путь к императору, когда вошедший Тигеллин осведомился, в чем дело.

— Господин,— отвечал Кассий,— вот какой-то неизвестный человек имеет важное послание к цезарю.

— Поддай сюда! — приказал Тигеллин послу.

— Невозможно. Я могу передать письмо только одному цезарю.

— Я отдам ему.

— Мне это запрещено.

— Кто послал тебя?

— Друг императора, не желающий назвать себя. Не препятствуй мне! Император разгневется на тебя, если ты удержишь меня!

Агригентцем внезапно овладело смутное беспокойство.

— Хорошо,— равнодушно сказал он.— Войди сюда! Я сейчас разбудю императора.

Честный гонец переступил через порог. Тигеллин сделал знак рабам, которые мгновенно кинулись на него и вырвали письмо из его туники.

Агригентец вошел вслед за рабами.

— Молчи! — шепнул он начавшему кричать гонцу.— Я прикажу изрубить тебя, если ты только пикнешь еще раз!

Он взял послание и пробежал его. На несколько мгновений он совершенно растерялся, но оправившись, холодно произнес:

— Связать этого молодца и посадить в подвал! Наблюдайте за ним строжайшим образом, впредь до дальнейших распоряжений. Если он вздумает сопротивляться, просто заколите его! Не ты, Кассий! Император хватится тебя. Это сделают другие. Хорошо! И ни слова о случившемся! Чтобы цезарь ничего не знал! Кто не умеет молчать, тот пусть лучше сейчас же бросится в рыбный пруд: ибо я обещаю ему страшную смерть.

Сказав это, агригентец в сопровождении двух солдат поспешил к Аницету и молча развернул пергамент перед его глазами.

Начальник флота прочитал и побледнел.

— Выбирай! — сказал Тигеллин по-гречески. — Или ты сам падешь жертвой твоего коварного замысла, или тебе придется исправить сегодня же вчерашнюю неудачу.

— Проклятие! — прошептал Аницет. — Львица живучее, чем мы предполагали! Через несколько часов, быть может, я погибну, так как ты, благородный Софоний, конечно предоставишь меня моей судьбе.

Тигеллин пожал плечами.

— Каждый за себя, — с дипломатическим хладнокровием отвечал он. — В случае публичного скандала я откажусь от тебя: это само собой разумеется. Но если тебе посчастливится выпутаться из этого затруднения, то ты получишь двойное вознаграждение за твою работу.

Аницет с минуту подумал.

— Гонец уже ушел?

— Нет. Я велел задержать его на всякий случай.

— Отлично! Если ты мне поможешь хоть немного, я надеюсь еще уладить все. Теперь мы должны бороться сообща, ибо ведь и тебе не избежать подозрений: нас слишком часто видели вместе в последнее время. И к тому же, у меня сохранилось то любезное письмо, которым ты так благосклонно приглашал меня; оно также есть очень красноречивое доказательство тайной связи наших устремлений.

— Не заблуждайся! — возразил Тигеллин. — Стоит мне пожелать, и через две минуты ты будешь мертв. Я прикажу отрубить тебе голову и сообщу Агриппине, что ты наказан за твое покушение. Как ты думаешь, заподозрит ли кто-нибудь меня, твоего карателя, в сообщничестве с тобой?

Аницет с усилием сохранял спокойствие.

— Может быть, ты прав, — с холодной улыбкой сказал он. Ему казалось, что теперь он в совершенстве подражает своему блестящему образцу, Тигеллину. — Может быть! Но оставим эти шутки! Само собой разумеется, что я остался довести мое предприятие до конца. Двойное вознаграждение я считаю справедливым: ведь и опасность удвоилась. Слушай же, что я нахожу нужным сделать. Прикажи сейчас же умертвить гонца, так благоразумно схваченного тобой! Распространи слух, что по поручению Агриппины, он

должен был умертвить цезаря! Ты уж позаботишься о достоверных свидетелях его признания. Ведь ты не новичок в таких делах.

— Хорошо. Что дальше?

— Остальное предоставь мне. Неприятная задача будет исполнена до наступления вечера.

— Ты возбуждаешь мое любопытство,— сказал Тигеллин.

— Не сомневайся во мне! Пошли тотчас же на мои триремы! Мне нужны пятьдесят человек, кроме тех двадцати, что были гребцами на потопленном судне. Я хочу вполне обеспечить успех. Пятьдесят человек из отряда отборных моряков, которых я называю «чайками». Нельзя ли послать туда одного из твоих солдат?

Тигеллин отвечал утвердительно.

Аницет написал несколько слов на своей вощенной доске. Легконогий преторианец вихрем помчался к берегу, где стояли на якоре две триремы: «Самос» и «Гераклея».

— Так! — пробормотал Аницет. — Надеюсь, мое смелое решение сильно изумит вас! Нет, нет, я ничего не выдам!

— Ради Зевса, оставь таинственность! Право, мой превосходный Аницет, на море ты, может быть, бог, но на суше ты неловок как пеликан. Не думаешь ли ты, что я воображаю, что ты намерен устроить маневры твоим морякам здесь, в атриуме? Или хочешь выбить из седла цезаря или меня?

— Выслушай меня! Всего ты все-таки не угадаешь. Да, действительно, я хочу сделать нападение на императрицу. Сегодня же она должна сойти в Тартар; иначе моя голова, а может быть и твоя также, не стоят полудинария. Это ты угадал. Но о моих других планах ты и не подозреваешь. Впрочем, пожалуй лучше будет посвятить тебя во все...

— Говори!

— Я заметил,— продолжал Аницет,— как больно было императору произнести смертный приговор родной матери. Поэтому я расскажу, что, движимый состраданием, я сам помешал ей утонуть, для того, чтобы потом попросить тебя и цезаря сжалиться над осужденной. Но Агриппина дурно отплатила за это сострадание. Теперь я отправлюсь для того, чтобы после нового убийственного покушения преступницы, арестовать ее, но не умерщвляя, ибо умерщвление императрицы-матери противно моим чувствам. Ко-

нечно, я ее все-таки убью, но императору будет сообщено, что она сама убила себя при аресте...

Тигеллин отступил на шаг.

— Аницет,— сказал он,— я беру назад мое оскорбительное сравнение. Ты не пеликан на суше. Клянусь гордой Эпоной, твоя находчивость поразительна! Она наверно возвратит нашему Нерону его прежнее спокойствие, а так называемые угрызения совести на престоле, право, неуместны.

— Да и для Поппеи выгоднее, если это будет иметь вид самоубийства,— продолжал Аницет.— Или ты не полагаешь, что у нее есть мысль?..

Он остановился.

— Мысль?.. Какая? — спросил агригентец.

— Достойный Тигеллин, я не решаюсь! Здесь, в Байе, и у стен есть уши!

— Вздор! Со мной ты можешь быть вполне откровенен. Ты подразумеваешь, что Поппея мечтает сделаться императрицей и соправительницей всемирной монархии?

— Это предположение весьма близко к истине. Поэтому согласись, что если смерть Агриппины будет хоть отчасти приписана ее стараниям, это может до такой степени восстановить против нее цезаря с его своеобразными странностями...

— Превосходно! — сказал Тигеллин.— Не понимаю, как мы раньше не подумали об этом самоубийстве. Слушай! Что это?

— Шаги моих солдат! — отвечал начальник флота.— Да, «чайки» не заставляют Аницета ждать себя. Будь здоров, Тигеллин, и не медли с умерщвлением посла!

— Не беспокойся! Раньше, чем вы выйдете на улицу, он уже будет трупом. Желаю тебе полной удачи! Если же ты и на этот раз промахнешься, то уж прямо сам пронзи себя мечом!

ГЛАВА II

Моряки дожидались в вестибулуме. Это были все сильные, загорелые молодцы, на лицах которых была написана отчаянная отвага. У большинства на поясе висели мечи; некоторые были вооружены копьями и палками. Аницет, без дальних проволочек, быстрым маршем повел их на широкую военную дорогу, ведущую в Баули.

— Солдаты,— сказал Аницет, когда они вышли за город,— Рим рассчитывает на вас! В течение семи лет вы будете получать тройное жалованье, если исполните то, что я поручу вам. Беретесь вы за это?

«Чайки» выразили ему свою преданность.

В коротких словах объяснил Аницет суть дела, прибавив, что учитывая чрезвычайную впечатлительность цезаря, необходимо прикрыть истину.

— Да здравствует император! Да здравствует наш славный Аницет! — вскричали моряки.

Обернувшись, начальник флота увидел шагах в ста позади его отряда красивую женскую фигуру в развевающейся тунике.

То была маленькая, чернокудрая Хаздра.

Аницет, предполагая, что она спешит к нему с поручением от Тигеллина или от Поппеи, остановил солдат.

— Что тебе нужно? — спросил он, когда запыхавшаяся девушка приблизилась к нему.

— Ничего важного. Я хочу идти с вами в Баули. Я знаю все. Я хочу присутствовать... при ее умерщвлении.

— Поппея разрешила тебе это?

— Нет. Но я слышала, как Тигеллин рассказывал моей госпоже о вашем плане. Вы должны убить нечестивую Агриппину.

— Прошу тебя, молчи! — возразил Аницет.— Или тебе не дорога твоя голова?

— Напротив. Я буду молчать. Но я должна идти с вами... во что бы то ни стало.

— Вздор! К чему нежной девушке присутствовать при таких делах? Возвратись спокойно домой! Слышишь? Я не потерплю этого.

— Не будь так груб, господин! Если я сказала, что хочу так, то по-моему и будет!

— Сумасшедшая девушка! Ты ставишь меня в крайнее затруднение. Прохожие уже обращают внимание на тебя. Ты известна всей Байе под именем хромой кобылы. Оставь нас! Я приказываю тебе.

— Господин, я пойду с вами. Это так же верно, как то, что над нами расстилается небосклон. Не вращай так глазами: это тебе не поможет! Если ты сию минуту не согласишься, то я подниму крик, который привлечет сюда целые толпы прибрежных жителей. Тогда я расскажу, что ты задумал. Я выдам ваш заговор и скажу, что Поппея Сабина...

— Ни слова больше! — пригрозил Аницет, схватившись за меч. Он подавил свой гнев.— Если тебе уж

так хочется, то пожалуй, тащись с нами по этой жар! Но все-таки мне интересно узнать причину твоего безумия. Если ты так жаждешь крови, то ступай на арену!

— Я жажду не крови вообще, но только ее крови

— Но почему?

— Это мое дело.

Бледная девушка казалась так взволнована, что Аницет счел благоразумнейшим оставить ее в покое. Она скромно удалилась позади отряда, который скорым маршем направился к Баулийской вилле. Нежная, маленькая Хаздра была неутомима. Ни один солдат не превзошел ее в быстроте, выносливости и молчаливом возбуждении. Она ни разу не напилась, хотя высохший язык ее прилипал к гортани. Казалось, она дала обет мстительному божеству своей родины утолить мучительную жажду не раньше, чем на нее брызнет живительный источник из открытых жил ее смертельно ненавидимой противницы.

Действительно, финикианка слегка шевелила губами, как бы произнося молитву.

«Непостижимый Мелькарт,— быть может, страшное божество, которому земля служит подножьем, и дыханье которого подобно вздымающей песок буре, позволь и мне принять участие в этом мщении! Мое раненое сердце взывает к тебе, тело мое разбито, я превратилась в пустыню с тех пор, как потеряла его. Ты сам заповедал нам: не терпите подобно псам, смиряющимся перед высокомерию своих мучителей! Ты сам учил нас: два ока за одно и жизнь за два! Мелькарт, обожаемый в Цоре, Берите и Садоне, разрушитель лжи, покровитель справедливости и верности, поддержи меня!»

Так она шла, не поднимая устремленных в землю глаз, подобная галлюцинирующей, совершенно поглощенной своим блестящим видением.

В четвертый час пополудни отряд прибыл к цели.

Аницет приказал оцепить виллу, а сам, со своими сильнейшими солдатами, бросился в остиум.

Немногие сторожившие здесь преторианцы были скоро изрублены. Пощады не давали никому.

Вслед затем на каменных плитах раздался шорох складчатого подола паллы.

Агриппина гордо вошла в атриум. Она мгновенно сообразила, что час ее пробил. Представившееся ей зрелище было более, чем красноречиво. Довольно было

одного Аницета с его широким, низким лицом вельника.

Теперь оказалось, что эта царственная женщина, несмотря на весь ее разврат и преступления, обладала в большей мере полузабытым героизмом древних республиканцев, нежели большинство ее современников-мужчин.

В глазах ее вспыхнул гнев.

— Что вам нужно? — твердо спросила она.

— Тебя, жалкая тварь! — вскричал грубый кельт, бросаясь на нее, и нанося ей жестокий удар палкой по лбу.

Императрица зашаталась и слегка простонала.

Потом, царственным жестом обнажив свою грудь, она произнесла с невыразимой горечью:

— Пощадите мою голову: в ней всегда жили мысли величии Рима! Но сердце мое вы можете пронзить: под ним я носила матереубийцу!

Аницет, потрясенный вопреки своей низкой натуре, сердито удержал матросов, хотевших толпой кинуться на нее.

— Гело, покончи с ней! Да не промахнись! — шепнул он стоявшему рядом с ним белокурому гиганту

Солдат выхватил меч.

Между тем, бледная, дрожащая Хаздра незаметно проскользнула в колоннаду, чтобы напасть на Агриппину сзади. Подобно бешеной волчице прыгнув на спину несчастной, она глубоко вонзила ей в затылок свои острые зубы, в то же время запустив ей в горло пальцы, удорожно сжатые, подобно ядовитым зубам змеи.

На мгновение императрица зашаталась при этомпадении. Потом, все еще открывая грудь левой рукой, правой она схватила пальцы Хаздры и стиснула их так, что они сломались.

В то же мгновение гигант-кельт нанес ей смертельный удар. Острый меч с такой ужасающей силой монзился в ее грудь, что конец его вышел в спине и глубоко воткнулся в бок маленькому чудовищу, несмотря на боль от сломанных пальцев, не выпускаяшему затылка императрицы из своих покрытых пеной зубов.

Агриппина упала без малейшего крика. Полный отвращения, великан-солдат схватил разъяренную Хаздру за волосы и отбросил ее далеко в колоннаду.

— Ты еще слышишь меня, собака Агриппина? — кричала финикианка, снова подползая к трупу.—

Это тебе в наказание за Фаракса! Зачем ты украла его у меня? Мало тебе было твоих погонщиков мулов и носильщиков трупов? Проклятая тварь!

Она лишилась сознания. Рука ее была сломана, пальцы раздроблены, из широкой раны ручьем лилась кровь.

— Уберите ее! — приказал Аницет.

Двое солдат осторожно подняли ее.

— Проклятие! — сквозь зубы прошептал он. — Поппея Сабина взбесится на нас. Она была без ума от этой девушки.

Солдаты положили бесчувственную Хаздру на скамью в соседней библиотеке, и тотчас же вернулись в атриум.

— Она умерла, господин! — равнодушно сказали они.

— А эта? — спросил Аницет, взглядом указывая на императрицу.

Гело наклонился над своей жертвой.

— И тут конец! — спустя минуту сказал он, выпрямляясь и смотря на властную фигуру, лицо которой даже в смерти сохраняло царственную мощь.

— Роскошная женщина, будь я повешен, и суццам императрица! — вполголоса произнес он, — будь она белокура, она походила бы на королеву хаттов Гудбару!

Аницет оставил на вилле половину своих людей, поручив им сегодня же потихоньку сжечь на костре оба трупа. Немногие рабы маленькой виллы бежали при появлении моряков, так что сказку о самоубийстве императрицы некому было опровергать. Хаздра же будто бы была убита Агриппиной за ее безмерные оскорбления и брань.

Довольный удачным преступлением, Аницет вернулся в Байю.

На следующее утро вымысел убийцы уже разнесся по далекой Кампанье, до шумных улиц Каэты и тихих розовых садов Пэстума.

Но верил ли кто этому вымыслу?

ГЛАВА III

Несчастливая Октавия дольше обыкновенного оставалась на антианской вилле. Вязы уже почти облетели, наступил ноябрь.

Озаренная вечерней зарей, молодая императрица сидела на обитой подушками каменной скамье у лав-

ровой изгороди парка и смотрела на рдевшее пурпуром море. Всегда бледное, как мрамор, лицо ее, казалось, расцвело теперь в отблеске умирающего дня; но отуманенные глаза ее, говорившие о невыразимых страданиях и боязливом изнеможении, свидетельствовали о том, что истинная причина столь продолжительного «отдыха» на вилле заключалась не в замечательно прекрасной погоде и не в очаровании этих блестящих закатов, но в тайном страхе, что она не вынесет новой встречи с торжествующей Поппеей.

У ног Октавии, устремив на нее взор, полный признательности и священного ужаса, лежала отпущенница Актэ, теперь называвшаяся Исменой, в которой никто из обитателей виллы, за исключением лишь Абисса и верной Рабонии, не узнал и даже не подозревал бывшую возлюбленную императора.

— Если бы твои слова оправдались! — после долгого молчания вздохнула Октавия. — Я ждала бы терпеливо целые годы. Но я не верю этому. Я не могу.

— Повелительница...

— Не трудись! — покачав головой, остановила она ее. — Я поумнела теперь. Я поняла, что безумно делать верность обязанностью. Верность — это милость, добровольный дар. Любящее сердце верно без усилия и борьбы. Но все законы мира и заповеди богов не в силах принудить к ней того, кто не любит.

— Но любовь пробуждается, когда исчезает ослепление. Дай же ему узнать, какое сердце бьется в твоей груди, как ты бесхитростна и благородна и как горячо ты обожаешь его! О, я желала бы бурей помчаться к нему, обнять его колени и с восторгом воскликнуть: «Из всех женщин в мире одна Октавия достойна разделить твою судьбу!» Но это не годится. Это значило бы постыдно осквернить твою божественную чистоту: ибо сама я святотатственно грешила против твоего счастья, не менее чем Поппея, превосходящая меня только лишь своей ненавистью и властолюбием.

— Молчи! Ты искренно раскаялась! — отвечала Октавия. — Да и что мне прощать тебе? Что ты взяла его, когда он сам отдался тебе в страстной любви? Или ты скажешь, что расставляла ему сети, как Поппея Сабина?

Она подперла голову рукой.

— Белокурая девушка, — немного помолчав, произнесла она, — я сделаю тебе тяжелое признание: я завидую тебе, Актэ!

— Ты меня уничтожаешь! То были грех и предательство, а не счастье! О, истинное счастье заключается в добродетели, так постыдно попоранной мной! Ты, святая, хотела бы поменяться с отверженной? Какое безумие!

— Я завидую тебе! — повторила Октавия.

— Значит, ты еще любишь его! — с торжеством воскликнула Актэ.— А десять минут тому назад ты утверждала, что нет! Но я вижу, ты любишь вопреки его вероломству и ужасным деяниям, о которых до нас доходят слухи...

— Пощади меня! Все это мне отвратительно. Я умираю от стыда. А все-таки... мне сдается, что любовь бессмертна.

Снова наступила долгая пауза. Актэ сидела задумавшись.

— Повелительница,— сказала она наконец,— поволь предложить тебе вопрос, от которого я с большим трудом удерживаюсь уже много дней?

— Говори!

— Что отвечала ты на позорное письмо Поппеи?

— Ничего.

— И ты намерена...

— Спокойно сохранить мои права. Видишь ли, там у меня все-таки останется еще хоть одно! Когда он пресытится разгулом, когда устанет от безумных оргий в кругу этого презренного общества, тогда, быть может, им внезапно овладеет сознание страшного одиночества и в нем проснется тоска по искренно любящему сердцу, близ которого он мог бы найти успокоение. Тогда, добрая Исмена, я буду в праве предложить ему тихое, дружеское убежище. Если же, из трусости или от утомления, я приму предложение его любовницы и соглашусь на развод, тогда я потеряю все, все! Поппея сделается его женой перед людьми и богами, и когда он проснется от своего безумного ослепления, ему останется одно лишь отчаяние.

Актэ поднялась. Глаза ее были полны слез.

— Как горячо, как усердно буду я молиться, чтобы все изменилось к твоему благу! — сказала она.

— Доброе создание! — с улыбкой отвечала Октавия.— О, я ведь также знаю, что ты... молишься не без внутренней борьбы.

Актэ вспыхнула.

— Повелительница, ты заблуждаешься,— стыдливо прошептала она.— Поверь мне: без радости вспо-

минаю я о прошлом, подобно тому, как наш великий апостол Павел вспоминает о безумии Савла.

— Так зачем же ты плачешь? Сядь лучше и расскажи еще что-нибудь об этом божественном человеке. Вчера ты упомянула, что он в Риме.

Актэ вытерла глаза и щеки. На ее прелестном, розовом личике вспыхнуло яркое пламя вдохновения.

— Я слышала это от Абисса,— отвечала она, садясь на дерновую кочку.— Павел пришел туда в день даленд. Священники и ученые в Иудее принесли на него жалобу, и прокуратор Феликс хотел судить его. Но Павел воспользовался своим правом римского гражданина и пожелал представить свое дело на рассмотрение императора. Вследствие этого Феликс под стражей прислал его в Рим. Но он был освобожден раньше, чем дошло до судебного разбирательства. К этому побудил цезаря Тигеллин, ненавидящий иудейских священников за то, что Пoppея усердно покровительствует им. Но я скорее думаю, что великого апостола простило не в чем было обвинить. Он остался пока в столице проповедывать учение Назарянина и распространять на труждающихся и обремененных небесный мир, стоящий выше всякой мудрости.

— Я хотела бы послушать его,— сказала Октавия.— Многие из твоих рассказов о распятом Иисусе хотя и кажутся мне непостижимым, но я поражена Его любовью и многотерпением. В минуты отчаяния, когда мне казалось, что я не могу больше выносить мое несчастье, Он служил мне примером, и при твоих коротких рассказах мной часто овладевает неземное спокойствие. Тогда я спрашиваю себя: что, если все это не сказка верующих людей, а действительное, обретенное наконец спасение?

— Повелительница, это не сказка, но единая истина Всемогущего Бога,— прошептала Актэ.— Без милосердия Отца небесного и искупающего представительства Иисуса Христа, о, как могла бы я перенести все это!

Она остановилась и в неопиcуемом смущении опустила глаза.

Ведь Октавия должна была оставаться в убеждении, что греховный сон прошлого позабыт ею! А вместо того, кающаяся грешница с поразительной ясностью обличала всю глубину и силу, с которой это прошлое еще коренилось в ее сердце! С неприметным вздохом Октавия взглянула на блестящие волосы, золотыми волнами падавшие на лоб смолкнувшей девушки.

Со стороны перистилия раздались шаги. Величавая, высокая мужская фигура остановилась на пороге постукума, вопросительно оглядывая парк.

Октавия тотчас узнала агригентца. Он же еще не заметил ни ее, ни Актэ.

— Спрячься, девушка! — испуганно сказала Октавия. — Если он увидит тебя, ты погибла! Его приятельница Поппея не успокоится, пока ты жива.

Актэ скрылась в кустах.

Почти в то же мгновение агригентец увидел молодую императрицу, сделавшую вид, как будто она в задумчивости смотрит на багряное море.

Осторожно приблизившись, он поклонился ей вежливее, чем намеревался.

— Повелительница, — сказал он, — я имею сообщить тебе, что ты обличена...

Октавия встала и с нескрываемым презрением устремила взор на человека, которого давно уже ненавидела и боялась, как демона, губящего императора.

— Что это значит? — холодно спросила она.

— Притворство бесполезно, — возразил Тигеллин. — Коротко и ясно: ты обвинена в нарушении супружеской верности с твоим рабом Абиссом.

Горячий румянец стыда залил лицо императрицы.

— Ты бредишь. Я обвинена?

— Ты, Октавия, супруга императора.

— Кем же? — дрожа от гнева, продолжала она.

— Императором, само собой разумеется.

— Ты лжешь. Нерон еще не настолько погряз в тине порока. Эта смешная клевета выдумана тобой и Поппеей.

Софоний Тигеллин пожал плечами.

— Повторяю, что все открыто. Давно уже все сильно подозревали, еще со времени твоей болезни, когда Абисс так... усердно выслушивал тебя...

— О, презренные! — вне себя вскричала Октавия, ошеломленная этим наглым извращением хода событий. — О, презренные! О, гнусные клеветники! — снова простонала она, закрывая лицо руками.

— Во имя Геркулеса, не жеманься! Если ты умна, то немедленно же сознайся во всем. Таким образом ты избавишь себя и императора от страшного позора, а твоих отпущенников от пытки.

— От пытки? — воскликнула потрясенная Октавия. — Так вы еще не отказались от этого постыдного безумия?

— Закон для нас священен,— значительно сказал сицилианец.

Молодая императрица переживала жестокую борьбу. Она знала, что ей нет спасения. Лишь немногие могли устоять против страшных мучений пытки. Самые невероятные показания исторгались у пытаемых в то время, когда беспощадное орудие палача терзало их члены. Поэтому она не сомневалась, что сенат признает ее виновной. Может ли она,— совершенно бесцельно,— навлечь такую беду на своих домашних, почти без исключения бескорыстно преданных ей?

Однако она все-таки не могла согласиться на требование Тигеллина. Никогда, никогда не решится она ложным признанием запятнать свою честь женщины, благородная натура ее возмущалась против этого.

— Я не верю тебе! — после долгого колебания воскликнула она. — Но даже если бы ты говорил правду и действительно пришел бы от Клавдия Нерона, все-таки он раскалялся бы в последнюю минуту. Невозможно ведь, чтобы он серьезно сомневался в моей верности ему! Невозможно! Пойди и скажи ему так!

— Твой выбор не разумен. Сознайся ты спокойно в том, что будет постыдно для тебя доказано публичным процессом, клянусь Геркулесом, ты выиграла бы гораздо больше! Суд постановил бы решение о разводе, но император оказал бы тебе милость... Теперь же... Ну, сама увидишь...

— Я вижу только одно: что подлость сильнее добродетели!

— Фразы! Теперь, именем императора, я повелеваю тебе: созови в перистиль всех свободнорожденных и отпущенников, живущих на вилле. Рабы, по закону, не могут свидетельствовать против тебя.

— Ты повелеваешь мне?

— В силу моего полномочия.

— А я отказываюсь повиноваться.

— Мне все равно! — засмеялся агригентец. — Я войду сам, я зашел уже так далеко в этом грязном деле, что мне ничего не стоит сделать еще несколько лишних шагов.

Он повернулся было к дому, но вдруг остановился.

— Есть еще средство спасти тебя,— тихо сказал он.

— Спасти меня! — с несказанной горечью усмехнулась она.

— Я не шучу. При настоящих обстоятельствах ты погибла. Поэтому брось этот тон оскорбленного величия и выслушай меня!

Октавия задумалась. Что доброго мог посоветовать ей этот предатель? Но ведь несчастье уже висело над самой ее головой... Может быть... как знать...

— Какое же это средство? — нерешительно спросила она.

— Осчастливь меня так же, как ты осчастливила твоего раба Абисса, — сквозь зубы прошептал он.

— Я?.. Осчастливила?.. О, я понимаю тебя!..

— Тем лучше! Согласись... быть благоразумной, и если ты подаришь мне хотя один лишь сегодняшней день, то... я удостоверю, что ты вполне невинна относительно Абисса.

— Негодяй! — побледнев, вскричала она.

— Ты противишься? — тихо спросил он, с грубой фамильярностью положив ей на плечо руку.

— Не прикасайся ко мне, выронок человечества! Я предпочитаю умереть от руки палача...

— Смерть от руки палача далеко не так приятна, как объятия любви.

— Прочь! — повелительно произнесла Октавия. — О, если бы Клавдий Нерон знал это!

— Он никогда ничего не узнает. А если бы и так: разве он когда-нибудь осведомляется о тебе или о том, что ты делаешь? Позволь мне говорить откровенно, о, благородная Октавия! Ты так трогательно прекрасна в твоём страдании, что во мне проснулась жалость и тебе и к себе. Да, все это ложь. Ты чиста, как снег. Поппея Сабина измыслила это страшное обвинение из ненависти к тебе; она решилась во что бы то ни стало избавиться от тебя. Обуреваемый неутомимой жадной мщенья, я предложил ей руку помощи за то, что ты некогда прогнала меня, как нищего. Слушай, что я скажу тебе! Любовница императора будет позорно изобличена, навеки свергнута со своей блестящей высоты, если ты загладишь твою прошлую резкость. Взвесь спокойно то, что я тебе предлагаю, и то, чего требую. Я люблю тебя, прекрасная Октавия! Я обворожен твоими мечтательными глазами! Будем друзьями! Будем наслаждаться тем, чего никто не может воспретить нам! Так ты спасешь и себя и меня. Постарайся обсудить все хорошенько. Прежде ты еще могла надеяться: теперь же все потеряно. Ты давно уже не супруга цезаря. Нет, Октавия! Ты только беспомощно жалкая жертва его возлюбленной! Там кому же сохраняешь ты верность? Призраку воспоминания? Наглой Поппее? Мраморным колоннам вашей спальни?

— Самой себе,— с достоинством отвечала Октавия.

На мгновение агригентец окаменел. Никогда в жизни он еще не говорил так серьезно и никогда с уст его не лился такой звучный поток красноречия. А это юное создание двумя словами в прах уничтожило его!

Он попытался снова уговорить ее, то лстя, то угрожая и, наконец, оставил ее, кипя гневом. Октавия не отвечала ему больше.

— Тебе еще хорошо достанется! — скрежетал он зубами, уходя.— Как знаешь! Пусть исполнится твоя судьба!

Пожимая плечами, прошел он через постикум в колоннаду, где пятнадцать сопровождавших его солдат мирно болтали со служанками. Ни один из них не знал о цели их неожиданной экспедиции.

— Беги! — обратилась рыдающая императрица к выступившей из-за кустов бледной, дрожащей Актэ.

— Бежать! Ни за что! Я буду свидетельствовать за тебя.

— Какой от этого прок? Думаешь ли ты, что хоть один человек поверит в мою виновность? Но меня все-таки осудят, будешь ли ты молчать или говорить, потому что сенат пресмыкается пред Тигеллином. Беги, накликаю тебя!

— Повелительница...

— Ты хочешь изведать пытку, безумная мечтательница?

— Чтобы поддержать тебя, да!

— Но я, Октавия, запрещаю тебе это. Актэ, Актэ, избавь меня от безграничного унижения! Или ты не понимаешь? Ты, его... бывшая возлюбленная?..

Актэ побледнела.

— Да, ты права,— печально сказала она.— Прости мой необузданный порыв... Грешница Актэ должна скрываться, но когда все пройдет, когда ты восторжествуешь, о, позволь мне вернуться! У меня ведь нет иной родины на земле, как здесь, у твоих ног!

— Что бы ни случилось, верь в мою дружбу! Но так как никому неведома воля богов, то запасись деньгами! Я спешу в перистиль, куда презренный агригентец сзывает моих домашних. Я задержу его. Ты же проерись позади пиний и проскользни в окно. В моей спальне стоит сундук. Вот ключ! Возьми все, что тебе нужно. Скорее, скорее! Я впаду в отчаяние, если они схватят тебя...

Актэ снова скрылась среди лавровых кустов.

— Прощай! — вздохнула Октавия.— На сердце моем лежит смертельная тяжесть. Я предчувствую худшее.

— Молись! — прошептала Актэ.— Но не Юпитеру, а Господу Иисусу Христу!

— Попытаюсь!

— Дай руку еще раз! Скажи, многолюбимая повелительница, точно ли ты простила меня от всего сердца?

— От всего сердца.

— Так я спокойна. Небесный Отец наш не может оставить без награды столь великую доброту.

ГЛАВА IV

Два дня спустя начался тот страшно-позорный процесс, подобный которому едва ли найдется в истории мира.

Софоний Тигеллин, именем императора, выступил обвинителем.

Его получасовая, искусно составленная и полная грязнейших подробностей речь ясно указала отпущенникам Октавии направление, которого они должны были держаться в своих показаниях, если хотели избежать «подбадривания» посредством палачей.

Закончив свои разглагольствования лицемерным выражением печали, Тигеллин вновь потребовал от бледной, как статуя, Октавии полного признания.

— Ты видишь здесь,— говорил он,— умудренным житейской опытностью мужей и старцев, краснеющих от явного позора твоего поведения. Они пережили многое, но никогда еще не встречали подобной гнусной, грязной дерзости. Тем не менее высокое собрание будет просить за тебя императора, из уважения и твоему знаменитому происхождению, если только ты сознаешься.

— Я невинна,— возразила Октавия, против ожидания, совершенно спокойно.— Все, что здесь говорится — клевета, презренное лжесплетение, не способное обмануть собравшихся отцов отечества!

— Конечно нет! — раздался звучный голос.

То был достойный стоик Сораний.

— Нет, клянусь Юпитером! — прибавил Тразон Пэт.— И в доказательство я заявляю раньше продолжения этого дела, что я сочту себя счастливым, если светлейшая императрица окажет мне милость и избе-

рет своей компаньонкой мою четырнадцатилетнюю дочь.

По залу пробежал ропот изумления. Всем известны были нравственная строгость этого сенатора и почти мучительная заботливость, с которой он воспитывал своих, отличавшихся красотой, детей.

— Не раздражай его! — шепнул сидевший справа от него Флавий Сцевин.— Одного взгляда на эти испуганные лица достаточно, чтобы убедиться в невозможности бороться с роком. Невероятное совершится; чистейшая и целомудреннейшая из всех женщин, когда-либо живших в Палатинуме, будет осуждена трусливым, вечно угодливым большинством.

— Но разве я могу молча перенести это преступление!

— Нет, Бареа! При голосовании мы громко и внятно для всего народа произнесем: «Не виновна». Только открытая враждебность преждевременна. Или ты хочешь, чтобы он тайно умертвил немногих носителей идеи освобождения? Мне кажется, нам предстоит высшая цель. Поверь, и моя кровь кипит не меньше твоей! Но я сдерживаюсь. Час возмездия пробьет в свое время.

— Ты прав. Тише, мой Флавий! Наш шепот по видимому интересует этого плешивого, там в углу.

— Родственника агригентца?

— Разумеется, это ведь противный Коссутиан. Со времени раздора с киликийцами он зол на нас, как демон.

Софоний Тигеллин отвечал на выходку Траzea Пэта презрительным пожатием плеч и, не заботясь о движении в рядах сенаторов, перешел к допросу свидетелей.

Отпущенники Октавии вводились поочередно.

Первым явился красавец-юноша по имени Алкиной, мертвенная бледность которого изобличала его невыразимый испуг.

Благодаря доброте молодой императрицы он скопил достаточно денег на покупку маленького поместья, где он собирался поселиться после женитьбы на горячо любимой им тринадцатилетней Лалаге.

И вот перед самым порогом счастья он должен был отдать на растерзание свое тело, свидетельствуя о невинности Октавии, быть может, совершенно бесплодно, если другие под пыткой признают ее виновной.

Ужасная дрожь пробежала по его членам, когда Тигеллин обратился к нему с вопросом:

— Отпущенник, что тебе известно о противозаконных отношениях между супругой императора и тем грязным египетским псом?

— Господин,— отвечал юноша, бросив испытующий взор на приготовившегося палача,— я... это очень может быть... я слышал...

Но совесть вдруг неудержимо заговорила в нем.

— Рвите меня на куски! — сжимая кулаки, крикнул он.— Моя повелительница чиста, как солнце! Отцы отечества, имеющие жен и дочерей, можете ли вы сомневаться, только взглянув на это чистое, невинное лицо? Египтянин Абисс всегда был ее верным слугой, как и все, жившие в ее доме, но разве он дерзнул бы?.. Это немисливо!

— Посмотрим, останется ли отпущенник Алкиной при своем показании! — произнес агригентец, сделав знак палачу.

Подошедшие рабы изумительно тихо схватили жертву и растянули ее на продолговатой стальной машине, называвшейся «Прокрустовым ложем».

— Она невинна! — непрерывно повторял Алкиной Винт повернулся.

— Еще! — приказал Тигеллин.

Почти теряя сознание от страшной боли, юноша отчаянно закричал.

— Пощадите! Пощадите! Я все скажу!

— Отпустите немного!

Винт отпустили на один оборот.

— Освободите меня! — продолжал он пронзительно кричать.

По знаку Тигеллина, палач освободил его.

— Сознаешься? — спросил агригентец.

— Да.

— Ты застал преступницу?

— Да.

— Она старалась подкупить тебя.

— Да.

— Дала тебе денег?

— Да.

— Сколько?

— Не знаю. Сто тысяч динариев.

— Хорошо! Это важное показание. Можешь идти

Юноша удалился с опущенной головой. Вдруг он обернулся и торжественно поднял правую руку, еще дрожавшую после пытки.

— Все-таки она невинна! — громовым голосом воскликнул он.

— Ты отказываешься от своего свидетельства? — усмехнулся Тигеллин. — Ну, мы это еще разъясним. Схватите его, люди! Но прежде выслушаем остальных.

Следующий свидетель был красивый сорокалетний человек, имевший жену и ребенка.

— Не трудитесь понапрасну, — равнодушно обратился он к помощникам палача. — Моя госпожа невинна. Можете растягивать меня или нет, я останусь при своем. Хороша была бы верность, из-за боли превращающаяся в ложь. Берите меня! Атений не страшится тех, кто умерщвляет одну лишь плоть.

Во время пытки он не сморгнул, а единственные слова, которых можно было от него добиться, были: «Она невинна».

Раздраженный мужеством вдохновенного назарянина, Тигеллин хотел усилить мучения и разбить его растянутые члены железным пестом, начиная с ног.

Но этому воспротивился Тразеа Пэт.

— Как? — с жаром вскричал он. — Вы восхищаетесь Регулом, противостоявшим раскаленным лучам африканского солнца, и прославленным в песнях Муцием, с улыбкой обуглившим на огне свою руку, и в то же время хотите наказывать смертью такую необычайную твердость? Римляне ли вы еще, или Иудее придется посылать нам учителей для того, чтобы вы постигли, что значат чувство чести и божественное мужество?

Магическое напоминание о римских героях возымело свое действие. Трое сенаторов из числа обыкновенно столь покладистого большинства почтительнейше просили «снисходительного, доброго Тигеллина» прекратить дальнейший допрос бывшего раба.

Непоколебимый Атений был отпущен.

С подобным же упорством две трети свидетелей опровергли бессовестное обвинение, называя его клеветой; они выказали геройство Муция Сцеволы и верность Регула. Казалось, что древнеримская доблесть, еще жившая в сердцах едва ли полудюжины сенаторов, вселилась в сердца этих низменных, безвестных людей для того, чтобы не дать выродившемуся человечеству отчаиваться в самом себе. Немногие домохадцы Октавии, не перенесшие пытки и свидетельствававшие против нее, не имели почти никакого значения.

Тигеллин кипел яростью, хотя притворялся перед сенатом, что считает виновность подсудимой несомненно доказанной.

Последняя свидетельница, повлеченная на пытку, была суровая Рабония, ибо ни женщины, ни девушки не были избавлены от этой страшной судебной повинности. Так как Рабония слыла ближайшей поверенной Октавии, и вследствие этого ее показание имело значительную важность, то агригентец приберет ее к концу, предупредив палача, чтобы он начал с самой мучительной пытки.

Но верная Рабония также ясно сознавала лежащую на ней великую ответственность и решила лучше умереть, чем допустить хоть легкое пятно на имени своей госпожи.

На все вопросы Тигеллина она дерзко отвечала: «Нет, негодяй!»

Все сильнее растягивали палачи ужасное ложе. Правая рука несчастной разорвалась, смертельно бледная голова ее бессильно свесилась на грудь и она лишилась чувств. Но придя в себя и услышав голос Тигеллина, дрожащими губами произнесшего: «Сознаешься ли ты, наконец?», — она по-прежнему неустрашимо отвечала: «Нет, негодяй!»

— Прочь отсюда сводницу! — прошипел агригентец, позабыв свои аристократические манеры.

— Несите ее в мой дом, если это позволено! — воскликнул стойк Тразеа. — Мои врачи позаботятся об этой искалеченной женщине, героизм которой внушает мне уважение. Да, я уважаю ее, собравшиеся отцы, хотя в то же время допускаю, что она не очень вежливо обращалась с высокопочтенным поверенным императора!

Тигеллин промолчал.

Когда окончились ужасные сцены этого отвратительного допроса, поднялись защитники: сначала Барреа Сораний, потом Тразеа Пэт.

Оба ограничились указанием на факт, что во всем высоком собрании положительно никто не верил в виновность Октавии.

— Клянусь богами! — заключил Тразеа свою короткую речь. — Этот процесс был вовсе не нужен для доказательства неприкосновенной добродетели императрицы. Но если, вопреки всякому рассудку, кто-нибудь сомневался в возвышенности ее образа мыслей, в беспорочности ее жизни, в незапятнанной чистоте ее души, то показания свидетелей лишь подчеркнули всю оскорбительность таких сомнений. Тигеллин, в похвальном усердии услужить своему повелителю и императору, очевидно зашел слишком далеко

Доносам низких шпионов и ядовитых клеветников он придал больше веса, чем бы следовало. Теперь он убедится, что его постыдно обманули. Никакой подсудимый не выходил из заседания суда с большой славой, чем Октавия, сестра благородного Британника. Новый, высший блеск озаряет ее небесную главу. Доселе она была кротчайшая императрица, лучшая, совершеннейшая женщина, теперь она стоит перед нами, подобная бессмертной богине. Отцы, молитесь за ее милости!

Действительно, ни один сенатор не верил в ее виновность, но всякий понимал смысл этой комедии. Император, или по крайней мере Пoppея Сабина и всемогущий Тигеллин желали расторжения брака Октавии с Нероном. Сознания этого было довольно для сенаторов, уже много десятков лет заботившихся о своих собственных выгодах гораздо больше, чем о поддержании справедливости и общественной нравственности.

Итак, вопреки очевидности и здравому смыслу, подавляющее большинство объявило нарушение супружеской верности доказанным, и постановило решение о разводе: египтянин Абисс был приговорен к смерти, а императрица осуждена на изгнание. Вилла Антиуме должна была сделаться ее темницей на всю жизнь. Для предупреждения же в будущем ее позорных походов, цензоры приставят к ней особую нравственно-исправительную стражу, приказаниям которой она должна повиноваться беспрекословно.

С разбитым сердцем выслушала несчастная императрица этот ужасный приговор; она как бы окаменела и ни одна слеза не выкатилась из-под ее ресниц.

Тогда Тразея Пэт, торжественно подойдя к ней, склонил голову и благоговейно поцеловал кайму ее платья.

— Еще раз, — взволнованно произнес он, — я прошу у тебя позволения прислать к тебе мою дочь. Делаю, чтобы она стала такой же, как ты, даже если бы ей пришлось заплатить за это подобие несчастьем еще большим, чем то, которое выпало тебе на долю!

Октавия не могла говорить. Она взглянула на него полным признательности взором, глубоко проникшим в его душу.

Вслед за тем преторианцы увели ее. Экипаж, доставивший ее в Антиум, уже стоял у подъезда.

— Умерь свою дерзость! — шепнул полный ненависти голос за спиной Тразеа Пэта.

Стоик обернулся. То был Коссутиан, которого он по поручению киликийцев, некогда уличил в подлог.

— Я понимаю тебя, — усмехнулся Тразеа, — но не боюсь ни тебя, ни твоих родственников, выпросивших у императора помилование за твое преступление. Есть святотатства, обращающие каждый камень мостовой в пылающих гневом борцов за оскорбленное право. Вы лукавы как коршуны, но этот приговор был безумным мальчишеством. Вспомните обо мне, когда он вам отзовется!

ГЛАВА V

Предсказание Тразеа оправдалось очень скоро.

Постыдное окончание этого неслыханного процесса произвело на народ впечатление пощечины, как бы горевшей на лице каждого римлянина.

Октавия осуждена!

Это было слишком! Римский народ, молча смотревший на все выходки двора, как бы по внезапному соглашению начал выражать негодование на бессовестное поношение кроткой, благородной страдальцы.

Можно было подумать, что это современники несчастной Виргинии повсюду собирались теперь группами, произнося проклятия, жалобы и угрозы и, наконец, с уничтожающим единодушием давно подготовленного восстания, провозгласившие лозунг: «Да здравствует Октавия! Долой развратницу Поппею Сабину!»

Наиболее деятельной силой этого бурного, неожиданного возмущения оказалось женское население Рима.

Начиная от последних рыбацких хижин на склонах Авентинского холма до вилл Садовой горы и Мильвийского моста, всюду центром оживленных групп были женщины, то в платье мещанок, страстные и резкие в их диком красноречии, то аристократки в белоснежных, развевающихся паллах, с ярко-красными фламмеумами на искусно подобранных волосах, с величавыми, мягкими манерами. Супруга жалкого сенатора заявила протест против лживого вердикта своего мужа; жена презренного помощника палача обличала преступление мучителей. И, наконец, подстрекаемые толпами тысяч женщин, считавших свои священнейшие чувства смертельно поруганными, отважнейшие и

мужчин двинулись шумной толпой к Палатинуму и громовым голосом потребовали возвращения Октавии.

К ним присоединились новые массы народа.

Отряд городских солдат, сойдя с лестницы capitoлийского холма, бросился навстречу бурному людскому потоку.

— Остановитесь! — крикнул начальник. — Ни шагу дальше, или я велю заколоть вас!

— Стыдись! — вскричал стройный, темноглазый юноша, поднимая кулак.

То был отпущенник Артемидор.

— Стыдись! — звучно повторил он. — Не хочешь ли ты защищать низость против добродетели? Римлянин ты, или мемфисский сводник?

— Разойдитесь! — с досадой произнес начальник. — Слышите! Уже раздается военная песня германцев! Вперед, солдаты! Я должен исполнить мой долг! Пустите копьа в ход!

— Что правда, то правда! — вскричал один из его солдат. — Императрица невинна, а Поппея закидала ее грязью.

— Я римский гражданин, — сказал другой. — Я не стану драться за развратную Сабину.

— Да здравствует Октавия! — закричал третий.

— Вот так! — торжествовал Артемидор. — Ура, городская когорта!

— Ура, городская когорта! — загремели тысячи голосов. — Привет защитникам Октавии!

Начальник растерянно оглянулся кругом. Вся сотня солдат отказывала ему в повиновении. Шум на форуме разрастался с каждой секундой. Вдруг Артемидор схватил его за руку.

— Ты еще колеблешься? — голосом вдохновенного оратора воскликнул он. — Бессовестный разврат и позор будут наказаны, или мир должен поколебаться.

Одним мощным движением он вырвал меч из его руки.

— Во дворец! — крикнул он, размахивая мечом над головой. — Идите, копьеносцы! Ваше появление, надюсь, решит дело.

— Городская когорта стоит за Октавию! — слышалось повсюду в толпе. — Дайте дорогу! Это идет их передовой отряд штурмовать Палатинум! Цезарь, выйди в остium! Поклянись всеми богами, что ты возвратишь Октавии ее права императрицы! Долой проклятую развратницу Поппею! Она затоптала Рим в грязь!

— Долой Клавдия Нерона, если он не покорится! — заглушая весь шум, раздался мощный возглас из середины толпы.

Все обернулись.

Но мстительный назарянин Никодим после своей потрясающей угрозы, мгновенно исчез; казалось, он провалился сквозь землю, бесследно, как призрак.

В Палатинуме господствовало величайшее смущение.

Человек пятьдесят преторианцев, по желанию Поппеи посланные Тигеллином для рассеяния народа, после короткой схватки были частью обезоружены, частью избиты до смерти. Смущение достигло крайних пределов, когда городские солдаты подняли свои угрожающие копыя. Тигеллин посылал в главную казарму гонца за гонцом, но ответа все не было. С стремительной поспешностью набрасывал он планы нападения и обороны, но без всякого результата, ибо все зависело от времени прибытия преторианских полков, и еще было неизвестно, приготовились ли они вступить в борьбу с целым ожесточенным Римом.

Он выразил свое сомнение императору. Взволнованным цезарем тотчас же овладел подавляющий страх. Не трусость заставляла его трепетать, но нечистая совесть. Да, народ прав! Преступно было поверить всем этим мнимым доказательствам, как бы искусно ни сплетали их хитрые доносчики.

Тигеллин был обманут: это еще можно допустить.

Поппея была обманута: это уж хуже, ибо именно она, бывшая причиной столь тяжких страданий бедной Октавии, должна была бы приложить все старание для того, чтобы обличить несостоятельность обвинения.

Но что он сам поверил в виновность Октавии, это было непростительным святотатством, ослеплением, которое невозможно искупить!

Но почему же непорочность императрицы была известна всему Риму? Он, цезарь, ведь лучше знал свою Октавию!

О, теперь ему ясно все! Гнусные доносчики рассчитывали оказать Поппее Сабине услугу, за которую она должна вознаградить их с персидской щедростью! Быть может, даже она сама призналась, что Октавия стоит на ее дороге.

И ради этого произошло чудовищное оскорбление, осквернение невинной! Неужели он был слеп? Или теперь над ним исполняется страшная судьба, пред

сказанная ему Агриппиной: он будет могуч только под ее охраной; без нее же, рано или поздно, он падет...

Да, это так! Его блеск, его божественное могущество должны рассыпаться в прах! Городские солдаты уже отпали от него; преторианцы, не лишены чувства чести и сердца также были возмущены безмерной несправедливостью к кроткой, беззащитной страдальце и могли присоединиться к восставшим... Мысленно он уже слышал мерные шаги их отрядов... Мостовая гудит под их ногами... «Долой Клавдия Нерона!» Остиум осажден... Бурр и Юлий Виндекс врываются в покой... Мечи сверкают в их руках...

«Вот тебе за Агриппину!.. А это за поруганную Октавию!»

Он испустил ужасающий вопль, как будто чувствуя в трепещущей груди холод стального клинка.

— Зачем вы убиваете меня, ведь я сам хотел спасти ее? — простонал он, все еще преследуемый страшным видением, и упал лицом на стол.

Вошедшая Пoppея положила ему руку на плечо.

— Успокойся! — нежно произнесла она. — Наконец пришла весть из претории. Бурр внезапно захворал. Но надежный младший трибун ведет через Субуру две тысячи солдат.

— Молчи! — грозно сказал он. — Позови ко мне Тигеллина!

— Что это значит? — с изумлением спросила она.

— Ты это услышишь! Позови Тигеллина!

— Пошли твоего раба!

— Нет! Ты пойдешь! — вскочив, закричал он и схватил ее за горло.

— Ты помешался?

Она высвободилась и стояла перед ним, подобно Беллоне, вдвойне прекрасная, с лицом залитым горячим румянцем.

— Прости! — пробормотал Нерон. — Я не знаю, что отуманило мой мозг... Кассий!

Раб подошел ко входу.

— Да позовите же ко мне Тигеллина, наконец! — обратился к нему император таким тоном, как будто он уже дважды бесплодно приказывал ему это.

— Что угодно моему другу и повелителю? — спросил агригентец, входя.

— Возьми глашатая, выйди тотчас же к народу и объяви, что сенат ошибся.

— Как?

— Что сенат состоит из одних лишь выживших и ума глупцов, если это больше нравится тебе. Октавия невинна. Клавдий Нерон цезарь благодарит возлюбленных римлян за то, что они распознали истину, в то время как собрание ослов в Капитолии ревело «винона!». Ты все еще не понимаешь?

— Понимаю, но...

— Нет никакого «но». Затем ты будешь так добра и пошлешь двенадцать конных преторианцев за мою светлейшей супругой, которую они привезут в Палатинум со всем подобающим ей уважением...

— Ты не шутишь? — побледнев, спросила Поппея. — Цезарь, не поступай необдуманно! Высочайшее собрание постановило свой приговор. Он неоспорим.

— Я уничтожаю приговор моей императорской властью! Процесса не было. Октавия по-прежнему моя супруга. Ты же...

— Ну? Я? Я?

— Ты же, по требованию справедливости и общественного приличия, оставишь Палатинум... Иди, Тигеллин! Ты отвечаешь головой за немедленное исполнение моих повелений... Объяви народу, что Поппея Сабина собирается уже выехать на свою Эсквилинскую виллу! Что ты медлишь?

Агригентец поклонился.

«Пожалуй! — подумал он. — Внезапная фантазия или страх перед кричащей толпой! Надолго ли это? Но наконец, если Октавия и вернется, то мое положение слишком упрочено для того, чтобы мне нужно было бояться ее!»

Поппея Сабина была вне себя. Все, к чему она столько лет стремилась с таким лихорадочным жаром, разрушено одной минутой слабости цезаря! Ее лодка опрокинулась у самого берега! И к чему агригентец действовал с такой утонченной жестокостью? Меньшее усердие принесло бы гораздо лучшие плоды.

— Нерон, — вскричала она, бросаясь к ногам императора. — Я не покину тебя! Лучше умереть, чем уйти отсюда отверженной тобой. Неужели ты забыл, что мне предстоит, неблагодарный? Разве Поппея не мать ребенка, которого ты так часто в мыслях уже видел обнимающим твои колени и лепечущим слово «отец»?

Она рвала свои волосы и билась лбом об пол.

— Перестань! — сказал император и, потрясенный ее диким отчаянием, поднял ее.

— Не сетуй, — продолжал он, — и не сокрушай в конец мое измученное сердце! Нет, Поппея, я не забыл

ничего! Я помню о наших мечтах... Я люблю одну тебя, Поппея, одну твою небесную красоту, твои жгучие поцелуи...

Он нежно привлек ее к себе. Она обвила его шею и прижала пылающее лицо к его лицу.

Извне зазвучала громкая труба глашатая. Оглушительный шум, царивший на форуме до склонов Целийской горы, уступил место безмолвию. Агригентец громко, сжато и явственно говорил что-то народу. В покое императора не было слышно слов, но после его короткой речи, казалось, дрогнули самые основания дворца. Восторженные крики своей бурной мощью в тысячу крат превзошли едва затихшие восклицания гнева. «Да здравствует Октавия! Да здравствует император!» — гремели возбужденные толпы. Несколькими голосами крикнуло даже: «Да здравствует агригентец!»

Между тем Поппея дрожащими губами прижималась к губам Нерона, вся трепеща от ярости и ожесточения. Поцелуи ее были любовнее и горячее прежнего, ибо она убедилась, что власть ее над ним не уменьшилась нисколько.

— Прощай! — с раздирающим сердце рыданием сказала она. — Я думала, что имя мое глубже запечатлено в твоей груди. Я ухожу, цезарь. Будь счастлив с твоей Октавией!

Он обнял ее.

— Мы увидимся! — сказал он, совершенно очарованный ею. — Будь рассудительна, Поппея! Разве ты не слышишь их восторженные крики? Если народ требует этого... Скажи, Поппея! Что значит император без народа?

— Народ! — презрительно повторила Поппея. — Твоя власть не от народа, но от судьбы, а стены, о которые разбивается напор черни — это солдаты. Слышишь протяжные звуки труб? Это идут к нам на помощь люди Бурра. Теперь, конечно, после речи агригентца уже поздно. О, я вижу тебя насквозь. Твоя любовь к справедливости только маска для пресыщения. Октавия также прекрасна, а жаждущий жизни император любит перемены.

— Женщина, ты бредишь!

— Да, брежу. Не слушай меня! Мне дурно. Мозг мой пылает. Я хотела бы сию минуту задушить тебя этими руками, так беспредельно я люблю тебя, так страдаю от мысли уступить тебя другой, даже чистой, непорочной Октавии!

Любовная сцена эта была разыграна мастерски.

Схватив цезаря за плечи, она устремила на него взгляд, полный такого соблазнительного, очаровательного кокетства, что он окончательно растаял...

Спустя полтора часа экипаж, посланный увезти осужденную императрицу на ее виллу, снова катился по мостовой Via Sacra. Бесконечные приветственные клики провожали ее.

— Да здравствует Октавия! — гремел весь Рим, и среди этих возгласов, подобно зловещему эхо, по временам раздавалось: «Долой развратницу Поппею!»

Невидимые руки увенчали статуи Октавии, еще во времена императрицы-матери поставленные во многих места города. Воздвигнутые же Нероном статуи Поппеи были сброшены с цоколей, разбиты, запачканы пылью и грязью, или, подобно трупам преступников, стащены к геонским ступеням.

Приветствуемая Клавдием Нероном, бледная Октавия вступила во дворец.

— Да здравствует император! Да здравствует императрица! — шумел народ, свидетель этой странной, боязливой и безмолвной встречи.

Бесчисленные толпы бросились к общественным алтарям благодарить богов за прекращение раздора в цезарской семье и за полное и совершенное восстановление Октавии в ее неоспоримых правах.

Почти в то же мгновение, как Октавия входила во дворец, Поппея Сабина, под плотной вуалью, проскользнула через палатинские сады к выходу, что вел к Circus Maximus. Здесь ее ожидали носилки. Бросив последний гневный взгляд на блестящий дворец, где она доселе была верховной властительницей, она энергично стиснула губы, прижала руку к сердцу и вошла в свою лектику.

Тотчас же созванное императором собрание сената объявило только что произнесенный его большинством приговор недействительным, на основании, будто бы, нечаянно вкравшейся в его постановление ошибки.

Тразеа Пэт и Бареа Сораний насмешливо выразили собравшимся отцам свою признательность и, каждый по-своему, заключили заявлением, что впредь они отказываются от чести принадлежать к корпорации, дерзающей делать промахи в столь важных делах. Все поняли жестокую насмешку и глубокое презрение под оболочкой язвительной иронии.

Старый враг Тразеа, Коссутиан, бесновался от ярости, так как на его долю со стороны отважного

стойка достался уничтожающий щелчок. Тем не менее никто не решился возражать. Стыд, иногда пробуждающийся и в самой продажной женщине, парализовал их лицемерно изолгавшиеся языки.

ГЛАВА VI

В течение нескольких часов после свидания с Октавией, Нерон был полон серьезного, искреннего раскаяния. Страдания его юной супруги глубоко растрогали его. Он делал себе страстные упреки за чрезмерное легковерие, с которым он принял за истину обманчивую внешность и горевал о неудавшейся, испорченной жизни.

— Октавия, — говорил он ей, в изнеможении лежавшей на подушках в своей комнате, — ты увидишь, как все пойдет хорошо. Ведь я не подозревал, какая ты кроткая, милая! Не плачь, бедная Октавия! Но ты плачешь! Слезы сами собой тихо катятся по твоим щекам. Ты страдаешь, Октавия! Вот, клянусь тебе всеми богами: я дал бы палачу раздробить мою руку, если бы это могло исправить все причиненное мной тебе горе. И я исправлю его, насколько возможно. Тигеллин уже арестовал четырех из гнусных доносчиков. Они изойдут кровью на кресте. Октавия, прости меня! Я не могу жить, если ты будешь иметь что-либо против меня.

Она простила его от всего сердца. Но все пережитое ею в последние печальные годы одиночества и только что перенесенная в заседании суда мука еще слишком сильно угнетали ее, и она не могла позабыть в одно мгновение ужасное прошлое.

— Подождем, не изменится ли твой образ мыслей! — сказала она. — Жертва, которую ты намереваешься принести, быть может, превосходит твои силы. То, что для меня было бы милостью божества, не должно быть для тебя обременительным долгом. Испытай себя, способен ли ты отказаться от счастья, несмотря ни на что бывшее для тебя... все-таки счастьем!

Клавдий Нерон рассыпался в пламенных уверениях. Самоотверженность молодой женщины и глубокая печаль, отразившаяся на ее прелестном лице, до глубины души потрясли его. Робко, как преступник, не достойный такой милости, взял он ее тонкие пальцы и поцеловал их. Потом он погрузился в мрачную задумчивость, из которой его вывел триклиниарх, объявивший, что ужин подан.

Император встал и взглянул на Октавию. Она спала. Щеки ее слегка зарумянились, а на ресницах сверкали капельки слез.

Он разбудил ее и страстно взглянул ей в глаза, как бы снова моля о прощении. Она улыбнулась, поправила волосы, поднялась и, закутавшись в паллу последовала за супругом в одну из отдаленных маленьких трапезных комнат. Нерон, обыкновенно по три раза в день менявший свои роскошные одеяния, сегодня даже забыл переодеться.

Супруги ужинали совсем одни; им прислуживали только несколько рабов, точно в обычной городской семье.

Ни он, ни Октавия не говорили больше, чем то было необходимо; она была молчалива вследствие сильного утомления, он — из болезненной робости перед женщиной, так безгранично оскорбленной им — одни боги ведают, зачем!

Октавия ела очень мало. Нерон, обыкновенно любивший хороший стол не менее, чем все другие житейские наслаждения, также не находил вкуса ни в прекрасных цесарках, ни в душистых капуанских плодах.

После ужина они разошлись.

Октавия тотчас же пошла в свою спальню. Несмотря на очевидную перемену в императоре, на сердце у нее было так тяжело, что она хотела бы умереть сейчас же. Ей казалось даже, что она чувствовала себя спокойнее, тверже и сильнее, когда под гнетом позорного приговора ехала в изгнание в Антиум. Она не чаяла добра от этого неожиданного примирения, сознавая, что побуждения Нерона имели причиной или страх перед возмутившимся народом, или угрызения совести, или просто сострадание. Но, наверное, этой причиной не была любовь — единственное, что могло утешать ее сердце. Однако у назарян было прекрасное изречение, о котором ей говорила Актэ: «Претерпевший до конца спасется!» Она будет терпеть, она испробует все, что только в ее власти. А затем пусть все сложится так, как угодно божеству.

Предоставленный самому себе, Нерон тотчас же ощутил какую-то смутную пустоту, скоро принявшую очень определенную форму.

Его обуяла тоска по Поппее Сабине.

Все его измены и похождения не могли затмить той истины, что он был до безумия влюблен в обворожительную лицемерку.

Бессознательной причиной этой демонической страсти было легкое сходство Поппеи в глазах и губах с незабвенной Актэ.

Мысль потерять Поппею, — а он ясно сознавал, что женщина, подобная Октавии, не захочет разделенной любви, — сводила его с ума. Едва лишь вымолив себе прощение Октавии, он уже трепетал перед естественными последствиями своего поступка. Ни рассудок, ни справедливость, призываемые им на помощь, не могли превозмочь в нем это чувство.

Супруга его была прекрасна, молода, благородна, идеал возвышенной женщины: но вся эта прелесть была для него ничто в сравнении с неуловимою чертой, общей у детски невинной Актэ и развратной Поппеи, и отсутствовавшей в лице Октавии.

Эта черта была для него воплощением сладостной, нежной, любвеобильной женственности; все остальное казалось ему холодным, сухим, мертвым однообразием и, после примирения с Октавией, он чувствовал, как будто стоит на рубеже юности и старости.

Четыре дня провел император в отчаянной борьбе между любовью и долгом. Он не мог ни за что приняться, друзья не допускались к нему, даже Тигеллин и Фаон, явившиеся с докладом о новой кампанской вилле, должны были удалиться, не повидавшись с цезарем. Он сообщался только с одной Октавией. Казалось, он хотел как можно скорее примириться с неизбежностью и приучиться к безрадостному существованию без Поппеи.

Октавия видела его насквозь.

На пятый день она подошла к нему и, без слез, твердо сказала:

— Я убедилась, что ты навеки потерян для меня. Я не сержусь: такова воля богов. Исполни мое единственное желание: позволь мне спокойно удалиться на мою виллу в Антиуме и там окончить мою жизнь. Желая, чтобы Поппея любила тебя так же много, как я!

Она хотела прибавить: «Не доверяй ей слишком! Она любит одну только власть и великолепие Палатинума!», но промолчала.

Несмотря на жалость, охватившую его, и на уважение к героической величию этой грустной страдальицы, цезарь все-таки едва мог скрыть радость при неожиданном предложении Октавии. Она высказала давно сознаваемую им истину. Она поняла, что любовь насиловать нельзя. Но из приличия он начал возражать. Он позвал Сенеку и своего поверенного

Фаона, чтобы они присоединили свои просьбы к его увещаниям.

Но Октавия не уступала.

Лишившись последней робкой надежды, она в тот же день тихо и незаметно вернулась в Антиум.

«Теперь все кончено, навсегда!» — говорил ее безмолвный прощальный привет и горькая улыбка, полная не упрека, а лишь невыразимой печали.

Медленно, точно похоронная колесница, катился экипаж по увлажненной вечерней росой дороге; засохшие виноградные листья шуршали, осыпаясь с террас придорожных вилл; свежий декабрьский ветер протяжно, жалобно завывал в опустевших колоннадах. Октавия оглянулась в последний раз. Позади черной грудой лежал Рим, — могила ее некогда блаженных грез. На склоне Яникульской горы грозно клубилась темная туча, с внутренним воплем и тяжким вздохом обратилась она к своему безрадостному будущему. Нельзя бороться против судьбы и ее предопределений. Так было ей суждено сначала, она должна молча переносить свою долю, без гнева и ненависти, как это угодно богам.

Факелы ее спутников горели все ярче и ярче. Блестящий дождь искр осыпал ее карруцу. Ей казалось, что эта карруца — костер, пламя которого пожирает ее измученное тело. О, если бы смерть была так сладка, так полна спокойствия!.. И вдруг, при мысли о смерти, ею овладел ужас и неописанный трепет — отголосок того страшного возбуждения, которое уже однажды омрачило ее мозг чудовищными видениями. Закрыв глаза, с нечеловеческим усилием старалась она овладеть собой. Наконец тягостный припадок прекратился, и она заснула под мерный шум колес.

Точно также незаметно, Поппея Сабина заняла свое прежнее место в Палатинуме, восторженно приветствуемая тем, кто так недавно еще клялся Октавии, что с радостью готов бы отдать свою кровь, если бы это могло загладить грехи его прошлой жизни.

Октавия же распустила слух, будто покидает Рим по собственному желанию.

Между тем Тигеллин сумел так привязать к себе гвардию, осыпая ее миллионами, что солдаты и большинство офицеров бурно потребовали его назначения себе в начальники после того, как заболевший недавно Бурр внезапно умер.

Таким образом все входило в прежний порядок. Гарнизон императорского дворца был усилен.

Новый главнокомандующий, Тигеллин, заявил, что сущая безделица — разогнать бушующую чернь, если бы она опять осмелилась предписывать законы императору.

Из германских наемников он начал составлять еще девять отрядов.

Нерон, говоря себе, что удаление Октавии из дворца произошло по ее собственному желанию, окончательно успокоил последние угрызения своей совести.

Народ также казался спокойнее, достигнув главной цели своих стремлений: высокомерный Тигеллин вынужден был уничтожить неслыханный приговор.

Что же касается Пoppей, то, по мнению хладнокровных людей, ход событий должен был вполне удовлетворить ее. После отмены вердикта, утверждавшего развод Нерона с Октавией, она, конечно, не могла стать фактически императрицей; но это еще не имело большего значения. Она властвовала над жаждавшим ее любви цезарем безграничнее, нежели когда-либо. В последствии можно было опять вернуться к этому вопросу. Быть может, уничтоженную Октавию удастся склонить мирным путем к окончательному отстранению в законной форме.

Но те, кто предполагал в Пoppее такие рассудительно-практические соображения, весьма ошибались.

Пoppея не соображала, а только чувствовала. Каждый нерв ее трепетал мщением. Никогда не воображала она, что эта жалкая призрачная императрица может быть опасна ей.

Теперь эта невероятная вещь случилась. Октавия восторжествовала над первой красавицей семихолмного города, хотя всего лишь на несколько дней.

Это решило участь несчастной. Она должна умереть, даже если Пoppее придется самой вонзить ей в грудь кинжал.

Прежде всего, Пoppея постаралась восстановить свое значение в глазах народа.

Солдаты Тигеллина сорвали венки со статуи удалившейся императрицы и, восстановив свергнутые изображения Пoppей, осыпали их цветами или сжигали перед ними жертвенные дары. Все столичные художники получили заказы новых бюстов из мрамора и металла; то был дерзкий ответ на оскорбления черни.

Сильные отряды преторианцев расхаживали по городу; каждый отряд сопровождало по тридцати мускулистых императорских рабов, вооруженных, кроме мечей, еще узловатыми бичами. Таким способом

подавлялись зародыши новых возмущений и оскорблений. Сенат, через три дня уведомленный цезарем о решении молодой императрицы, тотчас же надел печальную маску, теперь сожалея об уничтожении своего приговора так же рабски, как недавно сожалел о самом приговоре.

Столь невероятное поведение высокого собрания на короткое время внушило гневной Поппее мысль еще раз воспользоваться сенатом для окончательного устранения ее смертельно ненавидимой соперницы. Если она умно поведет дело, то капитолийские угодники снова запоют новую песню и произнесут третий вердикт, вследствие которого императрица все-таки окажется виновной во всевозможных низостях.

Но нет, слишком много чести для этого низкогроброда, если она обратится к его содействию при решении такого важного вопроса.

Она отказалась от этой мысли и решила действовать совершенно одна.

На этот раз Тигеллин также не помешает ей своей нелепой мудростью.

Она с самого начала сказала ему, что его выдумка о связи императрицы с Абиссом большая глупость, во-первых, по своей неправдоподобности, а во-вторых, потому что по римскому праву раб не может свидетельствовать против свободнорожденных. Тигеллин возразил на это, что, обвинив свою соперницу в связи с рабом, она уничтожает ее гораздо основательнее, чем заменив раба всадником или аристократом.

Это было справедливо: но избрав раба, сознание которого не признавалось законом имеющим какое-либо значение, агригентец вынужден был прибегнуть к пыткам, результат которых оказался вполне в пользу Октавии.

Ошибка эта едва не погубила привыкшую к победам Поппею.

Ей не нужно таких советчиков.

То, что она задумала теперь, произведет уничтожающее, разрушающее действие юпитеровой молнии.

ГЛАВА VII

Был пасмурный декабрьский день. Из однообразных, серых туч лился унылый дождь. Нерон лежал в своем рабочем кабинете. Один из рабов покрыл его ноги красиво испещренной антилоповой шкурой, меж-

ду тем как другой осторожно раздувал метелкой из страусовых и павлиньих перьев пылающие угли в чугунной жаровне, стоявшей посредине комнаты на серебряном треножнике.

Рано утром цезарь присутствовал на обычном заседании сената, потом обменялся несколькими деловыми замечаниями с Сенеккой и агригентцем и затем занялся с Фаоном, архитектурные планы которого занимали его гораздо больше, чем известие о подавлении политических беспорядков в нарбонской Галлии или проекты большой конной статуи, которую намеревались воздвигнуть «признательные преторианцы своему незабвенному Бурру».

Теперь, после обеденного часа, Нерон чувствовал себя не совсем бодро, тем более, что вчерашний пир у Коссутиана затянулся дольше обыкновенного. Дождевые потоки из водостоков и свинцовое небо навели на него уныние. По изнеженному телу его пробежала неприятная дрожь. Говорить ему не хотелось. Давно уже изучивший все привычки своего повелителя, Кассий остерегался произнести слово, когда цезарь бывал так расстроен.

«Вы все лгали мне,— думал император, сквозь полураскрытую дверь глядя на мокрую колоннаду.— Прекрасная Поппея называет меня богом, льстивый агригентец — духом вселенной. Я сам чувствовал в себе достаточно сил для того, чтобы вознести человечество до небес или чтобы стереть его с лица земли. Теперь же я должен переносить прихоть Юпитера, накинущего мрачную дымку не только на ясное небо, но и на мое собственное расположение духа. Всемогущий Нерон мерзнет, и не одним лишь телом, но и душой».

Вдруг он закрыл глаза рукой.

— Вынеси жаровню, Кассий! От углей моя голова тяжелеет и болит, а ведь ты знаешь, Кассий, что головная боль императора отзывается в самых отдаленных уголках империи.

Кассий повиновался.

«Так я думал прежде,— с горечью продолжал размышлять Нерон,— а ныне я знаю, что проклятое человечество ни на мгновение не заботится о том, дурно мне или хорошо. Тем хуже для людей. Я воздам им око за око. Я буду тем довольнее, чем больше они будут страдать. Эта презренная шайка торжествовала и ликовала, когда я оттолкнул от себя Поппею, единственное счастье моей жизни. Сердце мое сжималось мучительной болью, но те звери рычали от восторга,

быть может именно потому, что они чувствовали, как сильно я страдал. Поппея Сабина! Как дорого мне это имя! Ей я обязан жизнью. Не будь ее, я лишился бы рассудка, потеряв Актэ. И так как я не должен был иметь Актэ, то Рок оказал мне милость, послав мне Поппею. Минутами, когда она обнимает меня рукой за шею и я закрываю глаза, мне чудится, что возле меня Актэ, в тот первый вечер, в парке Сцевина...»

— Повелитель,— прервал его мечты Кассий, войдя из перистилия,— светлейшая Поппея просит позволения войти.

— Наконец-то! — произнес Нерон, вставая.— Значит здесь сейчас проглянет солнце. Скажи ей, что я уже давно ожидаю ее. Зажги лампы! — прибавил он, обращаясь к другому рабу, сидевшему в углу на полу.— Тучи все сгущаются. Этот мертвенный полумрак невыносим.

Мальчик выбежал и вернулся с зажженной ручной лампой. Через минуту светильники мраморных канделябр уже разливали ясный, золотистый свет.

Почти в то же мгновение вошла Поппея Сабина.

— Есть у тебя время выслушать меня, мой возлюбленный? — спросила она по-гречески.

— Я истомился по тебе. Приди, сядь сюда на подушки. Отчего ты так серьезна, дорогая Поппея? Что случилось?

— Нечто неслыханное,— спокойно отвечала она.— Но взглянув в твои глаза, я считаю лучшим промолчать и предпочитаю обратиться к Сенеке или к Тигеллину..

— Как? — перебил ее Нерон.— Есть вещи, о которых ты охотнее говоришь с Сенекой или с Тигеллином, чем со мной?

Поппея задумчиво смотрела в землю.

— Однажды мне уже привелось быть заподозренной тобой за мои честные намерения. Но вторично я не могу этого перенести, клянусь богами!

— Ты говоришь об Октавии? — нахмурился, спросил император.

Она колебалась.

— И о ней также,— с видимым усилием отвечала она наконец.— Но прежде всего, о дерзком преступнике, к счастью, находящемся в моей власти. Прости меня, цезарь, за мои неумолимые старания о твоей безопасности.

Клавдий Нерон схватил ее за руку.

— Без околичностей! — произнес он, целуя ее розовые пальцы.— Какое злодеяние открыла ты?

— Заговор, кровавое преступление и, к несчастью, к несчастью... Но не будем уклоняться от сути дела! Аницет, давно уже находящийся с Октавией в... дружеских отношениях...

— Ты говоришь это таким тоном...

— Я боюсь твоего негодования; ведь ты разделяешь мнение всех римлян о безупречной непорочности Октавии. Оттого что ее отпущенники ничего не знали, вы вообразили — изумительно логичное заключение! — что действительно ничего не случилось, а если несколько человек и высказались не в ее пользу, то признания их приписали лишь действию пытки. Как будто нельзя грешить целые годы, не будучи обвиненной!

— Неужели ты будешь утверждать, что несчастный Абисс, до самой смерти клявшийся в ее невинности, был обманщик?

Поппея пожала плечами.

— Относительно египтянина я вовсе ничего не утверждаю. Возможно, что шпионы Тигеллина ошиблись... в направлении, где им следовало бы искать. Накрыв ночью парочку в заросшей виноградом беседке, легко принять Люция за Семпрония и наоборот. На этот раз, однако, подобные ошибки немыслимы. Аницет хвалился одному из морских офицеров, будто он возлюбленный Октавии, и это слышали двое моряков, свободнорожденные, как ты и я. Уничтоженный этим свидетельством, он не отрицается. Я сама допрашивала его вчера, и когда обещала пощаду его жалкой жизни за полное сознание... Но я вижу, ты волнуешься, Нерон; ты бледнеешь; ты дрожишь. Разве ты можешь сердиться на нее за то, что она тебе отплачивает...

— Отплачивает? — громовым голосом вскричал император. — Или ты рассуждаешь также, как все остальные презренные римлянки? Я цезарь, а прежде всего: я муж! Я оскорбляю ее, отдавая благосклонность, принадлежащую супруге, другой, посторонней женщине; это оскорбление, но не бесчестье, клянусь Геркулесом! Никто не насмехается за это над ней, никто не порицает ее, На ее стороне все сострадание и горячее сочувствие, даже теперь, хотя мы расстались по ее собственному желанию. Но я, если только это правда, что Аницет!.. Мне кажется, ты лжешь, Поппея! Это просто немыслимо!..

— Я прощаю тебе, — спокойно сказала она, — потому что понимаю тебя. Мысль сделаться посмешищем

черни может лишить рассудка и хладнокровнейшего из людей. Быть обманутым мужем, цезарем, супруга которого, не смотря на всю наружную святость, наслаждается любовью с доверенными лицами императора и, к тому же, замышляет низвержение его для того, чтобы возвести на престол его любезного соперника — роль действительно незавидная.

— И Октавия делает все это? — спросил император.

— Удостоверься сам! Не уведомляя решительно никого, я заманила Аницета и трех его приятелей на берег, приказала арестовать их и велела одному из центурионов дословно записать их признание. Вот тебе изложение всего дела. Прочитай и попробуй еще сомневаться. К счастью, низкий заговор еще не успел распространиться. Почти все офицеры остались верными. Здесь же приложено письмо Октавии, почерк которой ты, конечно, узнаешь.

Она подала ему роковой свиток.

Нерон начал читать; с каждой строкой лицо его становилось бледнее и суровее.

— Змея! — проскрежетал он. — Так вот как! Она хотела возмутить флот и население Кампаньи! С Мизенского мыса должен был быть нанесен удар, предназначенный для уничтожения цезаря и возвеличения ничтожного негодяя Аницета! Ужасно! Невероятно! Возможно ли, чтобы все это задумала целомудренная Октавия, опасавшаяся произнести хоть одно слово, которое она не могла бы спокойно повторить перед алтарем Весты? Но таковы все они, развратницы, лицемерки! Чем невиннее лицо, тем чернее душа! Родоска Хлорис рядом с этой развращенностью кажется сияющей Артемидой. И негодяй осмелился хвастаться позором императора! Так они оба умрут!

— Я обещала презренному вымолить помилование за его полное признание, — сказала Поппея. — Пошли его на пожизненную ссылку в Сардинию. Разве ты не знаешь, что римляне боятся Сардинии больше смерти?

— Оставь это! Об этом после! — сказал император, все еще углубившись в рукопись своего центуриона, которого он знал за одного из преданнейших людей. Одно его имя было для цезаря ручательством за полную правдивость написанного. Кроме того, он мог, как намекнула Поппея, сам допросить арестованных и сличить их показания с тем, что он читал.

И действительно, одно лишь письмо Октавии было подложно, но подделка отличалась таким совершенст-

юм, что цезарь поручился бы головой за его подлинность.

— Она должна умереть! — воскликнул он, сжимая рукой шуршащие листы. — Скажи, где заперты твои пленники? — глубоко переводя дух, прибавил он.

— На четвертом дворе, в помещении рабов.

— Веди меня туда! Слушай, какой поднялся ветер! Приличная погода для таких ужасных событий! Как он воет и стонет! Мне чудится предсмертное хрипение Агриппины!

На этот раз победа Пoppей была полная. Купленный ею за несчетные миллионы Анидет с униженным смирением перенес пощечину императора, благодарно проглотил три вышибленные зуба и, с невнятными выражениями благодарности, смиренно позволил отвести себя на императорскую трирему, несмотря на сильную бурю в тот же день пустившуюся в море.

Товарищи сопровождали его. Пoppей внушила императору, что по справедливости он не может накапать орудия Анидета более жестоко, нежели его самого. На его сопротивление она шепнула ему на ухо, что если он любит ее и желает снова заключить ее в свои объятия, то должен подчиниться этому закону справедливости. Для Октавии же полная ярости соперница добилась смертного приговора. Полууступая и полусопротивляясь ласкам цезаря, бесстыдная кокетка довела его до того, что он, воспламененный ее очарованием и до глубины души оскорбленный едкими насмешками над нерешительностью «второго Ото», подписал давно уже: приготовленный документ.

ГЛАВА VIII

Октавия сидела в спальне с рабыней и слушала чтение послания, уже много лет тому назад доставленного таинственным апостолом Павлом из Филиппии во Фракии назарянской общине Коринфа.

Замечательное послание это, за свою горячую, увлекательную искренность ценимое выше многих других посланий неумоимого проповедника, существовало в многочисленных списках и находилось в руках почти всех грамотных назарян. Недавно принявшая крещение рабыня, двадцатилетняя девушка из Арголиса ввела в чтение всю звучность своего мелодичного, низкого голоса и всю пылкость своей веры.

Октавия, доселе лишь с удивлением, любопытством и недоверием следившая за деяниями и речами великого апостола и, несмотря на свою симпатию и назарянскому учению, в душе питавшая прежним римское уважение к всемогущему Юпитеру, впервые ощутила веяние всепобеждающего духа, когда рабыня дошла до следующего места послания:

«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая, или кимвал звучащий.

Если имею дар пророчества, я знаю все тайны и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви — то и ничто.

И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею — нет мне в том никакой пользы.

Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине.

Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.

Любовь никогда не перестает...»

— Фэба,— прервала Октавия рабыню,— прошу тебя! Дай мне секунду подумать.

Молодая императрица закрыла глаза рукой.

— Любовь никогда не перестает,— медленно повторила она.— Не ищет своего, все переносит... Еще раз, Фэба! Прочти это место еще раз!..

Фэба повиновалась. Октавия слушала, устремив пристальный взор на кротко вдохновенное лицо девушки.

И снова, подобно неземной музыке, прозвучали слова «Любовь никогда не перестает...»

Вдруг раздался шум. В атриуме послышались поспешные шаги, боязливый шепот и, вслед затем легкое бряцанье, как будто вооруженные люди осторожно приближались на цыпочках...

Октавия вскочила. Подходя к двери, она столкнулась с двумя преторианскими офицерами, уполномоченными Поппеей для приведения в исполнение смертного приговора.

— Повелительница,— сказал один из них,— мы являемся по поручению императора. Избавь нас от тяжких объяснений! Вот, читай!

И он показал приговор трепещущей Октавии. Она взглянула на пергамент робко, недоверчиво и в то же время пристально, как птичка, очарованным взором смотрящая в разверстную пасть змеи.

Наконец она поняла и с громким, жалобным криком упала на колени. С жаркими слезами молила о жизни эта несчастная, отверженная, для которой жизнь значила страдание.

Не тлела ли еще искра надежды под пеплом ее рагубленной жизни? Или, быть может, страшная борьба чувств до такой степени подточила ее юношеские силы, что она утратила последнее утешение в величии доблестной, отважной смерти?

— Сжальтесь! — воскликнула она, ломая руки.— Я еще так молода и доселе извела одно лишь горе на этом свете! Пустите меня убежать далеко, до самых Геркулесовых Столбов. Я хочу только видеть солнце и дышать воздухом, этим чудным, божественным воздухом!

Центурионы поколебались; честным воинам тяжело было превратиться в палачей этого прелестного создания, имевшего полное право на все почести престола.

Но страх перед Попшеей и забота о собственной безопасности скоро взяли верх.

— Повелительница, это невозможно, — сказал старший.— Император повелевает. Центурионы должны повиноваться.

Он выхватил меч, но уронил его при виде душераздирающего ужаса Октавии.

— Подойди! — обратился он к товарищу.

Но и тот отказался нанести смертельный удар. Тогда центурион сделал своим спутникам знак осторожно связать императрицу.

— Прости меня! — со слезами говорил он, в то время как преторианцы связывали ей руки и ноги мягкими шерстяными платками.— Я святотатствую, но меня принудили сделать это. Если есть божество и будущая жизнь, и ты будешь наслаждаться ею во всей ее славе, вымоли мне прощение за мое преступление.

Полубесчувственную Октавию посадили в теплую ванну и острым кинжалом открыли ей вены.

— Повелительница, это не больно, — сказал старший центурион, — ты умрешь незаметно, как будто насыпая.

Но эта жизнь отчаянно и упорно боролась с вечной ночью, в которой она должна была угаснуть

вопреки законам природы. Медленно и с остановками вытекала из надрезов кровь. Начались страшные конвульсии, из полуоткрытых губ вырвался вопль невыразимой муки.

Ужас овладел старым воином. Со стоном запустил он сильную руку в густые, светло-каштановые волосы жертвы и погрузил ее голову под воду.

Через несколько мгновений все было кончено.

Утопивший же Октавию центурион, произнес страшное проклятье императору и его любовнице, пронзил себя собственным мечом.

Его младший товарищ приказал положить оба трупа в атриуме и накрыть покрывалами, с тем, чтобы после предать их сожжению.

Голову же Октавии, согласно приказанию Поппеи, он привез в Рим и передал ее своей светлейшей повелительнице.

На этот раз Поппея так ловко сплела свою клевету, что нашлись даже честные люди, по-видимому, наполюину верившие ей.

Показания Аницета вместе с подложным письмом Октавии были представлены на рассмотрение сената. Единичные голоса, способные с успехом заступиться за честь позорно умерщвленной страдальцы, молчали.

Флавий Сцевин проживал в Медиолануме; Тразев Пэт и Бареа Сораний, обвиненные в государственной измене и заговоре против императора, сидели за крепкими стенами Мамертинской тюрьмы. Те же, в ком еще сохранилась хоть искра чести, как например, горделиво улыбавшийся эпикуреец Пизо, в последнее время совершенно отстранились от дел, или для того, чтобы не выказывать трусости и низости, или чтобы не рисковать бесцельно своей головой. Таким образом, случилось, что сенат приветствовал убийство Октавии как политический подвиг и постановил принести во всех столичных храмах благодарственные жертвы за спасение императора и римского народа от козней молодой императрицы.

— Жалкие псы, эти пурпуровые тоги! — засмеялась Поппея, узнав об этом постановлении. — Выносящие кухонные помои рабы — герои сравнительно с капитолийскими прихвостнями! Впредь с ними будут поступать по достоинству.

Четыре недели спустя праздновалось бракосочетание Нерона с Поппеей Сабиной.

В этот промежуток времени легкомысленный, впечатлительный народ римский уже успел успокоиться

Противники Поппеи в самом Палатинуме, тайно интриговавшие против ее брака с Нероном, по-видимому, умолкли.

Новая императрица своей приветливостью и богатыми денежными подарками сумела скоро завоевать себе сердца того самого народа, который недавно свергал и разбивал ее статуи.

Значение ее достигло своего апогея, когда в феврале следующего года она подарила супругу дочь.

Шумные празднества, кипевшие в течение нескольких дней на всем пространстве от Яникула до Лабиканской дороги, были также неописуемы, как неистовый восторг императора.

Но вся сила любви его к прекрасной Поппее выразилась еще яснее в горести, последовавшей непосредственно за бурными проявлениями радости.

Молодая мать еще не встала со своего ложа, когда ребенок, приветствуемый целой Италией подобно богине, искупительнице мира, внезапно умер, вероятно вследствие сильных волнений, перенесенных Поппеей в последние месяцы ее беременности.

Сначала от нее старались скрыть это несчастье. Но когда она все настоятельнее начала требовать дочь, еще несколько часов тому назад лежавшую в ее объятиях, Нерон робко подошел к ней и шепнул:

— Соберись с мужеством, сладчайшая Поппея: наш цветок завял!..

С отчаянным криком она опрокинулась на подушки и лишилась чувств.

Трое суток она пролежала в бреду. Раз она чуть не разбила себе голову, и император едва успел удержать ее.

— Октавия,— кричала она,— бездетная Октавия! Смотрите, вот она встает из царства мертвых! Она мстит за себя! Своими бледными губами она пьет кровь моего сердца!

Нерон с неусыпной заботливостью ухаживал за ней. Позабыв все в мире, он просиживал возле нее дни, недели.

В конце марта, опираясь на руку супруга, она впервые вышла из своей комнаты.

Весеннее солнце заливало колоннаду, теплый, благоуханный воздух ласково веял в лицо выздоравливающей Поппее. На прекрасных ее губах дрожала лукавая, торжествующая улыбка, говорившая: «Я страдала, но страдала императрицей!»

Поппея Сабина достигла своей цели.

Утрата ребенка казалась ей справедливой данью богам, которую она охотно готова была заплатить, дабы уберечься от зависти бессмертных.

Теперь она устремила все свои усилия на то, чтобы утвердить завоеванное величие.

Пример Октавии ясно показал ей, как ничтожно положение императрицы, не пользующейся прочной привязанностью императора.

И она с бесподобным искусством не давала засыпать желанием и любви своего супруга, то толкая его в самые безумные развлечения, то снова нежно привлекая к себе для того, чтобы он знал, что настоящее счастье его только здесь, в ее сладких объятиях. Она умела льстить всем его капризам, без размышлений, без страха, без угрызений.

Давая ему то, что он признательно называл истинным счастьем, в то же время она больше всех способствовала полному развитию в нем необузданного равагула, презрительного попрапия всякой справедливости, превративших цезаря в ужасающего демона, доселе, подобно загадочному призраку, встающего пред нами из мрачной пучины истории мира.

ГЛАВА IX

Лето было в самом разгаре.

Богатые и знатные римляне давно уже переселились в горы или на берег моря.

Император со своим двором жил в Антиуме, где Тигеллин отстроил новую роскошную виллу на счет своего царственного повелителя.

Днем Рим казался вымершим.

Только спустя час после заката солнца таверны наполнялись полутолыми гуляками, а лужайки Марсова поля, где в более прохладное время года происходила игра в мяч и метание дисков, пестрели ищущей свежести толпой, рассаживавшейся на спаленной траве и уничтожавшей хлеб и плоды, или же алчно окружавшей общественные колодцы.

Позже лестницы публичных зданий, мраморные плиты перед храмом Сатурна, знаменитый в целом мире подъем на Капитолий, колоннада Агриппы, словом, каждое местечко оказывалось занятым крепко спавшим людом, не находившим даже минутного забытья в духоте и тесноте своих домов. Между этим народом было также много больных: римская лихорада-

да, это вековое наследие семихолмного города, ежегодно требовала большого числа жертв.

Тысячи пылающих внутренним жаром тел, слишком возбужденных для того, чтобы уснуть, искали прохлады в жалких водах Тибра. Начиная от элийского моста до пристани у Авентинского холма, густой толпой теснились мужчины, женщины и девушки, между тем как судовладельцы, несмотря на одолевавшие их слабость и утомление, напрягали все силы для разгрузки своих судов, для того чтобы быть в состоянии до рассвета снова достигнуть Остии, более здоровой гавани Рима.

На берегу, параллельно с Circus Maximus находились огромные склады для масла и зерна.

Двадцать четвертого июля солнце медленно утонуло в кровавом тумане. Над столицей царила злобещая, необычайно тягостная духота; неподвижный воздух был тяжел и густ. Над квиринальскими возвышенностями по временам сверкала слабая молния.

Во втором часу пополуночи измученное население увидало внезапно вспыхнувший свет на легкой крыше одного из авентинских зерновых складов.

— Пожар! — раздался испуганный крик среди массы черни.

Пожар в этой местности, при такой ужасной засухе, представлял такую огромную опасность, которая была очевидна для всякого.

Прежде чем крик донесся до ближайшей окрестности, пламя уже столбом взвивалось к небу.

Городская когорта, несшая на себе обязанность охранителей общественной безопасности и вместе с тем бывшая пожарной командой, прибыла позднее, чем следовало бы. Огонь распространился с ужасающей быстротой. С помощью народа, солдаты начали растаскивать соседние с горевшими бараки и дома, с целью изолировать источник беды. Кладовые с маслом уже пылали. Горящая жидкость текла, подобно потоку лавы, уничтожая все на своем пути. Искры и раскаленные головни снопами разлетались во все стороны... То здесь, то там раздавался треск, и огонь с шипеньем несся вверх к безмолвным звездам, совершавшим теперь зрелище еще невиданное со времени существования на земле человека: пожар двухмиллионного города.

Все работали изо всех сил, но скоро пришлось отступить перед мощной стихией.

Через несколько часов всеми овладело сознание бессилия перед ужасным пожаром. Не хватало рук для уборки даже двадцатой части всей, беспрестанно валившейся, массы бревен, досок, стропил и различных других легких плотничьих сооружений. Для того чтобы спасти Рим, приходилось предоставить в жертву пламени не только один этот квартал, но и два соседние с ним, и провести изолирующую линию по таким частям города, где массивные каменные постройки могли бы успешно противостоять дождю искр.

В конце третьей стражи городской префект послал в Антиум гонца.

«Могущественный цезарь, — в отчаянии писал он, — я клянусь рок, допустивший меня дожить до нынешнего дня. Рим пылает. Мы бросились навстречу яростному пламени подобно тому, как лев бросается на собак; но не можем устоять перед силой огня. Прибудь к нам, цезарь! Помоги нам бороться! Ободри римлян своим вдохновляющим присутствием! Ты один еще можешь пресечь страшную беду».

Нерон, в сопровождении Поппеи Сабины и большой свиты, тотчас же пустился в путь. Размеры бедствия Рима превзошли его самые боязливые предположения. Когда он прибыл, восьмая часть города уже была объята пламенем. Император был явно потрясен.

Еще сильнее неожиданное несчастье поразило умную, разбирающуюся в политике Поппею Сабину. Она знала, что в противодействии затаенной, но живучей враждебности к ней аристократии и средних классов, ее лучшим союзником был народ, требовавший хлеба и зрелищ и кричавший «Ave Caesar!» когда в цирке хорошо скакали лошади. Теперь же пожар уничтожал жилища именно этой черни. Это сильно встревожило императрицу. Расположение черни было весьма шатко. Сытая и удовлетворенная, она ликовала, но если случайно запаздывали египетские суда с зерном, она начинала роптать или колотить солдат. Всемогуший император, которому эти люди обязаны были своим благосостоянием, был ответственен также и за их бедствия. В его мифически возвышенной особе они искали последнюю причину всех явлений. Как легко можно было склонить эту, уже полуобезумевшую, толпу к каким-нибудь безрассудным действиям

при страшном общественном бедствии, лишавшем кровавые целые тысячи!

Поппея сообщила свою мысль цезарю.

— Оттого-то я и поспешил сюда, — возразил Нерон. — Они должны убедиться, что я действительно их бог и спаситель.

И он с серьезным видом обратился к свите.

— Нельзя терять ни минуты. Мы не успеем даже переодеться. Мы разделимся на два отряда. Я, цезарь, поведу один из них, а ты, Тигеллин, поведешь другой. Каждый из вас беспрекословно будет исполнять то, что ему прикажут, будь он консул или конюх. Отличившихся мужеством или находчивостью я награжу по-царски; если это будет раб, то он получит свободу и состояние всадника. Тигеллин, оставайся здесь, в южном квартале; я же отправлюсь в Субуру! Вперед! Сегодня же вечный Рим будет спасен: так повелевает император!

Оба отряда разделились для распределения работ по тушению.

— Император под огненным дождем! — раздалось среди изумленной толпы. — Поппея среди падающих развалин! Да здравствует цезарь! Теперь стихнет грость пламени! Теперь Рим победит!

И вечный город победил бы, не будь тех отребьев общества, которые повсюду извлекают бессовестную выгоду из общественных бед.

Среди страшного смятения, еще увеличившегося благодаря отсутствию полицейского надзора в больших северных и западных районах, внезапно вырнула тысячеголовая гидра мародерства. Под предлогом спасения имущества из домов, которым угрожал огонь, эти гиены с неслыханным бесстыдством прибегали ко всевозможному насилию и, наконец, убедившись в необычайной выгоде жестокой комедии и упоенные блестящим результатом хищничества, они перенесли всепожирающее пламя в такие части города, которые доселе оставались неприкосновенными.

Когда вечером того же дня, смертельно утомленный Нерон опустился на ложе в доме Мецената, построенном на вершине холма, город уже пылал в четырех различных местах.

Палатинум также обрушился среди массы обломков и пепла, после того как гвардейцы успели еще счастливо спасти множество лучших художественных сокровищ.

К позорной деятельности грабителей и поджигателей, как последнее веление Рока, присоединилась непогода.

Ранним утром на следующий день поднялась буря, в несколько часов распространившая пожар на огромное пространство, сделав тщетным все принятые доселе меры. Подобно огненному вихрю неся огонь на театры и храмы, на роскошные постройки Via Lata и обширные торговые галереи Аргилетума. Пропитанная лихорадкой Субура горела наравне с окруженными садами виллами правительственных консулов и величественным дворцом первосвященника. Насколько мог объять глаз, ничего не было видно, кроме темно-красного огня, беловатых пламенных языков и страшно освещенных столбов дыма, под порывами вихря взлетающих к небосклону. Из сотни тысяч вулканов, прежде называвшихся Римом, беспрерывно раздавались грохот, треск и шипенье, сопровождаемые яркими снопами огня и клубами пепла. Воздух дрожал и гудел, как бы от подземных громовых ударов; раскаленная атмосфера этого гигантского пекла мгновенно уничтожала всякое живое существо.

Отчаяние пораженного народа достигло высшей степени. В еще не разрушенных кварталах раздавались безумные, дикие крики. С воплями испуга смешивался угрожающий, яростный рев.

Люди гибли тысячами.

Ужасающие подробности переходили из уст в уста.

Целый квартал домов был так внезапно охвачен огнем, что все обитатели их, дети, немощные и старики, сгорели заживо. В Субуре многие, плохо построенные здания, полные мелких комнат, рухнули, когда начали разрушаться соседние дома. Десятки бедных жильцов, старавшихся спасти свое имущество, были убиты падавшими балками и стенами, или, что еще ужаснее, были стиснуты между обломками и в страшных муках задохнулись от дыма или медленно изжарились под раскаленным пеплом, засыпавшим их полураздавленные члены.

Ужасная опасность, безумный страх перед ужаснейшим из всех родов смерти, породили сцены, отвратительнее которых еще не видал запятнанный кровью и преступлениями Рим.

Сыновья давили стонущих отцов, стараясь достичь застланного дымом отверстия, представлявшего единственную возможность спасения.

Матери с воплями бросали в огонь кричащих грудных младенцев, чтобы освободить свои руки для разрушения горячей стены.

Словом, все узы любви, родства и закона рухнули перед могуществом бушующей стихии, порождающим безумие. Конец казался близок.

Многие граждане добровольно побросались в пламя, увлекаемые той демонически-чарующей силой, которая тянет полного ужаса путника в глубину пучины, или же с преднамеренным стремлением с помощью смерти избавиться от зрелища падения горячо любимого Рима.

ГЛАВА X

Кто же, кто был причиной гибели столицы мира? Возможно ли приписать это случаю? Возможно ли, чтобы случайный пожар следовал такому правильному течению? Сначала занялся авентинский квартал, потом вспыхнуло еще в трех различных местах и, наконец, все отдельные пожары соединились в один огненный хаос: такое систематическое разрушение трудно было приписать слепому случаю; позволительно было предположить все это деянием сознательной, руководящей воли. Но где найти виновника, чтобы разорвать, раздробить, уничтожить его? Где его коварные, вредоносные сообщники?

Это должно было быть, однако, известно тому, кто повсюду имел тысячи тысяч ушей и глаз в лице своих чиновников, телохранителей, солдат и шпионов: должно было быть известно императору.

Действительно, вечером густые толпы народа окружили дом Мецената, безопасное местоположение которого представляло защиту от нестерпимого жара, господствовавшего в пылавших кварталах. Преторианцы с величайшими усилиями оттесняли отчаянных допросчиков.

— Клавдий Нерон должен отвечать! — заревел один сборщик податей. — Он господин и повелитель: его долг защищать нас. Разве еще никто не схвачен? Никто не высечен, не ослеплен, не распят на кресте? Мы требуем справедливости! Разбойников и поджигателей следует переловить. Где связки лоз? Где топоры? Где палачи?

— Глупец! — шепнул молодой аристократ, кладя руку на плечо велеречивого плебея.

— Что это значит?

— Значит, что ты мелешь вздор. Ведь ты сказал Катилина, покарай Катилину!

Сборщик податей уставился на незнакомца.

— Кто ты? — подозрительно спросил он.

— Один из тех, кого нельзя провести. По крайней мере, я могу похвалиться зрением. Я видел, как солдаты городской когорты подожгли жилище поэта Луциана...

— Я также, — заметил всадник с широким золотым кольцом. — Все граждане согласны в том, что сам император...

— Что? Что такое? — раздался целый хор голосов.

— Ну, что все это была комедия: его волнение при виде несчастья и назначенные им награды... Он сам один он...

— Молчи! Твои речи погубят тебя!

— Лучше смерть, чем беспомощное существование под скипетром этого кровожадного пса, — отвечал знатный юноша. — Что делают его креатуры? Целые кварталы разграблены его преторианцами. Без пожара такая выходка была бы невозможна... Вы ищите поджигателя, чтобы распять его? Он там, позади копий гвардейцев, за стенами этого проклятого дома, и умирает в то время, как великолепный Рим превращается в пепел!

— Это Нерон, — посылались тихие замечания. — Нерон виновник бедствия...

— Но каким образом? С какой целью?

— С единственной целью совершить преступление. Все его святотатства не казались ему еще достаточно чудовищными. Если бы можно было зажечь почву, он поджег бы всю Европу.

— И вспомните его тщеславие! Герострат разрушил Эфесский храм. Нерон сравнивал с землей восемь сот лет великой славы. В этом отношении он превзошел Герострата.

— Разве вы не знаете, что еще прошлой осенью говорил Поппее: «Когда ты сделаешься императрицей, я уничтожу старую столицу и выстрою тебе новую, еще величественнее, роскошнее и достойнее твоих сладостных объятий!»

— Конечно! И он хотел назвать эту столицу Неронией, для того чтобы потомство не забыло эту обязану Ромула.

— Неслыханное дело! — вскричали разом несколько десятков голосов. — Поджигатель на престоле!

Проклятие губителю мира! Долой нечестивого! Он заслужил смерть!

Молодой аристократ и всадник уже исчезли в толпе, чтобы в другом месте бросить народу роковой слух о виновности Нерона. Оба они были участниками того заговора, который почти удалось открыть императрице Агриппине, пославшей Палласа оцепить дом стряпчего Люция Менения. Дойдя до той степени отчаянного ожесточения, когда все средства считаются позволительными, члены тайного союза пользовались всяким поводом, чтобы ожесточить народ против тирана и его орудий. В настоящую же минуту этому представился бесподобный случай. Действительно, преторианцы и городские солдаты попользовались кое-чем в общей суматохе; также могло быть, что Нерон в своей безумной любви находил Рим Августа недостойным такой императрицы, как Пoppея. Все эти обстоятельства были раздуты, подробности преувеличены и выдуманы, насколько это могло служить желанной цели и, таким образом, распространилось убеждение, несмотря на свою очевидную нелепость продержавшееся в течение веков: что разрушитель столицы мира был Нерон, захотевший доставить себе и своей Пoppее чудовищное, жестокое и ослепительное зрелище.

Ничего не подозревая об этих толках, Нерон стоял с Пoppеей на площадке башни и смотрел на шумящее, волнующееся, грозное огненное море. Ужасная красота этой никогда не виданной картины поразила его. Священный трепет вдохновения объял его взволнованную душу. Он позабыл о страхе, доселе свинцом давившем ему грудь, позабыл о сгоревшем Палатинуме, о печальной пустыне, которая отныне будет смотреть на него со всех холмов, позабыл даже о нежно припавшей к его плечу Пoppее Сабине.

Обернувшись, он позвал одного из приближенных рабов и потребовал свою лиру, сопровождавшую его во всех путешествиях.

В виду пылавшего Рима, накинув на плечо ярко-красную перевязь инструмента, он настроил его и ударил плектрумом по металлическим струнам, сопровождая игру героической песнью.

То были строфы поэтессы Сафо; каждая четвертая, звучная строфа кончалась словами: пылающее пламя!

— Ты поешь, как бог! — воскликнула Пoppея, когда он кончил, и с ребяческим кокетством захлопала в ладоши.

Но он не слышал ее.

Перед ним, с отчетливостью не призрака, но живого существа, предстала фигура девушки, таинственно возникшей из пучины пожара, словно богиня любви из волн морских; то была Актэ, прелестная, белокурая, незабвенная!

Ее глубокие голубые глаза, пристально устремленные на него, казалось, спрашивали: «Неужели она совершенно вытеснила меня? Или в глубине твоей души еще живет смутная тоска по мне, которую не может заглушить никакая женщина в свете?»

— Актэ! — глухо простонал император.

Лица выпала из его рук и медленно скользнула на пол по складкам его тоги.

Где то золотое, блаженное время, когда он пел эти самые строфы вечером, любясь розовым отблеском заката на далеких албанских горах? Оно исчезло, превратилось в ничто, как этот могущественный город, в мучительной агонии доживавший свои последние минуты.

— Разрушайся же! — вскричал он, поднимая руки. — Умирай, царственный Рим! Гори, превращаясь в прах! Я могу воссоздать тебя из пепла в новом великолепии: но ее, единственную, незаменимую, не возвратит мне никакой бог! Актэ умерла: какое же право имеешь ты на это мимолетное существование? Пылающее пламя! Пылай! И будь ты в тысячу раз ужаснее, все-таки эта погребальная жертва еще не достойна ее. Она стоила большей. Первобытная ночь должна была бы спуститься в то мгновение, когда отлетела ее несравненная жизнь!

Голос его звучал, как торжественная молитва. Несколько слов из его-экзальтированной речи долетели вниз, к народу, слышавшему также и загадочное пение и звуки лиры.

— Слышите, как он хвалится? — вскричал мурийский матрос. — Пусть весь город пылает: его это радует, ему еще мало девяти сгоревших кварталов!

— Он поет и восторгается, — заревел торговец из Аргилета, — в то время, как крутом царит отчаяние!

— Император должен отвечать нам! Эй, преторианцы, посторонитесь! Римляне хотят говорить с императором. Римляне хотят узнать, что значит эта комедия там, наверху. Подавайте поджигателей! Император должен знать, кто превратил в пепел священный Рим!

Спокойно и уверенно преторианцы загородили дорогу копиями.

На этот раз толпа еще отступила. Но начавшееся брожение становилось все серьезнее. Военный трибун, начальник отряда, послал одного из солдат на башню предупредить цезаря об опасности положения.

— Глупцы! — засмеялся император.

— Не смотри слишком легко на этих глупцов! — шепнула Поппея. — Они взбесились, как собаки при приближении солнца к знаку Льва.

Страшный, яростный рев заглушил возражение цезаря. Пять-шесть отважнейших из народа пали первыми жертвами преторианцев. Остальные кинулись вперед с удвоенным ожесточением. Через минуту могла начаться настоящая битва.

— Слышишь? — продолжала Поппея. — Народ во что бы то ни стало требует виновного. Или ты сам дочешь оказаться им? То, что я слышу, кажется мне весьма понятным.

— Это дело моих смертельных врагов, — с горечью сказал император. — Я не знаю их, ибо они ходят под маской дружелюбия. Но я знаю одну шайку, оскорбившую и измучившую меня больше, нежели юные аристократы, намеревающиеся меня свергнуть: я говорю о Назарянах!

— Клянусь Зевсом! — вскричала Поппея, хватаясь за эту мысль. — Отличная идея! Со времени тех вынужденных эдиктов, назарянская община заслужила всеобщую ненависть. Чем больше я думаю, тем удачнее и гениальнее кажется мне эта мысль. Право, мне уже хочется, чтобы она оказалась действительно безошибочной. Ты разрешил задачу, император. Назаряне виновники. Они хотели привести в исполнение свое давнишнее пророчество.

— Неужели? — недоверчиво усмехнулся Нерон.

— Я убеждена в этом. Разве ты не слышал, что один из главных проповедников назарянства, по имени Павел, болтает народу, будто христианский Бог скоро испепелит весь мир и затем будет судить людей? «Вечный огонь» — пугало христианства: Павел предсказывал его тысячи раз богатым и сильным мира сего. Удивит ли тебя, если нетерпеливая банда, давно уже не приносящая жертв римским божествам, наконец приступает к делу и собственноручно исполняет его?

— А народ знает об этом воззрении назарян?

— Без сомнения. Изречения их, сначала осмеянные, потом осужденные как смелые нелепости, переходят из уст в уста. Стоит только промолвить одно

слово и толпа подхватит его, как нечто давно ожидаемое!

— Пусть будет так, — задумчиво сказал император.

Попея пошла к лестнице. Он же продолжал смотреть на огненные волны. Назаряне! Некогда это им было дорого ему. С ним связывались возвышенные идеи, мировые проекты, пока он не научился ненавидеть последователей Христа не только за то, что фанатик Никодим и его единомышленники сделали его, как он убедился, рабом государственной политики и ненавистником своей собственной природы, но еще и за то, что Никодим в преследовании своих безумно важных целей лишил его счастья жизни. Акте никогда не исчезла бы, если бы Никодим не вздумал оскорбить ее, употребив орудием своих неслыханных планов. Как счастье сложилась бы жизнь императора, если бы Акте не бежала от него!

Он никогда не сделался бы супругом Октавии и никогда не пришлось бы ему вести это двуличное разбитое в основании существование! Да, он ненавидел назарян! Для его измученного воображения они воплощались в тощем, вечно смятенном, вращающемся глазами Никодиме. На него они походили все, все, и потому теперь вполне заслужили быть выданными народу, как разрушители царственной столицы.

Он поспешно сошел вниз и явился к народу, величественно закинув за плечо туго:

— Чего вы хотите? — надменно спросил он смолкнувшую при виде его толпу.

— Мщения! Мщения поджигателям!

— Вы знаете их? — спросил цезарь.

— Ты должен назвать их нам!

— Хорошо, я назову их. Они должны быть наказаны, как еще не был наказан ни один преступник тех пор, как наш предок Эней вступил на почву Лациума. Виновники бедствия — христиане. Ступайте и схватите их!

— Христиане! — заревела тысячеголосая толпа. — Тащите их из их логовищ! Достаньте их из каменоломен, где они оскорбляют богов и престол цезаря! Ищите их повсюду! Вот Флегон, цветочник! Сейчас здесь был и Эпонат, любимец Павла киликийца, которого называют апостолом! А вот красавчик Артемидор, отпущенник Флавия Сцевина! Вот Трифена и ее сестры! Бейте их! Кидайте в огонь всех без разбору мужчин, женщин и детей!

— Стойте! — приказал император, подняв правую руку. — Не трогать их пока! Сначала пусть потушат пожар, а потом в моих садах, где я уже велел разбить баракы и палатки для погорельцев, я дам римлянам праздник и оделю всех деньгами, которых достанет на постройку новых жилищ. На празднике этом и будут показаны преступники. Вы увидите нечто, чего вам не показывал доселе ни один цезарь. Самые кровавые травли зверей, самые ужасные бои гладиаторов — детские забавы в сравнении с тем, что я задумал! Не теряйте же мужества! Не слушайте коварных клеветников, стремящихся разъединить императора с его возлюбленным народом! Работайте, старайтесь и молитесь Юпитера, чтобы он, наконец, усмирил яростное пламя!

— Ave Caesar! — загудели народные волны. — Да здравствует божественный, дарующий благословение и защиту, и ласково приглашающий к себе в гости своих квиритов!

ГЛАВА XI

Пожар кончился.

В течение десяти суток свирепствовал он в двухмиллионном городе подобно дикому зверю и уничтожил две трети столицы.

Теперь, под горами пепла только кое-где еще глели головни. Бледные столбы дыма отвесно поднимались к раскаленному летнему небосклону, подобно последним вздохам умирающей стихийной силы.

На рассвете одиннадцатого дня Нерон снова вышел на площадку меценатовой башни, как он это часто делал в продолжение пожарища.

Ему вспомнился вечер, в который он играл на лире при виде горящего города. Тогда его вдохновил огонь, дикий и мощный, под порывами урагана ослепительной рекой заливавший бесконечное море зданий. Он казался самому себе Зевсом-громовержцем, своими губительными молниями сжигающим землю до самых вершин Олимпа. Город пылал для него, это было доказательство того, что Рим мог пасть, и все-таки мир не терял ничего, пока всемогущий цезарь твердо стоял на пьедестале своей кесарской божественности.

Но в это утро, когда, покинув душный покой, он прислонился к перилам башни и увидел дымящийся пепел там, где еще так недавно обитали беспечные,

жаждавшие удовольствий люди, им овладел как бы гнев на богов, в которых он не верил, и ненависть к непобедимому Року. Эта жестокая неизбежность своим ужасающим произволом походила на дерзкого мальчика, злобно топчущего цветущие клумбы, пачкающего картины или разбивающего драгоценную статую. Рок Судьба — был единственным истинным властителем вселенной, могущественнее не только воображаемого Юпитера, но даже могущественнее его, Клавдия Нерона, доселе считавшего покорным своему игу все, начиная от каменистой Аравии и кончая Столбами Геркулеса. С этим Роком он вступил в борьбу; результат неравной борьбы лежал пред ним: необозримый хаос, черные, дымящиеся развалины, картина более страшная, нежели вид усеянного трупами поля битвы.

Если Року угодно выкидывать такие штуки, если ему нравится воздвигать тысячи преград добрым намерениям цезаря, то зачем же цезарь, обладающий высшей властью, будет уступать Року в дерзости и необъятности произвола? Великое бедствие погубит виновных и невинных. И Нерон также хочет теперь сделаться гибелью для человечества, с той лишь разницей, что его чувства еще благороднее, нежели та сила, которую Сенека некогда осмелился определить непостижимым именем «Провидения».

Жертвы Нерона должны пасть не без выбора, подобно жертвам Рока, но по хорошо взвешенным причинам.

Прежде всего, он уничтожает их для удовлетворения своей ненависти, затем, как он нерешительный сознался сам себе, ради собственной безопасности.

Несмотря на все старания императора смягчить общественное бедствие, в особенности посредством превосходно организованного подвоза необходимых съестных припасов, народ все-таки бешено роптал из-за страшной катастрофы и бурно требовал искупительной жертвы, соответствовавшей по своей значительности несчастью семихолмного города.

Откажи Нерон в удовлетворении этой жажды мщения, он подвергся бы опасности навлечь на себя ярость необузданной толпы.

И ярость эта также была бы делом Рока, измененным проявлением той же Судьбы, которая превратила в пепел Рим.

Христиане, для потехи черни обреченные быть до смерти замученными сегодня вечером в цезарских садах Ватикана, степень своих страданий покажу

царствующему императору, дорос ли он до начертанной им себе цели.

Да, он ненавидит христиан! Учение их казалось ему теперь так же пусто, бесцельно и бессмысленно, как стоическая философия Сенеки. Этот жалкий свет, громко вещавший ему из страшных развалин о своем безумии, не стоил ни серьезного отношения к нему, ни самообладания. Одни лишь наслаждения осязательны и непреложны: философско-мистические рассуждения же, никогда не разрешавшие, однако, ужасной загадки, только вредили осязательности и непреложности. В глазах императора Никодим и Сенека — оба слились в одну зловещую, тощую фигуру. Как неотступно твердил ему Сенека свои громкие фразы о нравственно свободном развитии человечества, об отвлеченном долге и высоком сознании самоотречения! Это было просто невыносимо!

— Безумцы! — шептал Нерон, устремив взор на портик, где желтоватая полоска света возвещала прохождение дня.— Что такое добродетель? Она предписывает не прикасаться к душистому кубку, по которому помится душа! Добровольные муки Танталя! Кто будет мне благодарен за это, скажите вы, обезумевшие лицемеры? Следуя вашему учению, разве я меньше зависел бы от обстоятельств? Разве мне меньше пришлось бы страдать болезней и всепоглощающей смерти?

Он вздохнул.

— Право, даже смерть не самое ужасное! Еще отвратительнее кажется мне неизбежная старость! Какой демон измыслил алчную дряхлость, злобно упивающуюся нашей кровью, пока мы сами не превратимся в тени, возбуждающие одни насмешки? Все, что есть на земле прекрасного и цветущего, веселящегося и ликующего, все будет высосано временем до последней капли свежести и силы, и жалкие остатки уподобятся этим развалинам!.. Состариться! Тайно чувствовать, как обнимающие тебя роскошные руки ослабевают и дряхлеют, теряя всю силу страсти! Примечать, как чарующая возможность становится притворством, а поцелуи и страстная томность взгляда — только одна комедия! Тогда ты будешь любим, Клавдий Нерон, но могущественный император, твоя царственная одежда, твой скипетр и неисчислимыя богатства! Подобно гордо возвышавшемуся еще недавно Палатинуму, ты превратишься в жалкую развалину своего прежнего я, с впалыми глазами, с поблекшим, изрезанным морщинами лицом, в тупало даже для женщин Тиллийского вала!

Он закрыл глаза руками, как бы наяву увидев свой будущий образ.

«И они все это предвидят! — ожесточенно продолжал он думать. — Сенека уже переживает это сам. Он чувствует, как искра за искрой гаснет его жизненный пламя, и все-таки он, вместе с Никодимом, старался скрыть от меня простую, несомненную истину! Я должен был посвящать мимолетные часы юности аскетической философии, вместо того чтобы пользоваться настоящим и наслаждаться светом, пока еще длиться день! Я должен был сделаться цезарем для последователей Распятого!»

Он наклонился над мраморными перилами и подпер голову рукой. Вокруг его рта легла грустная складка. Широко открытыми глазами смотрел он на разгоравшуюся зарю.

«Да, я также вижу в вашем Пророке преисполненный истиной символ: Его увенчанный тернием образ есть воплощение печальной участи всего земного. Мы все, рано или поздно, изойдем кровью на этом орудии пытки и с искаженными лицами, как умирающий Галиллеянин, будем взывать к небу: «Надежда, обманывающая все живущее, и ты, бессмертное мужество, зачем вы покинули меня теперь?» Иисус с Его печальной кончиной есть страждущий человек. Но зачем, в виду неизбежности этой кончины, должен я увеличить мучения моей земной жизни? Зачем мне печалиться о том, что я могу завоевать? Нет, аскеты! Лучше сейчас же умереть! Прыжок с этой площадки кажется мне логичнее заблуждений вашего безутраченного самоотречения!»

Взглянув вниз, он увидел длинный ряд своих рабов, направлявшихся в ватиканские сады с разнообразными тяжелыми ношами.

Во взоре императора вспыхнул дикий огонь. Он следил за ними, пока они не скрылись за торчащими стенами сгоревшего театра.

— Да, так, — прошептал он. — Если каждый ожидающийся день не будет приносить вам новые наслаждения, новые впечатления, жизнь превратится в пытку. Я хочу наслаждаться до тех пор, пока последняя капля крови застынет в моих жилах; хочу веселить мое зрение и слух; хочу за пиршественным столом забывать последнее благоразумие и, подобно греческому громовержцу, упиваться объятиями пылких женщин и цветущих девушек. Я не был бы Нероном, если бы мог удовлетвориться одной Поппеей! Нет, и

жажду бешеных удовольствий ради минутного забытья того, что так безумно кипит и клокочет в моей душе. Назаряне, вы скажете мне, есть ли еще средство утолить жажду жизни императора! Я чувствую бурное желание насладиться вашими страшными предсмертными муками. Быть может, ваши несказанные страдания нужны для основы счастья, за которым я гонюсь. Когда каждый нерв вашего истерзанного тела сохнет от боли, как раздавленная змея, блаженство должно показаться вдвойне блаженством. Предки наши строили триклинии с видом на могилы и надгробные памятники: это умножало их наслаждение пирами. Я превзойду их. Я буду видеть медленно умирающие тела, корчащиеся от этой медлительной пытки, в то время как трепет восторга превратит меня в бога. Я должен наверстать мое прежнее упущение.

Скрестив на груди руки, он несколько раз прошелся взад и вперед по площадке. Странная улыбка мелькала на его губах.

— Добрые квириты! Если бы они знали, что император их чуть не назвал братом жалкого Никодима! Не будь он такой негодяй, клянусь Стиксом, трудно сказать, что было бы теперь в Риме!..

Он вздохнул и пожал плечами.

— Едва ли было бы лучше! — продолжал он. — Я отчетливо вижу перед собой все черты жесткого, сурового лица с впавшими глазами. Его осторожная, смиренно-горделивая осанка, казалось, говорила: «Сойди с императорского престола: я, Никодим, рассчитываю занять твое место!» Если бы это случилось, если бы честолюбие Никодима уничтожило всякую самостоятельность в душе властителя и заменила ее собственной, жаждущей господства нетерпимостью, право, только что окончившаяся ужасная катастрофа показала бы шуткой, в сравнении с кровавыми переворотами во всемирной империи! Он начал бы огнем и мечом преследовать врагов назарянства и возводил бы костры, в своем размахе громаднее и раскаленнее пылающего Рима!

Он взглянул вниз.

— Изумительно! — вполголоса произнес он. — Одна и та же религия приносит столь различные плоды. Никодим и Актэ! Какая противоположность! Какая между ними непроходимая пропасть!

Все ярче разгоралась утренняя заря над хребтом Сабинских гор. Легкие пурпуровые облака клочками плавали в небе. Первый солнечный луч упал на вы-

горевший город, возвещая начало дня, оставшегося в летописях римской истории.

Два часа спустя цезарь принимал Тигеллина, явившегося с докладом о приготовлениях к гигантскому празднику, что должен был начаться вечером. Все шло по желанию Нерона.

— Ручаюсь,— усмехнулся Тигеллин,— что ты сам, пресыщенный всевозможными зрелищами и художественными убранствами, ты сам, о цезарь, будешь изумлен и отдашь справедливость моему искусству.

— Что же включает в себе твой план?

— Позволь умолчать о подробностях, прошу тебя! Ты сам художник и понимаешь, что преждевременное разглашение крайне неприятно. Угощение народа взял на себя превосходный Фаон, талантам которого я удивляюсь все больше с каждым днем. Половина Капум опустошила свои магазины для доставки нам освещения, цветов, флагов и ковров. Все остальное вполне гармонично в общей картине. Если я прибавлю, что музыка написана специально для праздника нашими любимыми музыкантами, я скажу достаточно. Одним словом: все будет блистательно.

— Ну, а народ? Что говорит он о блестящем радушии своего императора?

— Народ ликует.

— Ты говорил это уже вчера. Есть ли еще люди, сомневающиеся относительно назарян? Я хочу сказать... считающие их невинными?

— Едва ли. Арестованные, конечно, отпираются, но один из них, по имени Павел, громовым голосом объявил судьям, что в пожаре этом видна кара всемогущего Бога и исполнение древнего пророчества, гласящего: «Я сотру имя их и превращу страну их в пустыню».

— Павел? Я уже слышал это имя.

— Я сам говорил тебе о нем,— отвечал агригентец. Это необычайно мощная личность. Непреодолимая сила его красноречия увлекает, по крайней мере на миг, всех слышащих его. Поэтому я и остерегаюсь включить в планы праздника этого крайне опасного человека. Один его вид может завербовать ему последователей и, наконец, если бы он даже в последнее мгновение вздумал проповедывать учение Назарянина...

Клавдий Нерон молча кивнул головой и устремил на Тигеллина вопросительный взгляд.

— Я приказал тайно распять его,— возразил Тигеллин.

Наступила долгая пауза. Нерон безмолвно смотрел на цветной мозаичный пол, где прекрасно исполненный гладиатор всаживал меч в горло льву.

— Жаль,— с глубоким вздохом произнес он наконец.— Мне хотелось бы испытать, что ответил бы этот мечтатель, даже тебе внушающий тайный страх, на мой возглас: «Ты лжешь!»

ГЛАВА XII

В шестом часу пополудни император с Поппеей Сабинной и свитой отправился в ватиканские сады, вековые вязы и пинии которых представляли прекрасное убежище даже в разгар летнего зноя. Множество фонтанов били серебристыми струями из алебастровых бассейнов. Искусственные ручьи, питаемые Клавдинским водопроводом, журчали среди гротов и журчаем или пенились возле обросших папоротниками скал. Вокруг росли высокие кустарники, буковые рощи, пестрели цветочные клумбы, словом, это был уголок сельской Кампаньи в непосредственной близости от города.

В роскошной аллее, перерезавшей парк с севера на юг, отпущенник Фаон, по распоряжению агригентца, накрыл три бесконечных стола. Насколько хватал глаз, сверкали кружки, кубки, гирлянды цветов, блюда и роскошная посуда. Лож для возлежания за пиром мельзья было достать в достаточном количестве: но римская чернь привыкла обедать сидя, а не лежа, как было принято в высших кругах общества. Гладко выстроганные, покрытые коврами скамьи были даже излишком роскошны для народа.

Клавдий Нерон пригласил на праздник около восьмидесяти тысяч человек.

Картина вышла неопишуемая.

Восемь тысяч рабов в течение полутора часов непрерывно разносили пищу и питье необозримой толпе.

Императорская чета, Тигеллин, военные трибуны, около двадцати сенаторов из древних аристократических родов и весь двор,— за исключением Сенеки, прославшегося на внезапное нездоровье,— участвовали в этом гигантском пире. Вблизи императора особенно привлекал к себе внимание младший из его доверенных лиц, фаворит Гелий. Человек этот, не свободный по рождению, даже лучше самого Тигел-

лина умел подделываться под настроение императора, превозносить все его слабости как геройство, и всякое насилие называть естественным правом правителя. Жестокое, чувственное лицо отпущенника Гелия напоминало свинью, не обладая, однако, отталкивающим безобразием.

Преторианцы были искусно распределены по всем направлениям. Многочисленные шпионы подслушивали беседы; нужно было найти распространителей клеветы, называвшей цезаря виновником пожара. Немного до начала пира схватили всадника из Нолы и двух Менениев, двоюродных братьев Люция и Дидия, павших жертвами своего заговора против императора.

Во избежание чрезмерного возбуждения народа цезарь позаботился о том, чтобы подавали только очень легкое вино пополам с водой. Несмотря на восторженная распущенность пирующей толпы достигла такого предела, что Фаон уже начал торопить свои отряды рабов. Наконец съедены были и так называемые беллари. Вот и последний тост, возлияние, привет императору и роскошно разодетой Пупее...

Над головами восьмидесятитысячной массы загрели трубы, разбудив эхо окрестных холмов. Столы опустели с изумительной быстротой. Жаждавшим зрелищ народ устремился по многочисленным боковым аллеям на арену праздника широким крутом амфитеатром расположился вокруг.

Эта роскошная арена с окружавшими ее земляными ступенями и блестящей придворной трибуной мизу, посредине, была импровизированным созданием великого артиста по части увеселений, Софония Тигеллина. Но ничто не обличало поспешности сооружения. Громадные тополя и клены, за несколько дней еще покрывавшие все пространство, исчезли так же бесследно, как существовавший тут же пригородный мраморный храм и цветником. Свежий, слегка смоченный песок посыпан был на могиле этого уютного уголка и лежал таким чистым, математически ровным покровом, словно здесь никогда не царил фантастический беспорядок густой заросли.

Чугунные подставки для факелов, громадные медные делябры с чудовищными смоляными площадками, серебряные фонари со стенками из тонких, как бумага, роговых пластинок или из слюды, расставлены были в таком несметном количестве, что на арене должно было быть светло, как днем.

Перед самой императорской трибуной, от одной точки амфитеатра до противоположной ей, по прямой линии видны были вырытые в земле ямы, на расстоянии шага одна от другой, и числом более трехсот. Позади них лежала выкопанная из этих ям земля.

Как только император с Поппеей Сабиной уселись под балдахином трибуны, где уже заранее расположились свита, палатинские рабы принесли каждый по четыре странных, высоких шеста, опустили их острыми концами в ямы и, засыпав выкопанной землей, тщательно ее утрамбовали. К верхнему, широкому концу шестов прикреплено было по человеческому существу, завернутому до плеч в мягкую, войлокообразную ткань. Туловище и члены крепко привязаны были к шесту толстой железной проволокой. Все было обильно пропитано растопленным воском и варом, сметом и маслом.

Эти триста человек при наступлении сумерек для мервого отделения иллюминации должны были быть подожжены императорскими рабами.

Еще со вчерашнего дня народ знал о предстоящем ему зрелище. Тем не менее, вид фантастической процессии до того поразил толпу, что она громко завывала от дикой радости. Старинная, жестокая, кровавожадная потребность сильных ощущений с удвоенной силой пробудилась в этой пресыщенной, упившейся массе.

— Назаряне! — раздалось со всех сторон. — Назаряне в дегтярной одежде! Каково-то нравится им эта чуника! Проклятие поджигателям! Проклятие изувеченным, посягнувшим на Рим! Испытайте на собственных телах, что значит всепожирающее пламя!

В пять минут все шесты были поставлены и укреплены. Принесшие их рабы быстро удалились. Из соседнего кустарника, словно стая веселых птиц, выорхнула густая группа роскошных танцовщиц и сыпала подножия шестов розами и фиалками для того, как выразился Тигеллин, чтобы в благословенной империи Нерона даже мучения смерти отзывались празднеством.

Подобно тутовым деревьям, весной обрезанным от ветвей искусным садовником, длинным рядом стояли шестах последователи Христа.

Иные громко вскрикивали, другие стеклянным взором смотрели перед собой, третьи уже умерли от страха. Большинство же, и между ними не одни лишь непоколебимые мужи и юноши, но и цветущие девуш-

ки, радостно взирали на небо, едва слышно произнося молитвы. Справа от императорской трибуны, только несколько ниже, возвышалось роскошное, широкое, художественно выкованное ложе с пышными подушками, также осененное балдахином; это было место несокрушимого агригентца. Он сиял самодовольством, благородное, слегка покрасневшее от вина лицо его казалось моложе обыкновенного. Рядом с ним, грациозно прижавшись к нему украшенной жемчугом головкой, возлежала очаровательная родоска Хлорис в газовой одежде острова Коса, прелестная и симпатичная, несмотря на свое бесстыдство, и преисполненная обожания к мнимому герою, обвивавшему рукой ее стройный стан.

В сознании своего достоинства супруги цезаря Пoppея Сабина сначала восставала против дерзкой публичности этой связи, но что могла она возразить на наглое замечание агригентца, что и она сама, хотя и не гречанка, но знатная римлянка, точно таким же образом показывалась в обществе со своим царственным возлюбленным, несмотря на то, что супруга последнего была тогда еще жива?

Быть может, Хлорис смотрела в глаза Тигеллина так нежно потому, что она вовсе не была любительницей жестоких зрелищ, заменявших римлянам насущный хлеб. Как гречанка и артистка, она обладала высоко развитым чувством прекрасного, и уже вследствие одного этого сердцу ее противен был вид людских страданий. Только повинувшись желанию своего боготворимого Тигеллина, находилась она здесь; при приближении одушевленных шестов она невольно закрыла глаза и потом занялась исключительно своим влюбленным победителем,

Вдруг, среди общего напряженного ожидания, когда почти замолкли даже стоны христиан, раздались пронзительный, дикий вопль, подобный воплю безумца, бросающегося в пропасть с высокой скалы.

Хлорис с ужасом подняла голову.

Из-под войлочного покрывала шеста, ближайшего к ложу Тигеллина, смотрело страшно искаженное, знакомое ей лицо Артемидора.

Верующий назарянин до сих пор спокойно и твердо подчинялся своей участи. Героический дух его побеждал каждое проявление слабости. Но теперь, с вершины своего мученического шеста увидав девушку, некогда любившую и затем так коварно позабывшую его, он потерял самообладание.

В нем снова проснулась та жажда преходящего земного счастья, которую он считал давно искорененной в своем сердце, и вместе с этой жаждой им овладел прежний блаженно-мучительный трепет.

Так вот осуществление сна, в течение многих лет лелеянного им в сокровеннейшей глубине его души!

Он вспомнил незабвенный вечер в доме Флавия, когда он на коленях подал ей венок. Он думал о Хлорис день и ночь. Он верил в нее, как в Иисуса Галилеянина. При первом же слухе о ее доверии к благосклонности сильных мира сего, он поспешил к ней, полный горечи. Нежно поцеловав его, она рассмеялась над его огорчением и торжественно поклялась не принадлежать никому, кроме него. Но затем она совершенно исчезла у него из вида. Она все больше и больше втягивалась в жизнь придворного общества. Артемидор страдал невыносимо. Он подозревал о случившемся гораздо раньше, чем убедился в этом собственными глазами. Тогда он с страшным усилием расстался с ней. Он боролся отчаянно до тех пор, пока учение Христа, повелевавшего покорно нести свой крест, наконец, не осенило его спокойствием.

Он надеялся, что божественная сила этого спокойствия поддержит его до последней минуты.

И вдруг, почти в тот момент, как палачи уже подходили с своими факелами, ему суждено было вновь увидеть изменницу, и как? В роли празднозрительницы его мучений, и в объятиях другого. Это было уже слишком.

«Вдали от нее! — сетовал он, ведомый на казнь по кипрской улице. — Вдали от нее!»

Тогда мысль эта сокрушала его больше всего. Теперь же, это «Вдали от нее!» пронеслось в его мозгу, как жестокая насмешка над его безмерным несчастьем: судьба осудила его умереть нелюбимым ею, перед ее глазами, так близко от нее, что он почти мог ощущать ее дыхание.

Он снова вскрикнул, еще отчаяннее и громче, чем в первый раз. Он выносил нечеловеческие страдания. Уже теперь, раньше чем убийственное пламя охватило его, он чувствовал его пожирающее тело прикосновение.

Хлорис задрожала всем телом.

— Что с тобой? — спросил Тигеллин.

Она не могла отвечать. Он привлек ее еще ближе к себе и поцеловал в белоснежную шею.

— Или этот трус напугал тебя своим предсмертным воем? — продолжал допрашивать он.

— Может быть, — прошептала Хлорис. Лицо ее искажилось судорогой, взгляд сделался безжизненным.

— Вы, греки, слишком изнеженный народ, — ободрял ее Тигеллин. — Как потомки Ромула, вы должны бы приучаться к зрелищу смерти и ее ужасов. Это придает мужество и вкус жизни. Это закаляет любовь к наслаждениям и бодрость. Но что я вижу? Я узнаю молодца. Это Артемидор, отпущенник Флавия Сценина. Скажи, душа моя, не просыпается ли в тебе грустное воспоминание? Тогда ты была еще неприступной арфисткой, а теперь! Но разве ты что-нибудь потеряла от этой перемены? Софоний Тигеллин, после императора — первое лицо в государстве. Фанний Руф, разделяющий со мной начальство над войсками, только по имени мой товарищ, в действительности же он мой слуга. Цезарь любит меня; Поппея не делает ни шагу без совета мудрого агригентца. Артемидор же — ну, ты сама видишь, до чего его довела приверженность к сказкам Галилеянина!

— Он так молод и так добр! — вздохнула дрожащая Хлорис.

— Так добр, — возразил агригентец, — что он способствовал обманывать императора в его безумном отчаянии. Ты ведь слышала про Актэ? Император только один раз высказал ей свою любовь: тогда она внезапно исчезла и, несмотря на все его старания, нигде не обнаружилось даже следов ее пребывания. Артемидор также был спрошен и отвечал, что ничего не знает. Но это была ложь. Он знал, где находилась Актэ. И теперь он несет кару за этот обман цезарю и за все свои другие преступления. Поэтому-то его и поставили вблизи цезарской трибуны. Его мучительная смерть должна пролить бальзам на все еще открытую рану императора. Но я болтал больше, чем следует. Поппея Сабина не должна ничего знать. Слышишь, сладостная Хлорис?

— Слышу, — тихо отвечала она.

После этого разговора никакой надежды для Артемидора не оставалось.

Просить помилования тому, кого лично ненавидел Клавдий Нерон, казалось родоске равносильным собственному осуждению.

Итак, призвав на помощь неистощимую силу своего легкомыслия, она решилась предоставить событиям развиваться по пути, намеченному агригентцем. Она

только обратилась с тихой мольбой к греческому богу смерти, Гермесу Психопомпу, прося его дружелюбно проводить душу умершего в область мрачного Гадеса. Между тем, Артемидор поднял широко открытые высохшие глаза к небу, где в прозрачной лазури бледно сверкали первые звезды.

— Боже мой,— горячо молился он,— поддержи меня в этих безмерных муках! Милосердный Отец, осени меня Твоей благодатью, ради Господа Христа, умершего для искупления мира! О, как очаровательны ее волосы! Как блестящи глаза! Как цветущи ее благоуханные уста! Увы, она не тронута! Не бежит скакать мне ласковое слово перед последней, ужасной разлукой! Она может спокойно и равнодушно смотреть на гибель Артемидора! Я горячо любил ее; она была бы моим счастьем, и я люблю ее еще, несмотря на ее позор! Цезарь, зачем помиловал ты меня тогда, когда я мог умереть, обладая ее любовью? Отец Небесный, спаси меня от этих мыслей! В руки Твои предаю дух мой, прими меня в среду избранных, ради Господа Иисуса, и уничтожь во мне воспоминание об этом часе, ибо иначе душа моя во веки не найдет себе покоя!

Он склонил голову и закрыл глаза, чтобы не видеть более родоску, уже оправившуюся от ужаса и снова погружившуюся в восхищение своим агригентцем.

Рядом с отпущенником Флавия Сцевина поставлен был честолюбивый Никодим. Он был без чувств, когда рабы тащили его сюда. На его шесте была толстая перекладина, к которой его распростертые руки были пригвождены железными гвоздями, пробитыми сквозь ладони. Таким способом Тигеллин хотел отличить от остальных безумно дерзкого проповедника назарянства, к которому император питал особую ненависть.

Вопль Артемидора вывел несчастного из беспамятства.

Полный безумного ужаса посмотрел он на ряд шестов справа и слева и на роскошную оргию внизу: на цезаря рядом с победоносной Поппеей, на Тигеллина с влюбленной Хлорис; на фаворита Гелия с наглой Септимией, и на окружавших императорскую трибуну десять-двенадцать пар, обнимавшихся и целовавшихся, забывшая всякую скромность, как будто вместо желтовато-ясных сумерек их окутывала черная ночь.

Он видел десятки цветущих рабынь, с одним лишь газовым шарфом на бедрах, мелькавших среди друзей императора, держа в правой руке изящный кувшин с вином, а в левой чашу...

Он смотрел на венки, возложенные на умощенные головы, на роскошные гирлянды лоз, на пурпуровые розы.

С ужасом вдыхал он всю эту атмосферу чувственности и жестокости, поднимавшуюся из этой толпы подобно одуряющим испарениям из греховной пучины Гоморры. И вдруг он разом постиг все величие и значение своего, некогда столь усердно поддерживаемого заблуждения.

Нет, этот противоречивый, ужасный, до основания выродившийся мир должен вполне сгнить, прежде чем почва его достаточно удобрится для Христовой жатвы. Покуда назарянство могло укрываться только под кровлями бедных и угнетенных, в каморках носильщиков трупов, среди матросов по ту сторону Тибра, в рабочих домах и между надсмотрщиками за рабами.

Человечество должно было возродиться и преобразиться снизу, а не с высоты престола, составлявшего только страшную вершину бессердечного, безответственного, пустого общества.

И, постигнув это, Никодим с отчетливой ясностью постиг также то, что в его стремлениях было истинно благородное и что ему подсказывали себялюбие и жажда власти.

— То было сатанинское искушение, — скрежеща зубами, шептал он. — Ему, губителю мира, пожертвовал я свое спокойствие и внутреннее удовлетворение. Горе мне: я погубил и тебя, прелестная Актэ, вверенную мне Творцом, как овечку пастуху. Всеблагий Боже, если возможно, прости мне! Я согрешил против Тебя и против Твоей заповеди! Я недостоин претерпеть смерть здесь, вместе с верующими братьями и сестрами!

Горячие слезы оросили его лицо.

Вдруг он нахмурился.

— Если я понапрасну прожил мою жизнь, то, по крайней мере, перед смертью я буду свидетельствовать божественную истину! Быть может, таким образом я заслужу милосердие Всеблагого Бога! — Он смело поднял голову.

— Клавдий Нерон цезарь! — громовым голосом воскликнул он. — Хватит ли у тебя мужества выслушать последнее слово из полумертвых уже уст Никодима?

За громким возгласом мученика наступила тишина.

Преторианцы взглянули на своего повелителя, как бы ожидая приказа вонзить меч в грудь Никодима.

Но Нерон выпрямился и насмешливо отвечал:

— Говори, мой друг, но поскорее!

— Нерон,— продолжал Никодим,— я знаю, что ни от тебя, ни от окружающих тебя подобострастных псов нечего ожидать сострадания. Не Бог, но Его вечный враг сотворил ваши души из грязи и крови. Мир пока все еще во власти сатаны: поэтому ты император, ибо ты больше всех походишь на него дьявольской низостью и животной злобой. Но я предостерегаю тебя. Над Богом нельзя издеваться. Он, Всемогущий, дающий нам мужество бесстрашно умирать для услаждения твоего и твоих бесстыдных приближенных, Он бесследно сметет с лица земли этот жалкий род, сегодня сверкающий золотом и пурпуром. Истинно, конец ваш близок! Я уже слышу отдаленную грозу, вижу молнии, которые уничтожат вас! Все ваше могущество — соломинка перед ураганом. Скоро, скоро хлынет новый потоп и над развалинами вашего величия победоносно водрузится крест Иисуса Христа! Ты бледнеешь, Клавдий Нерон, и нетерпение овладевает тобой. Мы же, верные примеру нашего Спасителя, молим Бога о милости даже к тебе, нашему врагу. Сотоварищи в смерти! Обуздайте вашу справедливую ненависть! Устремите взоры ваши к небу и повторите за недостойнейшим из вашей общины: Отец, прости им, ибо они не ведают, что творят!

Шепот пробежал по рядам назарян. Вслед затем раздался протяжный звук трубы.

Несколько сот рабов с красивыми ручными факелами бросились к жертвам. Через минуту пропитанные смолой и воском войлочные покрывала пылали по всему ряду шестов. Отчаянные дикие вопли пронеслись над садами, но еще громче ревела обезумевшая от восторга толпа, неистово рукоплескавшая и всевозможными возгласами выражавшая свое восхищение.

— Ave Caesar! Какой олимпийский праздник! Какая дивная иллюминация! Рукоплещите, квиристы! Рукоплещите чудным факелам Нерона!

Тигеллин поднял полную чашу.

Подхватив последнее восклицание народа, он с ледяной насмешкой возгласил:

— Факелы Нерона, проклятый Тигеллин пьет за вас!

— А этот кубок пьет за вас Нерон, который уничтожит галилейскую ересь также, как огонь уничтожит ваши тела!

И цезарь, подобно сияющему юношеской красой Дионису, поднял увитый розами кубок. Он выпил половину, и передал остальное «божественно-прекрасной» Поппее, которая до последней капли осушила драгоценный кубок, с громким криком метнула его прямо в объятую пламенем голову Никодима.

Тяжелый сосуд попал ему в лицо.

— Отлично! — заметил агригентец. — Это был подходящий ответ на его наглую болтовню.

Как бы желая сгладить впечатление от своей зверской жестокости, Поппея с удвоенной нежностью склонилась к Нерону, очаровательно засмеявшись, и прошептала:

— Нерон, Нерон, как я люблю тебя! Право, мне кажется, что эти пылающие шесты — наши брачные факелы!

Нерон с безумным увлечением обнял ее. На него, также как на Тигеллина, предсмертные вопли христиан, по-видимому, действовали возбуждающим образом.

На заднем плане раздавалась громкая, веселая музыка. От горящих тел мучеников к небу поднимались сероватые облака. Тут и там вопли переходили в стоны и совсем замирали. В некоторых местах в огне звучали вдохновенные голоса тех, которые, воодушевившись верой, преодолевали все земные муки и радостно славили Спасителя и неисчерпаемое милосердие Божие.

— Бурное пламя, пожри мое брэнное тело, — вопли кликала пятнадцатилетняя девушка, — душа моя уносится в область света! Аллилуйя!

Никодим, полуоглушенный ударом от брошенного в него кубка, собрал последние силы:

— Слушайте, слепцы! — звучно воскликнул он. — Здесь, среди пожирающего мое тело огня, я, недостойный свидетель бесконечной славы Господней, говорю вам: Господь Иисус Христос есть единый истинный Бог и все спасение исходит от Него! Отец небесный, о, умилось надо мной! Я раскаиваюсь от всего сердца! Аминь!

Легкий порыв ветра отнес пламя в сторону. Артемидор в последний раз взглянул на Хлорис в объятиях агригентца.

— Хлорис! — крикнул он. — Хлорис!

Вопль его был так громок, что покрыв весь шум, донесся до отдаленнейших групп ликующей толпы.

— Хлорис! — снова раздалось из крутящегося пламени, теперь уже прямым столбом поднимавшегося к небу. — Горе мне, я умираю!

— Да будет благословенно имя Господне! — прошептал Никодим.

Потом и он умолк.

Шесты медленно догорали. Большие лужи крови впитывались в землю. Несколько шестов сломались и упали, увлекая с собой полуобгоревшие тела. В воздухе стоял густой, отвратительный запах гари, словно после жертвоприношения на тысячах алтарей Плутона.

Тогда, при звуках любимой гадитанской мелодии, так бы но мановению волшебного жезла, вспыхнули остальные огни иллюминации и в Нероновых садах начались сцены, не имевшие себе подобных в преступных летописях кесарского Рима.

ГЛАВА XIII

Прошел год; наступила тропическая летняя жара и годовщина ужасного пожара.

В этот промежуток времени из развалин уже возникли целые кварталы, роскошнее и красивее прежних.

Широкие, правильные улицы, с колоннадами по бокам, заменили прежние улицы и переулки в самых бедных и пользовавшихся дурной славой кварталах.

Массы пепла и потухших головней погружены были на огромные грузовые суда и отвезены в Остию, для насыпки болотистых низменностей вблизи гавани.

Благодаря наградам, назначенным цезарем за постройки, оконченные в течение известного срока, деятельность частных лиц превзошла всякие ожидания. Работа кипела днем и ночью, не прекращаясь даже во время страшного июльского зноя.

Новый, живительный дух проснулся в римлянах, и годовщина страшной катастрофы была встречена ими с серьезным, но никак не с печальным и угнетенным чувством.

Провинции, в особенности Малая Азия и Греция, должны были пополнить казну императора, щедро взыскавшего столицу добытым в них золотом.

Род частного учреждения со «свинооки» Гелием по главе, был создан для изысканий новых источников доходов для цезаря и употребленные для этой цели меры были горькой насмешкой над всякой справедливостью. Около половины сентября строительные работы закипели с удвоенной энергией, поскольку

ку прибыли многие тысячи галльских и испанских рабочих. При таком ходе дела можно было рассчитывать на окончание последнего дома раньше истечения года; конечно, при этом не могла быть готова внутренняя отделка, в особенности живопись, так как на этот счет сенаторы и всадники предъявляли большие требования.

Лето двор провел опять в Байе, в великолепной новой вилле, стоимость которой отпущенник Фаон первоначально определил в девятьсот миллионов, но которая, считая все художественные сокровища и приспособления комфорта, поглотила еще полмиллиона. На крыше виллы была роща, кустарники, источник и красивый пруд размером около тридцати квадратных локтей, окаймленный оправой из оникса. У подножья веерной пальмы привязана была лодка из кедрового дерева, вмещавшая в себе двоих, кроме гребца. Поппея называла это диво своими «висячими садами». И все-таки Нерон был не вполне удовлетворен этим неслыханно ценным произведением искусства. Он мечтал о еще необычайнейшем, и это необычайное наконец осуществилось в Риме, на Эсквилинском холме: то был восточный сказочный дворец, которому изумленный народ дал название «золотого дома».

В последних днях октября царственная чета сидела в роще «висячего сада» и смотрела на байский залив, где мимо Мизенского мыса величаво плыла императорская трирема «Ихтис». Возле императора стоял Тигеллин. Неподдалеку, на мягкой круглой табуретке сидел отпущенник Фаон, лишь четверть часа тому назад прибывший из Рима. На заднем плане расположился Кассий с несколькими служанками Поппеи.

— Видишь, повелитель, как аккуратен главный кормчий,— сказал отпущенник, указывая на трирему.— Он сказал, что бросит якорь у храма Геркулеса за два часа до заката.

— Благодарю,— отвечал император.— Мы уедем сегодня же. После всех твоих рассказов я могу предложить, что у меня, наконец, будет действительно приличное жилище.

— Жилище из чистого золота, украшенное драгоценными камнями, из которых многие по цене равны этой вилле.

— Слышишь, Поппея? Зеркальные золотые плиты покрывают стены. Твое цветущее изображение будет

тысячекратно отражаться царственным металлом. Ты будешь ступать по аканфоподобному малахиту. Рубины, смарагды и брильянты соперничают с дневным светом, проникающим в сверкающие залы сквозь окна из финикийского стекла. Все, что только могут доставить искусство и богатство, кипучее творчество и усердная служба рабов, все сосредоточено в том золотом доме. Теперь начнется эра наслаждений, презирающих смерть, блаженнейшего безумства, невиданного со времен Нина и Сарданапала!

— Повелитель, ты счастлив, — сказал агригентец, притворяясь глубоко тронутым. — Привет тебе, любимцу судьбы! Привет и тебе, Пoppея Сабина, повелительница империи, прекраснейшая и достойнейшая среди императриц! Все победили вы: клевету, ненависть, зависть, ярость стихий. Крутом все дышит и живет только для вас: вы стоите на вершине бытия и земля — ваше подножье!

— Отвратите несчастье, о боги! — прошептал Фаон.

— Что ты говоришь? — спросил, слегка нахмурясь, император.

— Я говорю... на случай, если бы слова Тигеллина оскорбили Уранионов...

— Каким образом?

— Повелитель, ты знаешь, у всех народов есть поверье, что такое превозношение, как только что произнесенное светлейшим Софонием, не предвещает добра. Поэтому я и просил богов отвратить несчастье.

— Вздор! — торжественно сказал император. — Боги — это мы. Пока я сам низвергаю молнии, подобно Юпитеру-Зевсу, мне не страшны ни так называемые олимпийцы, ни слепой, бессмысленный Рок. Разве я не испытал сто раз свое превосходство над самыми дерзкими покушениями этого Рока? Пусть на нас вооружается яростная Судьба: она сломится и разобьется об эту грудь, подобно тому, как прибой разбивается о глыбы каменной гати. Рим превратился в пепел: я воссоздал его еще прекраснейшим и славнейшим. Народ безумствовал при этом несчастье, и ярость его поднялась до высоты престола: я смирил его. Аристократы, сначала возмущившиеся против моего счастья, делавшего их бессильными, под предводительством низких негодяев затеяли великое восстание: я простер руку — и Пизо, вместе с тысячами своих сторонников, пал во прах.

— Однако... — прошептал Фаон, но остановился и робко взглянул на цезаря.

Но Нерон был так полон сознанием неприкосновенности своего величия, что не рассердился на отпущенника.

— Выскажи, что у тебя на сердце,— смеясь, сказал он.

— Я боюсь показаться непочтительным и дерзким.

— Это невозможно. Видишь ли, Фаон, если бы ты был человеком, которому я вполне доверяю, то это ты. Я сам не знаю, почему это так. Ты оказал мне услуги, но и другие сделали то же самое. Только один мой превосходный Тигеллин предан мне не меньше тебя; но кроме вас, у меня нет никого. Я вижу это по вашему лицу. В ваших ясных, веселых глазах сверкает тайная симпатия. Да, рискуя даже возбудить твою ревность, Софоний Тигеллин, я должен сознаться: Фаон был для меня дорог моему сердцу, даже если бы я был нищим, между тем как ты предназначен только в другом цезарю!

— Мой император! — произнес агригентец, прижимая к сердцу правую руку.

— Оставь это! — прервал его Нерон. — Это была лишь мимолетная фантазия. Итак, что хотел ты сказать, Фаон?

— Я хотел молить цезаря не слишком полагаться на свою безопасность. Возмущение Пизо еще досаждало мне, не дает мне успокоиться и я дивлюсь, как скоро мой господин и повелитель позабыл свое огорчение. Раньше Пизо не был твоим другом?

— Он назывался так, но не был им. Под личиной притворного дружелюбия он скрывал коварство.

— Все-таки ты не подозревал ни его, ни многих из других заговорщиков, например ни Фанния Руфа разделявшего с Тигеллином начальство над преторианцами, ни Флавия Сцевина, некогда называвшего тебя сыном и испросившего у своих товарищей право первому обнажить меч.

— Как?

— Да, повелитель! От тебя скрыли это, но это так и другие это подтвердили! «Прошу как особого отличия предоставить мне нанести первый удар!» — сказал он на последнем собрании.

— Он наказан за это,— возразил император.

— А поэт Лукан...— снова заговорил Фаон.

— Его мучила зависть! Его стихи были вовсе хуже моих.

— Но приветливая Эпихарис? Мог ли ты догадаться о ее намерениях? Она и Пизо были душой заговора!

А Сенека, твой старый, испытанный наставник! И он также попал в сети заговорщиков! Право, они должны быть необычайно умелы в искушениях, если и он сделался жертвой их внушений!

— Он был старчески расслаблен,— сказал цезарь.

Фаон серьезно и задумчиво покачал головой.

— Смерть его доказала противное,— возразил он.—

Подобно Сократу, спокойно и равнодушно выпил он ид, как будто смерть не что иное, как только конец веселого пира! Признаюсь, Сенека сильно меня встревожил.

— Я не понимаю тебя,— сказала Пoppея.— Будь он жив, ты имел бы причину тревожиться. Теперь же, когда он наказан за свою измену, мы можем лишь гордиться этим воспоминанием, так же как смертью властолюбивого Тразеа и лицемерного Сорания.

— И Тразеа умер как герой. Часто я слышал, как повторяли его зловещий возглас, с которым он простер к небу свою руку с открытыми жилами: «Тебе, Зевс-свободитель, посвящаю я эту кровь!» — Печально-героические слова, клянусь богами! Я отдал бы десять лет за то, чтобы он оказался трусом. Но я уклоняюсь от главного. Я хотел указать тебе на нечто иное. Позволишь мне продолжать, повелитель?

— Продолжай,— усмехнулся Нерон.

— Заговор Пизо удачно уничтожен. На этот раз ты победил Рок. Но как это случилось? Держи себя Флавий Сцевин спокойнее, воздержись он от излишней театральности, кто знает, кто знает... Источником нашего спасения, строго говоря, был лукавый отпущенник Милих, которому он вручил кинжал для заочки с восклицанием: «Это оружие священо!» и с которым он составлял свое завещание. Не донеси Милих обо всем этом...

— Вот в том-то и дело,— прервал его император.— Мой гений, могущественнейший нежели Рок, посылает мне таких союзников. Нет, Фаон, ты пессимист. Но я благодарю тебя, ты достиг двойной цели. Я вдвойне чувствую теперь, как тебе дорого мое благо и как мыско я стою над превратностью всего земного!

С этими словами он встал и подошел к балюстраде. Пoppея последовала за ним, а Тигеллин, оставшись с Фаоном, начал тихо упрекать его за неуместно-мрачный тон его разговора.

— Господин,— сказал Фаон, с отчаянием глядя на иригентца,— это давно уже тяготило меня, и я должен был высказаться. Я люблю его, ибо он всегда был

добр ко мне, и кроме того, — он сам сказал это, — меня связывают с ним как бы невидимые узы. Мне кажется, откровенное предостережение полезнее приятным мечтаний, окрашивающих все в розовый цвет.

— Ты намекаешь на меня. Но я ничего не представляю ему в обманчивом свете, а говорю правду. Империя Нерона действительно сияет небесной лазурью; он действительно стоит на пьедестале божественного величия. Я верю в несокрушимость его счастья, и которым связано и мое. Ступай! Прежде ведь ты не предавался пустому унынию! Позволь себе хоть раз упиться кипрским! Твоя кровь сгущается, тебе нужно освежиться. Впрочем, все уже готово и мы отправляемся после солнечного заката.

Подобно тому, как Тигеллин говорил с Фаоном, Пoppея говорила с Нероном. Она также была объята манией величия и думала, что может предписывать законы судьбе. В ее обыкновенно практически умном взоре сверкало сверхъестественное возбуждение прищательницы.

— Да, — шептала она, склонясь пылающим лицом к плечу Нерона, — мы победители предопределения. Ни один правитель в мире не преодолел таких опасностей, как ты, и ни один не встречал их с таким хладнокровием. Счастье твое беспримерно. Будущность принадлежит тебе и твоим потомкам.

С притворной скромностью она опустила взор.

— Пoppея, — нежно прошептал Нерон.

— Да, — продолжала она, — я чувствую, что ребенок, которого я ношу под сердцем, будет мальчик и портрет своего отца. И долго после того, как мы сойдем в царство теней, отрасль Нерона будет властвовать над всей землей. Парфяне и индусы преклонятся перед скипетром вместе с дерзкими потомками Пизо. Я вижу будущие гигантские армии,двигающиеся на север и на запад и покоряющие Германию до берегов Вислы, там же как страну сарматов, ругов и ледяную Скандию. И повсюду, где водрузится знамя Неронионов, будут красоваться украшенные лаврами изображения их предка; оно будет стоять в мраморных и золотых храмах, как единое истинное божество, к которому все народы будут обращаться с одинаковой мольбой: Нерон, всемогущий отец небесный, умилосердись над нами!

— Да будет так! — с сияющим взором воскликнул император и, обняв Пoppею, торжественно произнес: — Привет тебе, благословеннейшая из женщин, носящая во чреве спасение и будущность всего мира!..

ГЛАВА XIV

В сумерки Нерон с Поппеей и частью свиты отплыл в море.

Плавание было благополучным. На утро третьего дня трирема бросила якорь в Остии, где длинный ряд дорожных экипажей уже ожидал прибывших и через несколько часов доставил их в Рим.

Нерон, которому ничто не казалось чересчур блестящим или великолепным, был, однако, внутренне поражен видом вновь возникшего гигантского города, но он постарался скрыть свое изумление.

Ему чудилось, будто хижины Ромула были теперь заменены дворцами: до такой степени этот новый Рим был роскошнее Рима Августа, хвалившегося, однако, тем, что, унаследовав Рим кирпичный, он оставляет после себя Рим мраморный.

Известные лучшие улицы были неузнаваемы с их великолепными новыми колоннадами. Даже квартал плебеев, в сравнении с прежним, отличался изящной правильностью, хотя многочисленные деревянные постройки ясно доказывали, что алчность хищных архитекторов-спекулянтов нашла себе здесь больше применения, нежели то было желательно в интересах народа и безопасности от нового пожара.

Наконец экипажи остановились перед прелестным подъездом нового дворца. Придворные, рабы и отряд гвардейцев со значками стояли в торжественном ожидании.

После официальных приветствий со стороны придворных и преторианцев, Нерон с Поппеей сел в персидские носилки и заставил нести их по всем покоям, для того чтобы показать супруге все подробности, давно уже известные ему из планов и описаний Фаона. Отпущенник был их проводником.

Громадное здание простиралось широко по Эсквилинскому холму. Главный вход с высокими коринфскими колоннами находился с южной стороны. Сам дворец окружен был тройной колоннадой в полторы тысячи шагов длиной. Фаон не преувеличил, говоря, что никакой дворец в мире не превосходил роскошью этот «золотой дом». Всюду сверкала самая безумная роскошь, часто, к сожалению, в ущерб истинной художественности.

Потолки были из слоновой кости, с драгоценными карнизами и усыпаны драгоценными камнями; в некоторых потолках скрыт был механизм, посредст-

вом которого один раб мог их раздвинуть посредине для того, чтобы в хорошую погоду видно было синее небо.

Мебель, изготовленная большей частью в Александрии, а отчасти в Медиолануме, в каждой комнате носила свой, резко определенный отпечаток. Здесь вспоминались омываемые прибоем скалы Капреи, там — цветущие, залитые светом луга, или мраморные величие Пэстийского храма. Материал состоял исключительно из благородных металлов, шелка и пурпура, и только кое-где употреблено было душистое дерево из отдаленной Тапробаны или с южного берега Армивии.

Мозаичные полы, исполненные по рисункам и картинам знаменитейших художников, изображали исторические сцены, как, к примеру, битву при Арбеле и смерть трехсот Фабиев, или же мифологические идиллии. В одном месте пламенная Афродита любовью простирала белоснежные руки к прекрасному Адонису; в другом, на блестящем ложе, полузакрыв глаза, возлежала Даная. И все это сработано было такими тонкими инструментами, что произведение мусивийских мозаистов можно было счесть за тщательно написанную масляную картину.

В гигантском дворце была одна комната, остроумным механизмом поворачивавшаяся вокруг своей оси и изображавшая круговращение небесного свода таким образом, что отсюда солнце казалось двигающимся не по своему обычному пути, а лишь поднимавшимся по отвесной линии.

— Смотри, Поппея, — сказал император, поясняя ей эти чудеса, — сюда я буду удаляться для размышлений о судьбах империй. Здесь я отрешен от всего земного. Я буду свободно носиться над простором земли, покорным моему скипетру, и смотреть на мое божественное отражение, дневное светило, неизменно сохраняющее одно направление.

К главному зданию примыкали многочисленные колоннады, сады, лужайки, рожицы, искусственные холмы с живописными видами; все это соединялось между собой переходами, аркадами и мостами, так что казалось, будто находишься внутри цельного, связного архитектурного чуда.

Во дворце были также несколько прудов с гребнями и парусными лодками.

— Клянусь Зевсом, — вскричала Поппея, — здесь, в этих блестящих мраморных берегах можно устроить

настоящую увеселительную прогулку, не то что на Фениксовой лужице байской виллы!

— Здесь можно сделать все, чего ты пожелаешь,— сказал цезарь.— Наконец-то мы у цели! Теперь цезарь живет в своем собственном городе, как и подобает. Город этот будет назван Римом, в честь Ромула, основателя государства. Но его четыреххолмный Рим был наполовину меньше моего дворца. Тот другой, внешний Рим, вызванный мной к жизни из пепла, отныне будет называться Неронией, ибо он создан мной, а не Ромулом. Тебя изумляет, что я хватаюсь за мысль, некогда внушенную мне моими врагами, прежде чем она пришла мне в голову? Я делаю это именно по этой причине. И этим я хочу доказать, что все зло, задуманное против меня ненавистниками, само собой превращается для меня в лавры и розы. В тот день, когда ты подаришь мне сына, и он получит славное имя Клавдия Нерона Сабина, и столица будет переименована решением сената, торжественно утвержденным мной перед всеми квиритами.

— Да здравствует Клавдий Нерон Сабин! Да здравствует Нерония! — воскликнула восхищенная Поппея.

В это мгновение один из носильщиков споткнулся о малахитовый порог, упал на колени и при этом так сильно дернул поддерживавший носилки шест, что и следовавший позади него носильщик также пошатнулся.

Усилиями двух остальных рабов носилки не были допущены до падения.

Но облакачивавшуюся о самый край Поппею Сабину выбросило с такой силой, что она ударилась об одну из колонн.

С громкими криками отовсюду сбежались люди. Успевший удержаться за носилки Нерон быстро выскочил и наклонился над бледной, как смерть, закрывшей глаза Поппеей, которую Фаон осторожно приподнял. Он приказал рабыне обрызгать эссенциями, между тем как агригентец тотчас же велел увести злополучного носильщика.

— Поппея! — отчаянно вскричал Нерон.

Она подняла веки, попыталась улыбнуться, но испуганное, болезненное выражение ее лба и бровей обличало ее сильное страдание.

— Это ничего,— произнесла она, снова закрывая глаза.— Ужасный испуг... Прикажите изрубить него-

дя в куски! Фаон, благодарю тебя. Не так, вы слишком высоко поднимаете меня! Оставьте меня пожевать... так... так!

— Позовите врачей! — крикнул растерявшийся Нерон. — Отнесите императрицу в спальню! Проклятие роковому дню! Поистине, прекрасное приветствие по поводу прибытия! Осторожнее, если вам дорога ваша жизнь! Ободришь, возлюбленная Поппея! Вот уже идут Аристомед и мудрый Эврот.

Со всевозможной заботливостью Поппея была отнесена в сказочно-роскошную спальню и раздета. Эврот и Аристомед тщательно исследовали ее и, не найдя нигде наружного повреждения, решили, что внезапный обморок и сильные боли царственной пациентки должны быть отнесены к ее положению; следовательно, в худшем случае...

Аристомед шепнул свое предположение на ушко цезарю.

— Это будет твоей смертью, бездельник! — внезапно вскричал Нерон. — Неужели я должен вторично обмануться в моих ожиданиях? Именно теперь, когда она наверное знала, что подарит мне сына?

— Повелитель, — пробормотал Аристомед, — как может твоя светлейшая супруга знать наверное...

— Жалкий раб! Цезарь и его супруга уверены в исполнении того, чего они желают! И потому повелеваю тебе: предупреди несчастье своевременно, или ты умрешь!

Судороги Поппеи окончательно уничтожили мнение врача.

— Так умертви меня сейчас! — склоняя голову, сказал он. — Я не могу бороться против силы судьбы и природы!

— Как? Ты смеешь?

— Я смею напомнить тебе о воле богов и всемогуществе Рока, которому мы все подвластны, и ты, мой сильный повелитель, наравне с осужденным на смерть рабом. Отсеки голову мне, смертному, так как ты ничего не можешь сделать богам и Року!

Нерон не отвечал. Он оцепенел от ужаса.

Наконец, схватив за руку раба, он почти с мольбой произнес:

— Так попытайся же: я вознагражу тебя! Я беру назад все мои угрозы. Подумай: вся будущность мира зависит от жизни Клавдия Нерона Сабина, повелителя земли до Вислы и острова Ругов!

— Он помешался от горя,— прошептал Аристодем, снова подходя к ложу.— Повелительница, как чувствуешь ты себя?

— Невыносимо,— тихо простонала Пoppея.— Мое сердце готово разорваться. О, этот негодяй! Мне кажется, он сделал это с умыслом. Он один из тайных приверженцев... покойной Октавии!

— Конечно, нет,— возразил Аристодем.— Это была просто несчастная случайность, так говорят все видевшие его падение, повелительница.

— Молчи! Я знаю лучше... Это была... была... Октавия. Прочь! Прочь! Оставьте меня одну!.. О, как больно! На мне надето войлочное покрывало назарян! Крутом... огонь! Я умираю от муки!

Нерона почти силой увели из спальни. В сопровождении Тигеллина, Фаона и нескольких рабов отправился он в чудесную вращающуюся комнату.

Хитрый механизм был приведен в действие при входе императора. Здесь, на троне, сидел повелитель вселенной, двигаясь равномерно с сияющим солнцем, между тем как за несколько сот шагов от него мечта Нероновой династии превращалась в жалкие развалины.

Кассий предложил цезарю крепкое вино и плоды.

Нерон пил с жадностью, но не мог проглотить ни кусочка сочных фиг. Он дрожал всем телом.

Два часа спустя его уведомили, что Пoppея родила мертвого ребенка и, в самом деле, мальчика, как она предсказывала.

Принесший эту весть раб боязливо смотрел в землю, как бы страшась быть тут же убитым. Потом его губы снова зашевелились, но он не мог произнести ни слова.

— Дальше! — закричал Нерон, подступая к нему.

— Повелитель, я не могу...

По лицу его покатались слезы.

— Говори! — приказал внезапно растроганный император.— Разве ты не видишь, как твое глупое молчание терзает меня? Говори, хотя бы это было самое худшее!

— Повелитель, твоя светлейшая супруга... внутреннее повреждение... Аристодем ручается едва ли за один час...

— Желал бы я, чтобы вы все в безумии провалились туда, где в вечном мраке ревет Коцит! Оставьте меня, Тигеллин! Прочь, Фаон, или я задушу тебя! Глоба называла меня тираном, губителем народа и

поджигателем? Вы, боги, если вы не ничтожные создания фантазии, я покажу вам, как земной бог, Нерон мстит за ваше коварство! Вы и ваше проклятое предопределение нарочно довели меня до иступления! Так вы сами ужаснетесь теперь моей бесчеловечности!

В изнеможении он упал на софу. Вдруг он вскочил

— Я должен идти к ней! Я должен идти к ней! Я должен еще раз поддержать ее дорогие, нежные руки ласкавшие мой лоб, когда на меня обрушивались все беды земные. Фаон, иди со мной! Дай руку! Фаон, Фаон, мне кажется, и ты бездельник!

— Я тебе верен до смерти, повелитель. Смотри, я плачу, ибо клянусь богами, я не могу видеть тебя страдающим!

Нерон был не в силах выразить ему свою признательность. Одно лишь легкое пожатие руки показало Фаону, что цезарь вполне верил искренности этим слез.

При входе в спальню, где бессильно и беспомощно лежала Поппея, Нероном овладела конвульсивная дрожь. Она не двигалась, и только по временам на теле ее пробегали судороги.

— Поппея! — воскликнул он, ломая руки. Горькая, почти насмешливая улыбка исказила ее губы, но она не шевельнулась; казалось, сознание покидало ее.

Вдруг она поднялась и села, раздался ужасный, безумный крик.

— Октавия! Довольно ли ты напилась моей кровью!

Широко раскрыв выступившие из орбит глаза, она несколько раз схватила воздух скорченными, как когти, пальцами и упала навзничь. Голова ее безжизненно повисла.

Еще раз проскрежетав зубами, как бы в мучительном гневе на разрушение всех надежд, Поппея Сабина умерла.

ГЛАВА XV

Прошел год..

Какая толпа на улицах семихолмного города! Какими ликованием и восторженными криками, перемешанными грубыми насмешками и громкими проклятиями! Повсюду, от гробницы Сципионов до Мильвийского моста виднелись оживленные группы, шумно переговаривавшиеся и оглушительно восклицавшие: «Да здравствует освободитель!» при каждой новой вести извне.

Наконец-то восстание победило. Требующий хлеба и зрелищ народ, служивший опорой страшному деспоту, праздно и равнодушно смотрит на разрушение его господства. Тигеллин, начальник гвардейцев, трусливый и неверный, как это предвидел Фаон, перешел на сторону мятежников. Но судьба его уже решена. Гальба, будущий император, стоящий со своими солдатами в нескольких милях от Рима, немедленно пошлет его в изгнание: ибо участие ненавистного агригентца составляет единственное темное пятно в блестящей картине этого честного восстания против безумной наглости тирана.

Юлий Виндекс, геройский борец за древнеримскую свободу и достоинство человека, принял на себя продолжение дела Пизо, коварно преданного Милихом в последнюю минуту и, за свое железное самообладание, позволившее ему терпеливо переносить доселе иго деспота, теперь получил лавровый венок, прекраснее всех венков божественного Африкана. Конечно, венок этот был окутан траурным флером: самому Виндексу не суждено было дожить до радостного дня. Нерон, видевший в Виндексе лишь верного своему долгу солдата, а не пылавшего негодованием патриота, назначил его пропретором северной Галлии, и там, на берегах Секваны созрел план, пресекший безумные деяния императора. Не для себя добивался власти Виндекс. Подобно Цинциннату, он хотел только служить родине, медленно истекавшей кровью в когтях царственного льва. Старый, достойный Гальба, со строжайшей справедливостью управлявший северной Испанией и другими провинциями и, насколько хватало его сил, стремившийся смягчить и отвратить разрушительные набеги императорских уполномоченных, казался Виндексу подходящим человеком для поддержания расшатавшегося государства, для восстановления уважения к титулу кесаря и для обеспечения за народом внутреннего мира. И он провозгласил Гальбу императором. Мужественные галлы многочисленными толпами собрались под знамена Виндекса, и не прошло месяца, как у него была уже хорошо вооруженная, готовая к бою армия. Между тем и наместник римской Германии, Виргиний Руф, объявил себя сторонником Гальбы. Войско Виндекса должно было соединиться с войсками Руфа. Тогда случилось нечто, стоившее жизни творцу великого восстания. При встрече обеих армий, произошло недоразумение. Солдаты Руфа вообразили, что Юлий Виндекс хочет напасть на них. В

передних рядах началась рукопашная схватка. Лихорадочно возбужденный Виндекс счел себя преданным заговорщиками. Отчаявшись в успехе своего, устроенного с таким трудом дела, он бросился на свой меч, прежде чем Виргиний Руф мог объяснить ему ошибку.

Но тысячеголовое восстание не умерло с Юлием Виндексом.

Напротив того, из геройской крови своего боготворимого вождя она извлекла непобедимые силы.

Все ближе и ближе подвигались к столице воодушевленные полки.

Гальба уже послал гонцов в сенат.

В свите нового избранника на престол находилась высокий, стройный человек с бледным лицом, обрамленным темными кудрями. Его губы, в былые времена знавшие одни лишь нежные улыбки, были крепко сжаты. Это был Ото, наместник Лузитании.

Цель его — жестоко покарать Нерона за несказанный позор, безмолвное унижение и грызущее горестоль долгих лет. Вся измученная страна жаждала отмстить надменному мучителю, со смертью Поппеи сбросившего последнюю узду со своего произвола и превратившегося в то, в чем его уже раньше упрекали приверженцы Пизо: в проклятие человечества.

Участники этого мощного восстания не спрашивают, что происходит в уме и в сердце столь безмерно свирепствовавшего человека. Они считаются только фактами, а не с унылым, мрачно-отчаянным духом породившим эти факты.

И действительно, они имели на это право. Долой злодея, думающего только об одном себе, со своими бесконечными прихотями и капризами, и для утоления собственной муки готового истереть весь мир на утоляющую боль целебную траву!

Долой богопротивного демона, затоптавшего человечество!

Страшное возбуждение господствует в Риме. Преторианцы давно покинули Золотой дом. Многочисленными отрядами бродят они по городу, где статуи императора с громким, насмешливым хохотом и проклятиями сбрасываются с пьедесталов, закидываются грязью и предаются поруганию. Даже всегда верные германцы безмолвно удалились оттуда. Никто не хочет погибнуть вместе с погибающим императором. Огромный дворец опустел. Бледный, как смерть, Нерон сидит во вращающейся комнате, механизм которой не действует сегодня. Он держит в руке меч, но

чая, на что решиться: вонзить ли клинок в собственную грудь или броситься вниз и умертвить последнюю жертву своего яростного гнева.

Все покинули его. Только главный раб Кассий да отпущенник Фаон остаются в этом ужасающем уединении. Громадное здание, еще недавно бывшее ареной кровавых гладиаторских боев, шумных попок и бесстыдных, диких оргий, подобен усыпальнице. Ворота, ведущие наружу, заперты.

Фаон усиленно размышляет. Он хочет спасти императора. Он составляет план за планом и бегаёт из колоннады в колоннаду.

Все напрасно. Может ли осмелиться всем знакомый Фаон пробраться с Клавдием Нероном сквозь несметные массы народа?

Как подкошенный, опускается он на мраморную скамью и складывает на коленях руки.

Главный вход с южной стороны открыт. Здесь стоит честный Кассий с копьем, готовый пронзить Первого входящего.

Странно: ни один из заговорщиков не решается войти сюда. В смятении Кассий даже не позаботился надвинуть железные засовы. Он не знает, что убегающие преторианцы, стыдясь своего тайного бегства, сломали дверь. Но все-таки никто не является. Имя Нерона все еще магически действует на два миллиона возбужденных людей. Глубоко укоренившийся страх перед цезарем, по-видимому, не уничтожен даже известием об отпадении от него всей армии.

Вдруг Кассий вздрагивает. Один человек из толпы негодующих, составляя исключение, с шумом входит в остиум.

— Кого тебе нужно? — спрашивает Кассий, выставляя копье.

— Императора, — слышится в ответ.

Кассий узнает его. Это Паллас, бывший поверенный Агриппины. Он тайне помогал заговору против императора. Живя в неизвестности, в далекой Лузитании, он постепенно вливал яд в рану отчаявшегося Ото. Он рассказал честному Гальбе о смерти императрицы-матери и указал на Нерона, как на ее убийцу. Потом он переселился в Галлию, где также раздувал ненависть к человеку, ненавидимому им больше всего в мире, не ради умерщвленной Агриппины, но ради сильного воспоминания о цветущей девушке, любимой им, Палласом, с несказанной страстью, и потерянной им из-за каприза императора. Так он думал, ибо

Агриппина выставила ему в этом свете отношения Нерона к Акте.

— Пропусти меня, Кассий! Я не желаю зла лишнему престолу цезарю. Я хочу спасти его.

— Ты? — с сомнением спросил раб, опуская копье.

— Да, я,— повторил Паллас.— Сенаторы уже собираются в Капитолий для осуждения государственного преступника. Время не терпит.

И он направился ко входу во второй двор.

— Но как же ты спасешь его, скажи? — продолжал Кассий, следуя за ним.

— Увидишь. Скажи мне только, где цезарь. Ты можешь остаться здесь.

В это мгновение Кассий увидел сверкнувший у него между складками плаща меч.

— Стой! — крикнул он, выхватывая из-за пояса кинжал.— Зачем у тебя меч?

Он схватил Палласа за плечо. Паллас тщетно пытался было освободиться от него, но вдруг сбросив маску притворства, в свою очередь обнаружил скрытое оружие. Меч пронзил грудь раба, между тем как его кинжал вошел в плечо Палласа по самую рукоять.

С глухим стоном повалились они оба на землю.

— Трусливый пес! — прохрипел Кассий.— Ты решаешься приблизиться ко льву, лишь когда он уже смертельно ранен. Вот тебе в придачу, пока ты еще не сошел в подземный мрак!

Падая, он вырвал из раны кинжал и воткнул оравлавленный клинок в бок врагу своего повелителя. С последним отчаянным усилием Паллас схватил Кассия за горло, но раб уже успел до рукоятки погрузить оружие в его тело.

Через минуту руки умирающих разжались: Паллас покотился в страшных конвульсиях и замер, подобно упавшей чугунной статуе. Кассий еще раз открыл глаза, прислонился головой к цоколю коринфской колонны, и теперь лежал в спокойной, гордой позе воина, умершего славной смертью в жестокой битве.

В это время цезарь прислушивался к уличному шуму, зловеще долетавшему до него через отверстие в потолке.

Неужели там происходит борьба?

Наверное Тигеллий сумеет набрать хоть одну кинжалу для его защиты, Тигеллин, этот испытанный, верный друг?

Нерон не подозревал, что Тигеллин одним из первых покинул гибнущий корабль цезарского величия.

Но если у цезаря были еще друзья, если кто-нибудь хотел обнажить за него меч, то почему же во дворце царствовала такая мертвая тишина?

Неужели убежавшие рабы забыли свой страх перед гневом повелителя, способного раздавить их за непокорность?

Многочисленные придворные служители, привратники в расшитых золотом одеждах, глашатаи часов, его комнатные рабы, управляющие, врачи — где все эти презренные, до этой минуты разделявшие его блеск и величие?

А сигамбрские телохранители, которых он осыпал тысячами и которые клялись ему в верности богами своей родины? Подняв меч, он подошел к двери.

Длинная, пустынная анфилада комнат представилась его боязливо-пытливому взору.

— Кассий! — крикнул он.

«Кассий!» — насмешливо отозвалось эхо золотых стен.

Все пусто, как на кладбище. Он пошел вперед. Колени его подгибались. Справа и слева в зеркальных стенах он видел тысячу раз повторенное отражение своего бледного лица. Подойдя к ближайшей стене, он, как помешанный, уставился в свои глаза, казавшиеся ему такими большими, испуганными и бессмысленными. Охваченный внезапным ужасом, бросился он дальше. Отголосок его собственных шагов страшил его.

— Кассий! — снова позвал он и прислушался.

Все тихо.

Им овладело отчаяние, еще не изведенное никогда в жизни.

Снова увидав в зеркальной золотой панели свое искаженное лицо, он бросился на него с мечом и, как безумный, начал рубить блестящий металл, пока сломался клинок и рукоятка выпала из его обессилевших пальцев.

Но что это?

Он ясно услышал громкий возглас, отнявший у него последний луч надежды.

— Тащите его сюда! — раздавался голос.

— Тащите злодея в сенат! Или вы хотите дать ему время выпить яд?

Ледяная дрожь пробежала по телу Нерона. Он узнал голос Тигеллина. Одно мгновение императору

показалось, что голова его окутана черным флером. Он зашатался и со стоном опустился на ближайшую ложе.

Шаги приближались. Он поспешно вскочил. Трепещущие пальцы искали оружия. За поясом его туника был заткнут сирийский кинжал. С быстротой молнии он схватился за рукоятку — и в то же мгновение руки его бессильно опустились.

В занавешенном коврами входе стояла девушка очаровательная, как сновидение.

Клавдий Нерон упал на колени.

— Актэ! — воскликнул он, закрывая свое бескровное лицо. — Мертвые встают из гробов! Пришел конец всему и вместе с цезарем погибнет мир!

— Нерон, — отвечала девушка, — это я во плоти блаженно-несчастливая Актэ, некогда покоившаяся на твоей груди. Я была мертва для тебя. Но в никому неведомом уединении я следила за твоей жизнью и проливала за тебя слезы...

Нерон медленно поднялся. Робким взглядом смотрел он на чудное лицо, на котором долгие годы одиночества, самоотречения и печали об ужасном падении кумира не оставили никакого следа. Она только была бледнее и ее нежные, темно-голубые глаза казались больше. Да, она плакала и молилась, как мать молит о потерянном ребенке. Каждая весть о преступлении цезаря разрывала ее сердце, и она чувствовала, что должна бы возненавидеть того, кто мог пасть в такую пучину разврата. Но несмотря ни на что, она сидела полным очарованием юности. Она была прежняя обаятельная, белокурая Актэ, при первой встрече юношей влившая свет и счастье в его непорочную душу.

— Актэ! — воскликнул Клавдий Нерон, с ужасом отвращаясь от живого воспоминания своего блаженного юношеского сна. — Зачем ты пришла? Увы, ты опоздала! Или я брежу? Итак, море не поглотило тебя? Все это была выдумка, отвратительная ложь? И ты могла целые годы прожить в одиночестве и предостеречь меня моему отчаянию?

— Я должна была поступить так. Такова заповедь Господня. А после, Нерон, я ужасалась, когда слышала твое имя!

— Ты хочешь порицать меня? Теперь, в эту страшную минуту? О, если бы ты явилась вовремя, Актэ, истинно, все сложилось бы иначе! Я сделался преступником, врагом человечества потому, что в груди моей

зияла пропасть, которую не могло пополнить ничто, ничто на этой земле!

— Вера в Бога могла бы пополнить ее. Не смотри на меня с таким отчаянием! Я пришла спасти тебя.

— Ты? Святая, божественная? Ты хочешь спасти тирана, поправшего все, высосавшего все силы страны, кроважного пса, обремененного общим проклятием?

— Да! — отвечала она, беря его за руку. — Когда ты еще был счастлив, ты называл меня твоим все; теперь, когда весь мир отвернулся от тебя, я хочу оправдать это название. Нет, нет, не говори больше! Я не спрашиваю о твоих деяниях и о том, может ли Господь, в Своем бесконечном милосердии, простить тебя! Я знаю лишь одно: что я люблю тебя!

— Воистину, душа твоя закалена божественной силой! — вскричал потрясенный цезарь. — Актэ, Актэ, мое вечно оплакиваемое счастье!

— Идем! — рыдая, сказала она. — Под кожаной пелулой простого рабочего ты будешь неузнаваем. Меня же Рим позабыл уже давно. Иди согнувшись и опирайся на палку! Положи твою руку на мою! Так! Я выбрала благоприятную минуту. Где Фаон? Или он также изменнически покинул тебя?

— Я здесь! — остолбенев от изумления, отозвался только что вбежавший Фаон. — Что ты придумала? Говори, Актэ! Я буду слепо повиноваться тебе!

— Слышишь шум в вестибулуме? — возразила девушка. — Остатки страха перед неприкосновенностью дворца уже исчезли. Народ стремится сюда из Кипрской улицы. Но с той стороны, где миртовая роща примыкает к пруду, все безлюдно. Двое из моих друзей, назаряне — слышишь, цезарь? — ждут там с необходимым платьем и веревочной лестницей. Мы перелезем через стену. Мои товарищи сильны. Если бы случай привел туда кого-нибудь, они зададут ему работу, а мы пока успеем скрыться. Ты, Фаон, спеши вперед. Я полагаю, нашим первым убежищем послужит твоя вилла. Когда Рим успокоится, не трудно будет добраться до моря, где корабль отвезет нас в Испанию, а оттуда на отдаленные германские берега.

Говоря это, она быстро проходила по комнатам, сопровождаемая цезарем и Фаоном.

— А потом? — спросил Нерон.

— Потом я помогу тебе молиться, чтобы Господь простил тебе также, как Он некогда простил мне!

ГЛАВА XVI

Сверкающая лунная ночь окутывает римскую равнину своей серебристо-матовой дымкой. Сабинские горы темно-синей громадой выделяются на горизонте. Наверху длинной, прозрачной линией желтеют гигантские водопроводы.

Дорога пустынна.

Все живущее и движущееся устремилось в Рим, где на завтрашнее утро назначен въезд Гальбы. Только две фигуры, крепко прижавшись друг к другу, спешат по плитам большой дороги: это Нерон и его трепещущая спасительница. Фаон с императорским секретарем Эпафродитом, единственным из многочисленных придворных, подумавшем о спасении цезаря, умчались на конях делать нужные приготовления. Для Нерона же Актэ сочла безопаснейшим идти пешком под видом странствующего ремесленника. Если бы кто и встретил его, то не поверил бы, что это император, спасающийся от ярости ищущего его народа. Так он не мог возбудить ничьего подозрения.

Что происходило в душе беглого цезаря?

В левой руке у него платок, которым он закрывал себе лицо, проходя город; правой он судорожно сжимает тонкие пальцы своей спутницы.

На повороте, когда луна ярко осветила лицо молодой девушки, Нерон в первый раз смотрит ей прямо в глаза. Это все те же искренние, любящие взгляды озарившие его в палатке египтянина таким нежным, очаровательным взглядом.

Какая зияющая пропасть между тем днем и настоящим! В этой пропасти журчит кровавая река, над дымящейся стремнины ее звучит насмешливый хохот, тысячекратного эхо.

И все-таки глаза эти улыбаются также, как в былые времена, еще кротче и божественнее, ибо это улыбка сквозь слезы.

Или еще есть утешение для безутешного, милосердие для не знавшего милосердия ни к себе, ни к людям? Измученный волнениями дня, полный ненависти, гнева, раскаяния, отчаяния, он останавливается, опирается на руку возлюбленной — бывший Эпафродит на руку бывшей рабыни, и потом опускается на развалины позабытого надгробного памятника.

— «Привет тебе, чистая душа!» — читает он на темном обломке базальтовой ограды.

Он вскакивает. Здесь он не дерзает отдыхать! Это место священо, а он — стоящий вне закона, злодей, от которого отворачиваются величайшие преступники Оркуса для того, чтобы не окаменеть при виде его, окруженной змеями медузой головы.

Актэ нежно усаживает его.

— Отдохни! — шепчет она и успокоительно прикладывает к его лбу ласковую руку. — Сердце говорит мне, что нам не грозит никакая опасность. Склони твою голову ко мне на колени! Засни! Я бодрствую за тебя!

Звук этого голоса пробуждает в несчастном невыразимую горечь. Спрятав лицо на ее груди, он обнимает ее обеими руками и заливаается потоком горячих слез.

— Актэ, Актэ! — восклицает он голосом, разрывающим ей сердце. Он продолжает рыдать, и голова его склоняется к ней на колени. Она ласково гладит его волнистые волосы. Он засыпает, — засыпает во время бегства перед новым пробуждением, сулящим ему гибель и смерть. Она смотрит на его, освещенное луной, бледное, призрачное, мертвое лицо. На ресницах еще блестит последняя слеза. Его прекрасный, некогда столь сладкоречивый, дышавший любовью рот, слегка открыт. На нем мелькает едва заметная, но очаровательная улыбка.

— Я знаю лишь одно: что я люблю тебя! — шепчет она, повторяя сказанное ею в Золотом доме. — Теперь, когда ты несчастен и одинок, я смею тебя любить! Никто, даже Сам Всемогущий Бог не может осудить меня за это. Да, я люблю тебя несмотря на все твои преступные деяния. «Любовь сильнее смерти!» — говорит апостол. Но еще больше: она сильнее позора и преступления!

Склонившись, она слегка целует его в лоб. И снова на его устах мелькает улыбка, кроткая и мирная, словно все кровавое прошлое его разом стерто и в нем осталось одно лишь жаждущее любви юношеское сердце, с его былыми мечтами.

Объятая странным чувством, она подпирает голову рукой.

Внезапно ей вспоминаются слова, сказанные ею гневному Палласу в ужасную ночь ее похищения поверенным Агриппины. «Кара Всемогущего Бога очистит меня, — сказала она ему и прибавила: — Мои губы снова нежно коснутся его лба, когда бедной Октавии давно уже не будет на свете, также как Агриппины и

тебя, ее низкого, жалкого орудия! Так говорит мне предчувствие!» Не исполнилось ли теперь это предчувствие? Не исполнилось ли оно вполне и совершенно, и теперь всему конец? Или еще есть будущее?

— Иисус, Спаситель мира! — шептала она, подняв глаза к небу. — Дай ему святую силу раскаяния! Он не был дурной сначала; и судьба также испортила его; и Твоя любовь ведь неисчерпаема! Помоги мне спасти его! И он уверует, что Ты умер на кресте и ради его искупления!

Со стороны Албанских гор раздались шаги.

Нерон проснулся.

— Не двигайся, возлюбленный! — шепнула она. Но он уже вскочил и под плащом схватился за кинжал.

— Нет, — произнес он, — пойдем навстречу этим людям!

То были два поселянина, спешившие в столицу.

— Вы из Рима? — спросил один из них. — Что там делается? Схватили ли уже императора?

— Так говорят, — отвечала Актэ, — но мы не знаем ничего на верное.

Сердце ее неистово билось. Поселяне прошли.

— Да здравствует Гальба! — воскликнул спрашивавший. — На крест злодея Нерона! Я подарю тебе две меры лучшего кипрского, если увижу, как негодяи тащат к геонским ступеням!

— Его засекут до смерти! — сказал другой. — Таково обычное наказание за государственную измену.

Нерон вздрогнул и, крепче стиснув рукоять кинжала, поспешил вперед.

Актэ молча следовала за ним. Душа ее была полна сомнений. Ей хотелось расспросить его, допытаться. Она едва могла сдерживать себя. Потом ею вдруг овладело горячее желание растолковать ему то или другое, словом, разъяснить многое ему и себе. Но и этого она не позволила себе. Все это было пока невозможно. Ей следовало щадить и утешать.

Снова слышались шаги. Шел солдат, вероятно, возвращавшийся из отпуска.

Нерон смело взглянул ему в лицо. Солдат узнал его.

— Ave Caesar! — воскликнул он.

— Благодарю тебя! — отвечал император. Горькое презрение сверкнуло в его глазах. Но он почувствовал нежное прикосновение руки Актэ и ожесточение его исчезло.

Через час беглецы благополучно достигли места, где приходилось свернуть влево от большой дороги и пробираться сквозь кустарники и терния для того, чтобы попасть в виллу Фаона не с главного подъезда, а с бокового входа. С величайшим трудом прокладывали они себе путь среди густых зарослей. Наконец достигли цели. Фаон и секретарь Эпафродит ожидали их. Они с большим усилием проломили в стене отверстие, сквозь которое цезарь мог проникнуть в дом, незамеченный рабами.

У подножия высокой пинии, при свете луны, блеснула лужа, так как незадолго до этого шел дождь.

Нерон, весь исцарапанный колючками, усталый и изнемогавший от жажды, наклонился, зачерпнул полную пригоршню воды и жадно напился.

— Вот теперь мое прохладительное питье! — грустно вздохнул он. Потом он вдруг обернулся к Фаону:

— Слышишь? Что это? Конский топот!

Эпафродит поспешил в вестибулум и тотчас же вернулся.

— Повелитель! — задыхаясь, произнес он. — Ты предан. Это всадники Тигеллина, которые должны схватить тебя. Сенат, по доносу отпущенника Ицелия, объявил тебя врагом отечества и осудил на обычное в этом случае наказание.

— Что значит: обычное наказание?

— Оно ужасно, — отвечал Эпафродит. — Осужденного раздевают, ставят к позорному столбу и бичуют до смерти.

— Так передай Ицелию, которого я не знаю, что я прощаю ему его злобу. Отпущенник этот в тысячу крат отмстил за всех, оскорбленных мной. Но сенату скажи, что я презираю его. Негодяев, раболепно лизавших мои сандалии, когда я был цезарем, я не считаю достойными моего гнева в последние минуты моей жизни. Фаон, благодарю тебя! И тебя также, Эпафродит! Охраняйте мой труп! Попросите нового цезаря, чтобы он не забывал о превратности земных вещей, и о том, что властителю Рима не прилично поругание над побежденным мертвым врагом!

Он занес над собой кинжал.

— Актэ, мое первое и последнее счастье, мое все, прости!

С отчаянным воплем любви, страсти и смертельно-го ужаса она кинулась к нему, чтобы помешать удару, и с легким стоном склонилась к ногам возлюбленного. Острый клинок глубоко вонзился в ее сердце,

С невыразимой мукой взглянул на нее Нерон.

— Актэ! Актэ! Что я сделал! — прошептал он, опускаясь на колени возле умирающей. — Неужели Рок осудил меня до последнего издыхания сеять несчастье и смерть?

— Мне не больно, — с блаженной улыбкой сказала она. — Что значил бы мир без тебя? Слишком долго уже... я жила в одиночестве... в безутешном одиночестве. Теперь же я буду с тобой... вечно.

Он еще раз притник к дорогим устам

Левой рукой взял он ее дрожавшую руку, а правой незаметно вонзил себе кинжал в сердце.

За пиниевой изгородью уже бряцали мечи преторианцев. Наклонившийся над цезарем и тронувший его за плечо центурион увидел, что он еще дышит.

— Скорее перевязку сюда! — крикнул он солдатам.

Умирающий император приподнял голову.

— Поздно! — произнес он и упал на преданное ему существо, до последней минуты оставшееся с ним. Он ощутил последнее пожатие нежной руки. Еще раз прозвучали в его ушах давно знакомые, полные бесконечной любви, едва слышимые слова: «Да помилует нас Господь!»

И все было кончено.

Фаон взял свой плащ и благоговейно покрыл им умерших.

Печать Цезаря



Текст печатается по изданию:
А. Рамбо, «Печать Цезаря»
пер. с французского Л. Шелгуновой
Спб., 1897.

Новая редакция «Octo Print» 1993

Редактор *Смирнов С.А.*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Моим детям

Ослабленный старостью, покрытый шрамами, я удалился к себе, в деревню Альбу, на маленькой реке Касторе, неподалеку от города Лютеции*.

Воспоминания эти я желал бы написать для своих детей и внуков. Из них они увидят, что могут не краснеть за своего отца и предка, который не щадил себя в великой борьбе за свободу Галлии.

Я, может быть, стану писать очень подробно, потому что старики любят говорить о своей молодости, а воины любят распространяться о своих подвигах. Но эти подробности не будут лишними, ведь ни внуки, ни даже сыновья мои не могут себе представить, до какой степени изменился весь мир и даже наша маленькая страна с тех пор, как показались в первый раз золотые орлы римских легионов на берегах Сены. Когда я вспоминаю годы своего детства и переносюсь потом к людям и предметам, меня окружающим, то мне представляется, что я переселился в заморскую страну и что я пережил десять поколений.

А между тем, мне всего восемьдесят лет, и я здоров телом и душой. Если волосы мои и поседели, то они все-таки по-прежнему густы, а зубами я могу разгрызть орех. Когда я вспоминаю о прежних битвах, то чувствую, что меч мой трепещет у моего бедра, и мне кажется, что и теперь еще копье не было бы слишком тяжело для моей руки.

* Нынешний Париж.

I. Деревня Альба и река Кастор

Я помню себя маленьким мальчиком на высоком обрывистом берегу реки Кастора, на котором стояли дом и деревня отца.

Дом этот, впоследствии перестроенный моими сыновьями по римскому образцу, но с крутой крышей, походил прежде на большой сарай, покрытый соломой. Он состоял из обширной нижней комнаты и верха, что было большой редкостью в то время в наших местах.

Здание было выстроено из толстых бревен, вкопанных в землю и соединенных балками крест накрест. Промежутки же между бревнами были забиты глиной, смешанной с рубленой соломой.

С одной стороны дом был выше, чем с другой. Вследствие этого громадная соломенная кровля имела весьма неровный скат. Издали дом наш с высокими шестью, торчавшими над крышей, походил на быка с поднятым загривком и с изогнутой спиной, по которой прогуливались три журавля.

Солома закрывала весь дом, как звериная шкура, и выступала над входной дверью, так что приходилось нагибаться, чтобы войти в дверь.

Отверстия в виде окон разной величины проделывались в различных местах беспорядочно, так как наши предки не имели никакого понятия о равномерности и правильности линий.

Дым от очага проходил в дыру на крыше, но прежде, чем выйти наружу, собирался и пошаливал в комнате, вызывая слезы в глазах слуг, работавших около очага.

Пол большой комнаты покрывался вязанками соломы. Днем они служили сиденьем во время разговоров, а ночью из них устраивали постели.

Среди этой первобытной простоты блестели стальные и бронзовые мечи, копья, шлемы и щиты, развешанные по стенам. Кое-где между ними красовались золотые блюда и чаши из золота, янтаря и серебра, — все это была военная добыча отца и деда.

В большом дубовом сундуке, покрытом щетинистой шкурой кабана, хранились другие сокровища: кувшины и кубки, украшенные драгоценными камнями, раскрашенные глиняные вазы, наполненные золотыми, серебряными и бронзовыми монетами.

Верх предназначался для моей матери. Там было заметно больше роскоши и порядка, чем в остальном доме. Там стояла большая дубовая резная кровать и

деревянные, очень изящной формы стулья, на полу лежали разноцветные шерстяные ковры, а стены были обиты клетчатой и вышитой тканью.

Все, что отец мой мог приобретать из редких и драгоценных предметов во время походов и торговых сношений с паризами Лютении, все это он приобретал для помещения моей матери: драгоценные ожерелья, браслеты, тончайшие полотняные и шерстяные ткани и прочее.

Однажды в стычке с германцами он увидел в толпе начальника в золотом ожерелье с янтарем, окруженным маленькими, сверкавшими, как солнце камешками.

«Вот пойдет-то Эпониме!» — подумал он.

С этою мыслью он бросился на германца и через несколько минут вернулся с ожерельем, с головой воина и с огромным рубцом поперек лица. Ожерелье досталось на долю моей матери, а рана и голова на его долю.

Вы спросите, зачем ему нужна была голова?

Дверь нашего дома была украшена черепами и скелетами медведей, волков, зубров и оленей, убитых на охоте, и черепами воинов, убитых на войне... Чем более было черепов на воткнутых палках, тем большим уважением проникался гость, входя в дом: он понимал, что входит в дом великого воина, славного своими подвигами. Хроника наших побед изображалась таким образом на фасаде нашего дома, оберегаемого богами. Римляне высекали на мраморе и на бронзе надписи для потомства, а надписями галлов были эти черепа.

Под открытое небо выставлялись только головы простых воинов; головы же начальников пользовались большим почетом. Их вываривали, чтобы очистить от мяса и кожи, и череп тщательно отполировывался, натирался драгоценной мазью, завертывался в богатую материю и укладывался в сундук.

Такие черепа считались сокровищем. Их доставали только в торжественные дни и показывали знатным гостям, причем хозяин рассказывал обыкновенно, при каких обстоятельствах голова была снесена одним взмахом меча с могучих плеч.

Вокруг дома и сада, окруженного высокой изгородью из черного терновника и жимолости, стояли хижины; одни из них походили на наш дом, но только были поменьше, и предназначались для воинов, а другие, похуже — для свободных землепашцев или для

рабов. Среди них встречались просто сараи из неотсанных бревен и хижина, покрытые соломой, спускавшиеся до самой земли, и такие низенькие, что попасть в них можно было только на четвереньках; были жилища и из тростника, связанного наверху, сплошь покрытые соломой, круглые, как ульи; встречались и просто зеленые шалаши, навесы на четырех столбах. И каждую хижину с огородом окружала живая изгородь.

Такова была наша деревня Альба. Как она с тем пор изменилась!

Деревня была обнесена частоколом с воротами, запиравшимися деревянным засовом. Такого засова было достаточно, чтобы уберечься от дневного внезапного вторжения.

Ночью же деревню оберегали громадные собаки, такие злые и дикие, что сами мы с трудом отличали их от волков. Кроме того ее оберегали полудикие кабаны, которые ходили всю ночь и, хрюкая, рыли землю. Несчастного вора, которому бы удалось перелезть через частокол, собаки разорвали бы на части, а кабаны не оставили бы от него и следа.

Кругом нашей деревни стояли дремучие леса: вековые дубы, громаднейшие буки, березы с серебристой корой, сосны невероятной вышины. Деревья росли непроницаемой массой, сквозь которую с трудом пробивались солнечные лучи. Ветки плюща, толщиной с руку, плети жимолости, дикого винограда тянулись с одного дерева до другого. Белый и черный терновник, шиповник с колючками на стволах, остролист с цепкими листьями возвышались выше роста человеческого. Чтобы пробраться сквозь эту зеленую стену, сквозь это препятствие из игл и крючков, приходилось блин устали действовать топором.

Далее в лесу шли топкие болота и трясины, покрытые обманчивой зеленью; это были бездонные пропасти, из которых торчали иногда громадные рога оленей, увязших в них.

Очень немногие решались проникать в эту страшную чащу, и охотничьи собаки, пускавшиеся в этот лес, нередко возвращались, поджав от страха хвост, и с испуганным воем бросались к ногам хозяина.

Вокруг нашего холма и вдоль него почва была очищена, благодаря стараниям крестьян, обрабатывавших ее для посева пшеницы, ячменя, ржи, овса, чечевицы и проса.

У подножья холма пробегала река Кастор. Она брала свое начало очень далеко на юго-западных горах

и несла свои мутные воды к Лютеции. По глинистому ложу она протекала то тихо, плодотворно орошая наши луга, то вдруг надувалась, выходила из себя и сердито билась о тот и другой берег, унося с собой посевы, скот, пастухов и землепашцев. Иногда она вдруг изменяла свое направление и в глинистой почве вырывала новое ложе, оставляя старое, очень скоро покрывавшееся травой и кустарниками.

Наши крестьяне приписывали ей страсти и капризы живого существа. Они принимали ее за богиню, и иногда ночью, при свете луны, сыпали в нее немного пшеничной муки.

Даже мой отец частью разделял их взгляды. После страшного наводнения, которое унесло значительную часть нашего берега, он уехал куда-то на три дня, по направлению к юго-западу, и взял с собой трех верных всадников. Потом мы узнали, что он ездил к истокам реки. Там он читал молитвы, делал возлияние молоком и вином, окрасил воду кровью убитой лошади и бросил в реку три золотых монеты, три серебряных и три бронзовых.

Река называлась Кастором* вследствие множества бобров, посещавших ее. Мили за две повыше Альбы на реке жило штук пятьсот-шестьсот бобров. Они поселились в таком месте, где река расширялась и образовывала острова, рукава и болота.

Когда я вырос, я не раз ходил навещать их. Интересно было любоваться на этих животных, величиною с восьмимесячного ребенка, с короткой и густой шерстью, с курносой мордочкой, с губами, обросшими торчавшей щетиной, с когтями на передних лапах, и с перепонками, как у уток, на задних, с толстым и плоским хвостом, почти круглым и покрытым чешуей. Эти животные постоянно копошились в тине и по берегам. Острыми своими когтями они рыли в берегах норы или же, при высокой воде, строили наверху жилища из веток, вроде наших крестьянских хижин.

Но удивительнее всего были устраиваемые ими поперек реки плотины. Они перегрызали деревья, разрезали их и заостряли, как колья; другие же бобры, сидя под водой, вырывали там ямы, и затем, присев на задние лапы и держа колья передними лапами, ставили их в ямы. Они устанавливали колья в два ряда такими правильными рядами, что искусст-

* Castor — бобер.

ву их могли бы позавидовать люди. Затем просветы между кольями они заплетали ивовыми прутьями и ловкостью хорошего корзинщика и в промежуток между сплетенными вместе рядами опускали камни и всякий мусор. И вот на этот-то мусор они приносили мягкую глину, и своими толстыми хвостами били ее, как прачки бьют вальками белье, или крестьяне деревянными колотушками уколачивают пол на гумне. От такой битья глина делалась твердой, как камень и блестящей как серебро. После этого бобры, довольные окончанием своей плотины, вприпрыжку перебежали с одного берега на другой, любуясь на свое произведение и посвистывая от удовольствия.

Я же, непрощенный гость, спокойно сидел на почтительном расстоянии, на берегу, и, положив подле себя лук и копье, неустанно смотрел на них. Сначала они точно боялись моих посещений: уходили в норы, ныряли в воду и прятались в хижинки. Тревожное пошвыстывание их пугало весь народец, и рабочие прятались в воду. Вскоре над водой появлялись круглые и усатые головки, черные тревожные глазки; затем снова скрывались, а через несколько минут опять появлялись. Потом эти почти человеческие головы высывались в большем количестве и несколько дольше смотрели на меня. Понимая, что ни лук, ни копье мое не предназначались для них, они начинали ходить взад и вперед, прыгали и точно не замечали моего присутствия; смельчаки, в пылу деятельности, перескакивали даже через мои протянутые ноги. Они снова начинали резать деревья острыми зубами, рыть землю острыми когтями, плавать, загребая утиными лапами, и бить глину тяжелыми хвостами. Снова перед моими глазами работали целые артели дровосеков, плотников, корзинщиков, штукатуров и каменщиков. При существовании постороннего зрителя точно подстрекало их действовать. Наконец из нор выходили даже самки со своими маленькими и располагались на берегу. Спокойно кормя своих детей, они с удовольствием смотрели на работу мужей.

Ничто не могло поколебать настойчивость этих трудяг. Река бушевала, надувалась, выступала из берегов, уносила запруды. Но проносилась непогода, и четвероногие строители снова принимались за работу, и за тысячу шагов слышались их удары по глине; а рабочие присвистывали, как бы ободряя друг друга.

Это поселение бобров уважалось нашим племенем. Отец мой говорил, что эти животные оказывали боль-

шие услуги: они уравнивали течение, замедляли прибыль воды и не допускали сильных наводнений. Никто из наших не решился бы пустить стрелу в это трудолюбивое животное. Крестьяне говорили о них между собою со страхом и почтением.

«Может ли быть,— рассуждали они,— чтобы животные, такие ловкие и умные, были простыми зверями? В них проявлялось скорее что-то божественное, так как они предчувствовали непогоду и наводнения».

Кое-кто из наших землепашцев уверял, что предки их поселились в этих местах гораздо раньше всех других обитателей, и рассказывали, что прежде люди и бобры жили вместе и говорили на одном и том же языке. Они смотрели на этих грызунов как на дальних родственников или же как на души своих предков, принявших другой образ. Давно уже соседи из Лютеции дали прозвище «касторов» жителям Альбы и последние не только не обижались, но, напротив, гордились этим.

Дед мой и прадед изображали на своих шлемах бобра, сидящего на задних лапах и держащего передними лапами дубину, как копьё.

Имя, данное дедом отцу, тоже замечательно, так как *Беборикс* на древнем местном языке означало что-то вроде царя бобров.

Одним словом, нас, паризов из Альбы, звали *касторами* и *касторами* мы и останемся, если дети мои и внуки не будут стыдиться своего происхождения и не возьмут себе, по примеру других, римских фамилий.

II. Обитатели Альбы

Жители Альбы всегда составляли часть паризов с большой их деревней Лютецией, находившейся на одном из островов Сены.

Паризы живут по берегам Сены и кроме того на реках Марне, Уазе, Касторе и других. Они населяют самую маленькую часть Галлии, пространством не более десяти или двенадцати миль, но зато их можно считать самыми знаменитыми из всех галльских племен.

О своих далеких предках паризы рассказывают самые невероятные вещи. Говорят, будто они плавали по долинам нашей страны, которая была в то время обширным и глубоким морем, и некоторые указывают даже на отверстия в скалах, куда предки привязывали

свои лодки. Древние воины, по их рассказам, нападали на морских чудовищ с лебединой шеей и с рыбьей чешуей, на ящериц в сто локтей длины, как муж проглатывавших буйвола, на лягушек величиной быков и мычавших, как быки, дрались с крылатыми драконами, со слонами, покрытыми шерстью, с громаднейшими зверями вроде носорогов, со львами и тиграми, вчетверо более крупными, чем африканские львы, с медведями, которые, встав на задние лапы, достигали вершины дубов.

Они приручали оленей с длинными и широкими рогами, на которых ездили верхом, и самок, которых они доили, как мы нынче доим коров. Собак у них не было; но для охоты они обучали волков, рысей, лисиц и диких кошек. Говорят, что они не знали ни железа, ни бронзы, но решались нападать на самых хищных зверей с каменными секирами, и в настоящее время, разрывая поля, находят острые камни, служившие наконечниками их стрел.

Эти дикие люди были изгнаны и взяты в рабство сначала кельтами, а потом белгами. Потомки их забыли свой язык и говорят на нашем. Из своего прошлого они не помнят ничего и, как вы видите сами, о своих предках рассказывают такие вещи, которым поверить трудно.

Многие из наших рабов происходят от этого первобытного племени. Говорят, будто в непроходимых лесах, которые тянутся далеко на запад от Лютеции, можно еще встретить людей из этого племени, живущих среди хищных животных. Надо вам рассказать об одном случае, свидетелем которого я был сам.

Воин моего отца, некто Думнак, один из тех храбрецов, которые не боятся ни людей, ни богов, ни зверей, решил исследовать дикий лес с западной стороны. Он отправился с одним таким же смелым, как он, товарищем, по имени Арвирах, и в продолжение целой недели о них не было ни слуху, ни духу.

Только на восьмой день они появились и привезли какой-то странный тюк, который Думнак свалил у дверей дома моего отца. Тюк начал шевелиться, и из него послышались какие-то дикие звуки, вроде человеческого голоса. Мы увидели, что существо это тщательно связано.

Думнак достал нож и перерезал веревки.

— Теперь, — сказал он, — его можно развязать: так как он уже три дня ничего не ел, то, пожалуй, буд-

подобнее. Вот спросите-ка у Арвираха, чего нам стоило взять его!

Сбросив с себя пеструю безрукавку, Думнак показывал на плече рану, не столь глубокую, сколь широкую. Трудно было сказать, каким орудием была нанесена эта рана. Думнак, выгатавив из-за пояса какой-то странный предмет, сказал нам:

— Ну вот, смотрите, какое оружие у этого парня!.. Когда мои кости столкнулись с этой штукой, я поблагодарил свою мать за то, что она родила меня с такими крепкими костями... Иначе пришел бы им конец... Голова моя тоже не осталась бы цела, если бы я не отскочил в сторону!..

Он подал оружие моему отцу.

Представьте себе речной продолговатый камень в форме топора, с одной стороны заостренного как гвоздь, а с другой с заостренным лезвием. Острым концом это странное оружие было воткнуто в дыру, проделанную в длинном оленьем роге, и прикреплено веревкой, сплетенной из древесной коры.

Существо, которое до сих пор только рычало и показывало нам когти, вдруг вскочило на ноги и испустило крик, какого нам не приводилось до сих пор слышать. Думнак бросился на своего пленника сзади и схватил его в охапку. Только с помощью нескольких воинов и после самой ожесточенной борьбы удалось наконец овладеть этим рычащим, извивавшимся и старавшимся укусить чудовищем.

Опомнившись от волнения, я подошел и увидел, что это был человек.

Ростом он был не выше мальчика тринадцати лет, но в плечах шире любого воина и с замечательными мускулами на руках и на ногах. Из-под целого леса черных волос, ниспадавших до самого пояса, сверкали маленькие черные глазки, с испуганным и свирепым выражением. Лоб у него был низкий, узкий и покатый, сморщенный, как старое сухое яблоко; нос широкий, губы толстые и покрытые волосами; выдающиеся вперед большие челюсти напоминали хищного зверя. Борода у него была редкая, но все тело покрыто волосами. Руки у него были до такой степени длинные, что пальцы касались колен, и на них, точно так же, как и на ногах, были черные когти. Вместо всякой одежды на нем была рубашка из крысыных шкурок, и шею украшало ожерелье из раковин. Когда к нему подходили, он начинал биться и скалил белые, острые, как у волка, зубы; верхние два зуба были значительно раздвинуты.

— За три дня пути отсюда,— рассказывал Думнак,— в страшной чаще мы нашли пещеру. Из нее доносился ужасно тяжелый запах, и кругом лежали наполовину съеденные и наполовину разлагавшиеся животные. Несмотря на проливной дождь мы не решились войти в пещеру, а встали под выступ скалы. Вдруг из черного отверстия бросился какой-то мохнатый клубок... Я кинулся в сторону, и только этим спас себе жизнь, так как эта каменная секира задела меня за ухо и ушибла плечо. К счастью, разбойник споткнулся о корни и растянулся во весь рост. Мы бросились на него и связали его веревками. Сами понимаете, легко ли нам было! Вдруг мимо нас с отчаянным криком пронеслась мохнатая фигура. Мы с трудом успели рассмотреть, что это женщина,— вероятно, жена нашего пленника. Она убежала с двумя детьми. Тут мы вошли в пещеру, но тотчас же вышли: там было не пройти. При свете факела мы разглядели пещеру. Не стану речаться, чтобы среди скелетов кабанов и ланей там не было и человеческих костей и черепов... Теперь, я думаю, ему надо дать что-нибудь поесть... После трех дней поста он почувствует ко мне благодарность...

Со всевозможными предосторожностями Думнак развязал одну руку пленника.

— Хочешь,— сказать я Думнаку,— я прикажу изжарить ему кусок мяса?

— Изжарить? Ему-то!..— захохотав, вскричал Думнак.— Ну, этот господин вовсе не такой изнеженный... Вот увидишь!

Рукояткой своего копья Думнак убил петуха, бродившего поблизости и только собиравшегося прокричать свое победоносное «кукареку». Он поднял еще трепетавшую птицу и подал ее дикарю. Тот с быстротой молнии схватил ее, немного оцарапав руку Думнака. Острые зубы его вцепились в петуха, так что от того только кости затрещали и посыпались перья. Дикарь кряхтел и пыхтел, как дикая кошка, готовый укунить руку, которая осмелилась бы протянуться, чтобы отнять у него добычу. От петуха остались только перья, разлетевшиеся по двору. Из кастрюльки с длинной ручкой ему дали выпить *сикеры**. После этого он заворчал, захрюкал и, пробормотав что-то на непонятном языке, точно заснул.

* Род пива у древних галлов.

Несмотря на все усилия Думнака приручить своего пленника, он ничего не мог с ним сделать. Он только меньше кусался и царапался, но не спускал глаз с леса.

Однажды Думнак дал ему сикеры немного более обыкновенного; дикарь пришел в бешенство, стал рваться и кончил тем, что убился об угол дома.

Никто его не пожалел. Отец мой, боясь за меня, уже много раз просил Думнака избавить деревню от этого «отвратительного животного».

Точно ли это был первобытный человек? Родился ли он диким человеком, или одичал потом? Этого сказать я не могу. Возвращаюсь к обитателям нашей деревни.

Отцу моему принадлежали все земли в долине Кастора. Один из моих предков завоевал их, когда пришел с небольшим отрядом белгов и выгнал кельтов.

Все предводители, — их было пятнадцать человек, — настроившие деревни и укрепленные дома на реке, говорили, что все это они получили от моего деда. Они считали себя обязанными являться к отцу на помощь в случае нужды со всеми своими воинами, брать его в посредники во всех своих распрях и воевать с врагами под его знаменами. Они говорили, что они его младшие братья, и называли его старшим братом.

В сущности, у нас ничего не было, кроме Альбы, но владение это было очень велико. Оно тянулось вдоль реки до бобровой плотины, а в ширину доходило до горы Люкотиц, возвышавшейся над островом Лютеция. Оно состояло не только из той деревни, в которой мы жили, но и из двух десятков других деревень, которые отец мой нередко объезжал.

Земля обрабатывалась свободными крестьянами. Отец мой давал им сохи, бороны, рабочих быков и в случае нужды доставлял даже семена. Он разделял с ними урожай и прирост скота. Наши крестьяне считали, что земля принадлежит им настолько же, насколько и нам. Они, следовательно, добровольно работали на общей земле, очень довольные, что могут помочь своему господину и доставить ему излишек. Они утверждали, что они из одной с ним семьи, одной крови, и называли его «отцом», а он называл их «детьми». Рубашки они носили из той же ткани, что и он, с такими же зелеными и красными полосами и клетками, на шапки они пришиливали так же, как и он,

перо цапли. Чужестранцу стоило только встретить кого-нибудь из них на дороге или на рынке, чтобы сказать:

— А! Этот человек из Альбы.

Или же:

— Это один из детей Беборикса: это кастор.

Во время войны он мог призвать их к оружию, и они тотчас же являлись, готовые умереть за него.

Мать мою они почитали как свою родную, и, когда я проходил мимо их хижин, они ласково следили за мной взглядом и, желая мне всего хорошего, говорили:

— Посмотри-ка, жена, каким красивым и крепким становится наш маленький Венестос. Он будет, как отец, грозен с врагами и добр к своим детям-крестьянам.

Рядом со свободными крестьянами у нас были и рабы. Они принадлежали нам, как сохи и скот. Одни были потомками кельтов, оставшихся на этих местах после бегства своих предводителей, а другие были взяты в плен в войнах против германцев или же даны купцами моему отцу и деду в обмен на мешки с рожью, на скот и на стада свиней. За хорошую боевую лошадь давали четырех рабов.

Они принадлежали моему отцу и, следовательно, обязаны были отдавать ему весь свой труд; но отец мой кормил их в голодное время и лечил во время болезни. С ними обращались так же хорошо, как и с другими, и они выказывали нам всем большую привязанность. Большая часть из них жила уже так давно на нашей земле, что не помнили своей родины и забыли свой родной язык. Тяжелые полевые работы притупляют умственные способности и делают людей забывчивыми, а это большое счастье для них!

Крестьяне и рабы были заняты земледелием, а когда надо было выступить в поход против неприятеля, отец мой призывал к оружию вовсе не их, а хорошо обученных для этой цели воинов — всадников и конюхов.

Всадники носили дорогое оружие и золотые обмундирование у шлемов; конюхи, по большей части поступавшие потом во всадники, носили такое же оружие.

Наши воины проводили большую часть времени, упражняясь с моим отцом. Они умели усмирять лошадей, владеть копьем и мечом, пускать дротик, рубить секирой и петь военные песни.

В нашей деревне у каждого из них был свой домик, и у многих были жены и дети. Но ежедневно им

ужином они занимали место за столом своего предводителя: отец сидел на почетном месте, потом садились всадники и затем конюхи.

Сидя на связках соломы, они угощались мясом оленей, быков, баранов и кабанов, и наиболее храбрые получали наилучшие куски; пили они сикеру, мед и италянские вина и пировали до глубокой ночи.

Отец особенно гордился тем, что мог досыта их накормить и напоить. Он говорил, что хорошее мясо и доброе вино развивают храбрость. Он знал, что эти люди последуют за ним в самую гущу битвы, что ни один из них не отступит и в случае его гибели не останется в живых. Они были его товарищами по играм, на охоте и на войне; они принадлежали друг другу на жизнь и на смерть. Как-то один из них шутя заметил, что отец кормит их деревянными ложками, и он тотчас же послал в Лютецию к мастеру купить для всадников золотые ложки, а для конюхов серебряные, и точно так же шутя сказал им:

— Ни на золото, ни на серебро мне не купить таких воинов, как вы, а с такими воинами, как вы, я добуду золота и серебра.

Таким образом он содержал десять всадников и двадцать конюхов. Если случалось, что какое-нибудь подвластное отцу владение оставалось без хозяина, умершего и не оставившего детей, то отец дарил его наиболее достойному из воинов, что сильно поддерживало их верность.

Каждый вечер у нас накрывался длинный стол, срубленный из неотесанных досок, положенных на козлы, и вокруг него усаживались пирующие. Комната освещалась факелами, и пирующих увеселял бард, слепой старик Вандило, подыгрывавший себе на маленькой арфе и знавший все предания Галлии и Британских островов, а также все подвиги моих предков. Чудодейственным словом своим он умел прекратить споры, успокоить ссоры, иногда вспыхивавшие во время пиршеств. Стол увеличивался, когда кто-нибудь из наших соседей, какой-нибудь именитый житель Лютеции, или путешественник, или проезжий купец пролил приюта и гостеприимства. Дорогие напитки лились обильнее, а арфа Вандило звучала громче. И все окрестные барды собирались, как мухи на мед.

Таким образом мой отец, жил как царь среди своих подвластных воинов, крестьян и рабов. Слава о его храбрости и гостеприимстве распространялась во всей Галлии. Барды пели о нем, что золото зарождалось

под копытами его лошади и водопадами лилось из рожна его; что дом его был волшебным домом, так как он расширялся по мере появления гостей. Они воспевали его щедрость и гостеприимство, пели о том, что погреба его всегда были полны винами и медом, а хлени такие, что стоило после пиршества бросить туда обглоданную кость свиньи, чтобы из нее рождалась новая свинья, подобно тому как в одном волшебном британском замке заколотые и съеденные быки постоянно оживали. Барды, разгоряченные вином, особенно старательно воспевали щедрость отца.

Надо простить бардам эти небольшие погрешности, ведь только благодаря им в памяти людей сохраняются воспоминания о славных подвигах героев...

III. Беборикс и Эповина

Когда я был маленьким, мне не позволяли присутствовать на этих пиршествах и я никогда не входил в ту комнату, где пировали. При народе, на маленькой площади перед нашим домом и на улицах деревни отец никогда не говорил со мной и не ласкал меня. Таков уж был обычай у галлов, и воин постыдился бы выказать любовь к своим детям. Я чувствовал, что в душе он меня любит, но его важный и строгий вид пугал меня.

Посмотрели бы вы на его свежее лицо, серые, как сталь, глаза, его длинные, как медь рыжие волосы и усы. Он надевал голубую шерстяную рубашку без рукавов, красные штаны, перевязанные на ногах золотым шнурком, и сверху накидывал большой зеленый с красным клетчатый плащ — широкий, удобный, так что его можно было сдернуть с одного плеча на другое, свернуть или в случае нужды положить на колени, сидя в седле. Его сапоги желтоватого цвета были украшены шпорами в виде звездочек. На голове его сиял бронзовый шлем, обложенный тонким листом золота и оканчивавшийся острым резным гребешком. На вершину шлема втыкались перья цапли, а с боков трепетали распущенные крылья орла. У отца не было таких лат, какие носят римляне, но по галльскому обычаю он носил широкий бронзовый, замечательной работы пояс, спереди у которого спускались бронзовые полосы, пришитые на ремешках и немного оберегающие живот от ударов. На левом бедре на бронзовой цепи висел коротенький меч из тонкой стали и

рукояткой из слоновой кости, вырезанной в виде львиной головы. В правой руке он держал копье с длинным наконечником, а на левом плече красовался овальный щит, плетенный из тростника, выкрашенный и вставленный в кованый бронзовый ободок, с бронзовой бляхой на таком же кресте. Золотая чешуя блестела на его шее, а на руках выше локтя и у кисти золотые браслеты.

Он был выше всех и казался мне богом войны, особенно когда он сидел верхом на своем ретивом коне, который гарцевал под ним, побрякивая своей золоченой сбруей.

Позади ехали десять его всадников с золотыми обвяслами на шлемах; знаменосец держал красное знамя с бронзовым бобром наверху, а за ним ехали конюхи с торчавшими как лес копьями, в шлемах, украшенных бычьими, бараньими и оленьими рогами, ластребиными крыльями, волчьими и кабаньими головами. Глядя на этих страшных воинов можно было подумать, что они отправляются на завоевание всего мира.

Мать моя стояла, облокотившись на край окна в своей комнате, и с восторгом любовалась ими, улыбалась сквозь слезы.

Отец оставался равнодушным; он точно священнодействовал на виду всей Галлии и всего мира. Когда маленький отряд собирался тронуться с места, взор отца опускался на меня, и он обращался ко мне, как к совершенно постороннему ребенку, но со скрытым оттенком нежности:

— Отойди, мальчик: твое место не тут, я могу тебя раздавить.

В объятиях матери я утешался, огорченный холодностью отца.

Она до безумия любила меня, потому что я был единственным сыном. Иногда она горячо обнимала меня и носила на руках, как будто я был еще совсем маленький ребенок; она осыпала меня поцелуями и обливала слезами.

Я проводил в ее комнате целые часы, следя глазами за малейшим ее движением, осыпал ее вопросами или вдруг бросался к ней на колени, затем вырывался из ее объятий и скатывался на пол. Зачастую, в спокойные минуты, я забавлялся, наряжая ее в ожерелья и браслеты, накидывая ей на голову покрывало и втыкая в волосы цветы. И затем я прыгал от радости, видя, как она хороша.

Мать моя была необыкновенно хороша собой: белокурые волосы ее падали до пят, у нее были очень большие и добрые голубые глаза, необыкновенно красивый цвет лица, и под ее прозрачной кожей было видно, как пробегает кровь.

Дочь и жена воина, она несколько не удивлялась, что отец мой так часто надолго оставлял ее дома и уезжал на войну или на охоту за лосями и за медведями или на бесконечные пиры к соседям-предводителям. Иногда она, по-видимому, грустила. В отсутствие отца она надевала темные платья без всяких украшений и посыпала свои волосы белой, хорошо просеянной золой.

Она знала все сказания о богах и богинях и любила рассказывать мне о Белене или Эоле, боге солнца, и сестре его Белизане, небесной деве, дающей нам лунный свет, посылающей на землю слезы росы и дарующей плодородие как животным, так и растениям. Эола была богиня, любящая людей, требующая от них только частых молитв и возлияний из молока.

Она понижала голос, упоминая о Тейтате, провожающем души усопших в ад, о Таранисе, сверкающем молнией и гремящем громом; об Езусе, хозяине и громоглухих дубовых лесов. Это были страшные боги, и умиловить их можно только возлияниями из человеческой крови. Она со вздохом говорила мне о Камуди, боге войны, который радуется ударам меча, кровавым стычкам, оставляющим после себя вдов и сирот. Она улыбкой называла мне русалок, живущих в реках и озерах, прячущихся за древесную кору, вследствие чего деревья стонут и истекают кровью, когда их рубят.

Она учила меня разным молитвам к разным богам, и я за ней повторял их, удивляясь, что они читаются на языке, едва для меня понятном. Особенно часто заставляла она меня молиться одной богине, молодой девушке с младенцем на руках.

— Видишь ли, — говорила она мне, — эта богиня будет особенно нам покровительствовать, потому что расположена к матерям и к умным детям.

Но иногда мне казалось, что она думает об этих богах не то, что говорит. Раз она, по-видимому, нечаянно, проговорила:

— Что же было до богов и что будет после них? А сами-то мы откуда и куда мы уйдем?.. Что это за небо и что это за ад, куда Тейтат поведет нас? Можно ли наверное знать, что в раю встретишь мужа и ребенка?

Однажды, в отсутствие отца, к нам приехал на муле очень дряхлый старик с густыми, рассыпавшимися по плечам волосами, одетый в длинную черную рясу, с голой шеей и руками. Голые ноги его были обуты в сандалии. На нем не было никаких украшений и оружия, но на его высоком челе, в строгих глазах под густыми бровями выразалось такое величие, что он казался мне превыше всех людей.

Крестьяне наши и рабы поспешно выходили из жилищ и падали перед ним ниц, стараясь поцеловать полу его одежды или дотронуться до шерсти его мула. Наши воины кланялись ему, пораженные почтением и даже страхом.

Мать моя вышла на порог нашего дома, и, лишь только завидела старца, тотчас же опустилась на колени, наклонив вперед голову и скрестив руки на груди.

Он подошел к ней, положил на нее обе руки и, подняв глаза к небу, произнес какие-то слова на непонятном мне языке. Потом он поднял ее, вошел в дом, сам сел на почетное место и, сделав всем знак удалиться, долго с ней беседовал. Когда он вышел, мать снова стала на колени, еще с большим смирением, чем прежде, но с выражением такого удовольствия, какого я никогда прежде не замечал в ней. Воинам она приказала проводить старца, а крестьянам идти пешком и вести лошадей, на которых навьючили баранов и кур.

Старец этот приезжал не раз. Когда отец мой бывал дома, он оказывал ему такое же почтение, как и все другие в доме. В то время, как посетитель оставался с матерью, отец никогда не позволял себе входить в дом. Когда же таинственный старец готовился в путь, отец облачался в парадный военный мундир и ехал во главе конвоя. По его приказанию на лошадей нагружали еще более богатые подарки.

В таких случаях мать моя сажала меня к себе на колени и выказывала еще более нежности.

— Слушай, — говорила она, — и хорошенько запомни мои слова. Этот друид* подтвердил мне то, о чем я давно думала. Существует только один Бог, не созданный, но создавший все и не имеющий ни начала, ни конца. Чтобы напомнить нам о себе, он принимает только образы Белена и Белизаны, Тейтата и Тарани-

* Друид — жрец.

са, Езуса и Камула. Когда ты будешь молиться кому-нибудь из них, молись так, чтобы молитва твоя доносилась до Того, Кто заключает в Себе их всех. Будь справедлив, будь храбр, так как мрачная пропасть ждет злых, а блаженство добрых. Наказание одних и вознаграждение других будет бесконечно. Люби мать свою так, как она тебя любит. У ног матери можно заслужить точно так же, как и в пылу кровавой битвы право войти в блаженную жизнь.

Тогда я плохо понимал эти слова; но они врезались мне в память и руководили мною в жизни. Я старался только вырваться из рук матери, слыша, как мальчишки кричали на улице. Со всех ног бежал я к ним, и мы все вместе, сыновья всадников, крестьян и рабов, играли в войну. Большая навозная куча изображала крепость, которую враги старались взять приступом, а защитники обсыпали их кочерыжками и камнями.

У многих из нас появлялись на лбах шишки, побитые глаза и разорванная одежда. Когда я возвращался домой, покрытый грязью, потом и даже кровью, но гордясь тем, что я победоносно отбил нападение на крепость, или же сам взял ее, мать моя начинала упрекать меня, но отец смотрел на меня с непривычной нежностью.

— Полно, не брани его. Я в его годы не мало пачкался и рвал рубашек и штанов. Он обещает стать хорошим воином, а это самое главное...

IV. Бард

Когда отец отправлялся на охоту, а мать предавалась размышлениям о богах и о будущей жизни, я обращался за развлечениями к старому барду Вандило. В дождливые дни я был уверен, что найду слепца в нижней комнате; а в ясные дни он, обыкновенно садился под большой дуб, шагов за сто от деревни. Сидя на камне с маленькой арфой на коленях, он тихо перебирал струны и вполголоса напевал старинные напевы. Он не видел меня, но слышал, что я подхожу. Он любил меня как родного и почитал как потомка царского рода.

— Ну что мне спеть тебе сегодня? — спрашивал он меня, чувствуя, что я внимательно слушаю, и положив локти на колени, придерживая руками подбородок и не спуская взора с его глаз, навеки закрытых.

— Что хочешь. Мне все равно.

Тут он начинал петь дрожащим от волнения голосом под звуки серебряных струн. Он пел, как Гу-Гадарн был сначала владельцем обширной области, где было светло, как днем, в продолжение шести месяцев и темно в продолжение других шести месяцев. Народ его был храбр и богат; но морские великаны объявили ему войну и наслали страшные волны на его государство. В продолжение трех лунных месяцев Гу-Гадарн воевал с мечом в руках против этих водяных гор. Там, где сверкал его меч, море в страхе отступало; кровь великанов и людей лилась потоками; океан подходил и удалялся; но победа не решалась ни на той, ни на другой стороне. Наконец морские боги, водяные дворцы которых пострадали от бурь, мешавших их нескончаемым пиршествам, и небесные боги, недовольные, что небо постоянно покрыто тучами, собрались на совет и решили вмешаться в эту войну. На небе вдруг зажглась семью яркими цветами дуга, и на ней появились все боги, покрытые золотым вооружением, и богини в покрывалах, усеянных звездами. Отец бессмертных протянул руку, и герои принуждены были прекратить борьбу. Отец вселенной присудил Гу венок победы, но велел ему идти на запад для дальнейших подвигов. Гу Сильный отправился тогда со всеми своими воинами, со всеми женщинами и со всем своим народом, со своими колесницами, вооруженными косами, своими метательными орудиями, которые могли убить сразу до сотни человек, с своими стадами рогатого скота на запад.

Целые месяцы шли они к западу и по дороге побеждали великанов, уничтожали драконов и покоряли дикие народы. Широкий Рейн с своими пенящимися волнами остановил их, но Гу, упершись на копье, одним прыжком перескочил через реку и в виде моста положил свой меч с одного берега на другой, и по этому мосту прошли его воины, проехали колесницы, орудия и стада. После этого поднялась цепь Вогезских гор; но Гу схватил в одну руку одну гору, в другую — другую и разделил их так, что образовался проход. От звука его медного рога падали чугунные ворота укрепленных городов, стены крепостей разрушались, и бесчисленные полчища рассыпались, как осенние листья от ветра. Шумное море вздумало было остановить победителя, но Гу ударил по нему мечом, и между волн образовалась дорога к острову Британия, и путники прошли между

двумя водными стенами в триста локтей вышиной, сквозь которые на них смотрели морские чудовища, с испугом расширив круглые глаза. Гу-Гадари послал свой народ частью в Галлии, частью на остров Британия, который звали тогда Медовым островом. Он дал острову мудрые законы и выучил работать плугом на колесах и бороной. Оставив там своих сыновей, он ушел один, опять-таки направляясь на западу, идя по волнам океана, как по сжатому полю. Дойдя до края небосклона, он начал спускаться по другую сторону и скрылся в неведомую область, от куда не возвращался ни единый смертный.

Вандило перестал петь, но звуки арфы еще трепетали и мало-помалу замирали, как удалявшийся голос.

— Как это хорошо, — со слезами на глазах вскричал я. А в душе я думал, что никогда не сравнюсь и подвигами с Гу-Гадарном. Перескочить одним прыжком Рейн, когда я не могу перескочить даже реку Кастор, опираясь на палку! Остановить мечом океан, разорвать горы, звуком рога разрушить городские стены, идти по волнам!.. Все это представлялось мне недостижимым... А впрочем, когда вырасту, то и я покажу себя!

— А о Бренне в Риме и в Греции? Что же ты не рассказываешь мне? — спросил я Вандило.

Только что успокоившаяся арфа снова начала звучать под пальцами слепца. Вандило воспевал галльские войска, подобно бурным потокам пробивавшиеся в ущельях Альп и Апеннин. Они проходят через Арно. Перед ними бегут священные стада; ласточки указывают им путь через долины, горные вершины и леса; лани указывают им броды. Леса перед ними редеют, а воды в озерах уходят к дальним берегам.

Галлы по наваленным трупам проходят долины латинов. Военный галльский крик, грубая военная песня, удары в щиты наполняют ужасом эти долины. Вот они дошли до Рима, где возвышается Капитолий с громадной статуей бога с высоким лбом: он сидит на золотом троне, в левой руке у него большой орел, а в правой блещут молнии. На стенах города сверкают пики, а за стенами раздаются крики отчаяния матерей, девушек и детей. Городские ворота открыты, над городом царит горе и безмолвие. Двери дворцов тоже открыты, как открыты двери во дворы с разноцветными полами, со статуями, похожими на людей и

людьми, похожими на статуи*. У них белые бороды, белые волосы и густые белые брови. Сидят они на белых мраморных креслах, а ноги в красных сандалиях покоятся на белых алебастровых скамейках; в правой руке они держат белый алебастровый венец. Цари ли это или боги, оскорбленные тем, что святилище их осквернено? Мраморные они или живые?

Арфа Вандило разражается серебристым смехом, когда смелая рука галльских воинов протягивается к длинным белым бородам. Она трепещет, рассказывая, как убивают этих богов-людей, как разрушаются дворцы и храмы, преданные пламени, как воздвигаются целые пирамиды из трупов убитых.

Струны снова звучат серебристым смехом, когда ночью раздается крик гусей, разбудивших римскую стражу и помешавших галлам пробраться ночью в город. Затем певец задыхается от восторга и гордости, когда перед воинами, с голыми руками и обнаженной грудью, с рыжими длинными косами, униженно преклоняются жрецы и сенаторы римские, предлагающие золото за свою жизнь, золото за спасение своего Капитолия, золото как выкуп за своих жен и весталок. Золото сыплется в чашку громадных весов. Золото, золото и золото! И слитками и монетой, и драгоценными сосудами! Еще и еще, потому что Бренн положил на другую чашку весов свой бронзовый меч, такой тяжелый, что шесть римлян не могут поднять его, а двенадцать не могут взмахнуть им. И на груди золота, которая поднимается все выше и выше, кладут браслеты, серьги, оплакиваемые женщинами, кольца и шпоры всадников. Статуи богов, оскверненные ударами секир, лишаются своих золотых украшений.

— Еще золота! — кричит Бренн.

И Рим должен признать себя несостоятельным перед оборванцами, пришедшими с Роны.

— Так как у вас нет больше золота, — кричит Бренн, — то вам незачем иметь железо, чтобы защищать его, и двери, чтобы хранить его.

И, ступив на сложенные в кучу знамена римлян, он приказывает им бросить свои мечи, пики, шлемы, латы. Целая гора железа возвышается рядом с горой золота. Никогда более римские ремесленники не будут ковать на наковальне мечей. Рим дал в этом

* Римские сенаторы, которых галлы приняли за статуи. Это было в 390 г. до Р. Х.

клятву. В стенах крепости Бренн обрывает бронзовые двери. Никогда более не будут они ходить на петлях и закрывать города. Рим дал в этом клятву. В священных стенах это отверстие на веки останется открытым. Рим дал в этом клятву. Галл будет иметь возможность входить, когда ему угодно, в город и в крепость; он, когда захочет, явится гордым победителем, осмотреть работу своих рабов и взять дань и детей волчицы*.

Галльская армия навьючила своей добычей мулов всей Италии. Она возвращается в свои долины, в свои глиняные дома и соломенные хижины, которые каждый последний солдат может убрать по-царски. Когда впоследствии римляне будут рассказывать, что галлы спасли Капитолий, что их великий Камилл вернул дань своего народа и отвоевал захваченные знамена, то из Галлии послышится хохот, который разнесется по По и по Сене и по ущельям Альп.

Вандило воспевал затем других галлов, другие Бреннов, которые проходили по Греции и Азии, разнося славу галлов до Кавказских гор и до ледников Индостанских вершин.

Я же, слушая эти песни, иногда задумывался, а большей частью приходил в страшное волнение и не мог устоять на месте. Глаза у меня сверкали, руки дрожали. Мне представлялось, что я принимал участие в этих схватках, что я разбивал римские и греческие шлемы, что римские сенаторы и цари Эллады с ужасом бежали от меня, что я приступом брал Капитолий, что я заставлял литься потоки крови и реки золота.

— Довольно! Довольно! Больше не надо! — кричал я иногда Вандило. — Дай срок, — я вырасту. Тогда ты увидишь, что мне отвесит какой-нибудь Камилл.

Я внезапно покидал Вандило и отправлялся к жителям отца, — с отцом я не осмелился бы говорить так, — и кричал им:

— Да ведь я уже больше не ребенок! Когда полетят журавли, мне минет десять лет. Научите меня бить щиту и бросать копье. Я ведь тоже хочу пойти в Рим сразиться с римлянами.

Самый младший из них, смеясь, отвечал:

— Незачем так далеко искать римлян.

* Т. е. римлян: основатели Рима, Ромул и Рем, по преданию, были вскормлены волчицей.

Такие слова огорчали стариков, только молча покачивавших седыми головами.

Многие из воинов моего отца любили меня. Прежде всего ко мне был привязан Думнак, искатель приключений, и Арвирах, нераздельный товарищ всех его походов.

Они-то и выучили меня сидеть на лошади, управлять ею пятками и голосом, не бояться, когда она прыгнет, становится на дыбы и брыкается.

Они кроме того выучили меня действовать мечом, копьем и даже стрелять из лука, и хотя лук не считался благородным оружием, годным для военных действий, но он нужен был для охоты.

Из всех воинов моего отца я всего более любил Придано.

Он был уже в годах, так как служил еще во времена моего деда. Храбростью он превосходил всех своих товарищей, и когда-то получил такой удар по лицу, что у него навеки закрылся левый глаз. Но он не хвастал, как многие из его товарищей, никогда не рассказывал о своих битвах, не выпрашивал подарков и не был жаден к деньгам. Всадником он сделался очень поздно, и то по старшинству. За господским столом он ел без жадности и пил умеренно. В хижине своей он жил одиноко и был холост. В свободное от службы время он всего более любил бродить по полям и лесам. Он любил животных, в особенности слабых, и хижина его была полна ими. На крыше у него было положено старое колесо для гнезда аистов. У дверей была привязана молодая лисица, которую ему хотелось приручить. Над дверью висела клетка с сойками и с сорокой, умевшей насвистывать кое-какие из напевов Вандило. Входя к нему в хижину, надо было остерегаться, чтобы не раздавить ужа, уползавшего под его койку, зайчика, белку и двух ежей. В садике у него бегала собачонка, никуда не годная, кошка с котятками и два или три кролика.

Я очень часто ходил к нему и находил его хижину лучше нашего дома.

Это был человек простодушный, любивший лес, поля, луга. Его единственный глаз голубого цвета с расслаждением смотрел на небо, окрашенное утренней или вечерней зарей. Товарищи его подсмеивались, что он беседует с облаками и через них отправляет послания в далекие страны. Крестьяне же уверяли, что он слышит, как растет трава на лугах. Мое общество оставляло ему большое удовольствие, и между мной,

десятилетним мальчиком, и стариком установилась самая тесная дружба. Он водил меня с собой гулять и знал, когда поспеют орехи, и где растут дикие яблоки, которые я предпочитал плодам из отцовского сада. Он выучил меня ставить силки, удить рыбу и ловить раков. С ним я ходил очень далеко, и мы иногда добирались до скалистых гор около Сены.

Оттуда мы видели у ног своих остров Лютецию, частоколом на валу, с деревянными, крытыми соломой хижинами, с двумя мостами на правом и на левом рукавах реки. Деревня походила на громадную плоскую лодку с двумя веслами.

Жители как муравьи копошились на улицах Лютеции. Ведь Лютеция была самой большой деревней в нашей стране, и я считал ее тогда самым большим городом всего мира. В ней было пятьсот шагов в длину и сто в ширину, и стояло полторы тысячи хижин, в которых жило восемь тысяч душ, считая женщин и детей.

На соседних островках не было ни домов, ни жителей. Сколько раз мы спускались туда охотиться кабанами, ставить капканы на выдр, в то время кругом нас летали цапли, дикие утки, лебеди и всякая другая дичь!

Неподалеку от нас, на горе Люкотице, покрытой дубами, на самой вершине находился храм Белизаны, окруженный липами, запах которых очень любил богиня.

Однажды с восходом солнца, Придано, Думнак, Арвирах и я отправились из Альбы. Лошадей своих мы хорошо накормили и взяли продовольствия на целый день. Мы рассчитывали охотиться по болотам и доехать до ближайшей реки. День был чудным осенний. В последнюю неделю были сильные дожди и бури, наделавшие немало бед. В глубокой рытвине мы нашли какие-то громадные кости рук и ног, принадлежавших, несомненно, великанам. Мы вдвоем не могли поднять одной из этих костей.

— Это, вероятно, кости высоких, как лес, воинов сопроводжавших Гу-Гадарна. Мудрено ли, что с теми же ногами и руками они перепрыгивали через Рейн? Вандило не врет, рассказывая об этом в своих песнях.

Арвирах и Придано находили, что я прав. Конечно, это были кости воинов Гу-Гадарна, а может быть даже его самого. Думнак же, ни слова не говоря, взял своей секирой между белых утесов и затем вдруг позвал нас и показал что-то, открытое им. Это бы

череп, величиной с хижину, в котором легко могли поместиться два человека.

В углублении каждого глаза можно было положить по теленку. Но замечательнее всего были два белых рога, выступавших перед головой и загнутых вверх.

Думнак привел нас к этому черепу и сказал:

— Ну, однако красив же был ваш Гу-Гадарн! Посмотрите на это чудовище!

Далее мы нашли такую же большую, но еще более странную голову, с длинной челюстью и с двумя рядами острых, как наконечники стрел, зубов. Нам пришлось согласиться, что это были остатки колоссальных слонов и гигантских ящеров, о которых гласит предание.

— Да и кроме того,— продолжал Думнак,— разве могли существовать люди такого роста?..

Мать моя неохотно отпускала меня с Придано, а в особенности с Думнаком, и находила, что мне пора учиться кое-чему другому, кроме плетения сеток из тростника.

Сначала попробовал меня обучать друид различным священным песням и стихам; но я никак не мог одолеть их. Друид потерял терпение и сказал матери:

— Ну, я вижу, что Венестос никогда не станет никем, кроме охотника за оленями и людьми... Боги наградили его крепкой головой для того, чтобы он мог лучше выносить удары... Сожалею, что он так глуп; но верхом на лошади он будет очень красив.

Но матери моей вовсе не хотелось, чтобы я остался глупым: она призвала из Лютении человека, много путешествовавшего по югу. Он выучил меня писать по-галльски греческими и латинскими буквами и говорить немного по-римски. К несчастью, он не мог остаться у нас более трех месяцев. Когда он отправился домой, отец дал ему двенадцать живых баранов, а мать дала золота.

Я начал охотиться под руководством Думнака и Арвираха с сыновьями соседних начальников. Мы устроили общую казну: за убитого зайца платили две маленькие бронзовые монеты, за лисицу — серебряную монету, так как лисица считалась врагом дичи; за коосулю — две серебряные монеты и т. д. В конце года, в день Ардуины, богини дичи, мы разбивали глиняный горшок с монетами и покупали итальянского вина, барана или быка, смотря по собранным деньгам, и приносили их в жертву богине. Мы угощали всех охотников и при этом не забывали и собак: в этот день

мы украшали их цветами. Таким образом проводили мы время.

VI. Я делаюсь воином

Мне минуло шестнадцать лет. Однажды отец сильно ударил меня древком от своего копья между лопаток; и так как я не плюхнулся носом, а устоял на ногах, то он и решил, что пора меня произвести в воины. Он не стыдился более появляться на людях с сыном и при всех выказывал мне свою привязанность.

Он устроил великолепное пиршество и пригласил на него всех начальников с Верхней реки с их свитой и человек двенадцать из именитых обитателей Лигуции.

Я расскажу вам впоследствии об обитателях Лигуции, а теперь пользуюсь случаем, чтобы познакомить вас с несколькими всадниками, соседями и вассалами моего отца.

Цингеторикс приехал издалека, так как усадьба его находилась у истоков Кастора, между озер. Ему было лет тридцать; это был настоящий кельт, небольшого роста, с круглой головой, с живыми, совсем черными глазами и ресницами, с волосами, порыжевшими от известковой воды, со свежим цветом лица. Он был добрый товарищ, любил выпить, поговорить и не сколько прихвастнуть. Слушая его рассказы об охоте, можно было только удивляться, что в лесах Галлии сохранились еще какие-нибудь животные. А слушая его рассказы о войне, невольно являлся вопрос: не приближается ли конец мира?

— В этот день я убил более ста человек! — говорил он.

— Ну, полно, — возражал мой отец, — зачем так преувеличивать!

— Скажем пять, — соглашался Цингеторикс, — и довольно об этом.

Боиорикс владел усадьбой, находившейся у опушки леса, на правом берегу реки. Его предки также, как и наши, были белги. Роста в нем было семь футов, голова у него сидела прямо на плечах, и он немного горбился, точно стыдился, что так велик. На плечах своих он, по-видимому, мог носить целые дубы, руками способен был задушить медведя, а ноги его походили на бревна. Он не говорил о своих подвигах, но кулаком мог бы убить девяносто пять человек, кичи

рых не досчитывался Цингеторикс. Своими громадными пальцами он сгибал монету. При трапезе он страшно щелкал челюстями, перегрызая кости баранов так же свободно, как и кости кур. Он выпивал кувшин одним залпом, и в горло к нему вливались целые бочонки. Ел он, обыкновенно, не говоря ни слова, но по огромному животу его можно было судить, что времени он не тратил по пустякам. Иногда он опрокидывался и начинал отдуваться, но с такой силой, что мог бы, как ветром, повернуть колеса мельницы. Он был очень добродушен и двигался всегда так осторожно, точно боялся раздавить кого-нибудь. Он добродушно переносил шутки Цингеторикса, который любил предлагать ему воды вместо вина. Но сам Цингеторикс не решался заходить со своими шутками слишком далеко. Он видел, как Боиорикс, рассердившись когда-то на пиру, схватил обеими руками дубовый стол и пробил им стену; в то время из глаз его сверкали молнии, а из уст, как гром, сыпались проклятия. Карманно владел замком, возвышавшимся на вершине Красной горы, находившейся почти напротив Альбы. Это был сухой человек неопределенных лет. Он был приятным собеседником, обладал тонкой наблюдательностью и глубокой мудростью, но по большей части был мрачен и молчалив. Его застенчивость объяснялась бедностью его обстановки: Карманно был очень беден. Рубашку он носил из грубой шерстяной линючей ткани, штаны со многими заплатами; на нем не было никаких драгоценностей, кроме обвясла, знака его достоинства, да и то, кажется, оно не было золотым, а только позолоченным. Свита его состояла из пяти человек, тогда как другие привезли с собою по двенадцати. И одета она была так же бедно, как и он. Вместо шлемов на головах у них были черепа животных. Отец мой впоследствии рассказывал мне, что владение Карманно было расположено на неплодородной земле и производило так мало, что едва прокармливало своего хозяина, его конюхов и крестьян, которых у него было очень мало, так как люди посмелее пошли искать более плодородной земли и более богатого господина.

Думнак, любивший давать всем прозвища, называл Цингеторикса петухом, Боиорикса буйволом, а Карманно кукушкой.

О других наших гостях я говорить не стану. Достаточно будет, если я скажу, что я не мог желать лучших зрителей для своих начинаний в военном искусстве. Каждый из гостей привез мне по подарку.

Именитые люди Лютении поднесли мне широкий пояс из золоченой бронзы, замечательно искусно сделанный. От Цингеторикса я получил щит, отделанный вызолоченной бронзой, на которой был изображен бобр; от Боиорикса — шлем с прозрачным гребнем и с двумя орлиными крыльями. Даже Карманно, несмотря на бедность, подарил мне меч, стальное лезвие которого, вделанное в прочную рукоятку из слоновий кости, привело в восторг знатоков. Всадники и конюхи моего отца также сочли нужным одарить меня каким-нибудь оружием.

Теперь надо было доказать, что я стоил таких подарков. Лишь только стало светать, как я надел вооружение, освященное старым друидом. Вскочив на богато оседланную лошадь, я стал гарцевать на ней перед нашими гостями и крестьянами. Я перескакивал через изгороди и стены. Я бросался на столб, который на лету пронзал копьем и ударял щитом. Все поздравляло меня с успехом, и после этого начался пир.

В продолжение трех дней в Альбе жило тридцать всадников, не считая наших, и двести конюхов из нашей свиты. Пришлось уставить столы под открытым небом. Кроме того наши крестьяне и рабы сидели просто на земле и угощались остатками со стола.

Для этого празднества были изжарены целые быки и бараны, начиненные курами, гусями, утками, цаплями, журавлями и ежами.

Наши гости, томимые жаждой от соленых оливок, никак не могли утолить ее, хотя кубки и кувшины подавались цепью, как вода во время пожара. Самый последний пастух получал в волю итальянских и римских вин. В последний день пиршество было в особенности так великолепно, что все старики и старухи вспоминают о нем.

Вандило пел свои лучшие песни; но под конец мы не стали слушать, потому что все говорили одновременно. Даже Карманно стал разговорчив и высказывал правила и поучения так же мудро, как какой-нибудь друид. Отхлебывая итальянское вино из золотого кубка, он ратовал против возрастающей роскоши и привнес иностранных вин, говоря, что они губят храбрость галлов. Цингеторикс рассказывал о сражениях и убивал сотни врагов, которых отец мой упорно старался воскресить. Два конюха завели ссору и схватились за оружие; Думнак и Арвирах бросились разнимать их, и умиrotворили так ловко, что лица оказались разбитыми у всех четверых. Гости из Лютении вскочили на

почетный стол, и среди блюд и кубков начали исполнять азиатский танец. Боиорикс был этим очень доволен и, завывая от радости, так ударил по столу кулаком, что стол сломался посередине, а танцоры и зрители очутились на земле вместе с блюдами и кубками.

Итак, я стал воином. Мать моя оказывала мне почтение, как хозяину дома. Отец обращался со мной, как с товарищем по оружию, выжидал случая, чтобы доставить мне возможность в схватке с неприятелем приобрести золотое ожерелье всадника.

VII. Цезарь в Галлии

По всей стране носились слухи о войне. Говорили, что римляне, давно спокойно сидевшие у себя в провинции, перешли за ее границу. Во главе их шел один из знаменитейших предводителей, человек, который выдавал себя за потомка богов.

На следующий год после моего посвящения, гельветы, находившие горы свои очень тесными, захватили страну эдуев*. Они уже добрались до прибрежных стран, как навстречу им вышел Юлий Цезарь. Он остановил их, разбил наголову и приступом взял их укрепления. Из пришедших трехсот пятидесяти тысяч человек в горы и в ледники вернулось не более ста тысяч.

Затем Цезарь пошел против диких германцев, несколько не утрашась громадного роста и ужасного вида воинов, которые в продолжение четырнадцати лет не спали под кровлей. Он разбил их и отбросил в глухие леса Германии.

В Альбе немало говорили об этих битвах. Многие восхваляли храбрость римских легионов, восхищались мудростью Цезаря и хвалили его за то, что он оградил Галлию от нашествий диких гельветов и еще более диких германцев.

— Вот,— говорил моему отцу один из его воинов,— вот человек, к которому бы тебе следовало послать твоего сына для первых военных уроков! Или лучше сказать, всем нам следовало бы встать под его знамена: там можно приобрести славу и получить добычу. Цезарь хорошо примет храбрецов. Римляне всегда ценили

* Гельветы занимали всю настоящую Швейцарию; эдуи — Бургундию.

храбрость галлов. Сколько наших сражалось под их знаменами!

— Это так,— отвечали другие воины,— но сколько наших пало под их мечами и копьями! Припомните те галльские племена из Италии, которые были выгнаны, покорены и лишены своих земель. Из чего состоит римская провинция, как не из покоренных галльских племен? Неужели вы не знаете, что римляне имеют в виду только одно: порабощение рода человеческого? Им все с руки: земли Европы и государства Азии и Африки. Сначала они завоевали Галлию около Циз, потом они напали на Галлию около Роны; теперь наступил черед нашей Галлии. Нет, Беборикс, если ты хочешь вести на войну твоего сына и нас, то не под этими знаменами надо нам воевать. В тысячу раз лучше было бы нам пойти на помощь к гельветам, которые все-таки наши братья, или же к королю германцев, по видимому человеку храброму. Римляне! Пусть уж они остаются в своем Риме! Или же пусть они уважают границы провинции, которую называют римской и которую украли у Галлии.

— Позволь,— возражали сторонники Италии,— если Цезарь побил гельветов, то побил за то, что они теснили эдуев и хотели отнять земли у прибрежных жителей океана. Юлий Цезарь явился для эдуев богом-избавителем, и они сами призвали его.

— Не говорите нам об эдуях! Не в первый раз они виновны в том, что призывают в Галлию римлян. Из тщеславия или по глупости они позволили убедить себя, что они братья римлян, и с рабской покорностью просили называть их союзниками. Эдуи предатели. Это народ, испорченный богатством своих городов и земель, заботами о своем обогащении и хлопотами о своих виноградниках... Пусть Таранис побьет их градом! Чтобы вывозить в Италию свои припасы, свиней, свои горшечные товары, они готовы продать Галлию римлянам. Предводители их все без исключения ни збопклонством добиваются милостей консулов*; друиды их не верят более в Тейтата; народ их поклоняется только деньгам. Это уже не галльский народ, это Рим, водворившийся в сердце Галлии. Да и наши соседи ремы не лучше их. Они, пожалуй, еще глупее

* Титул двух высших чиновников в римской республике, стоявших во главе управления. Они производили также набор войска и начальствовали над ним. Избирали их на один год

их, потому что вообразили, что происходят от Рема, брата Ромула... вскормленных волчицей! Есть чем гордиться — таким происхождением! И вот у ворот наших деревень появился еще народ братьев и союзников Рима, еще народ изменников!

— Но ведь Цезарь, одержав двойную победу, спокойно вернулся теперь к себе в провинцию.

— Ну конечно, чтобы набрать там новые легионы! Вот увидите, что он скоро вернется. Он примется за прежнюю игру: рассорит и доведет галлов до междоусобицы. Вот подождите! Подождите!

Такого рода разговоры велись всюду. И о войне толковали не только предводители, всадники и конюхи, но и простой народ тоже начинал волноваться. Пастухи, выгнав в поле стада, землепашцы, оставив на пашне свои плуги и волов, дровосеки, опираясь на топоры около надрубленных дубов, все держали совет и рассуждали о римлянах. Они зачастую все путали, но это не мешало им с жаром рассуждать, стоя за Рим или против него, не зная хорошенько, что говорить, и доходя нередко до рукопашной. Женщины, полоща белье, зачастую останавливались, подняв валец и разинув рот, слушая какую-нибудь из своих товарок, рассказывающую, что Рим — это богиня, а Цезарь — сын ее, отданный львице как кормилице. Вся Галлия разделилась на две партии: одни стояли за Цезаря, другие были против него.

На следующий год волнение в Альбе еще более усилилось. Говорили, что вся Бельгика встает: она находила, что римляне слишком близко подошли к ней. Обитатели левого берега Рейна набрали триста тысяч воинов. Вся местность между Мозой и Британским проливом взялась за оружие.

До нас постоянно доносились ужасные, возмутительные и противоречивые известия, и ежедневно являлись посланцы от галльских племен, умолявших нас взяться за оружие. Они говорили нам, что их беда была бедой всей Галлии; что после победы над ними очередь дойдет и до нас.

Воины отца трепетали от нетерпения. В особенности беспокоились Думнак и Арвирах: они ходили по деревенской улице, сверкая глазами, стиснув зубы и с побледневшими губами.

— Когда же мы двигаемся? — спрашивал я отца.

Он сильно смущался при виде своих воинов и слушал меня. Начальники Верхней реки прислали спросить у него, не призовет ли он их к оружию?

Перед хижинами всадников и конюхов начали выправлять и точить мечи, чистить шлемы, заострять на маленьких наковальнях наконечники стрел и копий. Отец мой уехал в Лютетию для того, чтобы узнать, что там думали делать.

— Идти войной против римлян! — отвечали члены сената Лютетии. — Вам-то хорошо, обитатели Кастора: вы прикрыты Сеной! Ведь на нас, на наш остров обрушится буря, если мы будем иметь глупость называть ее. Да знаете ли вы, что Цезарь находится всего за четыре перехода отсюда, с шестью своими старыми легионами и двумя новыми? Он действует с быстротой молнии, тогда как белги уже потеряли два месяца. Знаете ли вы, что с союзными галльскими племенами у него восемьдесят тысяч человек? И если вам не случалось видеть его легионы, то мы можем вам сказать, что служат в них люди суровые. Вы говорите нам, что белгов триста тысяч человек. Они всюду об этом кричат, но мы их не считали; да и знаете, ведь белги всегда придерживаются правила: «Всякий сам за себя...» Стоит только показаться Цезарю, как все они разбегутся защищать свои дома, потому что все они глупы. Аллоброги, например, не идут иначе на войну, как связанные друг с другом цепью, чтобы живой стеной остановить неприятеля. Как удобно воевать со связанными руками! Римляне же вовсе не так глупы, и если вы увидите их, то сами согласитесь, что нет на свете таких смелых и ловких солдат. К чему эти дикари вызвали римлян? Разве Цезарь сделал им что-нибудь дурное? Им следовало сидеть смиренно. Что же касается до вас, добрые друзья наши с Кастора, то мы скажем вам то же, что сказали и другим соседям нашим: «Вложите мечи ваши в ножны и уберите шлемы».

Отец мой вернулся в очень подавленном состоянии духа. Наши воины и предводители с Верхней реки были очень задеты речами жителей Лютетии, и с этого дня обитатели реки злобствовали на обитателей острова.

Пришлось однако согласиться, что делать нечего. На юге Сены народы не двигались и выражали полнейшее равнодушие к судьбе белгов.

Вскоре мы получили известия. Приближение восьми легионов заставило союзников разбежаться для защиты своих очагов. Ремы, эдуи и жители Лютетии обратились сами к Цезарю, и им были дарованы очень милостивые условия сдачи. Но другие соседние с нами

народы стойко встретили неприятеля. Произошла отчаянная битва. Одно время римляне не могли устоять против натиска галлов: одна из римских когорт* почти до вся была уничтожена, потеряв всех своих начальников и свое знамя. Цезарю пришлось взять щит, самому собирать свои пошатнувшиеся легионы и вернуть их на поле брани. Наконец римская дисциплина и превосходство римского оружия доставили победу золотым орлам. Из шестидесяти тысяч галльских воинов спаслось только пятьсот человек.

Затем мы услышали еще о новых поражениях союзников. Всех пленных римляне продали в рабство: так сразу погибло пятьдесят пять тысяч человек.

Мы никогда прежде не слыхивали о таком уничтожении целых народов. Наши галльские войны никогда не были так жестоки.

В Альбе перестали кичиться. За столом самые смелые храбрецы сидели, опустив голову в тарелку, а хвастуны не говорили ни слова. Эти известия словно кинжалом поразили наши галльские сердца, а мать моя горько плакала о судьбе всех оставшихся женщин и детей. Мы, воины, хотя и не плакали, но точно упрекали себя, что ничего не сделали, чтобы помешать гибели братьев. Какая была польза от храбрости Думнака, бычьей силы Боиорикса, хвастливости Цингеторикса и прежних подвигов отца, потомка Гу-Гадарна?

И в то же самое время нам невольно приходило в голову, что мы избавились от страшного несчастья.

VIII. Арморика.

Но наступило время, когда ждать долее не доставало сил. Бездеятельность казалась мне невыносимой с тех пор, как я сделался воином.

— Отец, мне уже восемнадцать лет,— сказал я.— В мои годы ты уже воевал, был ранен и приобрел славу. Позволь мне посмотреть на свет.

Он ни слова мне не ответил, но пошел поговорить с матерью. Она горько заплакала и сказала:

— Я знала, что в конце концов он будет у меня отнят.

* Когорта — десятая часть легиона, включавшего в себя до 6000 солдат. Она распадалась в свою очередь на 6 центурий, находившихся под командой центурионов.

Отец мой позвал Думнака и Арвираха и приказал им готовиться, чтобы ехать вместе со мной. Он дал мне полный кошелек монет со значками предводителей и самых знаменитых городов Галлии. На шею мне он надел золотое ожерелье, так как теперь, сказал он, мне придется жить как военачальнику. Затем он передал мне половину сломанной пополам золотой монеты.

— Я не позволю тебе ехать к племенам нижних Сены, говорят, что Цезарь отправляется туда, а тебе еще слишком рано вступать в стычки с его легионами... Отправляйся на юго-запад, к карнугам и венетам, которые всегда хорошо принимают чужестранцев. Когда приедешь в Арморикю, ты можешь спросить старшину Гвела. Мы с ним вместе путешествовали на остров Британию и прибрежные страны; он отлично примет тебя и полюбит, как родного сына.

Мать моя вручила мне несколько драгоценных вещей для жены и дочерей Гвела и заткнула в пояс мой штанов другой кошелек, полный золота; на палец надела колечко с красным камешком, которое должно было охранять меня от всякой опасности. Она просила меня почаще молиться и остерегаться моря; затем бросилась ко мне на грудь и залилась слезами.

Я простился с родителями, и мы втроем поехали тихим шагом, в чудное весеннее утро, при пении птиц, перелетавших с ветки на ветку. Мы проезжали деревни и города, видели новые страны и новых людей.

В Арморике, роскошной стране, покрытой чудными лесами, в которых жужжали мириады пчел, жителей было, однако, немного. Маленькие, смуглые люди, одетые в козьи шкуры и вооруженные железными или бронзовыми топорами, сильно походили на дикарей. Язык их мы едва могли разобрать. В лицо они перекликались друг с другом, издавая кошачьи крики.

Раз утром, поднявшись на гору, мы увидели вдали темную полосу.

— Море! — крикнули мои товарищи, весело взмакнув копьями.

Мы спустились с горы, затем поднялись и потом опять спустились, и около небольшого залива увидели какую-то странную деревню, окруженную с одной стороны утесами, а с другой морем, и как бы отделенную от мира. Деревня казалась точно в колыдце.

Волны сердито разбивались белой пеной о скалы, и на берегу разбросано было с сотню лодок разных размеров и почти все были с длинными мачтами.

В деревне хижины были покрыты кожами морских зверей с положенными на них камнями и якорями, для того, чтобы их не снесло ветром. В некоторых местах вместо хижин были опрокинутые лодки, а иные жили просто в пещерах. Кое-где лежали громадные скелеты совершенно незнакомых мне животных. Всюду были растянуты на шестах красноватые сети, а на жердях, положенных на козлы, сушилась рыба, блестящая как серебро.

Мужчины в громадных сапогах, растрепанные женщины и полунагие дети производили какие-то непонятные нам работы. И всюду распространялся крайне острый и неприятный запах. При виде наших шлемов, пик и лошадей женщины и дети в страхе попрятались. У одной хижины мы увидели мужчину, взвешегося за палку.

— Здесь живет старейшина Гвел? — спросил я.

— Старейшина Гвел умер, — отвечал он.

— Может быть, у него есть сын?

— Да, у него остался сын — старейшина Гальгак, и вот его дом.

Это была хижина немного побольше других, но она и сравниться не могла с нашим домом в Альбе.

Из хижины вышел согнувшись, человек, и мы увидели приятное загорелое лицо.

Я в нескольких словах объяснил ему, кто мы такие, и подал половинку золотой монеты. Он вернулся в дом и снова вышел с другой половинкой, которую приложил к моей.

— Клянусь богом, плавающим по волнам, — сказал он, — я думал, что когда-нибудь твой отец приедет сюда. Так он еще жив и здоров? А мой отец уже умер: волна поглотила его с семью рыбаками. Ну, сходите с лошадей и милости прошу в дом.

Таким образом я сделался другом Гальгака.

Дом его был полон сетей и камышовых корзин с рыбой, только что пойманной утром.

Гальгак был необыкновенно гостеприимен. Мы спали на постелях из водорослей, в которые нередко забивались раки. За обедом мы ели морских угрей, рыбу с громадной головой и круглыми большими глазами и рыбу, плоскую и широкую, как щиты. Когда по случаю непогоды нельзя было выехать в море на ловлю, то откупоривались большие кувшины и оттуда

доставались соленые сардинки, копченые селедки и другая соленая рыба. Еду запивали тюленьим жиром и сикерой. Мясо ели очень редко, а вина не пили никогда. Лошадям нашим вместо овса пришлось есть водоросли и морские травы, обмытые в пресной воде.

Я очень был доволен, что Гальгак брал меня с собой в море на рыбную ловлю. Лодка у него была такая прочная, что ее не пробил бы римский таран, а парусами служили звериные шкуры, до того выскобленные, что они были тонки и легки. Я с трудом поворачивал тяжелые весла, а рыбаки, одетые в промасленные штаны, ровно гребли ими, припевая.

Мы выезжали в открытое море, закидывали крички и спускали корзины, а затем спускали невода, и одной стороне которых были привязаны куски пробки, а к другой камни. В ожидании рыб мы ложились спать на дно лодок.

Гальгак кроме того повез меня ради развлечения вдоль берега. Мы плыли мимо черных, как уголь, утесов, у подножья которых копошились животные с круглыми головами, а над камнями летали тысячи белых птиц с тонкими и длинными крыльями, спускавшиеся на воду и качавшиеся над ней. Иногда на поверхности воды появлялись громадные черные массы и пускали целые фонтаны воды. Мы добрались до берегов, на которых были навалены сотни громадных камней, точно ряды легионов Цезаря. Крестьяне думают, что это войска, посланные в погоню за Гугадарном и окаменевшие по повелению героя. Иногда ночью они приходят в движение при свете луны, и горе тому, кто попадетс я им навстречу.

— Все это, конечно, басни, — сказал мне Гальгак. — Это просто камни, наваленные на гробницы героев, которых и поныне привозят сюда издали и хоронят здесь.

Он верил только, что покойники иногда ворочались в могилах, так что слышен был звук их оружия. Кроме того он мне рассказывал, как около скал посреди моря являются морские друиды, с ветвями вместо рук, и благословляют мореплавателей, а потом съедают их. Около этих же скал появляются женщины с рыбьими хвостами. Они высовываются на поверхность только до половины и нежным голосом подзывают мореплавателей, чтобы увлечь их на дно и там съесть.

Много рассказывал он мне и других историй, и я слушал его, разинув рот, облокотившись на край лодки, пропитанной запахом гнилой рыбы.

IX. В океане. Мой первый боевой опыт.

Я становился смел на море и загорел, как старый моряк. В сущности, мне хотелось действовать не столько пелами, сколько копьем: я ведь не собирался сделаться моряком. Но тем не менее я помнил, что отец мой приказал мне избегать легионов. Чем же я был виноват, что они добрались и до залива Арморики?

Однажды вся деревня взволновалась. Из страны венетов приехал нарочный с известием, что Цезарь строит на нижней Луаре суда и объявил войну жителям Арморики.

Это означало, что все союзники-галлы должны отправиться на помощь к венетам, которым угрожали римляне. Цезарь разослал во все окрестные местности своих воинов, чтобы собрать продовольствия, взять заложников и разузнать, что там делалось. Венеты задержали этих послов как шпионов, и поклялись, что они их отпустят только в том случае, если Цезарь отпустит заложников, взятых им у союзников. Цезарь высказал, что его воины отправлены были в чине послов и что в лице их оскорблено человеческое право. Он двинулся с своими легионами и просил у прибрежных племен, соперничавших с венетами в мореходстве, дать ему суда; те же, из зависти к венетам, не постыдились дать их.

Гальгак сказал мне:

— Завтра я отправляюсь со всеми своими моряками. Так как спор этот до вас не касается, то ты можешь остаться дома и ждать возвращения твоего друга, живого или мертвого.

— Я отправляюсь с тобой, — отвечал я.

Думнак и Арвирах не пожелали пуститься в море; они сказали мне, что поедут на нижнюю Сену.

Из гавани вышло двадцать больших судов, каждый с тридцатью моряками, умевшими искусно действовать мечами. Выйдя в море, все моряки благочестиво поклонились скалам, которые они почитают как богов. Они громко прочитали молитвы и дали обещание, в случае успеха, принести жертву. Попутный ветер надувал наши красные паруса, и вскоре мы обогнали до сотни судов наших союзников. Против римлян шло двести пятьдесят судов и около восьми тысяч воинов.

В продолжение нескольких недель мы действовали удачно. Цезарь действительно пришел с своими легионами на берег, но суда его еще не показывались. Ему

приходилось осаждать с суши венетские города, находившиеся на мысах, а во время морского прилива совершенно окруженные водой.

Он выбивался из сил, осаждая какой-нибудь город; воздвигал прочные насыпи во время отлива, и ставил на них свои осадные орудия. Во время этих работ римляне терпели не только от осажденных, но и со стороны моря, от нас, они теряли очень много народа.

Когда город не мог уже более держаться, мы, пользуясь приливом, подходили к нему, сажали на свои суда защитников и всех жителей с их имуществом, а город поджигали. Когда римляне входили в город, то находили только золу, и в ярости видели защитников на наших судах. Защитники смеялись и показывали им языки. При осаде других городов повторялось то же самое, и римлянам приходилось начинать снова.

Эти забавы прекратились, когда римские суда, до сих пор задерживаемые противными ветрами, вышли наконец из устья Луары и пошли на нас.

Суда, взятые римлянами у прибрежных жителей, были так же хороши, как и наши: с дубовыми стенками, прочными парусами и с якорями, привешенными на цепях. Римские же галеры, с тремя рядами весел, казались такими хрупкими, что грозили разбиться от первого же толчка. Преимущество их состояло только в том, что нос у них был окован железом, а на корме и на носу были выстроены высокие деревянные башни.

Предстояла незначительная морская битва, потому что главные легионы и сам Цезарь остались на суше. Но в случае нашего поражения на море, скрыться нам было бы негде, потому что все берега были заняты стальными шлемами. Мы были стиснуты между подходившими к нам римскими судами и берегом, поднимавшимся уступами.

Кое-кто из наших высказывал совет уйти в море, куда римляне не могли следовать за нами, так как галеры их не могли бороться с бурями океана. И сущности, мы предоставили бы римлянам только бесплодную, опустошенную местность, а обитатели не отправились бы на своих судах и выжидали бы, плывая по океану, пока голод не выгнал бы римлян из Арморики.

Чем более я думаю, тем сильнее убеждаюсь, что совет этот был разумен. Его, конечно, не поддерживали молодые люди и горячие старики: они спешили отомстить римлянам за свои обиды. Им хотелось дать

битву на виду родного берега, на виду города, из которого на них могли смотреть близкие им люди и высокие холмы, под которыми покоились останки героев.

По данному им знаку римские галеры надвигались, надеясь пробить своими острыми носами бока наших судов. Они не рассчитали, что наши суда были выстроены из векового дуба и могли нападать сами. Две их галеры тотчас же пошли ко дну с солдатами и гребцами.

С вершины своих деревянных башен римляне осыпали наши палубы камнями, стрелами, дротиками и огненными стрелами, на которых горела пакля, пропитанная смолой. Но и это ни к чему не повело, так как наши палубы были очень высоки, и мы отвечали целым градом не менее убийственных зарядов. Битва казалась выигранной, и я начал уже выражать свою радость.

— Погоди,— сказал мне Гальгак,— у римлян нет недостатка в увертках, и не даром говорят, что Цезарь колдун. Умеешь ты плавать?

— Умею.

— В таком случае сними свой бронзовый пояс и все, что может затруднить твои движения, если тебе придется попасть в воду.

Начальники римских галер задержали ход своих судов и повернули назад. Мы думали, что они отступают, как вдруг на башнях и на палубах мы увидели какие-то нам совершенно неизвестные машины. Они походили на большие блестящие косы, надетые на длинные шесты.

— Что это, они хотят косить рожь? Разве теперь время жатвы? — смеясь, спросил я у Гальгака.

— Погоди,— ответил он мне.— Я отдал бы свое судно за то, чтобы ветер подул с севера: тогда я проскочил бы между этими галерами и ушел бы в море. А теперь ветер несет на нас римские галеры и мешают нам пройти между островом и мысом. Как досадно, что мы поставили себя в такое положение! Приходится сражаться; а эти орудия ничего хорошего не предвещают.

Не успел он этого сказать, как римские галеры выстроились все в ряд и двинулись против нас, равномерно взмахивая веслами

Внезапно с их башен наклонились к нашим судам громадные косы и срезали мачты, реи и всю оснастку, вроде того, как в августе срезают рожь. Все наши снасти полетели на палубы и прикрыли нас, как сетя-

ми; в то же самое время все наши передовые суда были стиснуты между двух галер, с которых тотчас же спустились на них помосты.

Римляне с победными криками бросились на наши суда, и тут началась битва как на суше, в которой мы, конечно, принуждены были уступить. Что значили наши дротики против их копий, наши ножи против их мечей? У нас не было ни шлемов, ни лат, и мы могли рассчитывать только на наши секиры.

Они намного превышали нас численностью. А Цезарь, стоя на берегу, постоянно присылал на паромы новых солдат. Мы с Гальгаком были сдвинуты и краю.

— Еще подождем немного, — сказал он, — и затем можем показать свое уменье плавать.

Мы делаем последнее усилие, и римляне отступают перед нашими секирами. Затем мы поспешно перескакиваем через борт и бросаемся в воду. Нырнув, как моржи, мы выплываем только для того, чтобы перевести дух, и затем опять ныряем, стараясь уплыть подальше. Схватив плывший кусок дерева, мы упираемся в него подбородком и, повернувшись к месту битвы, смотрим, что там делается.

На всех двухстах пятидесяти судах виднелись римские солдаты в шлемах, сбрасывавшие с палуб в море наших воинов, падавших, как птицы из гнезд. Галеры с длинными веслами, как коршуны, налетали на наши суда, и по воде разносились звуки труб и победных песен. На поверхности воды виднелись только остатки снастей и тысячи черных точек, голов человеческих. Римляне били по этим головам веслами, шестами и пускали в них стрелы. Те из пловцов, которые, обессилев, подплывали к берегу, встречались там с неприятелем, убивавшим их как тюленей.

С наступлением вечера закатывавшееся солнце озарило багровым светом дымившиеся развалины города, отданного со всеми его старцами, женщинами и детьми Цезарю; озарило высокие гробницы, грустно поникнувшие головами при виде несчастья своих детей, гордые ряды римских галер, погубивших галльские суда, и массы черных точек — галлов, погибавших от громадных римских кос.

С помощью попавшегося под руки обломка мы могли плыть, действуя только ногами, и пристать к соседнему острову. Ночью в простой рыбацкой лодке мы вышли в море, откуда на следующий день добрались до маленькой бухты и высадились на берег.

Через месяц я в смущении вернулся в Альбу. Там я нашел Думнака и Арвираха, вернувшихся с нижней Сены, один раненый в голову, а другой с рукой, проткнутой стрелой.

И без наших рассказов в отцовском доме все были огорчены и ходили с вытянутыми лицами, хотя отец гордился моими подвигами, а мать с нежностью смотрела на меня. Дома я услышал вещи, еще более ужасные, чем те, что я сам видел. В Галлии не нашлось ни единого местечка, не пораженного несчастьем. Цезарь находился на востоке, где он избивал гельветов и германцев; затем его видели, так сказать, на наших глазах, уничтожающим белгов, и наконец о нем слышно было с запада, где он воевал с галльскими племенами. Он вертелся вокруг Лютеции, как волк вокруг овчарни, но внимание его было всегда отвлечено другой добычей. Всюду, где он проходил, воздвигались укрепленные лагеря, которые исподволь окружали паризов, как железным кольцом. И кольцо это было совсем тесное, так как с горы Камул, где обитатели Лютеции устроили наблюдательный пост, виден был холм с только что взрытой почвой, белевший среди зелени, и на этом холме при солнечном свете блестели шлемы.

Война Цезаря с жителями Арморики обеспокоила обитателей Лютеции. Они послали в Альбу гонцов с просьбой послать на нижнюю Сену несколько сотен всадников, конюхов или крестьян, вооруженных луками и пращами.

Отец мой сказал гонцам, что, зная, как римляне приблизились к нам, нельзя оставить деревни без защиты. Кроме того, чтобы пройти к нижней Сене, отряду придется пробиться через легионы.

Гонцы из Лютеции уехали, повесив носы. Это еще более усилило разлад между Лютецией и Верхней рекой.

Но однажды призывная труба едва не прозвучала во всей долине, начиная от замка Цингеторикса до домика Карманно. Покрытый пылью всадник привез вести от родного брата моей матери. Дядя умолял моего отца поскорее привести к нему всех имеющихся у него воинов. Военственное настроение заставило набить всякое благоразумие, и долина Кастора поднялась вся. Но ночью к нам пришел сам дядя, запыленный, утомленный, весь в крови и с изломанным шлемом. Была минута, когда он с союзниками надеялся поддержать верх: три римских легиона, осажденные в их укрепленном лагере, лишены всяких сношений с

Цезарем, воевавшим в это время в Арморике, готовы были сдаться. Сорок тысяч галлов осаждали восемнадцать тысяч римлян. Неосторожность молодых предводителей, не слушавших благоразумных советов, все погубила. Приступ, поведенный без должных приготовлений, был отражен, и внезапно высадившиеся легионы разбили галлов.

Через несколько дней у нас узнали о поражении венетов. Не подозревая еще, что я принимал участие в битве, в Альбе пришли в ужас, услышав об этом поражении. Все погибло! Морские герои Арморики, победители вихря и ада Океана, спали теперь в глубине морской, поедаемые раками и другими животными.

Следующие дни после поражения были еще хуже, чем день самого поражения. Под розгами и топорами погибали венетские старейшины. Весь остальной народ был отдан торговцам людьми из Рима и как военная добыча продан тем, кто предлагал хорошую цену. Храбрые галльские воины и красивые девы с белокурыми косами за бесценок продавались на рынках Италии, Африки и Азии. Эта плоть от нашей плоти считалась самым дрянным товаром.

Что прибавляло еще более позора этому бедствию, это то, что и тут нашлись галлы, помогавшие Цезарю губить своих соплеменников. Да когда же наконец Галлия перестанет раздирать себя своими собственными руками?

И снова всюду разносились вести, что легионы показывались на севере, на востоке, на юге — везде, в торфяных ямах и в болотах Нижнерейнской долины. Цезарь, погружаясь в топи по брюхо лошади и по золотую луку седла, уничтожал города, терявшиеся среди поселений бобров и логовиц кабанов. Со стороны Рейна он освобождал племена, захваченные германцами, останавливал течение реки четырьмястами тысячами трупов воинов, перемешанных с нежными телами женщин и детей. Он усмирлял непокорный Рейн и пропускал его, словно сквозь ярмо, под выстроенный им мост.

Когда путешественники рассказали нам об убийстве шестисот храбрых южных воинов, которые умерли около своего вождя все до последнего человека, у нас все вскрикнули от восхищения и горя. Наши воины молча пожали руку отцу, а взоры их говорили: «Веди нас против этих римлян. Если судьба изменит тебе, никто из присутствующих не переживет тебя. Мы

поступим так же, как поступили те верные воины. Мы твой и на живот и на смерть».

Отец мой качал головой, сдерживая свое волнение. Римляне были слишком близко, и их было слишком много: по мере своего быстрого движения они все умножались со всех сторон; к нам доносился звон оружия, и всего за день ходьбы от Альбы блестящие римские шлемы, тянулись рядами легионы, топала конница и гремели страшные орудия.

Но кто же был этот человек, вселявший такой воинственный дух в леса, в утесы, в облака и в морские волны, натравливая один народ на другой, пуская целые потоки человеческой крови и разрывая недра земли? Был ли он сыном богов, или почти богом, самым ужаснейшим из всех, или самим богом, перед которым трепетал Тейтат, бледнел Камул и Таранис усмирять свои громы?

Еще год не пришел к концу, как он схватился с океаном, покрыл своими судами широкий пролив и, пристав к совершенно незнакомым берегам, дал сражение непоколебимым британцам, воюющим на бронзовых колесницах.

Когда мы почувствовали, что море разделяет нас и Цезаря, вся Галлия вздохнула свободно. Нам казалось, что он от нас далеко и подвергается таким опасностям! Почем знать, может быть, океан, недовольный его переходом, не позволит ему вернуться?

Отец мой снова стал надеяться. Он разослал гонцов ко всем начальникам парижского народа. К старейшине Лютеции он решил ехать сам.

Увы! В то время, как он мечтал о славной войне за освобождение, боги уже держали нитку его судьбы и приближали к ней ножницы. Вестница смерти коснулась его плеча не во время большой битвы против римлян, не под ярким солнышком, на виду тысячи храбрецов, а во время позорной ссоры между сыновьями одной и той же матери, ссоры, ненавистной ему самому

Х. Паризы Лютеции.

Паризы Лютеции были странные люди. Еще во времена моего прадеда стали замечать, что над горой Люкотиц поселились люди, хотя место это служило галлам местом укрывательства и в мирное время никогда не заселялось, а только служило для торжес-

твенных собраний, для жертвоприношений и для торговли. Во времена моего деда люди не захотели подниматься так далеко, и паризские племена избрали для своих собраний остров Лютецию, тогда пустой. Они окружили его деревянным частоколом и устроили вроде крепости над рекой, хорошо защищенной Сеной. Люди, выстроившие себе хижины на Люкотице, тотчас же бросили их и поселились в стенах Лютеции.

Число жителей с каждым днем увеличивалось, и скоро их можно было считать тысячами. Туда стекался всякий народ: крестьяне, уставшие работать на господина, рабы, убежавшие из деревень, конюхи, не отыскавшие себе нанимателей, даже беглые люди, приговоренные к высылке.

Небольшое число из жителей острова занималось земледелием и обрабатывало поля на северном склоне горы Люкотиц. Другие жили охотой в болотах на правом берегу, пускаясь иногда на хищническую охоту даже в наши леса. Третьи проводили жизнь, работая по колено в воде, расставляя сети, невода и крючки, там как в Сене, как известно, очень много рыбы. Люди более предприимчивые выстроили прочные суда и вели торговлю почти со всеми прибрежными странами западной и южной Европы. Хозяева этих судов были самыми крупными богачами Лютеции; они устроили между собой союз, и старейшины выбирались преимущественно из числа их, как наиболее именитых людей.

Многие из граждан занимались различными промыслами. У дверей своих хижин или хат они отливали мечи в глиняных формах, ковали железо на маленькия наковальнях, делали медные котлы, глиняную и медную посуду, оправляли драгоценные камни и кораллы в золото и украшали ими браслеты, ткали материи, выделывали кожи.

Говорили, будто кузнецы их открыли тайну оружейников Иберии и делали мечи до такой степени острыми, что они перерезали муху, если она садилась на лезвие. Они делали оружие неуязвимым, произнося над ним какие-то заклинания. Чтобы не показывать своего искусства, они работали под землей в таких глубоких погребках, что светло в них было только, когда солнце стояло на полдень.

Вообще жители Лютеции были искусниками на все руки и занимались одновременно самыми разнообразными ремеслами. Если мы призывали к себе в деревню тележника с острова, то он не только делал телегу, но кроме того чинил оружие, кроил платье, вылечивал

больную корову и затем пел еще недавно сочиненные у них песни.

Все обитатели Лютеции, какого бы они происхождения ни были и чем бы они ни занимались, были очень любопытны, беспокойны и игривы. Они любили передразнивать тяжелую походку наших крестьян и победоносный вид наших воинов. Большого почтения они не оказывали никому, и как друиды, так и всадники не очень любили ездить к ним. Никакого начальника или главы у них не было; но управлял ими совет старейшин, о действиях которого они часто рассуждали, постоянно производя в нем перемены.

Каждый день сочиняли они какую-нибудь песню в насмешку над другими и над самими собой. По вечерам, когда у нас в деревне все уже спали мертвым сном, они любили собираться в домах или на улице и рассказывали друг другу новости. Некоторые из них любили давать даже целые представления, и в таких случаях они являлись в одеждах главных лиц города и, передразнивая их голос и телодвижения, говорили такой вздор, что можно было умереть от хохота. Многие из них ничем другим не занимались, как только ходили по циркюльнями и по домам, где продавалась сикера, и слушали все, что там говорилось для того, чтобы вечером рассказать другим. Если в город являлся какой-нибудь чужестранец, его тотчас же окружала толпа и осыпала вопросами.

Женщины у них были очень красивы. Они старались одна перед другой приукраситься и подражали тотчас же той, которая оделась лучше других. Каждый месяц они меняли покрой платья, передников, чепцов или обуви и изобретали духи и краски. То они являлись все рыжие, как лисицы, то настоящим чернильного ореха или металлических опилок красили себе волосы в черный цвет. Наперебой одна перед другой старались они надеть на себя как можно больше ожерелий, серег, колец и браслетов на руки и на ноги.

Такие же умные и живые, как мужья, они служили им отличными помощницами не только в хозяйстве, но и в ремеслах, при заготовке их товаров, которые им удавалось продавать вдвое дороже, чем они действительно стоили.

В сущности, мы, жители Альбы, не любили такого рода людей. Они платили нам той же монетой, обращаясь с нами как с крестьянами, дикарями, увальнями. Жаль, что такие люди захватили город, который, собственно говоря, принадлежал всем паризам, посе-

лились в нем и распоряжались, как хозяева. Когда мы приезжали на рынок, в собрание или на жертвоприношение, они принимали нас как чужих, и места в совете старейшин занимали сами, хотя все главные начальники деревень имели на них право.

Но ведь в сущности, они нам были нужны. Кому стали бы мы продавать наш скот? У кого могли бы мы покупать разные хорошие вещи? Кто бы давал нам в долг деньги, когда нам приходилось снаряжать воинов в какой-нибудь поход. Да и кроме того, надо сказать правду, что они забавляли нас. Наци часто ходили к ним под предлогом продажи баранов попить их вина, послушать их песни и узнать новости.

XI. Похороны великого предводителя.

Отец мой отправился в Лютетию, чтобы посоветоваться со старейшинами, как поступать с римлянами. Он поручил мне охранять деревню.

С ним поехали Цингеторикс, Карманно, Боиорикс и еще несколько других предводителей, а в провожатые он взял Думнака, Арвираха и Придано. Всадников он взял только для того, чтобы сопровождать его по улицам города, так как вести переговоры могли только предводители.

С вершины нашего утеса я долго следил глазами на удалявшимся отрядом, никак не думая, что отец в последний раз обнял меня!

День прошел, наступил вечер, стало смеркаться, и наши люди, обещавшие вернуться до заката солнца, не появлялись. Я начал тревожиться. Мать мучилась тяжелым предчувствием, ничего не ела и не пошла спать. Пропел петух, и со стороны Лютетии мы услышали зловещее завывание, погребальный напев, смешанный с воинственными, грозными криками. С каждой минутой завывание и крики становились яснее.

Я схватил копьё и меч, приложил буйволоковый рог к губам и протрубил тревогу. Звуки рога раздались эхом далеко кругом. Все деревенские собаки сразу завыли, и им ответили собаки из ближайших и отдаленных деревень вдоль реки. Совы заукали по лесу, в конюшнях заржали лошади. Воины и крестьяне выскочили из домов, полуодетые и вооруженные чем попало. В нашей деревне вскоре начался такой гам и крик, что не стало слышно криков людей, приближавшихся со стороны Лютетии.

В это время начала заниматься заря и осветила зрелище, которого я никогда не забуду. Между всадниками, идущими пешком, народ нес носилки, сделанные из зеленых ветвей. На этих носилках лежал отец с растрепанными волосами и с глубокой раной в груди.

Его положили перед дверью его дома, где он так часто разбирал дела своих подчиненных.

Все бывшие тут обитатели Альбы начали кричать, рвать на себе одежду, волосы и царапать лицо.

Мать моя бросилась на грудь отца, охватив руками его окоченевшую голову и прильнув устами к зияющей ране. Я поцеловал его в лоб, в глаза, в уста, потом вскочил и страшным голссом закричал:

— Кто это сделал?

— Жители Лютеции! — понутив голову, отвечали его проводники.

— Мщение! Смерть им! — крикнуло пятьсот голов.

Не скоро дождался я возможности узнать, как все произошло. Все бывшие с отцом говорили сразу, проклинали нечестивый остров и ломали себе руки. Вот, что узнал я наконец.

В то время, как отец мой, окруженный другими предводителями, совещался со старейшинами Лютеции, те из спутников его, которые не имели права участвовать в совещаниях, пошли, чтобы убить время, в один из тех домов, где продавали вино. Сидя вокруг грубого стола, они опустошали кувшины за веселой болтовней. Боиориксу надоели совещания, на которых он чуть было не заснул, и он пошел к своим спутникам.

Вскоре голоса наших воинов возвысились, и они начали хвастаться храбростью населения реки, говоря, что во всей Галлии нет народа храбрее их.

Обитатели Лютеции, угощавшиеся у другого стола, начали подтрунивать над хвастливостью соседей и передразнивать их говор и телодвижения.

— Жители острова, может быть, и не хуже касторов,— заметил кто-то из них.

— Лето уже миновало, и скоро наступит зима,— продолжал другой,— с тех пор, как мы просили касторов пойти на помощь нашим соплеменникам против римлян.

— Да,— сказал третий,— они ведь отличаются от сонливой белки и барсуков тем, что те спят от первого снега, а касторы засыпают, когда съплются дропки.

— Хотите, я вам покажу, на что похож нос кастора?— вмешался четвертый, бледный малый, с длинной шеей и неприятной наружностью.

Он взял в печке уголь и нарисовал на стене бобра, сидящего так, как их изображали на нашем оружии, но бобер этот трусливо прятался за дуб при виде показавшегося в отдалении римского солдата. Это был действительно бобер; но рисовальщик сделал голову животного с чертами лица моего отца; короткие усы бобра он нарисовал длинными и придал ему воинственный вид.

Наши касторы вскипели негодованием, но смотрели на Боиорикса, как на старшего, и ждали, что он скажет насчет этой дерзости.

Боиорикс вообще был тут на понимание, а в особенности после выпитого вина и сикеры. Привстав со скамейки и упираясь громадными кулаками о стол, согнув спину и покачиваясь на громадных ногах, он смотрел, выпучив свои круглые глаза, на рисунок на стене, не обращая внимания на смех присутствующих и точно не понимая, о чем идет речь. Когда он наконец понял, то выпрямился во весь рост, крикнул так, что стены задрожали, и, схватив громадный свинцовый жбан, пустил им в рисовальщика. Насмешник видел это движение и нагнулся с быстротой молнии; жбан только задел его, но зато попал в одного из стоявших сзади него насмешников прямо в переносицу и пробил ему голову.

Другие островитяне, пользуясь тем, что между ними и Боиориксом стоял громадный стол, поспешно бросились к выходу из дома; но на пороге они были настигнуты, и тут произошла страшная свалка. На моточайные крики сбежались со всех сторон и, не разобрав даже, в чем дело, принялись кричать:

— Бей! Бей! В воду! В воду!

Вскоре гвалт разнесся по всему городу. Всякую минуту против наших прибывали новые шайки горожан. Старые распри между рекой и островом пробуждались. На наших летели камни, горшки, словом, все, что можно было бросить. Боиорикс, не собираясь даже обнажить своего меча, только поднимал и опускал свой громадный кулак, пробивая головы, выбивая глаза, распулячивая носы, сворачивая челюсти. Горожане убежали на минуту домой и возвращались с копьями, мечами, луками и пращами.

Отец мой выбежал на шум в сопровождении товарищей, старейшины Лютеции сильно поотстали от

него. Он попытался остановить драку. Лат на нем не было, и шлема он не надел, потому что желал, чтобы его все узнали.

В эту минуту один из негодеев, с которым у него были неприятности по поводу охоты или рыбной ловли, бросив в него коротенькое копье, нанес ему в грудь смертельную рану.

Он упал, воины окружили его, и под прикрытием темной ночи они по узким переулкам пронесли его к мосту и перешли на другой берег. Многие из наших были ранены, и почти у всех было поломано оружие.

Мать моя не слушала этого рассказа. Она лежала на окровавленной груди отца, приложив лицо свое к его лицу, свои уста к его устам, точно хотела вдохнуть в него свою собственную жизнь, прикрыв его своими волосами, как золотым покровом. До самого полудня ее не могли оторвать от него.

Между тем из всех деревень реки постепенно сбегались начальники, всадники, конюхи и крестьяне. Несколькими тысяч человек кричали и плакали вокруг тела отца, потрясая пиками и мечами.

Наконец мать приподнялась. Она тихо встала и обвела всех только что плакавшими, но теперь уже сверкающими и сухими глазами. Она заговорила сначала медленно, но потом быстро и начала причитать о своем несчастье и о своей тяжелой потере.

Она говорила, от каких благородных предков происходит Беборикс, какая, почти божественная, кровь текла в его жилах, кровь Гу-Могущественного. Она упоминала о его подвигах на охоте и на войне, о его схватках с зубрами, с медведями и громадными волками, пожиравшими детей, о его битвах с врагами, о его поединке с великими предводителями в янтарном и алмазном ожерелье, о его славных походах на остров Британию, о сокровищах, приобретенных им, и о черепахах, украшающих его дом. Каким верным другом был он для своих союзников, каким покровителем для своих подчиненных, каким отцом для своих крестьян! Он был оплотом страны, непроницаемым щитом, копьем, постоянно наклоненным, мечом, постоянно поднятым для защиты хороших людей и для поражения злых. Кто когда-нибудь тщетно обращался к нему? У какого спутника спросил он об имени, прежде чем оказать ему широкое гостеприимство? Какой нищий отошел от его дома, не утолив голода и жажды? Какой несчастный обращался к нему и не нашел утешения? Он был силен, добр, счастлив, счас-

тлив как бог. И теперь он лежит тут, у порога своего гостеприимного дома, с грудью, пораженной рукой убийцы, и голубые глаза его сомкнулись навеки. Он пал не так, как желал пасть — на поле брани, при дневном свете, среди поднятых мечей и развевающихся знамен, защищая свою родину и свой народ. И из всех копий, поднимавшихся там кругом, ни одно не отстранило удара от его груди, никто из храбрых, охотно пожертвовавших бы за него жизнью, не возвратит румянца на его щеки, блеска его голубым глаз. Он оставил сына своего сиротой покинул свою возлюбленную жену, свою рабыню, свою дочь. Двадцать лет совместной жизни, верной дружбы кончились окровавленным прахом. Когда дуб падает, что становится с обвивавшим его плющом? Когда вылетает душа, тело распадается прахом. Смерть Беборикса есть смерть Эпонимы. Да соединятся они в одной могиле!

Пока мать говорила все это, женщины рыдали, а воины ударили в щиты.

Сколько с тех пор прошло лет, а я до сих пор слышу ее голос, взывающий к богам и умоляющий душу покойника вернуться в его тело. Она плакала так с отчаянием ребенка, призывающего свою мать, так с горечью покинутой женщины. Наконец, обессилев от горя и слез, мать упала без чувств, и ее вынесли.

После обеда приехал старый друид и прямо пришел к ней. Он долго говорил с ней и, вероятно, успокоил ее и внушил надежду на будущую жизнь. Ночью она немного заснула. Труп отца, поставленный в нижней большой комнате, на ложе из оружия, был окружен стражей из трехсот воинов, державших на мечах зажженные факелы.

На рассвете следующего дня неподалеку от деревни была вырыта громадная яма.

Воины, вскормленные у нас в доме, пришли мне объявить, что они намерены последовать за своим господином и благодетелем в иной, лучший мир, для того чтобы служить ему там так же, как они служили ему здесь.

— А я-то, я-то! Сын вашего благодетеля и вашего начальника, которого он поручил бы вам, если бы мне говорить, поручил бы под защиту силы ваших рук и вашей привязанности, — что же я буду делать? Какими щитами стану защищать я оставленное мне имущество и землепашцев, порученных моему попечению? С какими мечами двинусь я, чтобы исполнить мои

желание и освободить родину? Кто поможет мне наказать его убийц?

И, опустившись на землю, я при всех заплакал горючими слезами от горя и отчаяния.

В это время я услышал за собой легкие шаги матери, и встав, чтобы пропустить ее, я был поражен тем, что увидел.

Она шла медленно и торжественно, как дочь и супруга короля, левой рукой опираясь на плечо друида, а в правой держа ветку ярких цветов. С лица ее исчезло всякое выражение скорби; голубые глаза ее были подняты к небу, и она улыбалась самой счастливой улыбкой. Меня в конец поразило то, что на ней было праздничное платье белоснежной белизны, шерстяной голубой плащ с мешком, серые сандалии, перевязанные красными и золотыми шнурками. В волосах, только что вымытых, причесанных и заплетенных, были воткнуты золотые шпильки; ожерелье из янтаря и золота сияло у нее на шее, голые руки ее были стянуты наверху золотыми браслетами, золотой цепью соединявшимися с браслетами, охватывавшими кисть руки. На ногах тоже были браслеты. На пальце было надето обручальное кольцо. Она походила скорее на невесту, отправляющуюся на свадьбу, чем на вдову, оплакивавшую своего убитого мужа. Стоя на пороге, она заговорила так:

— Сын мой, друзья мои, верные слуги моего супруга! Вы видите меня нарядной и счастливой, как бы отправляющейся на празднество. Сегодня я увижу своего мужа, благородного Беборикса, потомка Гу-Гадарна, Сегодня я праздную свою свадьбу с ним, свою настоящую свадьбу: это будет не союз, заключенный двадцать лет тому назад, союз, который могли разорвать меч неприятеля, копье изменника, зависть богов, но блаженный, нескончаемый...

Я бросился к друиду и сказал ему:

— Объясни мне, старец, что все это значит?

— Сын мой,— отвечал он,— я тщетно старался отговорить ее от этого намерения. Она хочет умереть на трупе твоего отца... Напрасно старался я убедить ее, что боги ныне не требуют таких жертв... Это был обряд во времена наших предков, но ныне...

— Ныне! — перебила его мать.— А почему же и теперь не поступить мне так же хорошо, как поступали благородные женщины во времена наших предков?.. Разве Беборикс менее достоин, чем герои прежних лет, уносившиеся на небо в объятиях своих супругов?.. Разве он виноват в том, что погиб от темной

руки? Может быть, боги захотят удержать его в нижних слоях рая, потому что он погиб не на войне? Разве не правда, друид, что я, умирая добровольно, могу проникнуть в нижние слои, взять там своего супруга и подняться с ним в царство вечного блаженства, где усопшие смертные могут взирать на единого Бога, заключающего в себе всех богов?

— Ты,— вне себя вскричал я,— ты хочешь умереть! Погибнуть страшной смертью! Почувствовать на груди холодную сталь!

— Успокойся,— сказал мне друид,— она понюхает только эти цветы, что у нее в руках, и тотчас же душа ее отлетит вместе с ароматом, которым я их пропитал... Хотя я отговаривал ее от этого намерения, но не могу сказать, чтобы я порицал ее... В наши времена такие жертвы, может быть, нужны, чтобы умиливать богов... Будь уверен, что душа твоего отца, взятая душой этой героини, пройдет в область вечного блаженства, куда не проникла еще никогда душа друида. Как ты ни гордишься славой своего отца, но еще более можешь гордиться своей матерью. Сын героя и сын блаженной, чем же ты будешь для Галлии? Преклонись перед волей этой царской дочери. Преклонись перед волей богов, внушенной ей.

Я бросился на колени перед матерью и, рыдая, поцеловал край ее одежды.

Она же, улыбаясь, подняла меня и, положив руки мне на голову, благословила меня. Потом прижала меня к своему сердцу и проговорила:

— Прощай! Сегодня я буду с твоим отцом, и рад скажу ему, какого благочестивого и храброго сына оставляем мы.

Все воины точно также бросились к ногам ее, и все в один голос воскликнули:

— Мы не покинем тебя! Укажи нам путь и возьми нас с собой к твоему супругу.

— Я знаю о вашем великодушном намерении, сказала она,— но выслушайте меня! Я, Эпонима, мать Венестоса, именем супруга моего Беборикса, именем сына моего приказываю вам жить... Живите, чтобы отомстить за своего усопшего господина, живите для будущей славы нашего дома, живите, чтобы спасти нашу родину и освободить братьев!

Только два человека остались на коленях: Придан и Вандило.

— Госпожа! — сказал Придано. — Я стар, я не могу более приносить пользу твоему сыну; я уже служил двум великим предводителям из этого дома. Слуге можно извинить, если он переживет одного господина, но пережить двух бесчестно. Да и кроме того, я так часто видел, как тучи носились по небу, что не могу устоять против желания взглянуть, что делается по другую сторону их... Позволь мне следовать за тобой!

Другой продолжал:

— Госпожа, а я еще старше его да и к тому же слеп. Какую пользу могу я принести твоему сыну? Я служил трем поколениям моих господ, они любили мое пение и там наверху, вероятно, ждут меня. Да и кроме того, я так часто переживал жизнь людей, давно скончавшихся: Гу-Могущественного, Бренна и их походы в Италию, Грецию и Азию, и мне кажется, что там у меня друзей более, чем тут... Смерть точно пренебрегает мной, забыла меня... Я хочу напомнить ей о себе... Позволь и мне следовать за тобой!

Мать улыбнулась и обоим им сделала знак согласия.

В глубине ямы с беловатыми стенами возвышалась колесница отца.

Мать села в эту колесницу. На коленях у нее лежало тело отца в полном воинском вооружении, с волосами, вымытыми известковой водой и с лицом, прикрытым тонкой золотой пластинкой.

Подле него точно спали его верный конь и охотничьи собаки с перерезанными горлами. Придано стоял, опершись на свой меч; Вандило сидел на дышле колесницы с арфой на коленях и пальцами словно перебирал струны.

Глядя на воина и на барда, можно было подумать, что умирать очень легко и приятно. В могилу ежеминутно спускались слуги и ставили там кувшины с вином и медом, мешки с пшеницей, лепешки, плоды и все продовольствие, необходимое для путешествия туда, откуда никто еще не возвращался. В могилу спускались воины, крестьяне и рабы, явившиеся проститься с усопшим и с живыми покойниками. Все приносили подарки как им, так и своим родственникам, уже умершим. Богатые давали оружие, драгоценные вазы, серебряные и золотые монеты, снимали с себя ожерелья и браслеты. Бедные приносили баранов, петухов и несколько голубей. Молодые девушки обрезали свои волосы. Кто умел писать, те писали на буковой коре письма и просили Вандило и Придано передать их по назначению.

Гирлянды из маргариток и золотистой травы, колосьев, смешанных с васильками и маком, наполовину закрыли колесницу.

Старый друид, облаченный в белое одеяние с широкой пунцовой каймой, в черной рясе, наброшенной на плечи, с дубовым венцом на голове, с золотым серпом, привешенным к поясу, окруженный жрецами и бардами, молился, подняв лицо к небу и протянув вверх руки. Он просил богов благосклонно принять души усопших.

Затем он подал знак и закрыл лицо плащом. В эту минуту триста мечей ударились о щиты и, несмотря на крики воинов, вопли женщин и детей и звуки арф, голос Вандило, воспевающий Гу-Гадарна, удалявшегося по волнам океана, все-таки был слышен.

Я увидел, как Придано наклонился и острием меча перерезал горло Вандило, затем повернул острие к своему сердцу, и вслед за тем потекла струя крови.

Мать моя в последний раз взглянула на меня и поднесла руку свою к устам, пристально устремив на меня свои голубые глаза, а затем, наклонив голову к цветам, опрокинулась на спинку колесницы.

Я упал на руки своих воинов.

Вокруг группы усопших наложили груды камней и в виде свода и завалили землей.

Весь вечер и всю ночь при свете факелов, отражавшихся на оконечностях копий и на шлемах, народ накладывал камни на могилу.

Я должен был положить первый камень и глазами, горевшими от слез, смотрел на увеличивавшуюся груду, которая должна была прикрыть все, что мне было дорого.

Отец мой, такой храбрый и с некоторых пор такой ко мне внимательный; мать моя, выучившая меня ценить ласку и уважать богов; старый конюх, научивший меня любить цветы, леса и таинственную природу; бард с седой головой, возбудивший в сердце моем страсть к славе и уважение к героям Галлии,— все они спали вечным сном под этим курганом! Никогда более не услышу я их голосов, никогда более не увижу я их лиц! Никогда! Никогда! Они недавно улыбались мне, а теперь... Все мои годы детства, вся моя пылкая юность, мои мечты и игры, мои радости и надежды, все мое лучшее было погребено в этой могиле.

Со всех сторон долины народ нес камни на курган. И курган видимо увеличивался.

Даже теперь, когда какой-нибудь чужестранец проходит по нашей долине, он с удивлением спрашивает:

— Да кто же погребен под этим громадным курганом?

И узнав, что тут погребен храбрый воин, он поднимает камень и прибавляет к холму.

ХII. Война между Лютецией и рекой

По окончании похорон я начал совещаться с предводителями нашей долины о кровавом долге, который мне надо потребовать от Лютеции. Вокруг меня собралось сорок всадников, триста конюхов и до тысячи человек пехоты. Все они прибыли отдать последний долг моему отцу и приветствовать меня, как своего старшего брата или как отца. Целые быки жарились на больших кострах, и по всей долине разносилось бряцание оружия.

После совещания все дали клятву на мечех отомстить жителям Лютеции так, что об этой мести заговорит вся Галлия, если они не дадут полного удовлетворения.

Карманно в сопровождении большого отряда всадников отправился к воротам Лютеции, господствовавшим над мостом левого берега. Жители города, испугавшись такого вторжения, поспешили завалить ворота и через частокол начали спрашивать, что им надо. Карманно потребовал, чтобы человек, оскорбивший Беборикса, и тот, который поднял на него руку, были выданы родственникам жертвы в полное их распоряжение, и что, в противном случае, город будет разрушен. И он подал сторожу клочок волос, вырванных мною из моей бороды.

Карманно почти целый час ждал ответа, пока старейшины, собравшиеся по этому поводу, не кончили своих совещаний. Затем ему объявили, что ссора была начата обитателями Альбы, убившими одного из горожан; что после этого они ранили и изуродовали многих из в чем неповинных людей; что смерть Беборикса, конечно, была несчастьем; но в беспорядке и в темноте трудно было сказать наверное, кто его убил; что старейшины приложили все свои усилия, чтобы остановить кровопролитие, и что, следовательно, никакого удовлетворения давать они не будут и могут скорее сами потребовать удовлетворения от жителей реки.

— И вам больше нечего сказать нам? — спросил Карманно.

— Больше нечего, — отвечали горожане.

— Так пусть боги, мстители за преступления, рас судят нас!

Он взмахнул дротиком и бросил его в массивные дубовые ворота, а затем ускакал со своими провожатыми, так что под копытами их лошадей задрожал мост.

На следующее утро по дороге к Лютеции направлялись триста пятьдесят всадников в полном вооружении, восемьсот человек пехоты и двести голов скота, с палатками и продовольствием на три дня.

На полях, в окрестностях Лютеции, мы встретили крестьян, спешивших увезти жатву. Воины ловили их и предавали смерти, а несжатый хлеб и сложенный на возы тотчас же сжигали. Несколько купцов из Лютеции, направлявшихся в город с ослиами, нагруженными посудой и заморскими винами, подверглись той же участи; вино было выпито, а посуда разбита.

Подойдя к Лютеции, мы увидели, что мост снят; но всадники наши, осмотрев берега, нашли несколько судов; они захватили их, побросав их хозяев в воду. Наступила ночь, и мы устроили лагерь на открытой месте.

До восхода солнца я посадил на суда триста человек пехоты и отправился с ними, предоставив Цингеториксу начальство над лагерем. Переправившись на другой берег, мы побежали к большому мосту. Горожане уже собрались разводить его, и работать им пришлось под градом наших снарядов. Лютеция была окружена Сеной, как рвом; но на наших судах мы не могли перебраться в достаточном количестве, чтобы произвести нападение. В этот день мы окружили город с двух сторон и не пропускали в него ни путешественников, ни купцов: чужестранцев мы просто прогоняли, а горожан убивали. Подвоз по реке мы тоже прекратили; городские суда мы захватывали, а рыбные ловли уничтожали.

Однажды ночью мы попытались поджечь часток факелами, спрятанными в горшках. Попытка не удалась, и мы потеряли несколько человек. На следующую, очень темную ночь мы тихо переправились на другой берег и, высадившись у самого частокола, начали выкапывать и рубить бревна. В ту же минуту по всему городу забегали огни; горожане толпой прибежали к нам, и мы принуждены были удалиться под градом выстрелов.

Но Лютеция очень страдала из-за прекращения торговли и недостатка в съестных припасах. Утром на четвертый день от города отчалила лодка с двумя гребцами и бардом в зеленом венке, с арфой. Это был посол,— лицо для нас священное.

Подъехав к нам, он крикнул:

— Жители Альбы! Почтенные старейшины Лютеции приказали вам сказать, что неприлично таким воинам, как вы, прятаться в камьши, чтобы ночью захватывать врасплох ни в чем неповинных людей. Если вы хотите посчитаться за старую обиду, то выходите на бой в открытом месте, на поля у подножья горы. Они просят вас позволить навести малый мост, чтобы пропустить отряд воинов. Через два часа мы можем встретиться лицом к лицу, и сами боги решат наш спор.

После непродолжительного совещания я выразил послу свое согласие. Бард вернулся в город, а я позвал своих людей, бывших на правом берегу. Мы все собрались на левый берег и двинулись к горе Люкотиц, чтобы дать время жителям Лютеции пройти мост и развернуться перед нами на долине.

Я встал среди воинов и крестьян Альбы. Цингеторикс взял на себя начальство над правым крылом с Боиориксом и со всеми воинами Верхней реки, Карманно — над левым, состоявшим из людей, собравшихся с запада.

Мы увидели, как горожане открыли ворота с южной стороны, навели малый мост и затем под звуки труб двинулись узкой и длинной колонной. Не доходя триста шагов до нас, они развернули строй. Конницы у них не было, и даже старейшины шли пешком. Воины шли в полном порядке, под такт музыки, с видом людей, принявших твердое решение.

Я очень хорошо видел, что моим людям было жутко вступать в битву с людьми, с которыми так часто приходилось пировать вместе и весело болтать за одним столом. Наши крестьяне узнавали тех горожан, которым они не раз продавали баранов, которым пожимали руки и с которыми распивали вино. Я сам отвернулся, узнав в неприятельских рядах лица друзей, так часто бывавших у моего отца, почти всегда являвшихся с каким-нибудь подарком для меня, ребенка, и принимавших меня в Лютеции как родного сына.

В наших рядах были отцы дочерей, вышедших замуж на остров, и эти отцы в настоящую минуту

думали, что могут сделать дочерей своих вдовами, и детей их сиротами.

Но честь была задета, и кровь отца требовала отмщения с обеих сторон; были выдвинуты вперед воины, вооруженные пращами и луками, и раздались громкий крик. Наши всадники натянули поводья, чтобы броситься в атаку; два ряда пехоты, опустив копья, двинулись вперед.

Вдруг из леса с горы бросился между двумя отрядами высокий старик в белой одежде с красной киймой, увенчанный дубовым венком; за ним шли друиды в такой же одежде и барды с арфами в руках. Нечмотря на свистевшие стрелы и камни, старик бросился между нами, подняв руки кверху, и громовым голосом закричал:

— Остановитесь!

Не дожидаясь приказаний начальников, оба отряда сразу остановились. Опущенные копья поднялись, руки, приготовившиеся пускать дротики, опустились, а лошади, почувствовав, что их сдерживают, поднялись на дыбы.

Старец вышел на самую середину между двумя отрядами, посмотрел на начальников и, скрестив на груди руки, воскликнул:

— Еще прольются потоки галльской крови! И зачем? Что заставляет вас бросаться друг на друга, вас, детей одной и той же родины, утоляющих жажду одними и теми же источниками, говорящих одним и тем же языком и узнающих в лицах друг друга свои собственные черты?.. Вы находите, что Галлия еще мало истерзана иноземными победителями, германцами и латинцами? Вам еще самим хочется исцарапать грудь своей матери? Вам еще мало ста тысяч геллов, потопленных в волнах Роны или умерших с голоду в ущелье Юры, нескольких сот тысяч венетов, потопленных в море и других сотен тысяч галлов, проданных в рабство? Неужели вам не жаль многих сотен тысяч галльских женщин и детей, отданных в позорное рабство, храбрых предводителей, погибших от оружия и предательства врагов? Вам хочется новых жертв? Ну, так знайте, что Цезарь приказал умертвить Думнорикса эдуйского, единственного человека из этого славного вымершего рода. Да, он приказал своим всадникам окружить его и изрубить за то, что он отказывался перейти со своим отрядом за море и выступить с оружием против британцев с острова, тоже ваших братьев по происхождению и языку, за то

что он не захотел опозорить свой меч пролитой братской кровью.

Оба отряда как один человек воскликнули от горя и негодования. Кто же из нас не слышал о Думнориксе, единственном из эдвев!

Друид продолжал:

— Вы, паризы острова и паризы реки, вы не обнажили своих мечей, когда Цезарь проливал кругом вас на востоке, западе и севере, как воду, кровь ваших братьев. Вы не взяли за оружие ни за белгов, умолявших вас о помощи и обнимавших ваши колени, ни за арморийцев, умирая, проклинавших вас. Сложив руки, смотрели вы на проходившие мимо вас вереницы пленных галльских женщин, ваших матерей и ваших сестер, смотрели, как плетью полосовали им плечи...

— Жители Лютеции помешали нам пойти на помощь белгам,— воскликнули обитатели Кастора.

— Касторы отказались идти на помощь арморийцам! — отвечали острожитяне.

— Вы все одинаково виноваты! — перебил их старец.— У вас имеется оружие и храбрость только для братоубийств. У вас нет даже того, что природа дает животным: волк не станет ждать, когда его придут изгонять из его логовища, а сам бросится на своего врага; убегающий зубр всегда остановится и вернется к охотнику, который нападает на стадо зубров. Чего вы ждете? Чтобы боги сами взяли на себя труд освободить вас от Цезаря? Когда он переправлялся через океан и Рейн, вы вообразили, что река задержит, а море поглотит его, и вы совсем успокоились. Но вот он вернулся с острова Британии и, отправившись туда еще раз, снова вернулся победителем храбрых британцев, ваших заморских братьев, вернулся с новыми несметными толпами пленников. Он *вернулся*, говорю я вам, и готовится на новые злодеяния! Белги мешали ему действовать против вас; нашлись и другие храбрые галлы, взявшиеся за оружие и на время отделившиеся от вас грозу, готовую разразиться над вами. Цезарь бросился на них и ведет с ними опустошительную войну... Допустите раздавить их, как вы допустили давить других и тогда скоро та же участь постигнет и вас. Ускорьте свою судьбу, обращая оружие друг против друга. Цезарь оставит вас на некоторое время в покое: ведь вы помогаете ему. Он презирает вас, потому что вы, обитатели реки, проводите время только на охоте и за питьем; а вы, жители Лютеции, только

умеете спрашивать, нет ли чего-нибудь новенького, и наконец все вы ненавидите друг друга более, чем вы ненавидите общего врага. Вас ожидает участь всех других галльских народов, из которых одни отправляются на войну, а другие из зависти или из трусости смотрят, как те умирают или даже помогают неприятелю. Если только подумать, что все вы могли бы согласиться забыть свою ненависть и, подав друг другу руки, вместе броситься на горсть римлян, то ведь легионы были бы прогнаны с кельтской земли, Цезарь принужден был бы бежать за Альпы, а Рим содрогнулся бы, как некогда, от страха перед полчищами галлов. Но вы презираете богов, вы забываете, что Тейтат — общий отец всех ваших народов, и потому вы погибнете все от меча противника. Да, все! Вы увидите, как будут гореть ваши города, разрушаться ваши укрепления, опустошаться ваши кошельки для уплаты долгов Цезарю, как будут умирать под ударами плетей ваши жены и дети...

По мере того, как он говорил, начальники и солдаты обоих отрядов приблизились к нему. Островитяне и касторы перемешались, забыв, что им надо остерегаться друг друга. Под впечатлением резких слов они дрожали, понутив головы и ломая себе руки. Предсказания друида пугали их как священные проклятия, каждое слово которых может быть роковым. Слушая угрозу, что их жены и дети могут быть взяты в рабство, они подняли руки и с мольбой вскричали:

— Замолчи, отец: речи твои принесут нам не счастье!

— Как же иначе говорить, чтобы заставить глухих слушать?.. Вы ничего не слышите и не видите! Посмотрите хорошенько на людей, приезжающих из Италии под видом торговли и привозящих вина, которые вас опьяняют и развращают. Они знают, что падение ваше близко и рассчитывают уже, какую извлекут из этого пользу. Они замечают лучшие земли, которые Цезарь даст им и в которых они строят свои селения. Там, где процветают теперь целые племена галлов, послелятся десять римских владетелей. Крестьяне ваши превратятся в рабов, которые будут работать из-под плети; воины ваши, как наемники, будут служить римским солдатам, и центурион будет наказывать их розгами; а жены ваши сделаются служанками римских матрон. Ваши вековые дубы падут под ударами топора; алтари ваши обгалятся кровью ваших друидов и бардов. Вместо единого Бога в новых городах будут

поклоняться каменным и мраморным идолам, статуям римских разбойников. Посмотрите, как в ваших городах и деревнях шныряют эти торгаши из Италии. Они исподлобья высматривают тебя, Боиорикс, и высчитывают, сколько такой, как ты, сильный раб может в день размолоть ржи. И глядя на тебя, Думнак, и на тебя, Арвирах, они вычисляют, за сколько можно продать таких гладиаторов, как вы, которые могли бы задушить друг друга на виду верховного народа. А вы, жители Лютетии, как хорошо можете вы, закованные в цепи, делать золотые вещи, быть ловкими, умными и забавными слугами и кротко сносить толчки и пощечины... Это будущее вы сами себе подготавливаете. Это послужит вам достойным наказанием за ваши распри, святотатства и позорные междоусобные войны.

Тут я стал объяснять ему справедливую причину моего негодования, но старейшины Лютетии заговорили все сразу, оправдывая себя.

Старец отстранил нас рукой и продолжал:

— Я все знаю... Спрашиваю у вас только одно: желаете ли вы драться, как дикие звери, или соединитесь ради спасения своей родины? Решились ли вы забыть свои частые раздоры и думать только об отмщении за общее оскорбление? Галлы ли вы или бешеные гладиаторы, заранее подготавливающиеся, чтобы быть взятыми Цезарем для потехи римского народа?

— Отец! — крикнули ему со всех сторон. — Скажи, что нам делать, и мы послушаемся тебя!

— Так вы берете меня в посредники? Я согласен рассудить вас, но помните, что тот, кто осмелится восстать против моего приговора, будет наказан богами.

Он замолчал на минуту и затем торжественно продолжал:

— Кровь благородного Беборикса была пролита преступной рукой... В этом деле имеются два главных виновника: тот, кто нанес первое оскорбление, и тот, кто нанес смертельный удар; но кровь эта обрызгала весь город, потому что преступление оказалось ненаказанным. Я приказываю, чтобы человек, осмелившийся нарисовать оскорбительный рисунок, и тот, кто нанес смертельный удар славному защитнику нашей родины, были изгнаны из Лютетии и под страхом смерти лишены права вернуться. За пролитую кровь совет старейшин должен дать сыну убитого двенадцать бронзовых шлемов, двенадцать щитов и двенадцать мечей из хорошей стали. Венестос же должен без всякого выкупа освободить взятых им в плен горожан.

Так как и он запачкался в братской крови, то он обязан дать двенадцать двухгодовалых белых быков, еще не употреблявшихся в работу, без всяких недостатков и пятен. Они будут принесены в жертву в священной ограде горы Люкотиц богине Белизанае, и все воины обоих отрядов примут участие в жертвоприношении, дабы очиститься от вины. Я сказал!

Лишь только он окончил, как все горожане подняли руки и воскликнули, как один человек:

— Да будет так! Да будет так!

Так как я молчал, раздумывая о своем убитом отце, и не мог совладать со своими чувствами, то друид обратился ко мне и, строго посмотрев на меня, сказал мне в полголоса:

— Неужели, Венестос, отец твой, поднявшийся вместе с твоей святой матерью в область вечного блаженства, будет доволен, что ты в галльской крови омываешь нанесенное ему оскорбление?

Я поник головой и потом громко сказал:

— Да будет так!

Таким образом кончилась война наша против паризов Лютеции. Старейшины просили меня прислать несколько всадников, чтобы присутствовать при исполнении приговора над виновными. Я поручил Карманно присутствовать при этом, а в провожатые ему дал Думнака и Арвираха. Они вошли в город, и при них в северные ворота выгнали обоих виновных. Палач, нанятый сенатом для наказания преступников, одно только прикосновение которого считалось позорным, гнал перед собой обоих злодеев до конца большого моста. Там он объявил им, что если они осмелятся перейти когда-нибудь через этот мост, то будут заживо сожжены; затем он толкнул каждого ногой. Они пошли, сопровождаемые проклятиями и криком народа.

Старейшины задержали наших всадников, чтобы угостить их вином из почетного кубка. Я узнал, что вечером во всех переулках городские барды воспевали доблести моего отца и великодушие сына.

ХIII. Урок политики

Вся Галлия находилась в волнении. Почти все племена чувствовали тяжесть руки Цезаря, но никто из них не хотел терпеть поражения, и все старались сговориться с соседями, чтобы действовать общими

силами. Послы переходили от одного племени к другому, и в ожидании общего восстания там и тут вспыхивали преждевременные беспорядки.

Со времени своего возвращения с острова Британии Цезарь всю Галлию опутал сетью своих шпионов.

Чтобы обеспечить себе друзей среди галлов он восстановил у карнутов и у зенонов царскую власть, исчезнувшую почти во всей Галлии. Царями он назначил людей, вся заслуга которых заключалась в низкопоклонничестве перед римлянами.

Карнуты убили своего предателя, зеноны тоже хотели убить своего, но он успел убежать. Цезарь отправил в эту часть Галлии легион, не столько для того, чтобы подавить беспорядок, на что у него не хватало людей, а чтобы наблюдать за волнениями.

На севере Амбиорикс возмутил эбуронов, и те взяли римский лагерь, уничтожили целый легион и сложили к ногам своего предводителя римского золотого орла, десять знамен и головы двух легатов*, Сабина и Котты. Вскоре и другой римский легион подвергся нападению того же Амбиорикса и был так ловко окружен в своем лагере, что ни один человек не мог выйти из него!

Один легион был уничтожен и другому готовилась та же участь! Значит римлян-то можно было побивать!

На юге также мало-помалу готовилось всеобщее восстание галлов, и таким образом война и тайное восстание со всех сторон распространялись по стране паризов. Друид был прав: мы могли спастись только в союзе. Но все-таки время взяться за оружие еще не наступило. Мы были окружены легионами: вся сила Рима по-видимому сосредоточилась на этой части Галлии. Еще с большими предосторожностями, чем обыкновенно, Цезарь устраивал лагерь, возвышая валы и усиливая караулы.

Нам следовало остерегаться, чтобы каким-нибудь неловким поступком не навлечь на себя бурю, и мы с величайшей осторожностью начали готовиться к восстанию. Во всех наших деревнях принялись ковать наконечники копий и стрел. Оружие, которого мы не умели делать, я поручил купить купцам Лютеции и просил, чтобы они хранили тайну. В лесу я вырыл громадные ямы и зарыл в них зерновой хлеб. Лошади

* Так назывались у римлян посланники, которые отправлялись к другим правительствам или народам.

были выпряжены из плугов и поставлены на овес и ячмень, чтобы откормить их для войны.

Я постоянно посылал гонцов ко всем предводителям паризов, чтобы поддерживать в них бодрое настроение, и просил их всегда быть готовыми и не бросать нас в случае нужды; кроме того я собирал отовсюду сведения и часто ездил в Лютецию, где меня принимали с полным уважением, как дорогого гостя.

Зима прошла, наступило лето, потом и осень, а я все еще не мог подать знака к восстанию. Между тем вся Галлия подготовлялась, и Цезарь не покидал наших окрестностей, за исключением тех случаев, когда он отправлялся в тот или иной поход, о судьбе которых мы узнавали только по его окончании.

Таким образом этот год прошел для нас довольно мирно; это был последний год перед всеобщим восстанием и страшной борьбой за свободу. В жизни моей он ознаменовался многими событиями, о которых я не могу умолчать.

В то время, как первые желтые цветы стали распускаться в сырых лесных прогалинах, Вергудодумно, один из старейшин Лютеции, приехал сообщить мне, что Цезарь созывает собрание всех галльских племен, друзей и союзников Рима, и что паризы должны послать туда своих уполномоченных.

— Отправляйтесь туда, если хотите! — отвечал я. — Что касается меня, то я не пойду: я не друг римлян.

— На тех, кто не явится на собрание, он будет смотреть как на врагов, и на них-то прежде всего пошлет свои легионы. Наверное карнуты и зеноны поедут. Это уж их дело. Нам же, как его ближайшим соседям, нечего обращать на себя его внимание.

— Ну да, обыкновенные уловки! — вскричал я. — Избегать первых ударов, не попадаться первыми навстречу бешеному зверю... Но ведь надо же кому-нибудь начинать!

— Отлично, — насмешливо отвечал мне старейшина. — Ты говоришь как герой. Отлично! Ну, так и чнем! Прежде всего никто из паризов не должен показываться на собрании. Цезарь сразу заметит наше отсутствие. У него под руками четыре легиона, что составит с союзниками пятьдесят тысяч человек. Все они через три дня могут быть у нас. Готов ты принять их?

— Паризы храбры, — с некоторым смущением отвечал я.

— Да, но только нас будет всего десять тысяч против пятидесяти. Между нами много людей, никогда не бывших на войне, ремесленников, выведенных из мастерских, крестьян, плохо вооруженных, и рабов, которым совершенно все равно, какому служить господину. У Цезаря же все настоящие солдаты, люди выдержанные, привыкшие к летнему зною и к зимнему холоду, способные сделать два перехода по горло в воде... И вот ты увидишь, как распорядятся в Альбе африканцы с черными лицами, для которых каждый гвоздь представляет ценность.

— Так что же делать?

— Не расходиться с нами. Жители Лютетии должны действовать за одно с жителями реки. Постараться, чтобы Цезарь не заметил на собрании нашего отсутствия. Наш совет пошлет уполномоченных, и ты будь с ними, так как отсутствие такого предводителя, как ты, будет сейчас же замечено. Чем ты рискуешь? Надо непременно посмотреть этого человека и послушать, что он нам скажет. Это нам не помешает быть готовыми к предстоящей борьбе.

— Я много лет слышу о предстоящей борьбе, и все говорят, что вот-вот она начнется...

— Выслушай меня до конца и прости старику, что он дает тебе урок политики. Знай прежде всего, что восстание белгов, арморийцев и других пограничных племен не имеет никакого значения. Не это может спасти Галлию. Надо, чтобы зашевелился центр, а центр занят двумя могущественными народами, союзниками которых можно назвать почти все народности Галлии. До тех пор, пока эдуи и арвернцы будут терпеть у себя начальников, преданных римлянам, нам нельзя трогаться, с риском сломать себе головы. А ты видишь, что в продолжение пяти лет Цезарь действует огнем и мечом в нашей Галлии, и ни арвернцы, ни эдуи не шевельнулись; они даже помогают римлянам. Почти вся Галлия разделяется между этими двумя народами, и если они когда-нибудь соединятся, несмотря на соперничество и разъединяющую их ненависть, то вся Галлия поднимется. Война перенесется в Римскую провинцию; Цезарь будет откинут по другую сторону Альп, в Верхнюю Италию, и вызван в Рим, где врагов его и ненавистников удерживают только постоянно получаемые известия о победе. В Риме тотчас же начнется междоусобная война; все угнетенные народы сразу восстанут, начиная от мавров в Африке и кончая сирийцами в Азии. Но пока ни

арверницы, ни эдуи не подают признаков жизни, и потому в настоящее время у нас нет другого выбора, как только принять приглашение Цезаря или ждать нападения... На что же ты решаешься?

— Я поступлю так, как сделают жители Лютеции... Но сначала мне надо посоветоваться со своими.

Я собрал своих воинов и ближайших начальников. Старейшина повторил им вкратце то, что говорил мне, и я поддержал его. Они отвечали:

— Нам приятнее было бы встретиться с Цезарем лицом к лицу на поле брани, чем в собрании, где ведутся пустые разговоры. Но все-таки мы увидим и послушаем кое-что. Разговор ни к чему не обязывает. Мы согласны, во всяком случае, с тем, что решит Венестос.

XIV. Собрание в Самаробриве.

Мы отправились на собрание в Самаробриву, город амбиенов на Сомме. Нас было человек двадцать начальников, как из города Лютеции, так и из других парижских местностей, и всех сопровождали наши лучшие воины.

На третий день путешествия мы переехали мост через Сомму и въехали в город, где с трудом нашли помещение, так как город оказался чуть ли не меньше Лютеции. Он был полон галльских шлемов со сквозным гребнем. Здесь собрались главные начальники всех племен, поклоняющихся Тейтату. Эдуи, заметные по своим черным глазам и свежему цвету лица, переходили от одних к другим, заискивая и ласкаясь, порицая Амбиорикса и его варваров, хвастаясь своим значением при Цезаре и предлагая свое покровительство. Рано утром мы с парижскими уполномоченными переправились на правый берег, где должно было происходить собрание. Четыре римских легиона заняли площадь с трех сторон, оставив четвертую для уполномоченных Галлии. Три стены четырехугольника так и сверкали на солнце. Ах, друзья мои, что за порядок был, какая дисциплина и какая тишина в этих рядах! Каждого солдата с железным шлемом, со спущенным забралом, с застегнутой чешуей, в латах из стальных кусочков, с железными наплечниками -- можно было принять за статую, если бы сквозь забрало не сверкали черные глаза и от поднимавшейся равномерно груди не сверкали металлические пласт-

тинки лат. У всех было одинаковое вооружение, у всех сбоку висел коротенький меч, на левой руке был надет четырехугольный щит с извивающейся молнией, а в правой руке копьё. Под латами все были одеты в тунику из коричневой шерстяной ткани и в серые шерстяные штаны, доходившие до колен. Шея, руки и икры были голые, на ногах они носили сандалии.

Все они точно не замечали нас, и все внимание их было обращено на их начальников. *Центурионы*, старые служаки, поседевшие под латами, с грудью, покрытой знаками отличия, ходили между рядами и осматривали оружие.

Глядя на этих солдат, трудно было предположить, что они сделали такие утомительные походы, с тяжёлыми ношами, целыми днями пробиваясь по камышам и болотам. На их одежде не было ни пятнышка, ни дырки. Тело их было вымыто в бане, оружие отшлифовано, шерстяная одежда вычищена. От них пахло мускусом и розовой водой, так как Цезарь любил, чтобы солдат одевался тщательно и не забывал даже подушиться. Он говорил, что щеголи дерутся не хуже других.

Перед рядами каждого легиона проезжали взад и вперед верхами начальники отдельных частей, два *легата*, шесть *трибунов* и *квестор*, все в шлемах с громадными красными султанами, в латах из золотых пластинок и в длинных пурпуровых плащах.

Над рядами, между блестящими копьями виднелись крылья золотого орла каждого легиона, насаженного на древко, убранные разными медалями, говорившими о победах, с целыми пучками лент и гирляндами цветов, и красное знамя каждой когорты, на котором виднелись четыре золотые буквы S.P.Q.R., то есть: «*Senatus populus que romanus*» («Сенат и народ римский»).

По другую сторону виднелись металлические и чешуйчатые латы конницы, блестящие из-под больших плащей зеленой шерстяной ткани с красными каймами, низенькие шлемы римских и испанских всадников, шлемы с крыльями галльских союзников и белые плащи африканских наездников. Мешки от этих плащей, накинутые на голову, были зачастую привязаны веревкой так, что спускались на лицо, точно чепцы крестьянок. Издали эти африканцы походили на старух, но вблизи всякого поражал блеск их черных продолговатых глаз, горбатый огромный нос, черная борода, темный цвет кожи и зверское выражение лица.

Несколько далее виднелись поднятые, как гигантские руки бревна вроде мачт, лишенных оснастки, бронзовые бараны головы на шестах, громадные тяжелые кузова на блестящих железных колесах. Это были знаменитые римские стенобитные и метательные орудия, отдельные части которых носили названия: *баллиста*, *катапульта*, *башня**.

Посреди площади возвышалась на насыпи площадка — *преториум*, с которого начальники римских войск судили обыкновенно побежденных народов и говорили к своим солдатам.

Раздались трубные звуки конницы, и пехота заиграла на рожках. По всем рядам пронеслась команда; военачальники на лошадях и центурионы хлопотали перед рядами; последние точно еще более окаменели, и ни одно копьё не возвышалось над другим; золотые орлы поднялись еще выше.

Со стороны римского лагеря показалось облако пыли, сквозь которое блестели шлемы, сверкали мечи, развевались султаны. Отряд обогнул правое крыло римских рядов и остановился у преториума. Человек среднего роста, в золотых с узорами латах, в красных сапожках, в пурпуровом плаще, с непокрытой головой, поднялся по ступеням и встал перед тронном из слоновой кости, сиявшим на возвышении. Из великолепной свиты, окружавшей его и состоявшей из галльских вождей, испанских и римских военачальников, одни, не сходя с лошадей, остались внизу, а другие поднялись по ступеням и встали полукругом вокруг Цезаря.

Я ясно рассмотрел красную юбку на голых ногах, коротенький меч на левом бедре и бледное, худое лицо с редкими и тщательно зачесанными вперед волосами, высокий лоб, орлиные глаза, большой, выдающийся подбородок, выбритое лицо, морщинистые щеки, изредка оживляемые улыбкой, но по большей части совершенно неподвижные. Это был маленький человек с гибкими членами, с нежными тонкими руками, с узкими плечами и, я бы сказал, с

* Баллиста — метательная машина для бросания камней или длинных заостренных бревен. Катапульта имела вид большого лука и служила для метания больших стрел с железными наконечниками. Башни были подвижные, строились из дерева, имели несколько этажей. Внизу помещался таран, а сверху солдаты.

несколько восточным лицом. Итак, передо мной стоял человек, который побеждал великанов, разрушал укрепленные города, покорял Рейн и океан, уничтожал целые народы. На его гордом лице не видно было никакого человеческого чувства, кроме разве властолюбия и полного равнодушия к страданиям смертных, как будто бы он был сделан не из того теста, что другие люди.

Каждый из тысячи галльских вождей, собравшихся у подножья преториума, теснился, чтобы хорошенько рассмотреть его.

Цезарь одним взглядом сосчитал нас. По лбу его с быстротой молнии пробежала складка досады, чуть-чуть исказившая углы его рта, и я услышал, как он ясно проговорил стоявшим около него:

— Ну, видите? Они не приехали!

Они, очевидно, означало зенонов и карнутов.

По быстро данному приказанию, пять или шесть человек отделились от свиты, встали на землю на одно колено, разложили папирусы и, подняв перья, стали ждать. Я понял, что он стал диктовать несколько писем в одно время. Перья бегали по папирусу. Когда письма были кончены, они сложили листки, растопили воск на зажженном факеле, принесенном солдатом, а Цезарь, сняв с пальца перстень, запечатал им вместо печати.

Этот перстень своим блеском обратил мое внимание. Он был сделан из массивного золота, с большим круглым красным камнем, на котором что-то было вырезано, — кажется, образ женщины.

Все это длилось не более минуты. Писавшие встали, засунули письма за пазуху и сейчас же вскочив на лошадей, поскакали по различным направлениям.

Цезарь подошел к своему краю возвышения, окинул всех нас быстрым взором и резким, отчетливым, повелительным голосом проговорил следующее:

— Благодарю вас, что вы явились на мой призыв. Я жалею, что не вижу между вами гостей, на которых рассчитывал, и жалею не за себя, а за них...

Несмотря на то, что он отлично владел собой, мы чувствовали, что все в нем кипело. Он ходил взад и вперед по возвышению, и вдруг, остановившись, обратился к нам:

— Многие из тех, что находятся здесь, плохо меня знают! Люди клеветают на меня! Они, конечно, рисуют меня жаждущим побед и галльской крови... Какие победы одержаны мной в эти шесть лет войны? Какие

кельтские или белгские земли присоединил я к римской провинции? Разве я не оставил каждому народу его земли, его законы, его богов, его сенат? Я пришел к вам на ваш зов. Я воевал с гельветами, чтобы спасти эдуев и приморские народы от страшного нашествия; воевал с белгами, потому что они нападали на ремов, с венетами, потому что они разбойничали на море и грабили корабли соседних племен. Ссылаюсь на уполномоченных этих народов, умолявших о моей помощи. Они стояли передо мной на коленях, как перед благодетелем. Кровью своих солдат купил я вашу независимость, отнял ваши земли у жадных германских орд, у зарейнских бродяг. Уполномоченные эдуев, секванов и приморских народов, возражайте на это, если я говорю не истинную правду!

После этих слов в рядах начальников, преданных Риму, послышались редкие, тихие, нерешительные возгласы.

— Вам тоже говорили о моих жестокостях. Но с кем же я был жесток? С венетами, которые задержали моих послов, совершив преступление, наказуемое даже вашими богами. С Амбиориксом и его воинами, пригласившими на совещание моего легата Сабина и подлым образом убившими его? Ни с одним галльским народом не вел я войны, несправедливо вызванной. Сколько раз на вызовы отвечал я терпением, прощением и забвением! Уполномоченные ремов, помните вы старцев, явившихся ко мне с распростертыми руками и умолявших меня сжалиться над вашим народом? Припомните женщин с распущенными волосами, обезумевшими от ужаса и с вершин укреплений подававших мне своих младенцев. Уполномоченные эдуев, разве я не обратил внимания на ваши мольбы?

На этот раз начальники эдуев и ремов с жаром захлопали в ладоши и закричали:

— Да, ты был отцом для нас и наших союзников! Резкий голос друида Дивитиака проговорил:

— Презри клевету, Цезарь! Раздави ее ногой своей. Цезарь продолжал:

— Галлы! Вам списывают римлян, как иноземцев, которых следует теснить и изгонять. Но почему римляне могут быть более чужими в Галлии, чем германцы, утвердившиеся на всем левом берегу Рейна? Наш язык, галлы Кельтики, для вас понятнее, чем язык большей части белгов; а для вас, галлы Бельгии, понятнее, чем язык ваших ближайших соседей. Но-

которые друиды призывают против нас своих богов, тогда как мы поклоняемся тем же богам, что и вы, только под другими именами. Все нас соединяет. У нас так же, как у вас, есть сенат, сословие всадников, верховные жрецы... Вам говорят, что я вношу к вам рабство. Взгляните на наши легионы: сколько солдат, набранных в Верхней Италии из ваших братьев, помнят еще, как предки их говорили на одном с вами языке! Из приближенных мне военачальников сколько родилось в римской провинции, и в жилах их течет галльская кровь! В самом нашем сенате, собрании богоподобных граждан, вы встретите старых предводителей кельтских племен. Наш город, наше войско никогда не было закрыто для людей вашего племени. Я пришел к вам только для того, чтобы скрепить старый союз и предложить вам разделить с нами завоевание и обладание всем светом. Я пришел для того, чтобы дать всадникам высокое положение, чтобы покровительствовать честному работнику, обезопасить торговые пути, почтить жрецов, действительно преданных святому делу... Не так ли, Дивитиак, мой благородный и ученый друг?

И Дивитиак отвечал:

— Наши боги — ваши боги, и ваша родина будет нашей.

Но присутствующие, за исключением эдуров, ремов и начальников арвернцев, все молчали. Видно было, что Цезарь был недоволен этой холодностью. Кажется, он посмотрел на паризов, когда стал продолжать свою речь.

— В таком случае, что же значит это горячее сочувствие к Амбиориксу и его головорезам? Огорчение при известии о наших победах и радость при ложных слухах о нашем невозможном поражении? Это очевидное презрение к нашим самым верным союзникам и расположение к нашим врагам? К чему эти предсказания друидов о будущем унижении наших орлов? К чему эти разъезды гонцов, выслеживание того, что делается в наших лагерях, поспешная продажа скота, тайная покупка оружия и лошадей, эти склады хлеба в укрепленных городах и в лесах? К чему это? Что от меня надо? Если хотят войны, то следует заявить об этом открыто! Отправляйтесь в таком случае к белгам, которыми вы восторгаетесь и которые завтра перестанут существовать. Для меня, для моих храбрых солдат, для моих верных союзников в Кельтике и Бельгии это будет лишним походом!

Из того, что легат был предательски убит, что две или три когорты были разбиты, вы воображаете, что римлян можно победить! Да если бы даже кому-нибудь и удалось уничтожить мои восемь легионов, то не следует забывать, что в Риме их сорок! Можно ли забывать, что Рим нельзя истощить войнами, что ребенок вырастет там, чтобы отомстить за отца? Можно ли забывать, что весь свет, начиная от стрелков на Тигре до наездников на Атласе, вооружится и выступит под нашими знаменами? Рим видывал врагов более страшных, чем Амбиорикс! А где же они теперь? Разве несокрушимая скала Капитолия поколебалась? Ганнибал только видел стены Рима, а войти в него не мог. Он был разбит в своей Африке, нагнан своими собственными гражданами и присужден к позорной смерти в далекой Азии. А Ганнибал не то, что Амбиорикс.

Всякий раз, как Цезарь произносил имя Амбиорикса, глаза его так и сверкали ненавистью. Он закончил речь так:

— Борьба с Римом — это бороться с богами. Такая борьба должна кончиться поражением и смертью... Я сказал то, что должен был вам сказать, не столько из любви к Риму, сколько по истинной дружбе к вам... Вы видите мои легионы: они приведены сюда для того, чтобы успокоить добрых и заставить трепетать злых. Люди умные должны это понять!.. Теперь меня призывают другие заботы; а через две недели все галлы соберутся еще раз. Будьте на этом собрании: я буду на нем, и там вы увидите мои легионы со знаменами, на которых будут написаны новые победы... Расходитесь!

Таким образом кончилось собрание. Мы поехали в город, и все мы, галльские вожди, ехали молча.

На следующий день я разбудил своих людей, и мы потихоньку поехали в Лютетию. Мы увидели, что дорога была истоптана бесконечным множеством сандалий, множеством копыт и изборождена колеями от тяжелых колес. Мы узнали, что еще ночью Цезарь с легионами прошел по этой дороге, направляясь к Сене.

Когда мы прибыли в Лютетию, нам сказали, что Цезарь тут проходил и вернулся через сорок восемь часов, поспешно направляясь к северо-востоку. В несколько дней поход против карнутов и зенонов был окончен. Мы были поражены быстротой этого похода. Мы только что видели его на юге, как он был уже на

севере и с яростью побивал непокорных. Через несколько недель мы узнали, что он перекинул мост через Рейн и во второй раз переправился через большую реку, чтобы распространить ужас в германских лесах.

Нам было тяжело, но мы не падали духом... Боги наконец освободят нас: два раза человек этот переплывал через океан и два раза через Рейн; морские боги не всегда терпели такую наглость человека. Морские волны уже разбили его флот,— почем знать, может быть Рейн разрушит его мост?

XV. Амбиорига

Постоянно стараясь поддерживать союз с паризами против иноземного владычества, я отправился однажды посетить одного предводителя правого берега. Меня сопровождали только Думнак и Арвирах.

Через Сену мы переправились на судне, которое затем спрятали под высокую иву. Пробыв в деревне два дня, мы на обратном пути подъехали к берегу и остановились, чтобы закусить.

Вдруг мы увидели подъехавшего к реке всадника, направлявшегося с северной стороны. Он был вооружен и одет как германец. Всадник был весь в пыли и, очевидно, утомлен, как была утомлена и его лошадь. Нас всего более удивило то, что лицо его было закрыто не только опущенным забралом, но еще стальной сеткой. Таинственный всадник подъехал к самой воде и древком своей пики стал пробовать глубину. Река была глубока и быстра, что, очевидно, огорчило его. Вдруг он вскрикнул от радости, заметив под ивой наше судно. Соскочив с лошади, он взял ее под уздцы и, войдя на судно, вынул меч, чтобы обрубить веревки.

Думнак и Арвирах тотчас же вскочили, выхватили свои мечи и, бросившись к незнакомцу, стали кричать:

— Стой, бродяга? Для тебя разве мы припасли судно? Сойди прочь!

Незнакомец быстро спрыгнул на берег и древком своего копья ударил направо Арвираха и налево Думнака. Оба упали ниц, вытянув руки, и так как это происходило у самой реки, то оба они попали в воду.

При виде этого я страшно рассердился: в лице моих воинов оскорбляли и меня. Я отвязал своего коня, вскочил на него и, опустив копье, понесся на врага.

Увидев меня, он также вскочил на лошадь и покакал ко мне, также с опущенным копьём, прижав к груди щит.

Мое копьё скользнуло по его щиту, а его копьё разбилось о мой бронзовый пояс. От этих ударов мы почти опрокинулись на спины наших лошадей, а те присели на задние ноги. Конь незнакомца присел так, что не мог уже приподняться и только бился, поворачиваясь то в ту, то в другую сторону, и наконец упал. Всадник ловко успел сбросить стремяна и встал, расширив ноги, над упавшим конем.

В этом-то положении он получил мой второй удар, на этот раз мечом. Он отбил мой удар и задел мое плечо. Я ответил вторым ударом, который он опять отстранил и, бросившись на меня, концом своего меча попал в мой пояс, но не сделал мне ни малейшего вреда. Тут я нанес сильный удар по его шлему, и незнакомец упал ниц. Я соскочил с лошади и, повернув его на спину, приложил меч к горлу.

В эту минуту Думнак и Арвирах вылезали из воды, цепляясь за береговые кусты, мокрые, покрытые тиной, выпуская воду изо рта и из носа. Почувствовав возможность говорить, один из них, еще захлебываясь, закричал:

— Бей! Бей! Рази!.. Доконай его, разбойника!

Побежденный продолжал лежать неподвижно, и мне не хотелось добивать уже поверженного врага. Да и вдобавок, при виде моих верных слуг, мокрых, грязных от тины и запутанных в водорослях, я никак не мог удержаться от смеха, и гнев мой совершенно прошел. Я ограничился только тем, что поднял забрало, прикрывавшее лицо побежденного и был совершенно поражен. Я увидел тонкие, гордые, нежные, чисто детские черты лица. Когда шлем был снят совсем, по плечам рассыпались чудные густые белокурые волосы. Это была женщина лет двадцати, не более.

— Рази! Рази! убей! — кричали теперь оба всадника, которые бежали ко мне, махая руками.

Я обернулся к ним и сказал:

— Посмотрите-ка, что мы наделали.

Они взглянули и смутились не менее меня. Я же был вне себя. В сердце у меня зародилось чувство, до сих пор мне совсем неизвестное. Не знаю почему, но я не позволил им дотронуться до незнакомки и помочь мне. Арвирах побежал к реке и зачерпнул шлемом чистой и холодной воды. Я прыснул ею в лицо молодой

женщины, от чего она вздрогнула, полуоткрыла глаза и, тяжело вздохнув, снова закрыла их.

Она была жива. Я не мог объяснить себе, почему так страшно был этому рад.

Вскоре она подняла веки, пристально посмотрела на нас большими голубыми глазами, и кротким и умным выражением.

— Выслушай,— сказал я ей,— и ничего не бойся. Я никогда не спрошу у тебя, кто ты и откуда. Я признаю, что ты храбрая женщина, и чувствую это по ране, полученной мной в плечо. Я думаю, что у тебя существуют причины скрываться, так как ты приехала по никому не известным лесным тропинкам и закрывала свое лицо. Мы сохраним твою тайну, какая бы она не была. Мне кажется, ты отправляешься по направлению к югу, мы отправляемся туда же и перевезем тебя на том самом судне, которое ты хотела взять. Лучших провожатых ты не найдешь, и все мы твое, твои бывшие враги, мои всадники и я, готовы, если нужно, пожертвовать собой для тебя... Я прошу тебя только отдохнуть несколько дней у меня в деревне. Там ты будешь окружена уважением, подобающим твоей храбрости и твоему благородству, так как я вижу очень хорошо, что ты не простого происхождения... Успокойся, умоляю тебя! Я не враг твой, и ты не пленница моя, а почетная гостья. Когда ты восстановишь свои силы, ты свободно можешь отправляться, куда тебе угодно.

Я боялся, что получу отказ, и голос мой принимал оттенок, совершенно мне незнакомые: убедительную мягкость и нежность, почтительную и умоляющую. Я, Венестос, сын Беборикса, самый суровый воин реки Кастора, я умолял! Я умолял побежденного врага и несколько этого не стыдился! Даже присутствие моих верных воинов несколько не смущало меня и не мешало мне говорить.

Она прошептала:

— Благодарю!

Потом, увидев кровь у меня на плече, она прибавила, печально улыгнувшись:

— Прости! — Она произнесла слова эти с выговором белгов, говорящих на нашем языке.

Я не знал, что мне говорить еще, и тем не менее не мог удержаться, чтобы не говорить, я, молчаливый Венестос, ученик умного Придано. Немного застыдившись, я вдруг спросил у нее:

— Не болит у тебя голова?

И я посмотрел на эту чудную голову, с длинными белокурыми волосами, на которую рука моя так страшно посягнула. Но на волнистых золотистых волосах не было видно ни одной капли крови. Она тихо покачала головой и ответила:

— Почти что нет.

Она немного привстала, осмотрелась крутом и, увидев неподалеку дерево, едва добралась до него и прислонилась к нему спиной. Лицо ее, до сих пор такое бледное, начало немного оживать. Она была бела, как лилия, но на щеках стал появляться розовый оттенок. Почтительно наклонившись к ней, я сказал ей:

— Ты приехала издали, по пустынным местам. Не голодна ли ты? Не хочешь ли пить?

Она в знак согласия кивнула головой. Арвирах открыл сумку: там была еще лепешка и жареная птица. Думнак снял свою большую фляжку, еще наполовину наполненную вином. Оба они, подобно мне, заботились о ней. Она ела очень мало, но все-таки было заметно, что давно голодала. Прикоснувшись к фляжке губами, она точно удивилась и просто сказала:

— Воды!

Мои люди побежали к реке, хотя шлем, только что ими принесенный был еще полон воды. Напившись, она привстала, с трудом держась на ногах; протянув руку, она положила ее ко мне на плечо и, опираясь о него, сказала:

— Идемте!

Ее лошадь немного подкрепилась на зеленом лугу. Думнак поправил на ней узду и поставил ее на судно вместе с нашими лошадьми, но ноги ее еще дрожали. Она по-видимому ушиблась. Опираясь о мое плечо, незнакомка вошла на судно, очень осторожно села на корму, не отказываясь на этот раз от моей помощи, и еще раз сказала:

— Благодарю!

Перебравшись на другую сторону, Думнак заметил, что конь молодой особы еще настолько слаб, что на него нельзя сесть верхом. Я спросил у своей пленницы, может ли она сесть на мою лошадь?

— Попробую, — ответила она.

Она позволила мне посадить ее на седло и по-видимому держалась довольно крепко. Но из предосторожности я взял лошадь под уздцы и пошел рядом с ней. Мои всадники тоже повели лошадей под уздцы.

Мы шли до Альбы часа три и, к счастью, никого не встретили. Своим спутникам я приказал никому не

рассказывать об этом приключении, а на вопросы всем говорить, что это приехала молодая родственница моей матери, по имени Негалена.

Это распоряжение по-видимому было приятно молодой девушке.

Я провел ее в комнату, где жила моя мать, дал ей в услужение двух молодых женщин и отправился ночевать к Думнаку. На следующий день я послал спросить, может ли принять меня моя гостья.

Я застал ее в большом зале, одетой на этот раз в женское платье, данное ей одной из крестьянок. Она была очень изящна в этом костюме. При моем появлении она встала, почтительно поклонилась и осталась на ногах, пока я не попросил ее сесть. Она меня просила тоже сесть и улыбаясь сказала:

— Ты исполнил свое слово. Я вижу, что ты обращаешься со мной не как с пленной. Благодарю за твое великодушное гостеприимство. Ты принял меня под кровлю твоей матери, не спросив меня даже, кто я такая, откуда и куда еду. Я знаю, что ты не заговоришь об этом, пока я сама тебе не скажу. Когда я тебе скажу, кто я и кто мой отец, ты сам рассудишь, что тебе делать. Если ты, подобно многим другим, слуга римлян, то ты будешь иметь удобный случай, выдав им меня заслужить их расположение. Если же ты только боишься навлечь на себя гнев Цезаря, то ночью выпустишь меня и укажешь мне самый безопасный путь в священную обитель друидов.

— Ты оскорбляешь меня,— сказал я, более огорченный, чем разгневанный.— Я ни раб, ни трус.

— Я в этом уверена,— просто сказала она.— Я видела тебя вчера в деле. Победить меня не пустое дело, хотя я и была страшно утомлена: руки мои привыкли не к прялке, а к копыю и мечу; я разбила немало римских шлемов и под ногами своими видела золотого орла.

Я припомнил, с какой силой отправила она Думнака и Арвираха в Сену, с какой твердостью устояла она против моего первого удара и как потом ловко отбивалась. Не найдись она в таком неудобном положении, еще неизвестно, вышел ли бы я победителем из этого поединка.

Между тем она продолжала.

— Да, я присутствовала при осаде лагеря Котты и Сабина, и участвовала во всех битвах галлов с римлянами. Я мыла руки в крови... Ты чувствуешь ко мне отвращение?

Я сделал отрицательный знак. Она продолжала:

— Что же делать? У такого народа, как наш, постоянно осаждаемого то римлянами, то германцами, молодым девушкам некогда пряхать шерсть. Наши матери не раз бросались в бой, чтобы вернуть поколебавшихся воинов: не раз, видя, что их мужья и сыновья лежат в прахе, они продолжали битву. Отец мой никогда не имел сына, и потому воспитывал меня, как мальчика. В такие годы, когда ваши девочки играют в куклы, он выучил меня действовать копьем и мечом. Я не щеголиха из Лютетии: я варварка и дочь варварского народа.

— Если бы Галлия была вся населена такими варварами!.. Но продолжай,— я не смею перерывать тебя.

— Ты знаешь Амбиорикса?

— Какой галл не знает этого имени и не чтит его! Амбиорикс первый показал нам, что римский легион победим и что римский лагерь можно взять! Амбиорикс сумел познакомить Цезаря с чувством страха и стыда! Я могу призвать к тебе всех своих воинов, и они тебе скажут, при чьем имени трепещут наши мечи; они скажут тебе, сколько раз мы думали о расстоянии, разделяющем нас, и о препятствиях, мешающих нам присоединиться к герою.

— Да, да,— сказала она, взяв меня за руку,— как давно он ждал вас! Теперь, проехав по этой стране, покрытой лагерями и легионами, я поняла, почему его ожидания оказались напрасными.

— Так ты хорошо знаешь Амбиорикса?

— Это мой отец,— я его единственная дочь.

Я встал на одно колено и с жаром поцеловал край ее платья. Она улыбнулась и сказала мне:

— Я была уверена, что ты меня не выдашь римлянам.

— И будь уверена, что ты выйдешь из этого дома только по своему доброму желанию, хотя бы все легионы Цезаря вошли в него с огнем и мечом. Наступит день,— и я чувствую, что это будет скоро,— когда я верну тебя в объятия твоего отца с десятью тысячами воинов в виде провозжатых и с орлами легионов в виде трофеев... Но позволь мне предложить тебе один вопрос: каким образом очутилась ты на берегу Сены?

— Очень просто. Цезарь с десятью легионами ведет с нашим народом самую опустошительную войну. Легионы эти то нападают массой на наши соединенные силы, то разделяются и идут по долинам, по ущельям,

жгут деревни, режут стада, убивают даже женщин и детей и охотятся за людьми по болотам с собаками, которых кормят человеческой кровью. Только моему отцу удалось с несколькими всадниками обмануть хитрость жестоких охотников. Двадцать раз римляне думали, что уже окружили его в лесу, но окруженное место всегда оказывалось пустым. Двадцать раз Цезарю приносили голову, но голова всегда оказывалась не принадлежавшей Амбиориксу. Римляне выходят из себя, и Цезарь, чтобы дать отдых своим войскам, сделал воззвание к разбойникам, зарейнским германцам, и натравил их на нашу землю. В один из этих ужасных набегов я как-то отделилась от отца, которого травили, как волка, и поступила также по-волчьи: вернулась к линии загонщиков, прорвала цепь и ускакала. Со мной было человек двенадцать всадников; но лошади их пали от усталости, а потом умерли и люди. Последний из моих спутников сложил свои кости за день езды отсюда. Как уж я добралась до того места, где ты меня видел в первый раз, я до сих пор не знаю. Я выбирала лесные дороги, избегала жилых мест, ехала только по ночам и днем спала в какой-нибудь чащобе, питаюсь дикими плодами, корнями и лесными ягодами. И если я не встретила ни римского патруля, ни латинского шпиона, ни галльского предателя, то в этом вижу только покровительство богов. Твои люди сочли меня за вора, — могла ли я не вступить с ними в спор? Почему я знала, были ли это честные галлы или изменники, продавшие римлянам? Остальное тебе известно. Ты не выдашь меня римлянам, но если присутствие под твоей кровлей дочери Амбиорикса может навлечь на тебя грозу римлян, то прикажи проводить меня к карнугам.

Я взял ее правую руку и, призвав богов в свидетели, поклялся защищать ее до последней капли крови.

— Знай, что ты полная хозяйка в этом доме. Моя мать принимает тебя у себя. Из области вечного блаженства, куда она отправилась добровольно, чтобы соединиться с супругом-героем, она окажет тебе покровительство и спасет тебя. Тут ты всего скорее получишь известия о твоем отце. Я уверен, что очень скоро в наших долинах послышится призывная труба и ты увидишь, как мы схватимся за оружие, чтобы отстоять свободу всей Галлии.

Между нами было решено никому не говорить о ее происхождении и имени. Она должна была навсегда

остаться Негаленой, приехавшей к нам искать убежища и принести жертву на могиле моей матери. Чтобы дать ей больше свободы, я переселился в деревню, в другой дом. С тех пор она стала жить, как дочь парижского всадника, одеваясь в платья моей матери, распределяя обязанности служанок в доме и наблюдая за полевыми работами.

Мне казалось, что моя дорогая мать вернулась оживить наш старый дом. Добрый гений вернул счастье в Альбу. Прах наших предков должен был радоваться, и хотя осень уже наступила и дни стали короче, но с моих соломенных крыш мне улыбалась весна. Я избегал подходить к дверям отцовского дома, и тем не менее очень часто оказывался подле них. Амбиорига не избегала меня, и я зачастую заставлял ее в дверях дома, в длинном платье, обрисовывавшем ее молодую фигуру, с распущенными по плечам белокурыми волосами. Она смотрела или на далекий горизонт или весело любовалась на возвращавшийся с поля скот, побрякивавший бронзовыми колокольчиками под звуки пастушьего рожка. Часто я заставлял ее на каменной скамье около дома, с очевидным удовольствием оттачивавшей мечи и концы копий. Нередко она ходила в конюшни и белой рукой своей похлопывала по лошадям, называя их по именам. Кони радостно ржали, чувствуя, что их треплет рука воина и в то же время рука женщины.

Всадники и конюхи почтительно кланялись ей, крестьяне провожали ее добрыми пожеланиями. Она была вежлива с одними и ласкова с другими, но ее никогда не покидал величественный вид истинной царицы.

— Боги дали нам другую Эпониму, — говорили все.

Один из моих всадников был тяжело ранен кабаном. Амбиорига отправилась при лунном свете на опушку леса, набрала каких-то таинственных растений, растерла их и приложила к ране, произнося заклинания. Через неделю человек, проспавши три суток, встал и уже был готов отправиться на новую охоту. С этого дня все население позволило бы убить себя за Негалену.

Мы проводили долгие часы перед дверью нашего дома, разговаривая о подвигах ее отца, о бедствиях галлов и о будущем возмездии. Однажды вечером, в то время, как я проходил мимо дома, она вышла и взяла меня за руку. Она была бледна и страшно взволнована. Глаза ее, неестественно расширенные,

точно видели что-то во мраке. — Смотри! — сказала она.

Я ничего не видел.

— Видишь ты этого человека громадного роста, завернутого в кожу зубра, что скачет на взмыленном коне? Его преследует пятьсот всадников в низеньких шлемах... Его останавливает громадная река, и он попадетс я им... Ах, нет! Слава богам... Он увернулся от них!.. Волны принимают его, как своего дорогого сына и переносят на другой берег... Проклятые оставились и копьями пробуют глубину реки...

Она замолчала, тяжело дыша. Потом дыхание ее стало спокойнее; придя в себя, она удивилась, что держит меня за руку, и проговорила:

— Амбиорикс избавился от страшной опасности... Не здесь, а там... далеко, за лесами и горами... Теперь, в настоящую минуту, он в безопасности.

Тут я понял, что она обладает чем-то сверхъестественным, что глаза ее видят то, чего не видят обыкновенные смертные.

В другой раз я застал ее в слезах.

— Неужели ты не видишь? — сказала она. — Громадный костер перед очень высоким городом... На этом костре к столбу привязан человек... По виду он похож на храброго воина, и по одежде, хотя и изодранной в клочья, его можно принять за галльского вождя... Его окружают римские легионы, выстроенные в боевом порядке, и человек в красном плаще... Но тут же стоят галльские воины в полном вооружении, вожди в шлемах с распущенными крыльями... Неужели людям с золотыми ожерельями не стыдно смотреть на смерть человека из их же среды? Тот, что в красном плаще поднял руку, — солдаты с факелами приблизились к костру. Они зажигают его... Ах!

Амбиорига упала без чувств, и не скоро пришла в себя.

Я не мог забыть того, что она мне сказала. Я помню, что Цезарь устроил тогда общее собрание галлов в одном укрепленном городе, чтобы судить предводителя восстания карнутов и зенонов. На этот раз я не поехал на приглашение. Но какое же могло быть отношение между этим собранием и видением, до такой степени поразившим Амбиоригу? Галльские предводители, присутствовавшие сложа руки на казни одного из своих братьев? Этого быть не могло! Неужели можно было верить каким-то видениям женщины?

Через несколько дней старейшины Лютеции, возвратившиеся из собрания, рассказали мне, что там происходило.

Зеноны из страха принуждены были выдать своего вождя. Цезарь потребовал, чтобы уполномоченные галльских народов судили его. Странный суд, разбиравший дело под мечами шести легионов! Цезарь делал вид, будто он не вмешивается в разбирательство этого дела, предоставив всю низость приговора соотечественникам обвиняемого. Они осудили его, как бунтовщика, соучастника в убийстве назначенного Цезарем царя и подстрекателя восстания. Они осудили его в надежде, что Цезарь удовлетворится только приговором и не потребует исполнения его. Но они ошиблись в расчете.

— Вы его осудили,— сказал Цезарь судьям,— и вам следует исполнить приговор. Он совершил преступление не против Рима, для него недостижимого, а против мира Галлии. Это галльское преступление, и наказание должно быть галльским. Какое следует по обычаям ваших отцов наказание за него?

Старейшины Лютеции стыдились и приходили в отчаяние от подлости всех и своей собственной.

— На этот раз Цезарь переступил все границы,— говорили они.— Мы оказались судьями и палачами героев Галлии! Да разнесут боги своим дуновением прах умершего героя и рассыплют его по всей Кельтике! Всюду он поднимет мстителей!.. Братья с реки Кастора, терпение Лютеции лопнуло! Куйте железо и выделывайте мечи! Прежде чем растает снег на горе, Галлия будет свободна, или нас не будет в живых!

XVI. Кереторикс-римлянин

В долине жил один из парижских предводителей по имени Кереторикс. Это был красивый малый лет тридцати, и так как земля у него была плодородна, то у него было немало золота. Он принимал иногда у себя предводителей и сам ездил на их пиры. Но вообще его не любили, ему не доверяли и при его появлении тотчас же прекращали разговоры о свободе Галлии.

Когда-то один из его родственников, эдуйский старейшина, взял его с собой в Италию. Он вернулся оттуда плененный римлянами, их языком, обычаями, порядками. Он выстроил себе дом, походивший на римский дворец, как клетка для кроликов походила на

жилище предводителя. Дом был крошечный, но в нем было нечто вроде колонн и статуй, проданных ему торгашами Лациума за настоящие ценности наших ремесленников. Из Рима он привез раба, в обязанности которого лежало брить господину своему усы и бороду, завивать волосы и красить их в черную краску. Кереторикс, вместо рыжей гривы и длинных усов благородного галла, щеголял бритым лицом римского купца. Он пытался носить тогу, но над ним так стали потешаться, что он бросил ее. Зато рубашку, штаны и тунику он шил из материи, привезенной из Италии, и платил за них очень дорого.

Наши пиры, на которых мясо разрывали руками и зубами, внушали ему отвращение; он говорил, что наш мед и наша сикера годятся только для того, чтобы ими мыть ноги лошадям; он пил только итальянские вина. Он описывал нам пиршества в Риме, на которых едят лежа и стол покрывают хрусталем, прозрачным, как воздух,— пиршества, на которых подают такие кушанья, что трудно узнать, из чего они сделаны.

Мы не могли не слушать его, так как он рассказывал о вещах, для нас очень удивительных. Он описывал нам сенат, где азиатские цари, в золотых венцах, надевали шапки рабов-отпущенников и падали перед ним ниц; он описывал процессии граждан в парадной одежде, молодых девушек в белых платьях, жрецов, весталок, жертвоприношения, на которых текла кровь сотни быков, белых как снег, описывал зрелища, называемые «театром».

— Но это еще ничего не значит,— воодушевляясь, продолжал Кереторикс.— Кто не видел игр в цирке, тот не видел ничего.

Там на искусственном море плавают галеры, и дают морские битвы на волнах красного цвета. Там появляются хищные звери Африки, сотни слонов сразу, до четырехсот пантер, до шестисот львов, и всех их выпускают против людей. Там выходят до трехсот пар гладиаторов, одни со щитом и мечом, другие с трезубцем и сеткой; они прибегают ко всевозможным хитростям борьбы и дерутся с ожесточением, в то время как народ, консулы, даже знатные молодые девушки, опустив пальцы, решают о судьбе побежденного...

— Верно у твоих гладиаторов нет ни головы, ни сердца? Почему же они не бросятся все вместе на этих консулов? Говорил ли ты когда-нибудь с этими несчастными?

— Конечно.

— И разве они не по-галльски отвечали тебе?

Кереторикс не смущался такими пустяками.

— Вы воображаете, — говорил он, — что ваши клиенты и ваши рабы повинуются вам? Отправляйтесь-ка в Рим посмотреть, что значит повиновение. Вы там узнаете, что значит патрон. Каждое утро дворец его осажден толпой людей, которые являются поцеловать край его одежды, и зачастую он не принимает их; когда ему кланяются на улице, то на поклоны отвечает раб, которого он нарочно для этого берет с собой. А рабы? Это вовсе не такие скоты, как наши, но люди в тысячу раз более знающие, чем наши друиды, — это люди, изучившие грамматику и поэзию, отлично играющие на всяких инструментах и вникнувшие в тайны врачевания! И они повинуются каждому взгляду и малейшему движению пальца своего господина, который не удостоивает даже говорить с ними, а только легким посвистыванием, прищелкиванием пальцев, движением бровей выражает им свои желания. Но чаще всего им самим предоставляется отгадать и предупредить его волю. Вот я хотел бы, чтобы мне так служили! Недогадливых и ленивых страшно наказывают: секут розгами, колют вилами, клеймят им горячим железом лоб, прибивают к кресту или бросают в пруды на съедение рыбам.

— Какой ужас! И эти римляне еще называют нас варварами? Ты думаешь, что такой народ одержит верх над нами?

— Можно подумать, что вы не знаете легионов. Полноте, друзья мои, с вашими шайками необученных и плохо вооруженных крестьян вам никогда не сравниться с ними. Никогда, никогда!.. Все-таки это не помешает мне пойти с вами, когда раздастся призывная труба, и сражаться против них, но мое преимущество перед вами заключается в том, что я знаю, что делаю глупость. С вашими друидами, бардами, рогатыми богами из вас никогда ничего не выйдет. Рим вас проглотит, как проглотил других. И для вас будет лучше, если это случится раньше, потому что в таком случае вы можете сделаться римлянами.

Тут все приходили в негодование.

— Ты перестал быть галлом. Тебя недаром прозывают римлянином...

— Я такой же добрый галл, как и вы, — отвечал он, — но только в другом смысле. Цезарь тоже добрый галл. Даже когда он победит вас всех, Рим даст ему прозвище Галла.

Мы все с каждым днем все более и более презирали его. Никто не приглашал его на пиры. Мы боялись выдать ему тайны нашей родины. Да и кроме того насмешки его охлаждали наше рвение. Это была зловещая птица, завывающий пес.

Однажды, как-то случайно, он заехал ко мне. Увидев Амбиоригу, он был глубоко поражен ее красотой и стал допрашивать моих людей. Ему сообщили, что это родственница моей матери. Он приехал еще раз и просил у меня позволения охотиться в моих лесах.

— Сколько тебе угодно, — отвечал я.

Он приезжал даже в мое отсутствие и находил предлоги входить ко мне в дом и говорить с Амбиоригой. Однажды смелость его дошла до того, что он объяснился ей в своих чувствах.

Амбиорига посмотрела на него. По-видимому она так удивилась, точно перед ней появился какой-то любопытный зверь.

— Кто ты такая, девушка? — говорил он ей. — Смертная или же богиня, скрывающаяся под одеждой смертной?

— А ты кто такой? — сухо отвечала она. — Честный галльский вождь или же римский раб? Что тебе от меня нужно?

— Мои намерения чисты, как дневной свет, — прошептал он, сконфуженный ее ответом. — Я желал бы предложить тебе руку...

— Ты не знаешь, кто я такая. Ты не знаешь, говоришь ли ты с рабыней Венестоса, с его родственницей или с его невестой. Как же ты осмелился, если ты считал меня его рабыней, посягнуть на его собственность? Если ты считал меня его родственницей, как же ты осмелился говорить со мной, не испросив на то позволения главы семьи? Если же ты считал меня его невестой, то мог ли ты сравнивать его достоинства с твоими?... Знай, что я благородная галльская девушка, и что тот, кто будет просить моей руки, должен будет бросить к моим ногам вместе с свадебными подарками головы римлян... А твоя голова очень походит на те головы, которые я требую!

Затем, указав на развешенные мечи, она прибавила:

— Если бы я могла думать, что такая женщина, как я, может быть оскорблена таким человеком, как ты, под рукой у меня нашлось бы, чем тебе отместить за оскорбление. Я не окажу тебе чести и не расскажу Венестосу о твоей наглости. Уходи!

Он вышел, униженный и взбешенный.

Амбиорига не сообщила мне об этом происшествии, оттого ли, что считала Кереторикса недостойным быть наказанным моей рукой, или оттого, что не хотела тревожить меня, зная, как я занят мыслями о священной войне.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I. Восстание

Наступила зима. Цезарь перешел за Альпы, но за собою оставил Кельтику, раздавленную под тяжестью его армий. По обыкновению, наша местность более других была окружена сетью его постов, лагерей и военных дорог. Он чувствовал, что тут билось возмущенное сердце Галлии, и железной рукой пытался раздавить его: в окрестностях было расположено десять легионов.

По временам в деревнях слышались громкие крики: это римляне являлись из лагерей и уводили быков, баранов, кур и забирали хлеб; по ночам вспыхивали пожары: очевидно, что кельтские крестьяне плохо понимали по-латыни и отказывались исполнять требования римских солдат.

Точно мало было десяти легионов, и Цезарь, как говорили, перешел через Альпы для того, чтобы сделать в Италии новый набор и вернуться к нам с сотней тысяч новых солдат, чтобы разделить наши лучшие земли между ними.

Как все это ни было печально, но духом мы не падали. Чувствовалось, что мы все, начиная от предводителей до последнего раба, твердо решились покончить с этим делом. Следы наших гонцов, переходивших из деревни в деревню, перекрещивались со следами римских лазутчиков.

Осаждать лагерь народ не решался, но в уединенных хижинах римские мародеры находили очень дурной прием: зачастую крестьяне встречали их с вилами в руках, бросали в колодцы, проламывали лед на реках, чтобы утопить их, или же бросали их тела на съедение собакам и свиньям. К вечерним перекличкам не являлось такое множество римских солдат,

что они перестали выходить из лагерей небольшими отрядами.

Галлы перестали скрываться от римских шпионов. Ремесленники Лютеции продавали фигурки, изображающие Цезаря с громадной головой и крошечными ножками, прибитым к кресту за руки и за ноги. Барды их распевали по улицам о подвигах Бренна в боях против Рима и возбуждали народ к всенародному восстанию. Поселяне были настроены точно так же и называли собак своих Цезарем.

По всей Галлии стали совершаться удивительные вещи. В лесах слышались голоса, и несмотря на завывание волков галлы ясно слышали слова привидений:

— Мы погибли, потому что не умели соединиться. Соединитесь вы и отомстите за нас!

Из лесов выходили друиды, покрытые мхом, и девушки с распущенными волосами и предвещали гибель Рима. Народы всей Галлии вооружались. Старая ненависть была позабыта: все прощали друг другу обиды и желали соединиться. Я снял со своего дома все черепа, бывшие когда-то головами галльских воинов, и благочестиво предал их земле.

В лесах Альбы мои люди подняли истощенных прохожих, умиравших от холода и едва прикрытых лохмотьями. Когда их привели ко мне, и они увидели Амбиоригу, то не верили глазам своим и, падая перед ней, целовали край ее одежды. Они хотели говорить, но она на языке, непонятном моим кельтам, приказала им молчать.

— Это,— сказала она мне,— воины моего отца, которые, подобно мне, спаслись от римлян и нечаянно попали сюда. Я знаю их. Они умеют страдать, повиноваться и умирать. Возьми их к себе на службу. Из любви к моему отцу и ко мне они до последнего вздоха будут верны тебе.

Я дотронулся правой рукой до их мечей; они поцеловали мне колени. Я приказал накормить, одеть их и присоединил к своим воинам.

Кроме этих пришельцев к нам приходило много народа. По совету Амбиориги я почти ежедневно переправлялся через Сену на лодке или по льду и дожидался на правом берегу беглецов, направлявшихся с севера. Таким образом я встретил более тридцати человек. Все это были люди огромного роста с развевающимися рыжими волосами и серыми глазами. Они ели, как голодные волки, но не пили ничего, кроме воды. Я увидел, что к весне у меня в деревнях оста-

нется очень много баранов и быков, и даже по этой причине мне хотелось скорее покончить с римлянами.

Мы взялись бы за оружие, но Галлия ждала вождя. Нам нужен был человек, которого мы слушались бы беспрекословно, по мановению ока, который мог бы усмирять необузданных всадников и мог бы казнить дюжинами изменников и ослушников. Но кто же будет этим вождем? Амбиорикс был далеко, а Цезарь убил лучших из нас. Неужели мы уступим римлянам за неимением предводителя?

Мы, галлы, такие гордые, такие независимые, мы жаждали беспрекословного повиновения воле одного человека. Мы пошли бы даже за разбойником, за рабом, если бы только они повели нас к победе. Однажды Амбрига сказал мне:

— Освободитель явился. Гу-Гадарн появился на земле: его зовут теперь Верцингеториксом.

В это время еще никто не говорил о Верцингеториксе, сыне Кельтила.

В середине холодной зимы я однажды сидел перед очагом и грелся, раздумывая о разных разностях, как вдруг услышал звук рожка у ворот в деревню.

Вслед за этим дверь отворилась, и в нее вошел Вергугодумно, старейшина Лютеции, покрытый инеем и занесенный снегом. Я вскочил, усадил его перед огнем и налил кубок вина. Он был очень взволнован.

— Ты, кажется, ничего не знаешь? — спросил он.

— Не знаю; да в такой холод никто мимо Альбы и не проезжает... А разве есть что-нибудь новое?

— Новости большие! Очень большие! Разве мало я до сих пор беспокоил тебя своими советами быть осторожным? Ну, а теперь я приехал сказать тебе: время действовать наступило.

— Слава богам! Да что случилось?

— Что случилось? А то, что если еще не вся Галлия встала, то она встанет, может быть, завтра. Все племена, даже арвернцы и эдуи только о том и помышляют, чтобы присоединиться к нам и идти против римлян. У арвернцев Верцингеторикс, сын Кельтила, заставил своих людей взяться за оружие. Надо только, чтобы кто-нибудь начал...

— Почему же нам не начать?

— Мы начнем завтра. Сегодня знак подаст другой народ, народ, живущий на Луаре. Таким образом, поднимаясь, он перережет сообщения между римскими легионами на севере и новобранцами, прибывающими из провинции. Знак подаст народ, занимающий

центр Галлии, для того, чтобы этот сигнал донесся одновременно во все концы страны...

— И какой же это народ?

— Это должны быть карнеты. Их земли на севере доходят до Сены, а на юге переходят за Луару. Они находятся в тесных сношениях с разными другими племенами, так что восстание карнутов поколеблет сразу до двадцати народов. Народ этот очень богатый и самый богомольный из всей Галлии: его друиды, его леса, посвященные Тейтату, привлекают со всех сторон богомольцев. В Галлии нет человека, который не знал бы страны карнутов и не ходил бы туда на богомолье, или не посещал бы тамошних портов, рынков и ярмарок.

— Карнеты слишком богаты,— не без горечи сказал я,— чтобы выступить первыми на такое дело.

— Поэтому-то уговорить их стоило немалого труда. Старейшины их не соглашались, потому что имеют крупные дела с римскими купцами. Они боятся за свои красивые дома, за свои большие стада; судьба арморийцев приводит их в ужас, и они не хотят, чтобы их выдали Цезарю, который может предать их смерти, по обычаю галлов, на костре или, по обычаю римлян, под розгами и секирой их ликторов. Между ними есть решительные люди, которые напугали совет старейшин, говоря ему о гневе всего народа. После этого старейшины стали сговорчивее. Знак подадут карнеты, но они требуют, чтобы все галльские народы самым торжественным образом обязались не покидать их в опасности, на которую они идут ради общего дела. И потому надо привезти знамена всех народов, для того чтобы карнеты видели, что все решились умереть или победить с ними.

— Когда же мы отправляемся?

— Уполномоченные Лютетии и предводители правого берега приедут к тебе сегодня вечером, так как Альба находится по пути к карнугам... Мы рассчитываем на твое гостеприимство на сегодняшнюю ночь... Завтра утром мы двинемся в путь... Кости брошены, и да сохранит нас Тейтат!

Я с жаром поцеловал его за его добрые вести.

Созвав своих людей, я уведомил их о нашем отъезде, не рассказывая о цели путешествия. Они очень скоро поняли, что дело заключалось в движении против римлян, и шумно выразили свою радость. Радость их несколько утихла, когда я сказал, что беру с собой только Арвираха, Думнака и несколько всадников.

Вскоре по всей долине разнеслись крики, доказывавшие, что новость там стала известна.

Карманно, Боиорикс и Цингеторикс приехали с половиной своих воинов. К вечеру стали съезжаться предводители с верхней и нижней Сены, предводители с правого берега и часть старейшин Лютеции, в шлемах казавшихся весьма представительными.

Вечером мы задали настоящий пир и уснули, мечтая о славе и свободе.

Утром перед моим домом собралось пятьсот всадников, все верхами. Пеших мы с собой не брали.

Перед отъездом я просил Амбиоригу принять меня.

— Сердце мое обливается кровью при мысли о разлуке с тобой,— сказал я.— Прости меня за то, что я хочу сказать тебе, но если уважение долго сдерживало мои чувства к тебе, то теперь, в такую торжественную минуту молчать более я не могу... Я отправляюсь на опасное дело и оставляю тебя в опасном положении, так как римские легионы стоят тут близко... Одни боги знают, увидимся ли мы когда-нибудь с тобой... Я жертвую своей жизнью, и если вернусь сюда живым, то буду считать себя как бы воскресшим... Позволь же мне говорить, как говорил бы умирающий... В ту минуту, как я отправляюсь, чтобы отмстить за твоего отца и за твою родину, неужели тебе нечего сказать мне?.. Заговори первой, так как в самом деле слова не идут у меня с языка и у меня недостает сил высказаться.

Она улыбнулась, и на строгом, воинственном лице ее появился оттенок нежности.

— Ты завоевал меня с оружием в руках, и разве я не пленная твоя?

— Нет, не говори так! Моя пленная! В настоящую минуту в груди моей трепещет вовсе не сердце победителя... Побежденный и пленный — это я. Я очень хорошо знаю, что боги создали тебя выше меня и умом и душой... Какими подвигами могу я сделаться достойным дочери Амбиорикса? Когда осмелюсь я просить девушку, которую я как госпожу поселил у себя в доме, принять и мою руку, и мое сердце?

Она перестала улыбаться, и задумчиво сказала мне наконец:

— Неужели ты думаешь, что я могла остаться слепой к твоим достоинствам? Ты хочешь, чтобы я сказала то, чего ты не решаешься высказать? Ну, так я скажу тебе: я люблю тебя! Я люблю тебя за твою великодушие, за твою преданность нашему общему

делу, делу всей Галлии и моего отца Амбиорикса. Я не знаю, да и представить себе не могу другого человека, супругом которого я желала бы быть. Я говорю с тобой откровенно, как с воином и братом по оружию, как говорила бы благородная девушка с храбрым предводителем. Но могу ли я дать тебе слово, не спросив благословения своего отца?

Я печально опустил голову.

— Не огорчайся,— продолжала она.— Я знаю, что не увижу его скоро,— может быть, даже никогда. Не имея возможности спрашивать его совета, я привыкла поступать согласно с его желаниями, как будто бы он сам выразил их мне, и во всем подчиняться его воле. Знаешь ли ты, Венестос, что он сказал бы мне, если бы я могла обратиться к нему?

— Да, я угадываю, я знаю, я чувствую.

— Ты понял меня. Никогда он не отдал бы моей руки воину, который не рискнул всем, чтобы освободить свою родину. Отправляйся же туда, куда тебя призывает честь, и возвращайся, исполнив свой долг. Я не требую, чтобы ты вернулся победителем, так как победа находится в руках богов; но люди могут не смотря на поражение сделаться великими. Храбрый человек остается всегда господином своей чести... Возвращайся, и тогда ты скажешь мне: вел ли ты себя так, что покойные твои отец и мать остались бы тобой довольны?.. И в таком случае мой отсутствующий отец одобрил бы мое согласие сделаться твоей женой.

Она протянула мне руку. Я взял ее руку и надел ей на палец золотое кольцо. Она не сопротивлялась и, срезав прядь своих роскошных волос, подала ее мне.

— Ты желаешь, чтобы я помнила, что принадлежу тебе? — сказала она.— Обещаю тебе. А вот это тебе на память.

— Это послужит мне оберегом, который сохранит меня во время битвы. Будь уверена, что я вернусь достойным тебя или совсем не вернусь.

Мы простились, и я вышел из дома. Вскочив на лошадь, я обратился к крестьянам и воинам, не отправлявшимся со мной, и, указывая на Амбиоригу, стоявшую в дверях, сказал:

— Поручаю вас ей, а ее поручаю вам. Вы должны почитать ее, как почитали мать мою. Вы будете повиноваться ей, как повиновались когда-то моему отцу. Когда она будет отдавать вам приказания, то знайте, что приказания эти отдаю вам я ее устами. В случае

опасности защищайте ее. Если ей придется умереть, умрите вместе с ней.

Я был так взволнован, что более говорить не мог. У меня не доставало даже духа еще раз повернуться к ней. Я прищипорил своего коня, и весь мой отряд поскакал за мной к югу. Мы ехали под хлопьями падавшего снега, застилавшего перед нами дым наших родных домов, ехали навстречу неизвестному нам будущему. Но все мы были бодры и полны надежд!

II. Карнутский Немед

На второй день мы были уже в стране карнутов. Там нас ждали проводники. Когда стало смеркаться, они проводили нас по дремучему лесу на широкую прогалину. Это и был Немед, или священное место.

Окруженное громадными дубами, оно было полно народу, который в сумраке мы сначала едва могли разглядеть; но вскоре луна, выкатившаяся из-за туч, ярко осветила площадку, и мы увидели жертвенник из грубого камня, около которого стояли человек сто друидов в белой одежде с красными каймами, с дубовыми венками на головах. Барды, подыгрывая себе на арфах, пели торжественную и грозную песню. Большой белый бык, почти покрывавший весь жертвенник, лежал со связанными ногами и мычал.

Вокруг площадки стояли громадные отряды воинов, и со всех сторон собирались, неслышно ступая по снегу, заговорщики.

Тишина была полная и раздавались только звуки арфы. Вдруг послышался голос предводителя карнутского. Он заговорил о галльских народах, стертых с лица земли или уведенных в рабство, и изрек воззвание к теням предводителей, предательским образом убитых Цезарем. Карнуты, уступая желаниям других народов, решились подвергнуть себя такого рода избиению и мучениям, чтобы отомстить римлянам. Он требовал, чтобы мы дали клятву, и давал нам обязательство от имени своего народа.

По безмолвному лесу раздался оглушительный стук мечей по щитам и крики восторга и признательности.

— Благодарим вас, благородные карнуты! Вы жертвуете собой для нас, и мы все пожертвуем собой для вас.

Воины плакали и рыдали от умиления и жалости к карнутах, при мысли о том, какую громадную приносили они жертву.

Вдруг зажглось бесчисленное множество факелов. Звуки арф усилились. Бронзовые ножи сверкнули в руках жрецов, а золотые серпы у их поясов. Громадный бык забился в отчаянии и издал страшное мычание, после чего на белый снег и на белое одеяние жрецов брызнула струя алой крови.

По данному знаку все знаменщики подъехали к окровавленному жертвеннику.

Тут было до сотни знамен, на которых красовались орлы из вызолоченной бронзы или из янтаря, журавли, ласточки, петухи, волки, львы, быки, кабаны.

Из предводителей со знаменами, окружавших жертвенник, большая часть была незнакома мне, по крайней мере в лицо. На некоторых было почти римское вооружение, а на других военный наряд галлов. Были люди, одетые только в звериные шкуры, с мордами зверей вместо шлемов.

Старейший из жрецов приказывал приблизиться каждому знаменщику, окунуть в кровь конец своего меча и громким голосом произнести имя своего народа или племени, имя предводителя и число ратников, которых он обязуется выставить для священной войны.

Таким образом мне привелось услышать перечень почти всех галльских народов. Я никак не думал, чтобы галльский союз был так велик, и чтобы все до такой степени ненавидели римлян. Я услышал имена предводителей, которых я никогда не видал, но о подвигах которых слышал. Имя Верцингеторикса было встречено громом рукоплесканий; стук мечей был так силен, что в глубине лесов завывали волки, и внезапно разбуженные громадные орлы с испугом пролетали над жертвенником.

Над каждым знаменщиком, преклонявшимся перед алтарем, старый друид протягивал руки и, произнося таинственные слова, предсказывал знамени победу. Мы повторяли клятву, что каждый умрет за всех, и все за каждого. Веткой, омоченной в крови, жрецы окропляли войско и грозили страшными проклятиями против всякого нарушения клятвы.

— Да будет клятвопреступник лишен воды и огня! Да будет он проклят на земле, на небесах и в аду! Да сбросит его Камул с седла во время битвы! Да растерзают волки его тело, и да выклюют вороны ему глаза! Да собьет Тейтат душу его с пути к вечному блаженству и да препроводит он ее в пропасть вечного раскаяния и вечной муки!

Самые храбрые воины склоняли головы под руками друидов и под страхом ужасных слов, вылетающих из уст людей по повелению небес.

Когда огонь, разведенный на жертвеннике, сжег жертву до костей, факелы были опрокинуты на снег, и друиды громким голосом закричали:

— Да угаснет так жизнь Цезаря и всех его легионов!

На следующий день предводители карнутов собрали на одной из площадей священного города Аутрикума уполномоченных галльских народов. Они сказали им:

— Вы дали нам клятву, положив руки на перерезанное горло быка. Мы со своей стороны тоже дадим вам клятву.

Они объявили нам, что в этот же день идут в Генабум, и предлагали нам следовать за ними. Этим карнуты хотели показать нам, как серьезно смотрели на это дело. Они отправились со своими воинами так скоро, что мы остались далеко позади них.

Мы шли всю ночь. Утром, когда подошли к Луаре около Генабума, мы увидали пламя в разных местах города. На улицах раздавались отчаянные крики людей, которых или преследовали или убивали. На водах реки мы увидали различные предметы: мебель римскую, еще горевшую, тюки разных товаров, тела людей, одетых по-римски, и тела женщин, надувшиеся платья которых поддерживали их на воде.

Я сказал Вергугодумно, что вовсе не люблю такой резни. Галльская удаль не должна была себя выказывать на безоружных людях и женщинах.

— Что может быть общего между этими людьми и нами? — отвечал он мне. — Прибереги свое сожаление для наших... Согласись, что карнуты выказали замечательную отвагу, так как в случае неудачи им нечего ждать пощады. За одну голову римлянина Цезарь возьмет сто голов карнутов.

— Оно было бы лучше, если бы они напали на шесть легионов, которые стоят у зенонов.

Лишь только началась резня в Генабуме, как весть о ней разнеслась по всей Галлии. Перебегая от одной деревни в другую, народ кричал:

— Римлян режут! К оружию, галлы!

Впоследствии жители Лютетии и Альбы уверяли меня, что они узнали об этой резне в то же утро, когда пожары едва потухли. Вечером же об этом узнали до самой границы римской провинции.

Нигде легионы, испуганные этим внезапным восстанием, не тронулись с места. Начальники их поспешили очистить сторожевые посты, отозвали разъезды и стянулись в укрепленные лагеря.

В это же самое время на языке у всех только и вертелось имя Верцингеторикса, сына Кельтила, которого его соотечественники-старейшины убили за то, что он хотел соединить всю Галлию под начальство одного человека.

О сыне рассказывали удивительные вещи. Боги закрыли его тучей, чтобы скрыть от убийц отца. Они воспитали его в таких страшных местах, куда никто не мог проникнуть, не подвергаясь опасности. Он вырос в грубой пастушьей одежде и прятался в кратеры вулканов, извергавших в прежние времена пламя. Волки провожали его между пропастями, вороны приносили ему пищу; орлы парили над ним во время его сна, чтобы уберечь его от палящих лучей солнца. Бог Камул, с которым он удостоился разговаривать, научил его, что делать, чтобы победить римлян; он обещал ему обернуться лисицей, чтобы, пробравшись в неприятельский лагерь, узнать все их тайны, или же — ястребом, чтобы скрыться от преследования. Когда наступило время, назначенное судьбой, он явился народу. Старейшины отказались от него, потому что он был одет в платье пастуха, но весь простой народ сотнями и тысячами стекался к нему. Они провозгласили его освободителем, о котором было предсказано. Говорили, будто он осадил город, куда заперлись изменники и знатные люди, и каменные укрепления перед ним распались, бронзовые ворота отворились, а дурные люди бросились в пропасти. Теперь он призывал к оружию всех добрых товарищей, всех желавших или быть свободными, или умереть.

— Все это, конечно, басни,— говорил мне Вергудумно.— Верно только то, что Верцингеторикс храбр, энергичен и ловок. Такой предводитель нам нужен.

— Я сейчас же отправлюсь к нему со своими людьми.

— Что ты? Нам надо поскорее вернуться к паризам и приготовиться к защите наших очагов. Ты забываешь, что нас окружают десять легионов.

— Они не осмелятся шевельнуться до возвращения Цезаря.

— Ты, может быть, и прав... Но твой дом... Твоя гостья?

— Ради нее-то я и не хочу возвращаться домой... Я не вернусь, не омочив меча своего в римской крови... Отсутствие мое не будет продолжительным,— вот ты увидишь! Я вернусь прежде, чем Цезарь успеет посетить вас. Поручаю тебе мое имущество, моих подданных... моих гостей. Поручаю их тебе, как союзнику, как другу... До свидания!

— Да возвратят нам тебя боги!

Воины мои вскрикнули от радости, когда я сказал им, что веду их к Верцингеториксу, и что домой мы вернемся только победителями.

III. Верховный вождь народа

Пятьсот паризских всадников и предводители восьми паризских долин и Лютеции единодушно признали меня своим начальником. Сам же я был подчинен Веггасилавну, с которым мы были в прекрасных отношениях.

Мы ехали семь дней. Дороги были завалены снегом и проходили по гористой местности: нам приходилось пробираться по узким ущельям и окраинам пропастей, в глубине которых неслись бурные потоки.

Вечером на седьмой день мы въехали в укрепленный город Герговию, где был Верцингеторикс. Вся страна была полна войск, и новые отряды постоянно подходили днем и ночью. На горах и в долинах, везде виднелись бивуачные огни или же освещенные деревни и города, переполненные союзными галльскими войсками.

На следующее утро нам было приказано явиться на смотр к Верцингеториксу. Мы проехали мимо него, и он по-видимому остался доволен нашим вооружением и порядком, царившим в наших рядах.

После смотра я был вызван вместе с другими начальниками, и в первый раз увидел Верцингеторикса вблизи.

Это был человек лет тридцати, громадного роста, со строгими чертами лица. Он окинул нас быстрым взглядом своих выразительных глаз с металлическим блеском и таким суровым тоном задал нам несколько вопросов, что мы тотчас же почуствовали, что он собрался держать нас в строгой дисциплине.

Все находили в лице его какую-то роковую черту, какая была и в лице его отца, жестоко поплатившегося за ненависть к себе знатных людей, друзей римлян.

Хотя он говорил повелительно, но это нисколько никого не поражало, потому что говорил он точно не от себя, а от лица всей родины, Галлии, говорил так, что нельзя было не повиноваться ему.

Верцингеторикс, посмотрев на нас, обратился к нам с краткой речью.

Он сказал нам, что взялся за оружие для того, чтобы отстоять свободу всей Галлии, что наступало время узнать, преклонятся ли свободные сыны Галлии перед римскими розгами и секирами, будем ли мы подданными тех самых римлян, которые платили дань нашим отцам; послужат ли богатства, дарованные богами Галлии, плодородие ее почвы, труд наших рук только для того, чтобы платить долги проконсула; будут ли наши дети пополнять ряды рабов; осквернятся ли наши святые обители римскими идолами; послужат ли наши поля для переселенцев, являющихся с Тибра; или же Галлия отстоит свою свободу.

Он с увлечением описывал нам будущую великую Галлию, которая освободит угнетенные народы и заставит римлян по-прежнему платить нам дань, как это было во времена Бренна.

Мы слушали его с таким вниманием, что не смели прервать даже для того, чтобы выразить свой восторг.

Он продолжал:

— Уже почти все племена Галлии ответили на мой призыв, и ежедневно ко мне являются новые отряды. Если богам будет угодно, то через два месяца римская провинция сделается свободной Галлией. Когда на горах начнет таять снег, мы переберемся через Альпы. Мы сумеем найти путь от Альп до Рима. И последнее слово, паризы! Мы храбрее римлян, но победить римлян мы можем только римской дисциплиной... Начальник, назначенный мною, сообщит вам, какое наказание ждет нерадивого и невнимательного воина, который осмелится грабить в дружественной стране, который не явится по первому требованию начальника, не будет соблюдать порядка в битве, и даже того, кто осмелится победить без позволения своего начальника... Для храбрецов у меня назначены награды: тому, кто первым войдет в неприятельский лагерь, я даю полный щит золота; кто принесет мне римского орла — две тысячи десятин земли по выбору в римских колониях и пятьсот тому, кто принесет мне знамя. Как в наказании, так и в награде я не буду делать никакого различия между знатным воином и крестьянином. Римское рабство сделало всех

нас равными. А теперь отправляйтесь по своим местам.

Нам вскоре привелось подивиться улучшениям, произведенным Верцингеториксом в его войске.

Так как он был самым богатым человеком в Галлии и самым могущественным, то он чеканил монеты со своим значком. Между своими подданными он мог набрать целый легион. Он организовал и вооружил его так, что тот не уступал знаменитым легионам Цезаря.

Отборная рать Верцингеторикса приводила нас в восторг. Когда по утрам она обучалась и, как римский легион быстро разворачивалась и свертывалась, вокруг нее толпами собирался народ. Вообще вся тактика была позаимствована от римлян, и кроме того, солдаты умели складывать из своих щитов «черепашу», чтобы под ее защитой иметь возможность взбираться на стены.

У всех галлов недостаток заключался в том, что когда мы нападали на неприятельский отряд или осаждали укрепления, мы двигались стадом, воюя каждый за себя, как люди, принимающие участие в охоте. Римляне же, напротив, продвигались равномерным шагом, правильными рядами, прикасаясь локтями друг к другу. Вот против этого-то нашего недостатка Верцингеторикс и старался действовать тактикой.

Он образовал, кроме того, правильную конницу, разделив ее на отряды, и применил в ней улучшение, заимствованное им от германцев и неизвестное римлянам: каждому конному он дал быстрого пехотинца, который бежал подле, держась за гриву. Когда такой отряд шел в наступление, пехотинец, обнажив меч, кидался под лошадь римлянину или вонзал ему дротик прямо в лицо.

Эти нововведения сильно интересовали галлов и всем хотелось воевать под начальством Верцингеторикса, но он не хотел иметь новичков и говорил:

— Пусть люди лучше сражаются тем оружием, к которому они привыкли с малолетства.

Поэтому в нашей войске одни отряды были вооружены по образцу наших дедов и отцов, другие — по образцу римлян. Но всех поддерживал единый дух. Верцингеториксу важно было иметь только ядро из отборного войска.

Дисциплина соблюдалась строжайшая, и каждое нарушение строго наказывалось точно так же, как и в римских легионах. Однажды у входа в палатку предводителя я увидел одного из своих кастров, босого, в

одной рубашке, в цепи вокруг тела, посиневшего и дрожавшего от холода. Он был наказан за то, что показал язык человеку старше его чином.

Когда вина была более серьезной, то Верцингеторикс поручал друидам произнести приговор. В таких случаях виновных выгоняли из лагеря, полунагих и без оружия.

Когда первые отряды Верцингеторикса были собраны и обучены, он отдал их под начальство наиболее опытного из своих помощников, а сам отправился к стране битуригов, где было множество цветущих городов, плодородные поля и луга, покрывавшие долины, и где железная руда выходила почти на поверхность земли.

Верцингеторикс знал, что некоторые из предводителей этого племени отказывались подать голос за независимость из страха, что война разразится на их земле.

Тем не менее, когда он подошел к их городу, все старейшины явились предложить ему почетного вина.

— Вы несколько опоздали,— сказал он им.— Я знаю, что вы обращались за помощью к римлянам.

— Обрати внимание, в каком мы находимся положении,— заявил ему один из старейшин.— Неизвестно, галлы или римляне одержат победу. Если бы мы примкнули к тебе как бы добровольно, а не по принуждению, то Цезарь обошелся бы с нами жестоко.

— Так и быть, я принимаю ваши предложения, но вы мне дадите заложников, и прежде всего тех лиц, которые были против свободы. Вы откроете мне ваши города и снабдите меня войском. Мне особенно нужна конница.

— Можешь брать заложников, сколько тебе угодно. Входи прежде всего в нашу столицу; все остальные города будут для тебя открыты. Мы призовем к оружию всю нашу молодежь, и наши знамена с кабаном присоединятся к твоим. Вся наша земля со всеми ее богатствами принадлежит тебе.

— Готовы ли вы сражаться с нами и разделять как неудачи, так и удачи?

— Да, на живот и на смерть!

— Готовы ли вы пожертвовать всеми вашими богатствами ради святого дела освобождения, не бледнея от того, что факелы появятся в ваших городах и деревнях?

Они немного смутились, но все-таки ответили:

— Мы готовы на все!

— Я включаю вас в союз Галлии, целиком восставшей против угнетателей... Я надеюсь отвоевать вам свободу, хотя победа находится в руках богов.

Эти битуриги сделали тоже, что сделали тогда многие из галльских народов. Простой народ всюду стоял за свободу и старался увлечь своих старейшин и предводителей.

В это время мы вместе с Вергассилавном проезжали по долинам Арвернии и торопили набор людей.

Снег покрывал еще высокие места и скапливался в ущельях. Но зима все-таки начинала уступать. Начались хорошие дни, и низкие местности стали зеленеть.

Страна Арверния очень странная, и там под горами всюду чувствуется присутствие бога огня и подземной силы. Людей, подобно мне никогда не видевших ничего, кроме холмов Сены, эти горы пугали своей высотой. В сравнении с ними наши парижские холмы, наша гора Люкотиц казались просто муравьиными кучами.

Жители этой страны не знают усталости, привыкли к бедности и считаются первыми храбрецами Галлии.

Я никогда не видывал людей более гостеприимных, и, хотя содержание войска ложилось на них тяжелым гнетом, они, из преданности делу, никогда не роптали.

IV. Около Аварикума

Однажды отряд нашей конницы остановился, застигнутый вьюгой в ущелье, из которого мы слышали крики, передававшиеся с вершины и эхом разносившиеся по горам.

В то же самое время мы заметили, что ручьи и водопады как бы окрашены в черный и красный цвет.

— В воду налили крови и насыпали угля,— сказал мне Вергассилавн.— Это значит, что получено какое-нибудь важное известие, которое нужно передать всюду. Таков обычай у наших горцев.

Мы увидели человека, скакавшего к нам.

— Где Вергассилавн? — крикнул он, останавливаясь.

— Я здесь,— отвечал начальник.

— Слава богам!.. Я давно ищу тебя. Я везу тебе известие... Цезарь перешел через Альпы...

— Не может быть!

— А между тем это так! Он пришел с новобранцами из Италии... С помощью горцев расчистил ущелья от

снега... У него воинов так же много, как звезд на небе... Конница его всюду разъезжает, и по ночам видны пылающие деревни.

— Ну что же, мы поохотимся за ней...

— Да, но под прикрытием конницы Цезарь пройдет к эдуям, призовет к себе с севера свои легионы и бросится со всеми своими силами на нас... Вся Арверния дрожит от страха... К Верцингеториксу посылается гонец за гонцом, чтобы он скорее выступал навстречу Цезарю... Дело идет о всей Галлии, о всем свете...

Только мы подошли к Герговии, как услышали еще новость: Цезарь соединился с своими легионами!

Мы поспешили к Верцингеториксу и соединились с ним в его лагере около Аварикума, столицы битуригов.

Он созвал на военный совет начальников племени и доказал им, что нечего было и думать устоять против римлян в открытом поле, а потому надо было прибегнуть к совершенно новому способу: опустошить кругом неприятеля страну и заставить голодать его войско, изнуренное переходом через горы.

Поля еще были покрыты снегом, следовательно римляне могли достать продовольствие и корм для лошадей только в крепостях, городах и деревнях. Чтобы заставить их голодать, следовало выжечь все на их пути, начиная от богатых городов и кончая последней лачугой, в которой можно было бы найти мешок ржи и связку сена. Уничтожив все обитаемые места, их можно было бы победить голодом и холодом на пустых биваках.

— Такие меры,— заключил Верцингеторикс,— могут показаться жестокими, но рабство жен наших и детей должно казаться нам еще более жестоким.

Это предложение было встречено сначала мрачным молчанием. Даже у начальников галльских племен, живущих вдали от войны, сжималось сердце при мысли, что им самим придется поджечь те самые города и деревни, которые они пришли защищать, хотя сами они ничем не рисковали при этом опустошении. Что же касается до начальников битуригов, то они, глядя задумчиво куда-то вдаль, молча плакали. Никто не смел возразить Верцингеториксу: все сознавали, что он был прав, и что иначе действовать нельзя. Его предложение было молча принято большинством.

С этого дня во всей стране, по дорогам, размытым дождем и таявшим снегом, тянулись печальные вереницы скота и людей. Крестьяне уходили из своих деревень, обреченных на сожжение, не смея даже

обернуться, чтобы хоть в последний раз взглянуть на хижину, в которой они родились.

Вслед за стадами качались по ухабам и рытвинам большие тростниковые телеги, запряженные волами и набитые всевозможными вещами. С возов то и дело сваливались глиняные горшки, и черепки хрустели под колесами. Куры, привязанные к тростниковым перекладинам, висели, распутив крылья, и кричали, выпучив глаза.

На возах сидели с поникшими головами старики; матери со слезами на глазах грудью кормили младенцев, а ребятишки, в восторге от неожиданной поездки, хлопали руками и весело взвизгивали.

Многие впопыхах оставили дома дорогие вещи, а вместо того взяли с собой какой-нибудь битый горшок; другие, по прихоти детей, везли кошку, птицу в клетке или старую игрушку.

Глядя на проезжавшие мимо возы с убогими хозяйствами, выставленными на показ, наши воины, опираясь на копья, невольно думали: «А завтра, может быть, придет черед и нашим!..»

С наступлением ночи, насколько видел глаз, всюду поднимались клубы дыма. Иногда около горевших построек вдруг раздавалось ржание лошади, забытой где-нибудь в конюшне, или крик старика, не пожелавшего оставить свое родное пепелище и отправиться умирать в чужую сторону. Кругом пылало зарево, точно северное сияние. Только один город Аварикум был пощажен. У жителей не достало духу поджечь его, так как это был самый красивый город в Галлии, с домами, похожими на римские дворцы, с прямыми улицами и с богатыми лавками.

Начальники Аварикума на коленях умоляли предводителей галльских племен пощадить хоть столицу их. Они, припоминая, указывали на то, какие громадные жертвы уже принесены ими, и клялись до последней капли крови защищать свой город, укрепленный и окруженный болотами.

Все начальники были тронуты и плакали вместе с ними.

Верцингеторикс долго молчал, не меняя сурового выражения лица, в то время как сердце у него обливалось кровью; наконец он должен был уступить общему желанию, хотя предсказывал, что придется дорого поплатиться за эту слабость.

Действительно, слабость повлекла за собой большое несчастье. Цезарь осадил город, и те самые боло-

та, которые должны были защитить его, помешали нам поспешить к нему на помощь. Аварикум был взят; и там погибли десять тысяч отборных воинов, оставленных для защиты, и кроме того там, как в западне, было перебито сорок тысяч жителей. Римские солдаты, страдавшие от голода, были щедро вознаграждены, найдя там в изобилии съестные припасы. Двадцать городов и пятьсот деревень, сожженных в один день, были пожертвованы нами совершенно напрасно.

Мы поклялись, что если возьмем латинский лагерь, то не оставим ни души живой, убьем даже поездную прислугу и жрецов, а добычу всю принесем в жертву богам.

Среди галлов возникло недовольство против Верцингеторикса.

— Обещав нам свободу и власть над всем светом, он не сумел даже защитить Аварикум! — роптали недовольные.

В нашем лагере начал обнаруживаться беспорядок и упадок духа. Нашлись такие, которые обвиняли начальников в измене и не хотели им повиноваться.

Вот в это-то время всего более обнаружилось нравственное величие избранного нами вождя. Он созвал всех начальников, даже таких, которые были во главе отрядов человек в десять, и явился на это бурное собрание, где даже преданные ему люди избегали встретиться с ним глазами, а большинство смотрели на него вызывающе. Он остановился и, скрестив руки, сказал:

— Зачем после первой неудачи так падать духом? Что это за упреки и подозрения? Разве сегодня вы менее вчерашнего ненавидите римлян, менее вчерашнего предпочитаете смерть рабству? Они лучше нас умеют осаждать города, и у нас нет таких машин, какие имеются у них. Вот потому-то я и не хотел собирать людей своих в одно место. Кто предложил сжечь Аварикум, как были сожжены другие города битуригов? И кто виноват, что эта тяжелая жертва, которая в будущем сделает честь нашему народу, не была доведена до конца? Не ваши ли просьбы заставили меня отказаться от моего намерения? Разве я не предсказывал того, что случилось? Взятие Аварикума — большое несчастье, но неужели вы думаете, что в войне бывают только одни победы? Наши предки, слава о которых распространена по всему миру, испытывали еще гораздо худшие неудачи. Несчастье это велико, но поправимо. Взамен нескольких тысяч воинов, погибших в Аварикуме, к нам явятся сотни

тысяч других. Дальним народам надо дать время, чтобы снарядить войска и пройти по зимним дорогам. Но зима подходит к концу, и ваши страдания уменьшатся. Легионы пострадали еще более вас: разве вы не видели, как итальянцы бежали из лагеря и дрожа от голода и холода, приходили отдаться вам в рабство за кусочек хлеба? Продовольствие, найденное в Аварикуме, давшее римлянам возможность избавиться от смерти, истощится. А других припасов у них не будет. Опустошенные земли галлов в виде пустыни окружают их. Эдуи отказываются поставлять им что-либо. Они готовятся присоединиться к нам и увлекут за собою все соседние народы. Всякое отступление Цезарю отрезано: сами боги отдали нам его в руки. Но умоляю вас, не предавайтесь подозрениям, распространяемым между вами тайными врагами вашей свободы! Отгоните от себя всякую мысль о разладе! Теперь вам необходимо, чем когда-либо, сплотиться в один братский народ. Против сплоченной Галлии что могут сделать десять легионов? Если Галлия будет объединена, то против нее не устоять целому миру!

Речь эту сначала слушали очень холодно. Затем мало-помалу подозрительные и враждебные взоры доверчиво обратились на Верцингеторикса, и в конце концов все опять поклялись победить или умереть.

Неужели из-за одной неудачи Галлия перестала бы быть родиной храбрецов?

На другой день после описанного собрания разнеслась весть, что ночью Цезарь вышел из города со всеми своими легионами. Выгнал ли его голод оттуда, или же он бежал при виде наших подкреплений, с каждым днем все приближавшихся к городу?

Вскоре мы узнали настоящую причину его отступления.

У эдуев было не совсем спокойно: у них образовались две партии, из которых одна перешла на сторону Цезаря, а другая хотела соединиться с Верцингеториксом.

Цезарь отправился в страну эдуев.

V. Герговия

Дни стали длиннее. Хотя высокие места в Арвернии еще белели от снега, но долины уже покрылись зеленью, и наша конница находила там богатое пастбище.

Все силы Верцингеторикса стояли теперь на берегу одной реки против римских легионов, задержанных быстрой рекой, раздувшейся от вешних вод.

Мы несколько дней провели на виду у римлян, отделенных от нас рекой.

С одного берега на другой неслись оскорбления. Засев в кусты и на деревья, враги посылали друг другу стрелы, к которым были прикреплены бранные слова.

Мы очень хорошо понимали, что это глупая забава, и бездействие тяготило нас. Переправиться через реку мы не имели возможности и дошли до того, что стали желать, чтобы римляне, более ловкие, чем мы в постройке мостов, переправились первыми.

Это случилось скорее, чем мы ожидали.

Цезарь построил мост гораздо ниже по течению реки и переправил на другую сторону свои легионы.

Таким образом война была перенесена в Арвернию; но душевное настроение наше было совсем не такое, каким оно было раньше. Тогда Цезарь явился совершенно неожиданно, точно свалился с неба. Войск у нас было очень мало, и города не были готовы к защите. Теперь же нас было шестьдесят тысяч человек, и через несколько дней мы заняли непреступные позиции на склонах горы Герговии.

Вершина Герговии, возвышающаяся на тысячу двести локтей над долиной, представляет собой квадратную площадь, на которой и был выстроен город, окруженный стеной в десять локтей толщины и в двенадцать вышины.

Город вмещал в себе массу народа, так как в нем укрылись все окрестные жители. Там постоянно слышался шум, напоминавший прилив и отлив океана, и разные звуки, сливавшиеся с человеческими голосами, с топотом всадников, мычанием скота, бляением баранов, криком ослов и хрюканьем свиней. Иногда среди всеобщего гула раздавался звук бронзовых труб и рожков конницы.

Чтобы избежать тесноты и сохранить дисциплину, Верцингеторикс поместил свои войска за чертой города. Мы стояли на южном склоне горы, так как римляне можно было ждать только с этой стороны.

На склоне горы Верцингеторикс выстроил из камней стену вышиной в шесть локтей. Между превосходными укреплениями города и этой стеной находился наш лагерь. Мы размещались по племенам. У каждого из галльских племен был свой лагерь с воротами, у которых стояли часовые. Никто из галлов не смел

выйти из лагеря без дозволения начальника, не сказав часовым пароля и не показав им свинцовой бляхи.

Тут-то мне и привелось любоваться на расторопность парижских солдат. Другие стояли еще, сложив руки, и ждали своих пайков, в то время как наши уже развешивали над огнем котелки, доставали из колодцев воду, разводили огни и варили или жарили мясо. Другие еще голодали, когда наши уже сидели сытыми. Парижы угощали воинов соседнего лагеря, но, не стесняясь, выбирали лакомые кусочки себе. У нас припасов было в изобилии, тогда как в других лагерях жаловались на голод.

Наш парижский лагерь был сборным местом всего войска, всех, кто любил послушать рассказы, любил попить, посмотреть на штуки ученых собак, сам рассказывать и плясать. К нам стекались барды, уверенные, что всегда найдут хороший ужин и слушателей, потому что желудки наши не были пусты.

Через пять дней после того, как мы расположились лагерем, мы увидели шесть змей с стальной чешуей, тянувшихся вдоль берега реки.

— Шесть легионов! — вскричали наши воины.

Вскоре во главе колонн можно было различить конницу, и до нашего слуха донеслось лошадиное ржание. Наша конница тотчас же стала спускаться навстречу неприятелю.

В долине произошли значительные схватки.

Я бился с римскими и испанскими всадниками, постоянно отступавшими к своей пехоте, оставляя на поле битвы павших лошадей и убитых воинов. Нас окружали целые ураганы белых развевающихся рукавов, черные глаза, сверкавшие под головными мешками, и кони, бившие задними ногами и поднимавшиеся на дыбы. Мы нашли этих воинов-арабов менее страшными, чем думали прежде: не боясь их криков, мы очень ловко отстраняли их копыта и поражали их своими мечами прямо в грудь.

На нас пытались напасть и галлы, союзники римлян, но, поскакав к нам, они повернули назад почти за шаг от наших копий, не подняв даже своих дротиков, и ускакали обратно. Мы ясно видели, что они не хотели сражаться со своими братьями.

При натиске легионов мы отступили к подножью горы. Вскоре римляне остановились между большим озером и рекой. Затем легионы рассыпались и образовали линии громадного четырехугольника. Лопаты и заступы заступали по камням: земля поднялась валом,

и рядом появились рвы. К вечеру лагерь был устроен, и римляне могли лечь спать за укреплениями.

Цезарь, по-видимому, не хотел приближаться к нам, и оставил тысячи две шагов расстояния между своим лагерем и подножием нашей горы.

На следующий день мы увидели на римских валах большую толпу в красных плащах и шлемах с большими султанами. Это начальники смотрели на наш город, складывая руки в виде трубы, чтобы лучше видеть при ослепляющем сиянии снега. По их движениям было совершенно ясно, что они находятся в нерешительности. Может быть, они удивлялись, как сильно укреплен город и какое множество у него защитников.

Во второй день римляне не двигались с места, но зато ночью они наделали нам хлопот. В то время как мы крепко спали, завернувшись в плащи, ногами к кострам, сторожевые вдруг подняли тревогу. Внизу, в ущелье, разделявшем нас в южном направлении со скалой, названной нами Белой, послышались победоносные крики и стоны отчаяния. Протерев глаза, мы увидели на снегу Белой скалы кое-где людей, перебежавших, как муравьи. Были это галлы или римляне, мы не знали.

Вскоре к нам прибежало несколько человек из наших, в крови, в грязи, со сломанным оружием и задыхаясь от крутого подъема.

Цезарь, воспользовавшись темной ночью, поднялся на Белую скалу, где нами был поставлен маленький отряд, и отбросил его в ущелье. К утру этот холм уже был окопан римлянами и превращен во второй их лагерь, только меньших размеров.

В течение дня между двумя лагерями римляне прокопали ров; следовательно, сообщение между двумя лагерями было совершенно свободное. Солдаты ходили, прикрытые валом, из-за которого виднелись только верхушки их шлемов.

Таким образом одна сторона нашего города была совершенно отрезана, но остальные три оставались свободными.

VI. Литавик-эдуи

Однажды утром мы заметили сильное движение в обоих римских лагерях. Гонцы носились туда-сюда, и лагерь обменивались знаками; стража была удвоена

Верцингеторикс решился напасть на Белую скалу, но попытка не удалась. Мы захватили, однако, несколько человек.

Этих людей мы не убили, а привели к Верцингеториксу. Им обещали даровать жизнь, если они скажут правду, и смерть самую ужасную, если они будут лгать.

— Что делается у вас в лагере? — спросил Верцингеторикс.

— Цезарь пошел навстречу десяти тысячам эдуев, которых ведет Литавик, и взял с собой четыре легиона... Кажется, там что-то неладно...

Более ничего нельзя было добиться от них. Но ночью у подножия города с левой стороны раздался звук галльской трубы, и затем громко было произнесено имя Литавика; а через несколько минут этот начальник въехал в город с своим отрядом эдуйских всадников.

— Сорвалось, — сказал он Верцингеториксу. — Я надеялся привести тебе десять тысяч пехоты и конницы, но привел только небольшой отряд. Недалеко отсюда я остановил своих десять тысяч воинов и начал им рассказывать, что Цезарь приказал убить их братьев-заложников. Выдумка моя прекрасно подействовала. Всадники от негодования потрясали своим оружием и умоляли меня отомстить Цезарю за их друзей... Вдруг, что же я вижу? Самого Цезаря с четырьмя легионами. Он в свою очередь начал говорить речь, но никто ему не верил. Тогда он вывел из своих рядов эдуйских заложников и попросил их самих сказать, что они живы. Ты понимаешь, что дальше ждать мне было нечего. Я скомандовал своему отряду «направо кругом!» и приехал сюда.

— Добро пожаловать, благородный Литавик! Ты будешь принят со всеми почестями, каких заслуживаешь, все равно, если бы ты привел все силы и весь народ эдуев.

— Да, и кроме того, — продолжал Литавик, — я думаю, что еще не все кончено. При первых же словах моей истории каждый отряд отправил домой гонцов, чтобы поднять все племена... Мои посланники уже уехали... Цезарь полагает, что он обрезал крылья моей утки; но птица полетела по городам и деревням.

— Ты говоришь, что с Цезарем было четыре легиона?

— Четыре, я считал орлов и знамена.

— Так значит перед нами всего два легиона... Таким случаем пренебрегать нельзя... Друг Литавик,

в честь твоего прибытия завтра утром мы устроим осаду двух лагерей. Ты поведешь одну из колонн.

— Благодарю!

С восходом солнца мы спустились с горы. Разрушив у маленького лагеря укрепленный вал, мы набросились на большой лагерь. Верцингеторикс, оставшись наверху в городе, постоянно посылал нам подкрепления, чтобы сменить утомившихся и подбирать раненых и убитых.

Римский лагерь находился в отчаянном положении. Вдруг со стороны реки послышались трубы римской пехоты и рога, ревущие, как быки. Это возвращались скорым шагом четыре легиона. Верцингеторикс приказал трубить отступление.

Под Литавиком было убито две лошади; щит его был утыкан стрелами; ударом баллисты был разбит его шлем; латы его проткнуты пикой, а рука проколота стрелой. Несмотря на боль от раны, заговоренной каким-то друидом, он приказал оставить открытой свою палатку и приводить к себе всех гонцов, которые будут приезжать из земли эдуров.

— Ну, не говорил ли я тебе,— сказал он Верцингеториксу.— Мои гонцы отлично действуют. В одном из эдуйских городов они уничтожили римских купцов и захватили заложников Цезаря. Начальники эдуйские совсем растерялись: одни стоят за восстание, другие за примирение с Цезарем. Но теперь кончено! Кровь убитых римлян стоит между нами и им. Я отправляюсь туда и приведу с собой сорок тысяч эдуров. Прощай! Ты скоро меня увидишь.

И он ускакал с перевязанной рукой, в сопровождении своего отряда.

VII. Отступление орлов

В палатке Верцингеторикса был собран военный совет, и он обратился к начальникам с речью.

— Пока три стороны города у нас совершенно свободны, и мы можем доставать сколько угодно припасов. Постараемся же отстоять нашу позицию. Я особенно боюсь за Дубовую гору: она слишком близка от города. Если римляне возьмут ее, то Цезарь будет видеть все, что мы делаем. Сегодня же нам надо занять это возвышение и возвести там стену. Для этого нужны руки, и потому возьмем все войско. Мы кончим работу в какие-нибудь десять часов. Мы будем

работать под прикрытием деревьев... Римляне ничего не будут знать, и не будут даже подозревать...

План этот был одобрен всеми, и еще до восхода солнца все были на ногах.

Мы в продолжение нескольких часов были заняты на Дубовой горе, и даже всадники принимали участие в работе; а конюхи держали в это время по шесть лошадей каждый. Стена росла и была быстро окончена, как вдруг из Герговии пришло известие: в римском лагере начались передвижения, зазвучали трубы и рожки, из большого лагеря переходят в малый так открыто, что заметен блеск шлемов, в отверстия стен видны целые когорты со значками.

Верцингеторикс сильно задумался над этим сообщением. С того места, где находились мы, римских лагерей видно не было.

Пройдя несколько шагов, мы заметили, что в малом лагере очень мало воинов. Верцингеторикс опасался какой-нибудь уловки со стороны Цезаря. В ту же минуту от города прискакал безоружный гонец:

— Скорей! Скорей! — кричал он. — Римляне осаждают Герговию. Они преодолели стену! Они напали врасплох на три наших лагеря и перебили половину наших людей, отдохавших после обеденной трапезы. Наверное, город уже взят.

Со стороны города и южного ската до нас доносились крики.

— Быстрее! — крикнул Верцингеторикс. — Спасем город!

В один миг всадники вскочили на коней и помчались по откосам, не страшась падения. Мне был ясно виден подступивший к стенам легион, в полном боевом порядке, с командирами в красных плащах и с высокими султанами на шлемах.

Даже не обернувшись, скачет ли кто за мной или нет, я бросился прямо к красным плащам. Стрелой налетел я на командира, стоявшего перед остальными с непокрытой головой. Я схватил его руками, оторвал от земли и кинул перед собой на седло. Затем быстро выхватив у него меч и зажав левую руку, я замахнулся, но в тот же миг римляне, ошеломленные моим наскоком, опомнились и напали на меня с криками, которые в пылу боя я не мог разобрать. Из легиона выбежали пехотинцы и тоже окружили меня.

Я удивлялся, однако, что никто из них не решается ударить меня мечом или копьем: они хватались за узду моей лошади, цеплялись за ноги и все норовили

отнять у меня пленника. В это время галльские всадники, скакавшие за мной, ворвались в толпу, посреди которой был я, и мы свалились все трое: моя лошадь, мой пленник и я, а уж на меня сверху нагромоздилась целая гора своих и чужих.

Поначалу мне казалось, что я еще держу пленника за руку, а затем вдруг почувствовал, что ее нет. Тогда я наконец увидел, что человека в красном плаще не было: товарищи, вероятно, высвободили его.

Тут только я заметил, что в правой руке у меня был чужой меч, из чудной стали, с золотой резной рукояткой, а в левой перстень. Перстень этот я тотчас же узнал. Он был из цельного золота, с большим круглым красным камнем; на нем была вырезана женщина с распущенными волосами. Словом, это была печать Цезаря.

Кто же был этот человек, которого я держал в руках, человек в красном плаще, в золотых латах и с непокрытой головой!?

Я тщательно спрятал перстень, и, поймав лошадь без всадника, приготовился пустить в ход чужой меч.

Битва продолжалась.

Римляне чуть было не захватили город в свои руки. Теперь же, сдавленные между укреплением и стеной, они уступали натиску галлов, прибывавших с Дубовой горы. Все когорты и отряды римские перемещались так, что не было видно начальников и не слышно было их приказаний. Но они храбро стояли против нашей пехоты и медленно отступали шаг за шагом.

Всего ужаснее было для них, что с верха укреплений и башен, занятых теперь галлами, на их головы летели страшно тяжелые вещи и камни, снимаемые со стены.

Все трубы отчаянно трубили отступление. Но римляне в пылу битвы вряд ли что-нибудь слышали. Да и кроме того, как им было отступать?

Одно обстоятельство еще более ухудшило их положение. Цезарь приказал эдуюм, стоявшим в большом лагере, пойти к ним на помощь. Появление этих галлов испугало римлян, которые думали, что неприятель обошел их.

Если бы они не лишились хладнокровия, то заметили бы, что правые руки у этих галлов обнажены до плеч, плащи накинуты на левое плечо, и что этим они отличались от галлов, наших союзников.

Римляне не заметили этого различия или, может быть, не доверяли чужим. Слыша крики с левой стороны, видя подозрительных людей справа, а перед

собой уже не перепутанных, умоляющих женщин, а воинов, готовых на все, они с криками: «Спасайся, кто может!» побежали вниз, оставляя на каждом шагу своих солдат.

Мы истребили множество римлян: один легион был уничтожен почти целиком, а три других сильно пострадали. Все пространство между городской стеной и шестифутовой стеной было завалено римскими трупами, а ручей, протекавший в ущелье, покраснел от крови.

Вместе с знаменами истребленных когорт, оружие и драгоценности их начальников были принесены в жертву храму бога Камула. В самой Герговии был сложен целый холм из шлемов, лат, мечей и копий простых солдат.

Вечером, когда мы вошли с донесениями в палатку Верцингеторикса, у многих из нас были перевязаны руки. Верцингеторикс поздравил нас:

— Мы одержали блестящую победу, и известие о ней облетит всю Галлию. Цезарь лишился своего прозвища «Непобедимый». Его самые верные союзники восстанут против него. Десять тысяч эдучев, так неудачно выведенных им, примкнули к нам. Ваш меч рассек нити, которыми Цезарь связывал Галлию, и через месяц она будет свободна до самых Альп.

Когда я подошел, чтобы дать отчет, Верцингеторикс сказал мне:

— Сегодня ты дрался, как лев. Я видел тебя и сумею наградить.

— Слова твои будут мне лучшей наградой. Но я еще не кончил своего донесения.

Я рассказал о своей борьбе со всадником в красном плаще, в личности которого я теперь не сомневался. О золотом перстне я ничего не сказал, думая отдать этот перстень Амбиориге; меч же я показал.

— Клянусь Камулом, — сказал один из начальников, служивший между союзниками Рима, — это меч Цезаря! Я часто видел его в горячих схватках сверкавшим у него в руках.

Все присутствующие были поражены. После этого раздались крики радости и торжества. Все начальники наперебой поздравляли меня, а Верцингеторикс первый поцеловал меня... Он взял меч в правую руку, долго смотрел на него, потом с горячей молитвой поднял его к небу и сказал мне:

— Такой трофей может принадлежать только богам. Завтра, вместе со всеми драгоценностями, он будет принесен в жертву в храме бога Камула.

После этого он обратился к моему начальнику и другу Вергассилавну:

— Я желаю, чтобы этот храбрец был вознагражден за эту жертву. Наполни щит его ожерельями и браслетами. И кроме того прибавь вот этот серебряный кубок с замечательной резьбой. Гости Цезаря пили из этого кубка за будущую победу над галлами, Венестос же и друзья его будут пить из него за нашу победу.

Затем, обращаясь ко мне, он сказал:

— Теперь ты мне здесь более не нужен, а нужен мне у паризов. Поручаю тебе отправиться к ним с известием о нашей победе. Это придаст им бодрости для настоящей борьбы с римлянами. Ты победил Цезаря,— отправляйся воевать с римлянами на Сене. Надо, чтобы северные народы выставили отряды.

Все приветствовали меня как победителя Цезаря. Вергассилавн гордился, что я состоял под его начальством. Но тем не менее он смеясь сказал мне:

— Ты все же странный птицелов! Можно ли было выпустить из рук такую птицу?

Я показал ему свои руки и лицо покрытое ранами, и ответил в том же духе:

— А зачем вы вздумали сражаться у меня на спине?

Раны мои были совсем легкие. Они не помешали мне на следующее же утро собраться в путь.

Так как я хотел ехать как можно скорее, чтобы опередить известие о победе, то и взял с собою всего четырех всадников—паризов.

Когда на горизонте показалось солнце, мы выехали из северных ворот Герговии.

Мы спустились с гор и увидели, что в долинах уже началась весна. Всюду разливались и весело журчали ручьи; луга покрывались цветами; птицы приветствовали громким пением пробуждение природы. Мне казалось, что наша родина-мать тоже воскресала и украсилась цветами.

VIII. У паризов

К вечеру пятого дня мы доехали наконец до верховьев Кастора.

Увидев полоску темной воды, спокойно пробегавшей по глинистому дну под наклонившимися старыми деревьями, мы сошли с коней. Я подбежал к реке, встал на колени на мокрый берег и, воздав хвалу

местной богине, по локти опустил руку в воду и напился. Затем, взяв один из браслетов римского центуриона, я бросил его в воду.

Итак, после стольких событий мне все-таки привелось вернуться на родину. Я возвращался раненым, но вез с собой славу, золото и известие, которое могло заставить трепетать от радости горы и леса. И кроме того я мог увидеть Амбиоригу!

Но меня поразило, что мы совсем не встречали людей. На лугах не видно было животных, не слышно звона колокольчиков. На недопаханных полях лежали опрокинутыми плуги. Ворота около деревень были закрыты, никто не выходил, и не видно было дыма над кровлями.

Подъехав к Альбе, я громко протрубил. Я надеялся, что на этот призыв по всем тропинкам ко мне начнет сбегаться народ, крича от радости. Но мне ответили только собаки своим лаем.

Я снова протрубил.

У частокола я услышал отворявшийся запор, и в полуотворенные ворота показалось встревоженное лицо.

Человек этот вскрикнул от удивления, сбежал по тропинке и, бросившись ко мне, поцеловал мое стремя. Я узнал одного из своих крестьян.

— Ты являешься к нам спасителем! — вскричал он. — Но как же ты доехал сюда, не встретив неприятеля? Разве ты не знаешь, что у нас тут римляне?

И, протянув руку к востоку, он продолжал:

— Третьего дня там была битва, по ту сторону горы, в болотах.

— А мои воины?.. Жители деревни?.. Где Негалена?

— Все твои воины отправились в Лютецию, и туда же отправились все воины деревень Кастора. Негалена в военном наряде отправилась с ними: она начальствует над отрядом всадников. Тут не осталось ни одного крестьянина, способного держать оружие. В конюшнях не осталось лошадей, а по стенам хижин не висит более ни одного меча и ни одного щита. Даже рабам раздали оружие. Так приказала наша Негалена. Женщины же и дети спрятались по лесам и по болотам и увели с собой стада. Я только один получил приказание остаться сторожить деревню. К чему это? Ведь я не смог бы защитить ее против римлян, и мне было бы лучше там, со всеми!

Мы со всадниками посмотрели друг на друга. После такого продолжительного пути мы надеялись отдохнуть под родным кровом. Теперь же оказывалось,

что нам надо было ехать далее и в конце пути натолкнуться на битву...

Но надежда встретиться лицом к лицу с римлянами нас радовала. Нам не хотелось более ни есть, ни пить, и мы не чувствовали утомления. Даже лошади, кажется, приободрились.

— Так ты говоришь, что все отправились в Лютецию?

— Да,— отвечал старик, и затем, понизив голос, прибавил: — Ах, что тут без тебя было! Ведь ты знаешь Кереторикса-римлянина? Ежедневно бродил он с вооруженными людьми по твоим лесам. Он делал вид, будто охотился, но вечно вертелся около Альбы и глазами пожирал твой дом. Твои всадники строго следили за ним, и он не смел уже более переступить за ограду с тех пор, как госпожа Негалена запретила ему...

— Что ты мне рассказываешь? — перебил я его. — Что может быть общего между Негаленой и этим скоморохом?

— Так она тебе не рассказывала?.. Напрасно же я тебе сказал!

— Нет, нет! Ты ничего не должен скрывать от своего господина, от своего отца... Ну, говори же, несчастный!

— С тех пор, как она запретила ему являться к ней, он не смел показываться и бродил по лесу. Твои всадники объявили ему, чтобы он не смел охотиться у тебя в лесу, что встретив его, они изрубят на куски и его и его людей. В продолжение нескольких дней он и не показывался. Но раз ночью... Я не могу сказать наверное, что это был он... Доказательств у нас нет, а все-таки...

— Ты уморишь меня своими увертками. Говори же... Так ночью...

— Ночью нас разбудили собаки лаем и свиньи хрюканьем. Впотьмах слышно было, как ломают ворота. Мы побежали туда и при свете луны увидели по ту сторону частокола сверкавшие шлемы и копья. Ворота мы открыли и несмотря на темноту славно отделили их... Все они убежали, и мы не успели взять ни одного. Лица их различить мы не могли: кажется, они вымазались черным, чтобы их нельзя было узнать. И потому назвать кого-нибудь нельзя. Хотя...

— Хотя?.. Да говори же!

— Мы спустили вслед за ними собак. Одна из собак принесла кусок одежды. Цвет и рисунок материи совершенно такой, какой носят люди Кереторикса.

— Клянусь громами Тараниса, я так отомщу этому изменнику, что все паризы узнают... Но надо отправляться в Лютецию. Сначала расправимся с римлянами, а потом примемся и за лжеримлянина... В Лютеции мы все узнаем толком. Едем!

Наступила ночь. Мы ехали по склону горы Люкотиц, как вдруг со стороны Сены поднялся столб пламени, и зарево распространилось по горизонту. Столб был очень широкий, рассыпавшийся искрами; треск и гул от пожара походил на морской прилив... Свет был так силен, что мы видели все кругом.

— Ведь это горит Лютеция! — сказал один из всадников. — Римляне, должно быть, там.

Мы продолжали путь при постоянно увеличивавшемся зареве. Вскоре по левому берегу Сены и по склонам горы Люкотиц мы увидели раскинутые палатки, массы людей и лошадей, сталь и бронзу, освещаемые громадным костром. В лагере было шумно, и по временам раздавались звуки труб.

За несколько шагов от лагеря мы услышали звон оружия, ударившегося о седло, и затем какой-то голос крикнул нам:

— Кто идет?

— Паризы.

— Пропуск?

— Не знаем... Мы едем издалека... Где начальники?

— Да это ты, брат? — услышал я голос Цингеторикса, отделившегося от довольно значительного конного отряда. — Ты подоспел кстати, чтобы принять участие в пляске... Кажется, завтра мы начнем схватку.

— Где Негалена?

— Тебе следовало бы сказать Негален, так как твоя прелестная кузина считается одним из самых храбрых воинов. Она вон там, около палатки Камулогена, нашего предводителя. Все начальники собрались там на военный совет. Я тоже пойду туда, лишь только меня здесь сменят.

— Объясни мне, отчего горит Лютеция? Разве римские легионы уже так близки?

— Нет, город велел сжечь Камулоген и приказал уничтожить мосты. Мы очистили правый берег и острова. Римляне по другую сторону реки... Но, может быть, я и ошибаюсь, потому что они повсюду, и трудно сказать, где они сосредоточились! Камулоген все это объяснит тебе... Ты заставляешь меня говорить, когда я стою на часах... и это очень дурно.

— А много ли у нас войска?

— Нас столько же, сколько и римлян. Вся страна паризов взялась за оружие... Жители Лютеции вели себя превосходно. Никогда не предполагал я, чтобы ремесленники показали столько преданности и храбрости... Даже старые и убогие взялись за оружие. Женщины из себя выходили: они выталкивали из домов мужей и сыновей, которые колебались. Когда горожане поняли, что остров защитить невозможно, они без всякого колебания и не проронив ни слезинки сами подожгли свои дома. Но при этом они поклялись, что поступят точно также с римскими дворцами.

— До этого еще далеко! А начальники?

— Они все тут, со своими отрядами.

— А Кереторикс?

— Кереторикс-римлянин? Он еще не появился... Ты ведь едешь с юга? Правда ли, что арвернцы побили Цезаря? Об этом ходит слух. Одни говорят так, а другие иначе.

— Правда то, что Цезарь был разбит наголову.

— Ты был при этом?.. Ну, так расскажи!

— Ты забываешь, что, стоя на часах, болтать нельзя. До свидания!

Я подъехал к палатке предводителя и нашел там всех начальников, сидевших кругом на связках соломы. Беседуя, они ели и пили, и каждую минуту кто-нибудь из начальников вскакивал и бежал исполнять какое-нибудь приказание. Кроме того ежеминутно являлись гонцы с донесениями.

При моем появлении раздался крик радости. Все знакомые начальники бросились обнимать меня.

Я глазами отыскивал Амбиоригу и узнал ее в галльском шлеме с бронзовым поясом и кожаных сапогах со шпорами. Вместе с гордым видом начальника, в ней было что-то женственное и изящное.

Она подошла ко мне, молча пожала руку и тихо сказала мне:

— Сделал ли ты честь своему и моему отцу?

— А вот ты увидишь,— отвечал я.

Камулоген тоже встал. Он дружески приветствовал меня и спросил, не могу ли я подтвердить слухи, которые носят о победе Верцингеторикса.

— Я еду из Герговии,— отвечал я,— и своими собственными глазами видел, как легионы бежали перед нами... Это было шесть дней тому назад.

— Так как ты сделал в короткое время такой длинный путь,— продолжал Камулоген,— ты, вероят-

но, умираешь от голода и усталости. Садись и, подкрепляя свои силы, расскажи нам подробности.

Я рассказал со всеми подробностями о нашей победе над римлянами.

Все присутствующие в восторге вскочили и крикнули:

— Герговия, Герговия!

По всему лагерю разнеслось слово «Герговия».

Затем я рассказал о своем поединке с человеком в красном плаще, о редкой добыче, принесенной мной, и о похвалах Верцингеторикса.

— Так Верцингеторикс похвалил ловкость и храбрость паризов! — вскричали довольные воины.

И вновь все стали пожимать мне руки.

Амбиорига встала, не говоря ни слова. Она подошла ко мне, отстранив воинов, и при всех, в присутствии двух войск, при зареве пожара, поцеловала меня. Хотя забрало ее шлема, столкнувшись с моим, несколько помешало соединиться нашим устам, но все-таки сердце мое затрепетало от радости.

Все присутствующие захлопали в ладоши; мечи ударились в щиты, и немало воинов с седыми усами провели рукой по глазам.

Крики: «Герговия! Герговия!» раздались с новой силой, точно вызов, перелетевший на другую сторону реки.

Между тем гонцы без усталости привозили известия. Эти известия были довольно разноречивы, и из них можно было вывести, что один отряд римлян на судах поднимался к нам по Сене, а другой подвигался по правому берегу. С какой стороны намерены они были сделать ложную атаку и с какой настоящей, мы не знали.

Камулоген раздумывал, и никто не смел прерывать его размышлений; наконец он сказал:

— Знаете, что с нашей стороны было бы всего благоразумнее? Предоставить Лабиену ходить и переправляться, где ему угодно. Чего ему нужно? В порядке отступить, потому что Цезарь, вероятно, зовет его. Но только отступить ему хочется со славой, предварительно разбив нас. Клянусь вам, что без всякого сражения завтра к вечеру у нас не останется ни одного римлянина. А мы сбережем свои силы и присоединимся к Верцингеториксу.

— Нет, нет! — крикнули все. — Он пришел к нам, и не надо его выпускать. Битву! Битву, и сейчас же!

— Я так и думал, — спокойно отвечал Камулоген, — что вы таким образом ответите мне. И предложил вам

благоразумный исход, а вы предпочитаете неблагоразумный. Я знаю, что вы люди храбрые... Ну, в таком случае пусть будет сражение, раз вы его хотите! Но римляне вояки хорошие, и что касается до победы, то она зависит от богов.

— Битва! Битва! — крикнули все в один голос.

— Хорошо, друзья мои!.. Пусть же начальники отрядов разведки отправляются со своими людьми.

— С которым из отрядов надо мне выступить? — спросил я у Камулогена.

— Тебе-то, мальчик мой?.. — Он называл меня так потому, что по крайней мере на сорок лет был старше меня и по моей матери приходился мне родней. — Тебе-то? Ты сделаешь мне удовольствие и отправишься спать, а когда будет надобность, я прикажу разбудить тебя... Ну, слушайся начальника! Спокойной ночи!

Я не заставил повторять этого приказания. Только успел я повалиться на солому, как заснул словно сурок. Даже гроза, разразившаяся в полночь, не смогла пробудить меня. Я спал поистине богатырским сном.

IX. Битва с Лабиевом

Утром меня разбудил Камулоген и объявил, что римляне перешли реку.

Через минуту я уже сидел на лошади. Весь лагерь был наготове.

Камулоген находился на правом фланге. Я стоял подле него с моими храбрыми воинами. Около меня были Думнак, Арвирах, Боиорикс, Цингеторикс и Карманно со всеми своими храбрецами. Амбиорига, сидя верхом, находилась неподалеку от нас.

Было чудное апрельское утро. Солнце точно обмылось ночной грозой и ярко блестело. Висевшие на ветвях деревьев росинки сверкали, как бриллианты. Из леса несся запах весенних цветов. Тишина в наших рядах была такая, что слышно было, как в кустах чирикали птички. Целые стаи ласточек с криком пронеслись над нами.

Вдруг у опушки леса, из-за деревьев показались шлемы и латы, сначала понемногу, а потом во множестве. Перед дубовой рощей растянулся целый лес копий, сверкнули орлы, развернулись знамена и послышался звук труб.

С нашей стороны также раздались трубные звуки, и двадцать тысяч человек ответили криком.

Оба войска стояли в долине одно перед другим, на расстоянии нескольких сот шагов. С обеих сторон засвистели стрелы и полетели камни. Людей с легким вооружением с нашей стороны было гораздо больше, и наши заряды, как град, стучали о шлемы римлян. Мы видели, как из неприятельских рядов выходили раненые и как начальники в красных плащах падали с лошадей. Лабием тотчас же сообразил, что издали мы как стрелки имели преимущество, и поэтому он поспешил подойти ближе, чтобы пустить в ход свои копыя против наших дротиков.

Первые ряды римлян очень скоро расчистили себе копыями путь среди наших стрелков и окружили нас со всех сторон.

Наши стрелки стали отступать, теснимые с двух сторон конницей, и спрятались за пехоту.

Мы находились на расстоянии пятидесяти шагов от легиона. Бросившись к неприятелю, мы грудью отстранили копыя, взялись за мечи, и тут пошла настоящая битва.

У Боиорикса не было ни меча, ни дротика, а громадная дубовая палица, которой он производил опустошение среди римлян. Заметив одного из римских начальников на лошади, он бросился на него, опустив голову, и опрокинул коня и всадника.

— Bravo, зубр! — кричал ему Думнак.

Думнак со своим неразлучным Арвирахом всегда бросался в самую жаркую схватку; там они становились спина к спине и производили кругом себя опустошение.

Амбиорига с необыкновенной ловкостью отстраняла удары. С ней никто не мог сравняться, и она удивляла даже старых воинов. Можно подумать, что она в жизни своей никогда ничего другого и не делала.

Мы стали теснить римлян, и им пришлось понемногу отступать.

Наши стрелки, несколько прибодренные, снова появились и начали сбоку осыпая легионы своими стрелами.

Вдруг из леса показался галльский начальник в сопровождении большого отряда. Он был одет в итальянские ткани, и волосы его были спрятаны под шлемом.

— Клянусь Камулом! — вскричал Думнак. — Ведь это Кереторикс-римлянин! Как он долго наряжался!

Я хотел броситься на него, но мне помешал римский пехотинец. Амбиорига презрительно взглянула на Ке-

реторикса и продолжала сражаться. Она отстранила от меня удар меча, который я, заглядевшись, не заметил.

Сзади меня появился какой-то человек, в котором я узнал воина Кереторикса. Он был без шлема, без лат, без золотого ожерелья, с открытой грудью и с растрепанными и посыпанными пеплом волосами.

— Ничего не бойся, — сказал он мне. — Меня зовут Поредораксом, и я благородного происхождения, хотя и служу под начальством Кереторикса. Потом я тебе кое-что скажу, а теперь мне надо смыть свой позор.

Он показал мне свои плечи с двумя длинными полосами, совершенно свежими и очевидно сделанными розгами.

Когда Кереторикс заметил, что тот разговаривает со мной, он побледнел и отвернулся. Я наблюдал за ним, стараясь в то же время отстранять удары. В то время, как люди его дрались горячо, он берег себя. На галлов он смотрел с некоторым презрением, а на римлян — с восторгом. Иногда он защищался, но ни на кого не нападал. Римское копье слегка задело его по плечу. Он осадил лошадь, опрокинулся назад и подозвал к себе двух человек из своего отряда. Этим людям он что-то сказал на ухо, и тогда один из них взял его за плечи, а другой за ноги и таким образом его унесли в лес.

Воины Кереторикса тотчас же обступили его, точно боясь за его жизнь. Потом они пожали плечами и принялись храбро сражаться, не обращая на него внимания.

Солнце уже высоко поднялось над горизонтом. Римский легион перед нами продолжал отступать, но мы от усталости не могли преследовать его.

Точно по обоюдному согласию, бой на время прекратился.

Цингеторикс, обтирая лицо, смеялся над римлянами:

— Взгляните только на этих гусей Капитолия! Какой у них дурацкий вид. Не пощипать ли мне их?

И приложив палец к носу он закричал по-гусиному. Все вокруг дружно захохотали.

Но римляне не смеялись; маленькие смуглые люди исподлобья смотрели на нас, как бы говоря, что они никакого внимания не обращают на наши насмешки.

В эту минуту воины Кереторикса спешили и приблизились ко мне. Один из них сказал мне:

— Мы приготовились сделать то, чего не делалось еще никогда в Галлии. Но ведь у галлов никогда не

бывало причин бросать своего начальника. Мы не знали, до какой степени Кереторикс подл и преступен. Ведь это он ночью, в твое отсутствие, попытался вломиться к тебе в деревню и похитить Негалену. Ты видишь Поредоракса? Это Кереторикс плетью исполо-совал ему плечи за то, что этот честный человек осмелился сказать ему, что поступать так подло, и пригрозил выдать его. Он уверяет, что в Риме так обращаются с непослушными рабами. Неужели он ставит нас на одну доску с продажными рабами? Мы благородного происхождения, и кровь наша может быть пролита только от неприятельского оружия, а не под розгами... Ведь мы силой притащили нашего начальника на поле брани... Ты, может быть, думаешь, что серьезная рана заставила его удалиться с поля битвы? Нет, он получил простую царапину, которой не заметила бы девчонка! Нам стыдно за него. Если мы будем идти за ним, то дойдем до преступления. Мы отказываемся от него и просим тебя принять наши услуги.

Они сорвали и побросали значки своего господина. Правой рукой я прикоснулся к рукояткам их мечей, и они заняли место между моими воинами.

Битва снова началась. Римский легион стремительно напал на нас; мы встретили его остриями наших мечей и откинули первые ряды. Вдруг с левой стороны мы услышали сильный шум.

Другое галльское крыло было разбито и разогнано. Мы видели беглецов, которые просили, молили, бросали оружие, топтали знамена и бросались, как перепуганное стадо баранов. Убегая в горы, они рассыпались по долине, преследуемые римской конницей.

Наши ряды тоже немного пошатнулись.

— Спасайся, кто может, — послышался вдруг из леса какой-то громкий голос. Не голос ли Кереторикса?

Тут люди, в крови которых не было ничего воинственного, побежали во все стороны.

Мы же, как настоящие воины, стянулись все вместе и стояли лицом к врагу. Главная опасность заключалась в том, чтобы нас не отрезали от горы Люкотиц. Мы тихо двигались к ней, получая и нанося удары. Был один такой миг, когда римляне чуть не схватили Амбиоригу, но воины ее отца, как буйволы ринулись на выручку ей и отбили.

Удар копьем попал прямо в грудь Камулогену; он упал и был раздавлен отступавшими и не заметившими его галлами.

Силы наши истощились, мечи изломались, а между тем нам приходилось каждому бороться против десяти римлян. Мы гибли. За нами в лесу послышался топот бежавших людей. Неужели с тыла на нас бежали римляне или изменники?

Амбиорига сказала мне:

— Ты сейчас же заколи меня, чтобы я живой не досталась в руки римлян... или их друзей.

В это время послышались римские трубы, и из леса показался римский легион, который должен был закончить сражение.

В эту минуту я позавидовал тем из своих товарищей, которые пали на склонах Герговии с победными криками и, умирая, видели бегство римских легионов.

Амбиорига подала мне свой меч и сказала:

— Пора! Рази не колеблясь! Блаженство, о котором мы с тобой мечтали, осуществится только на небесах: там мы соединимся навеки. Рази!

Она вытянула шею.

— Слушай и смотри! — сказал я ей.

По долине скакал всадник, окруженный блестящей свитой. Это был правая рука Цезаря Лабиев. Его громкий голос покрыл голоса живых и умирающих.

— Велите трубить отступление! Завтра рано утром мы должны выступить в поход, чтобы скорее соединиться с Цезарем.

Трубы звонко затрубили. Римляне со всех холмов спустились в долину... Мы вздохнули свободнее...

Х. Ночь на Люкотице

Вскоре в римском лагере запылали огни и вокруг костров раздались веселые песни.

Мы же на горе Люкотиц провели печальную ночь под звездным и холодным небом. Мы умирали и с голоду, и еще более от усталости; нас подавляло горе, что мы потеряли такое множество храбрых воинов и нашего предводителя Камулогена, оставшегося без погребения. Постелью нам служила земля, напитанная дождем. Дрожа от холода, мы боялись развести огонь из опасения привлечь к себе римлян.

Но наши силы ежеминутно увеличивались возвращавшимися беглецами. Избежав мечей конницы они возвращались к нам по разным тропинкам, утомленные, окровавленные, изорванные, в виде жалких остатков войска, которое на одну минуту было победителем.

Но мало-помалу горячая галльская кровь дала о себе знать, как и природная галльская живость.

Обитатели Лютетии начали петь о Лабие и о гусях Капитолия, и вскоре вокруг них собралась целая толпа слушателей. Цингеторикс вдруг вскочил на ноги.

— И подумать только, что сегодня я убил пятьсот человек!

Все присутствующие захохотали.

— Ну скажем двадцать пять, и довольно об этом! — продолжал он. — Но кто смеет говорить, что мы побеждены? Римляне потеряли больше людей, чем мы. Пойдите-ка, посмотрите, много ли у них осталось от их легионов? Напрасно они зажгли столько бивуачных огней: это они сделали, чтобы обмануть нас. Разве поле брани осталось не за нами? Да и место мы занимаем гораздо лучшее: у нас возвышенность, а у них болото, откуда они выйдут с большими костями.

Таким образом галльский петух, хотя и был пощипан, но продолжал хорохориться и хлопать крыльями, вскакивая на крышу. В сущности, это было гораздо лучше, чем падать духом.

Утром четыре римских легиона, предшествуемые конницей, тронулись при звуках труб.

Мы видели, как они переправились через Кастор и прошли под частоколом Альбы.

Мы тотчас же спустились в долину. С холмов и из леса выходил народ, и нас собралось до четырех тысяч.

Те из воинов, которые были ранены или слишком утомлены, остались в долине, чтобы похоронить убитых и устроить Камулогену погребение с почестями, подобающими его храбрости. Остальные же воины под моим начальством решили идти вслед за римскими легионами.

Амбиорига поклялась, что ничто в мире не заставит ее покинуть меня. Наше обручение совершилось в присутствии всего войска, в долине, покрытой телами убитых друзей. За неимением жреца, руки наши соединил Карманно; он положил на наши головы обнаженный меч и громко произнес благословение.

Мы закусили тут же, на поле битвы, и выступили в дальнейший путь, по следам легионов.

Легионы шли так поспешно, что скоро стали оставлять за собой раненых, больных и оставших.

Однажды я услышал крики, долетавшие из одной хижины. Я вошел туда и увидел раненого, распростертого на соломе центуриона, которого наши воины го-

товились убить. Я протянул над ним свой меч, объявил его своим пленником и потребовал, чтобы его не трогали.

— Ведь это солдат Лабиена,— с упреком сказал мне Думнак.— Руки его, наверное, обогрены в крови паризов.

— Он раненый,— сказал я,— несчастный. Неужели мы станем лишать жизни обезоруженного врага?

Центурион схватил мою руку, чтобы поцеловать, и сказал мне:

— Я даже один из ваших отдаленных братьев... Не принимайте однако меня за кого-нибудь из тех галлов, которые сражаются против Галлии: я кельт с берегов По, и итальянцами мы сделались очень давно.

Раненый сообщил нам, что его зовут Гнеем Мароном. Он с необыкновенной любовью говорил о своей чудной родине и о том, с какой бы радостью он занимался там земледелием и жил бы спокойно; но с двадцати лет он был взят в солдаты, и вот теперь, дожив до седых волос, он дослужился до положения центуриона. Он говорил так трогательно, что вызывал слезы на глазах.

Выходя из дома, я сказал центуриону:

— Ты свободен, и выкупа я от тебя требовать не буду. Я прошу небо только о том, чтобы оно не столкнуло нас с тобой на поле брани! Теперь мне тяжело будет пролить твою кровь.

— А мне еще будет тяжелее пролить твою кровь, так как ты мой спаситель, и я обязан тебе жизнью. Я прошу великого Юпитера, чтобы он столкнул меня с тобой при таких обстоятельствах, когда я мог бы доказать тебе свою благодарность.

XI. Священная Бибракта

Мы прибыли в Бибракту, столицу эдуев, почти в одно время с Верцингеториксом.

Среди эдуйской знати было столько же партий, сколько было крупных родов, и стоило одному из них сделать шаг в нашу сторону, как другой делал шаг в сторону Цезаря.

Узнав о нашей победе при Герговии, они тотчас же отозвали от Цезаря свои отряды и отправили их в один город, где у Цезаря находились заложники, казна, хлебные амбары и часть его вещей. Они все разграбили, перебили всех римлян и сожгли город.

Но они никак не могли прийти к твердому решению. Все послы, которых они отправляли к Верцингеториксу, говорили разное, смотря по тому, откуда дул ветер. Они то являлись просителями, то говорили с заносчивостью.

Все эдуйские начальники боялись Верцингеторикса точно так же, как и Цезаря. На нас они сердились за то, что мы первые провозгласили независимость, и выходили из себя, что мы увлекли их. Всякий их начальник желал прежде всего помириться как-нибудь с Римом, сваливая на других все грабежи и убийства.

Верцингеторикс тихо продвигался к ним в ожидании, чтобы они приняли какое-нибудь решение.

Когда мы подошли к подножью священной горы, находящейся под покровительством богини Бибракты, Верцингеторикс встретил новых послов, которые пригласили его подняться на холм. Там, на большой площадке, посреди которой возвышался храм, на скале, господствовавшей над красивым городом, должны были собраться начальники. Каменные скамейки были уставлены для них кругом.

Вдруг на склоне горы послышались громкие крики и восторженные приветствия толпы. По крутой дороге, спускавшейся из города, шла огромная толпа мужчин и женщин. Матери, держа детей за руки, бежали так, что покрывала их развевались. Мужчины-ремесленники были еще в рабочих фартуках. В руках все держали зеленые ветви и все кричали:

— Вот он! Вот он, сын Кельтила! Герговия! Герговия!

Это шел весь простой народ Бибракты, ремесленники и бедняки, которые хотели заглядеть холодный прием, сделанный старейшинами освободителю Галлии. В этих простых людях трепетало настоящее сердце галлов; они со слезами умиления окружили нас, и, бросаясь под ноги коня Верцингеторикса, расстилали по земле свои плащи и осыпали путь цветами и зеленью. Все они жадными глазами смотрели на Верцингеторикса и толкались, чтобы поцеловать его стремя и край его одежды. При этом они пели гимны, которые у нас поют под новый год.

Мы увидали целые вереницы девушек в белых платьях и в цветах, друидов, посвященных богине, с разными священными предметами в руках, и представителей всевозможных ремесел с развевающимися знаменами.

Все шли с большими палками, увешанными разноцветными лентами. Ремесленники предлагали доро-

гие подарки, жрецы призывали на нас благословения, а девушки осыпали наш путь цветами.

Все поднялись с нами на гору, и мы точно плыли по океану зелени и цветов. На шеях наших лошадей висли гирлянды, и шлемы наши были увенчаны пахучими венками. Концы наших дротиков и мечей были утыканы букетами.

Верцингеторикс тихо продвигался, боясь раздавить детей, бросавшихся к ногам его лошади. Он был взволнован и погружен в задумчивость.

У меня вдруг мелькнула мысль, что точно также, осыпая цветами, водили на жертву больших белых быков. Повернувшись к ехавшей подле меня Амбиориге, я увидел, что глаза ее были полны слез. Ей пришло в голову то же самое и так же на нее подействовало.

Толпа смешалась с нашим отрядом. Селяне стали приносить нашим воинам вино и плоды; мальчики пытались взять их щиты или копьа, и были очень довольны, когда им это удавалось; они важно шли рядом и, несмотря на тяжесть, старались не отставать.

У ворот города мы были встречены начальниками в золотых ожерельях и местным советом старейшин. Им, вероятно, надоело ждать нас на площадке совета, или, скорее, они испугались, чтобы народ на них не рассердился. Хотя они и были увлечены потоком, но в душе у них кипело негодование и зависть к герою Герговии.

В городе совсем не было видно домов, так как все они были завешаны яркими материями, а улицы покрыты галльскими клетчатыми одеждами и римскими коврами.

Мы подъехали к площадке совета, и старейшины приказали оцепить ее войсками, для того чтобы не пропускать народ. Верцингеторикс сошел с лошади. Остановив свои войска, он взял с собой только начальников. Эдуи в золотых ожерельях повели нас к назначенным для нас местам.

Вслед за этим началось совещание, и тут выказалось все самообожание благородных эдуюев.

Послушав их, можно было подумать, что они сделали все. Герговия была победой эдуйской: во-первых, они заставили Цезаря вывести часть войска из лагеря, а во-вторых, появление их отряда произвело беспорядок в легионах. Они хвалились своим могуществом и богатством и пересчитывали, какая масса народа пойдет под их знаменами. Хотя они и отдавали справедливость услугам, оказанным Верцингеториксом, но

считали себя вправе потребовать от него, чтобы он сдал бразды правления.

Эти речи приводили нас в негодование. Начальники других народов производили такой шум своим оружием, что эдуйские ораторы не осмелились настаивать на своем предложении.

Они заявили тут о своем желании, чтобы начальство над союзной армией было разделено: чтобы Верцингеториксу были даны в помощники два эдуйских начальника с одинаковыми правами. Боги любят число три.

— Каких эдуйских начальников предложите вы нам для этого тройственного союза? — спросил кто-то.

Тут эдуи перестали действовать согласно: каждый предлагал своего, и вместо двух начальников было названо до двадцати.

Верцингеторикс сначала молча все выслушал, потом встал и сказал:

— Вы и между собой-то сговориться не можете, друзья мои! Как же можете вы обеспечить союз всей Галлии? Как добиться согласного действия от племен, бывших соперниками в продолжение стольких лет? Хотите вы избавиться от гибели, одинаково всем нам грозящей? В таком случае до решительной победы не должно существовать ни эдоев, ни арвернцев, ни арморийцев, а только одна нераздельная Галлия для всех галлов. Я со своей стороны вовсе не искал верховной власти: мне ее вручила опасность родины. Я готов сложить ее с себя в пользу того, кого вам будет угодно счесть более достойным. Здесь находятся представители всех галльских племен. Верховному вождю, которого вы выберете, будет повиноваться все население Галлии. Но только, умоляю вас, выберите себе одного вождя: только при этом условии вы будете иметь успех. Посмотрите на римлян! Многие из них не доверяют и ненавидят Цезаря, но никто же не предлагал выбрать ему помощников; никому и в голову не приходило поставить его, например, рядом с Помпеем. Самые гордые из его военачальников, как Лабие и другие, только повинуются ему и беспрекословно исполняют его приказания. В римском войске существует только один император*, а в галльском должен быть только один верховный вождь народный.

Речь была встречена рукоплесканиями.

* Так называли в древнем Риме во времена республики главнокомандующего армией.

— Этим единственным вождем должен быть ты, сын Кельтила! Выбор, сделанный народом, утвержден богами, даровавшими победу. Веди нас к другим победам!

Но эдуйская гордость возмущалась. Несмотря на существующий между ними разлад, они сплывались, чтобы низвергнуть главенство Верцингеторикса.

С площадки мы видели население Бибракты, собравшееся вокруг храма и едва сдерживаемое цепью войска. Эти люди не могли слышать того, что говорилось, но видели, что мы о чем-то спорили. Они понимали, что на совещании терялось попусту время.

Народ терял терпение, и скоро раздались крики:

— Нам нужен только один вождь!.. Верцингеторикс!.. Герговия!.. Герговия!..

Тут встал Литавик и сказал:

— Раз совет не может прийти к соглашению, то обратимся к народу. Таков галльский закон.

Но старейшины восстали против этого.

Вдруг народный голос послышался громче прежнего. Войска не могли устоять против натиска народа, прорвавшего цепь и бросившегося к нам со всех сторон.

— Дело Галлии одно, и вождь должен быть один! Верцингеторикс!

Эдуйские начальники слова не могли сказать: лишь только кто-нибудь из них вставал, возобновлялись крики:

— Сына Кельтила! Верцингеторикса!

В конце концов они должны были согласиться.

— Слава! — крикнула толпа.— Но надо, чтобы наши начальники дали Верцингеториксу заложников. Не доверяй им, сын Кельтила!

Так как начальники колебались, то полетели камни. Им снова пришлось уступить.

Верцингеторикс встал. Он поблагодарил совет и народ и предупредил их, что может быть потребуются крупные жертвы. Готовы ли они, чтобы заставить Цезаря голодать, последовать примеру битуригов и сжечь хлеб, деревни и города, которые нельзя будет защищать?

— Да, да! — кричал народ.— Наше имущество, наша жизнь, все принадлежит тебе: только бы прогнать римлян!

Вечером, когда мы стали лагерем в долине, мы увидели по хребту горы Бибракты целый ряд огоньков. Самые бедные селяне поставили в окнах своих лачуг по горевшей лампаде.

ХП. Германцы

Цезарь и Лабиев были совершенно отрезаны восстанием всех соседних народов. Из громадной Галлии, на завоевание которой они употребили семь лет, у них остался только клочок, занятый их лагерем. Из страны эдуев они не могли получить ни мешка ржи, а из римской провинции ни единого новобранца. Лошадей у них было очень мало, тогда как у Верцингеторикса было в руках пятнадцать тысяч всадников, самых первых храбрецов Галлии.

Тут Цезарю пришла в голову самая злодейская мысль. К тем же самым разбитым им германским народам, у которых он сжигал все до последней хижинки, он разослал послов с поручением нанимать конные отряды.

А он еще хвалился, что спас Галлию от германского нашествия! Теперь он сам создавал это нашествие.

Германцы эти — народ совсем бездушный. Как бы вы их не оскорбили, при виде золота и добычи они забывают все. Там были люди с незажившими еще рубцами на лицах, нанесенными римскими мечами, но Цезарь пообещал им дать плодородные земли в Галлии, и они тотчас же выступили в поход. Они до такой степени жадны, что раз, призванные Цезарем, набросились на его же лагерь, который и разграбили. Они готовы были бы ограбить родного отца.

Трудно представить себе воинов более жалкого вида, несмотря на их большой рост и сильное телосложение. Они дома живут весьма бедно и даже по самому страшному холоду ходят почти нагишом, потому что у них нет ни ткачей, ни шерстобитов. Они носят на плечах звериные шкуры и почти ничего более, так как ноги их едва прикрыты грубыми холщовыми штанами.

Оружие у них тоже необыкновенное: копье их, которое может служить и багром, наносит раны самые ужасные. Многие из них не стыдятся обмакивать в яд концы своих стрел.

Так как седла они делать не умеют, то садятся прямо на маленьких лошадок с длинной шерстью, таких же грязных, как и седоки.

Неизвестно, каким образом они держатся на лошади, но сидят очень твердо и с криком и гиканьем несутся, как вихрь. Они всегда издают какие-то гортанные звуки, вроде волчьих, и походят более на хищных зверей, чем на людей. Со своими неочищенными от крови шкурами, с волосами, намазанными

каким-то снадобьем для уничтожения насекомых, с тухлым мясом, которое они возят на спине лошади, они распространяют кругом отвратительный запах и заранее дают знать о своем приближении.

И вот римский франт Цезарь напустил на своих друзей эдуев и на нас этих хищных зверей.

Через несколько дней после нашего собрания на Бибракте Верцингеторикс стал на дороге, по которой Цезарь должен был проходить в римскую провинцию. Он надеялся перерезать ему путь и задержать его среди восставших народов.

Наша конница со страшной силой набросилась на римскую. Та уступила нашему натиску и укрылась за рядами пехоты. Мы уже готовились броситься на пехоту, как вдруг услышали сильный лошадиный топот. Дикие вопли оглушили нас, и в воздухе распространился страшный запах. На нас летели германские союзники.

Прежде чем спустить на нас эту хищную свору, Цезарь дал им вволю вина, и некоторые из них были так пьяны, что сваливались с лошадей, а другие едва держались за гривы. Они не действовали оружием. Это не была правильная атака, а нападение бессмысленного стада. К несчастью, мы не успели еще оправиться после нашей атаки; ни один из наших отрядов не успел стать в оборонительное положение и потому не мог устоять. Лошадь падала в одном месте, а всадник отлетал шагов за пятнадцать.

Как меня, так и Амбиоригу, и весь мой отряд спасла только небольшая роща.

Мы потерпели полное поражение. Я едва успел ускакать со своим отрядом к нашей пехоте. Пехотой тоже овладела паника, и мне пришлось следовать за ней и нестись мимо нашего покинутого лагеря, уже занятого неприятелем.

Не слушая распоряжений начальников, наши разбитые войска бросились к укрепленному городу Алезии.

ХIII. Гора Алезии

Мы заняли склоны горы у подножья городских стен.

В Алезии ничего не было готово для приема такого большого количества людей, так как паника, а не расчет предводителей привели нас туда

Площадка Алезии была почти такой же величины, как и площадка Герговии, но гора была вдвое ниже, и вокруг города возвышалось множество высоких холмов.

Положение наше было весьма неблагоприятно. Всех высот мы занять не могли, и для нас было очевидно, что их займут римляне и, окружив нас со всех сторон, будут наблюдать за всеми нашими действиями.

Цезарь разместил пехоту по холмам, и на следующий день, с восходом солнца, мы увидели насыпи, тянувшиеся почти между всеми холмами. Таким образом осаждающие могли беспрепятственно поддерживать между собой сообщение.

Верцингеторикс велел трубить сбор. Вся наша конница спустилась вниз с западной стороны, где протекает Бренна.

Она так стремительно напала на римских рабочих, что опрокинула их. Но в римских лагерях забили тревогу, и на нас бросилась римская конница вместе с германцами.

На этот раз мы не испугались германцев. Они могли ошеломить стремительностью, но оружие их никуда не годилось сравнительно с нашим. Сначала перевес был на нашей стороне, но приход легионов повернул дело против нас, и из города стали трубить отступление. Мы с трудом добрались до своего лагеря, преследуемые римлянами.

Вечером Верцингеторикс собрал начальников на военный совет и сказал:

— Через несколько дней мы будем заперты, как преступники в тюрьме. Мы будем лишены возможности кормить свою конницу, потому что здесь не то, что в Герговии, где в нашем распоряжении были большие пастбища, где наш лагерь получал ежедневно продовольствие. Уезжайте, галльские всадники! Пользуйтесь тем, что римляне еще не совсем стянулись вокруг нас. Пехоте нашей уже не пройти: она вся осталась бы на месте! Вернувшись к себе, вы должны собрать людей, способных держать оружие в руках. Я прошу, чтобы вы подняли всю Галлию. Не забывайте, что здесь останется шестьдесят тысяч человек отборного войска, не считая многочисленного населения. Если вы испытываете хоть малейшую благодарность за услуги, оказанные мной общему делу, то спешите. Если мы убавим пайки до крайних пределов, то продовольствия у нас достанет всего на тридцать дней. Если вы

опоздаете, то найдете в стенах города сто тысяч трупов. И всюду будут говорить, что вы бросили вашего вождя.

Германский всадник ранил мне ногу, так что я не мог держаться на лошади. Начальство над своими всадниками я поручил Карманно и, обняв его, со слезами на глазах просил не оставлять нас и вернуться как можно скорее с паризскими новобранцами.

— Помни, что ты оставляешь нас в пасти волка!

Посреди ночи, когда луна спряталась за тучи, вся конница тихо спустилась вниз.

С городских стен мы внимательно прислушивались и дрожали от страха, как бы неприятель не услышал лошадиного топота, как бы ржание какой-нибудь лошади не встревожило его. Мы долго ждали, что вот-вот в римском лагере ударят тревогу, но все было тихо.

Когда месяц вышел из-за туч, мы издали увидели блеск оружия нашей конницы и с грустью думали, что через тридцать дней, при свете такой же луны, нас, может быть, не будет уже в живых, если только Галлия не предпримет усилия спасти нас.

Верцингеторикс знал, что один лишний день может стоить нам жизни. Поэтому он приказал собрать все хлебные запасы, и все было убрано и заперто в амбарах; а у дверей были поставлены часовые с мечами наголо. Каждое утро все воины получали по пайку, а невоины по полпайка. Мы страдали от голода, от жары и от беспокойства. А что если тридцать дней минуют, и к нам не явятся на помощь?

Римляне, не переставая, и днем и ночью производили земляные работы. Целая сеть окопов окружала наш город, и с каждым днем кольцо становилось все теснее и теснее. Вокруг города появились ямы, в которых торчали острые бревна, а в зелени кустарников были спрятаны капканы.

Нельзя сказать, чтобы мы беспрепятственно позволяли им производить работу: мы делали частые вылазки, завязывались кровопролитные сражения, оканчивавшиеся каждый раз не в нашу пользу.

Снаряды и камни, бросаемые римскими метательными орудиями, всего более наносили нам вреда, выбивая из строя множество людей. Баллисты пускали в нас страшные заряды с бронзовыми крыльями и стальными наконечниками, от которых нельзя было спастись никаким щитом.

XIV. Голод

Вскоре мы увидели по другую сторону римских лагерей, как работали под палящими лучами солнца целые вереницы галльских крестьян, погоняемых розгами. Там тоже поднимались укрепления, обращенные не к нам, а к долине.

При виде этого, мы стали терять надежду на помощь. Нашим друзьям, пожалуй, будет так же невозможно пробраться с той стороны, как нам прорваться с этой! Двери тюрьмы, закрытые для нас, были точно так же закрыты и для наших спасителей!

Мы все упали духом. Самые храбрые люди понурили головы, а остальные плакали, как женщины, уже чувствуя на плечах своих удары бича, которым римляне бьют рабов. Были и такие, которые бранили и проклинали Верцингеторикса.

Верцингеторикс ежедневно обходил всех, не обращая внимания на упреки. Он говорил со всеми и, показывая на запад, уверял, что оттуда явится спасение.

Тридцать дней миновали, и наши запасы почти совсем истощились. Верцингеторикс приказал уменьшить пайки наполовину, и через три дня он уменьшил их до четверти. Женщинам и невоинам давали продовольствия столько, чтобы только поддержать жизнь и не дать умереть с голоду.

Голод действовал так сильно, что вызывал бред. Женщины вдруг вставали ночью и кричали какие-то непонятные слова, которые суеверные люди принимали за пророчества. Люди, не помня себя, бросались к римским окопам, и падали, сраженные неприятелем. Глаза наши, уже не переносившие света, расширились однако, глядя вдаль: между листьями раки, серебрившимися на солнце, нам представлялся блеск оружия. По вечерам, на красном зареве после закатившегося солнца, мы как будто видели воинов, махавших мечами.

Прошло еще восемь дней. На девятый день Верцингеторикс собрал всех начальников на военный совет. Немного пришлось ему говорить, чтобы объяснить нам положение дел. Положение наше было ужасно: даже если бы можно было существовать на одну четверть пайка, то и тогда продовольствия у нас оставалось всего на три дня.

Кое-кто начал говорить, что так как условленных восемь дней прошли после тридцати дней и так как

всякая надежда на спасение иссякла, то оставалось только сдаться и отворить городские ворота. Предложение это высказывалось нерешительно, в полголоса, с опущенными глазами и как бы со стыдом.

Крики негодования заставили этих людей замолчать. Все начальники согласились лучше умереть с голоду, чем идти на такой позор.

XV. Всенародное ополчение

Ужас окружал нас, и боги опрокинули на наши головы чашу проклятий.

Я отправился к Верцингеториксу и сказал ему:

— Наши друзья и представить себе не могут, в каком ужасном положении мы находимся. Они, по нашему галльскому обыкновению, не торопятся, и очень может быть, что стоят тут где-нибудь недалеко и спорят, как бы нам лучше помочь, не подзревая, в каком отчаянном положении мы находимся. Надо каким-нибудь образом дать им знать. Я так много и так внимательно смотрел на римские укрепления, что подметил одно место, где один человек может незаметно пробраться, в особенности ночью. Позволь мне попытаться. Если я погибну, то у нас будет только одним убитым больше. Если же мне удастся пробраться, то я, может быть, ускорю прибытие помощи.

— Если бы с этой просьбой, — отвечал мне Верцингеторикс, — обратился ко мне кто-нибудь другой, то я мог бы предположить, что он хочет поскорее умереть и умереть менее ужасной смертью. Но твою преданность я знаю. Отправляйся же, и да помогут тебе боги!

Когда я сообщил о своем намерении Амбиориге, она поцеловала меня и тихо заплакала.

Войдя к себе в палатку, я донага разделся, оставив на шее цепочку с талисманом и перстень Цезаря. Я натер все тело и даже волосы маслом, смешанным с сажей. В таком виде я мог пройти незамеченным в ночном мраке и легко мог прятаться в воде. Этой краской я натер и лезвие своего меча, чтобы оно не выдало меня своим блеском. Часовые у ворот чуть не упали со страха, увидев перед собой такое чудовище. Но я назвал себя, и ворота мне отворили. Ночь была не так темна, как бы мне было нужно; но по небу плыли облака и закрывали на время луну. Когда лунный свет обливал местность, я ложился на землю, скрываясь за трупамы воинов, павших в последнем

сражении, и затем как лисица пробирался между ними. Так добрался я до Уазы и проскользнул под ивами. Лежа в воде я только изредка попадал в глубокое место, где мог плыть, а большей частью мне приходилось ползти по грязи.

Свет луны не проникал сквозь ивы, наклонившиеся над водой с обоих берегов. Приблизившись же к рим-

ским линиям, я вдруг очутился на совершенно открытом месте, так как римляне вырубил все кусты для укреплений. В эту минуту выплывшая луна облила все своим предательским светом. Я тихо перевернулся на спину, и поплыл, погрузившись в воду. Дышал я, держа во рту соломинку.

Вдруг я увидел стоявших по обе стороны реки двух римских часовых и услышал такой разговор:

— Не сладко нам тут,— говорил один.

— А ты думаешь, что наверху-то им слаще? — отвечал другой.— Они там с голоду помирают, как мухи.

— Конечно, мрут они не от жирной еды. Но ведь и нам не очень-то хорошо. С одной стороны неприятель, которого мы осаждаем, а с другой — неприятель, который скоро будет нас осаждать. Теперь мы осаждающие, а скоро будем осажденными.

— Только бы галлы там в городе не узнали, что друзья их так близко.

— Да как им узнать? Никто ни выйти, ни войти не может. Еще вчера Цезарь казнил какого-то галла, который пытался пройти в город.

В этом разговоре не было ничего для меня приятного. Я лежал в крайне неудобном положении, дрожал от холода и дышал через соломинку.

Один из часовых наклонился ко мне.

— Опять плывет тело.

— А может быть, это выдра подстерегает рыбу?

— Еще что! С нашим появлением все выдры пропали.

— А вот посмотрим!

В эту минуту мне в плечо попал камень, но удар был не силен, потому что камень прошел через воду.

— Что ты тут делаешь? — крикнул позади часового голос.— И ты там тоже! Как вы смеее разговаривать на часах?

Виноградная лоза центуриона ударила по плечам часового на левом берегу. Часовой на правом берегу тотчас же повернулся и отошел от реки. Товарищ его тоже повернулся ко мне спиной и вытянулся перед

своим начальником. Я не стал слушать объяснений солдата. Луна опять спряталась. Все еще лежа на спине, я начал шевелить руками и поплыл скорее. Так я добрался до слияния Уазы с Бренной. Тут я осторожно приподнял голову и, не видя римлян, переправился через Бренну, тоже довольно узенькую; затем я вышел в долину, покрытую кустарником.

Я был вне опасности и боялся только встретить часового... С большими предосторожностями я прошел значительное расстояние. Начинало чуть-чуть светать, когда между мной и римлянами было не менее пяти тысяч шагов. Я страшно дрожал от холода; пустой желудок мой давал себя знать и у меня так кружилась голова, что я боялся упасть от слабости.

У опушки леса я наткнулся на труп с дротиком в груди. Он был в одежде галльского крестьянина: несомненно, это был гонец великой галльской рати, гонец всенародного ополчения, перехваченный римлянами. Я облачился в платье убитого. Котомка гонца не была опорожнена, и я нашел в ней неоценимое сокровище: кусок хлеба. Со слезами на глазах съел я этот кусок, думая о своих несчастных товарищах в Алезии. Я снова приободрился и, выдернув дротик из трупа, отбросил его о траву и пошел вооруженный.

Таким образом почти умирающий посол осажденных встретился с уже мертвым послом всенародного ополчения.

Выйдя из леса, я очутился на поляне в виду другого леса. Солнце еще не показалось, но уже обагрило восток. Я очень удивился, видя множество зайцев, лисиц и оленей, пробегавших через поляну. Они все без оглядки бежали мне навстречу, словно их кто-нибудь преследовал.

Я перешел через этот лес и, выйдя из него, точно прирос к месту от изумления. Передо мной тянулась другая долина, очень холмистая. Она, точно ржаное поле, вся была в копьях, торчавших из земли; головы же воинов были скрыты пригорком. На копьях блестящие бронзовые изображения животных.

Это были наши! Сердце у меня так и забилося. Я побегал, что было мочи. Из-за холма показались шлемы и латы. Впереди ехала конница в крылатых шлемах. Я подбежал к ним и, протянув руки, кричал, сам не знаю что.

— Кто это? Эфиоп? — проговорил кто-то.

— Может быть, римский лазутчик... Надо прихлопнуть его.

— А вдруг это гонец из Алезии?

— Всадники! — закричал я. — Я не эфиоп и не римский лазутчик... Я пришел с поручением от Верцингеторикса... Ведите меня скорее к Вергассилавну.

Он ехал совсем близко. При первых же моих словах он весело вскричал:

— Голос Венестоса! Да неужели это ты? Отчего это ты превратился в эфиопа?

— Потом расскажу... Собери начальников скорее! Нельзя терять ни минуты!.. Там умирают... Ах, как вы опоздали!

Я поскорее смыл всю сажу и сделался белым и белокурый галлом, а получив от Вергассилавна одежду, вооружение и щит, стал настоящим воином.

Все начальники прибежали, услышав, что из Алезии пришел гонец, и стали крутом. А я с лихорадочной поспешностью стал рассказывать о положении Алезии, о работах римлян и о страшных страданиях осажденных.

Начальники плакали так, что от рыданий у них сотрясались латы. Но несмотря на это они тотчас же принялись спорить.

— Ну, что? Я вам говорил! — кричал Вергассилавн. — А вы пропустили тридцать дней, а потом еще десять дней. Разговоры в народном совете, переговоры начальников, разговоры в маленьких деревушках... Конца этому не было!

Другие начальники перебили его и принялись спорить, обвиняя друг друга в медлительности.

Тут я бросился на колени перед всем собранием и протянул руки к начальникам.

— Господа! — закричал я. — Каждое ваше слово стоит жизни наших братьев! Каждая минута приближает роковую развязку... Неужели вы хотите найти только трупы на их месте?

Перед моими слезами споры умолкли. Все согласилось, что я прав, что надо спешить и сейчас же двинуться к Алезии. Все начальники вскочили на лошадей, и мы поднялись на возвышение, чтобы присутствовать при выходе ополченцев.

— Нас тут более двухсот тысяч лучших воинов в Галлии, — сказал мне Вергассилавн. Не осталось ни одного галльского племени, которое не откликнулось бы на призыв своих братьев и не выслало бы ратников на защиту своей родины.

Сердце у меня радостно забилося при виде паризов, которые, несмотря на страшные потери в битвах

с римлянами, все-таки собрали отряд в восемь тысяч человек. В их рядах я узнал много своих друзей, сенаторов и ремесленников Лютеции, Думнака и Арвираха с людьми из Альбы, Карманно, Боиорикса, поправившегося от полученных им ран и немного похудевшего, но все-таки поражающего своими богатырскими размерами.

— Мы так многочисленны, что можем испугать кого угодно,— сказал я.— Но почему у нас так мало конницы?

— Да, всего восемь тысяч... Семь лет войны, семь лет поражений, семь лет римских поборов опустошили наши конюшни. Цвет наших всадников погиб в разных битвах. Ополченцы наши почти исключительно из народа и крестьян.

Вооружение ополченцев было значительно хуже прежнего. Тут можно было видеть древнее оружие, оставшееся еще от первого вторжения галлов в Италию. Это оружие собиралось по кладовым, по храмам. Землепашцы шли с косами на длинных палках и баграми о двух крюках. У некоторых были в руках палицы со вбитыми кругом гвоздями. На головах были уборы всевозможных форм. Пастухи несли с собой веревки или арканы, которыми они ловили быков, и теперь надеялись точно также ловить римлян. Рыбаки несли на плечах сети, точно думали, что им удастся поймать в сети римлян.

Вместе с воинами шли друиды, увенчанные дубовыми венками. Барды играли на арфах героические и плясовые песни, а другие музыканты надували щеки, играя на флейтах и на трубах, ревели, как коровы.

Несмотря на распри все единодушно кричали:

— Алезия! Алезия!

Я всегда знал, что галлы завидовали друг другу, а тут я увидел, что у всей Галлии билось одно сердце, громаднейшее сердце!

Когда мы взошли на холмы с западной стороны Алезии, мы увидели почти на одном уровне с нами осажденный город, палатки, рассыпанные по склону, и высокие стены из бревен и из камней, окружавшие город. Все это было полно народом, и несмотря на расстояние мы ясно слышали громкие крики.

Не знаю, точно ли зрение мое приобрело такую силу, но только несмотря на слезы я как будто видел длинные белокурые волосы, выбивавшиеся из-под шлема и маленькую ручку, махавшую мечом! Затем

какой-то сверхъестественный, громадный образ стал расти, расти, поднялся вдвое выше горы Алезии и протянул руки. Я видел чудные волосы и белую одежду моей матери, когда она улыбаясь спускалась живой в могилу отца, и голубые глаза ее точно призывали меня. Мать всех галлов принимала в моих глазах образ моей матери. Родина в глазах каждого воина принимала образ самого дорогого для него смертного для того, чтобы еще сильнее разжечь в сердцах любовь.

Я вытер глаза, и видение скрылось. Вероятно, продолжительный голод, утомление и палящий жар расстроили мое воображение. Гора Алезия действительно была видна нам, и на ней неясно виднелись люди, двигавшиеся, как муравьи.

XVI. Сверхъестественные усилия

Великая галльская рать остановилась у подножья холма, за три тысячи шагов от первых римских укреплений. Мы торопливо окопали свой лагерь и окружили его частоколом.

Четыре вождя, предводительствовавшие ратью, приказали трубить сбор.

— Будем подражать римлянам, чтобы победить их, — сказал Вергассилавн. — Нам надо нарубить деревьев и хвороста, чтобы наполнить рвы, вырытые римлянами; нам нужны багры, чтобы срывать частокол, и лестницы, чтобы взбираться на укрепления.

На следующий день с рассветом все принялись за дело. Местность обнажилась, словно по ней прошла туча саранчи. Весь день прошел в работе.

Наступил вечер и затем ночь. По данному знаку стали двигаться целые отряды воинов. Впереди шли наши стрелки и метальщики, сметая стрелами и камнями первые ряды римлян на укреплениях; за ними двигались какие-то странные ночные тени, сгибавшиеся под тяжестью мешков с землей, плетней и длинных лестниц.

Сначала перевес был на нашей стороне, пока мы не дошли до опасного пояса, изрытого разными западнями и волчьими ямами. Вскоре мы заметили, что наши воины начали падать, точно ужаленные змеями и выли как волки, попавшие в капканы. Другие же внезапно проваливались в ямы с заостренными кольями.

Наступавшие ряды стали вдруг колебаться; из рук у них вываливались мешки, лестницы и с треском падали на головы своих же воинов.

— Вперед! Вперед! — кричали начальники. — Разве вы не слышите, что нам кричат из Алезии?

Осаждающие ободрились; они опять начали двигаться вперед и подошли к укреплениям с разных сторон, так что могли уже приставить лестницы.

Тотчас же были пущены в ход римские машины: засвистели камни и снаряды, пускаемые баллистами, и стали производить в наших рядах страшное опустошение.

На местах, где, по нашему мнению, были перебиты все римские солдаты, появлялись вдруг целые легионы, призванные с других укреплений трубными звуками.

Битва продолжалась до позднего вечера, и мы должны были уступить после страшных потерь с нашей стороны.

Начавшийся день осветил наше бедствие, и мы увидели целую гряду галльских трупов. Каждая наша колонна, отступая, оставила целые полосы убитых и раненых. Ополченцы наши, впервые видевшие такое бедствие, пришли в ужас. Эдуйские же начальники начали роптать на Вергассилавна и убеждать начальников других племен вернуться на родину, так как ничего нельзя было поделать против неприступных римских укреплений.

Долго уговаривал их Вергассилавн, но ничего не смог добиться. Нашлись даже такие, которые убеждали покориться Цезарю и принялись обсуждать условия сдачи. Эдуйские начальники уже садились на лошадей, чтобы уйти на родину, но когда они хотели протрубить сигнал к выступлению, все ополчение закричало от негодования. Крестьяне не хотели бросить сына Кельтила, в которого все верили как в человека, преданного делу общего спасения.

— Не хотим отступить! — кричали они. — Битва! Битва!

А в рядах арвернцев и паризов слышались крики:

— Не желаем сдаваться! Долой изменников!

Эдуи принуждены были уступить.

На северо-западной стороне Алезии возвышался высокий холм, покрытый с одной стороны густым лесом. На склоне, обращенном к городу, Цезарь устроил один из своих лагерей. Он не мог укрепить всего холма, но лагерь этот был укреплен особенно тщательно, и здесь

он поставил два легиона. Как раз этот-то хорошо укрепленный лагерь Вергассилавн и захотел непременно взять приступом. Я указал ему на слабые места. Он предполагал наброситься на римлян с вершины холма и, пробив с этой стороны брешь, подать руку защитникам Алезии. Он избрал для этого самых лучших воинов и в их числе весь отряд паризов.

С наступлением ночи, незаметно для римской стражи, он привел нас в лес, подходивший вплотную к холму, и приказал стоять как можно тише.

— Спите, — сказал он, — набирайтесь сил на завтрашний день. Я разбужу вас, когда будет надо.

Но кто же мог спать в такую ночь, когда решался последний вопрос: свобода Галлии или подчинение римлянам.

Мы провели ночь под оружием. Вергассилавн ходил взад и вперед, наклоняясь под деревьями, волновался и ежеминутно отправлял гонцов. Часы тянулись медленно. Наконец показалось солнце.

— Вперед! — скомандовал Вергассилавн.

Сквозь ветви, зашевелившиеся, как от вихря, шестьдесят тысяч человек спустились на римский лагерь. К валу тотчас же были приставлены лестницы, и мы начали срывать плетень, служивший укреплением, и баграми растаскивать частокол.

За нашими первыми рядами шли стрелки и метальщики, которые стреляли в каждый шлем, показывавшийся на укреплениях или на башнях. Римский лагерь встребенул. Увидав головы наших передовых воинов, часовые громко закричали. Валы наполнились неприятелями, на них засверкали тысячи шлемов. Мы услышали скрип метательных орудий и на нас полетели стрелы и камни.

С правой стороны, в долине мы увидели нашу конницу, двигавшуюся рысью. За конницей шла пехота. Вся галльская рать тронулась с места.

В ответ на наш крик послышался такой же крик из города, и по горе Алезии стала спускаться громадная толпа с оружием и лестницами.

— Ну вот! — вскричал Вергассилавн. — Мы займем римлян делом вдоль всей линии. Осажденные нападут на них с тыла, и мы победим их. Держитесь! Держитесь!

Нас нечего было ободрять. Наши паризы уже взобрались на вал и баграми стягивали плетни. Боиорикс обеими руками ухватился за плетень. Но камыш только гнулся, а не ломался. Он поскользнулся, зацепил

поясом за какой-то кол и повис, болтая ногами и руками, как бык, поднятый на рычаге для того, чтобы быть перенесенным на судно. Затем он упал вниз и сорвал часть плетня. В ярости он вскочил и, бросившись на частокол, сразу обломил его, затем ухватился за ближайшие кольца и стал ломать их поочередно, к немалому изумлению солдат, которые вчетвером не могли бы сделать ничего подобного. В образовавшуюся щель тотчас же пролез Карманно, а за ним Думнак и Арвирах и начали действовать мечами среди римлян. Уцепившись левой рукой за кол, я правой дрался мечом с каким-то центурионом. Нам оставалось сделать еще усилие, и мы проложили бы путь шестидесяти тысячам галлов, стоявшим позади нас.

Мы видели частокол по другую сторону лагеря, потрясаемый с необыкновенной силой, видели галльские мечи, просунутые в щели, и слышали крики, причем узнавали даже голоса. Мне послышался один очень знакомый голос, и сердце у меня затрепетало. Не желая выдать тайны, я только закричал:

— Амбиорикс! Амбиорикс!

Голос Амбиориги, дочери Амбиорикса, с восторгом отвечал: — Венестос! Венестос!

И я был отделен от нее только несколькими шагами!

Мы не щадили своих сил, и римский лагерь трещал от натиска, направленного с двух сторон. Мы могли разнести его и соединиться.

В эту решительную минуту я взглянул направо. Великая галльская рать, достигнув ловушек, капканов и волчьих ям, остановилась. Отряды конницы точно выросли к месту. Вслед за испугавшейся конницей пехота перебирала ногами, не трогаясь с места.

— Это еще что такое? — кричал им Вергассилавн, стоя на возвышении. — У нас теперь на шее два легиона, а вы хотите, чтобы их было десять? Спешите же!

Он был слишком далеко и слышать его никто не мог. Рать продолжала стоять или чуть-чуть подвигаться, понемногу прокладывая себе дорогу.

Мы же все более и более воодушевлялись. Но ряды римлян не только не редели от наших стрел и ударов, а по-видимому сгущались.

Тут я услышал голос прибежавшего Лабиена:

— Держитесь! Я веду к вам шесть когорт.

А несколько дальше, справа, раздался голос Цезаря:

— Ну, Брут! Скорее с твоими шестью когортами! Поторопись, Фабий; твои семь когорт не будут лишними!

Римляне, видя, что главные наши силы нападали очень лениво, стали посылать к нам отряд за отрядом.

Мы более не могли двигаться вперед, а с другой стороны люди, вышедшие из Алезии, по-видимому наткнулись на непреодолимые преграды, и я услышал уже издали умоляющий отчаянный крик:

— Венестос! Венестос!

Задыхаясь от утомления я закричал:

— Амбиорикс! Амбиорикс!

По укреплениям со всех сторон затрещали тяжелые машины и заскрипели деревянные рычаги. Вместе с машинами появились и новые легионы. На нас полетели громадные камни и снаряды с бронзовыми крыльями. Эти страшные снаряды сметали груды людей, цеплявшихся за стены, и десятками отбрасывали их в сторону.

Мимо меня промелькнул красный плащ, и в римских рядах послышался крик:

— Император! император! Да здравствует Юлий Цезарь!

— К оружию, друзья мои! К оружию!.. Пора кончать! — слышался голос Цезаря.

Против нас был произведен страшный натиск. Двое ворот вдруг распахнулись, и из лагеря вылетело два потока конницы. Мы были отброшены к лесу и бежали со зловещим криком:

— Спасайся, кто может!

Я видел, как погибали лучшие мои боевые товарищи и друзья детства: Карманно, Боиорикс, Думнак и Арвирах — все пали один за другим; а за ними и я, получив удар палицей германского всадника, покатился к подножию вала, на груды умирающих и убитых друзей, и лишился чувств.

XVII. После осады

Долго ли я пробыл без чувств, не знаю. Очнулся я перед рассветом от холода. На востоке небо уже побелело, но звезды еще не потухли. Я осторожно приподнялся и прежде всего отыскал свой меч. Дотащившись с трудом до опушки леса, из которого накануне мы начали нападение, я сел, прислонившись к дереву. Голова у меня была страшно тяжела, а на плече зияли две раны.

На римских линиях все было тихо, и только вдали слышались оклики часовых.

На горе Алезии слышался тот же крик и на том же языке, на каком окликали внизу в лагере, то есть на латинском языке! На городской стене развевались местами знамена, вероятно римские.

С запада тянулось поле, сплошь покрытое убитыми. Великая галльская рать, состоявшая из двухсот тысяч человек, разлетелась, как сон. Темные груды указывали путь, по которому она бежала в лес.

Я так был расстроен, так ошеломлен, что не мог собраться с мыслями. Голова у меня была точно пустая. Я понимал только, что случилось что-то ужасное, непоправимое, отчего у меня замирало сердце и трещала голова, но сообразить хорошенько, что это такое, я не мог. Я припоминал все, что случилось давно, но из последних событий ничего не помнил: я находился точно в бреду. Все кончилось! Но что же кончилось? Прежде всего Галлия, свобода, слава! А что же еще? Мои сподвижники, мои друзья детства — все лежали кругом мертвые...

Вергассилави, мой добрый начальник, Верцингеторикс, надежда и сила страны... Где они? Но меня еще что-то тревожило...

Мало-помалу мысли мои стали проясняться, и сделав последнее усилие я припомнил все и вскрикнул:

— А Амбиорига? Что случилось с ней?

У меня в ушах еще раздавался ее голос из-за римских укреплений, сначала веселый, победоносный, а потом тревожный, печальный и отчаянный. Что случилось с ней? Умерла она? Тяжело ранена? В плену, может быть?

Я сразу вскочил на ноги, как измученная лошадь, получившая удар шпорами. Я взглянул на римские линии, а потом на город. Где мне суждено найти ее, в побежденном ли городе или в лагере победителей?

«Пойду искать ее,— сказал я сам себе,— и умру, если она убита, или если не буду в состоянии освободить ее. Разве теперь для галльского воина жизнь может иметь какую-нибудь ценность?»

Дойдя до реки, я утолил томившую меня жажду, обмыл раны, лицо и смыл кровь с одежды. Раны я, насколько мог, перевязал тряпками и привел в порядок свой военный наряд. В сумке одного убитого я нашел кусок хлеба и подкрепил свои силы.

Затем я стал припоминать, как одевались галлы, служившие в римских войсках. На раненое плечо я набросил плащ, а правую руку обнажил до самого плеча,— так делали эдуи в Герговии.

Пальцами расчесав волосы, я откинул их назад, закрутил усы, подвязал бронзовый пояс, и со своим золотым ожерельем и запястьями я все еще походил на начальника. Никто не сказал бы, что я только что с поля битвы и всю ночь провел в бессознательном состоянии. Решительным шагом я спустился с горы и направился к воротам лагеря, где окликнул часового.

— Кто идет? — крикнул тот.

— Галл-союзник!.. Поручение к императору...

Солдат с недоверием посмотрел на меня.

Но я был один, без всякого вооружения, кроме меча, а день уже наступил. Очевидно, меня бояться было нечего. И кроме того я говорил таким уверенным голосом! Ворота отворились, и ко мне подошел центурион.

— Что тебе надо?

— Я уже сказал!.. У меня есть дело к императору. Я могу говорить о нем только с ним самим.

— Но кто же мне поручится, что ты не обманываешь?

— Я галльский всадник и мог бы привлечь тебя к ответу за такие речи... Доказательство, что я близок с Цезарем, вот оно!..

И я показал висевший у меня на шее золотой перстень с печатью Цезаря. Центурион тотчас же узнал его.

— Ну конечно! — сказал он. — Раз ты носишь такую вещь, ты должен быть очень к нему близок... Но императора нет в лагере: он отправился вступить во владение Алезией.

— Я пойду туда.

Центурион обернулся и сказал:

— Дайте двух провожатых этому человеку.

Я прошел римский лагерь и без труда вошел в город.

В городе я увидел зрелище гораздо более ужасное, чем на поле битвы. Чтобы разделить добычу равномерно, город был разделен по кварталам, и кварталы отданы когортам и союзным отрядам. Отряды приходили под начальством центурионов, входили в дома, грабили их и всю добычу складывали в груды, прицепив на копье такую надпись:

«Десятый легион, третья когорта, вторая сотня».

Пленников тут же продавали и торговались относительно цены их с людьми подозрительной наружности. Сильных воинов или юношей показывали, выхваляли их достоинства, красоту или силу, заставляли

бегать, ходить, поднимать тяжести, и открывали им рот, как лошадям, чтобы увидеть зубы.

Лежа кучей на земле, с перевязанными назад руками, воины плакали от стыда. Несчастных копьями заставляли поднимать головы и смотреть на купцов, с пренебрежением осматривавших их.

— Нынче цена на них очень низка,— говорили последние.— Вы наводнили ими все рынки Италии. Да и кроме того, как они все худы и слабы!.. Не дешево будет стоить откормить их.

Мне пришло в голову, что Амбиорига могла быть в числе пленных, предназначенных на продажу с молотка.

«Нет,— думал я,— она не из таких, которые живыми отдадутся в руки... Ее нет в живых. Мне следовало бы поискать ее там, среди убитых, в том месте, где она билась у лагеря». Меня охватило отчаяние. «Зачем мне идти к Цезарю? Что я ему скажу? Что же мне просить у него? Она умерла! Не лучше ли мне броситься на грабителей и умереть с мечом в руках?»

И я уже взялся за рукоятку меча, как вдруг на повороте переулка увидел подходившего ко мне хромого центуриона, упирившегося на копье.

— Как, это ты? — сказал он.— Что ты тут делаешь?

— Гней Марон! — вскричал я.

И, отойдя от солдат, провожавших меня, я подошел к Марону.

— Моя невеста здесь в плену,— тихо сказал я ему,— и я иду к Цезарю выпросить ее.

Он с грустью посмотрел на меня.

— Я не забыл, что обязан тебе жизнью,— сказал он мне,— и желал бы рискнуть ею для тебя. Но только подумай хорошенько! Что ты затеял? Явиться к императору тебе! Ведь ты бунтовщик, и твоя правая рука, обнаженная до плеча, меня не обманывает. Ты, должно быть, очень мало дорожишь своей жизнью?

— Так мало, что ради спасения своей невесты готов хоть на крест!

— Спасения!.. В том-то и трудность!

Я крепко стиснул ему руки.

— Ты знаешь что-нибудь о ее судьбе? Говори! Она умерла? Или хуже того? Говори! Я все могу выслушать.

— Нет, она не умерла. Но от этого не легче ни ей, ни тебе. Ее подняли чуть живую, придавленную громадным куском плетня; она сорвала его с вала и попала под него как в сеть. Не будь этого, клянусь Геркуле-

сом, никому бы ее не взять! Невеста твоя настоящий дьявол. Она у нас убила и изранила целый десяток людей. Когда ее подняли, то, судя по ее одеянию, не знали, мужчина она или женщина. Но один союзник-галл крикнул: «Это женщина! Очень значительное лицо! Не трогайте ее! Ведите ее к Цезарю!» Ее и свели к Цезарю, которому сначала очень хотелось осудить ее на смерть. Этот паризский начальник просил его подарить ее ему как рабу. Цезарь посмотрел на него... как умеет смотреть, и отвечал, что он подумает.

— Так он ничего не обещал ему?

— Нет. Но между паризом, который служит под римскими знаменами, и другим, без усталости воевавшим против них, разве можно колебаться? Не говоря уже о том, что он может не дать ее ни тебе, ни тому, но зачислить ее в добычу, предназначенную солдатам, или подарить ее какому-нибудь центуриону, или же просто, узнав, в чем дело, бросить ее в колодец.

— Разве он такой жестокий?

— Нет, он не жестокий, но только страшно озлоблен против вас всех, помешавших ему своим восстанием заниматься делами в Риме. Нет, он не жесток! При случае, он даже бывает очень снисходительным. При разделе пленных между войском и им, он оставил за собой всех эдуев и арвернцев. Говорят, что он хочет освободить их без всякого выкупа, чтобы еще раз попробовать, нельзя ли сделать из этих народов себе союзников. Ты видишь, до чего он бескорыстен и великодушен!

— Иду к Цезарю! — сказал я. — Прощай! Может быть, ты меня никогда более не увидишь...

XVIII. Печать Цезаря

Не трудно мне было найти дом, в котором находился Цезарь. Его окружала громаднейшая толпа: военачальники римские, галльские предводители, представители народов союзных и побежденных, толпы просителей и масса пленных.

В приемную комнату я вошел в сопровождении двух своих провожатых. Там было больше всего галльских предводителей с обнаженной правой рукой.

Многие пришли просить у Цезаря помилования своим соотечественникам. Другие просили за себя, стоя на коленях перед возвышением, на котором стояло кресло императора.

Цезарь говорил почти со всеми резким и строгим голосом. Иным он подавал надежду, другим он заявлял, что город их будет разрушен, а жители проданы в рабство. Некоторые, по его повелению, были тот час же схвачены и уведены солдатами.

— Посадить их в одну темницу с Верцингеториксом и Вергассилавном.

Вдруг взор его упал на меня и орлиные глаза его пронзили меня до глубины души.

— Кто ты такой? И зачем пришел?

— Я Венестос, сын Беборикса, начальник касторов из племени паризов...

— Паризов! Как кстати ты пришел! Все они виновны. Мало того, что вы восстали против Лабиена, вы еще пришли воевать со мной сюда! Я не пощажу ни одного человека... Нет, впрочем, я пощажу одного Кереторикса, который дрался под моими знаменами. Всех же остальных я продам в рабство. Довольно с меня хлопот с крупными народами, как арвернцы или эдуи, чтобы возиться с мелюзгой... В Алезии париз может быть только убитым или в плену, или беглый. Каким образом ты тут очутился?

— Я очень жалею, что не убит, но я не беглый и не в плену. Я добровольно явился к тебе и следовательно не пришел просить о своей свободе.

— Так ты пришел просить пощадить твой народ?

— Если бы я просил милости для него, то в то же самое время я просил бы милости для твоей славы. Боги были к тебе слишком милостивы, и ты не можешь питать какие-нибудь низкие чувства. Неужели преступно пытаться пойти по твоим стопам и стараться поднять свою родину? Из какого металла сделана твоя слава, если не из нашей храбрости и из нашего сопротивления? Ты говоришь о снисхождении к великим народам и о безжалостной строгости к маленьким. Да разве это справедливо? Разве вина становится крупнее потому, что народ мал? Разве сам ты не настолько велик, чтобы все были равны в твоих глазах?

Смелость моей речи удивила и ужаснула уполномоченных галлов. Они сжались, со страхом выпучив глаза. Они видели меня уже изрезанным на куски. Военачальники же римские, ухватившись за мечи, уже повернулись к Цезарю, ожидая его приказаний.

— Ты говоришь хорошо,— с некоторой иронией сказал император.— Ораторы маленьких народов умеют говорить большие речи. Но я еще посмотрю, прощу ли я паризам, как простил арвернцам... Так как ты не

убит, не беглец, не в плену, то ты можешь отправляться. Ты свободен.

— Я уже сказал тебе, что пришел просить не о своей свободе. Я пришел просить освободить мою невесту, Негалену Авлеркскую, которую солдаты твои взяли у подножья лагеря.

— А, так это твоя невеста? Поздравляю тебя! Настоящая дикая кошка! Я подарил ей жизнь, но в душе уже решил ее судьбу. Это моя часть добычи.

— Я предлагаю выкуп за нее.

— Я потребую такую цену, что все паризы вместе не в состоянии будут внести ее мне.

— Но я думаю, что я один буду в состоянии заплатить тебе. Я предлагаю в обмен ухо на ухо. Хочешь? Я тоже могу дать тебе женщину.

Я подошел к нему вплотную и подал ему перстень. Он взял его, и хотя отлично владел собой, но лицо его выразило изумление.

— Где ты нашел... или украл... этот перстень?

— Я его не нашел, и я не вор! Я его взял... от тебя, в одно время с твоим мечом!

Теперь галлы решили, что я погиб. Римские военачальники не только были поражены, но просто оскорблены моей смелостью.

Напомнить Цезарю об этом ужасном случае из арвернских битв, когда даже слово «Герговия» было ему отвратительно, и он желал бы уничтожить даже воспоминание о нем! Они думали, что я очень мало ценил жизнь, если осмеливался выставить себя героем самого неприятного для Цезаря случая во всей этой неприятной истории.

Император пристально посмотрел мне прямо в глаза, и я почувствовал, что взор его пронизывал меня насквозь. Не потупив глаз, я выдержал этот взгляд; но я понимал, что никогда в жизни, ни в арморийских судах, ни под Аварикумом и Герговией, ни на горе Люкотице, ни во время ночного купанья в Уазе, ни вчера под градом снарядов я не был так близок от смерти.

В то время, как Цезарь смотрел на меня, я тоже смотрел на него, и видел, как всевозможные мысли пронеслись у него в голове, словно порывы ветра по поверхности озера. Всего чаще мелькала у него мысль приказать распять меня на кресте; но другие мысли боролись с этой и прогоняли ее. Человек, удостоившийся чести сразиться с ним, не мог быть ни шпионом, ни рабом. Он чувствовал некоторую благодар-

ность за мою смелость, которая выдвинула на вид и его отвагу. Я был живым свидетелем той страшной опасности, которой он подвергался, чтобы приобрести славу. Цезарь повернул перстень и посмотрел на сделанное на нем изображение, точно обращаясь к нему за советом.

Все кругом молчали, а я, скрестив на груди руки, стоял и ждал.

— Приведите сюда пленницу,— сказал Цезарь одному из своих приближенных.

Тот вышел и вернулся с Амбиоригой.

Как она, должно быть, исстрадалась! Лицо ее было бледно от стольких лишений и жестоких волнений. И как она была хороша с глазами, увеличившимися от страданий, с обострившимися чертами лица, с благородной наружностью побежденной героини.

Цезарь пристально посмотрел на Амбиоригу и наконец сказал мне:

— Хорошо, я согласен на обмен! За этот камень я отдаю тебе твою невесту. Но тебя я удержу... Успокойся, я не посягаю на твою свободу. Я беру тебя не в рабство, а для побед. Ты храбр,— я в этом кое-что смыслю. Мне надо будет... Я хочу сказать, что Рим будет нуждаться в таких храбрых воинах, как ты.

— Я был бы счастлив служить под твоим начальством, хотя бы только для того, чтобы изучить хорошенько путь к победе. Но прости меня за откровенность: я не могу служить против своих соотечественников; а все галлы мои соотечественники.

— Не римлян же дать мне тебе в противники? — сказал император, и на тонких губах его появилась неопределенная улыбка. — Нет, дело заключается вовсе не в борьбе с твоими соплеменниками, даже не с теми, которые бунтуют. Свет велик. Я могу повести тебя по тому пути, по которому когда-то пошли твои предки. Что скажешь, например, о походе в Иллирию, в одну из провинций моего проконсульства? Будешь ли ты доволен положением трибуна галльского легиона, вооруженного по римскому образцу, с птицей твоей родины на знаменах? Или же ты предпочел бы начальствовать над галльской конницей? Для начала я поручаю тебе выбрать пятьдесят человек из лучших пленных паризов, которые достались на мою долю.

Я взглянул на Амбиоригу, и, к немалому моему удивлению, она кивнула головой в знак согласия.

Цезарь сказал мне:

— Я даю тебе время подумать до сегодняшнего вечера. А теперь бери эту женщину. У меня в голове не одно твое дело.

Я вышел с Амбиоригой. Какой-то центурион дал мне свинцовую бляху, в виде пропусчного значка.

XIX. Конец изменника

Не прошли мы и ста шагов, как вдруг увидели в одном из переулков города Кереторикса, по-видимому спешившего в ставку.

Он посмотрел на нас сначала с удивлением, потом с яростью, точно понял, что произошло.

— Куда ты идешь? Откуда ты? — крикнул он, бросившись на меня.

— Тебе что за дело? — отвечал я. — Иди своей дорогой, мы с тобой никогда вместе не шли.

Я говорил с ним совершенно спокойно, боясь, чтобы ссора не привлекла внимания какого-нибудь римского начальника. К счастью, переулок был пуст. Вдоль стен лежали трупы, но живых не было ни души.

— Вот как! — вне себя закричал он. — Я знаю, откуда ты идешь. Ты идешь из главной ставки! Конечно, ты покорился, потому что у тебя правая рука так же обнажена, как и у меня.

— Может быть. Только тебе до этого дела нет.

— Нет, есть дело, потому что ценой твоей покорности ты выкупил эту женщину из плена.

— Может быть.

— Это моя пленница. Вчера я освободил ее из рук врагов, которые готовы были разорвать ее. Я велел свести ее к Цезарю, и он обещал мне ее за мои заслуги.

— Ты разве не знаешь, что это моя невеста? Впрочем, я дал Цезарю за нее выкуп, и он не изменит своему слову...

— Он мог тебе отдать Негалену Авлеркскую, но...

— Что ты хочешь сказать?

— Но он не отдал бы тебе Амбиориги, дочери Амбиорикса... Я теперь все знаю. Да, дочь Амбиорикса...

— Молчи, несчастный!

— Ты утаил от Цезаря истину. Я тоже скрыл ее от него. Но теперь мне нет причины молчать, и я бегу...

Я загородил ему дорогу.

— Ты бежишь, чтобы выдать ее на муки! Разве ты этого не понимаешь? Если бы Цезарь только подозревал, что она дочь человека, уничтожившего его легион, дочь человека, которого он ненавидит более, чем Верцингеторикса...

— Если бы он подозревал, говоришь ты? Он будет уверен в этом. Твою Амбиоригу он удержит заложницей, чтобы победить упорство отца; а чтобы отомстить ему, ее предадут самой мучительной смерти... Ты меня спрашиваешь, понимаю ли я это? Успокойся!.. Я этого и хочу. Амбиорига погибнет для меня, но погибнет и для тебя. Она никому не достанется. А ты погибнешь вместе с ней.

Ненависть сводила его с ума. Глаза у него выскакивали из орбит, а зубы скрежетали.

— Кереторикс! — сказал я ему. — Выслушай меня. Ты уже заявил себя, как дурной галл, как настоящий изменник; а теперь из изменника ты сделаешься убийцей, убийцей женщины! Вспомни, чей ты сын!

Кроткими и убедительными словами я пытался пробудить в этой испорченной душе хотя бы искру благородства, хотя бы какой-нибудь остаток любви к родине. Но все было тщетно. Слова мои только бесили его.

— Так, так! — в ярости говорил он. — Вы всегда потешались над моей одеждой, над моей любовью к итальянским произведениям, на пиршествах я служил мишенью для ваших варварских шуток; я был чем-то вроде шута, с которым все можно себе позволять. Вы избегали меня как зачумленного, и слушали все доносы, все клеветы моих врагов, моих неверных подчиненных. После битвы при Люкотице ваш совет в Лютетии постановил забрать все мои земли, предать меня позору, и ваши друиды осудили меня на вечное изгнание... Теперь настал мой черед, настал час мщенья! И ты, глупец, воображаешь, что я пропущу такой случай!

— Ты стараешься казаться хуже, чем ты в действительности есть, — проговорил я, — и преувеличиваешь нашу вину перед тобой. Не поддерживай в себе озлобления... Не губи души своей.

— Венестос! — перебила меня Амбиорига, хранившая до той поры глубокое молчание. — Оставь этого предателя! Пусть он идет доносить Цезарю! Когда служители проконсула прибегут сюда, они не найдут меня живой.

Одну минуту меня подмывало броситься на Кереторикса и убить его, не дав ему проговориться, но

раны мои так ослабили меня, что у меня не доставало сил вытащить меч. У Амбиориги мелькнула та же мысль, но у нее не было оружия.

— Послушай,— сказала она мне.— У тебя есть меч, а у меня сила. Я поражу этого предателя.

Кереторикс вынул меч из ножен и сказал:

— Драться с тобой? Нет, нет! Быть убитым, не отомстив? Да что вы? Убить вас? Ваша смерть от руки палача Цезаря будет для меня гораздо приятнее. Розги и секира ликтора, конечно, лучше моего меча.

К нам приближалась римская стража. Мы чувствовали, что погибли: мы не могли ни захватить Кереторикса, ни помешать ему исполнить его намерение. Мы пошли далее, но пошли не к свободе, ожидавшей нас в конце нашего счастливого пути, а к героическому самоубийству или к позорной смерти.

Кереторикс окликнул нас, проговорив:

— Ну, до свидания, друзья мои! Через несколько минут вы увидите, умею ли я отдавать долг благодарности.

В эту минуту из груди покойников поднялась тень, бледная, окровавленная, с луком в руках. Не успели мы узнать Поредоракса, как свистнула стрела, и его бывший начальник, простреленный между плеч, упал ниц с пронзенным сердцем.

Поредоракс наконец смыл рабские знаки со своих плеч. Он снова лег, глядя на нас помутившимися глазами.

Когда к нему подошла стража, он уже не дышал. Что же касается до Кереторикса, то солдаты повернули его и, небрежно отпихнув ногой к стене, проговорили:

— Еще галльская скотина! Одной меньше,— вот и все!

Они прошли дальше...

Таким образом предатель умер от рук богов, а не от наших, и преступная душа его опустилась в мрачную преисподнюю.

Мы продолжали наш путь и прошли к такому месту, где через городскую стену было видно все вчерашнее поле битвы.

Только тут мог я начать говорить и сказал Амбиориге:

— Ну вот, я почти сделался наемником Цезаря! Я, воин Верцингеторикса, приверженец свободы!.. Но зачем же ты кивнула головой, точно советуя мне принять предложение Цезаря?

— Зачем я кивнула головой? Какая-то высшая воля наклонила мою мятежную голову, и я тотчас же усмотрела будущее в неопределенной улыбке Цезаря, когда он сказал тебе: «Не римлян же дать мне тебе в противники!» Да, он даст тебе римлян. Он хочет удовлетворить жажду своего честолюбия кровью для него более дорогой, чем кровь галлов. Легионы римские сразятся ради свободы Галлии. Мы не могли их уничтожить, но они уничтожат сами себя. Иди! Иди помочь им! Вернись же к Цезарю и скажи ему: «Я твой!» Нет, ты не сделался из воина Верцингеторикса наемником Цезаря: ты остаешься галльским воином... Вернись к проконсулу. Я даю тебе одобрение за себя и за отца моего Амбиорикса, и за пленного Верцингеторикса, приговоренного к казни, и за всех усопших на поле битвы.

Вечером я увиделся с Цезарем.

— Прежде всего,— сказал он мне,— ты дашь мне клятву не принимать участия ни в каком восстании.

Как мог я принимать участие в каком-нибудь восстании? Я знал, что дома не найду ни единого всадника, ни единого конюха, ни даже крестьянина, способного взяться за оружие... Все пали в битве при Люкотице и под горой Алезией... Я знал, что у меня дома не осталось ни единой боевой лошади, ни копья, ни меча.

Я обещал Цезарю оставаться спокойным.

— Теперь вернись домой,— продолжал он,— и постарайся успокоить умы жителей Лютеции и паризов. Помни, что если что-нибудь меня еще задержит в Галлии, то мне придется отложить исполнение моих широких планов и замедлить наше славное шествие по пути к славе.

Затем он прибавил:

— Я не думаю, чтобы ты мне понадобился ранее, как через год. Я призову тебя, когда будет нужно.

XX. Возмездие Галлии

Когда я вернулся в Альбу с Амбиоригой и с пятьюдесятью паризами, которых я спас от рабства, я нашел свои владения совершенно разграбленными.

Все начальники, подвластные моему отцу, были убиты, и я отдал участки земли их детям. Владения мои были для меня слишком велики, так как земля имеет ценность только тогда, когда ее можно обраба-

тывать и имеются люди. Но у нас столько погибло крестьян, что за сохой пришлось ходить старикам, женщинам и детям.

Почти все лошади погибли на войне; скот съело войско, и вместо быков приходилось запрягать в соху ослов и рабов. За недостатком рук трава осталась не скошенной, а засеянные поля, истоптанные проходившими отрядами, не дали и четвертой части обычного урожая.

Вырыв золото и серебро, зарытое в известных мне местах, продав несколько клочков земли около горы Люкотиц обитателям Лютении и заняв у них денег, я кое-как поправил хозяйство.

При посредстве моего друга Марона я выкупил у итальянских купцов многих из своих крестьян, взятых в плен. Кроме того я взял на свои земли изгнанных из страны войной и вернувшихся обратно землепашцев, которые, потеряв кров и пристанище, женились на вдовах моих погибших крестьян.

Вы, конечно, угадали, что прибыв на место, я прежде всего стал просить Амбиоригу согласиться выйти за меня замуж, чему столько раз мешали различные трагические события. Свадьба наша не была сыграна с былой роскошью. Свидетелями были несчастные крестьяне, несколько начальников соседних долин, избавившихся от смерти, и несколько старейшин Лютении, которая только что начинала возрождаться. Свадебные подарки были скромны, так как все мы были бедны, но они были поднесены от души.

Друид, которого так любила моя мать, состарился точно на сто лет и дрожащим голосом проговорил над нами благословение. Слова венчания, в которых говорилось о счастье, довольстве, богатстве, плодородии, прямо опровергались окружающей нас бедностью и боязнью подвергнуться новым испытаниям. Ржи, которой осыпают новобрачную, было очень мало, так как ее берегли для посева. С тяжелым сердцем и с глазами, полными слез, преклонили мы колени у подножия кургана, насыпанного над телами моих доблестных родителей.

Даже само пиршество было печально. Где были люди, своей веселостью оживлявшие празднества в Альбе? Где был Зубр-Боиорикс, Цингеторикс-Петух, Карманно-Кукушка, Думнак и Арвирах, два неразлучных героя? В какой области блаженства звучала арфа Вандило и где меч Придано? Куда делись геройские порывы, безграничная уверенность в силу наших рук,

рассказы об охотах, и сражениях, веселые песни и воинственные пляски с мечами?

Но печальная обстановка, при которой был заключен наш брак, не умалила нашего счастья.

Я наконец женился на женщине, предназначенной мне самими богами, женщине, которую я впервые встретил в лесу на берегу Сены; я женился на Амбиориге, дочери славнейшего народного вождя, ради которой я совершил столько славных подвигов, которая поддерживала во мне любовь к родине и повела меня по дороге героев.

Когда у нас родился первый сын, в ней произошла перемена. Она навсегда отказалась от меча, принялась за прялку и сделалась образцовой хозяйкой. Она была преданной супругой и нежной матерью. Глядя на нее с ребенком на руках, улыбающуюся в ответ на его первую улыбку, никто не сказал бы, что это та самая женщина, которая топтала золотого орла римского легиона и которая упала под стенами Алезии, ставив вслед за собой целый плетень укреплений римского лагеря!

Мы старались устроить себе спокойную жизнь. Прошло то время, когда разъезжали гонцы из деревни в деревню, когда известия передавались криком с горы на гору и заставляли нас волноваться! Теперь Галлия безмолвствовала!

О тесте моем Амбиориксе мы не имели никаких сведений: он, вероятно, скрылся куда-нибудь, где мог жить на свободе.

Теперь вся Галлия успокоилась, и война обрушилась на дворцы Лациума. Через два года после падения Алезии цезарские легионы были стянуты в сердце Италии, среди плодородных хлебных полей, чудных виноградников, оливковых деревьев, под сенью платанов и других незнакомых нам деревьев.

Кроме знаменитых легионов там было двадцать две галльских когорты, над знаменами которых красовались бронзовые жаворонки: жаворонок — птица, любимая кельтами, птица, поднимающаяся в поднебесье, откуда слышится ее чудное пение, птица, постоянно перелетающая из одного мира в другой. В рядах галльских воинов я узнавал лиц, участвовавших в великой войне, сражавшихся под горой Люкотиц, под Аварикумом, под Алезией, воинов Камулогена, Литавика, Вергассилавна, всех любителей славы и добычи и все добрых товарищей. И сам я скакал у них на правом крыле с отрядами своих всадников в крылатых шле-

мах, с длинными рыжими усами, с частью тех самых воинов, что сражались против римлян в Галлии.

С ними я в продолжение четырех лет дрался под знаменами Цезаря, с ними я переплыл через сердитые валы Адриатического моря, терпел голод в Греции и здесь у города Фарсала бросался на восставшие против Цезаря римские легионы,* смешанные с азиатскими отрядами.

Мы дрались там один против трех. Сам Цезарь выучил нас, как надо пробивать римский четырехугольник, как надо колоть мечом римскую конницу, как рубить прямо в лицо молодых римлян-всадников для того, чтобы юнцы из римской знати, очень заботящиеся о своих лицах, спешили повернуться к нам спиной.

Солдаты Цезаря выучили нас не давать пощады побежденным, потому что в междоусобных войнах после каждого убитого оставался пустой дворец, сокровища и земли, которые можно было разделить между победителями.

Вместе с Цезарем я переплыл на римских галерах Средиземное море, высадился в стране, залитой удивительным светом, и увидел нумидийских всадников и слонов, а также и царей с бронзовым цветом лица. И все это бежало от нас.

Африканские города, заселенные римскими гражданами, открывали свои двери перед галльскими всадниками; массы народов с мольбами бросались перед нами на колени, а жрицы с черного цвета телом плясали, потрясая бубнами перед нашими конями. Они плясали, думая успокоить гнев наш и заставить нас забыть, что много столетий тому назад галльские Бренны были распяты на крестах в их горах. Тогда многие из галлов умерли у них с голоду, и если кости их ожили, то по-галльски рассказали бы нам о своих несчастьях.

Сам Цезарь выучил нас побивать легкие нумидийские отряды тяжестью наших коней, облаченных в колючие латы, колоть слонов в хоботы так, чтобы они бежали обратно и давили бы римские же когорты, и выучил брать приступом римские лагеря.

Ужас и дыхание смерти пронеслось над римской аристократией, для которой мы были только варвара-

* При этом городе в 48 г. до Р. Х. произошло решительное сражение между Цезарем и Помпеем, боровшимся за власть. Закончилось оно полным поражением последнего.

ми. Побежденный римлянин стоял в цене ниже побежденного при Алезии галла: его нельзя было сделать даже рабом, потому что он был римским гражданином; его можно было только убить. И дело дошло до того, что сами римляне стали упрекать нас в мягкосердечии к их собратьям.

В одной из этих междоусобных битв я вдруг встретил того самого Лабiena, голос которого раздавался на паризских долинах и на укреплениях римских лагерей под Алезией. Приняв нас за латинов, он хотел привлечь нас своим красноречием на сторону сената. Он подскочил к нам на коне и снял шлем, для того чтобы мы узнали его. Но, подъехав к нам, он увидел длинные рыжие усы, голубые глаза, крылья орла на шлемах, бровей на щитах, а на знаменах милую птичку, вовсе не походившую на римского орла. Он быстро надел шлем и хотел повернуться, но не успел. Меч одного из моих воинов поразил его насмерть.

Я взял его меч и знаки отличия; кроме того я взял множество золотых ожерелий и запястий римских центурионов и трибунов, много венцов азиатских и африканских царей, подобранных на поле битвы. Но зато вместе с этим я получил немало ран.

Нашими галльскими победами мы обратили Цезаря в какого-то бога. Перепуганные римляне воздвигали ему статуи в своем республиканском городе; на его голову, все более и более лысевшую, они возлагали золотые венки.

Мы радовались, глядя на их унижение. Мало того, что они поклонялись мраморным и бронзовым идолам, — они стали поклоняться смертному, человеку, который был у меня в руках, под моим мечом! Мы в свою очередь заставили их поклоняться победителю, которому они нас заставили кланяться.

Мы снова стояли лагерем под стенами Рима. Цезарь, заняв место наших древних Бреннов, провел нас по Греции, по Африке, по Испании, где были когда-то наши предки. Теперь он привел нас даже на укрепления Рима. Ему стоило только подать нам знак, и мы осадили бы Капитолий. Мы узнали бы вкус римских гусей, приготовленных с арвернскими каштанами. Но знака этого он не подал...

Напротив того, до торжественного въезда своего в Рим в сопровождении побежденных египетских цариц и африканских царей он отпустил нас.

— Я доволен тобой, — сказал он мне. — Ты отлично дрался. Ты хорошо послужил римской свободе...

Римской свободе! Он улыбался своими тонкими губами произнося эти слова, и прибавил:

— Теперь ты можешь вернуться домой. Поезжай залечить свои раны. Может быть, когда-нибудь я позову тебя. Знаешь, из тебя вышел бы славный римский сенатор!..

Цезарь напрасно не оставил нас при себе. Мы не дали бы заколоть его римским сенаторам, бежавшим перед нами с поля брани.

Вернувшись к своей милой Амбиориге и услышав, что Цезарь был убит римскими заговорщиками, я почувствовал что-то странное.

Конечно, я должен был ненавидеть его за то зло, которое он нам сделал, за все его жестокости у венов, в Аварикуме, в Алезии, за его варварство с сыном Кельтила, с его родственником Вергассилавном и многими другими храбрецами. Но нельзя драться четыре года под начальством вождя и в некотором роде не привязаться к нему, в особенности, если этот вождь постоянно водил вас к победе.

— Твои победы под знаменами Цезаря неужели могут заставить тебя забыть твои победы под знаменами сына Кельтила? — лукаво говорила мне Амбиорига.

Это правда, что за поражениями следовали победы. Я был воином Верцингеторикса и раз он меня поцеловал. Я был солдатом Цезаря, и он обещал мне место в своем сенате. Во мне точно два человека. Неужели я готов сделаться римлянином, как сделались южные галлы? Нет! Нет!

Неужели есть какое-нибудь противоречие в моих чувствах к моим двум начальникам? Не думаю. Я восхищаюсь военными дарованиями Цезаря, и благодарен ему не только за то, что он провел галлов под крыльями золотого жаворонка по славному пути наших предков, но и за то, что он, может быть показал им путь будущего. Что это будет за будущее? Сам Рим принял на себя труд соединить галлов под одну верховную власть. Он прекратил прежние раздоры, так сильно нас ослаблявшие; в общем несчастье он заставил нас забыть наше старое соперничество.

Вот почему ненависть моя к Цезарю несколько уменьшается. А сын Кельтила? Этим я восхищаюсь беспредельно, люблю его и поклоняюсь как богу. Он был моим первым вождем, и клянусь Камулом, что даже во время римских битв я остался ему верен!

Разумеется, сердцу героя приятно одерживать победы в далеких странах. Но ничто не может срав-

няться с наслаждением терпеть холод, жажду, голод, ежедневно рисковать своей жизнью, хотя бы в неравной битве, когда это делается ради защиты своей родины. За родину свою отрадно и умереть.

Пусть будет проклят и благословен восьмой год моего всадничества! Год с суровой зимой и сухим летом, год, в который жатва наша погибла от огня и в который люди умирали в городах от голода, год Герговии и Алезии! И теперь из всех лет моей продолжительной жизни я желал бы пережить именно этот год! В этот год я почувствовал, что в моей груди бьется сердце великого народа!

Почему римляне почувствовали такое уважение к галлам, которых презирали прежде как варваров? Это произошло оттого, что в этот год они поняли, что выше свободы для нас ничего не существовало, и что для нее мы готовы пожертвовать всем. Да, мы были побеждены, но с тех пор римляне могли убедиться на тяжком опыте, что право может быть на одной стороне, а успех на другой.

Когда три богини обрежут нити моей жизни, то не хороните, дети, со мной трофеев, приобретенных мною в Фарсале и в Африке, не кладите и трофея Герговии. Схороните меня с затупленным мечом и в помятых латах, бывших на мне при Алезии. И если вы заимствуете от римлян обычай, который я вовсе не порицаю, высекать на камне имена умерших, то на моей могиле просто оставьте надпись:

«Здесь покоится воин Верцингеторикса»

Содержание

НЕРОН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА I	7
ГЛАВА II	15
ГЛАВА III	22
ГЛАВА IV	33
ГЛАВА V	43
ГЛАВА VI	50
ГЛАВА VII	58
ГЛАВА VIII	68
ГЛАВА IX	81
ГЛАВА X	88
ГЛАВА XI	98
ГЛАВА XII	104
ГЛАВА XIV	114
ГЛАВА XV	123

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА I	129
ГЛАВА II	136
ГЛАВА III	143
ГЛАВА IV	149
ГЛАВА V	154
ГЛАВА VI	164
ГЛАВА VII	173
ГЛАВА VIII	180
ГЛАВА IX	189
ГЛАВА X	196
ГЛАВА XI	204
ГЛАВА XII	209
ГЛАВА XIII	220
ГЛАВА XIV	227
ГЛАВА XV	233
ГЛАВА XVI	243
ГЛАВА XVII	252

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА I	263
ГЛАВА II	270
ГЛАВА III	274
ГЛАВА IV	282
ГЛАВА V	288
ГЛАВА VI	295
ГЛАВА VII	300
ГЛАВА VIII	305
ГЛАВА IX	310
ГЛАВА X	315
ГЛАВА XI	321
ГЛАВА XII	327
ГЛАВА XIII	337
ГЛАВА XIV	343
ГЛАВА XV	348
ГЛАВА XVI	356

ПЕЧАТЬ ЦЕЗАРЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Моим детям	363
I. Деревня Альба и река Кастор	364
II. Обитатели Альбы	369
III. Беборикс и Эпонина	376
IV. Бард	380
VI. Я делаюсь воином	388
VII. Цезарь в Галлии	391
VIII. Арморика	395
IX. В океане. Мой первый боевой опыт.	399
X. Паризы Лютеции.	405
XI. Похороны великого предводителя.	408
XII. Война между Лютецией и рекой	417
XIII. Урок политики	424
XIV. Собрание в Самаробриве.	428
XV. Амбиорига	435
XVI. Кереторикс-римлянин	444

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I. Восстание	449
II. Карнутский Немед	455
III. Верховный вождь народа	459
IV. Около Аварикума	463
V. Герговия	467
VI. Литавик-эдуй	470
VII. Отступление орлов	472
VIII. У паризов	476
IX. Битва с Лабиемом	482
X. Ночь на Люютице	486
XI. Священная Бибракта	488
XII. Германцы	493
XIII. Гора Алезии	494
XIV. Голод	497
XV. Всенародное ополчение	498
XVI. Сверхъестественные усилия	503
XVII. После осады	507
XVIII. Печать Цезаря	511
XIX. Конец изменника	515
XX. Возмездие Галлии	518

Эрнст Экиштейн. Нерон; роман. Пер. с нем.; Альфред Рамбо. Печать Цезаря; роман. Пер. с франц.: Рис. Ю. Станишевского. М., 1993. 528 (10) стр., ил. Серия «Легион»: Собрание исторических романов. Выпуск 8.

ISBN 5-85686-014-4 (Выпуск 8)

ISBN 5-85686-005-5

В романе, посвященном жизни Нерона, Эрнст Экиштейн создает весьма неординарный образ императора, ставшего для потомков олицетворением сентиментальной жестокости.

Германский писатель повествует о том, как великодушный и талантливый юноша под влиянием безграничной власти и корыстолюбия приближенных превращается в полубезумного тирана.

«Печать Цезаря» — роман о другом ярком эпизоде из истории Древнего Рима: войне, которую вел Юлий Цезарь против галльских племен. Повествование ведется от лица галльского вождя, поднявшего народ на неравную борьбу с римскими легионами.

Художественный редактор
В.О. Визгин

Редактор
С.А. Смирнов

Технический редактор
М.М. Давиденко

Корректор
М.В. Небрятенко

Лицензия № 061697 от 20.10.1992 г.

Сдано в набор 15.11.1993 г. Подписано в печать 15.12.1993 г.
Формат 84x108/32. Бумага типографская
Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.
Усл. печ. л.27.72 Тираж 5000 экз. Заказ № 1834

Компания «Octo Group Inc.»
Издательство «Octo Print»
125047, г. Москва
2-я Тверская-Ямская, 54-113

Издание сериала осуществлено
при техническом содействии
фирмы «Аль-Китаб LTD»
тел.: 280-73-12

Отпечатано в Московской типографии № 5
Министерства печати и информации РФ
129243, г. Москва, Маломосковская, 21



